Николай Васильевич
ГОГОЛЬ
Полное собрание сочинений и писем
том VI

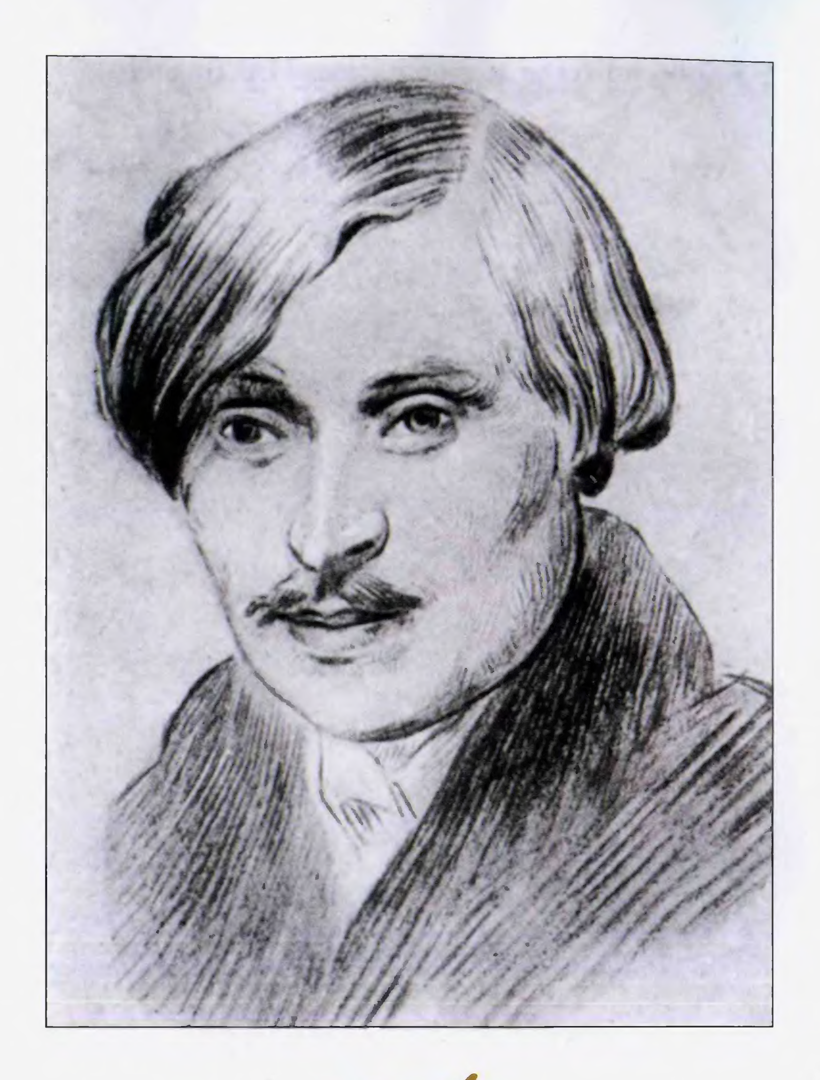


Николай Васильевич

# ГОГОЛЬ



Полное собрание сочинений и писем
в семнадцати томах



Н. Гоголь

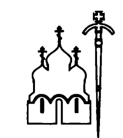
Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

# Н. В. Гоголь

## Полное собрание сочинений и писем

в семнадцати томах



Издательство Московской Патриархии
Москва – Киев
2009

# Н. В. Гоголь

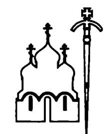
Том VI

# Выбранные места из переписки с друзьями

Духовная проза

Критика

Публицистика



Издательство Московской Патриархии

Москва – Киев

2009

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

По благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
ВЛАДИМИРА

Составление, подготовка текстов и комментарии:

И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН

В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета «История мировой культуры» РАН

Издание выпущено при содействии
Некоммерческого партнерства
«Полтавское землячество» (Москва)
и Благотворительного фонда «Богуслав» (Киев)

# Выбранные места из переписки с друзьями



# Предисловие

Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и, приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставаньи что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значенье только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем, чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие

превысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому посту во Святую Землю и не будут иметь возможность совершить его одними собственными средствами, с другой стороны — в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей

минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебреженье или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

*1846, июль*

## I
## Завещание

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи

в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других — пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, — то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются

люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя — не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья

и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем[1].

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осужденьем моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлеченья, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих

[1] «Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни.

письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI. ...................[1]

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить этот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданьями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидать и портрет мой, то я прошу всех

[1] Статья содержит распоряженья по делам семейственным.

таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтеньи сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображенья Господня», который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

*1845*

## II
## Женщина в свете

*(Письмо к ....ой)*

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, — на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам,

а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом — всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общеполезною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоят вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, — и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для

этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых — неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих — власть, которой сами в себе не подозреваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращенье на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавленье ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремленье, или, как называете вы, жажду добра.

Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того, чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастия, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровожденьи чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него,

как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

*1846*

## III
## Значение болезней

*(Из письма к гр. А. П. Т.....му)*

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь — ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь

этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить Небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

*1846*

## IV
## О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

> За слова меня пусть гложет,
> За дела сатирик чтит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки

и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явленье поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном

благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П.....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П.....н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил

на пользу просвещенья и образованья русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, — говорит Иисус Сирах, — растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

*1844*

## V
## Чтения русских поэтов перед публикою
*(Письмо к Л**)*

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущеньем у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильней по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованью чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтенья со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоится, и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк

в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведенье лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтенье наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль — обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

*1843*

## VI
## О помощи бедным

*(Из письма к А. О. С......ой)*

...Обращаюсь к нападеньям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастия и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются

внутри провинций, они не перед нашими глазами, — вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому

наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастие умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманью предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастия, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

*1844*

## VII
## Об Одиссее, переводимой Жуковским

*(Письмо к Н. М. Я....ву)*

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» перед нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь Древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаньями, верованьями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка,

в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот прозирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали

и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереварившихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появленье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого.*

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех.* «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном

виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, — то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, — для того и жизнь дана человеку, — что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом — прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего же так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас Существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленьями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на

своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер — миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого.* Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть,

оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точней его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противуположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание Древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел

и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как приготовляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностию древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволяющей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновенью природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением

этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

## VIII
## Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве

*(Из письма к гр. А. П. Т.....му)*

Напрасно смущаетесь вы нападеньями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало бы в ряды европейских крикунов и начало бы, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро, запрещая споры и прения с иноверцами, а потому и нам не следует ни состязаться об этом, ни излишне беспокоиться. Чтобы защищать такое дело, нужно самому прежде узнать его. А мы вообще знаем плохо нашу

Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на котором ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших: мы должны быть Церковь наша, и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша *мертвый труп*. — Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть *Жизнь*; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы *трупы*, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие запросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими в сравнении с нами? Счастливей ли от вас государство ваше? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг внутри его? Двигнулись ли у вас от содействия вашей Церкви искусства и науки, находящиеся повсюду в праздном застое? Упредила ли ваша Церковь развитие всех даров и сил данных от Бога человеку? Вознесла ли вас на высоту совершенства вашего и вывела ли вас на ту законную дорогу, которой мы все так жадно ищем?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная Дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими «догматами» и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для Русского Народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоуменья и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье,

званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет. Храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь: Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь*. Благоуханьем душ наших должны мы возвестить ее Истину. Пусть миссионер католичества западного биет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы, проповедник же католичества Восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желанья мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»

*1845*

## IX
## О том же
*(Из письма к гр. А. П. Т.....му)*

...Замечания, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращенья в обществе, есть такая же нелепость, как и утвержденье, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновенья с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, — это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз бы завелись те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно от того сделались дурными, что чересчур сделались светскими.

У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: Исповедь и Проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресение, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо, и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель, нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысячу крат более взыщется, чем с каждого из нас, чтобы слышали беспрестанно, что они как бы другие и высшие люди. Нет, покаместь священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя. Ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне и не прежде как после сорокадневного предуготовительного поста вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того,

чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: Найди только прежде ключ к своей собственной душе, когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

*1845*

## X
## О лиризме наших поэтов
*(Письмо к В. А. Ж.......му)*

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, т. е. о статье под названием: *О лиризме наших поэтов.* Прежде всего благодарность за смертный приговор. Вот уже во второй <раз> я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказанья о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтоженью новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей. Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепей выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выраженьем вызвал на противуречие. Вновь повторю то же самое: В лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций: Именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове

и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет.
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила —
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновеньи с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь

к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

...Повелительный Стефан
В один могущественный стан
Уже сбирал толпы густые —
Да ниспровергнет псковитян,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь —
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий,

которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть — *любви к царю.* От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображенье оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очертывает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой Государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россов ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:
Екатерины муза дремлет.

...Петь

Уж не могу. Другим певцам греметь
Мои оставлю ветхи струны.
Да черплют вновь из них перуны
Тех чистых пламенных огней,

Как пел я трех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремленье воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно

достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрыпка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласья!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха — он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собраньи его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде Императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***». Вот ее происхожденье. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралося; но Государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противуположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрыжали.
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой,
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность Императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданьями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему,

начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостию своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа:
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему Государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье Государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Все к тому ведет, чтобы вызвать в Государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такою, какою никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь

во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и Государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвесть этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь

в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознанье сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому Государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один Царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно Государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — Государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего Государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведенье на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князья, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предъявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспоривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен

библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью их звуки; для того потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключеньем из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупица этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выраженье признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к Государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения,

верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упадшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умилительное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье

оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упадший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде Государя в Москву во время ужасов холеры, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор, —
Клянусь, тот будет Небу другом,
Какой бы ни был приговор
Земли слепой.

Он сумел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве», в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пирования: родился ли Государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть Государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пенит с ним одну.
Оттого-то пир веселый,
Речь гостей хмельна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это

истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

*1846*

## XI
## Споры

*(Из письма к Л***)*

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды

больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступиться, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противуположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны

приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

*1844*

## XII
## Христианин идет вперед
### *(Письмо к Щ.....ву)*

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и дума твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все

им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего же это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, покуда не двигнутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов

наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстьми. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласья во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.

*1846*

## XIII
## Карамзин

*(Из письма к Н. М. Я....ву)*

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным. Это лучшее из сочинений

Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдумано и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очертывается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, Явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

*1846*

# XIV
# О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности

*(Письмо к гр. А. П. Т.....му)*

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасеньи вашем и, не найдя еще той именно дороги, которою вам предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасенью. Монах не строже вас. Так и ваши нападенья на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколеньями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд Святых Отцов Церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая

кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованьем правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено вниманье на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устоиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени

к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куды поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так

и на всю пьесу; а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, — вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясенья, которое производит на человека совершенно согласованное согласье всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией — первый комический актер, когда одни они будут *исключительные* хоровожди такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, Бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во все, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношенья подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно

больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, — словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самого уважения, которым они были обязаны только одному начальнику, а за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мненья, словом — всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписанье, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломаешь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же, как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта сделается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций — как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от

него, — и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполненье всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, — потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он — незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромоздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых

трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих сужденьях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел — впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвиненье, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне

проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнанье Бога в том виде, в каком повелел признавать Его Сам Божий Сын, сходивший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, — как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю Церкви, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла прах земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? — спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противуположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело — слезы оттого, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, — слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немузыканты; и опять иное дело — слезы оттого, когда

живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таковом его исполненьи. Друг мой! мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к добру, — даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

*1845*

## XV
## Предметы для лирического поэта в нынешнее время

*(Два письма к Н. М. Я.....у)*

1

Твое стихотворенье «Землетрясенье» меня восхитило. Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему — какая умная и богатая мысль! А примененье к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда все помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту:

И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины! —

заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музы тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событьи подобное настоящему, заставь

его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божьим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живей через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе твоем есть сила, и упрекающая и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опустись с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: «Царские выходы». Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названья царских убранств, дорогих тканей и каменьев — сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой — целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтенья трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве.

*1844*

2

Пишу к тебе под влиянием того ж стихотворенья твоего: «Землетрясенье». Ради Бога, не оставляй начатого дела!

Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, никуды не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: все теперь — предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куды ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что унынье проклято Богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем «Землетрясении».

Воззови, в виде лирического сильного воззванья, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьяненье; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если бы ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ»!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как

все берет вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех на глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из Русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждом русская природа и чтобы все, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло: «Эх, молодец!» — почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта — в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство глохнет, и некому его вызвать! Дремлет наша удаль, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведенья. Стряхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

*1844*

## XVI
## Советы
*(Письмо к Щ.....ву)*

Уча других, также учишься. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые

страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданьями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться

на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

*1846*

## XVII
## Просвещение
*(Письмо к В. А. Ж.......му)*

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на вниманье благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея» принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди

вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разделенью Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми; одной — не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными Отцами Церкви, другой — меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной — на время как бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее *мертвым* трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Не легко применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества.

В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введеньем в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному Существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства — все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, — которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем осветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем

произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!» Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!» — и ничего к ним не прибавляется больше.

*1846*

## XVIII
## Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

### 1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако же, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни,

со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов, или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец, и помещик — словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу Русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образованье, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что — нечего таить греха — все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знаньи России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть

один учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит Бог, говорю недаром!

*1843*

## 2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое, хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбранить за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразьем предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней,

несущейся по всему лицу земли Русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России, спрашивая у нее самой объяснения непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто все, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выраженье истинного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, — тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как Государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движеньи многих Государей, действовавших даже

в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененьи, в умении приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно, какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом — везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту — пусть его грабит людей. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастия других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его

и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому названье «Мертвые души», — произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей, простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную, сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только

его душе знакомо богатырство, — вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

*1843*

### 3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, — именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель

помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтеньи всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим.* Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того, чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил.

С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званьи и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я видел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие

томы, — вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появленье может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, — тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо?» Чтобы я из-за того только, что есть против

меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, — скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтении моего письма остаться

одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров — я также не выдумывал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

*1843*

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появленье второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить

их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни.* А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье — нет сил. Едва час в день выберется для труда,

и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

*1846*

## XIX
## Нужно любить Россию
*(Из письма к гр. А. П. Т.....му)*

Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами и усильями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных

на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.

*1844*

## XX
## Нужно проездиться по России
*(Из письма к гр. А. П. Т...му)*

Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», — так

говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противуположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведенья ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мненью, значительнее всех прочих, — свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти ленясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это?» — вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать

самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об уменьи выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались из всех сил, и один записался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, — слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка, — но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому.

Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мненья о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь — так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятье о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них

узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: Он прямо называет миротворцев сынами Божьими. А миротворцу у нас поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было

бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененьи. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим», — теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно», — но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь — я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать — помогаю; ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно*, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуды появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды, — показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата- чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот, с своей стороны, насел на какого-нибудь заседателя или станового пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда

смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом — если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.

Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный размен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!

*1845*

# XXI
## Что такое губернаторша
*(Письмо к А. О. С......ой)*

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья; мы должны позабыть о них, так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, — он вверен вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали — вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живые примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша Ж*** завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе — и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К ***; княгиня же О***, бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе К***, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и официальное, а между тем доныне никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О***!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно сделать, — то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали — вот и все! Устали оттого, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла... Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделывать хорошо,

то и сим уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О***. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К***; кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых, говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить все, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, чем кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть

и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом — губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-либо *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (NB причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, — не так, как привыкла исполнять ваш брат — страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем, что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат — холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключенья. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны

спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы*. Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час все это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом — своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же... Но не в этом дело: до времени лучше не торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальней всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги — ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом — все, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем, узнали несовершенно, — я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, — по крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет

не легок, неудобоисполним. Словом, женщин — всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил наконец полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «Он легок, его можно привести в исполнение».

Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить вниманье на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом — все станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было

все честно, снизу будет все честно само собою. До времени, пока не вызрело зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное*, даже очень большое, подобно как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему — и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей М*** уезда, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, — поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиниц. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только будет узнано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, — все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это — чувство благородства, — не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского point d'honneur, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благородный подвиг — все вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые делают пакости, сделают вдруг благороднейшее дело. И потому всякий благородный

поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исшатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершенных гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был *с отрешением от дел*. Это очень важно. Ибо если он будет предан суду *без отрешения от дел*, то все служащее будет еще долго держать его сторону, он еще долго станет юлить и найдет средства так все запутать, что никогда не добраться до истины. Но как только он будет предан суду *с отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, все выйдет на чистую воду и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, — преступленье вдвойне гадкое, приемля в соображенье то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться! а потому изгнанье ее нужно было сделать публично и гласно. Но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подобьтесь в этом случае *мертвому* закону, но *живому* Богу, Который всеми бичами несчастий

поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его — это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, — в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем; он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы чрез то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит все, и дело улучшенья нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец, самые развлеченья... Духовный же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже; притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом — он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного,

не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле; в уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им нужно: самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто погрубей и позадористей, погрозите тому *архиереем*; но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод, и сам Государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали

нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество, мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых... но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут прийтись не совсем кстати, лучше не произносить их вовсе; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновенье и развлеченье духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную: всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстрекнуть; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромоздили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними

языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, — ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас полюбят, и полюбят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил...

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болен. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объясненьях со мной как можно обстоятельней, не позабывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать; тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло

единственно оттого, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глазами: «*Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках Милосердного Бога*». В руках Милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговел еще более перед Провиденьем. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих собратьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым

близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя чрез это лучшими других. Помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дела бодрей и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

*1846*

## XXII
## Русской помещик
*(Письмо к Б. Н. Б.....му)*

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, — плюнь ты на этакие слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его ни научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело

помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе так хотелось повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в Святом Писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе, и что поэтому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь, да и они знают, что, залениввшись, мужик на все способен — сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа

и не грозила ему страхом Божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, середи их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влиянья, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уваженье, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы, еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуваженье или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах, ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум — собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится». В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К**. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; притом и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться

в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшенье. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба — был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспразднуй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ, в сопровождении торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что

у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку, — тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огрубеет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое

главное, — бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик и каковы должны быть их отношенья между собою. А между тем и к нему будет больше уваженья со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в дому своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава Богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвояет себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья, и самые слова твои.

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми Святых Отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах оставшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всей проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем,

чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К** священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З** послал к нему нарочно исповедовать 30 человек рабочих с своей фабрики, пьяниц и мошенников первейшего разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные, как раки. А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З**, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты, как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врозь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словом, что они врут и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями — связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу Государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все как один и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, — это дело не бездельное и служба истинно законная и великая.

*1846*

## XXIII
## Исторический живописец Иванов
*(Письмо к гр. Матв. Ю. В..........му)*

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, — явленье небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, — говорю *буквально* — не умер с голоду, — и до сих пор ни слуху ни духу из Петербурга. Ради Христа, разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю Провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картине нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов,

приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюллова и Бруни), требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, каких бы он хотел. Словом — теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслажденье, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, — явленье слишком редкое в мире, явленье, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно — первое появленье Христа народу. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушеньи и покаяньи; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движеньями, показывается вдали Тот Самый, во имя Которого уже совершилось Крещение, — и здесь настоящая минута картины. Предтеча взят

именно в тот миг, когда, указавши на Спасителя перстом, произносит: «Се Агнец, взъемляй грехи мира!» И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к Тому, на Которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит». А Он, в *небесном спокойствии* и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям.

Безделица — изобразить на лицах весь этот ход *обращенья человека ко Христу!* Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра в карты и моленье Богу, словом, все может достаться ему легко, будь только он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составилась уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной ее наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает вниманье знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом — сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как

изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. Иванов напрягал воображенье, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движенья душевные, оставался в церквях следить за молитвой человека — и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль; а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли серьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», — говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги».

Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из вас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясниться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое покуда и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержанье»? Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом — да им разве безумец даст деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль — изобразить кистью обращенье человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращенье, и давайте до того времени мне деньги на мое содержанье и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращенья! Ты должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышленьями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне, и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на все желанье не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состоянья душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем.

В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотоле, — не позабудьте, — единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех месяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неуменья изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавление ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был Государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль, — если удостоит меня Бог сделаться, точно, человеком близким для многих людей и достойным, точно, любви всех тех, которых люблю, — сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не Государь». Вот каковы бывают положения. В прибавленье скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах, которые они затевали, по их мненью, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку.

Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотами Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей, — я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я увидел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств; вдруг бы все до единого исполнилось негодованья противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которою бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы — я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле, и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то — грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной

и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь! деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явленья еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина — беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образованьи душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки да делать долги для поддержанья какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепленье и помощь со стороны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монах монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, — эта сумма будет вся употреблена на вспомоществованье истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь

чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угощать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот — другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, — не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же, как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, — тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его — оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть

блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

*1846*

## XXIV
## Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и несчастии. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управленья собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбужденье на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один сделается вашим характером, и станете вы оба — олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости*. У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», — говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» — и действуйте в продолженье целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему

вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — все, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждый особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастия, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрагиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на униженье себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянью публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались

обрезывать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшенье для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не comme il faut, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты, даже и не сама мадам Сихлер. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился

именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепленье его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

*1846*

# XXV
## Сельский суд и расправа
*(Из письма к М.)*

Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд — Божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чествуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно как день, чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте Божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел Самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека, и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться

лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

*1845*

## XXVI
## Страхи и ужасы России
*(Письмо к графине ..........ой)*

На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: все, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь

лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и, слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «Все падают духом, как бы в ожиданьи чего-то неизбежного», равно как и слова: «Каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: sauve qui peut», действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбью или самолюбью, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством

и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды сокрыться от своих страхов. Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего, все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашею душою, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние — жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто все добро, какое имеет. Бог весть, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образовываются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам

не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли Русской и принесут ей вековечное добро; но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше. Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), — начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явленье необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабленья и развращенья общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело, и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозренье в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно бы кричать о себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братьи мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России.

*1846*

# XXVII
## Близорукому приятелю

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элемены французские — не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаким образом и на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. Мысли твои о финансах основаны на чтеньи иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы са́мобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участья Божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освященья небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой; ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли

твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может; ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное*, а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд — говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует серьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не подействуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастие, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!

*1844*

# XXVIII
## Занимающему важное место

Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора — вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — все легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не завлекают вперед уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состоянья душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ — вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственных схватках с неприятелем, зная, что только из знанья подробностей выводится знанье *целого*. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цициановцев, и ермоловцев, и офицеров нынешней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог — выйдет в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смиренье вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите неуслышанным

ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в преньях и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Но христианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью действовать; тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепленье. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России — та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России — гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится,

потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун-нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако ж, принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благодетельное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребыванья на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенье это точней и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посылается затем, чтобы

ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрейшее движение все правительственное производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств, дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношеньях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя от себя, все заставить обращаться быстрей в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремленье прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремленьи к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщения суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них не много хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительств, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком да увеличилось число праздношатающихся по всему миру?»

В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится». Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уваженьем о ваших распоряженьях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движенью всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познанье его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим; прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочие и развязанные руки там,

где нужно *препятствовать* в действиях, и связанные руки там, где нужно *споспешествовать* им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо — губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии, как городового, разумея здесь все, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанью среди их порядка, так и земского, включая сюда все, что производится в землях вне городов: взъем податей, распределенье повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов; во втором случае — капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотребленьи, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочьи своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли отдачи внаймы или на откупа казенных земель, озер или вообще относительно всяких продаж,

закупок и совершенья на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция — гражданская палата, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребленье повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званью губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непросторно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собственной власти;

равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильней действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на все, что ни вершится в губернии.

Словом — все полно, и везде слышна законодательная мудрость, как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою. Я уже и не говорю о тех учрежденьях, где еще далее простерлось правительственное предвиденье, упомяну только о Совестном суде, подобного которому не знаю в других государствах. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познанья душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, — есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в Совестный суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками Государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение — ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного, где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значенье высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность

в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значенье его должности. Вследствие этого все ваши сношенья с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого не зримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела; у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней — интриги, ссоры, а с ними вместе и сам черт путаницы, который как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесенья новых беспорядков и сложностей, пожрется несметное количество казенных сумм. Храни вас Бог от заведенья канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно, если разговор близок к нему самому, к исполненью его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть — наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, — я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей Русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык — на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познанье его должности и сделаете истинно великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познанье истинное своего званья. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распустить в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством: с одной стороны, показать Государю России партию каких-то фантастических бояр, оспоривающих самую власть, а с другой стороны, показать дворянству, что Государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль. Расчет был на то, что взаимное опасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем однако ж не менее искры недоразумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно, что Государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что Государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, — в том прекрасном

виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значенье своего званья, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразьи мыслей, воспитанья, жизни, привычек, при таком сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значенье нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явленье, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдашних оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, — выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, — хвастаются разве только какие-нибудь англоманы, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком, и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться — это чувством своего нравственного благородства, которое уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже.

Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся Русская земля взывает о помощи и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рожденья получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у Государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помраченья и всеобщего уклоненья всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна

их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшенья. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвесть они это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названья ни вольных, ни рабов, но называется хрестьянами от имени Самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значенье нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев; с другой стороны, они вторглись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением Церкви. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе

не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение Церкви, тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношенья собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владенье другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, если бы служитель Церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом — во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком Церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и даже не заседаньями, не комитетами, не преньями и не журнальными толками и болтовней; в России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его

управлению области, и как просто: не чем другим, как только собственной жизнью своей. Патриархальностью жизни своей и простым образом обращенья со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношенья между собою как жителей городов, так и помещиков станут проще; а уничтоженье этой сложности светских отношений, какая ныне, уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули, как вихри, между обитателями городов. Так же, как на водворенье обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное водворенье Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, — самими мерами, не принудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значенья в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противуположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освещен свыше Самим Христом и Его Церковью? Такой обычай пойдет во веки веков, и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть — бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом

в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора. С Богом же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы на время. Устрояйте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держася вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно затем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди; но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда, и что как только отступает от него наставник, тут-то ему и следует блюсти за собой осторожней, чем когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содержа, как святыню, в своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при расставаньи с вами, если бы случилось вам оставлять вашу должность, но чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый вперед, а потому ко дню расставанья копите все, что хотели бы вы сказать в наставленье каждому: в этот день будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута — время расставанья с моими друзьями; всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них

не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то — любите ли вы других, а не на то — любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излияний, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу.

*1845*

## XXIX
### Чей удел на земле выше
*(Из письма к У.........му)*

Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние — как тот, которому вверен был один талант и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов, и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать *равно в* Боге. Конечно, Сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца Моего обители многи суть»; но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак

бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

*1845*

## XXX
## Напутствие

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страданья твои велики. С такою нежною душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, — расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презренье от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страданья телесные тяжелы не меньше: твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, — все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм Небесных Сил содрогнется от ужаса загробного наказанья, их ждущего, от которого никто

уже их не избавит.) Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоем почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственней и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *там*. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, и выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сраженье с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого всё дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его — вот слава, которою можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

*1846*

## XXXI
## В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей — слове

простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше призошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, — которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремнию, но покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощию европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененьи государственных

форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Всю Русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремнию; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, — с битвами

вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые — появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противуположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованье науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде каком-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась

в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко копышется вдали. О Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы; словом — все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значенье тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим

ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрыпит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном, так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы

стали вполне образцы всему и, так же, как щеголи Парижа завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнивом. Вдруг приметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явленье странное. Неясные грезы, таинственные предания, небъяснимые чудесные происшествия,

темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает в ней о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, — почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы

не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремленье уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатленье сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные,

самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, — тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоеньи всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт Древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер,

занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появленье такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками Древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример.

Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком твореньи Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому

предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явленье изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы, обдуманные, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влиянье на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблужденьями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего: чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленьи о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создавшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить Ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук,

показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обработывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось

откликнуться на все, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтеньи ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова;

с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же, как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа — «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотвореньи, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом

человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик «Илиады» Гнедич, прелагатель псалмов

Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу, еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, — повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И — бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!

Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо русскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо — кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Всё, что вызывает в юноше отвагу, — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, — выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: "Стихотворенья Языкова"! их бы следовало назвать просто: "хмель"! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких

Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших

стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях в бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

У него, напротив, вот что говорит поэт:

Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово —
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) — нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, — и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда

и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысл лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремленье к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясенье», которое, по мненью Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском — противуположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни — словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано

было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласованья в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку, — и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед

поданное мнение или предположенье о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек — словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится» или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» — даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью.

Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на все подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием — врагам она грозна,
А паруса — гражданские в ней власти.

Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе

наместо мастеров дела людей Бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре — что в море, а в дураке — что в пресном молоке», — говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, —

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображенья природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет

движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключенье басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть — свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого, — оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить

пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова — «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михайла Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, — так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для

любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, — полное притупленье всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслажденьем. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек Русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества — выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, — словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех

выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим — тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще — тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не боясь ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей

между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в уменьи различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколенья, с требованиями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, — словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин — тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношеньи к герою пьесы, но в отношеньи к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае — то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, извороотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, — это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость

и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий — завянуть и пропасть, — он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарование* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованьи ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от

собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотвореньи, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не взлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей Русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной

нашего общества — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием — под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влияньем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, — чего не случалось еще доселе ни с одним народом, — воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведенье; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованьи среди его поэта. Словом — поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если же и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительного человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь,

чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже

и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей Русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию[1], не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей раствореннной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье *ухо*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* — всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо

[1] Маркиз Кюстин.

всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, — одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого — все позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова,

сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по Русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, — христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам Небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней

выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка

и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

## XXXII
## Светлое Воскресенье

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос Воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов,

умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресеньи Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда

почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, страннoприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, которые думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость

богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, — в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли

любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые

партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные

и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, Небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с Небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос,

и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»

# О «Современнике»

*(Письмо к П. А. Плетневу)*

Наконец поговорю с тобой о «Современнике». «Современник» вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала, — напротив, всяк спрашивал в недоуменьи друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякий журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, неживой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван «Современником»? Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волненьям современным, ни того трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества, ни, наконец, энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой все, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар — услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой. Не певцу «Миниха» и некоторых других прекрасных элегий, свидетельствующих о чистоте вкуса и скромной тишине души самого певца, выступать было на поприще полемическое. «Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то, что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполненью. Он хотел сделать четвертное обозренье вроде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на изданье его, он уже хотел было отказаться. Грех

лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня Провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всех утратой, а для тебя еще скорбнейшей, чем для всех, пораженный сиротством современного общества, очутившегося без поэзии, как без света, осужденного выслушивать пустые и черствые пренья и споры об искусстве наместо дел самого искусства, пораженный этим сиротством, которое, впрочем, началось уже и при Пушкине, ты взялся горячо за издание журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой в начале поприща Пушкина. В пылу великодушного увлеченья своего ты даже позабыл то, что не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Ты даже не приметил того, что имел такую цель, которой ни в каком случае нельзя было достигнуть листками периодического ежемесячного издания. «Современник», как журнал, не удался бы даже и тогда, если бы ты заключал в себе все качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себе, чем может быть нужно нынешнему времени появленье нового журнала. Это энциклопедическое образование публики посредством журналов уже не так теперь потребно, как было прежде. Публика уже более приготовлена. Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным, не только значительность современных вопросов, но даже самая пустота современного общества и легковесная ветреность дел его приглашают ныне человека взглянуть строго на самого себя, вопросить с большей отчетливостью свои силы и определить себе труд не временный, минутный, но тот живительный и полный, который ответствует одним тем способностям, которыми своеобразно наделен из

нас каждый уже от самого рожденья своего. Никакой новый журнал не может дать теперь обществу пищи питательной и существенной. «Современник» должен отбросить от себя названье журнала; он должен сжаться по-прежнему в книги наместо листов и более еще, чем при Пушкине, походить на альманах: он должен скорей напомнить собой «Северные Цветы» барона Дельвига, с которым было у тебя так много сходства в уменьи наслаждаться и нежиться благоуханными звуками поэзии. Пусть лучше будет выходить он три раза всякий год в урочные времена: первый раз ко дню Светлого Воскресенья, как светлый подарок на праздник, во второй раз к 1 октября, то есть во времени, когда все съезжаются у нас из дач и деревень в города, в третий раз — к Новому году. Словом — пусть он будет современен тем эпохам, когда с большей жадностью встречается новая книга. Все собственно журнальное в нем не должно иметь места: ни возвещенья о новостях ежедневных, ни политические известия, ни поименования всех выходящих книг, разве только один строгий отчет о замечательнейших из них за всю треть, в таком виде, чтоб он сам собой мог уже составить замечательную литературную статью. Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика. Самые статьи должны быть допущены сосредоточенные, полные, которые ничем не походили бы на торопливые, отрывочные статьи журналов. Нужно, чтобы здесь были одни лучшие цветы современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только таким изданием, которое будет выходить не более трех раз в год: в три месяца можно набрать книжку. Современное нам время, слава Богу, не без талантов. Часть прозаическая альманаха может быть теперь гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде. Поименуем нарочно тех современных писателей, статьями которых может украситься «Современник». Прежде всего следует назвать графа Соллогуба, который бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь. Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком. Слог его точен и приличен во всех выраженьях и оборотах. Остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше высшее модное общество, у него много. Один только недостаток: не набралась еще собственная душа автора содержанья более строгого и не доведен еще он своими

внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь. Но если и это в нем совершится, он будет вполне верный живописец лучшего общества; значительность творений его выиграет больше чем сто на сто. Непосредственно за ним следует назвать другого писателя, который скрыл свое имя под выдуманным: козак Луганский. Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в Русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая повесть. По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России. Все, что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями и который повредил себе только тем, что, не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих) тех модных нувеллистов, которые гораздо его ниже. Он мог бы всегда, не прибегая ни к напряженным вымыслам поэтическим, ни к мозаичным искусственным украшениям речи, так изуродовавшим благородный и ясный слог его, взять на выдержку первое психологическое явленье нашего общества и рассказать его так отчетливо и умно, что повесть его имела бы все принадлежности тех строгих классических произведений, которые остаются навсегда образцами в литературе.

Я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и большое познание нравов и обычаев Малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы еще с большим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому как некогда рассказывал Корнилович о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страницах его, погибают там совершенно бесплодно. Мне сказывали, что вообще в последнее время *повесть* сделала у нас успех и несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель, — все прочее придет само собою, и каждый из них, обнаружа еще сильней особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков. Не могу не упомянуть о писателе, выступившем на литературное поприще драмою «Смерть Ляпунова». Не имея в себе полной зрелости строенья драматического, которое доступно одним только опытным драматургам, драма эта имеет в себе много тех достоинств, которые пророчат в творце ее писателя замечательного. Слышать живость минувшего и уметь заговорить о нем таким живым языком — это свойство великое! Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов. Почему знать, может быть, от такого чтения родилась бы в нем благословенная мысль написать правдивую историю времени, его преимущественно поразившего. Вполне историческое произведение, исполненное писателем, умеющим так живо чувствовать исторические характеры, и написанное таким живым пером, будет в несколько раз значительней исторических драм. Кстати, о молодых и начинающих писателях. Мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскал Прокоповича и умел

склонить его взяться за перо повествователя. Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива; все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста. Он задремал теперь, я это знаю; он дал заснуть в себе желанию действовать на поприще просторном, самый круг его стал тесен и перед ним мало жизненного поля для наблюдений. Но жизнь везде жизнь, и чем меньше ее простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может быть нами исследуем и проникнут. Уже самая своя собственная душевная повесть, предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животно-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа. Какой бы праздник был душе моей, если бы я встретил в «Современнике» повесть, под которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я по-прежнему не могу быть работящим и ревностным вкладчиком в твой «Современник». Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле. Из всех тех, которые начали писать со мною вместе, еще в лета моего школьного юношества, у меня менее, чем у всех других, замечались те свойства, которые составляют необходимые условия писателя. Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно. Некоторые мои наблюдения над некоторыми сторонами жизни, мне нужными для дела душевного, издавна меня занимавшего, были виной того, что я взялся за перо и вздумал преждевременно поделиться с читателем тем, чем мне следовало поделиться уже потом, по совершеньи моего собственного воспитанья. Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно

никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры. Доказательство этому можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые именно через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас, — стремленья, которое тревожит поэта во все продолженье его жизни и умирает в нем только с его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе. Итак, если я почувствую, что чистосердечный голос мой будет истинно нужен комунибудь и слово мое может принести какое-нибудь внутреннее примиренье человеку, тогда у тебя в «Современнике» будет моя статья; если ж нет — ее не будет. И ты на меня за это никак не гневайся. Я здесь не упомянул также ни об одном из тех современных прозаических писателей наших, которые, будучи заняты собственными изданиями или же сидя над трудами более отвлеченными, требующими полного внимания, не имеют ни возможности, ни досуга поработать для твоего «Современника». Их не следует и беспокоить. Здесь кстати я должен тебя побранить. Ты был несправедлив, приписывая безучастное невнимание многих литераторов к твоему журналу их равнодушию к общему делу, нелюбви к искусству, деньголюбию и т. п. У всякого есть свое внутреннее дело; у всякого совершается в душе свое собственное событие, на время его отвлекающее от участия в деле общем; и никак нельзя требовать, чтобы другой жертвовал собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цели, к которой мы предположили себе стремиться. Каждому определяет Бог дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всех одним и тем же аршином. А потому уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в «Современник». Довольствуйся тем, что дадут. Если только одни поименованные мною писатели дадут статьи свои, то и этого уже будет достаточно. Но я знаю,

что дадут еще и другие, которых я не назвал. Вопреки людям, жалующимся на недостаток талантов в нынешнее время, я вижу их теперь гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто из них не умел стать самим собой, и это причина их неприметности; но многие из них уже болеют этим желанием, хотя и не знают, как удовлетворить ему. Стремленье узнать назначенье свое есть теперь страданье многих людей, одаренных способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездейственности на поприще литературном.

Стихотворная часть «Современника» может быть также весьма богата, невзирая на то, что, по-видимому, в современном обществе угаснуло расположение к поэзии. Слава Богу, еще здравствует сам патриарх нашей поэзии: еще Небо хранит нам Жуковского. В награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному из всех нас дано почувствовать свежесть молодости в старческие лета и силу юноши для дела поэтического. Его нынешние труды далеко полновесней и значительней прежних. Не нужно судить о нем по тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены в последнее время в «Современнике». Они не могли и не должны были произвесть никакого впечатленья на общество, и нечего удивляться, что общество, оценивая всякое новое произведение относительно своих собственных потребностей душевных, ища в нем ответа на тревожные исканья свои, назвало эти стихотворенья *ребячеством* Жуковского. Они, точно, назначены для малолетних детей. Повести и сказки эти должны были выйти особой книжкой под названием: *«Подарок детям от Жуковского»*. Он сделал ошибку, пославши их в журнал. Я говорил это ему тогда же, советуя или ничего не посылать, или послать то, что пришлось бы по душе взрослому человеку. Но теперь я знаю, что он пришлет тебе в альманах который-нибудь из тех перлов, которые выработались во глубине его собственной души, где в последнее время так много произошло прекрасного. Еще, слава Богу, здравствуют два другие первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков, и могут подарить «Современник» новыми, дотоле не раздававшимися от них звуками — звуками, исторгнутыми из выстрадавшегося сердца, песнями самой души, уже набравшейся строгого содержания высшей поэзии. Самые наши молодые,

недавно показавшиеся поэты, которых я здесь не называю по именам, которые показали покуда одно благозвучие, легкость и щегольство стихосложенья, но еще не показали истинных и верных ощущений своих, могут заговорить струнами поэзии, более нам близкой. Поэзия есть чистая исповедь души, а не порожденье искусства или хотенья человеческого; поэзия есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появленье слишком редко на земле; опасно и вступать на этот путь другому. Многие даже из первоклассенейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее. Много поэтических звуков издадут даже и те, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасных цветков, много драгоценных вкладов нанесут к тебе со всех сторон в твой «Современник». Ты сам, хотя уже давно не пробовал звуков оставленной и позабытой тобой лиры, примешься за нее вновь. Ты, верно, испытал в это время тоже не мало скорбных минут и никем не услышанного горя; твоя душа, верно, томилась также желаньем передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ее, и, не найдя его нигде, обратилась наконец к Тому родному всем нам Существу, Которое одно умеет принимать любовно на грудь к Себе тоскующего и скорбящего и к Которому наконец все живущее обратится. Припомни же все эти минуты, как минуты скорбей, так и минуты высших утешений, тебе ниспосланных; передай их, изобрази в той правде, в какой они были. Тебе помогут слезы умиленья и растроганные чувства признательной души твоей; они помогут тебе передать с такой силой, с какой не сумеет передать их великий, владеющий чародейством вымысла, но еще не выстрадавшийся поэт. «Современник» тогда оправдает данное ему названье, но оправдает его в другом — высшем смысле: он будет современен всем высшим минутам русского писателя и человека. Он тогда ближе приблизится к той цели, которая доселе так отдаленно и неясно представлялась в твоих мыслях: он соединит эстетическим

союзом прекрасного братства всех пишущих. Один только ты в России можешь предпринять и выполнить такое издание, потому что один только ты питал о нем постоянную мысль; один только ты не имел в виду денежных интересов и вознаграждений за труды; один ты безотчетно питал чистую, младенческую любовь к искусству, сделавшую тебя другом лучших поэтов наших и превратившую для тебя самое искусство в твое собственное, как бы родное и семейственное дело. Стало быть, одному только тебе может быть вверено такое издание. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всех отношениях драгоценным подарком; печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какие могут только быть произведены у нас в России (граверов выбери русских, иностранцев сюда не вмешивай). Меру книгам дай небольшую, немного чем побольше «Северных Цветов»; словом — чтобы и по достоинству и по виду изданье походило на драгоценность. Все это можешь исполнить один только ты, потому что, не имея в виду пользоваться доходами с него для своего собственного содержанья и прокормленья, ты можешь всё употребить на красоту самого издания и таким образом доставить хлеб бедным художникам нашим, которым приходится иногда претерпевать горькую чашу.

Итак, если все это, что я теперь сказал, пришлось тебе по сердцу, то, благословясь, приступай с Богом к составленью первой книжки «Современника» ко времени наступающего праздника Светлого Воскресения 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей, в виде программы или вступленья в самую книгу. До того же времени дай его прочесть всем тем, от которых ты пожелал бы иметь статью. Как ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я уверен, что по прочтеньи его всяк согласится вместе с тобой и со мной в необходимости такого издания в России и, верно, даст тебе наилучшее из своих произведений. В газетных листах ты можешь объявить о нем только немногими словами — именно что «Современник» будет выходить в трех книгах в означенные сроки; прибавь к этому одни только имена тех, которых статьи будут помещены, — этого достаточно. Пусть лучше все остальное, как достоинство статей, так и роскошь самого издания, будет приятной неожиданностью для каждого читателя.

# <Авторская исповедь>

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указаньем свыше — рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, осужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге, тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, — словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих

мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознанье искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влияньем страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе не приличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных

в разные времена моего душевного состоянья. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье выражаться — принадлежности не вполне организовавшегося писателя — все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противуположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в сужденьях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противуположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещенья народного, — это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что

может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу[1]. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещенья европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствованья человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут добра,

[1] На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред Того, пред Которым ни один человек не бывает прав.

собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знанья можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что, прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположеньи, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности,

и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, — исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охужденью себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произведен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего — в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, — запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или в моей судьбе, так же, как и во всем, следует признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с Которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объясненьем хотя некоторой

части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно

в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключенье всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно, — тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам

почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест

и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить так же службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединеньи от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, — словом, чтобы по прочтеньи моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся

на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, — также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным, — тем более, что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которым движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди

анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял Он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученьи пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученьи, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь

быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем Сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения — и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнию, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым

переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми, — и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился до тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры — первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни

героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал* портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как я мог требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображенье мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов, занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям «Мертвых душ» — воззванье

несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтенье «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщею известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтенье «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращенье на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни

к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частью избирали эпоху, от нас отдалившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит,

слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидать всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, — как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влеченья и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, — ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влеченье было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытьи моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, — точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди

чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то, что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, — и точно, во все время пребыванья моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и, наконец, потребность большего уединенья не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий смысл и сильнейшее значение, — движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключенья из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких

бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассужденьем. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом — во все пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое: дух мой упадал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека, — тем более, что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственно рукою

всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характе́ра совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, — словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу

задает вопрос: «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познанье души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к Тому, Кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребленье, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам. рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться

за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою, — таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем — для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать

ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требованья от него слишком велики — и справедливо: для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в созданьи его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познанье земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай нá поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые,

как полные хозяева, входят в души людей, — и двери сердец растворятся сами навстречу к принятью их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильней такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влиянье может быть скорее вредно, чем полезно. Это строенье себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явленье, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильнее измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленьи не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово — как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле Того... помышляю я о своем собственном строеньи, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят,

неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, — что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом — как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключенья, а сам в то же время еще... должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь

единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье *творить*. Но, повторяю вновь как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, — скажу откровенно, — жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, — как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем

покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, — то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знанье человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет всё на Руси от взаимных недоразумений и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познаньи души и сердца и при некотором знаньи вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объясненьем прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить созданья поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает, даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье, проникнут точно любовью к России, — то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли Русской, должно также брать многие места и должности в государстве с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда

велика и много опозорила... С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для...

Как ни бурно нынешнее время, как ни мятутся и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ Небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в Нем Его божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношенье человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности

наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени — и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, сообразжаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное

исполненье должности, на вступленье в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего ученья спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще, — почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может быть, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжкой болезни. Я был слаб; я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней Тому, Кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе к Богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объясненья с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? — хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души. Бог весть, может быть, и в этом была также воля Того, без воли Которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя

самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращеньях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перед лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, — тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнеешь больше, чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще

и поприличнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам Церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим собратьям, соученикам как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов Того же Учителя, у Которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим Учителем. Я думал, что по прочтении книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученьи, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешенье вопросов жизни — в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви встретит и учителей

Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие — позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключеньи всего я должен заметить: сужденья большею частию были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья и советы; но выводить, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме,

обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

# Искусство есть примирение с жизнью

*(Письмо к В. А. Жуковскому)*

Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать — и непостижимая *неохота* удерживает. Передо мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве,* для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мое путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что, прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало *главным* и *первым* в моей жизни, а все прочее *вторым.* Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе,

чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться, — вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль *большого сочиненья,* в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней *свойство* нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная

с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки, — а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над *душой человеческой*. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься *ближе с* Тем, Который Один из всех доселе бывших на земле показал в Себе полное познанье души человеческой, божественность Которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не *слеп*, а просто *глуп*. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что, прежде чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен переступать.

В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассужденьями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое *душа человеческая?* Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить наместо его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на не очищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокоивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на *порицанье* действий другого, но на *созерцанье* самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить

нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это *живые люди*, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные *народные* наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда Бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мертвыми душами». Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не сделать), поблагодарю, как сумею, за все бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел Бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде.

Затем от всей души поздравляю тебя с Новым годом. Дай Бог, чтоб он был нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.

# <Письмо по поводу «Мертвых душ»>

В письме твоем, добрая душа, много участия. Твой голос освежителен. Над некоторыми словами я на минуту было остановился, думая, нет ли в них обаятельного обольщения. Но нет, где движенье любви, там нечистое должно быть далеко.

При работе над вторым томом только и думаю о том, как пребывать не в мире путаницы и смут, но в том светлом Божьем мире, откуда светло и полно видится жизнь без путаницы и слепоты, какая окружает челове<ка>, пьянствующего в омуте и грязи современ<ной> с минутными людьми и явлениями. О, если бы то, о чем любила задумываться [душа моя] еще со дня младенчества, передать звуку и живому, определен<ному> образу, доступным всяко<му>, и в них была одна чистая истина!

---

Ты испугался за меня, ты боялся, чтобы я не сделался фанатиком, успокойся. Это состояние прошло. Болезненное состояние духа заставило выразить в преувелич<енном> до излишества виде то, о чем даже и не следовало говорить мне. И в душе и в мыслях всё покойно. Продолжительна благодарность <...>[1] <Я чувствую себя?>, как новый человек с светлой восприимчивостью чувств, еще не составивший никаких предубеждений. Занятия мои проходят тихо. Читаю всё выш<едшее> без меня по части русской истории, всё, где является русский быт и русская жизнь. Перечту сызнова всю русскую историю в ее источниках и летописях. Поверю историей и статистикой и древнего и нынешнего времени свои познания о русском человеке, и тогда примусь за труд свой.

Я бы хотел, чтобы не укорил меня никто в пристрастии, а лучше, чтобы люди самых противоположных мнений сказали обо мне: «Этот человек действительно узнал русскую природу. Не скрывши ни одного из наших недостатков, он почувствовал глубже других наше достоинство. Он сказал о нас верно». Теперь время смутное. Всякий выражается в излишестве, потому что выражается в жару. От этого сильные споры о таких предметах, которые не оглянуть ни тем, ни другим вполне. Всякий человек, уже

[1] *В рукописи одно слово не прочитано.*

вследствие общего природного несовершенства, односторонен, склонен видеть одну только сторону, отрицая даже и самое существов<ание> неполноты наших знаний, причины всех споров и раздражения. Нынешнее тревожное время <и> раздражен<ие> воздуха, действующее на нервы, усиливает <споры> еще более. Человек нечувствительно ожесточается.

Щупаю ежеминутно свою голову, желая знать, в порядке ли она. Спрашиваю себя, не сердит ли я на кого и не гневаюсь ли я на кого. Слава Богу, покуда, кажется, нет ни против кого ничего в душе. С литератора<ми> всеми я встретился дружески, как с братьями. Я почувствовал ко всем им что-то родственное, ко всем им как людям одного звания и сословия, и не понимаю, как может существовать вражда и несогласие даже и [между теми, которые бы<ли бы> разных мнений. Разве же не все мы люди?] Разность мнений! Но что наши мнения, когда они изменяются поразительно от приобретаемых нами познаний и сведений и когда завтра же можем оглянуть тот же предмет полнее, чем обнимали его сегодня. И кто из нас будет так горд, чтобы сказать: я стою наверху своего развития, я знаю, что совершенен. Нет, мне кажется, <нужно> с трепетом, не доверяя никому, приняться за чтение всеобщей истории всего человечества.

---

Труд мой всё тот же постоянный. Хочу приняться за «Мертв<ые> души». Здесь мое поприще. Не мое дело заниматься тяжелыми вопросами времени и вступать в современное положение враждующих партий, положение мутное и темное, неясное даже еще следствиями и самим спорщикам. Мое дело изображать жизнь людей, живьем выставить людей и жизнь, как она есть. Почему знать, может быть, от этого уже проистечет то, что даже мненья станут определительнее. Может быть, этим мне удастся <...>[1].

О необходимости тесного соединения литераторов. Бросить все личные нерасположенья и всё против<ное> мысли блага общего.

Читай внимательно русскую историю сызнова и в то же время перечти всеобщую историю всего человечества. Перечти

[1] *В рукописи одно слово не прочитано.*

прежде все коротенькие курсы из укладистых, чтоб мысли приучились обнимать всё человечество как одно целое, чтобы видеть все видоизменения и образы, которые принимают общества человеческие, не теряя из виду нужного человеку.

Это чтенье [мне кажется, теперь одно может] осветить и освежить взгляды. Оно одно может с ложной вывести на прямую дорогу человека. Смотри, сколько голов уже закружилось. Домы сумасшедших наполня<ются> с возрастающей <скоростью>. Трудно! Время опасное. Одно твердое историческое познанье теперь действительно. Простое философствование закружило человека.

Мне случалось иногда слышать весьма странную мысль, что порядок вещей начался совершенно новый, что, <так как> нынешнее время не похоже <на прежнее>, то поэтому [знать] историю бесполезно. Поэтому самому и нужно теперь знанье истории более полное и более глубокое, чем когда-либо прежде! Корни и семена всех нынешних явлений там.

Прими совет мой, приятель истории. Тебе будут предстоять на всяком шагу новые открытия. Мысль твоя будет излучаться светом, и ты будешь на всяком шагу <делать> находки. Не торопись с ними и не выпускай совет — не пускай их в обращенье. Не пускай в ход идею, покамест она горяча. Дай всему выстояться, по крайней мере повремени, покуда не окончишь чтенье, покуда не обнимешь весь предмет от начала до конца. Поверь, ты произведешь только новый спор, недоразумен<ия> на место часто вразумления.

Люди, которые легкомы<сленны>, пусть спорят, препираются, но люди глубокие должны остави<ть споры>, отстранивши на время всякий умысел. Всё победить, откинуть все убеждения и проникнуться одним чистым желанием узнать истину с чистою, постоянною <...>

# <Заметка о «значении прирожденных страстей» на полях заключительной главы первого тома «Мертвых душ». М., 1842>

Это я писал в прелести[1], это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию[2], и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души.

[1] *Слово:* прелести, — *выделено в печатном источнике курсивом и заключено в кавычки. По-видимому, это выделение в гоголевском тексте сделано (для пояснения) П. А. Матвеевым, которому принадлежит имеющееся здесь же подстрочное примечание: «Прелесть — монашеский термин — означает почти то же, что и слово обольщение».*

[2] *В публикации ошибочно:* Здравая психология

# <Предисловие к V тому собрания сочинений>

Книга «Переписка с друзьями» произвела большие толки вкривь и вкось. Несмотря на то, что много было таких обвинений, от которых содрогнулось во мне сердце и которых я бы, может быть, не в силах был бы сделать и дурному человеку, я решился воспользоваться всяким замечанием. Вновь пересмотрел всё, в одних умерил неприличный тон, другие вовсе оставил и несколько прибавил; к этому присоединил несколько статей из «Арабесок» и кое-какие доселе не изданные, так что пятый том составил в себе почти все мои теоретические понятия, какие я имел о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу нашу. Всё же прочее может со временем составить отдельный том под названием юношеских опытов.

# Оглавление
# <V тома собрания сочинений>

1. Жизнь.
2. Мысли о географии.
3. О преподавании всеобщей истории (переделанное).
4. География России.
5. Скульптура, живопись и музыка.
6. Искусство есть примирение с жизнью.
7. О театре.
8. Одиссея, перевед<енная> Жуковск<им>.
9. О лиризме наших поэтов (сокращ<ено>).
10. О том, что такое слов<о>.
11. Брюллов.
12. Истор<ический> живоп<исец> Иванов.
13. [Четыре] Письма по поводу Мертвых душ.
14. Просвещение.
15. Письмо о Церкви и духовенстве.
16. О том же.

Древняя Россия.
Что такое долг.
Женщина в свете.
Женщина в семье.
Предметы для[1] лирического поэта.
Христианин идет вперед.
В чем особенность русской поэзии.
Светлое Воскресенье.

[1] *Далее было:* р<усского>

# Жизнь

Бедному сыну пустыни снился сон:

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.

Стоит в углу над неподвижным морем Древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, не сокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами; кинамон, виноградные лозы, смоковницы помавают облитыми медом ветвями; колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства предстали все на Страшный суд перед кончиною мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава

и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся богоподобный и гордый обладатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное чело свое! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения — умей быть достойным наслаждения!»

И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерасказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов! Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ миру — нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир — ты завоюешь наконец небо».

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немноголюдная весь прислонилася к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным

иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит Младенец; над Ним склонилась Непорочная Мать и глядит на Него исполненными слез очами; над Ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался Древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний праправщур земли...

*1831*

# Мысли о географии

*(Для детского возраста)*

Велика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всею роскошью растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души их! И не больно ли, если показывают им вместо всего этого какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: «Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его Зодчим!» Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями. Невольно при этом приходит на мысль: неужели великий Гумбольдт и те отважные исследователи, принесшие так много сведений в область науки, истолковавшие дивные иероглифы, коими покрыт мир наш, — должны быть доступны немногому числу ученых? а возраст, более других нуждающийся в ясности и определительности, должен видеть перед собою одни непонятные изображения?

---

Детский возраст есть еще одна жажда, одно безотчетное стремление к познанию. Он всего требует, все хочет узнать. Его более всего интересуют отдаленные земли: как там? что там такое? какие там люди? как живут — эти вопросы стремятся у него толпою, и все они относятся прямо к физической географии, и потому мир в его физическом состоянии — величественный, роскошный, грозный, пленительный — должен более и обширнее занять его.

---

Во многих заведениях наших, по невозможности воспитанников узнать в один год всей географии, читают ее в двух и даже

в трех классах. Это хорошо, и география стоит, чтоб ее проходили не в одном классе; но преподаватели впадают в большую ошибку: размежевывают земной шар на две или, смотря по классам, на три части, и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседуют с дикарями. Не говоря уже о безрассудности и странной форме такого преподавания, нужно иметь необыкновенную память, чтобы удержать в ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномен в природе, то в голове этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. Это будут тщательно отделанные, разрозненные части, которыми не управляет одна мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. Это народ, созданный для монархического правления и утративший его в буре политических потрясений.

Гораздо лучше, если воспитанник будет проходить географию в два разные периода своего возраста. В первом он должен узнать один только великий очерк всего мира, но очерк такой, который бы пробудил всю внимательность его, который бы показал всю обширность и колоссальность географического мира. В этот курс должны ниспослать от себя дань и естественная история, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается к миру, чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему все концы его. Ничего в подробности; но только одни резкие черты, но только, чтобы он чувствовал, где стужа, где более растительность, где выше мануфактурность, где сильнее образованность, где глубже невежество, где ниже земля, где стремительнее горы. Во втором периоде его возраста этот мир должен быть перед ним раздвинут. Он должен рассмотреть в микроскоп те предметы, которые доселе видел простым глазом. Тогда уже он узнает все исключения и переходы, менее резкие и более исполненные тонкого отличия.

---

Воспитанник не должен иметь вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будет сжимать его и умерщвлять воображение: перед ним должна быть одна только карта̀. Ни одного географического явления не нужно объяснять, не укрепивши на месте, хотя бы это

было только яркое, живописное описание. Чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась перед ним и вместила бы в себе все те картины, которые он видит в речах преподавателя. Тогда можно быть уверенным, что они останутся в памяти его вечно: и, взглянувши на скелетный очерк земли, он его вмиг наполнит красками.

---

Фигура земли прежде всего должна удержаться в его памяти. Черчение карт, над которым заставляют воспитанников трудиться, мало приносит пользы. Множество мелких подробностей, множество отдельных государств может только в голове их уничтожиться одно другим. Гораздо лучше дать им прежде сильную, резкую идею о виде земли: для этого я бы советовал сделать всю воду белою и всю землю черною, чтобы они совершенно отделились, резкостью своею невольно вторгнулись в мысли их и преследовали бы их неотступно неправильною своею фигурою. После этого будет им гораздо легче начертить вид земли, но никак не допускать до подробностей, то есть означать все мелкие мысы и искривления берегов. Пусть лучше они вначале совсем не знают их, но зато удержат общий вид земли.

---

Гораздо лучше проходить вначале разом весь мир, глядеть разом на все части света, чрез это очевиднее будут их взаимные противуположности. Заметивши их в общей массе, они могут тогда погрузиться глубже в каждую часть света. Но в порядке частей света я бы советовал лучше следовать за постепенным развитием человека, стало быть вместе и за постоянным открытием земли: начать с Азии, с его колыбели, с его младенчества, перейти в Африку, в его пламенное и вместе грубое юношество, обратиться к Европе, к его быстрому разоблачению и зрелости ума, шагнуть вместе с ним в Америку, где, развитый и властительный, встретился он с первообразным и чувственным, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое разделение, мне кажется, будет гораздо естественнее. Прежде всего воспитанник должен составить себе общее характеристическое понятие о каждой из них. Во-первых, об Азии, где все

так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями; при детском уме своем думают, что они умнее всех; где все гордость, и рабство; где все одевается и вооружается легко и свободно, все наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин, как вихорь, мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна — страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по всему миру. Об Африке, где солнце жжет и океаны песчаных степей растягиваются на неизмеримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человек, мало чем разнящийся наружностью и своими чувственными наклонностями от обезьян, кочующих по ней ордами, и так далее.

---

Начертив вид части света, воспитанник указывает все высочайшие и низменные места на ней, рассказывает, как разветвляются по ней горы и протягивают свои длинные, безобразные цепи. В этом смысле можно с пользою употреблять Риттерево барельефное изображение Европы, хотя оно не совсем еще удобно для детей по причине неясного отделения света от теней. Всего бы лучше на этот случай отлить из крепкой глины или из металла настоящий барельеф. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда в памяти все высокие и низменные места.

---

Так как горы сообщили форму всей земле, то познание их должно составить, так сказать, начало всей географии. Показав разветвление их по лицу земли, должно показать вид их, форму, состав, образование и, наконец, характер и отличие каждой цепи, все это не сухо, не с подробною ученостью, но так, чтобы он знал, что такая-то цепь из темных и твердых гранитов, что внутренность другой белая, известковая или глинистая, рыхлая, желтая, темная, красная или, наконец, самых ярких цветов земель и камней. Можно даже рассказать, как в них лежат металлы и руды и в каком виде, — и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности их, то само собою разумеется, что нужно показать высочайшие точки, примечательные явления на них и высоту, до которой подымался человек.

---

Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. Тут все явления и факты дышат исполинскою колоссальностью. Здесь встречаются целые массы. Тут на всем отпечаток величественных потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли. Часть этих явлений, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтоб не тронула его воображения.

---

Процесс и расселение растительной силы по земле должно показать на карте лестницею градусов: где растение юга — хозяин, куда перешло оно как гость, под каким градусом умирает, где начинается растение севера, где и оно, наконец, гибнет, прозябение прекращается, природа обмирает в объятиях студеного океана, и чудный полюс закутывается недоступными для человека льдами. Таким же образом и расселение животных. Но почва требует другого разделения земли по полосам, из которых каждая должна заключать в себе особенный вид ее.

---

Произведения искусства вообще являются доселе у географов отрывисто. Перехода нет никакого от природы к произведениям человека. Они отрублены, как топором, от своего источника. Я уже не говорю о том, что у них не представлен вовсе этот брачный союз человека с природою, от которого рождается мануфактурность. Итак, прежде нежели воспитанник приступит к обозрению мануфактур и произведений рук человека, нужно, чтобы он был приуготовлен к тому произведениями земли, чтобы он сам собою мог вывесть, какие мануфактуры должны быть в таком-то государстве; если же встретится исключение, тогда необходимо показать, отчего оно произошло, может быть, беспечный характер народа, может, сторонние обстоятельства: или излишнее богатство соседей, или невозможность дальнейших сообщений, или другие подобные им, воспрепятствовали. Приуготовивши себя мануфактурностью, он может уже

переходить к торговле, которая без того будет тоже незанимательна и непонятна.

---

При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физиогномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин. Все народы мира он должен сгруппировать в большие семейства и представить прежде общие черты каждой группы, потом уже разветвление их. И потом физическую их историю, то есть историю изменения их характера, чтоб объяснилось, отчего, например, тевтонское племя среди своей Германии означено твердостью флегматического характера и отчего оно, перейдя Альпы, напротив, принимает всю игривость характера легкого.

---

Весьма полезны для детей карты, изображающие расселение просвещения по земному шару. Эта польза превращается в необходимость, когда проходят они Европу. Но как у нас нет таких карт, то преподавателю небольшого труда стоит сделать оные самому. Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и, наконец, превращаются в мрак, по мере того как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом.

Величину земель, государств, никогда нельзя заучивать исчислением квадратных миль. Нужно только смотреть на карту — вот одно средство узнать ее. Не мешало бы вырезать каждое государство особенно, так, чтобы оно составляло отдельный кусок и, будучи сложено с другими, составило бы часть мира. Тогда будет видима и величина их и форма.

---

При изображении каждого города непременно должно означить резко его местоположение: подымается ли он на горе, опрокинут ли вниз; его жизнь, его значительность, его средства — и вообще сильными и немногими чертами обозначить характер его. Преподаватель обязан исторгнуть из обширного материала все, что бросает на город отличие и отменяет его от множества других. Пусть воспитанник знает, что такое Рим, что Париж, что Петербург. Пусть не меряет своим масштабом, составившимся

в его понятиях при виде Петербурга, других городов Европы. Все общее городам должно быть исключено в определении отдельно каждого города. Во многих наших географиях и до сих пор еще в определениях губернского города рассказывается, что в нем есть гимназия, соборная церковь; уездного, что в нем есть уездное училище и т. п. К чему? воспитаннику довольно сказать сначала, что у нас гимназии во всех губернских городах, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-Рояля, Фальконетова Петра, Киево-Печерской лавры, Кинг-Бенча нет других в мире. Об них дитя, верно, потребует подробного сведения. Не нужно заниматься ничтожным и скучным для воспитанника вычислением числа домов, церквей, разве только в таком случае, когда оно, по своей величине или отрицательно, выходит из категории обыкновенного. Вместо этого можно занять его архитектурой города, в каком вкусе он выстроен, колоссальны ли, прекрасны ли его строения. Если он древний, то как величественна даже в самой странности своей его старинная, повитая столетиями и на чудо взлелеянная самими потрясениями архитектура и как, напротив того, легка и изящна архитектура другого города, созданного одним столетием. При мысли о каком-нибудь германском городке ученик тотчас должен представить себе тесные улицы, небольшие, узенькие и высокие домики, где все так просто, так мило, так буколически, и рядом с ними угловатые, просекающие острием воздух шпицы церквей. При мысли о Риме, где глухо отозвался весь канувший в пучину столетий Древний мир, у него должна быть неразлучна с тем мысль о зданиях-исполинах, которые, свободно поднявшись от земли и опершись на стройные портики и гигантские колонны, дряхлеют, как бы размышляя об утекших событиях великой своей юности. Для этого не мешает чаще показывать фасады примечательнейших зданий: тогда необыкновенный вид их врежется в памяти, притом это послужит невольно и нечувствительно к образованию юного вкуса.

---

История изредка должна только озарять воспоминаниями географический мир их. Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать

область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей.

---

Слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный; все поразительные местоположения, великие явления природы должны быть окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить к слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не может удержаться в голове отрока, особливо, если она распространена в мелочах. Дитя тогда только удерживает систему, когда не видит ее глазами, когда она искусно скрыта от него. Его система — интерес, нить происшествий или нить описаний. Все, что истинно нужно, что более относится к нашей жизни, что более можем мы впоследствии приспособить к себе, все это уже интересно. Да впрочем, что не интересно в географии? Она такое глубокое море, так раздвигает наши самые действия и, несмотря на то, что показывает границы каждой земли, так скрывает свои собственные, что даже для взрослого представляет философически-увлекательный предмет. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его, но чтобы это никак не обременило памяти, а представлялось бы светло нарисованною картиною. Богатый для сего запас заключается в описаниях путешественников, которых множество и из которых, кажется, доныне в этом отношении мало умели извлекать пользы.

---

Леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за не способного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?

*1829*

# О преподавании всеобщей истории

## I

Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развилось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями: вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать в буквальном смысле. Она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывают происшествия, или система, создающаяся в голове независимо от фактов и к которой после своевольно притягивают события мира. Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед которою и государства и события — временные формы и образы! — Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями Промысла, которые так непостижимо на нем означались. Интерес необходимо должен быть доведен до высочайшей степени, так, чтобы слушателя мучило желание узнать далее; чтобы он не в состоянии был закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сделал это, то разве с тем только, чтобы начать сызнова чтение; чтобы очевидно было, как одно событие рождает другое и как без первоначального не было бы последующего. Только таким образом должна быть создана история.

## II

Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться пред глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народы со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносилися ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком были они в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение перерыть множество иногда самых неинтересных книг. — Но что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах.

## III

Преподаватель должен призвать в помощь — географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, то есть для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать мно<го>е, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенной характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно установляют, но нечувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священны, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастие на народ.

## IV

События и эпохи великие, всемирные, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом плане со всеми своими следствиями, изменившими мир; не так, как делают

иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествие есть великое, тем и отделываются или приводят близорукие следствия в виде отрубленных ветвей, тогда как должно развить его во всем пространстве, вывесть наружу все тайные причины его явления и показать, каким образом следствия от него, как широкие ветви, распростираются по грядущим векам, более и более разветвляются на едва заметные отпрыски, слабеют и наконец совершенно исчезают или глухо отдаются даже в нынешние времена, подобно сильному звуку в горном ущельи, который вдруг умирает после рождения, но долго еще отзывается в своем эхе. Эти события должно показать в таком виде, чтобы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории; что на них она держится, как земля держится на первозданных гранитах, как животное на своем скелете.

## V

Теперь об образе преподавания. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, приучается презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его, как-то: преданность к Религии

и привязанность к Отечеству и Государю, превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим, к сожалению, нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становится понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в своем рассказе всегда будут соблюдать цель и целость. А это необходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено без цели.

## VI

План же для преподавания, после многих наблюдений, испытаний себя и слушателей, я полагаю лучшим следующий:

Прежде всего почитаю необходимым представить слушателям эскиз всей истории человечества, в немногих, но сильных словах и в нераздельной связи, чтобы они вдруг обняли все то, о чем будут слышать, иначе они не так скоро и не в такой ясности постигнут весь механизм истории. Все равно как нельзя узнать

совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь, как на ладони. Я набрасываю здесь эскиз для того, чтобы показать вместе, в каком виде и в какой связи должна быть история.

Прежде всего я должен представить, каким образом человечество началось Востоком. Я должен изобразить Восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таинственность, так непонятную для простого народа, кроме религии евреев, между коими сохранилось чистое, первобытное видение истинного Бога; как эти древние государства оградились друг от друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; как один только народ финикийский, первые мореплаватели Древнего мира, приводил невольно своею промышленностью в сообщение эти почти неподвижные государства, и каким образом первый всемирный завоеватель, Кир, с свежим и сильным народом, персами, подверг весь Восток своей власти и насильно соединил разнохарактерные народы; но нравы, религия, формы правления остались в государствах те же, цари только обратились в сатрапов, и весь Восток видел над собою одну верховную власть царя царей, персидского повелителя; как постепенно от взаимного сообщения эти народы теряли свою особенность и национальность, и вместе с своим царем царей, почти Богом, невидимым для народа, поверглись в азиатскую роскошь. — Здесь я останавливаюсь и обращаюсь к другой части Древнего мира, к Европе: я должен изобразить, как возник в ней этот цвет его, народ греческий, с живым, любопытным умом, республиканским духом, совершенно противоположными формами правления, поэтической религией, ясными, живыми идеями, так противоборствующими важной таинственности Востока; как развернулось у них просвещение в таком необыкновенном блеске, и как наконец один честолюбивый грек подверг их своей монархической власти, как этот великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнесть везде греческое просвещение. И вот, чтобы связать теснее три части света, строится город Александрия; герой умирает, всесветная монархия падает вместе с ним. Но подвиги его живы, плоды зреют: настает знаменитый александрийский век, когда весь Древний мир толпится у гавани александрийской, когда греческие ученые

во всех городах, и национальность опять исчезает, народы опять смешиваются! А между тем в Италии, почти невидимо от всех, созревает железная сила римлян.

Я должен изобразить, как этот суровый, воинственный народ покоряет одно за другим государства, обогащается награбленными богатствами, поглощает весь Восток. Легионы его проникают в те земли Европы, где владение уже не доставляет ничего нужного для человека. Уже Цезарь заносит ногу в Британию, римские орлы на скалах Альбиона... между тем неведомые степи Средней Азии извергают толпу неведомых народов, которые теснят и гонят пред собою других, вгоняют их в Европу, сами несутся по пятам их и грозно останавливаются на севере, как зловещая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые от римлян германскими лесами и непроходимыми болотами. А между тем уже ни одного не остается независимого царства. Весь мир разделен на римские провинции. Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делаются римлянами, и ни одного настоящего римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром, — в недрах его неприметно совершается великое событие: в ветхом мире зарождается новый! воплощается неузнанный миром Божественный Спаситель его; и вечное слово, не понятое властелинами, раздается в темницах и пустынях, таинственно выжидая новых народов. Наконец на весь Древний мир непостижимо находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвещение не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, все обращается в мелкий, ничтожный этикет, жалкую развратную бесхарактерность. А в Азии между тем новый толчок, как электрическая искра, пробегает по всей цепи: один народ теснит и гонит перед собою другой, который, в свою очередь, сгоняет третий, и самые крайние появляются уже на римских границах, тогда как жалкие победители мира употребляют все усилия спасти себя: сначала откупаются золотом, потом из них же составляют себе войско защитником, потом отдают им одну за другою все свои провинции, наконец передают им Рим, и те, которые сохраняли еще слабые остатки познаний, бегут на Восток,

прочие, невежественные и слабые, исчезают в сильных толпах народа.

Я должен изобразить, как начинается новая жизнь в Европе; как основываются и принимают крещение дикие государства в границах, назначенных природою, с феодальными правами, с вассальными владениями, и как могущественный папа, прежде только римский первосвященник, делается Государем, незаметно присоединяет к своей сильной религиозной власти светскую. Между тем на Востоке остатки римлян теснятся и покоряются новым сильным народом, мгновенно, как бы фантастически возродившимся на своем каменном Аравийском полуострове, подвигнутым до исступления религией, совершенно восточной, основанной полупомешанным энтузиастом Магометом; как этот народ, с азиатской саблей в руках, распространял магометанство на место прежних остатков греческого просвещения, и как изумительно, быстро этот чудесной народ из завоевателей делается просветителем, развертывается во всем блеске, с своей роскошной фантазией, глубокими мыслями и поэзией жизни, и как он вдруг меркнет и затмевается выходцами из-за моря Каспийского, которым оставляет в наследство одно магометанство, как почти в то же время в Европе корсары северных морей, норманны, с неслыханною дерзостью, в малом числе, грабят и овладевают целыми государствами, наконец переменяют дикую религию свою на христианство и прибавляют Европе свою силу и нравы; а между тем папа мало-помалу делается неограниченным монархом всей Европы, и самый немецкий Император, которого уважали все народы, не смеет противустать ему, и как по мановению его целые народы, вассалы, короли, оставляют свои земли, богатства, кладут пламенный Крест на рамена и спешат с энтузиазмом в Палестину; как вся Европа, двинувшись с мест, валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, христианство с магометанством; как это великое событие порождает рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозной христианской век; как энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею Божественного Спасителя; и как в то же время невидимо от всей Европы совершается великий

эпизод всемирной истории: созидается беспримерная по величине монархия Чингис-ханова, поглотившая все азиатские земли, неизвестные европейцам. В Европе одни только монастыри имеют землю и оседлость; все обратилось в рыцарство, все кочует, все неспокойно: каждый вместе и воин и полководец, и вассал и повелитель, и слушается и не слушается, — век величайшего разъединения и вместе единства! Каждый управляется своей волей, и между тем все согласны в одной цели и мыслях. Бедные поселяне, вытерпев чашу бед, наконец решаются соединиться независимо от своих повелителей в города. Возникает среднее сословие граждан, города начинают богатеть, и на Севере Европы, в отпор рыцарям, образуется Ганзейский Союз, связывающий всю Северную Европу своей торговлей. Между тем на юге возникает порождение крестовых походов — страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою. Духовный деспот употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света. Наконец я должен представить, как вдруг расширился круг действий; как пала торговля Средиземного моря. Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота; Атлантический и Восточный океаны в их власти; и в то же время папские миссии проникают в Северо-Восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности. Между тем в Европе понемногу сомневаются в справедливости папской власти, и как прежде торговлю Венеции убил бедный генуэзец, так власть папы сокрушил августинский монах Лютер. Как образовалась эта мысль в голове смиренного монаха, как сильно и упрямо защищал он свои положения! Как, при падении своем, папа становился грознее и изобретательнее: ввел ужасную инквизицию и страшный невидимою силою орден иезуитский, который вдруг рассыпался по всему свету, проник во все, прошел везде, и тайно сообщался между собою на двух розных концах мира. — Но чем грознее становился папа, тем сильнее против него работали типографские станки. Вся Европа разделилась на две партии, и эти партии наконец схватились за оружие,

и война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу. Но уже не копьями и не стрелами производилась она. Нет! пушками, ядрами, громом и огнем, ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнее. Я должен изобразить, как изменилась Европа после этих войн. Государства, народы сливаются плотнее в нераздельные массы. Нет того разъединения власти, как в Средние века. Она сосредоточивается более в одном лице. И как оттого сильные характеры становятся виднее, круг Государей, министров, полководцев обширнее! Сам собою, невольно завязывается в Европе политический союз, полагающий защищать оружием неприкосновенность каждого государства. А между тем неутомимые купцы-голландцы, вырвавшие свою землю у моря, овладевают островами Восточного океана, берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга и, как прежде Венеция, схватывают торговлю всего мира, пока один необыкновенный Государь не подрывает ее и не покушается на неприкосновенность Государств. Я должен изобразить блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями, когда Париж сделался всемирною столицею, куда съезжались со всей Европы, и французский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи распространились по всей Европе. Но, нарушивши неприкосновенность чужих владений, этот честолюбивый король хотя и расстроивает торговлю голландцев, но вместе разоряет свое государство и сам убивает свое величие. Как быстро пользуются этим островитяне британские, которые до того медленно, но верно близились к своей цели, наконец очутились почти вдруг обладателями торговли всего мира: ворочают миллионами в Индии, собирают дань с Америки, и где только море, там британский флаг. Им преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движеньями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата

и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее; и он, в священном трепете, видит, как Слово из Назарета обтекло наконец весь мир.

Когда история мира будет удержана в таком кратком, но полном эскизе и происшествия будут так связаны между собою, тогда ничто не улетит из головы слушателей, и в уме их невольно составится целое. Наконец этот эскиз, развившись в великом объеме, составит полную историю человечества.

## VII

После изложения полной истории человечества я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально, та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять его вдруг с начала до конца: как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало) и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего.

## VIII

Чтоб еще глубже все сказанное вошло в памяти, по окончанию курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повторение было успешнее, нужно стараться давать ему интерес и занимательность новизны. После истории всего мира и отдельно каждой земли и народа не мешает сделать обзор каждой части света и тут показать все отличие как их, так и народов, в них находящихся, чтоб слушатели сами могли вывесть результат: Во-первых, об Азии, этой обширной колыбели младенчествующего человечества — земле великих переворотов, где вдруг возрастают

в страшном величии народы и вдруг стираются другими; где столько наций невозвратно пронеслись, одна за другою, а между тем формы правления, дух народов одни и те же, все так же важен, так же горд азиатец, так же быстро воспламеняется и кипит страстями, так же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе с этим эта часть света есть земля разительных противоположностей и какого-то великого (переворота) беспорядка: еще один народ кочует беззаботно в необозримом многолюдстве с необозримыми табунами, а между тем на другом конце, где-нибудь в пустыне, исступленный изувер, изнуряя себя бесконечным постом, замышляет новую религию, которая впоследствии обхватит всю Азию, оденет народ, как непроницаемой бронею, своим исступленным вдохновением и поведет его на разрушение; и тут же, может быть, недалеко от него находится народ, уже перешедший все эти явления и кризисы, уже погруженный в роскошь, утомленный азиатским пресыщением. Только здесь может находиться та странная противоположность, которой дивимся в дереве юга, где на одной ветке, в одно время, один плод цветет, между тем как другой наливается, третий зреет, четвертый, переспелый, валится на землю.

Потом о Европе, история которой означена совершенно противоположною характерностью, где существование народов, напротив, долго и мощно; где все, напротив, порядок и стройность: народы разом подвигаются такт в такт, как регулярные европейские войска; государства все почти в одно время растут и совершенствуются; при всех характерных отличиях наций, в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством. И в этой небольшой части света решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искус<с>тво; самая бедность и скупость ее вызвали наружу весь безграничный мир, скрывавшийся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума. В этой одной только части света могущественно развился высокий гений христианства, и необъятная мысль, осененная небесным знамением Креста, витает над нею, как над отчизною.

Потом об Африке, представляющей, в противоположность Европе, смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала

над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную; где ни один коренной туземной народ не прожил мощною жизнью и не отбросил от себя ярких лучей на мир; где даже переселенцы с других земель напрасно вступали в борьбу с палящею природою африканскою; чем далее погружались они в Африку, тем глубже повергались в чувственность.

Наконец, об Америке, этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций, где столкнулись три противуречащие части света, смешались, но еще не слились в одно, и потому еще не имеющей покаместь никакого единства, даже единства религии; невзирая на частную характерность, не получившей общего характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей из первоначальных стихий, разложенных начал; несмотря на независимые государства, все еще похожей на колонию.

Быстрый обзор истории каждой части света, во всей ее резкой характерности, не поверхностный, но глубокий — результат веков и событий, потому необходим, что он наводит на мысли и заставляет слушателей думать. Ум тогда быстрее развивается, когда сам предлагает себе великий и поэтический вопрос. Этот обзор каждой части тем более еще необходим, что показывает часто с новой стороны те же предметы. А для полного уразумения нужно, чтобы предмет был освещен со всех сторон. Только тогда вы знаете хорошо историю, говорит Шлецер, когда знаете ее и вдоль и поперег, и вкось, и во всех направлениях.

## IX

И для того в виде эпилога после окончания курса хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу веков. Я должен непременно показать, чем ознаменовано начало, средина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избегнуть монотонности числ, я назову его именем того народа, или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира. Эта лестница столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слушателей современности событий, лиц и явлений.

## X

Мне кажется, что такой образ преподавания будет действительнее и ближе к истине. По крайней мере, глубоко понимающий величие истории увидит, что он не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира, что составить эскиз общий, полный истории всего человечества, хотя даже столь краткий, как здесь, можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории, и что одна любовь к науке, составляющей для меня наслаждение, понудила меня объявить мои мысли; что цель моя — образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развертывает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великого Государя, чтобы ни в счастии, ни в несчастии не изменили они своему долгу, своей вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю!

*1832*

# Скульптура, живопись и музыка

Благодарность Зиждителю мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы Им украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее сдвинем наши желания и — первый кубок за здравие скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнию. Она — ясный призрак того светлого греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков, скрылся уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир, увитый виноградными гроздиями и масличными лозами, гармоническим вымыслом и роскошным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн, на площадь, кипящую живым, своенравным народом, в рельеф, украшающий чашу пиршества, изображающий всю вьющуюся вереницу грациозной мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны несутся, ударяя в ладони. Посейдон выходит из глубины своей прекрасной стихии — серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподобной красоте женщины, — этот мир весь остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто кроме ее не могло так живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В каком бы ни было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим, свободным своим положением. Все в ней слилось в красоту и чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самым их страданием, — так чувство красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только быстрые

движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас, испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и, наконец, красоту, погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собою негу и самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств, которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни. Она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота, которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью.

Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство воздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское. Его порывом они развились и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... светлее сияй, покал мой, в моей смиренной келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как осень, в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна, увитого виноградом, смиренная и обширная, как вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смела выразить твоих небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те таинственно-земные черты, вглядываясь в которые слышишь, как наполняет душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане, длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит, сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице наслаждения, — взор его дышит наслаждением не здешним. Ты не была выражением жизни какой-нибудь нации, — нет, ты была выше: ты была выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее, задумчивую,

опустившую на руку прекрасную свою голову: как вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого, безграничного мира, для названия которых нет слов. Все неопределенное, что не в силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти, понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них: духовное невольно проникает все. Страдание выражается живее и вызывает сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным.

Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по золотым краям его, звонкая пена, — ты сверкаешь в честь музыки. Она восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг, за одним разом, отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, — он сам превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своею жизнию, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихий восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души. Рассматривая мраморное произведение скульптуры,

дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку — в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром! Пусть при могущественном ударе смычка твоего смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй нас, божество наше! Великий Зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие Своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку Он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал Он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, — и весь Древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал Он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал Он могущественную музыку — стремительно обращать нас к Нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?

*1831*

# Последний день Помпеи

*(Картина Брюллова)*

Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии. Не стану говорить о причине этого необыкновенного застоя, хотя она представляет занимательный предмет для исследования; замечу только, что если конец XVIII столетия и начало XIX века ничего не произвели полного и колоссального в живописи, то зато они много разработали ее части. Она распалась на бесчисленные атомы и части. Каждый из этих атомов развит и постигнут несравненно глубже, нежели в прежние времена. Заметили такие тайные явления, каких прежде никто не подозревал. Вся та природа, которую чаще видит человек, которая его окружает и живет с ним, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великие художники, достигли изумительной истины и совершенства. Все наперерыв старались заметить тот живой колорит, которым дышит природа. Все тайное в ее лоне, весь этот немой язык пейзажа подмечены, или, лучше сказать, украдены, вырваны из самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя все произведения этого века похожи более на опыты, или, лучше сказать, записки, материалы, свежие мысли, которые наскоро вносит путешественник в свою книгу с тем, чтобы не позабыть их и чтобы составить из них после нечто целое. Живопись раздробилась на низшие ограниченные ступени: гравировка, литография и многие мелкие явления были с жадностью разрабатываемы в частях. Этим обязаны мы XIX веку. Колорит, употребляемый XIX веком, показывает великий шаг в знании природы. Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в XIX веке определили слияние человека с окружающею природою: как в них делится и выходит окинутая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей! как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде вовсе их не подозревали! и вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка

в предметах обыкновенных, бесчувственных! Но что сильнее всего постигнуто в наше время, так это освещение. Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея слишком глубокого достоинства, показывающего гений, необыкновенно приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не поразить, хотя, внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необширное познание искусства.

Возьмите все беспрестанно являющиеся гравюры, эти отпрыски яркого таланта, в которых дышит и веет природа так, что они кажутся как будто оцвечены колоритом. В них заря так тонко светлеет на небе, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени. Рассматривая их, кажется, боишься дохнуть на них. Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целью и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, торопится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще, во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, то их ложность и неуместность тотчас видна всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия. Но все это, однако ж, не относится к нынешнему делу. Должно признаться, что в общей массе стремление к эффектам более полезно, нежели вредно: оно более двигает вперед, нежели назад, и даже в последнее время подвинуло все к усовершенствованию.

Желая произвести эффект, многие более стали рассматривать предмет свой, сильнее напрягать умственные способности. И если верный эффект оказывался большею частию только в мелком, то этому виною безлюдие крупных гениев, а не огромное раздробление жизни и познаний, которым обыкновенно приписывают. Притом стремление к эффектам обделало многие мелкие части чрезвычайно удовлетворительно и резкою своею очевидностию сделало их доступными для всех. Не помню, кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь XIX века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив, никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена; никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX веке. И его шаги уже, верно, будут исполински и видимы всеми от мала до велика.

Картина Брюллова может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасные создания, к которым принадлежат «Видение Валтазара», «Разрушение Ниневии» и несколько других, где в страшном величии представлены великие катастрофы, которые составляют совершенство освещения, где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верхушкам голов молящегося народа. Общее выражение этих картин поразительно и исполнено необыкновенного единства; но в них вообще только одна идея этой мысли. Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение. Мы чувствуем только страшное положение всей толпы, но не видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого разрушения. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюллов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и как будто нас самих захватила в свой мир. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом: он схватил молнию и бросил ее целым потопом

на свою картину. Молния у него залила и потопила все, как будто бы с тем, чтобы все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он кинул сильно такою рукою, какою мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств; этот гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости и бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря каменьев; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку, этот ребенок, вонзивший в зрителя взор свой; этот несомый детьми старик, в страшном теле которого дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука окаменела в воздухе с распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бежать и непреклонная на моления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель; толпа, с ужасом отступающая от строений и со страхом, с диким забвением страха взирающая на страшное явление, наконец знаменующее конец мира; жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий взгляд свой на весь мир, — все это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего.

Я не стану изъяснять содержание картины и приводить толкования и пояснения на изображенные события. Для этого у всякого есть глаз и мерило чувства; притом же это слишком очевидно, слишком касается жизни человека и той природы, которую он видит и понимает, потому-то они доступны всем от мала до велика; я замечу только те достоинства, те резкие отличия, которые имеет в себе стиль Брюллова, тем более что эти замечания, вероятно, сделали немногие. Брюллов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры, несмотря на ужас всеобщего события и своего положения, не вмещают в себе того дикого ужаса, наводящего содрогание, каким дышат суровые создания Микеля-Анжела. У него нет также того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своею красотою. У него не так, как у Микеля-Анжела, у которого тело только служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания,

ее вопль, ее грозные явления; у которого пластика погибала, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у которого являлся не человек, но только его страсти. Напротив того, у Брюллова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огнённые, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура — та скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними, — что скульптура эта перешла наконец в живопись и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человек исполнен прекрасно-гордых движений; женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка во всей красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты, — прекрасная, как женщина. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен. Все общие движения групп его дышат мощным размером и в своем общем движении уже составляют красоту. В создании их он так же крепко и сильно правит своим воображением, как житель пустыни арабским бегуном своим. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще во всей картине выказывается отсутствие идеальности, то есть идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство. Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не разрушение, не смерть страшны — напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее; его женщина дышит всем, что есть лучшего в мире. Ее глаза, светлые, как звезды, ее дышащая негою и силою грудь обещают роскошь блаженства. И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели, наряду

с последним презренным творением, которое недостойно было и ползать у ног ее. Слезы, испуг, рыдание — все в ней прекрасно.

Видимое отличие или манера Брюллова уже представляет тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шаг. В его картинах целое море блеска. Это его характер. Тени его резки, сильны; но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него, так же как в природе, незаметны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекрасного тела у него как будто просвечивает и кажется фарфоровою; свет, обливая его сиянием, вместе проникает его. Свет у него так нежен, что кажется фосфорическим. Самая тень кажется у него как будто прозрачною и, при всей крепости, дышит какою-то чистою, тонкою нежностию и поэзией.

Его кисть остается навеки в памяти. Я прежде видел одну только его картину — семейство Витгенштейна. Она с первого раза, вдруг, врезалась в мое воображение и осталась в нем вечно в своем ярком блеске. Когда я шел смотреть картину «Разрушение Помпеи», у меня прежняя вовсе вышла из головы. Я приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, и на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, я позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюллова; я даже позабыл о том, есть ли на свете Брюллов. Но когда я взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело слово: «Брюллов!» Я узнал его. Кисть его вмещает в себе ту поэзию, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знают и видят даже отличительные признаки, но слова их никогда не расскажут. Колорит его так ярок, каким никогда почти не являлся прежде, его краски горят и мечутся в глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусом ниже Брюллова, но у него они облечены в ту гармонию и дышат тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признак, и что выше всего в Брюллове, — так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает: все у него, начиная от общей мысли и главных фигур, до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художник прежних времен всегда почти избирал себе какую-нибудь одну сторону и в нее

погружал весь талант свой, развивавшийся оттого в необыкновенном и каком-то отвлеченном величии. Рафаэль обыкновенно писал одни только лица, одно развитие на них небесных страстей и помышлений; все прочее, даже одежду, бросал он доделывать ученикам своим. Все другие великие художники, настроенные высокостью религиозною или высокостью страстей, небрегли об окружающем и второстепенном в их картинах. У них небо является всегда бурое; облака похожи более на копны сена или на гранитные массы; дерево или детски однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюллова, напротив, все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него XIX век. Может быть, Брюллов, явившись прежде, не получил бы такого разностороннего и вместе полного и колоссального стремления. Оттого-то его произведения, может быть, первые, которые живостью, чистым зеркалом природы доступны всякому. Его произведения первые, которые может понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирною славою, и высшею степенью их есть до сих пор — «Последний день Помпеи», которую, по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного, можно сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение тройственного мира искусств: живописи, поэзии и музыки.

*1834, августа*

## <Что такое долг>

Долг — Святыня. Человек счастлив, когда исполняет долг. Так велит долг, говорит он, и уже покоен.

# <О гневе и безгневии>

*К А. О. См<ирно>вой*

* Безгневие есть преодоление естества, которое подвигами <и потами> своими ко всяким ударам обид делается нечувствительно[1]. Кротость есть неподвижное души состояние, которое как в бесчестии, так и в чести одинаким образом пребывает. *Начало безгневия* есть молчание уст при возмущении сердца. *Средина* оного есть безмолвие помыслов при крайнем[2] смятении душевном. *Конец* же оного есть неколебимое при порывистом нечистых страстей дыхании душевное спокойствие.

* Жалостливое[3] во гневливых людях приметил я зрелище, от потаенной некоторой гордости у них случающееся. Ибо они и на то гневались, что изнемогали от гнева. Удивлялся я, видя, что у них порок за пороком следовал, и сожалел, что грех грехом отмщевали, и весьма чудился бесовскому коварству, которое доводило их почти до того, что они о жизни <своей> отчаевались.

Надлежит прежде всего человеку противустоять обману чувств. Наносящий оскорбление наносит его легко, часто равнодушно, и редко с желанием сильно оскорбить. Но приемлющий оскорбление приемлет его тяжело, неравнодушно, как бы подставляет обе горсти для получения небольшой крохи, и видит все в большем виде. Все сие весьма естественно: раздраженная нерва тронута — тронута и страсть. А страсть слепа и отнимает у глаза надлежащую ясность для того, чтобы увидеть дело в настоящем виде. Стало быть, тут уже действует обман чувств. Сие нужно помнить при всяком получаемом нами оскорблении, дабы действовать не столько противу самого оскорбления, сколько против обмана чувств.

Сколько есть умных людей, которые говорят: я вижу хорошо дело, мой разум, и глаза и уши говорят, что я не ошибаюсь. Но никто не хочет вспомнить [того], что видеть таким образом предмет может один только тот, который сверх умения проницать

* *Звездочками отмечены выписки из «Лествицы».*

1 *В источнике:* нечувствительным

2 *В источнике:* в крайнем

3 *В источнике:* Жалостное

победил в себе все страсти до единой, и победил до такой степени, что какое бы ему оскорбление не случилось, ни одна нерва его не будет раздражена или потрясена. Таковый только может сказать: я вижу действительно предмет таким, каков он есть. Кто же сколько-нибудь страстен, тот да сделает прежде всего таковой себе запрос: не обманываюсь ли я? И запрос сей должен повторить несколько раз, хотя бы и разум его, и уши и глаза говорили, что он точно не обманывается.

Иногда причиной гнева бывает беспамятство и забывчивость наша. Часто мы знаем весьма хорошо оскорбившего нас человека, определили уже давно себе его характер, знаем, за что именно на него не должно сердиться, знаем, что у него недостает такого-то чутья, такого-то чувства, такого-то нерва — и при всем том при первом оскорблении от него войдем в гнев, точно как будто бы только сегодня его узнали, и как бы ни одна из слабых сторон его нам неизвестна.

В таких случаях часто пробуждается в нас желание непреодолимое оправдаться, показать такому человеку его ошибку, доказать ему ее, чтобы он даже был уколот своею несправедливостью, что все еще более раздувает иногда раздоры и недоразумение обоюдное. Ибо по недостатку чутья много оскорбившему не будет понятно, его остановит, вместо главного смысла, одно обидное слово или выражение, и сего одного уже бывает достаточно для того, чтобы ослепить совершенно ему глаза, которые, может быть, и увидели бы хотя не вполне свою несправедливость.

Многие в намерении предотвратить неудовольствие советуют держаться следующего правила. Перед тем как случится иметь объяснение с каким бы то ни было человеком, нам известным, нужно припомнить все до последнего его недостатки и держать их неотлучно в голове во все время разговора с ним. Тогда не будешь поражен ничем неожиданным и нечаянным с его стороны, или, лучше, не дашь даже и обнаружиться чему-либо неожиданному.

Некто упражнявшийся в преодолении гневного расположения прибегал к следующему средству: когда он чувствовал в душе своей гнев, тогда не удерживал его, но давал ему свободно излиться; делал он сие так, взяв бумагу, писал на ней в виде послания

к оскорбившему его все, что мог только внушить ему самый неистовый гнев, в оскорбительнейших и жесточайших выражениях. И когда таким образом весь гнев его излился на бумагу, он прятал ее на несколько дней. По прошествии некоторого времени обратившись к написанному, он приходил всякий раз почти в ужас от злобного и негодующего духа, которым было исполнено письмо его. Просил Бога со слезами простить ему сии излишества, обращал гнев против себя и принимался за другое письмо, в котором старался сколько возможно обвинить себя во всем. Письмо сие, подобно первому, прятал на несколько дней и потом по прошествии некоторого времени сличал оба письма. Тогда чрез столкновение столь противуположных излишеств с обеих сторон открывалась ему сама собой разумная середина, а с тем вместе открывался и настоящий путь, как он должен был действовать.

* Текущий к бесстрастию и Богу всякий тот день почитает для себя потерянным, в который никто его не злословит. Как[1] колеблемые от вихря[2] древеса глубоко свои корни в землю пущают, тако и пребывающие в сем состоянии[3] имеют крепкие и непоколебимые в себе души.

[1] *В источнике:* Якоже

[2] *В источнике:* от вихрей

[3] *В источнике:* пребывающие в послушании

# Правило жития в мире

Начало, корень и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога. Любить Бога следует так, чтобы все другое, кроме Него, считать второстепенным и не главным, чтобы законы Его были выше для нас всех постановлений человеческих, Его советы выше всех советов, чтобы огорчить Его считать гораздо важнейшим, чем огорчить какого-нибудь человека. Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга; а мы даже и так Его не любим, как любим их. Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается к ним более, чем к Самому Богу. Любовь последнего есть один оптический обман, плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. Такая любовь не может поступать разумно, потому что очи ее слепы. Любовь же есть свет, а не мрак. В любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокойствие, где тьма, там и возмущение. И потому любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш характер и самих нас делает твердыми; а любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвердыми. И потому прямо от Божьей любви должна происходить всякая другая любовь на земле.

Любовь земная, происшед от Божией, становится чрез то возвышенней и обширней, ибо она велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим: она велит нам оказывать не только одну вещественную помощь, но и душевную, не только заботиться о его теле, но и о душе, скорбеть на него не за то, что он наносит нам неприятности, но за то, что он сим поступком наносит несчастие душе своей. Ибо грех его лежит и на нас: мы должны были его поучить, наставить, образовать, воспитать. Но как мы можем это сделать, будучи сами слабы и немощны? Путем и дорогою Божественной любви все возможно; без нее все трудно. Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде себя.

Как же воспитать себя? Воспитанье должно происходить в беспрестанном размышлении о своем долге, в чтении тех книг, где изображается человек в подобном нам состоянии, круге,

обществе и звании, и среди таких же обстоятельств, — и потом в беспрестанном применении и сличении всего этого с законом Христа: в чем они не противуречат Христу, то принимать, в чем не соответствуют Его закону, то отвергать; ибо все, что не от Бога, то не есть истинно. Что же найдем сомнительным и не знаем, как решить, то до времени следует отложить и никак не смущаться им: это признак, что мы еще не готовы, и что глаза наши получат ясное познание вещей после, по мере нашего усовершенствования. От споров, как от огня, следует остерегаться, как бы ни сильно нам противуречили, какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раздражаться, ни доказывать напротив; но лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить все сказанное и обсудить его хладнокровно. Но и обсудивши не говорить, если чувствуем, что не можем сказать так, чтобы оно именно было доступно тому человеку, с которым говорим, или же если чувствуем, что не можем сказать хладнокровно и безгневно. Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет. Итак, воспитать другого и подать ему душевную истинную помощь мы можем тогда, когда достигли сами до высочайшего незлобия, когда никакие оскорбления не могут оскорбить нас. Тогда и разум наш получает свет и может наблюдать поступки других, видеть их прегрешения и научать нас, как избавляться от них. Тогда и Бог помогает нам на всяком шагу, внушая действительные средства противу всего. На сем основана и жизнь: учиться самому и научать других, и самому вознестись и другого вознести к Богу.

Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к Нему. Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом. От того и в молитвах просится ежедневно, дабы дал нам Бог сердце трезвящееся, бодр ум, мысль светлу и отгнал бы от нас дух уныния.

Иногда душевные беспокойства и смущения, схожие с унынием, бывают Божиими попущениями, насылаемыми на нас для

того, чтобы испробовать и испытать, укрепились ли мы в характере; иногда же просто для того, чтобы, ища средств спастись от такого беспокойства и уныния, придумали сделать что-нибудь такое, чего бы никак не придумали прежде. Ибо Бог всячески старается нас вразумить и требует, чтобы мы употребили какое-нибудь усилие для узнания Его воли. И потому многие, воспитавшие себя среди волнений, советуют в такие минуты обратить взгляд на всю прежнюю жизнь нашу и стараться припомнить все то, что мы пропустили сделать или откладывали к другому времени, а припомнив, заняться уже не вседневными и обыкновенными делами нашими, а теми именно, которые мы пропустили сделать, и заниматься ими прилежно во все время, пока продолжается унынье и смущенье, и заняться ими вовсе не так, как бы мы их сами себе задали, но так, как бы они наложены были Богом, а не другим кем, исполняя их подобно послушнику, исполняющему беспрекословно и рабски всякое повеление своего подвигоположника и господина.

Земная жизнь наша не может быть и на минуту покойна, это мы должны помнить всегда. Тревоги следуют одни за другими; сегодня одни, завтра другие. Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу мы будем на том свете. Здесь мы должны мужественно, не упадая духом, сражаться, дабы получить больше наград, больше повышений, исполняя все как законный долг наш с разумным спокойствием, осматриваясь всякий раз вокруг себя и сверяя все с законом Христа Господа нашего. Некогда нам помышлять о робости или бегстве с поля: на всяком шагу предстоит нам подвиг христианского мужества, всякой подвиг доставляет нам новую ступень к достижению Небесного Царствия. Чем больше опасности, тем сильней следует собрать силы и возносить сильней молитву к Богу. Находящийся среди битвы, не теряй сего ни на час из виду; готовящийся к битве, приготовляй себя к тому заранее, дабы трезво, бодрственно и весело потечь по дороге! Смелей! Ибо в конце дороги Бог и вечное блаженство! Но, как безумные, беспечные и недальнозоркие, мы не глядим на конец дороги, оттого не получаем ни бодрости, ни сил для путешествия по ней. Мы видим одни только препятствия, не замечая, что они-то суть наши ступени восхождения. А чаще всего мы все видим иначе: пригорок нам кажется горою, малость — великим

делом, призрак — действительностью, все преувеличивается в глазах наших и пугает нас. Потому что глаза держим вниз и не хотим поднять их вверх. Ибо если бы подняли их на несколько минут вверх, то увидели бы свыше всего только Бога и свет, от Него исходящий, освещающий все в настоящем виде, и посмеялись бы тогда сами слепоте своей.

Всякое дело и начинание да сопровождаем всегда душевной внутренней молитвой, не такой молитвой, какую мы привыкли повторять ежеденно, не входя во смысл всякого слова, но такой молитвой, которая бы излетела от всех сил нашей души и после которой, благословясь и перекрестясь, могли бы вдруг приняться за самое дело.

Никто да не приходит от того в уныние, если Бог не исполняет тот же час вслед за молитвою нашего желания и если даяние не вдруг снисходит на прошение; но напротив, тогда-то бодрей и веселей духом да молимся и действуем! Тогда-то именно да возрастает сильней наша надежда. Ибо Бог, руководясь великим смыслом, дает иному в конце то, что другому в начале. Но блажен и в несколько раз блаженней тот, которому назначено вкусить за долгие и большие труды то, что другому за меньшие: душа его больше будет приготовлена, больше достойна и может более обнять и вместить в себе блаженства, чем душа другого. «Претерпевый до конца спасется», — сказал Спаситель — и сим уже открыл нам всю тайну жизни, на которую не хотим мы даже взглянуть очами, не только проразуметь.

Не омрачаться, но стараться светлеть душой должны мы беспрерывно. Бог есть свет, а потому и мы должны стремиться к свету. Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: нетрудно быть веселу, когда вокруг нас все весело; тогда всякой умеет веселиться: и не просвещенный верою, и не имеющий никакой твердости человек, и не христианин, и язычник тогда умеют быть спокойными и веселиться. Но достоинство христианина в том, чтобы и в печали быть беспечальну духом. Иначе где же и отличье его от язычника.

Все да управляется у нас *любовью к Богу*. Да носится она вечно, как маяк пред мысленными нашими глазами! Блажен, кто

начал свои подвиги прямо с любви к Богу. Он быстрее всех других полетит по пути своему и легко победит все то, что другому кажется непреодолимым и невозможным. Весь мир тогда предстанет пред ним в ином и в истинном виде: к миру он привяжется потому только, что Бог поместил его среди мира и повелел привязаться к нему; но и в мире возлюбит он только то, что есть в нем образ и подобие Божие. И земной любви он поклонится не так, как грубый человек поклоняется образу, считая образ за Самого Бога, но так, как поклоняется образу просвещенный верою человек, считающий его за одно бледное художественное произведение, поставленное только для напоминания, что нужно возноситься к Тому, Чьего образа невозможно увидеть нашими бренными глазами. Равным образом и на всякую земную любовь нашу, как бы чиста и прекрасна она ни была, мы должны взирать, как на одни видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. Это только одни искры, одни края той великолепной ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная любовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не может вместить Самого Бога.

# О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии

## О гневе

Побеждать гнев гораздо труднее тому, кто еще не подозревает в себе этого греха. А кто уже узнал, что в нем есть гнев, тому легче. Он уже знает, против чего ему следует действовать, кто его истинный враг, он уже чувствует, что во всех неприятных и раздражающих случаях и обстоятельствах следует ему идти прежде всего не против случаев и обстоятельств, а *против собственного гнева.* Если только он будет это беспрерывно помнить, и, так сказать, видеть перед собою, и приготовляться на битву с гневом своим, а не с чем-либо другим, тогда он его непременно преодолеет, а обстоятельства и случаи, производящие гнев, исчезнут потом сами собою.

Многие не могут выносить несправедливых упреков. *Несправедливый упрек* им кажется чем-то ужасным; но кажется гораздо хуже и ужаснее заслужить *справедливый упрек:* мы тогда вдвойне упрекаемся и людьми и собственной совестью. Несправедливый же упрек должен производить по-настоящему противуположное действие: здесь даже чувствуется тайное удовольствие, видя, что в самом деле чисто на душе и посредством людских обвинений только больше и больше выигрываешь пред Богом. Впрочем, не только пред Богом, но даже в здешнем земном пребывании пред светом и пред людьми ими скорее выигрываешь, чем проигрываешь: кто невинен и ни в чем не обвиняется, тот даже ни в ком и участия к себе не возбуждает, потому что всякий из нас в чем-нибудь невинен. Но кто, будучи невинен, обвиняется, к тому все чувствуют участие. Но если он не только, будучи невинен, обвиняется, но еще переносит с терпением обвиненье, и не только переносит с терпеньем, но еще плотит великодушием за несправедливые упреки, тогда он производит изумление к себе

во всех совершенно, даже в людях дурных и неспособных изумляться ничему прекрасному. Итак, несправедливые упреки могут только послужить к увеличению наших достоинств и доставить нам больше средств к приобретению всеобщей любви, не говоря уже о наградах небесных.

Многие затрудняются тем, что не знают, как отвечать на упреки, потому что обыкновенно упрекающие несправедливо любят, чтобы им отвечали, если же они к тому еще злобны, то любят даже, чтобы их раздражали противуречиями или гневными словами, чтобы этим подавать себе вновь повод и случай к озлобленью и упрекам. В таком случае нужно поступать так, чтобы не выставлять в словах и ответах своих ни свою невинность, ни их злобу. Вообще слов как можно поменьше, а умеренности и хладнокровия в них как можно побольше. Лучше всего отвечать таким образом: «Хотя мне кажется, что я невинен, но как меня уже обвиняют, то, вероятно, во мне точно есть что-нибудь такое, что подало повод к обвинению. Как бы то ни было, но ни один человек не может сказать: я невинен. Поэтому я лучше сделаю, если вместо того, чтобы отвечать теперь же на обвинение, подумаю наедине потом, обсужу, взгляну на себя и пр.». Таким ответом, кроме того, что можно прекратить всякий разговор, можно еще выиграть время, в продолжение которого простынет всякая горячность.

Некоторые чувствуют *гнев против несправедливых суждений.* Не сердиться на то, что другой произносит ошибочные, пристрастные или непохожие на наши сужденья, так же странно, как если бы мы стали сердиться на иностранца за то, что он говорит другим языком, не похожим на наш, а нашего языка не понимает. Прежде всего следует представить себе живо характер и качества того лица, с которым говоришь; подумать: может ли он даже говорить иначе? не есть ли это уже несчастная привычка его, а привычка — вторая натура, привычку ему самому трудно победить, если ж он к тому еще стар, тогда еще труднее? Стало быть, нужно быть снисходительну к таким людям. Спорить с ними никогда не следует; в случаях же, когда они в большом заблуждении, лучше подумать, как бы их исподволь, понемногу вывести из такого заблуждения и вместо того, чтобы показать им несправедливость их, что всегда бывает как-то оскорбительно, лучше отделаться такими словами:

«В этом деле трудно мне быть судьею, я очень хорошо знаю, что человеку можно на всяком шагу ошибиться. Самые умнейшие и самые лучшие из людей ошибались и даже тогда, когда думали, что менее всего могут ошибиться». Говоря таким образом, мы им не говорим, что они несправедливы, а показываем им только то, что они могут ошибиться. Выражение, что они могут ошибиться, уже не становится теперь для них обидным, ибо мы сказали, что и самые умнейшие из людей могут ошибиться. Таким образом, этими словами мы заставим их даже иногда обратиться к самим себе и подумать сурьезно о том, не ошиблись ли они. Словом, мы можем даже сделать им некоторую пользу.

Ко всякого роду *намекам* должно быть совершенно глуху. Тем более что намеки не составляют главного в речи; это эпизоды вводные, вставочные фразы, слова в скобках, а потому их нужно так и оставить вставочными фразами и словами в скобках, а отвечать только на то, что главное в речи. Вообще не следует ни в каком случае из какого-нибудь незначительного зернышка, невзначай или с умыслом оброненного слова, заводить длинный разговор. Иначе это будет то же, что раздувать искру, которая сама по себе погасла бы и которую, раздувши, можем превратить в такой пожар, что и погасить уже трудно.

*Гнев* мы чувствуем еще (и весьма часто) тогда, когда обвиняют, или бранят, или просто насмехаются над людьми, нам близкими, родными, или почему-нибудь драгоценными нашему сердцу. Хотя движенье это благородней, чем если бы мы гневались за себя, но оно гневное и потому так же несправедливо, как и первое. Прежде всего мы должны помыслить следующее: какой вред могут причинить нашим близким такие речи? Слова эти ничего не могут ни отнять от них, ни прибавить к ним; друзья и приятели наши не сделаются от этого в существе своем ни лучшими, ни худшими. Напротив, узнавши все, что говорят о них, мы можем даже иной раз предостеречь их в чем-нибудь, оказать им какую-нибудь пользу, обратить их внимание на что-нибудь точно в них находящееся слабое, недостойное их. С теми же, которые порочат друзей наших, не следует вовсе спорить. Это ни к чему не поведет, их не переспоришь; тем более, что спор они вовсе не для того затевают, чтобы узнать истину, а для того, чтобы выбранить. Никогда не следует защищать жарко друзей наших,

и особенно нужно опасаться, чтобы не распространиться слишком об их качествах похвальных и прекрасных. Этим будем еще более сердить их недоброжелателей и только восстановлять против них. Лучше вместо всяких защит хладнокровно ответить такими словами: «Я знаю, в друзьях моих есть точно многие недостатки, но кто из нас без недостатков? Все дело только в том, что человек в других видит их яснее, чем в себе. Друзья мои точно имеют такие недостатки, каких другие не имеют, но зато другие имеют с своей стороны такие недостатки, которых не имеют друзья мои. У всякого есть свои недостатки, но решить, кто из нас имеет их более, кто менее, или чьи недостатки важнее других, трудно нам, потому что нужно быть слишком беспристрастну». Сказавши такие слова, нужно стараться обратить разговор на другие предметы и всегда отделываться подобным образом.

*Гнев*, наконец, мы чувствуем еще *в разных мелочах*, в безделицах, происходящих от наших собственных слабостей, которых так много в каждом человеке. Мы способны гневаться на все: сделается ли что-нибудь не так, как мы бы хотели, — мы уже гневаемся. Произойдет ли что не в то самое время, как бы мы хотели, — мы уже гневаемся; встретим ли мы в ком-нибудь относительно нас малейшее пренебрежение, даже просто неаккуратность и неисправность — мы уже гневаемся. Словом, всякая ничтожная безделица иногда бывает в силах раздражить нас. В таком случае весьма бы хорошо было припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя, и записать их. Хорошо бы даже вести журнал, в котором записывать, когда и за что рассердился, и потом почаще его перечитывать. Это одно уже может истребить в нас расположение сердиться на *мелочи* и *безделицы*.

## О боязни, мнительности и неуверенности в себе

Недостатки эти происходят от того, что мы еще не довольно утвердились в главных правилах и положениях, которые может дать нам одно только чтенье Евангелия и Святых книг. Пока не станем мы глубже входить в значение истин Евангельских, пока не станем больше прикрепляться любовью к Богу, нежели к земле, до тех пор будет все еще в голове нашей мешаться главное

с мелким, важное с ничтожным; то и другое будет принимать в глазах наших равнозначительную важность, мы будем колебаться, которое избрать, и при всех наших прекрасных качествах душевных останемся нерешительными и слабыми. И вообще будем бояться не Бога, а человека, будем думать не о том, как бы не огорчить Бога, а о том только, как бы не огорчить человека. Но по мере того, как будем входить в познание наших главных обязанностей и долга, всякая мелочная боязнь и нерешительность в нас истребится.

Прежде всего надобно держать в вечной памяти, что во всех делах и действиях в жизни *большее нужно предпочитать меньшему*. Иначе человек затеряется непременно и не выполнит *ни большего, ни меньшего*. Если же он выполнит *большее*, тогда *меньшее* выполнится уже само собою. Так мы должны действовать, и если бы даже, действуя таким образом, мы произвели в бездельных вещах против нас неудовольствие, то сим не должно смущаться и перетерпеть временное неудовольствие. Если бы, например, случилось нам *чего-нибудь не сделать* для того человека, которого мы любим, но *не сделать* для того именно, чтобы потом *сделать* для него большее и лучшее, *отказать* ему в чем-нибудь, но отказать для того, чтобы потом ему доставить необходимейшее и нужное, в таком случае мы должны действовать твердо и нас должна одушевлять мысль, что мы действуем для его же блага. Эта цель стоит того, чтобы для нее претерпеть неудовольствие или огорчительный упрек. Нужно, чтобы любящие нас иногда встречали в нас одно решительное слово: *нет*, вместо всяких объяснений. Но это слово должно произноситься редко, именно тогда, когда дело касается главных вещей и главных истин. Так, чтобы чрез нас и другие имели больше уваженья к главным вещам и к главным истинам. Словом, чтобы всегда, везде и во всем *большее предпочиталось меньшему*. Поступая таким образом, мы привлечем к себе уважение всех, даже и тех, которые вначале противились нашим поступкам.

Людям чувствительным, имеющим душу нежную и кроткую, кажется трудным и тяжелым отказать в чем-нибудь кому бы то ни было. Им бы не хотелось даже и словом опечалить кого бы то ни было. Это происходит отчасти от того, что они и в других подозревают такую же чувствительную и нежную природу, тогда

как у большей части людей все впечатления проходят быстро и мгновенно. Рассердившись на что-нибудь вдруг, они чрез две минуты забывают даже и то, на что рассердились. Итак, из боязни ли к мгновенному позабывать о вечном? И для минутного ли жертвовать тем, что полезно не на одну минуту? Но если бы даже и случилось нам в ком-либо из близких нам встретить такую нежную, чувствительную и чуткую природу, то и тогда мы должны руководиться тою же мыслью, то есть заботиться о их продолжительном благополучии, а не минутном. Мы очень хорошо знаем, что микстура имеет противный вкус, но, однако ж, заставляем выпить ее насильно. Никто бы из нас не решился позволить даже произвести операцию близкому нам человеку, но если бы только от этого зависела жизнь его, тогда бы мы сами, несмотря на все отвращение наше, схватили в руки инструмент и совершили бы ее, если б не случилось хирурга.

## Об унынии

Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших.

Уныние одолевает иных тогда, когда *почувствуешь свою слабость и бессилие.* Уныние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и знакомо всем. Самые сильные характеры чувствовали так же свое бессилие, как и самые бессильные. Разница в том, что сильнейшим посылаются испытания сильнейшие, несчастия тягчайшие; слабейшим слабейшие. И потому в такие минуты никак не следует отчаиваться, но молиться крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами. Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все правила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого, перечитать журнал свой, все записанные там грустные и тяжелые минуты. Потом взглянуть на свои настоящие обстоятельства, на свое положение и на свои огорченья текущие. И когда обдумаем, взвесим и сравним все, тогда вдруг как молния осияет и озарит нас Самим Богом ниспосланная мысль, и мы находим тогда средства помочь тому, чему и не думали быть в силах помочь.

У человека нет своей силы; это он должен знать и помнить всегда, — и кто надеется на свою силу, тот слабее всех в мире. Мы должны быть крепки Божьей силой, а не своею. Твердейшими характерами сделались только те, которые сильно падали духом и бывали в некоторые минуты жизни бессильнейшими всех. Это-то самое и заставило их всеми силами вооружиться против собственного бессилия. Они старались, молились, беспрестанно испрашивая помощи, и таким образом окрепли и сделались твердейшими. Те же, которые нам иногда кажутся сильными потому только, что имеют грубую и жесткую натуру, не знают жалости, способны оскорблять, деспотствовать и выказывать характер свой капризами, — те кажут только одну мишуру силы, а в самом деле ее не имеют. На первом несчастии, как на пробном камне, они узнаются. При первом приступе несчастия они оказываются малодушными, низкими, бессильными, как ребенки; тогда как слабейшие возрастают, как исполины, при всяком несчастье. «Сила моя в немощи совершается», — сказал Бог устами апостола Павла.

*Уныние при первой неудаче* случается со многими. Мы ему до тех пор подвластны, покуда не уверимся совершенно и опытом, и разумом, и примерами, что первая неудача ровно ничего не значит. Неудачи посылаются нам для того, чтобы заставить нас лучше и внимательнее рассмотреть то же самое дело, чтобы пробуждать наш ум и раздвигать ему поприще. Все наши неудачи происходят от нас самих: мы или поспешили, или пропустили что-нибудь, или не рассмотрели всех качеств тех людей, с которыми нам случилось иметь дело. А потому, помолясь, следует вновь начать то же дело, исправивши все свои прежние ошибки. Если же вновь случится неудача, вновь помолиться Богу, вновь рассмотреть все обстоятельства, вновь исправить все новые наши оплошности — и, благословясь, бодро и весело приняться вновь за дело. Люди великие потому сделались великими, что не смущались никак от первой неудачи, и не только от первой, но даже от нескольких, — и тогда, когда другие, видя их терпение, смеялись над ними, как над безумными, они с новым рвеньем принимались за свое неудавшееся дело и наконец успевали в нем совершенно. Неудачи не *в препятствие* нам даются, а *на вразумление.* И умнейший человек, не наделав прежде глупостей, не сделается умным человеком.

Иногда небольшое уныние посещает нас в разных мелких неприятностях, иногда оно приходит неизвестно от каких причин, просто от усталости душевной. Тогда нам полезны бывают просто развлеченья, беседа с близким другом, с таким существом, которое нас любит любовию высшею, а не пристрастною. Который и нас самих мог бы упрекнуть, но вместе с тем утешить нас тихим, успокаивающим душу разговором. Который, любя нас, был бы вместе с тем также беспристрастен и к тем, которые нас не любят. Еще полезней бывает в такие минуты, позабыв совершенно о себе и о своих собственных бедах и неприятностях, отыскивать страждущих с тем, чтобы помочь им не одной денежной помощью, а душевным вспомоществованием, проливая утешения на душевные боли. Кто сам терпел, тот счастливец: он знает, как помочь другому. Такое средство производит удивительное влияние на собственную нашу душу. После него спокойствие вдруг само собою воцаряется в нас.

Уныние, которое находит на многих людей при размышлении о настоящем, прошедшем и будущем своем положении, показывает только то, что они еще мало размышляли, еще не умеют входить в смысл и значение происшествий. Но как только начинаем мы прозревать смысл всякого события, тогда исполняемся избытком одной благодарности к Богу, видя, как все, что ни случается, случается во благо наше. Никак нельзя сказать, что такое-то время нашей жизни было лучше потому только, что мы были тогда покойны и меньше тревожились всякими смущеньями. Душевный сон никак нельзя назвать прекрасным состоянием. Правда, мы не чувствовали тогда тревог; но зато мы не чувствовали величайших наслаждений душевных. Нам не было поприща показать красоту, величие души, терпение, твердость, жар истинной молитвы, веру истинную в Бога, любовь истинную, то есть не поверхностную, а глубокую, умеющую предпочесть *главное* ничтожному, внутреннее внешнему. Словом, нам не представилось бы подвигов, за которые награды небесные готовятся человеку; ибо Бог неизреченно милостив к человеку и употребляет все средства, чтобы доставить ему больше и больше блаженства. Все совершенно зависит от нас. Всякое наше положение, самое затруднительное, мы можем обратить в самое счастливое, стоит только начать и молиться, а Бог уже поможет и кончит. Поэтому-то

чем печальней обстоятельства, тем по-настоящему мы должны еще более радоваться за будущее, значит, только поприще пред нами раздвигается, больше горизонта для дел и подвигов открывается. Если ж смутит нас на время мысль, что мы бессильны бороться на таком поприще, то мы должны вдруг вспомнить, что бессильным-то и помогает Бог. Все с целью. Всюду ожидает нас благополучие. Поставлены ли мы среди людей дурных, с которыми нам трудно жить? Мы, верно, поставлены для того, чтобы со временем посредством нас они из дурных сделались лучшими. Величайший подвиг, который больше всего приятен Богу! Ибо не столько Ему угодна самая жизнь праведного, сколько угодна прекрасная жизнь обратившего грешника. Стало быть, участвуя сколько-нибудь в том, чтобы сделать других лучшими, мы делаем для Бога приятнейшее, что только можно для Него сделать. Итак, не думая о своих собственных смущеньях, мы должны думать только о том, как бы сделать побольше добра тем, которые нам причиняют смущение. А делая добро, мы должны помнить, что оно должно быть душевное добро, то есть не то, которое доставляет минутное удовольствие, и потому нечего нам глядеть на то, бранят ли нас, плотят ли нам неблагодарностью или приемлют самое дело не в том виде, как оно есть; потом они узнают и уразумеют. Все потом переменится и принесет двойную и тройную выгоду. И потому, помолясь, мы должны действовать смело: будущее в наших руках, если мы постараемся сами быть в Божиих руках.

# <О благодарности>

Кто получил много способностей и сил, тот должен много, много благодарить Бога, вся жизнь того должна превратиться в один благодарный гимн, а чувства изливаться одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения. Постоянное благодарение прекрасно возвышает душу. Оно вносит в нее мир, стройность и тишину, а сердце нечувствительно растворяет всепрощающей, всеобъемлющей любовью даже к самим врагам.

Кто получил много способностей и сил, тому нужно много стараться о приведении всего, что ни есть в нем, в стройность. Лучше ему не показывать своих преимуществ до тех пор, пока все не приидет в нем в полное согласие между собою и всякая сила не стала на свое законное место, иначе он обнаружит только неровность своего характера. Не узнавши великих сил, в нем пребывающих, назовут движенья их капризами, делом самонадеянной самоуверенности. Он сам прослывет дерзким выскочкой, привлечет к себе ненависть на место любви и в свою очередь озлобится также противу людей.

Счастлив тот, кто имеет небесное свойство нравиться всем врожденной прекрасной ясностью души, врожденным младенческим незлобием и той очаровательной прелестью врожденного миловидного обращенья со всеми, которое так близко влечет к себе сердца всех, что каждому кажется, как бы он всем им родной брат.

Но в несколько раз счастливее тот, кто, победив в себе все неудержимые стремления, приобрел эту миловидную детскую простоту и невыразимую прелесть ангельского обращения с людьми, которых не имела вначале его пред всеми возвышенная природа. Неисчислимо более может он принести добра и счастья в мире, чем тот, кто получил все это от рожденья, и влияние его на людей неизмеримо могущественней и обширней.

Но Боже! Как трудно бороться с собой, с непокорными, неудержимыми нашими стремлениями, как слаба не приобревшая крепости наша воля! Тут-то нужно вспомнить, что наша жизнь должна быть неумолкаемой песнью постоянного благодарения Богу. Благодарить, благодарить, теряться в благодарности —

это нужно сделать своей пищей, питьем, существованьем, жизнью. Постоянное благодарение высоко возвышает душу, а сердце растворяет всепрощающей любовью ко всем. Оно дает нам высшую силу над нашими силами и производит то, что нам становится легка битва и победа над страстями и становится возможным приобретенье ангельской любви к людям.

# О сословиях в государстве

Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедывали: одни — совершенную демократию, другие — монархию, третьи — аристократию, четвертые — смесь всего вместе, пятые — потребность двух борющихся сил в государстве и на бореньи их основывали <...> Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правленье не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности — земли, — на которой живет народ, из истории самого народа, которая показывает человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует — внимательно все это обсудить и взвесить.

История государства России начинается добровольным приглашеньем верховной власти. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: придите княжить и владеть нами», — слова эти были произнесены людьми вольных городов. Добровольным разумным сознаньем вольных людей установлен монарх в России. Все сословия, дружно требуя защиты от самих себя, а не от соседних врагов, утвердили над собою высшую власть в том, чтобы рассудить самих себя — потребность чисто понятная среди такого народа, в котором никто не хочет уступить один другому и где только в минуты величайшей опасности, когда приходится спасать родную землю, все соединяется в один человек и делается одним телом. Сим определена высокая законность монарха-самодержца.

Итак, в самом начале, во время, когда не пробуждается еще потребность организации стройной, во время, когда легко ужиться с безначалием, уже все потребовало одного такого лица, которое, стоя выше всех, не будучи связано личною выгодою ни с каким сословием преимущественно, внимало бы всему равно и держало бы сторону каждого сословия в государстве. Во всю историю нашу прошла эта потребность суда постороннего человека. Великий князь или, просто, умный князь уже требуется как примиритель других князей. Духовенство является как

примиритель между князей или даже между народом, и сам Государь судится народом не иначе, как верховный примиритель между собою. Стало быть, законность главы была признана всеми единогласно.

Вопрос: какие начала правления преимущественно слышатся и слышались в истории народа?

Если правление переходило сколько-нибудь в народное, это обнаруживалось совершенною анархией и полным отсутствием всякого правления: ни одного человека не бывало согласного, все спорило между собою.

Если правление переходило совершенно в монархическое, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограниченья которых требовались другие чиновники; через года два следовало и тех ограничивать, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии.

Стало быть, вопрос: где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие и где, в каких случаях участвование короны и правительствующего корпуса? То и другое в руках монарха — и аристократия и демократия; тому и другому он господин; та и другая ему равно близка. Каковы же и в чем отношения монарха к подданному? Это — лицо, которое уже должно жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он должен отречься от себя и от своей собственности, как монах; его пищей должно быть одно благо его — счастие всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священно.

Где особенно и в каких случаях полезна мирская сходка? Тогда, когда уже решенное определение следует привести в исполнение. Никто лучше мира не умеет, как разложить и сколько на кого, потому что они знают и свои состоянья и свои силы. Поэтому кто не сообразив и наложит на каждого заплатить по рублю, будет несправедлив, но, сложивши сумму, какая должна выйти, если положить рубль на человека, — потребовать эту сумму со всего мира. Это можно применить ко многому и в других сословиях.

Верховный совет государства предполагается состоящим из лиц, знающих нужды своего государства, которые достигнули этого звания не одним письменным поприщем и повышеньем

за выслугу лет, но имея по службе, на многих поприщах внутри государства, случай стоять лицом <к тому>, как там происходят внутри государства. Стало быть, определенья такого совета относительно всего государства могут быть менее всех других ошибочны.

Определение расходится по лицу России. Его требуется исполнить и применить <к> делу. Вот тут дело упирается на совете тех, которые должны исполнить и применить к делу: как удобней, как возможней, как необременительней ни для кого исключительно исполнить. Здесь необходимость веча, или совещания всего того сословия, к которому относится дело.

Правительство не имеет дела порознь ни с кем из со<словия>, но с целым сословием вместе. Все сословие отвечает. Сословие имеет употребить и полицию, и насильственные меры к приведению в послушание того ослушника, который бы воспротивился.

Везде, где только применены к делу постановленья, там необходимо совещанье самих тех, на которых должны применять <их>. Сами они должны из себя избрать для того и чиновников, и блюстителей, и ускорителей, не требовать от правительства никакого для этого жалованья и не обременять этим сложность государственного механизма.

Но где дело касается до определения постановлений, там совещаются одни испытанные в делах государственные мужи, и определенье уже непреложно, если скреплено рукой монарха. Сословия могут посылать своих депутатов, которые могут предъявлять справедливые причины упущения или необходимые требования, но они принимаются только к соображению и усмотрению. Если они будут отвергнуты, сословие не имеет права на апелляцию. Само собою разумеется, что правда должна быть на стороне тех людей, которых <...> все стороны государства, — особенно, если правда эта узаконена тем, кто стоит выше всех в государстве и которому равно близки выгоды всех.

Дело в том, чтобы организовались сословия, чтобы почувствовало всякое сословие свои границы, пределы, обязанности, и знали, где их дело и деятельность, а потому в воспитанье человека, с самого начала должны войти обязанности того сословия, к которому он принадлежит, чтобы он с самого начала почувствовал, что он гражданин и не без места в своем государстве.

Взглянем на наши сословия от высших до низших. Начнем с дворянства.

Дворянство наше должно было непременно <иметь> другой характер, чем дворянства других краев. Во всех других землях дворянство образовалось из пришельцев, из народов, захвативших земли туземцев и обративших народ силою в своих вассалов. Оно установило насильственно отдельную касту аристократии, в которую уже не допускали никого. У нас дворянство есть цвет нашего же нас<еления?>. Большею частью заслуги пред царем, народом и всей землей Русской возводили у нас в знатный род людей из всех решительно сословий. Право над другими, если рассмотреть глубже, в основании, основано на разуме. Они не что иное, как управители Государя. В награду за доблести, за испытанную честную службу даются ему в управленье крестьяне, даются ему, как просвещеннейшему, как ставшему выше пред другими, — в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели, или капитан-исправники. Вольно было помещикам, позабывши эту высокую обязанность, глядеть на крестьян, как на предмет только дохода для своей роскоши и увеселений. Этим они ничуть не доказали, что Государи были неправы, а доказали только, что они сами уронили званье помещика.

Итак, дворянству нашему досталась прекрасная участь заботиться о благосостоянии низших... Вот первое, что должно начать чувствовать это сословие с самого начала. Из-за этого самого они должны составить между собою одно целое, совещанье они должны иметь между собою об управлении крестьянами. Они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив: он делает им всем пятно. Они должны заставить его переменить образ обращенья. Они должны поступить так же, как в полку общество благородных офицеров поступает с тем, который обесчестит подлым поступком их общество, они приказывают ему выйти из круга, и он не осмеливается преступить этого, ничем уже не смягчаемого определения. Дворянство должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые должны сторожить сами за собою. Так должны быть они в России,

где не хвастают ни родом, ни происхождением, ни point d'honneur, но каким-то нравственным благородством, которое, к сожалению, обнаруживается только во дни высоких самопожертвований. Это от самой юности должно быть внушаемо, как в первую принадлежность.

Последний в государстве и многочисленный класс — крестьяне составляют также сословие и имеют много о чем совещаться между собою. Состоя под управленьем помещика, они имеют тоже о чем совещаться. Установленный сбор, повинность, положенную на каждого человека, помещик должен предоставить, принест<и> миру, который сам должен и собрать, и принести, потому что они лучше себя знают относительно всяких состояний, и помещику никогда не <...> Он также должен лучше чувствовать свое сословие, что имеет право законно требовать помещик, за что должен заплатить ему и нанимать, как вольного человека, и переговариваться с помещиком целым миром.

Сословие граждан, самое разнохарактерное, меньше всего получившее определенное выражение, от неопределенности занятий и от некоторого безвластия, должно непременно возвыситься до понятия <...> Оно должно помнить, что они стражи и хранители благосостояния и должны сами из себя избирать чиновников. Полиция тогда только не будет брать взятков и грабить, когда сами граждане будут исполнять <...> Лучшая полиция, по признанию всех, в Англии и то потому, что этим занимается город, выбирая для этого чиновника и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сделано было так же точно; а магистрат уже сам размыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие.

# <Заметка о Мериме>

Мериме, бесспорно, замечательнейший писатель 19 века французской литературы. Пушкин уважал его много. Он назвал его остроумным и оригинальным писателем, а сочинения его замечательными в нынешнем униженном, жалком упадке французской литературы (смотри Сочинения Пушкина, т. IV, в Предисловии к «Песням западных славян»). Имя Мериме не было так часто на устах Европы, как других, менее награжденных дарами гения, но более плодовитых писателей, которые более метили на эффект и желание удивить, изумить во что бы то ни стало, которые [из<-за> этого поднимались на дыбы и далеко отшатнулись от истины, высокой в необходимой простоте своей]. Немного произведений вышло из-под пера Мериме, но все они носят яркую печать таланта. Много правды, много верности и в беглых и, так сказать, мимоходом рассыпанных заметках, много познаний и опыта, и много познания жизни. Его драматические сцены, вышедшие под названием «Театра Клары Газюль», блестят поэтическими чертами. Многое из Средних веков в них придвинуто чрезвычайно близко и почти рисуется перед глазами. Везде заключена мысль и является что-нибудь из сильных и отличительных движений тогдашних характеров. [Предлагаемое] ныне в переводе — «Души в чистилище», без всякого сомнения, поразит читателя прекрасным поэтическим созданием сюжета, живым, быстрым, увлекательным рассказом, свежими красками Испании, тонкими наблюдениями, острыми и смелыми замечаниями. И сколько рассыпано ума на этих немногих страницах!

Мериме, как очень легко можно видеть из всех их, вовсе не был занят тем, чтобы угождать вкусу публики. Он шел как-то совершенно в стороне. Даже предметы избирал не те, которых требовала модная потребность читателей. Кажется, его не занимали покупатели и слава. Как будто бы в одни только минуты отдыха от жизни и бездельно-делового течения дней ее писал он свои произведения. И самая жизнь его не сходится с общею жизнью Европы. Его имя не попало в современную политическую сферу. Его не слышно в палате пэров. Он не публицист, нет ни одной речи, им произнесенной. Он взял себе должность

инспектора памятников и древностей, рассеянных по Франции. Их обсматривать, доносить о состоянии их, исследовать и поддерживать, вот что определил он своим действием.

Мериме обладает кроме того той способностью, которая не дается французу, именно способностью схватывать верно местные краски, чувствовать народность и передать ее. Всем известно выданное им собрание славянских песен под именем «Гусли». Собранием этим он поддел даже самого Пушкина, который принял их за подлинные и с такою верною простотою передал их в полновесных стихах своих. Почувствовать и угадать дух славянский — это уже слишком много и почти невозможно для француза. По природе своей эти две нации не сходятся между собою в характере. К тому же французу трудно позабыть на минуту, что он француз. С этой стороны Мериме является в своих созданиях далеко выше своих писателей-соотечественников.

# Учебная книга словесности для русского юношества

*Начертание Н. Гоголя*

## Проспект

В двух больших томах: в первом — *часть поэтическая,* во втором — *часть прозаическая.* Каждый том состоит из двух половин: в первой половине изложение правил, или теория, во второй — примеры. Первая половина, то есть правила, должна быть напечатана большими четкими литерами вcплошь, не разделяя на столбцы, с широким бордюром вокруг, дабы не слишком велика была квадра, — с пробелами и расстановками; вторая же половина, или примеры, должна быть напечатана тесно в два столбца мелким шрифтом и вокруг, вместо бордюра, одна тоненькая линеечка или черта. Заглавия те же и в правилах и в примерах, и должны быть занумерованы теми же номерами, — дабы вдруг можно было, по прочтении правила, найти ему соответствующие и принадлежащие примеры.

## <Что такое слово и словесность>

Письменностью или словесностью называют сумму всего духовного образования человека, которое передано было когда-либо словом или письмом. Но в самом деле словесность не есть сумма всех познаний человеческих. Она не есть также сама в себе что-либо существенное. Она есть только *образ,* которым передает человек человеку все им узнанное, найденное, почувствованное и открытое, как в мире внешних явлений, так и в мире явлений внутренних, происходящих в собственной душе его. Ее дело в том, чтобы передать это в виде яснейшем, живейшем, способном остаться навеки в памяти.

Открытьем тайны такого живого передавания занимается *наука словесности.* Но научить этой тайне не может наука словесности никого, так же как никакой науке и никакому искусству нельзя научиться в такой степени, чтобы быть мастером, а не ремесленником, — если не даны к тому способности и орудия

в нас самих. Но при всем том наука словесности [так же нужна], как для всякого другого знания нужна наука. Нужно для того, чтобы ввести в сущность дела, показать, в чем дело, дабы если точно есть в нас способности, силы, — навести их на путь, вдвинуть их в надлежащую колею; дабы, как по углаженной дороге, быстрее устремилось бы их развитие. Если ж нет способностей, то чтобы знал учащийся, чего требует предмет этот, — видел бы всю великость того, чего он требует, и не отважился бы вслед за другими приниматься за ее роды высокие или же просто не свойственные его свойству, а выбрал бы оружие по руке. Ибо словесность обширна, объемлет всё, и нет человека, который не был бы способен для какого-нибудь ее рода, если только есть в голове его рассудок и может он о чем-нибудь порядочно размыслить.

Есть два языка словесности, две одежды слова, два слишком отличных рода выражений: один слишком возвышенный, весь гармонический, который не только живым, картинным представлением всякой мысли, самыми чудными сочетаниями звуков усиливает силу выражений и тем живей выдает жизнь всего выражаемого, — род, доступный весьма немногим и сим даже немногим доступный только в минуты глубоко растроганного состояния душевного настроения чувств, называемый поэтическим, высшим языком человеческим, или, как называли все народы, языком богов; и другой, простой, не ищущий слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предающийся естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий, — род прозаический. Он всем доступный, хотя между тем может неприметно возвыситься до поэтического состояния и гармонии, по мере, как доведется к такому растроганному настроению душевному, до которого также может достигнуть всякий человек в душевные, истинные минуты. Само собою разумеется, что как в том роде, так и в этом есть тысячи оттенков и ступеней высших и низших, из которых одни даются в удел только необыкновенным гениям, другие — счастливым талантам и, наконец, третьи — почти всем сколько-нибудь способным людям. Само собою также разумеется, что иногда тот и другой род врываются в пределы друг друга, и то, что иногда поэзия может снисходить

почти до простоты прозаической и проза возвышаться до величья поэтического. Но тем не менее они составляют два отдельные рода человеческой речи. Отдел этот слишком явствен и резок. Слова поэзия и проза произносятся в таком же противуречащем друг другу значении, как слова день и ночь.

## О поэзии

Родник поэзии есть красота. При виде красоты возбуждается в человеке чувство хвалить ее, песнословить и петь. Хвалить такими словами, чтобы и другой почувствовал красоту им восхваляемого. Поэт только тот, кто более других способен чувствовать красоту творения. Потребность поделиться своими чувствами воспламеняет его и превращает в поэта. Двумя путями передаёт он другим ощущения: или от себя самого лично, — тогда поэзия его лирическая; или выводит других людей и заставляет их действовать в живых примерах, — тогда поэзия его драматическая и повествующая. Третий род — так называемый описательный, или дидактический, может входить равно в оба рода, но не есть сам по себе путь, которым передает свои впечатления поэт.

## О поэзии лирической

Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта, его самонужнейшие заметки, биография его восторгновений. Она есть, начиная от самых высших до самых низших ее родов, не что иное, как отчет ощущений самого поэта. Гремит ли он в оде, поет ли в песне, жалуется ли в элегии или же повествует в балладе, повсюду высказывает личные тайны собственной души поэта. Словом, она есть чистая личность самого поэта и чистая правда. Ложь в лирической поэзии опасна, ибо обличит себя вдруг надутостью: тот, кто имеет чутье поэта, вмиг ее услышит и называет лжецом надевшего маску поэта. Она обширна и объемлет собою всю внутреннюю биографию человека, начиная от его высоких движений, в оде, и до почти прозаических и чувственных в мелком антологическом стихотворении, в котором он желает отыскать сторону поэтическую.

## Оды, гимны и лирические воззвания

Ода есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее и стройнейшее из всех поэтических созданий. Ее предметом может послужить только одно высокое: ибо одно высокое может только внушить душе то лирическое, торжественное настроение души, какое для нее нужно и без какого не произвесть оды поэту, как бы велик он ни был. Посему и предмет од или сам источник всего — Бог или то, что слишком близко высотою чувств своих к Божественному. Нужно слишком быть проникнуту святыней предмета, нужно долго носить в себе самом высокий предмет, сродниться с ним, облагоухаться им самому, — дабы быть в силах произвести оду. Минутное же восторжение святыней предмета может произвесть гимн, а не оду. Ода требует высокого торжественного спокойствия, а не порыва. Она не летит вверх, как гимн, но как бы пребывает вся на равной высоте, паря, а не улетая. И потому всегда в равносильных и равномерных строфах и при свободе своей сохраняет в себе строгий порядок. Гимн не имеет тех качеств. Он есть первое излияние чувств, которые просятся из души наружу. Он беспорядочен, как самые сильно возбужденные в нас чувства, которые стремятся только поскорей выразиться, не думая о том, откуда и с чего приличнее начать: и начинается он и оканчивается, где ему вздумается, имея вожатаем одно вдохновение, которое внушило поэту на ту пору обнявшее его чувство. Он редко сдерживает себя границами размеренных строф, но льется бесстрофно, быстро, как ручьи возбужденных чувств, и прекращается вдруг, неожиданно, быстро. Поэтому это излиянье благодарения душевного чаще всего его предмет или же восхваление того, что возбудило в нем такое чувство. Гимн и восхваленье почти синонимы. Есть еще род лирических стихотворений, которые составляют средину между одой и гимном: только приобретают некоторый порядок размеренные строфы и некоторое спокойствие, хотя не имеют еще той великой полноты и просторной рамы, какая принадлежит оде. Тогда их называют поэты стансами, то есть просто строфами. Наконец, есть еще род, уступающий всем трем в полноте, который можно назвать лирическими воззваниями, которые заключают в себе как бы один только клич, вопль, возглас, приглашение или крик, возбуждающий

к чему-либо других. Он бывает быстр, краток, но тем не менее возвышен, иногда даже слишком высок своею лаконическою силою, и чрез то имеет право причисляться к высокому лирическому роду, становясь наряду с одой.

## Песня

Песня составляет самый богатейший отдел поэзии у народов славянских. Преобладание поэтического элемента в глубине славянской души и особенное мелодическое расположение нашего языка были причиною происхождения бесчисленного множества песен в нашей словесности, которые уже и вдревле, когда слова не записывались и словесность, не переходя в письменность, оставалась в буквальном смысле словесностью, составляли наше достояние. Впоследствии, когда более и более наши поэты стали входить в развитие собственного поэтического духа, песня явилась как необходимое выражение всех тех впечатлений, которые обнимали душу самого поэта, пробуждали в нем лирическое чувство. Она сделалась как бы историей поэтических ощущений поэта, которые слишком нежны для оды и не восходят до той превыспренности, но зато ощущаются гораздо чаще, нежели те, которые служат предметом оды. А потому редкий из наших поэтов не оставил прекрасных образцов, не говоря уже о Пушкине, который является как царь среди этой области и которого всякое лирическое сочинение, как только появлялось в свет, в тот же миг перекладывалось на музыку и распевалось от необыкновенного обилия мелодии в звуках. Жуковский, Батюшков, Капнист, Нелединский-Мелецкий, Языков, Козлов, Баратынский, Туманский, Лермонтов подарили поэзию множеством самых мелодических песен. Песня обнимает все: все чувства и ощущения жизни, и потому может делиться на множество разных родов; может изображать уединение, внутренние движения и поэтические мечты поэта, может выражать страсть и любовь, может быть застольной и выражать веселье души и грусть; может изображать картину или состояние другого, как в романсе, переходя от дифирамба до тихой элегической задумчивости. Словом, все, что ни приводит к настроенному состоянию дух, есть уже ее предмет, хотя это не есть та величавая, высокая восторженность, как в оде,

возвышенная уже самым величием взятого предмета. В песне восторг как бы утишенный, — это ликование духа уже после самого дела, или случившегося великого восторга, празднество во время отдыха. Как бы позабыв самый предмет своей радости, поющий хочет потеряться в гармонических звуках. Посему в песне почти музыкальная стройность строф, уместные повторения и счастливые возвращения к тому же составляют необыкновенную прелесть песни. Ее строфы гораздо короче, нежели строфы оды. Строфы длинные или тяжеловесные ей не приличны: чрез это песня будет неудобна для пенья. Она никак тоже не должна быть и длинна, потому что и впечатленья все быстры.

Сочиняющий песню должен как бы слышать в то же время ее внутреннюю музыку, дающую тайный размер и стихам и строфам. Лучшие песни сочинялись в самую минуту пляски, пиршества и вызывались ударом смычка, свистом волынки, звоном стаканов, мерным ударом стоп. От этого они получают то невыразимо мелодическое свойство звуков, составляющее такую прелесть в песнях народных.

Самые поэтические мечты и нежные внутренние изгибы души своей тогда выражались хорошо и были достойны песни, когда они не мечтались в его воображении, а как бы пелись в самой душе поэта.

## Элегия

Элегия есть как бы покоенное изложение чувств, постоянно в нас пребывающих, не тех великих и сильных, которые пробуждаются в нас мгновенно при воззрении на предметы великие, не тех, которые, подобно святыне, сохранно пребывая в глубине души, стремят на великие подвиги человека, — но тихих, более ежедневных, более дружных с обыкновенным состоянием человека. Это сердечная история — то же, что дружеское откровенное письмо, в котором выказываются сами собою излучины и состояния внутренние души. В сравнении с одой и гимном она слишком отступила далеко в лиризме. Лирический свет ее перед светом гимна, что свет луны перед солнцем. Ее бы можно было назвать дидактическим и описательным сочинением, если бы она не была излиянием умягченного и слишком нежного состояния души, подвигнутого на тихую исповедь, которая не может

излиться без душевной лирической теплоты. Все в ней тихо. Что взывает как бы громом гремящего оркестра в оде, поется в песне, — в ней произносится речитативом. Подобно сердечному письму, <она> может быть и коротка и длинна, скупа на слова и неистощимо говорлива, может обнимать один предмет и множество предметов, по мере того как близки эти предметы ее сердцу. Чаще всего носит она одежду меланхолическую, чаще всего в ней слышатся жалобы, потому что обыкновенно в такие минуты ищет сердце высказаться и бывает говорливо.

## <Дума>

Дума есть род стихотворений, не заимствованный ниоткуда, но образовавшийся у славян. Песни северных конунгов имеют с ней некоторое сходство. Она не есть баллада, которой содержанием избираются таинственные поэтические предания, неясные, шевелящие и пугающие воображение явления. В ней ничего нет такого, что бы было необъясненно, неопределенно и заманивало бы самой поэтической своею неопределенностью. Напротив, в ней все определенно и ясно. Ее предмет — происшествие истинно историческое, действительно бывшее, или же предание, так живо хранящееся в народе, что сама история внесла его в свои страницы. Думы могут быть только об одних исторических лицах. Этот род можно бы скорей причислить к сочинениям повествовательно-драматическим, если бы думы не распевались, подобно песням, нашими старцами слепцами, хотя и речитативом, и если бы не писались мерными строфами, среди которых многие есть отзывные и повторяющие, дающие гармоническое округление пиесе — свойство, составляющее неизъяснимую прелесть песни.

## Поэзия повествовательная или драматическая

Поэзия повествовательная, в противоположность лирической, есть живое изображение красоты предметов, движения мыслей и чувств вне самого себя, отдельно от своей личности, до такой степени, что чем более автор умеет отделиться от самого себя и скрыться самому за лицами, им выведенными, тем

более успевает он и становится сильней и живей в этой поэзии; чем меньше умеет скрыться и воздержаться от вмешиванья своей собственности, тем более недостатков в его творении, тем он бессильней и вялее в своих представлениях. Значительность поэзии повествовательной или драматической увеличивается по мере того, когда поэт стремится доказать какую-нибудь мысль и, чтобы развить эту мысль, призывает в действие живые лица, из которых каждое своей правдивостью и верным сколком с природы увлекает вниманье читателя и, разыгрывая роль свою, ему данную автором, служит к доказательству его мысли. По мере того, чем совершается это естественней, и все происшествие кажется живым, естественным случаем, недавно случившимся, — между тем как внутренне двигнуто глубоким логическим выводом ума. Тогда сочинение живое, драматическое, кипящее пред очами всех становится с тем вместе в высшей степени дидактическое и есть верх творчества, доступного одним только великим гениям.

Значительность поэзии драматической или повествовательной уменьшается по мере того, как автор теряет из виду значительную и сильную мысль, подвигающую его на творчество, и есть простой списыватель сцен, перед ним происходящих, не приводя их в доказательство чего-нибудь такого, что нужно сказать свету. Тогда значительность самого происшествия им управляет, и он получает только от него свою значительность, хотя она и не в нем, но в происшествии, а достоинство его в чутье и уменьи выбрать происшествие.

Пространство и пределы этой поэзии драматически-повествовательной велики. Она объемлет в себе бесчисленные роды, начиная с самых величайших: эпопеи и драмы — и до самых мелких: басни или притчи.

## Эпопея

Величайшее, полнейшее, огромнейшее и многостороннейшее из всех созданий драматическо-повествовательных есть эпопея. Она избирает в герое всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством людей, событий и явлений, вокруг которого необходимо должен созидаться весь век его и время, в которое он жил.

Эпопея объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, какие сделало в то время человечество. Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого героя, и не одни частные лица, но весь народ, а и часто и многие народы, совокупясь в эпопею, оживают на миг и восстают точно в таком виде перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки история. Поэтому-то эпопея есть создание всемирное, принадлежащее всем народам и векам, долговечнейшее, не стареющееся и вечно живое, и потому вечно повторяющееся в устах. Высокое совершенство всех качеств нужно соединить в себе поэту сверх высочайшего гения. Посему явления эти слишком редки в мире, и, кроме одного Гомера, то есть кроме двух эпопей «Илиады» и «Одиссеи», вряд ли есть другие, вполне вмещающие в себя ту полноту, видимость и многосторонность, какой требует эпопея. Сравнив с Гомером всех других эпиков, видим только, как входят они в частности и, несмотря даже на явное желание захватить и объять много, стесняют пределы своего значенья, всемирное уходит у них из вида, и эпопея превращается даже в явление частное. С тем вместе пропадает и та величавая безыскусственная простота, которая является у великого патриарха всех поэтов так, что весь погаснувший Древний мир является у него в том же сиянии, освещенный тем же солнцем, как бы не погасал вовсе, дабы сохраниться навеки живым в памяти всего человечества.

## Меньшие роды эпопеи

В новые веки произошел род повествовательных сочинений, составляющих как бы средину между романом и эпопеей, героем которого бывает хотя частное и невидное лицо, но, однако же, значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для

настоящего. Такие явления от времени до времени появлялись у многих народов. Многие из них хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим.

Всемирности нет, но есть и бывает полный эпический объем замечательных частных явлений, по мере того как поэт облекает в стихи.

Так Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному, которым была занята на время вся эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключениям, оставшимся, после рококо, в некоторых людях, в то время, когда уже самый век вокруг их переменился, тот и другой сжились с взятою ими мыслью. Она наполняла неотлучно ум их и потому приобрела обдуманную, строгую значительность, сквозит повсюду и дает их сочинениям малый вид эпопеи, несмотря на шутливый тон, на легкость и даже на то, что одна из них писана в прозе.

## Роман

Роман, несмотря на то что в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием. Роман не есть эпопея. Его скорей можно назвать драмой. Подобно драме, он есть сочинение слишком условленное. Он заключает также в себе строго и умно обдуманную завязку. Все лица, долженствующие действовать, или, лучше, между которыми должно завязаться дело, должны быть взяты заранее автором; судьбою всякого из них озабочен автор и не может их пронести и передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений. Всяк приход лица, вначале, по-видимому, незначительный, уже возвещает о его участии потом. Все, что ни является, является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя. Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным. Он летит, как драма, соединенный живым интересом самих лиц главного происшествия, в которое запутались действующие лица и которое кипящим ходом заставляет самые действующие лица развивать и обнаруживать сильней и быстро свои характеры, увеличивая увлеченье. Потому

всякое лицо требует окончательного поприща. Роман не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни, такое, которое заставило обнаружиться в блестящем виде жизнь, несмотря на условленное пространство.

## <Повесть>

Повесть избирает своим предметом случаи, действительно бывшие или могущие случиться со всяким человеком, — случай почему-нибудь замечательный в отношении психологическом, иногда даже вовсе без желания сказать нравоучение, но только остановить внимание мыслящего или наблюдателя. Повесть разнообразится чрезвычайно. Она может быть даже совершенно поэтическою и получает название поэмы, если происшествие, случившееся само по себе, имеет что-то поэтическое; или же придано ему поэтическое выражение отдаленностью времени, в которое происшествие случилось; или же сам поэт взял его с той поэтической стороны, с какой может взять только поэт и которая только пребывает в нем. Так, повесть «Бахчисарайский фонтан» есть уже поэма по тому теплому роскошному колориту, в который с начала до конца облек ее всю поэт. Она может быть просто живой рассказ, мастерски и живо рассказанный картинный случай, каковы Жуковского «Маттео Фальконе», Языкова «Сурмин». Или же берет с сатирической стороны какой-нибудь случай, тогда делается значительным созданием, несмотря на мелочь взятого случая; таковы «Модная жена» <Дмитриева>, «Граф Нулин» Пушкина, который сверх того имел значительное выражение, как живая картина. Иногда даже само происшествие не стоит внимания и берется только для того, чтобы выставить какую-нибудь отдельную картину, живую, характеристическую черту условного времени, места и нравов, а иногда и собственной фантазии поэта.

## <Сказка>

Сказка может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою, облекающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только мудрецу. Таковы отчасти две повести

Жуковского о жизни человеческой. Сказка может быть созданье не высокое по своему содержанию, но <в> высшей степени исполненное прелести поэтической, если поэт, взяв народный мотив, возлелеет ее воображеньем своим и усвоит вполне себе и разовьет из <нее> поэму, как, например, «Руслан и Людмила». Наконец, сказка может быть созданье значительное, когда содержание создано все поэтом, но в духе народном отгаданы дух и время, какова Лермонтова «<Про> купца Калашникова», и, наконец, сказка может быть просто пересказ почти слово в слово народной сказки, — созданье менее всего значительное, которое выигрывает только от того, когда поэт сумеет привести ее в лучший порядок, вычистить, удержав в ней то, что есть в ней ее характерное, и отстранив то, что прибавлено лишнего. Таковы сказки Жуковского <и> Пушкина о царе Султане, о царе Берендее, о царе Сал<тане?>, о Спящей царевне и семи братьях.

## Эклога и идиллия

Есть род драматических описательных произведений, которым издавна уже дано имя эклог и идиллий и которые вообще называются пастушескими. Эти два рода соединяют весьма несправедливо вместе и еще несправедливей смешивают одно с другим. Чтобы видеть существенное различие между ними, поговорим о каждом роде отдельно: сначала об эклоге, потом об идиллии.

### Эклога

Эклога есть слово греческое и значит просто: избранная пиеса. Те сочинения, которые назвал Вергилий эклогами, имеют только внешний вид сельских или пастушеских стихотворений. Пастухи его препираются друг с другом в песнопении, и песнопенья так возвышенны, что приемлют вид од, гимнов, ничуть не уступая в возвышенности одам Горация, так что вследствие сего произвольно взятое имя эклога стало выражать в наших понятиях состязание двух или многих между собою в песнопении или восхвалении чего-либо. Словом, как бы это было лирическое произведение, но облеченное в драматическую форму. Лица берутся не для них самих, но для того, что должны они рассказать.

Их собственное драматическое значение ничтожно. Они рисуют друг другу, начертывают один другому картину того, чего не захотел поэт сказать от своих собственных <уст>. Они не свои выражают страсти, не сами действуют, но повествуют о событиях других и восхваляют вне их находящиеся предметы, иногда даже вовсе выходящее из их быта. Посему эклога есть скорей возвышенное стихотворение, чем скромное сельское. Эклогой можно назвать состязание Гомера с Гезиодом, прекрасно переделанное из Мильвуа Батюшковым. Эклогой можно назвать разговор двух шаманов о завоеваниях Ермака, Дмитриева. Эклогой можно назвать стихотворение Катенина, где поэт грек и поэт славянин состязаются друг с другом в песнопении. Наконец, эклогами можно назвать все те картинно-лирические стихотворения, которые с недавнего времени введены нашими поэтами, которые имеют наружный вид препираний, разговоров и споров между предметами неодушевленными, но которых, однако же, поэт одушевляет и заставляет их рассказывать друг другу в картинном виде событие, служащее к проявлению той мысли, которая занимала самого поэта. Таков, например, Спор у Лермонтова Машук с Шат-горою о будущей судьбе Кавказа. Таковы споры городов и рек, приемлющих на время вид одушевленных лиц, которые теперь весьма часто являются у наших поэтов.

## Идиллия

Хотя с мыслью об идиллии соединяют мысль о пастушеском и сельском быте, но пределы ее шире и могут обнимать быт многих людей, если только с таким бытом неразлучны простота и скромный удел жизни. Она живописует до мельчайших подробностей этот быт, и как, по-видимому, ни мелка ее область, не содержа в себе ни высокого лирического настроения, ни драматического интереса, ни сильного потрясающего события, хотя, по-видимому, она не что иное, как все первое попадающееся на глаза наши из обыкновенной жизни, — но тот, однако ж, ошибется, кто примет ее в одном таком смысле. Поэтому почти всегда управляла ею какая-нибудь внутренняя мысль, слишком близкая душе поэта, а быт и самую идиллию он употреблял как только удобнейшие формы. Лучшие идиллии имели какое-нибудь историческое значение и писались по какому-нибудь случаю. Так,

Гнедича «Рыбаки» заключают в себе случай его собственной жизни, и в барине, о котором говорит рыбак, он изображает русского вельможу, приветствовавшего благосклонно первые труды поэта. Так, всякая идиллия Дельвига была писана по какому-нибудь поводу, не говоря уже о прекрасной идиллии «Изобретение ваяния», которая с первого заглавия говорит о том. Идиллия «Купальницы» была написана по поводу понравившегося поэту эстампа, висевшего в его комнате.

Идиллия не сказка и не повесть, хотя и содержит в себе что-то похожее <на> происшествие, но живое представление тихого, мирного быта, сцена, не имеющая драматического движения. Ее можно назвать в истинном смысле картиною; по предметам, ею избираемым, всегда простым, — картиной фламандской.

## <Примеры>

### <Оды, гимны и лирические воззвания>

«Вечернее размышление», Ломоносова.
«Водопад», Державина.
«Гимн Богу», Дмитриева.
...... Капниста.
«Землетрясение», Языкова.
«Пастырь», Пушкина.
«Подражание Иову», Ломоносова.
«Вельможа», Державина.
«Гений», Языкова.
Ода Ломоносова: «На восстановление дома Романовых в лице родившегося Императора Павла I»[1].

[1] *Выноска в оде Ломоносова на рождение Императора Павла.* Рождение Императора Павла было радостнейшим происшествием, какое когда-либо запомнит Россия, по сказанию всех современников. Все единомысленно видели в нем восстановление дому Романовых, который, кажется, ежеминутно готовился угаснуть за неимением наследников мужского пола. Все услышали, что родился тот, который потом упрочил надолго и дом царский, подарив России мужественное и сильное царское поколение. Вот причина, почему вся эта ода у Ломоносова исполнена такого восторга и силы, и он пророчит младенцу все, что только можно пожелать совершеннейшему Государю.

«Осень во время осады Очакова».
«Императору Николаю», Пушкина.
«Давыдову», Языкова.
«На переход Альпийских гор», Державина.
«Поэту», Языкова.
«Благодарность Фелице», Державина.
«России», Хомякова.
....... Капниста.
«Пророк», Пушкина.
«Фелица», Державина.
«Подражание псалму CXXXVI», Языкова.
«Благодарность Фелице», Державина.
«На смерть Мещерского», Державина.
«На смерть Орлова», Державина.
«Клеветникам России», Пушкина.
«К нерусским», Языкова.
«Зубову», Державина.
«Наполеон», Пушкина.
«Мой истукан», Державина.
«Пророк», Лермонтова.
«К XIX веку», Лермонтова.
«К — " — веку», М. Лихонина.
«Изображение Фелицы», Державина.
«Ответ Рафаэля певцу Фелицы», Капниста.
«Елисавете», Ломоносова.
«Лебедь», Державина.

## Песни

«Уже со тьмою нощи», Капниста.
«У кого душевны силы», Нелединского-Мелецкого.
«Талисман», Пушкина.
«Венецианская ночь», Козлова.
«Кудри, кудри шелковые», Дельвига.
«Телега жизни», Пушкина.
«По дороге зимней, скучной», Пушкина.
«Цепи», Державина.
Жуковского, «Отымет наши радости».
«В местах, где Рона протекает», Батюшкова.

«Где твоя родина, певец молодой?» Языкова.
«Море блеска, гул, удары...» Языкова.
«Ночь. Померкла неба синева», Языкова.
«Я взлелеян югом, югом», В. Туманского.
«Ночь», Жуковского.
«Делибаш», Пушкина.
Русская песня: «Гой, красна земля Володимира», Хомякова.
Дельвига, «Песня».
«Я ехал к вам: живые сны...» Пушкина.
«Ночной зефир струит эфир», Пушкина.
«*Пловец.* Нелюдимо наше море», Языкова.
. . . . . . . . . . Козлова.
«Песнь Гаральда», Батюшкова.
«Мечта», Державина.
«Две вечерние думы», Хомякова:
1-я, «Вчерашняя ночь была так светла».
2-я, «Сумрак вечерний тихо взошел».
«Ты велишь мне равнодушным», Нелединского-Мелецкого.
Лермонтова. «Молитва», «Одну молитву чудную».
— “ — «Завещание». «Наедине с тобою брат».
«Зима». «Что ты, муза, так печальна», Державина.
«Мотылек и цветы. К нарисованному изображению того и другого», Жуковского.
«Два рыцаря перед девой», испанский романс, Пушкина.
«Песнь пажа», Пушкина.
«Старость и младость», Капниста.
«Прости мне дерзкое роптанье», Нелединского-Мелецкого.
«Карикатура. Сними с меня завесу, седая старина», Дмитриева.
«Что мне делать в тяжкой участи моей?» Мерзлякова («Тоска сельской девушки»).
«Многи лета, многи лета» (народная песня), Жуковского.
«Выйду я на реченьку», *Нелединского-Мелецкого.*
«Ах, когда бы я прежде знала», Дмитриева.
«Уныние», Капниста: «Дни отрады, где сокрылись?»
«*Ангел*». «По небу полуночи ангел летел», *Лермонтова.*
«*Таинственный посетитель*», Жуковского.
«Пятнадцать мне минуло лет», *Богдановича.*
«Когда веселий на крылах», *Нелединского-Мелецкого.*

«К младенцу», Дмитриева.
«Чувство в разлуке» («Что не девица в тереме своем»), Мерзлякова.
«К востоку, всё к востоку», Жуковского.
«Полно льститься мне слезами», Нелединского-Мелецкого.
«Донскому воинству», Шатрова («Грянул внезапно гром над Москвою»).
«С Миленой позднею порою», Капниста.
«К месяцу», Жуковского.
«Весеннее чувство», Жуковского.
*«Сон»,* Жуковского. «Заснув на холме луговом».

## Элегия

«Роняет лес багряный свой убор», Пушкина.
«Умирающий Тасс», Батюшкова.
«На смерть королевы Виртембергской», Жуковского.
«На воспоминанье кн. Одоевского», Лермонтова.
«Пожар», Языкова.
«На развалинах замка в Швеции», Батюшкова.
«Финляндия», Баратынского.
«Элегия», Давыдова.
Пушкина, «Ненастный день потух. Туманной ночи мгла».
Второй перевод Греевой <элегии>, Жуковского.
«Я берег покидал туманный Альбиона», Батюшкова.
«Элегия», А. Крылова.
«Череп», Баратынского.
«Лицейская годовщина», Пушкина.
«Миних», Плетнева.
«Элегия», Баратынского.
«Тоска в немецком городке». Элегия, Языкова.
«Элегия», Пушкина.
— “ — Пушкина.
«О, сжальтесь надо мною, о, дайте волю мне», Хомякова.
«Арфа», Державина.
«Когда для смертного умолкнет шумный день», *Пушкина.*
«Зима. Что делать нам в деревне? я встречаю», *Пушкина.*
«Вечер», Жуковского.

## Антологические

«Труд», Пушкина.
«Монастырь на Казбеке», Пушкина.
«Недуг», Шевырева.
«К статуе Петра Великого», Ломоносова. («Гремящие по всем концам земным победы»).
«Пир Потемкина, данный Екатерине», Державина.
«Домик поэта в Обуховке», Капниста.
«Красавице перед зеркалом», Пушкина.
«Домовому», Пушкина.
«Буря», Языкова.
«Птичке», Ф. Туманского.
«Нереида», Пушкина.
«Вдохновенье». Сонет, Дельвига.
«Красавице», Пушкина.
«На спуск корабля Златоуста», Ломоносова.
«Весна», Языкова.
«К статуе играющего в бабки», Пушкина.
«На перевод Илиады», Пушкина.
«Сонет при посылке книги, воспоминанье об искусстве», Батюшкова.
«О милых призраках», Жуковского.
«Поэту». Сонет, Пушкина.
«К портрету Жуковского», Пушкина.
«Нимфа», Баратынского.
«Черта к биографии Державина», Державина.
Последние стихи, Веневитинова.
Последние стихи, *Державина.*
«Элегия болевшего ногами поэта», *Языкова.*
«Сафо», *Пушкина.*
«Дориде», *Пушкина.*
«Сожженное письмо», *Пушкина.*
«Рифма», *Пушкина.*
«Мой голос для тебя и ласковый и томный», *Пушкина.*
«Ты и вы», *Пушкина.*
«К портрету Жуковского», Пушкина.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла», Пушкина.

## Идиллии

«Рыбаки», Гнедича.
«Купальницы», Дельвига.
«Каприз», Пушкина.
«Изобретение ваяния», Дельвига.
Сцены из «Цыган», Пушкина.
Последние стихотворения Пушкина.
«Солдат», Дельвига.
«Сторож ночной», Жуковского.

## Эклоги

«Гомер и Гезиод», Батюшкова.
«Ермак», Дмитриева.
— “ — Катенина.
«Спор <Казбека> с Шат-горою», Лермонтова.
«Олег», Языкова.

## Думы

«Олег», Пушкина.
«Эвпатий», Языкова.
«Острогожск», Рылеева.
«Пир на Неве», Пушкина.
«Кудесник», Языкова.

# <Учебная книга словесности для русского юношества>

*Первоначальные наброски*

## Что такое слово и словесность

Говорится все, записывается немногое, и только то, что нужно. Отсюда значительность литературы. Все, что должно быть передано от отцов к сыновьям в научение, а не то, что болтает ежедневно глупый человек, то должно быть предметом словесности. Поэтому только тот, кто больше, глубже знает какой-нибудь предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором. Поэтому злоупотребление, если кто пишет без надобности или потребности внутренней передать свои <...>, кто пишет только затем <...>

Поэтому для того, чтобы писать, нужно иметь или очень много сведений и познаний не общих всем, тогда писанья его будут принадлежать к области науки, или же изобилие ощущений и опытности, тогда он поэт и его произведения принадлежат области поэтической.

Тому и другому необходима способность воображать и живо представлять себе предмет, о котором говорит.

## <Ученые рассуждения и трактаты >

Ученые рассуждения и трактаты должны быть коротки и ясны, отнюдь не многословны. Нужно помнить, что наука для тех, которые еще не знают ее. В последнее время стали писать рассуждения начиная с Лединых яиц. Это большая погрешность. Думая через это более раскрыть дело, более темнят. Терминов нужно держаться только тех, которые принадлежат миру той науки, о которой дело, а не общих философских, в которых блуждает, как в лабиринте, и отдаляется от дела. Приступ должен быть не велик и с первого же раза показать, в чем дело. Заключение должно повторить дело трактата и в сокращенье обнять его снова, чтобы читатель мог повторить самому себе.

## О науке

Наука у нас еще не разработывается как полное целое. Еще не думают о совокуплении ее в цельное крепкое ядро. В трудах наших ученых также раздаются не переварившиеся европейские мнения, и такими же торчат яркими заплатами их собственные мысли, как все это раздается в наших гостинных спорах и разговорах: всего нанесено и все не переварилось. А между тем только в одной русской голове (если только эта голова устоялась) возможно созданье науки как науки, и русский ум войдет в сок свой. Наука, окинутая русским взглядом, всеозирающим, расторопным, отрешившимся от всех сторонних влияний, ибо русский отрешился даже от самого себя, чего не случалось доселе ни с одним народом. Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; французу, о чем бы он ни говорил, во всех его мнениях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы. Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разумеется, при его полном и совершенном воспитании. К этому нужно присовокупить нашу способность схватывать живо малейшие оттенки других наций и, наконец, живое и меткое наше слово, не *описывающее,* но *отражающее,* как в зеркале, предмет. Наука в нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не краснобайством преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересует моду, и всякими другими нарумяниваниями и подслащиваниями, которыми стараются сделать <науку> удобопроглотимою. Она поразит своим живым духом, из нее же исходящим, и сим только станет доступною всем: и простолюдину, и не простолюдину. Ее сила будет в ее многозначительном краткословии, а краткословья этого, сколько мне кажется, не добыть никому из народов, кроме русского, ибо сама природа наша требует его. Нам не нужно то постепенное, медленное развитие мыслей, не прерывающийся исход и вывод одного из другого, без которого немец не ступит шага и не пойдет по дороге. У нас, напротив, всякий скучает, начиная от образованного до простолюдина, когда ему дается слишком долгая инструкция и толкуют то, что

он и сам уже смекнул, и не может идти шаг за шагом, так, как идет немец. Отсюда неуспех всякого изложенья науки ходом немецкой философии. Проследи лучше наш ученый сам в себе науку, прежде чем стал ее проповедать, проживи как в беседе с нею, как монах живет с Богом, наложив молчание на уста свои. И когда уже совокупилась в тебе самом наука в одно крепкое ядро и содержишь ее в голове всю в не разрушаемой связи, — тогда можешь проповедовать ее. И нечего уже тогда плестись: не бойсь, нити не потеряешь, когда она в голове. Несись ровными и мерными скачками, не усиливая и не замедляя, борзо, как добрый ямщик, который ни лошадей не горячит, ни сам не горячится, несется не подлой рысцой, не во всю прыть, не сломя голову, а тем веселящим сердце лётом, с каким начал дорогу, и прилетает на станцию, не заморив коней, ни себя самого. Иной езды мы не любим. Смело поступи, как наш сказочный конь: мелкие кусты и травник промеж ног пропускает. Не заботься, тебя поймут. Сметливость — наше свойство, и у нас давно живет пословица: умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся.

# Оглавление
# <к сборнику стихотворений>

34. Недоконченная картина ........ Пушкина
35. Недавний друг ........ Козлова
36. Лебедь ........ Жуковского
37. Что в имени тебе моем ........ Пушкина
38. Очарованье красоты ........ Баратынского
39. Могилы ........ Иеронима Южного
40. Parle-moi ........ Lamartine
41. Две Офелии ........ Иеронима Южного
42. Ты хороша ........ Его же
43. Монахиня ........
44. Пилигрим ........ Козлова
45. Она мила ........ Красовского
46. Отрывок из стихотворения «Бейрон» ........ И. Южного
47. Любовь ........
48. Падучая звезда ........ гр. Е. Растопчиной
49. Прости меня ........ И. Южного
50. Утешение ........ Ю. Волкова
51. Сердце ........ Губера
52. Pauvre femme ........ V. Hugo
53. Amant<?> le froid de la mort ........ Lord Byron
54. Mon âme est triste ........ Lord Byron
55. Правила благоразумия ........ Третьяковского

# Размышления о Божественной Литургии



## Предисловие

Целью этой книги — показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого[1]. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значенье ее раскрываться будет само собою.

## Вступление

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отвсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему — и пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения — слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданьях, предстанет Сам лицем к человекам, — предстанет не иначе, как в образе того созданья Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем, по мере того как сколько-нибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предслышиваемо

[1] Все прочие, которые бы захотели узнать более таинственные и глубокие объяснения, могут найти их в сочинениях патриарха Германа, Иеремии, Николая Кавасилы, Симеона Солунского, в Старой и Новой Скрижали, в объяснениях Дмитриева и, наконец, в некоторых...

даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир, *Им же мир бысть;* среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия — не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его божественно пророки, получившие повеление от Бога...

## Проскомидия

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с диаконом поклоняются они оба пред Царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь, произнося в себе псалом: *Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе Твоем.* И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземных поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, — и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И произнося в себе: *Боже! очисти меня грешного и помилуй меня!* —священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея, надевает стихарь, подризник блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: *Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу*

*спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец и, яко невесту, украси мя красотою.* Затем берет, поцеловав, орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанью всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо званье диакона, что званье ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщенья им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: *Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов.* Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих и молит у Него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свышним Своим руководством, говоря так: *Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям.*

Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон; но, вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей — иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но епитрахилью, и самим воздеваньем своим знаменует излияние благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: *Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его.* Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и препоясует себя поясом сверх

подризника и епитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо препоясуется человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясуется и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: *Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких,* то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, в возвещение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, — ту победу над смертию, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник; привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: *Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница Твоя.* Наконец, надевает иерей фелонь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией, и сопровождает сими словами: *Священники Твои, Господи, облекутся в правду и преподобнии Твои радостию возрадуются.* И одетый таким образом в орудия Божии, священник предстоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святый. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтеньем псалма: *Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой.* Повергая по три поклона в сопровождении слов: *Боже! очисти мя грешного и помилуй,* восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобяся скорее сияющим видениям, чем людям.

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: *Благослови, владыко!* И священник начинает словами: *Благословен*

*Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков,* приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы — собранье псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времена дня: час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было Сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым — средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба знаменует изъятье плоти Христа от плоти Девы — рождение Бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте Тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, — в то время, когда совершилось сие принесение в жертву: то предстоит впереди, в последней части Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею мыслию, почему и сопровождает все священнодействие

словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть и возвестившего о том с ясностью непостижимою. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии: *как овечка ведется на заколение;* водрузив копье потом в левую сторону, произносит: *и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его, не отверзает уст своих;* водружая потом копье в верхнюю сторону печати: *Был осужден за Свое смиренье (в смиреньи Его суд Его взятся).* Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, — слова: *Род же Его кто исповесть?* И приподъемлет потом копьем вырезанную средину хлеба, произнося: *яко вземлется от земли живот Его;* и начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на нем знак жертвоприношенья, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: *Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение.* И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву, водружает копье в правый бок, напоминая, вместе с заколеньем жертвы, прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина; и произносит: *един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его.* И слова сии служат вместе с тем знаком диакону ко влитию в Святую Чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: *Господу помолимся!* — при всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в Чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.

И во исполненье обряда первенствующей Церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда, при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу исполнением Его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа, так как и сами они пламенели

желанием быть повсюду с своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминанье Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма Давида: *Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащены одеяна, преукрашенна.* Потом берет третью просфору, в воспоминанье святых, и тем же копьем изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя Святых Отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребреников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является среди Своих ближайших, во святых Обитающий зрится видимо среди святых Своих — Бог среди богов, человек посреди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовенье всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовенье всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же Святого Хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, изображающего Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын Человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился

и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос, дабы ничто не пропало из Святого Хлеба и все бы пошло в утверждение.

И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление Небесного Хлеба на земле, и приветствует Его каждением фимиама, благословив прежде кадило и читая над ним молитву: *Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, которое принявши во превыше небесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.*

И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время Небо на землю: Небо стало вертепом, и вертеп — Небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездою наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над Младенцем, сопровождая словами: *И, пришедши, звезда стала вверху, иде же бе Отроча;* на Святой Хлеб, отделенный на жертвоприношение, — как на новородившегося Младенца; на дискос — как на ясли, в которых лежал Младенец; на покровы — как на пелены, покрывавшие Младенца. И обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося псалом: *Господь воцарися, в лепоту облечеся...* и проч., — псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И обкадив второй покров, покрывает им Святую Чашу, произнося: *Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля.* И взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе, взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла Своего. И отошед от предложения, поклоняются оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу, и кадит пред вертепом, изобразуя в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами.

Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии: *Господу помолимся,* то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве,

которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных Дарах, словами: *О предложенных Честных Дарах Господу помолимся!* И священник приступает к молитве. Хотя Дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одного молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению Даров. И в таких словах его молитва: *Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас, Сам благослови предложение сие и приими во свыше небесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Таин Твоих.* И творит, вслед за молитвой, отпуст Проскомидии; а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: *Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный.* И выходит из олтаря, с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех, собравшихся на Святую Трапезу Любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное — на Тайную вечерю, носящую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей Небесному Хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образам святых, ибо и они суть гости, пришедшие на Тайную вечерю: во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и, возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух — учитель и наставник молитвы: *о чесом бо помолимся, не вемы,* говорит апостол Павел: *но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьи неизглаголанными.* Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник, и диакон дважды произносят песнь, которою приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: *Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.* И вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь, которая отдергивается только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим, горним предметам. Здесь отъятье горных дверей знаменует, вослед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: *Господи! отверзи уста моя — и уста моя возвестят хвалу Твою.* Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании Литургии: тремя перстами руки подъемлет орарь свой и произносит: *Время сотворить Господу: благослови, владыко!* И благословляет его священник словами: *Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанью, — от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в едину душу, и быть, так сказать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостоинство свое к такому служению, — молит смиренно иерея: *Помолись обо мне, владыко! — Да исправит Господь стопы твоя!* — ему ответствует на то иерей. *Помяни меня, владыко святый! — Да помянет тебя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.* Тихо и ободренным гласом диакон произносит: *аминь,* и выходит из олтаря северной дверью к народу. И, взошед на амвон, находящийся противу Царских врат, повторяет еще раз в самом себе: *Господи! отверзи уста моя — и уста моя возвестят хвалу Тебе;* и, обратившись к олтарю, взывает еще раз к иерею: *Благослови, владыко!* Из глубины святилища возглашает на то иерей: *Благословенно Царство...* — и Литургия начинается.

## Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных. Как первая часть, Проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его Рожденью, открытому только ангелам да немногим людям, Его младенчеству и пребыванью в сокровенной неизвестности до времени появленья в мир, — так вторая соответствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом истины. Называется она Литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, которые только готовились быть христианами, еще не приняли св. Крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, Апостола и Святого Евангелия, есть уже преимущественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возглашением из глубины олтаря: *Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа...* Так как чрез воплощенье Сына стало миру очевидно ясно Таинство Троицы, то по этому самому троичное возглашенье предшествует и предсияет начинанью всяких действий, и молящийся, отрешившись от всего, должен с первого раза поставить себя в Царство Троицы.

Стоя на амвоне, лицем к Царским вратам, изобразуя в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десныя руки узкое лентие, — подобие ангельского крыла, — диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, начиная с моленья о мире, без которого нельзя молиться. Собранье молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изобразующий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом; о Государе, Синоде, начальствах

духовных и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители, в которой служится Литургия, о благорастворении воздухов, об обилии плодов земных, о временах мирных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И, собирая все сею всеобъемлющею цепью молений, называемою великой ектенией, на всякое ее отдельное призванье, собранье молящихся восклицает вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

В знаменованье бессилья наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, — вспоминая о тех, которые умели лучше нашего молиться, — предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желаньи искреннем предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом: *Тебе, Господи!* Цепь молений завершает диакон троичным славословием, которое, как вседержащая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собранье молящихся ответствует утвердительным: *Аминь: Буди! да будет!* Диакон сходит с амвона; начинается пенье антифонов.

Антифоны — противугласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изобразующие пришествие в мир Сына Божия, — поются попеременно обоими ликами на обоих крылосах; они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные.

Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, подняв орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пенье первого антифона, восходит он снова на амвон призывать собранье молящихся словами: *Вновь и вновь Господу помолимся!* Собранье молящихся восклицает: *Господи, помилуй!* Обратив взоры к ликам святых, диакон напоминает вспомнить вновь Богоматерь и всех святых, предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Собранье восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием заключает он. Утвердительный *Аминь* изглашает вся церковь. Следует пенье второго антифона.

В продолженье второго антифона священник в олтаре молится внутреннею молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончаньи же пенья восходит он снова на амвон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: *В мире Господу помолимся!* Собранье восклицает: *Господи* <*помилуй!* Диакон взывает:> *Заступи, помилуй, спаси и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.* Собранье восклицает: *Господи, помилуй!* Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувше, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.* Собранье восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием оканчивается моленье; утвердительным *Аминь* ответствует вся церковь; диакон сходит с амвона. А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой; она — в сих словах: *Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошенья! исполни же теперь к полезному прошенья рабов Твоих: подай в настоящем веке познанье Твоей истины, а в будущем даруй вечную жизнь!*

С крылоса громко возглашаются во всеуслышанье блаженства, возвестившие в настоящем веке познанья истины, а в будущем вечную жизнь. Собранье молящихся, взывая воззваньем благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте: *Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем,* повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя:

Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное — не гордящиеся, не возносящиеся умом.

Блаженны плачущие, яко тии утешатся — плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых.

Блаженны кроткие, яко тии наследят землю — не питающие гнева ни противу кого, всепрощающие, любящие, которых оружие — всепобеждающая кротость.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся — алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут — сострадающие о каждом брате, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него просящего.

Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят — как в чистом зеркале успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся — подобно Самому Сыну Божию, сходившему на землю затем, чтобы внести мир в наши души: так и вносящие мир и примиренье в домы — истинные Божьи сыны.

Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное — изгнанные за возвещенье правды не одними устами, но благоуханьем всей своей жизни.

Блаженны есте, егда поносят вас и изженут и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех — многа, ибо заслуга их трое-кратна: первая — что уже сами по себе они были невинны и чисты; вторая — что, быв чисты, были оклеветаны; третья — что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собранье молящихся слезно повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя, возвестившия, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются Царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селенье Божией славы и верховное училище, отколе исходит к нам познанье истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не Царскими вратами, но позади олтаря боковой дверью, напоминающею дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собранье молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя,

исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит Он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище Царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; оба преклоняют главы. Иерей молится внутреннею молитвой, чтобы Установивший на небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на Царские двери, говорит ему: *Благослови, владыко, святый вход!* — *Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* — возглашает на это иерей. Дав поцеловать ему Святое Евангелие, диакон несет его в олтарь; но в Царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: *Премудрость!* — знаменуя сим, что Слово Божье, Его Сын, Его Вечная Премудрость благовестилась миру чрез Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед за тем возглашает: *Прости!* — то есть воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного стоянья. Собранье молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: *Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас, Сыне Божий, Тебе поющих: Аллилуия!* В еврейском слове аллилуия выражается: Господь идет, хвалите Господа; но так как, по существу священного языка, в слове идет сокрыто и настоящее и будущее, то есть идет пришедший и вновь грядущий, то, знаменуя вечное хождение Божие, это слово аллилуия сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На крылосах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь за то, что он уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как возлетать вослед за ним в жизнь вечную.

По окончаньи тропарей наступает время Трисвятого пенья. Испросив на него у иерея благословения, диакон показывается в Царских дверях и, проводя орарем, подает знак певцам.

Торжественно-громогласно оглашает всю церковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!* Воззванием: *Святый Боже* возвещает Трисвятая песнь Бога Отца; воззванием: *Святый Крепкий* — Бога Сына: Его крепость, Его создающее Слово; воззванием *Святый Безсмертный* — Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы подъемлют сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребываньем Бога пребывало в Нем вечное пребыванье Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слову Его оскудевал Дух Святый. *Словом Божьим небеса создашася, и духом уст Его вся сила их*, — говорит пророк Давид. Каждый из собранья, сознавая, что и в нем, как в подобьи Божьем, есть та же тройственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений и только по возвышеньи его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу: в слове отражается Божье Слово, в духе — Дух Божий, и образ Троицы Создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным Создателю, — сознавая все сие, каждый, внемлющий Трисвятому пению, молится внутренно в себе, чтобы Бог Святый, Крепкий и Бессмертный, очистив его всего, избрал его Своим храмом и пребываньем, и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!* Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный!* И, подобно ему, повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом.

И сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятыя Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчем единством Духа Святаго. И восхожденьем своим изобразует иерей восхожденье Самого Христа вместе с плотью в лоно Отчее, призывающее человека вослед стремиться в лоно Отчее, — возрожденье, прозретое издали

пророком Даниилом, который видел в высоком виденьи своем, как Сын Человеческий дошел даже до Ветхого деньми. Иерей идет нетрепетной стопой, произнося: *Благословен Грядый во имя Господне*, и на призванье диакона: *Благослови, владыко, горний престол*, — благословляет его, произнося: *Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отселе, как Божий апостол и его наместник, обратясь лицем к народу, приготовляет он вниманье к слушанью наступающего чтения апостольских посланий, — сидящий, изобразуя самим сиденьем своим свое равенство апостолам.

Чтец с Апостолом в руке выходит на середину храма. Воззваньем: вонмем! призывает диакон всех предстоящих ко вниманью. Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира; собранье молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служенье его должно быть духовно, подобно служенью апостолов, которые глаголали не свои слова, но Сам Дух Святый двигал их устами, то не говорят: *мир тебе*, но: *духови твоему.* Диакон возглашает: *Премудрость!* Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец прилежно, сердцем приемлющим, душею ищущею, разумом, испытующим внутренний смысл читаемого, внемлет собранье, ибо чтенье Апостола служит ступенью и лествицей к лучшему уразумленью чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: *мир тебе.* Лик ответствует: *и духови твоему.* Диакон возглашает: *Премудрость!* Лик гремит: *аллилуия*, возвещающее приближенье Господа, идущего говорить народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм, навстречу идущего Господа, напоминая кажденьем о духовном очищеньи душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словом Евангелия. Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий. О воссияньи того же света в сердцах своих молится внутренно собранье, приготовляясь к слушанью. Испросив благословенья от иерея, получа от него в напутствие: *Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго*

*апостола и евангелиста* (именуется его имя), *да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, Возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа*, — диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в олтаре возглашает к собранью: *Премудрость! Прости, услышим Святого Евангелия! Мир всем!* Лик ответствует: *и духови твоему.* Диакон начинает чтение.

Благоговейно преклонив главы, как бы внимая Самому Христу, говорящему с амвона, все стараются принять сердцами семя Святого слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, — не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами — налетающими злыми помышлениями; — не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; — и не теми также сердцами, которые уподобляет Он неочищенной земле, глушимой тернием, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, — терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни с ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы — и семя остается без плода; — но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет Он доброй почве, дающей плод — ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят, — которые все, принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в увеселеньях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камени. По окончании чтенья священник в олтаре возвещает диакону: *Мир тебе благовествующему.* Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: *Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!* Стоящий в Царских

дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся. Олтарь, изобразующий высшие горние селенья, скрывается от глаз — врата Царские затворяются, горняя дверь задергивается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с Ним только можно войти в них: *Аз есмь дверь.*

Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди; следовали изъясненье и толкованье прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частию на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей к моленьям, диакон идет на амвон воздвигнуть собранье к моленьям еще сильнейшим и прилежнейшим. *Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем!* — взывает он, подъемля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моленья от всех помышлений, все восклицают: *Господи, помилуй!* Усугубляя моленья троекратным воззваньем о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где трудней человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь от Бога. Каждый из собранья, зная, как много благоденствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил, и наставил исполнять честно свое званье, и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. О сем молятся все прилежно, произнося уже не один раз: *Господи, помилуй!* — но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубой ектенией, или ектенией прилежного моленья, и священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моленья.

И если в тот день случится какое-либо приношенье об усопших, тогда вослед за сугубой ектенией возглашается ектения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоеньи душ Божиих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение,

вольное и невольное, чтобы водворил их души там, где праведные успокояются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза на всякое воззвание диакона: *Господи, помилуй!* — молясь прилежно и о своих, и о всех почивших христианах. *Милости Божией,* — восклицает диакон: *Небесного Царствия и оставления грехов их у Христа, Безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим!* Собранье взывает с хором поющих: *Подай, Господи!* А священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возглашает громко: *Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопших рабов Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.* Утвердительным *Аминь* ответствует лик. Диакон начинает ектению об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удостоивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его márованье, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что, крещеный водой во имя Христа, он не достигнул того возрожденья в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову Самого Спасителя: *кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное,* — соображая все сие, всякий из присутстсвующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных и на призванье диакона: *Помолитеся, оглашенные, Господу!* — от глубины сердца взывает: *Господи, помилуй!*

*Верные* — взывает диакон: *помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!*

И верные, чувствующие, как мало они стоят названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе, и на всякое отдельное призванье диакона восклицают внутренно вослед за поющим ликом: *Господи, помилуй!* Диакон взывает: *Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!* Все преклоняют свои главы, восклицая внутренно в сердцах: *Тебе, Господи!*

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смиренье души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: *Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасенье человеческому роду — Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! воззри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Приобщи их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* Лик гремит *Аминь.* А в напоминанье, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, диакон возглашает громко: *Оглашенные, изыдите!* И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: *Оглашенные, изыдите!* И потом в третий раз: *Оглашенные, изыдите! да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!*

От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостоинство. Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоящий старается изгнать из храма души своей оглашенного, неготового присутствовать при святыне, и взывает к Самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал апостол: *Язык свят, люди обновления, камение, зиждущееся в храм духовен,* — причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при Литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия — начинается Литургия верных.

# Литургия верных

В закрытом олтаре иерей распростирает на святом престоле антиминс, вместопрестолие, — плат с изображеньем Тела Спасителя, на котором должны быть поставлены приуготовленные им на Проскомидии Святой Хлеб и Чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерши антиминс, — напоминающий время гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и, не могши переносить с собою престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы в возвещенье, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданью, городу или месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде своего якоря: ее якорь на небесах, — распростерши сей антиминс, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе остававшийся закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моленья верных. Еще в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстояньи святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изобразуя ангела, побудителя к молитвам, держа орарь тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими началась Литургия оглашенных.

И так стараясь о приведеньи своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необходимейшего, все верные взывают: *Господи, помилуй!* — и еще сильнее молятся о свышнем мире и о спасеньи душ наших, о мире всего мира, благосостояньи Божьих Церквей и соединеньи всех, о святом храме сем и о входящих в него с верою, благоговеньем и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякия скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих: *Господи, помилуй!*

Иерей из глубины олтаря возглашает: *Премудрость!* — знаменуя сим, что Та же Самая Премудрость, Тот же Вечный Сын,

исходивший в виде Евангелия сеять Слово, учившее жить, перенесется теперь в виде Святого Хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, приготовляются к предстанущим священнейшим священнодействиям и служениям. Иерей, литургисающий, втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой: *Никто из связавшихся чувственными пожеланьями и наслажденьями недостоин приступать к Тебе, или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы: ибо служенье Тебе велико и страшно и самим Силам Небесным. Но так как, по безмерному Своему человеколюбию, Ты непреложно и неизменно был человек, Сам был архиерей и Сам передал нам священнодейство сея служебныя и бескровные жертвы, как Владыка всех, — ибо Ты один, Боже, владычествуешь и небесными, и земными, — носимый херувимски на престоле, Господь серафимов и Царь Израилев, Единый Свят и во святых почивающий, то молю Тебя, Единаго Благаго, воззри на меня, грешного и непотребного раба Твоего, очисти мою душу и сердце от совести лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать Святой Твоей Трапезе и священнодействовать Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь! К Тебе же прихожу, преклоня мою выю, и молюсь Тебе: да не отвратишь лица Твоего от меня, ниже отринешь меня от отроков Твоих; но сподоби принестись Тебе, посредством меня недостойнаго, сим Дарам Твоим: ибо Ты еси и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.*

Царские врата разверзаются на средине молитвы, так что иерей зрится еще молящийся с распростертыми руками. Диакон с кадильницею в руке исходит уготовить путь Царю всех, и, обильно распространяемым куреньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом, — напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханьем Христовым, по слову апостола, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах подъемлют от лица всей церкви сию Херувимскую песнь: *Мы, тайно изобразующие херувимов*

*и воспевающие Трисвятую песнь Животворящей Троице, отложим ныне всякое попеченье, да Царя всех подымем, невидимо копьеносимаго ангельскими чиньми.*

Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровожденьи легионов войск на щите под осененьем множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием Царя всех, копьеносимого херувимами и легионами Небесных Сил: в первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе Святого Хлеба.

Пенье сей песни устраивается ангельским, подобное тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторяя внутренно в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: *Возьми, владыко!* Иерей снимает воздух, и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: *Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа.* Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к народу. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой — Чашу, третий — святую ложку, которою приобщаются, четвертый — копье, прободшее Св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупицы Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в уксус и желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пеньи Херувимской песни, подобясь Небесным Силам, выступает сей торжественный ход, называемый великим выходом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и чиноначалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: *Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем.* Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред

Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их, — заключая словами: *Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пеньем: *Аллилуия*, возвещающим вечное хожденье Господне. Ход вступает в Царские врата. Впереди всех вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: *Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.* Священник ответствует ему: *Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствие Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб. Врата Царские затворяются, как бы двери Гроба Господня; занавесь над ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал Тело Спасителя со креста, поставляет его на расстланный антиминс как бы на плащаницу и сопровождает сие действие словами: *Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи.* И вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: *Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собой исполняяй, Неописанный!* И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит: *Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякаго царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякаго воскресения.* И снявши покров от дискоса и от Чаши и воздух с плеча диакона, изобразующий теперь уже не пелены, в которые повит был Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он ими снова дискос и Чашу, произнося: *Благообразный Иосиф, сняв со древа Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе новые закрыв, положи.* Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, поклоняясь пред ними три раза, и, готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: *Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся*

*стены иерусалимская: тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемыя, тогда возложат на олтарь Твой тельцы:* ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжений, и не поднимется кверху пламень духовного моленья, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и вьюгой возмущенья душевного. Молясь об очищеньи своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив фелонь и преклонив главу, говорит он ему: *Помяни меня, брат и сослужитель! — Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем!* — ответствует диакон и в свою очередь, помышляя о недостоинстве своем, преклоняет голову и, держа орарь в руке, говорит ему: *Помолись о мне, владыко святый!* Священник ему ответствует: *Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. — Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего.* И, полный сознанья своего недостоинства, диакон присовокупляет: *Помяни мя, владыко святый!* Священник ему: *Да помянет Тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Диакон, произнесши: *Аминь* и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол Святых Дарах.

Взошед на амвон, лицем к Царским дверям, подняв орарь тремя перстами руки, в подобье поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже непохожих на прежние. Начинаясь призванием к моленью о перенесенных на престол Дарах, они скоро переходят в те прошенья, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

*Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим,* — взывает диакон.

Собранье молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердца: *Подай, Господи!*

*Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.*

Собранье: *Подай, Господи!*

*Прощенья и оставленья грехов и прегрешений наших у Господа просим.*

Собранье: *Подай, Господи!*

*Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.*

Собранье: *Подай, Господи!*

*Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.*

Собранье: *Подай, Господи!*

*Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судище Христове просим.*

Собранье: *Подай, Господи!*

*Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.*

И в истинном желаньи подобно предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!*

Ектения завершается возглашеньем: *Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.*

Лик гремит: *Аминь.*

Олтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению: еще много долженствующего предшествовать Тайной вечери. Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: *Мир всем!* Ему ответ: *И духови твоему.* Стоя на амвоне, диакон, как было у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедаем...* Окончанье признанья подхватывает лик поющих: *Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную,* возвещая, что, не полюбивши друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь — одна любовь, полная, совершенная, содержащая в Своей Троице и любящего, и любимого, и самое действие любви, которою любящий любит любимого: любящий — Бог Отец, любимый — Бог Сын и сама любовь, Их связующая, — Бог Дух Святый. Три раза поклоняется священник в олтаре, произнося в себе тайно: *Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь утвержденье мое и прибежище мое,* и целует покрытые покровами святой дискос и Святую Чашу, целует край святой трапезы и, сколько бы ни случилось священников, с ним сослужащих, каждый делает то же, и потом все

целуют друг друга. Главный говорит: *Христос посреди нас.* Ему ответствуют: *И есть, и будет.* Диаконы также, сколько бы их ни случилось, целуют каждый вначале свой орарь в том месте, где на нем изображенье креста, потом друг друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи — мужей, жены — жен, произнося: *Христос посреди нас,* и тут же ответствуя: *и есть, и будет;* а потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, — всем им спешит дать мысленно лобзанье, говоря внутренно: *Христос посреди нас* — и ответствуя за них: *И есть, и будет,* — ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Христа: *Остави дар свой и шед прежде примирись с своим братом и тогда принеси жертву Богу,* и в другом месте: *Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо нелюбяй брата своего, егоже виде, како может любить Бога, Егоже не виде?*

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возглашение: *Двери! Двери!* — древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к слышанью Символа веры, во знаменованье чего и отдергивает завеса над Царскими дверями, или горния двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить вниманье ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанью словами: *Премудростию вонмем.* Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: *Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.* И сохранив миг отдохновенья, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Св. Троицы — Бог Отец, продолжают, возвышая голос: *И во Единаго Господа Иисуса*

*Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.* И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех третие лицо Св. Троицы — Бог Дух Святый, продолжает: *Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.*

Твердым, мужественным пеньем, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами.

И твердой стопой исходит диакон и возглашает: *Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити,* то есть станем, как прилично человеку предстать перед Бога, с трепетом, с страхом и в то же время с мужественным дерзновеньем духа, славословящего Бога, с восстановившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя вознестись к Богу. И в ответ на призыв вся церковь, принося в жертву хваленье уст и умягченное состоянье сердец, повторяет вслед за хором певцов: *Милость мира, жертву хваления.* В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей, знаменующий всякое умягчение. Елей и милость в греческом языке тождественны.

Священник в олтаре снимает между тем воздух со Святых Даров, целует его и кладет на сторону, произнося: *Благодать Господа...* А диакон, взошедши в олтарь и взявши в руки веяло, или рипиду, веет ею благоговейно над Дарами.

Приступая к совершению Тайной вечери, иерей посылает от олтаря к народу сие благовествующее возглашение: *Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами!* И ответствуют ему на то все: *и со духом твоим!* И олтарь, изображавший вертеп, теперь уже горница, в которой была уготована Вечеря. Престол, представляющий гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Напоминая о Спасителе, возведшем очи горе перед тем, как преподать Божественную пищу ученикам, священник возглашает: *Горé имеим сердца!* И каждый из стоящих во храме помышляет о том, что имеет совершиться, — что в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться, Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все Небесныя Силы, соединяясь с иереем, о нем молятся, — помышляя о том, стремя свое сердце от земли к Небу, от тьмы к свету, восклицает вослед за всеми: *Имамы ко Господу.*

Напоминая о Спасителе благодарившем, по возведеньи очей горе возглашает иерей: *Благодарим Господа.* Лик ответствует: *Достойно и праведно есть поклонятися Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной.* А священник молится втайне: *Достойно и праведно есть Тебя воспевать, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычествия Твоего, ибо Ты еси Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшия вновь восстановил нас и не отступил еси, вся творя, дондеже на Небо нас возвел еси, и даровал нам Твое будущее Царство. О сих всех благодарим Тебя, и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, которыя знаем и которых не знаем, о явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и о службе сей, которую из рук наших приятии изволил еси, хотя и предстоят Тебе тысящи архангелов, и тмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающиеся пернатые, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея!*

Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их вместе

с серафимами повторять: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф*, и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы. И так как в то же время вся церковь ожидает в эти минуты сошествия Самого Бога, грядущего принестись в жертву за всех, то к Серафимской песне, раздающейся в небесах, присоединяется песнь еврейских отроков, которою они встретили вшествие Его во Иерусалим, подстилая ветви по пути: *Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних.* Ибо Господь взойти готовится во храм, как в таинственный Иерусалим. Диакон продолжает веять веялом над Святыми Дарами, чтобы не могло упасть туда какое насекомое, изобразуя веяньем движенье благодати; а священник продолжает молиться втайне: *С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбче, и мы вопием и глаголем, Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Единороднаго дати, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имать живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в которую был предан, или, лучше, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в святыя Свои, пречистыя, непорочныя руки, благодарив, благословив, освятив, преломив и давши святым своим ученикам и апостолам, сказал...* И громко возглашает иерей слова Спасителя: *Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.* И вся церковь вослед за ликом возглашает *Аминь.* А диакон, держа орарь, указывает священнику на святой дискос, на котором положен Хлеб. Священник продолжает втайне: *Подобно и Чашу по вечере, глаголя...* — и также, по указанию диакона на Чашу, возглашает громко: *Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.* И также громко возглашает вся церковь: *Аминь.*

Священник продолжает молиться втайне: *И так воспоминая сию спасительную заповедь и все о нас бывшее: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, Второе и Славное Пришествие вновь* — и, произнесши это в себе, возглашает громко: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Отложив рипиду, диакон приподымает святой дискос и Святой Потир — алтарь уже не горница Тайныя вечери, престол не трапеза: он уже теперь жертвенник, на котором приносится страшная жертва

за весь мир — Голгофа, на которой совершилось заколенье Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу. Поклоненье отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву — единому Творцу. Она не прекращалась от самого созданья мира и, в каком бы виде ни приносилась, требовалась не самая жертва, но *дух сокрушен*, с которым она приносилась. Поэтому, всякий из предстоящих, вспомни, что в эту минуту священник, презрев все дольнее, оставивши все помыслы, все мысли о земном, подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа и заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного. Но что пред Богом все наши жертвы, когда Он гласит устами пророка: *яко порт нечист вся дела ваша?* В глубоком сознании, что нет Богу на земле ничего достойного жертвы, каждый из предстоящих обращается мысленно к той же Чаше, которую в олтаре подъемлет служитель олтаря, и восклицает во глубине сердца своего: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Лик поет: *Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш!*

И наступает верховнейшая минута всей Литургии: пресуществление. В олтаре происходит троекратное призванье Святаго Духа на Святые Дары, — Того Самого Святаго Духа, Которым совершилось воплощенье Христово от Девы, Его смерть, Воскресенье и без Которого не может пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы.

Упав ниц перед св. престолом, священник и диакон творят троекратно земные поклоны, произнося в себе: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися.* И каждый вослед за сим призваньем произносит в себе стих: *Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.* И во второй раз то же призвание: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися;* вслед за тем стих: *Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми*

*от мене.* И в третий раз призвание: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Своим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися.* Подклонив главу, диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святый Хлеб;* и знаменует его трижды иерей, глаголя: *И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего.* Диакон произносит: *Аминь.* И Хлеб уже есть самое Тело Христа. И так же безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святую Чашу.* И, благословляя, глаголет священник: *А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего.* Диакон, произносит: *Аминь* и, указав на обоя святая, глаголет: *Благослови, владыко, обоя.* Благословив, произносит священник: *Преложив Духом Твоим Святым;* троекратно произносит диакон: *Аминь* — и на престоле уже Тело и Кровь: пресуществленье совершилось! Словом вызвано Вечное Слово. Иерей, имея глагол наместо меча, совершил закланье. Кто бы он ни был сам, — Петр или Иван, — но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно свершает Он его в лице Своих иереев, как по слову: *да будет свет,* свет сияет вечно; как по слову: *да произрастит земля былие травное,* произращает его вечно земля. На престоле — не образ, не вид, но самое Тело Господне, — то самое Тело, которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, и что Сам Господь сказал: *Аз есмь хлеб.*

Церковный звон подъемлется с колокольней возвестить всем о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни находился — в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в дому своем, или занят другим делом, или томится на одре болезни, или в тюремных стенах — словом, где бы он ни был, чтобы он мог отовсюду вознести моленье и от себя в эту страшную минуту. Все повергается ниц в виду Тела и Крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: *Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!*

Подклонив главу священнику, диакон произносит: *Помяни мя, святый владыко!* Ему ответствует священник: *Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.*

И приступает священник к поминанью всех пред лицем Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как вспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Которую тут же вся церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебною песнью, как Предстательницу за весь род человеческий, как единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, понести в себе Бога, — чтобы каждый в эту минуту слышал, что высшая добродетель — смирение, и в сердце смиренного воплощается Бог. И вослед за Божиею Материю вспоминаются пророки, апостолы, Отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них части на Проскомидии; потом — все усопшие, которых помянник читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возложены важнейшие обязанности и высшие, с право правящих слово истины духовных и светских чинов, от Государя: да пособит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего добра, и да в союзном стремлении ко благу ответствует ему весь государственный корабль управленья, палата власти, воинства, исполняя честно долг, *да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.* И о всех предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, чтобы Милостивый на всех излил Свои милости, сокровища их исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость поддержал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщенных обратил и совокупил Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время молится смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился — в пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточеньи, в рудах и пропастях земли. Обо всех до едина молится в это время вся церковь, и каждый из предстоящих, сверх этого общего моленья обо всех, молится еще о всех своих, близких своему сердцу, всех их поименовывая пред лицем Тела и Крови Господней. И возглашает громко священник из олтаря: *И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* Утвердительным *Аминь* ответствует церковь. Священник возглашает: *И да будут милости Великаго Бога*

*и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!* Ему ответствуют: *и со духом твоим.* И сим оканчиваются моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершаемые перед лицом самого Тела и самой Крови Христовой.

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осужденье обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя руки своей, так восперяет он всех к молитве: *Вся святыя помянувше, вновь и вновь миром Господу помолимся!* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — Яко да Человеколюбец Бог наш,* — взывает диакон: *прияв их во святый превыше небесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — О избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй! — Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* И взывает лик: *Господи, помилуй! — Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрешнаго у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Ангела мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.* И воспевает лик: *Подай, Господи! — Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судилище Христовом просим!* И воспевает лик: *Подай, Господи!* И произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: *Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.* И воспевают все в полной и совершенной преданности: *Тебе, Господи!*

Священник же наместо троичного славословия возглашает: *И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, Небеснаго Бога Отца, и глаголати.* И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые

младенцы, доведенные самими моленьями и всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состоянья души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: *Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.*

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошеньем: *да святится имя Твое,* — просится первое, о чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами *да приидет Царствие Твое,* вызывается Царство правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо Бог есть правда. К словам: *да будет воля Твоя* — приводит человека и вера, и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше Самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словом: *даждь нам хлеб наш насущный,* просим мы всего, что нужно для дневного существованья нашего, хлеб же наш есть Божья Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: *Аз есмь хлеб, и ядый Меня не умрет.* Словом: *остави нам долги наша,* мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, — просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братий наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии. Словом: *не введи нас во искушение,* мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: *но избави нас от лукаваго,* мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия, и кому же молиться? — молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде веков. Так как все предстоящие

должны повторять в себе молитву сию не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыханье самих небес в ней слышится, да лобзанье самих ангелов в ней носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто сотворил нас, а говорим Ему просто: *Отче наш!*

Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: *Мир всем!* Ему ответствуют: *И духови твоему!* Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: *Главы ваши Господеви приклоните!* И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: *Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечно вопию: Грешен, Господи, и недостоин просить у Тебя прощения, но Ты, как Человеколюбец, так же ни за что, как блуднаго сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай, и удостой меня, как разбойника, Твоего Небеснаго Царства.* И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у олтаря за всех такими, внутри самого себя произносимыми словами: *Благодарим Тебя, Царю невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся привел еси, Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели, Врачу душ и телес!* И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: *Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков!* Лик возглашает: *Аминь.* А священник, приуготовляя к приобщению себя самого и всех потом Тела и Крови Христовой, молится такою тайною молитвою: *Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе*

*с Отцем сидящий и здесь невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам, священникам, Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами всем Твоим людям.*

Во время глаголания сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед Царскими вратами, опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества. Поклоняясь три раза, так же как и священник, произносит он три раза в себе: *Боже, очисти меня грешнаго и помилуй меня!* Когда же священник прострет руки свои к святому дискосу, воздвигающим словом *вонмем* напоминает он всем во храме устремленью мысли на происходящее. Олтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Один только голос иерея, подъемлющего святой дискос: *Святая святым*, раздается из олтаря. Содрогаясь от сего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святыни, весь молящийся храм ответствует ему: *Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца*, и воспевает вслед за тем хвалебный гимн святому, его же день, в возвещенье, что можно быть святу человеку, так же, как стал свят святой, которому гимн поется: стал свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньем во Христе святится человек и в такие минуты пребыванья свят, как Сам Христос, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь и потухает вмиг, как только изъемлется из огня, и становится вновь темным железом.

Священник раздробляет теперь Святой Хлеб, сначала по знаку, начертанному на Проскомидии, на четыре части, с благоговением произнося: *раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но освящаяй причащающиеся.* И сохранив одну из сих частей для приобщения себя и диакона Святого Тела в виде, не соединенном еще с Кровию, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни

кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали. Но в Чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на Проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе: только частями, составляющими Тело и Кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки Тело Господа, испивал потом сам из Чаши. Но когда, — бесчинством невежественных новообращенных христиан, ставших только по имени христианами, — начали уносить Святые Дары в дома свои, употребляя их в суеверия и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая Святые Дары, когда нашлись в необходимости отцы многих Церквей отменить вовсе приобщение Крови для всего народа, заменив его хлебным знаком облатки, как сделала то у себя католическая Западная Церковь, — тогда святой Иоанн Златоуст, чтобы не случилось и в Церкви Восточной того, установил преподавать народу Кровь и Тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой ложкой, имеющей образ тех клещей, которыми огненный серафим прикоснулся устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться устам, дабы увидел ясно всяк, что сей святой ложкой держит иерей тот горящий угль, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновеньем его к устам пророка отъять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе всякую мысль о том, что сие соединение Тела и Крови воедино и вместе делается произвольно иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитие теплой воды в сосуд, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешение такого соединения, почему и произносится при этом диаконом: *Теплота веры исполнь Духа Святаго.* А на самое влитие теплоты призывается благословение Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без

благословенья Самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобием теплоте Крови, давая самим вкушеньем ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от Живого, Животворящего и Животворного Тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвещенье того, что и от мертвого Тела Господня не отступила Божественная Душа, и было действ Духа оно полно, и Божество с ним не разлучалось.

Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщать других.

Врата Царские разверзаются, <возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру>; диакон возносит торжественный глас: *Со страхом Божиим и верою приступите!* <В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении сих слов, изобразуется исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего.> И всем предстоит преображенный серафим с Святой Чашей в руках — иерей, во святых вратах стоящий. <Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ диакону: *Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь.>

Горя желанием Бога, сгорая любовным пламенем к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого:

*Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое и Сия есть самая Честная Кровь Твоя, молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в жизнь вечную.* И остановившись на одно мгновение, дабы объять мыслию значение того, к чему приступает,

продолжает глубиной сердца своего повторять последующие слова:

*Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника меня приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедую Тя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем.* И совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: *Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.*

И прочитав сие исповедание, уже не так, как к иерею, но как к самому огненному серафиму, приступает каждый, готовяся раскрытыми устами принять с святой ложки тот огнепальный угль святого Тела и Крови Господа, который долженствует в нем попалить, как тленный хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного серафима. И когда, подъяв святую ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: *Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную*, приемлет он Тело и Кровь Господа, и в них приемлет минуту свиданья с Богом, становясь лицем к лицу к Нему Самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Прияв в Теле и Крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобщившийся; святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исаие: *Се прикоснуся устнам твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит.* Сам святой, возвращается он от Святой Чаши, поклоняясь святым, их приветствуя, и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотоле, как связавшихся теперь с ним узами святого, небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в Себя Самого Христа и что Христос в нем, что Христос сошел Своею плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайное хранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребенье, и Воскресенье Свое. Сияет светом сего духовного Воскресенья вся церковь, и воспевают певцы сии ликующие песни:

*Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе,*

*и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.* И подобно ангелам, соединяющимся в это время:

*Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего!*

В продолжение же того, как воскресными песнями оглашается ликующая церковь, священник в закрытом олтаре, поставив Святую Чашу на святую трапезу, которая так же, как и дискос, покрывается вновь покровами, произносит благодарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств и заключает ее прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши.

Священник, благословив предстоящих словами: *Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое,* — ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, — устремляется мыслью к вознесению Господню, которым завершилось его пребывание на земле: становится вместе с диаконом пред святым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз, и, кадя, произносит в себе: *Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя,* между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, сияющими весельем духовным, стремит просветленные души всех предстоящих к произнесению вослед за ним сих слов самой радости духовной: *Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть.*

Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собранье и уходом знаменует удаленье от нас и вознесенье Господне. Вослед за диаконом показывается в святых дверях иерей с Святою Чашею и возвещает пребывание с нами

до скончания веков вознесшегося Господа словами: *Всегда, ныне, и присно, и во веки веков*, после чего и Чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изобразует теперь уже не вертеп, видевший Рождение Христово, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчее.

Здесь вся церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно-благодарное пение душ своих; и сии суть слова ее восхваления: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим Божественным, Безсмертным и Животворящим Таинам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей!* И воспевает троекратно вослед за тем хор певцов воздвигающее слово: *аллилуия*, говорящее им непрестающее хождение и всюду пребывание Божие. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть в последний раз предстоящих к моленьям благодарственным. Подъяв орарь тремя перстами руки своей, говорит он: *Прости, приимше Божественных, Святых, Пречистых, Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.* И благодаря сердцами, воспевают все тихо: *Господи, помилуй!* — *Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* — взывает в последний раз диакон. И воспевают все: *Господи, помилуй!* — *День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.* И с покорностию кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!* А священник, складывая в это время антиминс и, с Евангелием в руках, ознаменовав <крест>, возглашает Троичное славословие, которое, озаряв доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнейшим светом в просветившихся душах; и такое на сей раз обращение Троичного славословия: *Яко ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.*

Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены Чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу и в сем действии

их погружения приобщается Телу и Крови Христовой вся Церковь Его — и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах: Богоматерь, пророки, апостолы, Отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту Телу и Крови Христовой. И священник, предстоя в такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испивает из Чаши сие причащение всех и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупленье всех принесена жертва Христом как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва его, но священник возносит ее за всех, даже за самых святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение вселенныя.

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ее строгая надобность узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения, и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви. И все, что ни истекает из Христа, то вечно, как вечен Сам источник, из которого оно истекает. Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь долженствует молиться и молится также о странствующих на земле братьях своих; слышали они, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслажденье молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии Своем Свое творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения: несет ангел Его повеление и утопает в блаженстве уже оттого, что несет Его повеление. Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших Его наслаждениях и блаженствах: миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих,

дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божьим блаженствам. Испив из Чаши приобщение всех с Богом, иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний образ Трапезы Любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом дому Божием, на котором все пировавшие были святы, как одна душа были души их, и, чистые младенцы сердцем, вели они такую беседу, как бы у Самого Бога были на небесах; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминанье об этой трапезе исчезнуло во многих Церквах; но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в раздаче Святого Хлеба посреди церкви всему народу совершает ту же Святую Трапезу Любви. А потому всяк, приемлющий просфору, и приемлет ее, как хлеб от того пиршества, за которым Сам Хозяин мира беседовал с людьми Своими, — а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми людьми, как нежнейшими братьями своими, — и так же, как было в обычае первоначальной Церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви.

Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии и благословляет весь народ словами: *Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста* (если Литургия Златоуста идет день в день), *молитвами святаго* (и называет по имени святого, его же день) *и всех святых помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.* Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика, многолетствующего Императора.

Священник в олтаре совлекается от одеяний своих, произнося: *Ныне отпущаеши раба Твоего,* и сопровождая разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась Литургия, и той Пречистой Святой Деве, в Которой совершилось вочеловеченье Того, Кому служилась

вся Литургия. Диакон в это время потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испивает, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и, подобно священнику, говорит: *Ныне отпущаеши раба Твоего*, повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят, наконец, из храма, неся сияющую свежесть в лице, радость ликующую в духе, благодаренье Господу на устах своих.

## Заключение

Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и воочью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона, — душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной Трапезе Любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное теченье своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было <звании>, сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его, более чем когда-либо, располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхожденьи с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримою

римой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при Священной Трапезе Любви. И если он чувствует, что недостоин принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершителя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, которые уже ни на что потом...; пребывает ли он весь тот день в отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, — Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпенью угнетенного, или..., — слова его приобретут силу врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и любви.

## Приложение
## к «Размышлениям о Божественной Литургии»

*Фрагмент первоначальной редакции*

### Литургия верных

...в огнях и в блистаньях неслись перед ним. В одном из них признал пророк образ, напомнивший ему образ льва, в другом признал образ, напомнивший ему образ быка, в третьем — образ, напомнивший образ орла, в 4-м — образ, напомнивший образ человека. И каждый, сохраняя свой собственный образ, вмещал в себе с тем вместе образы других: имевший образ орла напоминал в себе в то же время образ льва, быка и человека; имевший образ льва напоминал в себе быка, орла и человека. Всякий напоминал собою и других и несся, носимый сими четверичными образами животных Дух, сохранявший в Себе одно только высшее подобие человека. Четвероликие образы неслись вперед, куда несся Дух, ими носимый, и двигались движеньем ими двигающего Духа и не обращались назад. Вослед им вращались в огнях колеса, и дух жизни был в колесах, и подвигались они от земли по мере подъятия самих животных, и двигались, куда двигались они, обращенные движением ими носимого Духа. Те же четыре образа четвероликих существ предстали Иоанну в его откровении, союзно друг с другом противудержащеся, супротивогласно восклицавшими, не имея покоя ни в дни, ни в ночи: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!» Потому ж возглашает иерей четырьмя словами: «Поюще, вопиюще, взывающе и глаголя», разумея под ними четыреликих животных, усвояя пенье орлу, вопль быку, взыванье льву и глаголанье человеку. Воспевает орел: «Свят», вопиет бык: «Свят», взывает лев: «Свят», глаголет человек, яко имущий слово: «Господь Саваоф». Тремя словами: «Свят» знаменуется Троица Божия, единым же словом «Господь Саваоф» — Его единство. Церковь, пораженная подобием сим четвероликим существам небесным, какое представили собою потом евангелисты, которые также понесли на себе Того, Кто принял на себя образ человека на земле, и двигались Духом Его, и не обращались также назад, и пронесли благовестие и славословие о Нем, и, сохранивши

каждый свой образ, напомнили в себе в одно и то же время то же, что и в других евангелистах, — пораженная таким подобием, придала в принадлежность каждому из них образ одного из четырех образов. Но что вполне знаменует великий смысл многих видений пророческих, равно как и сего, того не объяснить никому на земле без воли Пославшего самые видения. К нам донеслась только Серафимская песня: «Свят, Свят, <Свят> Господь Бог Саваоф, земля и небеса исполнены славы Твоей», и знаем мы только то, что ее слышали все высочайшие пророки на земле, начиная от Исаии, слышавшего ее в притворе храма. И все святые, когда достигали глубокими совершенствами души до высших явлений в духе своем, открывая в себе уже другие высшие чувства, то слышали внутренним слухом умного слуха своего ту же неумолкно раздающуюся победную песнь. И не может быть иначе: не могут другой песни петь серафимы, как только: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» И человек, когда встретит на земле в человеческом образе необыкновенное соединение красоты телесной с небесной красотой души, остается как бы прикованным к пленившему его предмету, восхваляя святыню его красоты. Встретив на небесах высшую красоту, перед которою ничтожная пыль вся красота земная, и Силы Небесные остаются уже прикованными к ее святыне. Но человек не в силах глядеть неотлучно и беспрерывно в глаза пленившей его красоте: и пища, и питие, и презренные заботы жизни его отвлекают от <нее>, и плачет он горько на свое бессилие, на то, что не может весь предаться красоте. Небесные же Силы глядят неотлучно и беспрерывно в глаза пленившей их Красоте: и пищу, и питие, и все заботы существа своего черплют они из ней же, — из той же красоты, и в высокой полноте блаженства воспевают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», ощущая и в самом наслаждении песнословить возрастающую полноту блаженства.

К этой песни, раздающейся на небесах, присоединила Церковь песню, несущуюся к ней навстречу от земли, — ту песню, которою встретили Его на земле еврейские отроки, когда совершалось Его шествие в Иерусалим на принесение Себя в жертву: «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!» Сею песней встречает Его теперь и вся Церковь, невидимо Грядущего с небес во храм, как в таинственный Иерусалим, для пронесения

Самого Себя в предстоящем ныне Таинстве. И потому каждый из предстоящих таким же самым образом, как воспевал, соединявшись с ангелами, возвещавшими о воплощении Его, ангельскую песнь, как воспевал, соединявшись с честнейшими херувимами при подъятии Царя всех, херувимскую песнь, да воспоет теперь в соединении с пламенеющими серафимами Серафимскую победную песнь. Вознесись же всяк на серафимскую высоту: «можешь, если только захочешь», как сказал Златоуст. Припомни только и собери в памяти своей все прекраснейшее, что ни видал ты на земли и чем восхищался, и представь себе только то, что потому было оно прекраснейшее, что было бледное отражение великой небесной Красоты, мелькнувший край одной только ризы Божией — и вознесется душа твоя сама собой к источнику и лону Красоты и воспоет победную песню, облетая вместе с серафимами вечный престол Всевышнего.

Во все время, когда во храме раздается торжествующее сладкопенье Серафимской песни, диакон стоит в олтаре по правую руку священника перед Святыми Дарами, с которых сняты уже и воздух и покровы, и веет [во все время] над ними веялом из перьев в подобье крыл серафимских, да ничто не прикоснется и не упадет во Святую Чашу. А священник втайне молится такою молитвою: «С сими блаженными силами и мы, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый; Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Единородного дати, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имет живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в нюже предашеся, или, лучше, Сам Ся предаше за мирской живот, прием хлеб во святыя Своя, всечистыя и непорочныя руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апостолом, рек...» и возглашает громко иерей слова Самого Спасителя: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Диакон сопровождает сии слова иерея безмолвным указанием на Святой Хлеб тремя перстами, держащими орарь; а лик возглашает торжественно: «Аминь». И продолжает втайне иерей: «Подобно и Чашу по вечери, глаголя», и громко возглашает сей глагол Самого Спасителя: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя

Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов». И также диакон сопровождает возглашенье иерея, указывая на Святую Чашу перстами, держащими орарь, и также лик возглашает: «Аминь». Священник же молится так в самом себе: «Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся, яже о нас было: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, Второе и Славное Пакипришествие» — и громко возглашает вослед за сими словами: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».

[И эта] минута есть минута жертвоприношения, напоминающая всем предстоящим об отношении твари к Творцу. Поклонение мы отдаем и земным властям; обожание, покорность мы воздаем и людям, но *жертву* только одному Богу. Нет другого приношения от твари к Творцу, как жертва. Не прекращалась она от века ни в каком углу мира. Слова пророков гремели [только] противу нечистой жертвы, ибо чистоты ее требует Бог, и без душевной чистоты, без подвигов чистых приносящего ее, не принимается Богом никакое приношение; но сообразя всю чистоту наших действий и помышлений, с какими приносится наша жертва, видя, как померкают они все перед той чистотой, какая надобна, слыша, как прав пророк, сказавший: «яко порт нечист вся дела ваша!» — не посмел человек принести дел своих, как чистую жертву Богу, и, не найдя ничего в мире чище Жертвы Небесной — Тела и Крови Самого Христа, их же приносит Ему Самому, в настроении душевном восклицая: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!» Вознеси же всяк в эту минуту Жертву сию, не просто повторяя вослед за священником слова сии, но совершая [вместе] самое жертвоприношение. Всяк христианин в эту минуту есть священник, — взойди же один на высоту духа своего: так же, как Авраам всходил на высоту горы, дабы совершить на ней одному жертвоприношение, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, оставь так же и ты в эту минуту все, связывающее тебя с землею. Принеси с собою дрова горького исповедания прегрешений своих, сожги их огнем раскаянья душевного, как жрец, и как священник соверши духовное заколение собственной души своей, да огнем и мечем духа заколется в ней помышление всех земных стяжаний и вожделений, да сгорит всякое желание блага земного и в пепел да превратится в ней все,

что не есть Божье. И когда будешь готов совершенно воскурить такую жертву Богу, став чрез то высочайшим самих Сил Небесных, умей отвергнуть и эту жертву, как недостойную, устремив к себе слова пророка: «яко порт нечист вся дела ваша!» и подыми тогда небесными руками вместе с иереем Святую Чашу, возглашая: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!»

Во все то время, когда все совершают жертвоприношение в душах своих, на клиросах подъемлется сие умиляющее и тихое сладкопение: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебя благодарим, Господи, и Тебе молимся, Боже наш!»

И наступает верховная минута во всей Литургии, всех страшнейшая и таинственнейшая, — минута самого пресуществления, когда приносимое в жертву Творцу становится действительно той самой Жертвой, которую принес Сам Творец Самому Себе за всех людей, становится не образом Тела и Крови, но самим Телом и Кровью Христа. В олтаре происходит [страшное] троекратное призывание Духа Святаго, — Того Самого Духа, Кем совершилось воплощение Христово от Девы, Его смерть и Воскресение, Кем возглаголали пророки и апостолы и Кто носился один над водами тогда, когда еще земля была невидима и нестроенна, когда по слову Писания: «тьма была вверху бездны и Дух Божий ношашеся над водами», и без Которого не совершается пресуществление. Упавши ниц перед святым престолом, и священник и диакон, полагая троекратно наземные поклоны, произносят троекратно в себе самих сие призывание: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе!» И вослед за первым призваньем читают в себе стих: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Вослед же за третьим призваньем диакон подклоняет главу свою и, указуя орарем на Святый Хлеб, не смея вымолвить и самого слова, говорит только в глубине души своей: «Благослови, владыко, Святый Хлеб!»

Восстав от поклона, знаменует трижды иерей Святые Дары, глаголя: «И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего», диакон произносит: «Аминь», и Хлеб уже есть самое Тело Христа. Безмолвно указует диакон орарем на Святую Чашу, произнося только устами души своей: «Благослови, владыко, Святую Чашу!»

Благословляя ее, глаголет иерей: «А еже в Чаше сей, Честную Кровь Христа Твоего». Диакон возглашает: «Аминь», и содержимое в Чаше есть уже самая Кровь Христова. И вновь указывая на Чашу и на дискос вместе, произносит во глубине себя самого диакон: «Владыко, благослови обоя»; и благословляет обоя священник, глаголя: «Преложив Духом Твоим Святым». Диакон троекратно возглашает: «Аминь». И Дух Святый уже в Дарах, обративший их в Кровь и в Тело, и пресуществление совершено. Словом вызвано Вечное Слово, — и то самое Тело, в которое облеклось Слово, быв на земле. Тело Самого Владыки лежит теперь закланное на олтаре, и совершилось заклание глаголом наместо меча. Да позабудет в это время всяк о иерее: не иерей, носящий вид и имя подобное нам, но Сам Верховный Вечный Архиерей совершил сие заклание, совершающий его вечно в лице Своих иереев. И так же сие пресуществление творится вечно, как все творится вечно, что ни исходит от вечных уст Его: и как сказал Он некогда: «да будет свет» — и вечно светит свет; «да произрастит земля былие травное» — и вечно с тех <пор> произрастает [растущее на] земле, так и пресуществление сие творится вечно. И Тело, лежащее теперь на святом престоле, есть то самое Тело Господне, которое страдало на земле, терпело заушения, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца!

На колокольнях подъемлется звон, да возвестится повсюду страшная минута, чтобы, где ни услышал о том человек, — находится ли он в то время путником в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в дому своем, или занят [каким] делом в ином месте, томится ли даже в тюремных стенах или на одре самой болезни, — чтобы отовсюду мог в эту минуту вознести моленье свое о страшном Таинстве сем и о том, да не в суд и осуждение оно будет кому-либо из его братии. Все молящиеся в храме повергаются в сию минуту долу перед Господом. Повергнувшись ниц <перед> святым престолом, творят усердные поклоны служители Церкви. И всяк возносит внутренний глас ко Господу, да помянет его в виду самого Тела и Крови Своей во Царствии Своем. Диакон, подклонив главу иерею, произносит: «помяни мя, владыко», и ответствует ему иерей: «Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков».

Сказав: «Аминь», диакон становится по-прежнему с правой стороны престола, вея веялом в подобии серафимских крыл над Святая. Священник же, помолившись втайне, дабы всем предстоящее Тело и Кровь Христа были во трезвение души, в оставление грехов, во исполнение Царства Небеснаго, в дерзновенье к Господу, а не в суд и осуждение, приступает к поминанью всех пред Господом в виду самого Тела и самой Крови Его. И собирает перед Христом всю Церковь Его: и ту, которая уже торжествует, и ту, которая еще воинствует, — и на земле путешествующую, и в небесах пребывающую, поминая всех от ветхозаветных патриархов и пророков до единого из ныне живущих христиан. Прежде всех других именует он Пресвятую Богородицу, и в ответ на то воспевает весь лик сие определяющее Ее славословие, которое повторяет за ним вся Церковь: «Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».

Величание Пресвятыя Девы всем хором вошло уже в последующее время, когда исповедатели ересей дерзнули отнимать от Нея даже имя Богородицы, не размыслив, что отъятием сего имени отнимают Божество Самого Христа, бывшее с Ним при самом Его Рождении. Почему и поместила Церковь навсегда величанье Богородицы, и поместила именно здесь, и о Ней упоминает прежде всех, ибо Ее одну из всех других избрал Бог, да от Нее воплотится. А высокое преимущество Ее пред всеми и почему на Нее упал выбор, объясняется Ее же словами. Когда возвещена была Ей ангелом великая весть, не знала Она, за что такая радость досталась Ей, не нашла в себе ни одного достоинства и умела только сказать: «Величит душа моя Господа, яко призрел на смирение рабы Своей». Сам Дух Божий славил себя в этой песни и возвестил устами Девы высокую тайну смирения и что смиренья требует от нас Бог. Одно воззренье Того, Иже на смиренныя презираяй, одно воззренье Божие на смиренье рабы Своей произвело в Ней существенное воплощение Слова Божия. Да внесет каждый из предстоящих смиренье в душу свою и совершится в нем также духовное воплощение Самого Христа по слову апостола: «Сам Христос вообразится в нем». Вот почему

и пророки, и евангелисты, и великие Отцы церковные, и все совершеннейшие из святых, бывшие при жизни органами Духа Божия, уступили место смиренной Деве. Вот почему и Церковь величает Ее Царицею, так же, как и самое смиренье есть царица всех добродетелей; представительница же этого смиренья есть одна Она, Чистейшая, Богоматерь. Вот почему именуют Ее Предстательницею человеческого рода, так же как одно только смирение может предстательствовать о всех и за все у Бога. Вот почему и раздаются в эту минуту, при упоминании имени Богородицы, славословия и величание Ее от уст всего лика, и все до единого из предстоящих последуют за всяким словом сего величания.

Вослед за тем поминает иерей, в виду Тела и Крови Господней, всех приблизившихся жизнью своею к Господу, начиная от Иоанна Предтечи: апостолов, исповедников, мучеников, воздержников, о всяком духе праведном, скончавшемся в вере, о святом, которого память совершается в тот день, и о всех усопших.

Вослед за тем поминает иерей о всех живущих, начиная с тех, которые поставлены во главы прочим, которых должности высшие и обязанности труднейшие. Молится, в виду Тела и Крови Господней, о Государе и, помышляя о всей святости такого звания и о всей трудности его выполнить, слезно умоляет Бога, да укрепит его святой силою Своею, да ниспровергнет все, что ни станет ему препятствием на пути ко благому, да покорит ему под ноги всякого врага и супостата, как внешнего, так и внутреннего, еще опаснейшего татя и хищника души, да управит Сам всякой мыслью его, да все изнесущееся из уст его изравняется во благо его подданным и всего мира. И молится иерей, да в союзном стремлении ко благу ответствует ему весь государственный корабль, все части великого строения: палата, власти и воинство, исполняя честно, твердо святой долг свой, чтобы мирно было такое царствование, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Во время сего безмолвного моления в олтаре да взмолится всяк из предстоящих о том же, и да взмолится крепко и слезно, как бы молился он о собственном деле, и о собственной душе, дороже которой нет ничего для человека. А священник продолжает моления. Так же слезно и так же сильно молится он о сохранении тех, которые облечены в высокий духовный сан,

освятились на управление кормилом Церкви и долженствуют править словом самой истины Божией. Помышляя, как свят их долг и страшен ответ, иерей не инако, как в душевном сокрушении, возносит к Богу сии слова: «Даруй их церквям Твоим, целых в мире, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоея истины!» И молят все предстоящие, да будут они такими, да правят право словом истины и да возвещается один Бог в их правлении. Затем провозглашают торжественно певцы: «и всех, и вся». И молится священник о всех и за вся, начиная с того града и с того храма, в котором молятся предстоящие, и объемля молитвой своей всякий город, всякую страну, и о всех, верою живущих в них, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, молясь в то же время о спасеньи, молясь о плодоносящих и добротворящих, да поможет им Бог вечно и еще более приносить плоды и благодетельствовать; молится о творящих злое и о самих преступниках, губящих души свои, да ниспослет раскаянье и сокрушенье душевное; молится о всех несчастных, да поможет им Бог обрести высокое счастие небесное в самом несчастии, и призывая излияние милости Божией и благодати Его на все, даже на мрачные пропасти и недра земли, где ни находится человек; молится наконец поименно и за всех тех, за которых просили его особенно в тот день помолиться; молится наконец и за тех, которых позабыла его молитва.

И слезным безмолвным молением соединяясь с безмолвным молением пастыря, молится весь народ о всех и за вся, присоединяя каждый от себя в эту минуту всех поименно им знаемых, — не только тех, которых он сам любит и которые его любят, но даже и тех, которых он не любит и которые также его не любят, одним моля, да преуспевают еще в большей любви, о других моля, да вселит Бог в души им ненависть и гнев не против кого-либо из людей, но противу собственной ненависти людей, губящей их души. В сию минуту всяк да помолится о всех, с кем ни случалось ему столкнуться на жизненной дороге, молится даже и о тех, которых позабыла его молитва, молится наконец и о том, что дается Богом одним избранникам только: молится об уменьи за всех молиться. И когда совершится наконец это глубокое безмолвное моление — всех и о всех, возглашает громко иерей: «И даждь нам едиными устами и единым сердцем славити и воспевати

всечестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков!» И сливаясь сердцами в одно сердце, устами в одни уста, возглашает: «Аминь» вся церковь, и есть в эту минуту вся одно нераздельное единство. [Как во едину веру и в един Дух крестились все, так и единой пищей должны питаться все — тем же и сим единственным Духом (да отражается в ней, как в слитной поверхности вод, образ Самого Пастыря Церкви).] Священник из олтаря посылает всем благодатное желание...

## Заметки, наброски на отдельных листах

У исповеди собрать все сословия, все как равные между собою. Все дело имеют с Богом.

---

Нет, власть, действуй прямо. Укажи нам всем долг наш, но не связывай в то же время и рук наших и не бесчесть нас обидным подозреньем. Говори с нами благородным голосом, и будет благороден ответ.

---

Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечество свое кругообращение... несколько мыслей совершит... оборот мыслей... и возвратится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова. Вечное оно вкоренится глубже и глубже, как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже и глубже свои корни.

---

Один только исход общества из нынешнего положения — Евангелие.

---

Одно только здесь ясно, что крест дан Тем, Кто дает одно благо, благо в разных видах, или в виде ясного, понятного нам счастия, или в виде тяжкого, непостижимого для нас страдания. В таком убеждении великая сила; но и эту силу мы получаем от Бога.

---

Когда бы нас кто-нибудь назвал лицемером, мы глубоко оскорбились бы, потому что каждый гнушается этим низким пороком; однако читая в первых стихах 7-й главы Евангелия от Матфея, не укоряет ли совесть каждого из нас, что мы именно

тот лицемер, к которому взывает Спаситель: *Лицемере, изми первее бервно из очесе твоего.* Какая стремительность к осуждению...

---

Хуже всего то, что будешь судить самого себя, будешь сам судьей своим.

Да разве это страшно?

О, как страшно!

Не позабудь, что взгляд исполнится проница<тельности> орлиной, а ум полного понятия, справедливого, что ты будешь другим человеком, будешь судить мудро, справедливо и горячо, со всею любовью к добру, со всем благодатным гневом и ненавистью ко злу, и только что произнесешь ты беспристрастное слово суда, тебе скажут: это всё ты, справедливый судья, ты это наделал. А?

---

Почему ж никто не является подвижником правды, почему не стоит за добро общее, как за свое, почему не влюбился в это добро. Потому что руки отнимаются, видя, что все раскрадывают то добро, из-за которого он хлопочет, что все накопленное им достанется в жалованье первому дураку, что...[1]

---

Почему нужно хозяйство? Потому, что от это<го> зависит благосостояние всего государства. Потому что устрояется лучше [наша жизнь] собстве<нная> жизнь всякого чел<овека>. Потому что занятия и беспрестанное движенье укрепляет тело и здоровье. Потому что от этого самые умственные способности в свежести, <...>[2] ум в нас дремал или бездействовал. Потому, наконец, что этим исполняет человек свой долг и назначенье, данно<е> от Бога, в поте лица снискивать хлеб.

Что происходит от пренебреженья хозяйства? От пренебреженья хозяйства происходят несчастья всей земли, конечное обedненье ее и расстройство. Засухи безвремен<ные>, расстройство.

[1] *Не дописано*

[2] *В рукописи одно слово не прочитано*

[Чем разорили именья поме<щики>?] Каким образом.

Тем, что бросили именья. [Ибо не занимаясь сам, тот] Отдали земли в руки управ<ителей> и наемников, которые [плохие блюстители земли. Пристрастились к занятиям не свойствен<ным>, к роскоши и прихотям, и сделали то, что вся жизнь стала гор<одской>], заботятся только о своих выгодах, о доставлении временных доходов, не обращая вниманья на будущее, все [искоре<няя>] выводя и ничего не насаждая, как уже и случилось в России, что вырубили множество лесов. От этого обмелели реки и меньше стали давать нужной влаги. Земля стала суше и бесплоднее. [Облака, не встречая дерев, проходя] Перестали дожди, которые привлекаются обыкновенно лесистым местом.

---

[Отчего дурно хозяйство? Оттого что упущено]

На что преимущественно нужно обращать в хозяйстве внимание.

На то, чтобы не упущено <было> Время. Поэтому нужно знать время, когда что делать.

Что нужно делать весной?

---

## <Труд>

Человек рожден на то, чтобы трудиться. «В поте лица снеси хлеб свой», — сказал Бог по изгнаньи человека за непослушанье из рая, и с тех пор это стало заповедью человеку, и кто уклоняется от труда, тот грешит пред Богом. Всякую работу делай так, как бы ее заказал тебе Бог, а не человек. Если б и не наградил тебя человек здесь — не ропщи; зато больше наградит тебя Бог. Важнее всех работ — работа земледельца. Кто обрабатывает землю, тот больше других угоден Богу. Сей и для себя, сей и для других, сей, хоть бы ты и надеялся, что пожнешь сам: пожнут твои дети; скажет спасибо тебе тот, кто воспользуется твоим трудом: вспомянет имя твое и помолится о душе твоей. Во всяком случае тебе выгода: всякая молитва у Бога значит. Только трудись с той мыслью, что трудишься для Бога, а не <для> человека, и не смотри ни на какие неудачи, хоть бы все то, что ты наработал, и пропало,

и не уродилось, побито было градом, — не унывай и снова принимайся за работу. Богу не нужно, чтобы ты выработал много денег на этом свете; деньги останутся здесь. Ему нужно, чтобы <ты> не был в праздности и работал. Потому, работая здесь, вырабатывает себе Царствие Небесное, особенно если работает с мыслью, что он работает Богу. Работа — святое дело. Когда делаешь работу, говори в себе: «Господи, помоги!» и за всяким разом говори: «Господи, помилуй!» Заступом ли копнешь или ударишь топором, говори: «Господи, удостой меня быть в раю с праведниками». Когда делаешь работу, старайся быть так благочинну в мыслях, как бы ты был в церкви, чтоб от тебя никто не услышал бранного слова, чтобы и грубого не услышал от тебя товарищ; чтобы во взаимной любви всех совершалось дело: тогда работа — святое дело. Такая работа спасает твою душу. Такою работою здесь — заработаешь ты себе Царствие Небесное там. Аминь.

# Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи

## На 1846 <год>

Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в труд многотворный и благотворный, весь на служенье Тебе, весь на спасенье душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою и обратив меня в святый и чистый храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся от меня! Боже! Боже! воспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к хваленью святого имени Твоего.

---

Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя Единого представляя день и ночь перед мысленные мои очи. Сделай, да пребуду в нем в мире, да обесчувствует душа моя ко всему, кроме Единого Тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущение духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя Единого, Владыко и Господин мой! Верю бо, яко ты Един в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил ее, возрастивши и меня самого для нее; Ты же дал силы привести к концу Тобой внушенное дело, строя все спасенье мое: насылая скорби на умягченья сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к Тебе и на получене сильнейшей любви к Тебе, ею же да воспламеняет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

---

Боже, благослови!
Да появится в настоящем году созрелый и полный плод!

---

Господи, дай мне помнить вечно мое... мое неведение, мое незнание, недостаток образования моего, да не выведу ни о ком и ни о чем неосмотрительного мнения. (Никого не судить, и сторониться выводить мнение. Да помню ежеминутно слова Апостола Твоего. Не все да будет.)

---

Боже, соделай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным!

Преклони сердца людей к доставленью ему покровительства (повсюду, где будет проходить он); восстанови тишину морей и укроти бурное дыхание ветров!

Тишину же души его исполни, благодатных мыслей во время дороги его! Удали от него духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни!

Дух же твердости и силы и несокрушимой надежды в Тебя, Боже, всели в него! Да окрепнет во всем благом и угодном Тебе!

Исправи молитву его и дай ему помолиться у Гроба Святого о собратьях и кровных своих, о всех людях земли нашей и о всей отчизне нашей, о ее мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и о воцарении Твоего Царства, Боже!

Боже, не погляди на недостоинство его, но, ради молитв наших, усердных и горячих молитв, — воссылаемых нами от глубины сердец наших, и ради молитв людей, Тебе угодных, о нем Тебе молящихся, удостой его, недостойного, грешного о сем помолиться и не возгнушайся принять сердечные прошенья его, простя ему за все!

И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремленье сердец наших к прославленью святого имени Твоего!

---

Господи! спаси и помилуй бедных людей. Умилосердись, Создатель, и яви руку Свою над ними. Господи, выведи нас всех на свет из тьмы. Господи, отгони все обольщения лукавого духа, всех нас обольщающие. Господи, просвети нас, Господи, спаси нас. Господи, спаси бедных людей Твоих.

Господи, удержи гнев Твой и ярость казней Твоих. Господи, преклонись немощью нашею и помоги нам возвестись нам, обрати к Тебе и <помоги> вознести умоляющий вопль к Тебе и рыданьем сердец наших умолить Тебя. Господи, не взирая на нечестивые наши дела и вопль неистовый, не ведят бо, что творят, ради любящих Тебя, ради угождающих, пошли Духа Твоего Святого, вразуми и спаси нас. Спаси, спаси нас, спаси.

Господи, спаси и помилуй бедных людей Твоих. Не давай лукавому возвеселиться и овладеть нами. Не дай врагу поглумиться над нами и мрачному производить беспорядки и неустройства, возмутить стройность, знаменующую присутствие Твое с нами. Господи, яви, сотвори святое чудо Твое, устрой, устрой.

Господи, спаси.

Небесная стройность и мудрость Христа, соприсутствовавшая Богу при твореньи мира, без нея же ни что же бысть. Яви человеколюбие Свое ради Святой Крови Своей, ради жертвы за нас принесенной. Внеси святой порядок, и разогнавши мысли нечестивые, вызови из хаоса стройность, и спаси нас, спаси, спаси нас. Господи, спаси и помилуй бедных людей Твоих.

---

Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и моленья их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне грешному, всякое согрешенье пред Тобою.

# Духовное завещание

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрам. Советую им жить в любви совокупно в деревне и, помня, что, отдав себя крестьянам и всем людям, помнить изреченье Спасителя: «Паси овцы Моя!» Господь да внушит все, что должны они сделать. Служивших мне людей наградить. Якима отпустить на волю. Семена также, если он прослужит лет десять графу.

Мне бы хотелось, чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц, которые бы отдали себя на воспитание сироток, дочерей бедных неимущих родителей. Воспитанье самое простое: Закон Божий да беспрерывное упражненье в труде на воздухе около сада или огорода.

## Совет сестрам

Во имя Отца и Сына... Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей. Для того кладу в основание половину моих доходов с сочинений. Если сестры не выйдут замуж, дом свой да превратят в обитель, выстроив церковь посреди двора и открывши у себя приют бедным, живущим без места девицам. Жизнь должна быть самая простая, довольствоваться тем, что производит деревня, и ничего не покупать. Со временем обитель может превратиться в монастырь, если потом на старости дней сестры возымеют желание принять иноческий чин. Одна из них может быть игуменьею. Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались.

## Друзьям моим

Благодарю вас много, друзья мои. Вами украсилась много жизнь моя. Считаю долгом сказать вам теперь напутственное слово: не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек

займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед.

---

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник.

## Строки, написанные за несколько дней до кончины

Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.

---

Помилуй меня грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста!

---

Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских...

# Молитва, приписываемая Гоголю

*Никтоже притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет дарование к полезному прошению.*

<Богородичен 6-го гласа
по тропаре святому>

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле –
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех Молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

# Комментарии

# К истории создания и публикации духовной прозы Гоголя

## 1

## «Выбранные места из переписки с друзьями» идейные предпосылки и мотивы создания

Спустя два с половиной года после смерти Гоголя, в 1854 году, дочь С. Т. Аксакова, Вера Сергеевна, близко знавшая Гоголя и одна из первых благодаря трудам гоголевских биографов и издателей ознакомившаяся с его богатым эпистолярным наследием, записала в своем дневнике: «Гоголь — святой человек по своему стремленью... он возлюбил Бога всем умом своим, всей душой, всеми помышлениями, и ближнего, как самого себя... Какой святой подвиг вся его жизнь! Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности!» (Дневник *В. С. Аксаковой.* СПб., 1913. С. 27).

В 1902 году, в одной из многочисленных юбилейных речей на всероссийских торжествах, посвященных пятидесятилетию со дня смерти Н. В. Гоголя, говорилось: «Теперь никто, хотя поверхностно ознакомившийся с произведениями Гоголя в связи с его многочисленными письмами, не станет серьезно утверждать о душевном кризисе, разделившем жизнь его на два отличные периода. Теперь, наоборот, утверждают, что в развитии его миросозерцания и настроения видна строгая последовательность» (Чествование памяти Н. В. Гоголя в Киевской 3-й гимназии. Речь законоучителя священника *К. М. Агеева.* Киев, 1902. С. 5–6).

К началу XX века в литературе о Гоголе был накоплен богатый материал для основательного изучения творческого пути писателя и, в частности, появилось достаточно сведений для аргументированного опровержения ставшего расхожим со времен известного зальцбруннского письма В. Г. Белинского к Гоголю 1847 года мнения, будто Гоголь как социально и литературно «прогрессивный» писатель, обличавший в своих произведениях самодержавие и «реакцию», вступил вследствие изменившегося у него в последние годы мировоззрения в противоречие со своим гением. Однако именно это мнение возобладало впоследствии в России в работах о Гоголе. Отношение к гоголевскому творчеству западника Белинского нашло как бы законное продолжение в советском литературоведении, развивавшемся в основном в русле западнического, марксистского, направления. В работах многочисленных исследователей, написанных в духе классового подхода, закрепилось представление о Гоголе, с одной

стороны, как сатирике, изобличителе самодержавия и основателе русского критического реализма, и с другой — как реакционно и монархически настроенном мистике. Полемика по поводу того или иного понимания Гоголя была закрыта, и вопрос о происхождении концепции «двух Гоголей» остался практически не изученным.

Между тем сама попытка обнаружить истоки полемики Белинского с Гоголем, разгоревшейся в 1847 году по поводу выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», приводит к результатам весьма неожиданным и многое проясняет в мотивах создания этой книги. Оказывается, что противопоставление художественного творчества раннего Гоголя его позднейшей публицистике, введенное в 1847 году в оборот Белинским, не может быть принято уже потому, что в полемику с Гоголем — публицистом и художником — Белинский вступил отнюдь не с выходом в свет «Переписки с друзьями». Уже в самой первой своей статье о Гоголе — «О русской повести и повестях г. Гоголя ("Арабески" и "Миргород")» (1835) — критик, высоко оценив художественные произведения Гоголя («...г. Гоголь... становится на место, оставленное Пушкиным»), с большой неприязнью отозвался об «ученых статьях» писателя, помещенных в сборнике «Арабески» («...избавь нас Бог от такой учености!») (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 183–184).

Насколько справедлив был отзыв критика об «ученых статьях» «Арабесок», можно судить из того, что читанные Гоголем с кафедры Петербургского университета статьи-лекции этого сборника произвели большое впечатление не только на студентов, но и на Пушкина и Жуковского. Достоинство взглядов Гоголя как мыслителя отмечали в то время В. К. Кюхельбекер, К. Н. Бестужев-Рюмин, архимандрит Феодор (Бухарев), В. Т. Плаксин, В. В. Стасов и др. Позднее С. А. Венгеров благодаря публикациям Г. П. Георгиевского гоголевских материалов по истории и географии окончательно опроверг представление о «ненаучности» ранних статей писателя. В 1842 году и сам Белинский оценил их иначе.

Как показывает исследование, в основе неприятия Белинским «ученых статей» Гоголя лежали прежде всего идеологические причины. С первых своих статей Белинский вступает в литературу как убежденный западник, апологет петровских преобразований, откровенно сочувствующий протестантизму. В 1836 году он, в частности, сравнивая «Северную думу» (протестантизм) с католицизмом и Православием, без обиняков называл ее «истинным знанием» (в печать это признание не попало и было опубликовано впервые только в 1969 году) (Там же. Т. 1. С. 322). Осенью 1834 года, когда Гоголь готовил к изданию «Арабески» и «Миргород», Белинский в «Литературных мечтаниях» (первая значительная статья критика, принесшая ему известность) замечал о русском народе: «Крепко стоял он за Церковь Божию, за веру праотцев... Но... это была жизнь... односторонняя... Петр был совершенно прав...»; «Русская жизнь до Петра Великого была слишком... одностороння...» (Там же. Т. 1. С. 63, 65). В статье

«О стихотворениях г. Баратынского» (1835) Белинский добавлял: «Народ довольствовался скудною житейскою философиею, лениво наследованною им от праотцев... был чужд всякого движения вперед, всякого стремления к совершенствованию...» (Там же. Т. 1. С. 186). Подобное отношение к русской национальной культуре и ее сокровищнице — Православию, где духовное и нравственное совершенствование человека полагается целью всей его жизни, не было неожиданностью для Белинского. Все это он высказывал и ранее, и с еще большей безапелляционностью, вполне предвосхищая обороты и интонации будущего Хлестакова. В 1830 году он писал матери: «Маменька, Вы уже в другом письме увещеваете меня ходить по церквам... Шататься мне по оным некогда, ибо чрезвычайно много других, гораздо важнейших дел... Я пошел по такому отделению, которое требует, чтобы иметь познание и толк во всех изящных искусствах. И потому я прошу Вас уволить меня от нравоучений такого рода: уверяю Вас, что они будут бесполезны» (Там же. Т. 9. С. 17). В своем западничестве Белинский выступал лишь против «слепой подражательности» и ратовал за создание «нашими руками» и «на родной почве» национального «просвещения», в основе которого лежала бы, однако, идея европейского прогресса. Истолковав повести Гоголя в «Арабесках» и «Миргороде» как проявление этого национального «просвещения» (приведшего от «гимна», «поэмы» и «молитвы» «младенчествующего человека» к современным — якобы заменившим их — «повести и роману»), другими словами, найдя в гоголевских произведениях, по замечанию Я. М. Неверова, «свою любимую реальную поэзию» (в противовес «идеальной» — древнего источника «религии и нравственности»), Белинский столкнулся с открыто выраженным иным отношением к идее прогресса в гоголевских статьях.

«Заметно... — писал Гоголь в одной из статей «Арабесок» о швейцарском историке И. Миллере (Мюллере), — что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость... Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастия, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость». Это рассуждение Гоголя (которое, как указано, весьма явственно отразилось в замысле «Миргорода» — в повестях «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба») вызвало особое раздражение Белинского. В своей статье он восклицал: «Неужели перевести, или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?» Кроме того, раздражение критика в 1835 году вызвала и поднятая Гоголем в «Арабесках» (в статье об архитектуре) тема оцерковления жизни, в частности

обращения европейской цивилизации на служение религиозным целям, что Белинский назвал «детскими мечтаниями» (Там же. Т. 1. С. 184). Небезызвестным Белинскому осталось, конечно, и то, что четыре «ученые статьи» «Арабесок» первоначально были напечатаны в «Журнале Министерства Народного Просвещения» С. С. Уварова.

С наступлением «примирительного периода» своей критической деятельности Белинский, проникнувшись к концу 1830-х годов идеей об абсолютном, религиозном значении европейской цивилизации («...все, что ни есть теперь, чем ни гордится, чем ни наслаждается современное человечество... вышло из... Нового Завета»; Там же. Т. 2. С. 98, 187–188), пересматривает свой взгляд на гоголевские «ученые статьи» «Арабесок». Теперь он стремится увидеть в них прямое освящение технического прогресса. Потому 20 апреля 1842 года в письме к Гоголю Белинский замечает, что в свое время «изрыгнул... *хулу на Духа*», отрицательно отозвавшись о его «статьях ученого содержания», помещенных в «Арабесках». «Гоголь, — пишет н в начале следующего, 1843 года в «Отечественных Записках» (без подписи), — выступал на журнальное поприще и был критиком: в “Арабесках” напечатаны его превосходные критические статьи о Пушкине, о Брюллове, о Шлецере, Миллере и Гердере...» (Там же. Т. 5. С. 378). С тем большим раздражением встречает тогда Белинский критику Гоголем европейского «просвещения» в опубликованной в 1842 году повести «Рим». «Страшно подумать о Гоголе, — пишет он В. П. Боткину, — ведь во всем, о чем он написал, одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что он наблевал о Париже-то!» (Там же. Т. 9. С. 502). В более «вежливой» форме эту же самую мысль критик высказывал и ранее, в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя как поэта, мы... желаем, чтобы кто-нибудь разобрал его ученые статьи» (Там же. Т. 1. С. 184).

Еще важнее заметить то, что, определив в 1835 году Гоголя только как гениального бессознательного художника («...только поэт, а не другое что-нибудь... большое участие ума... есть недостаток»; Там же. Т. 1. С. 161–162), Белинский выступил не только против содержания «ученых статей» Гоголя, но и против вполне определенного смысла некоторых его художественных произведений, в частности своеобразного литературно-художественного манифеста Гоголя — повести «Портрет». Об этой повести критик писал, что это «есть неудачная попытка г. Гоголя... Здесь его талант падает... вторая... часть решительно ничего не стоит... это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия» (Там же. Т. 1. С. 180). О второй редакции «Портрета», напечатанной Гоголем в 1842 году, Белинский высказался еще более резко (Там же. Т. 5. С. 154). Вероятно, имея в виду эти суждения критика, С. П. Шевырев в 1843 году писал Гоголю: «Во время болезни

я прочел и “Портрет”, тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта. Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою назло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела». В 1842 году Шевырев, имея в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору» (1841), также замечал о Гоголе: «Разбором характера Хлестакова в “Ревизоре” он доказал, как отчетливо понимает свои создания. “Мертвые души” исполнены также глубокомысленных замет о состоянии души Поэта и о том, как он сам смотрит на свои произведения» (*Шевырев С. П.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 56).

По позднейшему свидетельству П. В. Анненкова в мемуарных записках «Замечательное десятилетие» (1880), Гоголь в 1835 году «был доволен» статьей Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» — «и более чем доволен: он был осчастливлен статьей» (*Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. 1838–1848 // *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 151). Думается, однако, что к свидетельству Анненкова, открыто признававшего себя «нравственным участником» создания зальцбруннского письма Белинского к Гоголю и считавшего это письмо разоблачением «пустоты и безобразия всех идеалов Гоголя», следует относиться с осторожностью (см.: П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка. 1835—1855 гг. СПб., 1892. С. 531; *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 340). Примечательно, что тон переписки с Анненковым самого Гоголя весьма сдержан, а в последних письмах, 1847 года, прямо слышится продолжение полемики с Белинским. В письме к М. П. Погодину от сентября 1851 года Гоголь относил Анненкова к «господам, до излишества живущим в Европе». Известно, что Анненков весной 1846 и 1848 годов неоднократно встречался в Брюсселе и Париже с К. Марксом, с которым завязал переписку. Даже в пору наибольшего сближения Гоголя с Анненковым, в период переписки первого тома «Мертвых душ» в 1841 году, их отношения, по свидетельству самого мемуариста, не обходились без идейных столкновений.

Сам Гоголь в черновых набросках статьи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (опубликованных после смерти Анненкова) называл «вкус» Белинского «молодым и опрометчивым» и лишь обещающим «будущее развитие». «Отзыв Гоголя о Белинском, — замечал по этому поводу М. П. Еремин, — при внимательном рассмотрении оказывается положительным, может быть, только наполовину» (*Еремин М. П.* Пушкин-публицист. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1976. С. 384). Сдержанное суждение Гоголя о Белинском, конечно, же не исключает того, что какие-то замечания критика в 1835 году были приняты Гоголем во внимание, но можно заметить, что определение Гоголем «вкуса» Белинского

как «молодого и опрометчивого» — «необразовавшегося», но основанного «на чувстве и душевном убеждении» — во многом повторяет гоголевскую характеристику в той же статье европейской литературы, в которой, по словам писателя, вследствие «политических волнений» во Франции «распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные... эти явления... отражались и в России...». Сходным образом в 1851 году Гоголь говорил своей знакомой Е. А. Хитрово о революционных событиях во Франции 1848 года: «Не одни женщины увлеклись, но и умные пламенные люди» (*<Хитрово Е. А.>* Гоголь в Одессе. 1850—1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 549). «Опрометчивость» же людей, «какими производятся мятежи в обществах», Гоголь объяснял в статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» (также оставшейся неизвестной Анненкову) тем, что «они не видят границ, ломают без рассуждения все и всегда и, желая исправить несправедливость... в обратном количестве наносят столько же зла».

Тот же Анненков в «Замечательном десятилетии» неоднократно выражал недоумение, почему Гоголь в 1841 году совершенно забыл «услуги», оказанные ему в 1835 году Белинским; по словам мемуариста, в отзывах писателя «о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места» (*Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 152; см. также: *Конобеевская И.* Несколько слов о Гоголе // Вопросы литературы. 1987. № 12. С. 272). Примечательно, что даже отчество Белинского — Григорьевич — Гоголь помнил нетвердо. В 1847 году в неотправленном письме к критику он называл его Виссарионом *Ивановичем*: «Нет, Вис<с>арион И<ванович>, нельзя судить о Русском народе тому, кто прожил век в Петербурге...» (*РГБ*. Ф. 74. К. 7. Ед. хр. 1. Л. 5).

С другой стороны, на постоянное подчеркивание самим Белинским своих «заслуг» в «открытии» таланта Гоголя С. П. Шевырев не без сарказма отвечал: «Из тесных рядов толкучего рынка литературы выскочило наглое самохвальство в виде крикливого пигмея, с медным лбом и размашистою рукою; обрадовавшись случаю из-за похвалы таланту похвалить самого себя, оно, ставши перед произведением, пялит на нем свою тощую фигуру, силится прикрыть его собою и потом показать вам и уверить вас, что точно оно вам его показало, а без того вам бы его и не увидеть» (*Шевырев С.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья первая // Москвитянин. 1842. № 7. С. 207).

Важное свидетельство Анненкова о том, что Гоголь забыл «услуги», оказанные ему Белинским, тоже не вполне подтверждается. Оценка Гоголем деятельности Белинского никогда не была нейтральной или безразличной. Сам Анненков в написанных двадцатью годами ранее «Замечательного десятилетия» «Воспоминаниях о Гоголе» (1857) указывал, что в Риме в 1841 году Гоголь «несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского». Анненкову

запомнился следующий отзыв Гоголя о Белинском: «Голова недюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 96; *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 115–116).

Своеобразный отклик на теорию о бессознательности художественного творчества, принятую в 1835 году Белинским в отношении произведений Гоголя, можно увидеть в черновой редакции «Ревизора», создававшегося писателем непосредственно по прочтении статьи о его повестях Белинского. Завравшийся Хлестаков здесь, в частности, восклицает: «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, рублей по сту бутылка... и потому уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр...» Весьма кстати для Гоголя пришлось здесь — как бы прямым пояснением к «теории» Белинского — мнение о пушкинском творчестве провинциальных обывателей, которое сам Пушкин излагал в письме к жене Наталье Николаевне от 11 октября 1833 года из Болдина. Это суждение Гоголь использовал в 1836 году в своей комедии: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф *славнейшей* настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слава!» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. 15. С. 87).

На присутствии глубокой мысли в современных «романах и повестях» Гоголь прямо настаивал в 1836 году в одной из рецензий, написанных для пушкинского «Современника»: «Божественный Учитель и Спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божественные мысли Свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов... Мы... наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших... Уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль...» (рецензия на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира»). Очевидно, прямо повторяя в этой рецензии слова Белинского из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», что «может быть, некогда история сделается художественным произведением» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 145), Гоголь подчеркивал необходимость осмысленного подхода к созданию подобного произведения: «Никогда мысль не кажется нам... так оглушительна своим величием... когда она... читается духовными нашими глазами из целого создания поэта... И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание».

По сути, теория о бессознательности художественного творчества и определение Гоголя как художника, творящего в состоянии «поэтического сомнамбулизма» (Там же. Т. 1. С. 164), означали для критика на практике возможность произвольного истолкования

его произведений, а возникающие при этом противоречия выдавались в соответствии с этой теорией за противоречия между «гениальной» художнической интуицией писателя и его неглубоким мировоззрением. Стремление отрицать или дискредитировать авторскую мысль в художественном произведении, придав ему иное толкование, наряду с восторженными похвалами пронизывает большинство критических выступлений Белинского, посвященных гоголевскому творчеству.

Оценивая в 1842 году сочинения Гоголя, Белинский замечает, что при верном «артистическом инстинкте» «непосредственность творчества у Гоголя имеет свои границы и... изменяет ему... там, где в нем поэт сталкивается с мыслителем...» (*Белинский В. Г.* Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 153). Откровенно намекая на якобы недостаток «эрудиции» Гоголя, «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро несущейся умственной жизни современного мира», критик в качестве доказательства приводит как раз те художественные произведения писателя, которые наиболее не укладываются в схему радикальной интерпретации: «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть», «Портрет», «Рим» (Там же. Т. 5. С. 153–155) (высокая оценка Белинским «Страшной мести» в 1835 году при этом была уже «забыта»).

Противостояние Гоголя и Белинского сказывается и в их «полярных» оценках народной поэзии (см.: *Виноградов И. А.* Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» Гоголя // Н. В. Гоголь и народная культура: Седьмые Гоголевские чтения: Материалы докладов и сообщений Междунар. конференции. М., 2008. С. 68–69), и в отношении к наследию некоторых русских поэтов, в частности Г. Р. Державина. Еще в 1841—1842 годах Гоголь, будучи в Москве, составил обширный рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина». Материалами этого сборника он воспользовался позднее за границей при создании «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845, не завершена), а также статей о русской поэзии в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Незадолго перед тем как Гоголь приступил к составлению своего сборника (или уже составлял его), Белинский в статье «Русская литература в 1841 году», опубликованной в первом номере «Отечественных Записок» за 1842 год, писал о Державине: «Державин поздно ощутил свою силу, а ощутив, обнаружил ее в исполинских и бесплодных проявлениях... Это только имя — не больше; поэт, а не поэзия... поэзия Державина... чужда всякого содержания» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 283–284). Прочитав тогда данную статью, Гоголь критически отозвался об этих высказываниях Белинского, отметив в них «неуважение к Державину». В. П. Боткин сообщил об этом отзыве самому Белинскому, на что тот 31 марта 1842 года в свойственной ему манере отвечал: «*Неуважение к Державину* возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Гоголю...» (Там же. Т. 9. С. 499).

Безусловно, и новая книга Гоголя, «Выбранные места из переписки с друзьями», не создала у Белинского иного мнения о писателе, но лишь обнаружила старое. Откликаясь в 1847 году на выход «Переписки с друзьями», Белинский лишь закрепил выдвинутое еще в 1835 году определение им Гоголя как гениального бессознательного художника и слабого мыслителя. В рецензии на книгу он восклицал: «Горе человеку, которого... природа создала художником... если... он ринется в чуждый ему путь!» (Там же. Т. 8. С. 238). В зальцбруннском письме к Гоголю он добавлял: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек...»

Очевидно, не случайной была и та отповедь, которую намеревался дать Гоголь Белинскому в 1847 году в ответ на ставшие почти традиционными обвинения в «недостатке образования». Имея в виду высказывания критика о Церкви (например, замечание Белинского, что «смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века»), Гоголь писал: «Какое невежество блещет на всякой странице! [Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих предметах. Вы не кончили даже университетского курса.]». В письме к Белинскому от 10 августа (н. ст.) 1847 года Гоголь также замечал: «Вам... следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете».

Вполне очевидно, что если для Белинского в содержании новой книги Гоголя, по существу, не было ничего неожиданного, то и со стороны Гоголя издание в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», конечно же, не было следствием якобы совершившегося в то время в его мировоззрении внезапного «переворота» и последовавшего лишь тогда обращения к Православию. Издание книги было во многом обусловлено именно стремлением открыть читателю свой настоящий писательский облик, существенно искаженный в интерпретациях Белинского.

В 1843 году Гоголь, замечая в письме к С. П. Шевыреву по поводу истолкования критиком его произведений, что «Белинский смешон», в то же время начинает задумываться над тем, какое употребление получают в обществе под влиянием критики его создания. Если прежде для нравственного воздействия на читателя он полагал достаточным мастерское и совершенное воплощение идеи в образах, то чем далее, тем более он убеждается, что общество, восторгаясь живописностью созданных им произведений, его не слышит — и делает выводы, навязанные извне. А о чрезвычайной популярности Белинского среди светской публики П. А. Плетнев 27 марта 1847 года, в частности, сообщал С. П. Шевыреву: «Мы живем в жалкую эпоху. Глупейший враль становится для нынешней публики оракулом. Еще сегодня Срезневский рассказывал о торжестве Белинского в Харькове, о таком народном торжестве, какого не удостоивались при жизни ни Карамзин, ни Пушкин. Афишу, которую в грязных лапах своих подержал Белинский в Харьковском театре, тамошние дамы разорвали по клочкам и разделили меж собою. Признаюсь,

я от души всегда гнушался этим успехом, зная, что только пошлостями да матерщиной доходить можно до сердца толпы, столь справедливо презренной Шекспиром и Пушкиным» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 198).

В 1842 году Гоголь устами одного из героев «Театрального разъезда...», словно утешая себя, говорит: «Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем ярче образы, в которые он облекся и на которые раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл созданья. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг не всякий может. А до тех пор долго будут видеть одни буквы». Четыре года спустя в этих размышлениях появляется известная доля трагизма. Главный герой «Развязки Ревизора» говорит об авторе комедии: «Дайте же ему хоть каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку». По замечанию гоголевского биографа В. И. Шенрока, «Гоголь говорил с публикой исключительно художественными образами, а потому она была совершенно не посвящена в его миросозерцание» (*Шенрок В. И.* Гоголь как художник // Киевская Старина. 1902. № 6. С. 444). Спустя полвека эту же мысль высказал Д. И. Чижевский: «При чтении произведений Гоголя читатель часто не замечает “идеологической программы” этих произведений, так же как для слушающего “программную музыку” по большей части оказывается скрыта за “прекрасными звуками” “программа”, которую хотели выразить в этих звуках композиторы...» (*Чижевский Д. И.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. Нью-Йорк. 1951. № 27. С. 137).

И тем не менее Гоголь утверждал, что «везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утоком...» (статья «О Средних веках», 1834; «Заток, уток, поперечное тканье» — гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). В начатой в 1845 году «Учебной книге словесности для русского юношества» он писал, что цель словесности — «научение», а потому «только тот, кто больше, глубже знает какой-либо предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором». «Полный и совершенный поэт, — замечал он также. в «Переписке с друзьями», — ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума». Понятно в этом свете, что обещание Белинского, высказанное в 1842 году (и повторенное в 1846-м, незадолго до издания Гоголем «Выбранных мест...»), написать «разбор всех сочинений Гоголя от “Вечеров на хуторе” до “Мертвых душ”», а также дополнительное рассуждение критика в 1846 году о «недостатках романа» «Мертвые души» в тех местах, где автор «из поэта, из художника силится... стать каким-то прорицателем», мало могли обрадовать Гоголя (см.: *Белинский В. Г.* Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 155–156; *Белинский В. Г.*

Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Издание второе. Москва. 1846 // Там же. Т. 8. С. 510–511).

Проблемы, с которыми столкнулся писатель, заставляют его строже взглянуть на свое творчество, на употребление своего таланта, за который, он верил, даст ответ Богу. К 1838 году относится первая попытка Гоголя восстановить свой настоящий писательский облик. В этом году он посылает своему другу, редактору журнала «Современник», П. А. Плетневу письмо для публикации, в котором на всю Россию намеревался выразить благодарность Государю за оказанную ему тогда материальную помощь — то есть открыто высказать свои верноподданнические чувства (см. об этом подробнее в коммент. к <Письму из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> в т. 7 наст. изд.). По тому, как были встречены позднее «Выбранные места из переписки с друзьями», можно представить, какой прием в либеральной критике ожидало это гоголевское послание. По неизвестным причинам публикация письма, прошедшего цензуру, была отложена, и дальнейшие шаги к «реабилитации» своей литературной славы Гоголь предпринимает до времени в кругу друзей.

Объясняя в 1842 году в письме к С. Т. Аксакову свое намерение отправиться в Иерусалим, на поклонение Гробу Господню, Гоголь замечает: «Признайтесь, вам странно показалось, когда я первый раз объявил вам о таком намерении?.. почему можно знать, что то, которое кажется нам минутным вдохновением... уже высшею волею Бога не вложено в самую природу и зрело в нас, невидимо для других». В 1844 году следует еще одно признание Аксакову: «С 12-летнего, может быть, возраста, я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных...» В письме к А. О. Смирновой от 28 декабря (н. ст.) того же года Гоголь замечает о своей жизни 1830-х годов среди петербургских литераторов: «Никто из них меня не знал. По моим литературным разговорам всякий был уверен, что меня занимает одна только литература...» Одному из этих литераторов, тому же Плетневу, он в то время пишет о себе: «Друг, ну что если... нашелся один такой страдалец, над которым обрушилась такая странность, что все, что ни сделает и ни скажет, принимается в превратном значении... что он не может произнести и слова в свое оправдание, подобясь находящемуся в летаргии». В «Выбранных местах из переписки с друзьями», начинающихся с размышлений писателя о смерти и предупреждения не погребать его «до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения», Гоголь повторит эту мысль в объяснение особенностей своего творчества: «Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого...» В «Предисловии» к «Переписке» Гоголь прямо заговорит о том, что его сочинения «почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла...».

Очевидно, что одним из существеннейших мотивов, побудивших Гоголя к изданию новой книги, явилось стремление писателя остановить развернутое журнальной критикой во главе с Белинским радикальное «погребение» настоящего смысла его художественных произведений. Судя по приведенным цитатам, такое литературное «погребение» вызывало у Гоголя столь же тяжелые чувства, как, например, те примеры «нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение», о которых он мог прочесть ранее в книге немецкого доктора медицины И. Г. Эллизена, изданной в 1801 году в Петербурге: «Врачебные известия о преждевременном погребении мертвых, собранные Иоганном Георгом Давидом Еллизеном. С нем. перевел В. Джунковский». В книге рассказано о случаях преждевременного погребения мнимо умерших за границей и в России. (Протоиерей Е. А. Попов указывал на значение этих фактов для воспитания памяти смертной: «Слышимый рассказ о том, как иной обмерший в могиле стонал, как потом найден был с признаками страшной борьбы со смертью (изломанная крышка гроба, изорванная рубашка, искусанные персты), тем более ужасает. Да, мы стараемся отдалять от себя подобные представления, будто и умирать нужно только другим, а не нам»; *Попов Е., прот.* Общенародные чтения по православно-нравственному богословию. СПб., 1901. С. 1020.)

«Когда мы хвалили сочинения Гоголя, — заявлял Белинский, — то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях...» (*Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 237). Можно лишь удивляться, как при этом Белинский в своем зальцбруннском письме не постеснялся сделать самому Гоголю упрек в том, будто писатель «обвинил» его — надо полагать, несправедливо — «в намерении дать какой-то предосудительный толк» его сочинениям. «Я не умею говорить наполовину, — заявлял при этом Белинский, — не умею хитрить: это не в моей натуре». О том, как «не умел хитрить» Белинский, позволяют судить его собственные высказывания. К примеру, еще в 1842 году, сразу по выходе гоголевской поэмы, признав, что «нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее понимать их, как видя в них сатиру» (Там же. Т. 5. С. 53–54), Белинский позднее, в 1847 году, поучал К. Д. Кавелина: «Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Но вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, *для кого* и *для чего* она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы... Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему совершенно справедливо; но сказать этого печатно

я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный мой друг, хороший ученый, но плохой политик...» (Там же. Т. 9. С. 682).

Точно так же и по поводу письма Гоголя к С. С. Уварову от конца апреля 1845 года, где Гоголь благодарил Уварова за ходатайство перед царем в оказании ему материальной помощи, Белинский в 1847 году замечал, что оно явилось предвестием «монархических» гоголевских «Выбранных мест...». Между тем в этом смысле «Выбранным местам...» предшествовало не одно, но целый ряд более ранних обращений Гоголя к Императору в 1830—1840-х годах. Причем обращения эти были известны самой широкой русской публике, так что слухи о них доходили не только до Москвы, но даже до Малороссии, — как это, например, случилось с письмом Гоголя к Императору от 18 апреля (н. ст.) 1837 года, о котором мать Гоголя, жившая в своем малороссийском имении, узнала из нелепых слухов, распространившихся по его поводу. (Об этих слухах Мария Ивановна сообщала в письме к сыну от июля 1838 года, а также в письме к А. А. Трощинскому от 4 июня того же года; см.: <*Ореус И. И.*> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754—1829 // Русская Старина. 1882. № 6. С. 678. Гоголь содержание этих слухов (почерпнутое из письма матери) не без иронии пересказывал в письме к А. С. Данилевскому от 25 марта (н. ст.) 1839 года. Содержание этого недавно обнаруженного письма Гоголя к Императору от 18 апреля (н. ст.) 1837 года, а также содержание сопроводительного письма Гоголя к Жуковскому от того же числа полностью опровергают эти нелепые слухи.)

Несомненно, о многочисленных ранних обращениях Гоголя к Императору не мог не знать Белинский. В частности, о письме Гоголя к Императору 1837 года Белинский мог узнать от Н. Я. Прокоповича, с которым близко сошелся в 1840-х годах. 3 июня 1837 года Гоголь писал Прокоповичу: «Первое и самое главное, узнай от Плетнева или попроси, чтобы Плетнев узнал, получил ли Жуковский мое письмо и какой имело успех письмо мое к Государю». Еще более близкий и давний друг Белинского А. В. Никитенко был даже цензором того письма Гоголя из Рима с изъявлением ответной благодарности Императору, которое Гоголь в 1838 году намеревался опубликовать в «Современнике».

Гоголь стремился изданием новой книги освободить свои произведения от наросшей на них коросты произвольных интерпретаций. В этом Гоголь не останавливался перед средствами самыми решительными. Шевырев, комментируя в 1848 году слова Гоголя о «бесполезности всего», им напечатанного (и имея в виду в первую очередь Белинского), замечал: «Ясно, что те самые люди, которые не поняли смысла его сочинений и начали ложный путь в нашей литературе, думая вести его от самого Гоголя, всего ближе навели его на ту мысль, что сочинения его были до сих пор бесполезны для

большинства и что ему понадобилось снять с души хотя часть суровой за то ответственности... Если бы он сам сознал отсутствие пользы во всем им написанном, то не выдал бы вслед за "Перепискою" второго издания "Мертвых душ"» (*Шевырев С.* Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя // Москвитянин. 1848. № 1. <Отд. 2>. С. 8). В письме к П. А. Плетневу от 6 ноября 1846 года Шевырев указывал в этой связи и на намерение Гоголя выпустить новое издание «Ревизора». «Давно пора ему, — замечал в этом письме Шевырев, — для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 962). Такое же мнение высказывал ранее, в письме к В. А. Жуковскому от 17 мая 1846 года, князь П. А. Вяземский: «Как он <Гоголь> счастлив, что не читает в русских журналах того, что говорится о нем. Там, где бранят его, было бы для него еще сносно. Но он сам бы себе огадился, читая похвалы себе, например, в Отечественных записках» (*Гиллельсон М. И.* Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842—1852) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 54). Д. К. Малиновский в 1850 году, имея в виду покойного уже к тому времени Белинского, замечал о «Переписке с друзьями»: «В последней книге... мы не находим ничего *нового*, несогласного с предшествовавшим ей... Эта книга возымела уже свое действие... она отняла много силы у тех, кто еще до ее появления был ее *непобедимым* противником» (*Малиновский Д. К.* О том, как надо разуметь смешное в произведениях Гоголя // Н. В. Гоголь и Православие. М.: К единству! 2004. С. 469, 476).

Анонимный рецензент «Литературной Газеты» (возможно, ее тогдашний редактор В. Р. Зотов) замечал по поводу упоминания Гоголем о Плюшкине в одном из писем «Выбранных мест...»: «Гоголь говорит, что он заставит своего *Плюшкина* рассказывать удивительные вещи, если доберется до *третьего* тома *Мертвых Душ.* А в предисловии, как мы видели, этот же автор отказывается от всего, что им было... написано. Как согласить это?» (<*Зотов В. Р.*> Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Литературная Газета. 1847. 30 янв. № 5. С. 73–75). Очевидно, что, будучи огорчен малым воздействием своих произведений на современников, в нравственном отношении, Гоголь был готов считать написанное им не вполне удавшимся. «Намеренье мое было доброе... — замечал он в «Предисловии» к «Выбранным местам...», — одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла». С другой стороны, 28 августа (н. ст.) 1847 года он сам писал С. Т. Аксакову: «К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от званья писателя, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки?» О том, что в словах Гоголя о «бесполезности всего», им напечатанного,

не было «отречения» от своих произведений, свидетельствует, в частности, и факт чтения Гоголем осенью 1851 года «Ревизора» артистам Малого театра, а также само намерение писателя переиздать в начале 1850-х годов собрание своих сочинений.

Следует подчеркнуть, что готовившиеся в 1846 году Гоголем издания «Ревизора» и «Мертвых душ» были не простыми переизданиями этих произведений, но, в свою очередь, как и «Выбранные места из переписки с друзьями», преследовали цель остановить произвольные, предвзятые их истолкования. Издание «Ревизора» готовилось с «Развязкой», призванной уяснить религиозный замысел пьесы. 24 октября (н. ст.) 1846 года Гоголь писал Шевыреву: «Играться и выйти в свет "Ревизор" должен не прежде появленья книги "Выбранные места": иначе всё не будет понятно вполне». «Мертвые души» сопровождались предисловием «К читателю от сочинителя» — также самым тесным образом связанным с содержанием «Выбранных мест...» (в частности, с одним из «Четырех писем к разным лицам по поводу "Мертвых душ"»). В письме к Шевыреву от 20 января (н. ст.) 1847 года Гоголь замечал: «Если ты поудержал выпуском в продажу второе издание «Мертвых душ», то сделал хорошо, потому что предисловие может быть понято читателям только по прочтении моей "Переписки"». По признанию Гоголя в «Авторской исповеди», публикацией предисловия к первому тому поэмы он намеревался обратить читателей «на самих себя». Это христианское намерение автора также не встретило сочувствия у Белинского, отозвавшегося о предисловии «К читателю от сочинителя» с неприкрытым раздражением (см.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 511–513).

В. И. Назимов, попечитель Московского учебного округа, в мае 1853 года писал о Гоголе А. С. Норову, бывшему в то время помощником министра народного просвещения: «Лучшим доказательством его убеждений служит Переписка его с друзьями, в которой он с особенною силою высказал и преданность Церкви и приверженность к Государю, одним словом, все истинно русские чувствования» (*Похвиснев М. Н.* Владимир Иванович Назимов // Русская Старина. 1882. № 2. С. 482). Сам Гоголь, объясняя в 1851 году западнически настроенному И. С. Тургеневу появление своей книги, замечал об истолковании его произведений в революционно-демократическом духе Белинским и Герценом: «Мне досадно, что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать "Перепискою", что я не т...» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 147). Задумав в 1845 году издать «Переписку с друзьями», Гоголь писал министру народного просвещения С. С. Уварову о своих сочинениях, что, «хоть в основание» их «легла и добрая мысль», однако большинство читателей «приписывает» им «скорее дурной смысл, чем хороший», и «извлекает извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу». Отзыв Гоголя о том, что «критика Белинского злостно перетолковывала все его намерения и авторские цели», передавал также в своих воспоминаниях

Анненков (см.: *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 150). По воспоминаниям западника И. И. Панаева, когда «Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики» (*Панаев И. И.* Из «Литературных воспоминаний» // Гоголь в воспоминаниях современников. Б. м., 1952. С. 216).

«В каком превратном виде приняли вы смысл моих произведений», — замечал Гоголь в 1847 году в неотправленном письме к Белинскому. И продолжал: «Насмешки [и нелюбовь слышались у меня] не над властью, не над коренными законами нашего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильными толкованьями... над струпом, который накопился...» В письме к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 года, задуманном Гоголем как новая вступительная статья под названием «Искусство есть примирение с жизнью» ко второму изданию «Выбранных мест...», он писал о «Ревизоре»: «В комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка». Сделанный анализ гоголевской комедии позволяет согласиться с этим утверждением. Не случайно «Ревизор», разрешенный Императором к постановке и печатанию, постоянно упоминался впоследствии во всех письмах и прошениях на Высочайшее имя самого Гоголя и других лиц, ходатайствовавших за него перед царем об оказании материальной помощи, что, конечно же, было бы невозможно, если бы смысл комедии был таков, каким его пытались представить революционные демократы. Делая из обличительного пафоса Гоголя далеко идущие выводы и представляя писателя непримиримым врагом «старой России», радикальная критика вступала в противоречие с позицией самого Гоголя, открыто признававшегося в любви к этой России и говорившего о своем смехе как «смехе сквозь слезы», подразумевая под этим слова св. апостола Павла во Втором послании к Коринфянам, где тот объясняет причины суровости, с какой он обличал коринфян за их прегрешения в предыдущем, Первом послании: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам» (гл. 2, ст. 4).

Своеобразие гоголевской позиции заключалось в том, что стремление спасти от искажения настоящий смысл своих произведений сочеталось у писателя при создании «Выбранных мест...» с ярко выраженными «примирительными» намерениями по отношению к своим «перетолкователям»-западникам, по слову апостола: «...я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти...» (Рим. 9, 3). Это, конечно, не означало согласия с их взглядами. «Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников...» — замечал Гоголь в статье «Споры».

Гоголевская мысль заключалась в том, что вместо бесплодной вражды дружеские отношения с кем бы то ни было, а тем паче со своими соотечественниками приносят гораздо более пользы для распространения истины. В «Выбранных местах...» он прямо сравнивает гордого своей чистотой непримиримого «праведника» с евангельским богачом, отталкивающим «покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего». «Не нужно отталкивать от себя совершенно дурных людей и показывать им пренебрежение, — писал Гоголь сестре Елисавете 15 сентября (н. ст.) 1844 года, — лучше стараться иметь на них доброе влияние». П. В. Анненков вспоминал о Гоголе: «Можно употребить... много времени... на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху... На самых друзьях своих Н<иколай> В<асильевич>... испытывал способность говорить языком их помыслов и наклонностей» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 49, 94). В письме к князю П. А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 года Гоголь, имея в виду Белинского и его сторонников, которым Вяземский публично высказал в печати свое неодобрение, писал: «Выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях... может быть... многие из них... влекутся даже некоторым... желанием добра... может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что несколько жестоко оттолкнули их...» В письме к С. П. Шевыреву от 11 февраля (н. ст.) 1847 года Гоголь, порицая его за излишнюю осторожность по отношению к себе, также замечал: «Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья...»

В письме к близко знакомому с Белинским (вероятно, через П. В. Анненкова) Н. Я. Прокоповичу от 20 июня (н. ст.) 1847 года Гоголь проговаривался о «Выбранных местах...», что Белинский мог принять «всю книгу написанною на его собственный счет» и увидеть в ней «формальное нападение на всех разделяющих его мысли». Гоголь просил Прокоповича (своего давнего школьного приятеля) переговорить с Белинским и передать ему от себя несколько добрых слов. Имея в виду раздражение критика по поводу вышедшей «Переписки» и желая смягчить его, Гоголь, не отрицая указанной цели книги, писал в то же время самому Белинскому, что намерения его были и более широкими, и более миролюбивыми: «Я вовсе не имел в виду огорчить вас... я имел в виду небольшой щелчок каждому... Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора».

В 1859 году Н. В. Неводчиков (впоследствии архиепископ Кишиневский и Хотинский Неофит) вспоминал о содержании своей беседы с Гоголем в октябре 1850 года: «Не помню хорошенько как, только разговор у нас зашел о человеке, готовом потеряться.

“Дайте ему хоть малейшую точку опоры да протяните ему руку, и он поднимется”, — сказал Гоголь» (*Н<еводчиков> Н.* Воспоминания о Н. В. Гоголе // Библиографические Записки. 1859. № 9. С. 267). Вероятно, неким залогом примирения с Белинским — дружеской «точкой опоры» — должны были, по замыслу Гоголя, стать в «Переписке с друзьями» многочисленные переклички статьи «О лиризме наших поэтов» (1846) со статьями, написанными критиком в так называемый примирительный период его деятельности, — «Бородинская годовщина. В. Жуковского...» (1839), «Очерки Бородинского сражения... Ф. Глинки» (1839). Непосредственно в период создания и публикации этих статей Гоголь даже встречался с Белинским в Петербурге.

На близость содержания статей Белинского 1839 года к идеям «Переписки с друзьями» указал еще в 1909 году В. Г. Короленко (см.: *Короленко В.* Трагедия писателя. Несколько мыслей о Гоголе // Русское Богатство. 1909. № 5. <Отд. 2>. С. 169–170). Достаточно заметить, что весь замысел статьи «О лиризме наших поэтов» ясно читается в следующих строках статьи Белинского: «Ход нашей истории обратный в отношении к европейской: в Европе точкою отправления жизни всегда была борьба и победа низших ступеней государственной жизни над высшими... у нас... власть... всегда таинственно сливалась с волею Провидения... безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни...» (*Белинский В. Г.* Бородинская годовщина. В. Жуковского... // Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 114–115). Эти слова Белинского, в свою очередь, восходят к размышлениям над русской историей М. П. Погодина, а также к взглядам М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, Н. М. Карамзина, еще ранее воплотивших в своих трудах разработанную в европейской историографии идею завоевания. Сохранился конспект Белинского лекций Погодина «Русская история. Лекции, читанные адъюнктом Московского Университета Михаилом Погодиным. 1833. Принадлежит Виссариону Белинскому» (см.: *Петров Ф. А.* М. П. Погодин и создание кафедры российской истории в Московском университете. М., 1995. С. 32, 123–124).

В неотправленном письме к Белинскому Гоголь дважды обращается к нему: «Позвольте мне напомнить прежние ваши работы и сочинения. Позвольте мне напомнить вам прежнюю вашу дорогу... Литератор существует для другого. Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую примиряющую истину, а не вражду...»; «Зачем вам было переменять раз выбранную мирную дорогу?.. Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта заставила бы вас благословлять все в природе».

Последние строки прямо перекликаются с содержанием второй редакции не любимого Белинским гоголевского «Портрета», одна из частей которого, посвященная художнику, достойно употребившему свой талант, завершается утверждением, что «для успокоения

и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства», а другая, повествующая о художнике, соединившем в себе «хулу и отрицанье» и погубившем свою душу, оканчивается сравнением его с «тем страшным демоном, которого идеально изобразил Пушкин» (в стихотворении «Демон», 1823). Слова Гоголя в письме к Белинскому — «благословлять все в природе» — явная реминисценция из этого пушкинского стихотворения:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Еще ранее, в черновых набросках «Театрального разъезда...», начатого вскоре после первого представления «Ревизора», Гоголь, пораженный истолкованием его комедии некоторыми зрителями, так объяснял ее настоящую цель: «Ожесточенный и огорченный обидой, несправедливостью человек уже бы поднял, может быть, руку на своего врага; но, увидя достойно осмеянным в театре, уже почти примиряется... он готов был вознести руку на самого себя и прекратить свои мученья, — но вдруг божественно потряслась душа, — ...и выходит он примиренный с жизнью».

Предполагавшееся к публикации в новом издании «Переписки» письмо к Жуковскому «Искусство есть примирение с жизнью» также преследовало цель напомнить Белинскому о примирительной эпохе его жизни.

* * *

Сложившаяся в 1847 году ситуация скрытого противостояния между Гоголем и Белинским по поводу настоящего смысла произведений художника была вполне понятна и очевидна их внимательным современникам. Ап. Григорьев, например, прямо утверждал по выходе «Переписки с друзьями», что «Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий...» (*Григорьев А. А.* Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 116). Ап. Григорьев стал и одним из первых, кто выступил в 1847 году против деления Гоголя на гениального художника (и «юмориста») и сошедшего с ума мыслителя, на «хорошего» раннего и «плохого» позднего. Возражая «делителям», Ап. Григорьев в своей статье о «Выбранных местах из переписки с друзьями» попытался показать книгу Гоголя как закономерный итог всего предшествующего развития писателя. Им, кстати, было также довольно верно угадано самое ядро гоголевского миросозерцания — ощущение глубокой внутренней неправды современности. Говоря о главном содержании книги Гоголя, он ставил ее в один ряд с «Русскими ночами» князя В. Ф. Одоевского, «которого Мальтус приводил к страшному видению последнего дня человечества, которому утилитарность Бентама показала вдали *город без имени*, эту грозную, бичующую сатиру на утилитарность...» (Там же. С. 116). Характерна в этом смысле апелляция Белинского при разборе

«Выбранных мест...» к суду «практических людей, которые все понимают не вдохновением, а здравым смыслом да опытностью» (*Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 225).

Князь Вяземский писал тогда же о радикальных истолкователях Гоголя: «Чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навесть уныния на человека с умом светлым и высоким... люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе... Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных... Они не понимали Гоголя, но по крайней мере так могли в свою пользу перетолковывать создания его вымыслов» (*Вяземский П. А.* Языков и Гоголь // *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 171–172).

Сам Белинский из содержания «Выбранных мест...» выводил с раздражением, что Гоголь «объявляет» в них «торжественно... что не согласен с теми, которые хвалили» его сочинения (*Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 236). Между тем на самом деле нигде в «Переписке» открыто это «несогласие» не выражено: Белинский явно исходил из общего смысла книги и той задачи, которую она должна была выполнить, по предположению Гоголя, в сложившейся ситуации. В неотправленном письме к Белинскому Гоголь, предполагая утешить задетое самолюбие критика, писал: «Как можно... из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы?» В «Авторской исповеди» он повторял: «Странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу». Эти примирительные интонации «Авторской исповеди» убеждают, что заявленное здесь Гоголем намерение — «чистосердечно... изложить всю повесть» своего «авторства» — было существенно ограничено и подчинено задаче утишения разгоревшихся после выхода в свет «Переписки» страстей (название «Авторская исповедь» было дано этой книге после смерти Гоголя Шевыревым; сокращенным же вариантом ее является не раз уже упоминавшаяся в связи с полемикой Гоголя с Белинским статья «Искусство есть примирение с жизнью»). Понятно, почему и в этом произведении мы не найдем признаний Гоголя об истинной цели своей «Переписки» — дать категорический, хотя и «примирительный», ответ Белинскому, — что сам критик понял слишком хорошо, встретив книгу, по его словам, с «негодованием и бешенством» (*Белинский В. Г.* — Боткину В. П. 28 февраля 1847. Петербург // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 623).

Все надежды — как в прояснении настоящего смысла своего творчества, так и в примирении враждующих сторон — Гоголь

возлагал на второй том «Мертвых душ»: «Из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 12); «Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами... и двери сердец растворятся сами навстречу к принятью их…» («Авторская исповедь»); «Я бы хотел... чтобы люди самых противоположных мнений сказали обо мне: “Этот человек действительно узнал русскую природу…”» (<Письмо по поводу «Мертвых душ»>).

Таким образом, обращение к истокам полемики Белинского и Гоголя позволяет уяснить, что, с одной стороны, для самого писателя издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» не было следствием какого-то перелома или перемены во взглядах, но явилось из вполне понятного продуманного желания отстоять подлинный смысл своих прежних созданий, искаженный в интерпретациях Белинского. Именно вокруг этого смысла, понемногу постигаемого, должно было, как полагал Гоголь, состояться объединение враждующих партий. С другой стороны, утверждение Белинского в зальцбруннском письме к Гоголю — «я вас любил», — откуда берет начало разделение писателя на «раннего» и «позднего», никак не может служить основанием для какой бы то ни было периодизации творческого пути писателя, ибо изначально настоящий смысл гоголевских произведений почти исключался из «любви» критика.

* * *

Хотя «реабилитации» своих художественных произведений изданием «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь при своей жизни так и не добился, однако одной цели он все-таки определенно достиг: стала, по крайней мере, очевидной суть долгого противостояния и спора его с Белинским, которые проистекали из признания Гоголем несомненного превосходства христианства над западноевропейской цивилизацией, чрезвычайно высоко превозносимой Белинским. Общественное звучание «Выбранных мест…» в этом смысле трудно переоценить. «Религиозно-политическое значение “Переписки”, — писал профессор И. М. Андреевский, — было огромное. Эта книга появилась в то время, когда в незримых глубинах исторической жизни решалась судьба России и русской православной культуры… Что впереди? Расцвет и прогресс безрелигиозной гуманистической культуры или начало предапокалиптического периода мировой истории? Гоголь громко и убежденно заявил, что Истина в Православии и в православном русском самодержавии, и что решается историческое “быть или не быть” православной русской культуры, от сохранения которой зависит и ближайшая судьба всего мира» (*<Андреевский И. М.> Андреев И. М.* Очерки по истории русской литературы XIX века (Краткое конспективное изложение некоторых лекций, читанных в Свято-Троицкой духовной семинарии). Jordanville, 1968. Сб. 1. С. 136).

Если попытаться очертить круг проблем, волновавших Гоголя на протяжении всей его жизни и составивших ядро его последней книги, то главной здесь явится мысль, высказанная им в 1844 году в «Правиле жития в мире»: «Начало, корень и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога». Идея спасения души не только определяет собственно нравственные воззрения Гоголя, но и пронизывает его размышления об истории, сквозит в его эстетических и политических взглядах, прямо обусловливает его «этнографию». Именно эта мысль и придает целостность и глубину осмыслению Гоголем многообразных проблем изображаемой им действительности.

Спасение души, по Гоголю, несомненно возможно только в Церкви — Единой Вселенской Апостольской Церкви, частью которой является Русская Православная Церковь, принадлежность к которой сам Гоголь осознает как неоценимый дар: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русской» («Нужно любить Россию»). Очевидно, что любовь Гоголя к России — это любовь к Православию. Ибо именно Православию (а не себе самой) приносит Россия как православная монархия свою посильную лепту — ограждает мир и благочестие своих подданных. Оттого и служение русскому монарху, государственная служба приобретают у Гоголя вполне религиозное значение. Гоголевский монархизм напрямую связан с его мыслью о спасении души. Сохраняющиеся под защитой православной монархии земледельческий быт и патриархальные нравы русского народа, весь строй его жизни выступают для Гоголя определенным «залогом» и благодатной возможностью каждому взойти со временем по невидимой лестнице духовного совершенствования к Небесной Отчизне. Поэтому-то, по словам Гоголя, и поминает сначала священник за Литургией пред Богом тех, «которые поставлены во главы прочим, которых должности высшие и обязанности труднейшие»: «Молится, в виду Тела и Крови Господней, о Государе... да покорит ему под ноги всякого врага и супостата... чтобы возможно нам было в тишине тихое и безмолвное прожить житие во всяком благочестии и чистоте...» («Размышления о Божественной Литургии»).

Этому спасительному, надежному оплоту российской государственности со всей враждебностью противостоит в мире иная сила, стремящаяся низвести душу к смерти и аду. В современности эта антихристианская сила воплощает себя, по Гоголю, прежде всего в промышленной цивилизации Запада, ориентированной, с одной стороны, на культивирование исключительно материальных и развращающих человека «потребностей» — «оружия сластей» (комфорта, роскоши и др.), а с другой — на прямое вооруженное насилие (Наполеон). Отметим еще раз — в качестве новой черты к картине противостояния Гоголя и Белинского, — насколько разительным в данном смысле представляется заявление «прогрессивного»

критика, высказанное им еще в 1836 году: «Мы нападки на моды причисляем к числу... жалких и ничтожных выходок, как и нападки на роскошь, на блеск и изящество цивилизованной жизни, условия которой так тесно соединены с условиями высшей человеческой жизни. Поэтому мы желаем полного успеха “Вестнику Парижских Мод” <имеется в виду московский журнал М. Н. Кошелевской>, видя в нем необходимое явление нашей общественной жизни» (*Белинский В. Г.* Московские новости // Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 348).

Как показывает Гоголь, проникновение в Россию европейских мод, возбуждающих потребительские, низменные инстинкты, внедрение в нее всевозможных модных учений и беллетристики, льстящих самолюбию падшего человека и утверждающих его в мысли о законности «нового» секуляризованного образа жизни («При стези соблазны положиша ми»; Пс. 139, 6), приводят к порче нравов образованной части общества и прямо сказываются на экономическом положении народа («...разорить полдеревни или пол-уезда, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу...»).

Эта выдаваемая за прогресс подмена истинных ценностей ведет общество к такой переориентации его жизни, когда действительными «законодателями» для человека становятся не врачующая и спасающая его Церковь и не монарх-Помазанник, но — посредством соблазнов и лживых учений — «швеи, портные и ремесленники всякого рода», прежде всего представители «больших ремесел», «пророки» новой культуры.

В 1847 году в зальцбруннском письме Белинский выговаривал Гоголю: «Вы не заметили, что Россия видит свое спасение... в успехах цивилизации, просвещения, гуманности... вот почему какой-нибудь Вольтер... больше сын Христа, нежели все ваши попы...» Позднее Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» рассуждения, сходные с теми, которые высказывал Белинский в письме к Гоголю, вложил в уста... тринадцатилетнего мальчика: «Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?.. И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль. Это даже непременно... Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил». С другой стороны, справедливости ради надо отметить, что ранее и сам Белинский к плодам «учености» Вольтера (которого он в 1847 году ставил в пример Гоголю) относил «скептицизм, материализм, безверие, разврат и совершенное невежество при обширных познаниях» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 315, 417).

«Приглядитесь пристальнее, — заявлял Белинский о русском народе в зальцбруннском письме к Гоголю, — и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ». Выдавая себя, таким

образом, за последователя «истинного христианства», Белинский тут же публично от Христа отрекался. «Дивное явленье! — восклицал позднее о подобных метаморфозах святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, в связи с подобным же выступлением другого деятеля революционной демократии, А. И. Герцена. — Ругатель Христа и враг Его принимается объяснять учение Христово» (<*Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский*>. Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию // Богословский Вестник. 1913. № 2. С. 201). (Заметим, что и сама полемика Герцена со святителем Игнатием, открытая им в 1859 году, повторяет во многом спор Белинского с Гоголем. В свою очередь, если вспомнить свидетельство о Белинском Достоевского — как отзывался критик о христианстве в частных беседах, — то его зальбруннское письмо к Гоголю можно назвать еще весьма сдержанным; см.: *Достоевский Ф. М.* — Страхову Н. Н. 18 (30) мая 1871. Дрезден // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. С. 215; а также письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину от 7 сентября 1841 года: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 483.)

В эпоху разрушительного вторжения ремесленно-торгашеской европейской цивилизации в патриархальный быт России, в атмосфере псевдоэстетического и псевдоистинного, значение светского художника и светского искусства возрастает, по Гоголю, именно потому, что прежде всего на них, а не на традиционное пастырское поучение и народные обычаи ориентируется общество «нового», европейского типа. Свою задачу Гоголь как художник видит поэтому именно в том, чтобы «выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели» («Авторская исповедь»), то есть в обращении через «светскую проповедь» оторвавшегося от Церкви общества на истинный путь.

Угроза со стороны цивилизации — угроза самой душе человека, не только русского, но и европейца. Самым «цивилизованным» народам — немцам, французам, англичанам — помимо своего разврата «новая» культура несет еще и тягостный, бездуховный труд по промышленному производству предметов роскоши, рациональное разделение которого также уродует человеческую душу, превращая человека «в машину» (наброски ко второму тому «Мертвых душ»).

В этом отношении даже российское крепостное право представляется Гоголю злом гораздо меньшим, чем то «рабство греху» (и в нравственном, и в физическом смысле), которое ожидает русского крестьянина в случае его европейской пролетаризации. Потому-то путь действительной отмены крепостного права (а не подмены его зависимостью еще худшей) видится Гоголю прежде всего в постепенном превращении дворянских имений в монастырские, где задача спасения души занимает уже в действительности подобающее ей главное место в жизни человека. Следует сказать, что к этим чаяниям Гоголя история оказалась наиболее беспощадна. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 6 мая 1859 года писал в своем

архипастырском воззвании к кавказскому духовенству, посвященном вопросу об освобождении крестьян от крепостной зависимости: «При таком развитии государственном, при таком материальном развитии, при вторжении в Россию европейских учений, нет надежды, чтобы духовенство могло возвратиться к тому значению и в нравственном и в вещественном отношении, которое оно имело в девственной России» (*Соколов Л.* Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. В 2 ч. Киев, 1915. Ч. 2. Прил. С. 46). Мысль о замене «власти господ властию духовною» святитель Игнатий считал «мечтой вполне ложной» и выход из столь безотрадного состояния видел в другом: «Сила и существенное значение духовенства заключается в его характере... Стяжем в себе любовь, будем ее оказывать обильно ко всем сословиям: тогда все сословия невольно проникнутся благоговением к нам... Человек не может не воздать почтения любви... потому что любовь есть Бог, пред Которым смиряется всякое Его создание (1 Ин. 4, 16)» (Там же. С. 44, 47).

При исключительной любви Гоголя к России он тем не менее противопоставляет «цивилизованным» европейским народам также испанцев, итальянцев, калмыков, черкесов… Их быт и нравы кажутся Гоголю столь же выгодно отличающимися от культуры промышленной Европы, как и образ жизни русского народа.

И все-таки приоритет Гоголь оставляет за Россией — именно в силу исповедуемого ею Православия. (Западная Церковь не в состоянии противиться общему разрушительному стремлению по причине занятости ее самой делами мира.) Россия в этом смысле является главным оплотом всех здоровых сил человечества в их противостоянии западноевропейской цивилизации.

Однако неприятие цивилизации вовсе не означает у Гоголя вражды к тем народам, которым она стала действительным образом жизни, — народам «низшим в делании добродетели» и наиболее, может быть, нуждающимся в сострадании. Тягостное «деятельное безделье» цивилизованной Европы и Америки, их пагубное рабство греху Гоголь вовсе не считает изначально им присущим. Размышляя об исторических корнях европейской цивилизации как некоей болезни мира, Гоголь видит происхождение этого греховного рабства в соблазнении в эпоху крестовых походов девственной тогда Европы культурой воинственного и изобретательного во всем арабо-мусульманского Востока. (Еще более ранние ростки подобного развития ви́дит Гоголь в культуре «роскошных персов».)

Уходящая, таким образом, своими корнями в язычество цивилизация получает затем, по Гоголю, свое подлинное «возрождение» с открытием европейцами Америки, когда стремление завладеть американским золотом Испании превращает Северную Европу в настоящий центр мировой промышленности, неистощимый в производстве все новых и новых развращающих и подрывающих экономику других стран соблазнов.

Однако, как полагает Гоголь, и в своих модах, и в своем вооружении европейская цивилизация беспомощна перед двумя «средствами» — молитвой и соответствующей ей монастырской организацией быта (доходящей и до полной нестяжательности: «Нищенство есть блаженство...»). Потому-то в «программу» защиты русским монархом своих подданных Гоголь включает не только задачу ограждения их от внешней опасности, но и прямую пастырскую обязанность — «стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог» — «к которому просится Россия», — по слову апостола: «...пасите Божие стадо... не для гнусной корысти... и не господствуя над наследием *Божиим,* но подавая пример стаду...» (1 Пет. 5, 3)(«О лиризме наших поэтов»). С мыслью об «исходе» всего человечества от египетского, промышленного рабства греху Гоголь уподобляет русского монарха «древнему Боговидцу Моисею». Как показывает Гоголь, без этой главной мысли не только «цивилизованный» образ жизни, но даже и «монастырский», древнерусский патриархальный быт может стать для человека гибельным соблазном. (Забвение об «исходе» и несоответствие этой главной установке жизни того или иного помещика или даже самого русского монарха со всем вверенным ему «кораблем управленья» Гоголь переживает особенно остро.)

Таким образом, европейским и неевропейским идеалам «законного» обогащения и борьбы (революции) Гоголь со всей определенностью противопоставляет мысль о временности земного бытия и о принципиально ином назначении человека. В мире, порабощенном грехами, человек нуждается, по Гоголю, прежде всего в духовном освобождении. И эти центральные положения гоголевского миросозерцания остаются неизменными на всем протяжении жизни писателя.

Профессор Н. Я. Аристов писал: «Немало воды утекло со времени кончины Н. В. Гоголя... но доселе его пророчество о самобытном течении русской жизни далеко еще не оправдалось. Иноземщина до такой степени въелась в мозг русских полуиностранцев, что им сначала показался даже диким народный путь, на который указывал гениальный писатель... Не понимая своего народа, не зная жизненных его основ, полуобразованные люди преклонялись перед всей заграничной цивилизацией, не находя ничего хорошего в земле своей. Это лакейство перед всем чужим привело к отрицанию исторического склада русской жизни, веры отцов своих, народной формы правления и всего бытового отечественного строя» (*Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях // *Аристов Н. Я.* Сочинения Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки. СПб., 1887. С. 147). Очевидно, что высказанное позднее, в 1937 году, протоиереем Георгием Флоровским в его известной книге «Пути русского богословия» мнение о том, что «философские веяния эпохи Гоголя не коснулись» и что «“споры” его современников “о наших европейских и славянских началах”, между... славянистами и европистами, представлялись ему сплошным

недоразумением» (*Флоровский Георгий, прот.* Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 260), является недоразумением. Протоиерей Георгий Флоровский основывал свое мнение на ранней работе (1916 г.) протопресвитера Василия Зеньковского «Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях», в которой автор, в ту пору профессор Киевского университета, утверждал, что разделение славянофилов и западников «почти совсем не затронуло» Гоголя и что «в иных отношениях» он «остался... далеко позади этого трагического раздвоения нашей интеллигенции» (*Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. 1916. № 1. С. 39–48; еще ранее подобное мнение высказывал Д. Н. Овсянико-Куликовский: *Овсянико-Куликовский Д.* Гоголь // Речь. СПб. 1909. 20 марта. № 77. С. 2). Позднее, однако, протопресвитер Василий Зеньковский пересмотрел это свое заключение и пришел к выводу, что в религиозной критике современности и европейской культуры Гоголь превосходил даже славянофилов, а потому занимает «в этой незаконченной работе русского духа почетное место *зачинателя* всего этого течения» (*Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа (Критика европейской культуры у русских мыслителей). Париж, <1926>. С. 63; *Зеньковский В., проф., прот.* Н. В. Гоголь. Париж, <1961>. С. 205). К сожалению, этот вывод о. Василия Зеньковского никак не отразился в суждениях о Гоголе протоиерея Георгия Флоровского.

«Помилуй меня грешного, прости Господи! — гласит текст одной из предсмертных записок Гоголя. — Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста!» Последняя фраза, по словам И. М. Андреевского, «ясно свидетельствует, что Гоголь считал сатану “развязанным”, то есть полагал, что мы уже живем в апокалиптические времена» (*<Андреевский И. М.> Андреев И. М.* Очерки по истории русской литературы XIX века. С. 143). Тем острее вставал тогда перед Гоголем вопрос о спасении души, о ее «защите» перед надвигающимся антихристом. И на этот вопрос Гоголь ответил словами Спасителя в другой своей предсмертной записке: «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное».

## 2

## Цензурная история «Выбранных мест из переписки с друзьями»

Известно, что впервые книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» была опубликована в 1847 году со значительными цензурными сокращениями. Были изъяты целые главы этого последнего напечатанного при жизни Гоголя произведения. Исключены были такие письма, как «XIX. Нужно любить Россию», «XX. Нужно проездиться по России»; не попали в печать: «XXI. Что такое губернаторша», «XXVI. Страхи и ужасы России», «XXVIII. Занимающему

важное место». Гоголь в письме к графине А. М. Виельгорской от 6 февраля (н. ст.) 1847 года с горечью сетовал: «Все должностные и чиновные лица, для которых были писаны лучшие статьи, исчезнули вместе с статьями из вида читателей...»

Чем объясняется тот факт, что итоговая книга Гоголя, содержание которой тесно связано с тогдашним официальным курсом Министерства народного просвещения на укрепление начал Православия, Самодержавия и Народности («...вся книга моя написана в духе самого правительства...», — замечал Гоголь в январе 1847 года в письме к Императору Николаю I), подверглась такому радикальному прещению в цензуре — в той самой цензуре, которая состояла по прямому ведомству Министерства народного просвещения и в задачи которой входила проверка издаваемых сочинений на соответствие правительственному курсу?

Цензором гоголевской книги был петербургский литератор, профессор словесности Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко (1804–1877). Об участии А. В. Никитенко в прохождении «Выбранных мест...» в цензуре Гоголь 22 февраля (н. ст.) 1847 года сообщал А. О. Смирновой: «Вся цензурная проделка для меня покаместь темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги».

Как свидетельствуют многочисленные материалы, А. В. Никитенко действительно стал главным инициатором запрещения ряда статей в «Переписке с друзьями», прежде всего статей религиозно-патриотического содержания. Никитенко явился также и одним из первых, для кого христианские взгляды Гоголя, открыто выраженные в новой книге, оказались настолько неприемлемыми, что цензор постарался — еще до публикации книги — бросить на них тень, объявив гоголевское сочинение следствием душевного помешательства автора.

Профессор Г. П. Георгиевский (1866—1947), хранитель рукописей бывшего Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека), писал о цензурном вмешательстве А. В. Никитенко в текст «Выбранных мест...»: «Цензурный экземпляр книги Гоголя <имеется в виду рукопись «Выбранных мест...», хранящаяся в Российской государственной библиотеке в Москве: *РГБ.* Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 2. 79 лл.> обнаруживает, каким ущербом для нее было рукоприкладство Никитенки. Не только отдельные слова и строки, но целые отрывки и абзацы зачеркнуты и перекрещены красными чернилами цензора. Многие выражения и целые фразы заменены новыми, надписанными красными чернилами. Наконец, рука Никитенки зачеркнула целые письма или главы труда Гоголя, попросту закрестив их целыми листами или же сделав надпись: “Этой и следующих статей печатать нельзя. А<лександр> Н<икитенко>”. Таким способом исчезли из книги разом 19, 20, 21, 26 и 28 письма

или главы целиком. Цензор поставил свою подпись на каждом листке рукописи, кроме тех листков, которые по решению цензора подлежали изъятию и потому не удостоивались его рукоприкладства» (*Георгиевский Г. П.* «Выбранные места из переписки с друзьями». Рукопись Н. В. Гоголя, с цензурной правкой А. В. Никитенко / Записки отдела рукописей. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Вып. XI. Н. В. Гоголь. И. А. Гончаров. Редакция Н. Л. Мещерякова. <1941> // *РГБ*. Ф. 217. К. 7. Ед. хр. 1. Л. 48 об. — 49).

Из дел Санкт-Петербургского цензурного комитета также следует, что помимо указанных статей к уничтожению Никитенко были намечены еще три гоголевских письма, которые, однако, удалось отстоять. Таким образом, «Выбранные места из переписки с друзьями» цензор предполагал сократить более чем на четверть! Подобным цензурным преследованиям не подвергалась никакая другая книга Гоголя.

31 июля 1846 года П. А. Плетнев, занимавшийся в Петербурге по поручению Гоголя изданием «Выбранных мест...», писал Я. К. Гроту: «Гоголеву рукопись, не читав, я отдал Никитенке для цензированья. Вчера Никитенко и был поэтому у меня, рассказав, что у Гоголя есть один отрывок: “Завещание”, где он рассказывает, что все, сочиненное им после “Мертвых душ”, он сжег как недостойное чтения; все напечатанное прежде называет нечестием и мерзостию; говорит о своем путешествии в Иерусалим, о своей смерти, о погребении его, словом: нельзя не подумать, что нравственный организм его в странном состоянии» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 814).

Поскольку Плетнев еще не читал к тому времени рукопись «Выбранных мест...», он и не мог ничего по существу возразить цензору. Возразить, что, как уже было отмечено, никакого «отречения» Гоголя от его прежних сочинений в новой книге вопреки заявлениям Никитенко не было. Никитенко сразу по прочтении гоголевского «Завещания» поспешил поставить вопрос об исключении из книги Гоголя первой главы. В этом он, однако, не был поддержан другими членами Санкт-Петербургского цензурного комитета. Согласно выписке из журнала заседаний комитета, обсуждение главы «I. Завещание» состоялось 13 августа 1846 года: «В заседании Комитета 13 августа 1846 года слушали: представленное на разрешение Комитета Г. Ценсором Экстраординарным профессором Никитенкой из сочинения Гоголя, под названием: *отрывки из писем,* место, заключающее в себе духовное завещание автора, которое только по необыкновенности своего содержания обратило на себя особенное внимание ценсора. Ценсурный Комитет, находя, что это не есть какой-либо оффициальный акт, составленный по предписанным формам, а просто литературное произведение в роде мемуара, определил упомянутое место дозволить к напечатанию. Подлинный подписали Гг. присутствовавшие Комитета» (*РГИА*. Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1879. Л. 14).

Потерпев неудачу с «Завещанием», Никитенко, однако, отступать не собирался. Наиболее показательным в этой истории является запрещение им тех статей Гоголя, само заглавие которых говорит за себя. 23 октября 1846 года Плетнев сообщал Гроту: «Был тоже тщетно у Никитенки за третьею тетрадкой писем Гоголя» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 843). В третьей тетради находились письма XV–XXI, в том числе: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», — исключенные Никитенко. Умалчивая о подлинных причинах своей неприязни к этим статьям, Никитенко для их запрета выдвинул в Цензурном комитете основания самые благонамеренные, как этого и следовало ожидать от чиновника, служащего по ведомству Министерства народного просвещения. Сохранилась выписка из журнала заседания Цензурного комитета от 29 октября 1846 года, сообщающая о том, как происходило дело: «В заседании Санктпетербургского Ценсурного Комитета 29го Октября 1846 года СЛУШАЛИ: Представленные на разрешение Комитета Г. Ценсором Статским Советником Никитенкой отрывки из писем к друзьям Гоголя: 1. Нужно любить Россию; 2. Нужно проездиться по России; 3. Что такое губернаторша. В этих отрывках, с одной стороны, автор обращается к таким частностям характера и обстоятельствам лиц, к коим пишет, что можно усумниться, приятно ли им будет обнародование подобных узаконений на их быт, отношения и действия, а с другой стороны, помянутые отрывки заключают в себе многие мысли, хотя с добрым намерением излагаемые, но касающиеся таких общественных предметов, о которых частному лицу едва ли прилично говорить тоном столь догматическим. Автор как будто считает себя уполномоченным, обращая внимание на разные официальные и общественные беспорядки, предлагает свои меры то к их изменению, то к улучшению. Сочинение его уже не есть общая картина вещей, дозволенная нравописателю и сатирику, а какое-то почти официальное изображение разных определенных сторон и случаев в нашем гражданском быту и по службе. Конечно, не вся статья от начала до конца содержит в себе подобные заметки, но отделить их от других мест, не подающих повода ни к каким ценсурным сумнениям, часто бывает совершенно невозможным по связи, одних с другими и по самой принятой автором форме писем, в которой он не держится строгого порядка в распределении и переходах своих мыслей. Ценсурный Комитет, выслушав некоторые места из статей Г. Гоголя и убедясь в справедливости замечаний, рассматривающих их ценсора, определил: Статьи под названием: 1. Нужно любить Россию; 2. Нужно проездиться по России; и 3. Что такое Губернаторша, не дозволять к напечатанию. Подлинный подписали Гг. присутствовавшие Комитета» (*РГИА*. Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1888. Л. 11).

Узнав об этом решении, Плетнев предпринял все возможные усилия, чтобы спасти гоголевские письма от уничтожения.

Он отправил три запрещенных письма Гоголя Государю Наследнику Александру Николаевичу в надежде, что тот своей властью разрешит печатание. 1 ноября 1846 года Плетнев извещал С. П. Шевырева: «Во второй тетради (следует: в третьей тетради. — *И. В.*) Никитенко вовсе исключил три письма. Это меня привело в отчаяние. Министра <С. С. Уварова> нечего и просить. Он вообще недоверчив к тем людям, которые желают его противопоставить течению установленного им порядка. Чтобы разом разрезать этот узел, я при своем письме отправил сегодня эти три письма Гоголя прямо к Наследнику. Не знаю, что из этого выйдет. Между тем у Никитенко еще три тетрадки» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 165). 2 ноября 1846 года об отправке трех писем Гоголя к Наследнику П. А. Плетнев извещал также Я. К. Грота: «Всю пятницу <1 ноября> провел я за письмами. Послал на прочтение Наследника три письма Гоголя, не пропущенные Никитенкою» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 848).

Ходатайство у Наследника не привело к желаемому результату. 4 ноября 1846 года Плетнев писал Никитенко: «Из третьей тетради непропущенные вами три письма на днях был мне случай читать в<еликому> к<нязю> Наследнику. Его Высочество совершенно согласен с нами, что это хоть и интересно и написано в добром духе, но тут так много частного и домашнего, хоть и без имен, что лучше не печатать это» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. С. 167). Об отзыве Наследника Александра Николаевича Плетнев сообщал также в письме к Гроту от 6 ноября: «Наследник пригласил меня в понедельник <4 ноября> в Зимний дворец. Был со мною очень любезен. Про письма Гоголя сказал, что лучше не печатать непропущенное, ибо много в этом частностей и мелочей, хотя сам он и читал с большим любопытством» (Там же. Т. 2. С. 851).

Таким образом Никитенко достиг своей цели. А тем временем вокруг еще не вышедшей книги в обществе была развернута целая кампания по подготовке публики к негативному восприятию нового гоголевского сочинения. В. Г. Белинский в письме к Гоголю из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847 года, в частности, писал: «Еще прежде... в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк… и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики…»

Содержание письма Гоголя к Уварову от апреля 1845 года стало известным Белинскому именно от Никитенко, которому его дал прочесть сам Уваров. В этом письме Гоголь, имея в виду то значение, какое получали в публике его сочинения по произволу радикальной критики, сетовал, что, хоть «в основание» их положена «добрая мысль», они, однако, не стоят «большого внимания», так как соотечественники «извлекают извлеченья из них скорей не в пользу

душевную, чем в пользу». «Меня утешала доселе мысль, — продолжал Гоголь, — что Государь, которому истинно дорого душевное благо его подданных, сказал бы, может быть, со временем о мне так: “Этот человек умел быть благодарным и знал, чем высказать мне свою признательность”». Никитенко, узнав от Уварова о содержании гоголевского письма, записал в дневнике вполне в духе Белинского: «Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль обличителя наших общественных язв... Жаль, жаль! Это с руки и Уварову и кое-кому другому» (запись от 8 мая 1845 года; *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Б. м. и. 1955. Т. 1. С. 292). Очевидно, уже тогда Никитенко, относившийся с недоброжелательством к Уварову, держал Белинского «в курсе событий», следствием чего и явились распространившиеся позднее в Петербурге слухи о «помешательстве» Гоголя.

30 июля (н. ст.) 1846 года Гоголь, посылая П. А. Плетневу первую тетрадь «Выбранных мест...», писал: «Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. К нему я напишу слова два. Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга». Самого Никитенко Гоголь предупреждал: «По разным причинам я не хочу, чтобы до времени выхода о книге знали. А потому прошу вас, чтобы осталось только между вами и Плетневым и никто бы, кроме вас двух, не был введен третий» (письмо от 1 августа (н. ст.) 1846 года). Еще раз Гоголь напоминал об этом в письме к Плетневу от 25 августа (н. ст.) 1846 года: «Вновь повторяю просьбу, чтобы, до времени выпуска в свет книги, никто о ней, кроме тебя и цензора Никитенка, сведения не имел».

Однако настойчивые гоголевские предупреждения оказались тщетными. 1 ноября 1846 года Плетнев сообщал Шевыреву: «Вы удивляетесь, как посторонние узнают о делах цензуры. Да у нас все эти г-да цензоры тем только и живут, что пересказывают о предметах, которые кому-нибудь желательно скрыть до времени. Я знаю, что у Никитенка в те дни, в которые сбирается к нему ватага его, читали Гоголя в рукописи, присланной на цензирование» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 165). Шевырев отвечал Плетневу из Москвы: «Никитенко потерял и последнее достоинство в глазах моих. Я считал его благородным цензором и благородным человеком, но он, как видно, ни то, ни другое. Какое же право он имел оглашать рукописи, которые вверяются ему для прочтения?.. С одной стороны, Никитенко притесняет Гоголя, а с другой — он и его ватага распускают и в Петербурге и в Москве самые странные о нем слухи... Здесь уже хоронят его литературный талант; говорят, что он отказывается от всех своих сочинений, как от грехов (хотя и печатает вторым изданием “Мертвые Души” и “Ревизора”); посягают даже на благородство его мнений. Не говорю уже о дальнейших толках, что он подпал влиянию иезуитов, что он сошел с ума... Источник всего этого главный — собрания у Никитенки... Я понимаю, что решительное изъявление мнений,

которые в нем <Гоголе> не новы, но только созрели, могло озлобить всю эту партию... но я никак не мог вообразить, чтобы она могла унизиться до таких подлых против него действий» (письмо от 6 ноября 1846 года; Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 962).

Ф. М. Достоевский (начинавший, как известно, свою писательскую карьеру в кругу Белинского) 5 сентября 1846 года писал брату из Петербурга: «Я тебе ничего не говорю о Гоголе, но вот тебе факт. В “Современнике” в следующем месяце будет напечатана статья Гоголя — его духовное завещание, в которой он отрекается от всех своих сочинений и признает их бесполезными и даже более. Говорит, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дело его молиться. Соглашается со всеми отзывами своих противников. Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующим в Иерусалим и проч. Вот. — Заключай сам» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. С. 125). О том, насколько быстро распространялись в обществе слухи о «помешательстве» Гоголя, свидетельствует и письмо В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской из Москвы от 26 сентября 1846 года: «Я тебе еще не писала, что на днях должно выйдти новое сочинение Гоголя, содержание которого неизвестно; оно печатается под величайшим секретом в Петерб<урге> по его поручению... У нас прошли слухи, что будто это отрывки из его переписки с друзьями, что будто он сжег второй том М<ертвых> Д<уш> и так далее, слухи, по которым должно заключить, что он не совсем в здравом уме, по крайней мере, принял слишком одностороннее направление...» (*РГБ.* Ф. 3 (ГАИС III). К. 15. Ед. хр. 9–10. Л. 14 об.; опубл.: История моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год. Сочинение С. Т. Аксакова / Под ред. Н. М. Павлова. М., 1890. С. 155). Незадолго перед тем, 18 сентября 1846 года, С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: «Шевырев, вероятно, спрашивал Плетнева о последнем сочинении Гоголя: ибо Плетнев пишет, что в сочинении Гоголя, которое скоро выйдет из печати, ничего нет такого, о чем пишет Шевырев и что известие это совершенно ложно; а я думаю, что оно справедливо и что Плетнев пишет для того таким образом, чтобы буквально исполнить волю Гоголя» (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) (далее — *ИРЛИ*). Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 50). Позднее С. Т. Аксаков вспоминал: «В конце этого <1846> года... дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается известная книга Гоголя “Выбранные места из Переписки с Друзьями”; мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к ее издателю П. А. Плетневу, чтоб он остановился изданием этой книги до вторичного приказания Гоголя, к которому я написал также <9 декабря 1846 года> большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хоть на несколько времени» (<*Аксаков С. Т.*> Продолжение кратких сведений и выписок

из писем для биографии Гоголя <с 1845 по 1852 год> // *ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 84. Л. 5 об.).

Слухами и цензурными изъятиями преследование «Выбранных мест из переписки с друзьями» со стороны Никитенко не ограничилось. Последний выпад Никитенко против гоголевской книги связан с его деятельностью на посту нового редактора журнала «Современник». Сразу после того как журнал был передан Плетневым Никитенко (помимо редактора в программе обновленного журнала издателями были заявлены Н. А. Некрасов и И. И. Панаев, в списке сотрудников первым значился В. Г. Белинский), в первом томе «Современника», вышедшего в 1847 году под новой редакцией, явилась статья Белинского с резко отрицательным отзывом о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Однако и в этом случае Никитенко остался верен себе. Как свидетельство лояльности новой редакции в том же томе журнала была напечатана давняя работа С. С. Уварова «Опыт об Элевзинских таинствах», выходившая ранее на французском языке двумя отдельными изданиями (СПб., 1812; Париж, 1816).

Ф. В. Чижов 16 октября 1847 года писал Гоголю о «Современнике», «перешедшем от Плетнева к Панаеву, Никитенке и Белинскому»: «Судя по именам этих трех главных распорядителей, мне кажется, что Петр Александрович сильно погрешил, передав журнал Пушкина людям, далеким от убеждений покойного нашего поэта». Н. М. Языков в письме к Гоголю от 27 октября 1846 года также сообщал: «“Современник” купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же, следственно, с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием щелкоперов» (щелкопёр — писец, бумагомарака, газетный писака). 29 октября 1846 года С. П. Шевырев писал П. А. Плетневу: «Известие о том, что Вы передаете Современник в руки Никитенко, скажу Вам искренно, меня очень огорчило» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 959; подробнее о передаче П. А. Плетневым А. В. Никитенко журнала «Современник», а также об отношении Плетнева к Гоголю в первой половине 1840-х годах см.: *Виноградов И. А.* Первый биограф Гоголя // *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. М., 2003. С. 8–13).

«Опыт об Элевзинских таинствах» Уварова был опубликован в «Современнике» с похвальным предисловием от редакции, однако еще в 1820 году известный ученый митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) писал об этой работе Уварова: «Уварову и я гадаю не устоять на своем месте (в то время Уваров занимал пост попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. — *И. В.*); да он его и не стоит, ибо ученый только шарлатан, известный Елевзинскими таинствами» (письмо к В. Г. Анастасевичу от 3 сентября 1820 года; Псковские письма митрополита Евгения Болховитинова к петербургскому библиографу и археологу В. Г. Анастасевичу. 1820-й год

// Русский Архив. 1889. № 7. С. 268). Критическая оценка митрополитом Евгением работы Уварова была небезосновательна. Статья Уварова построена в основном на догадках, призванных прояснить «эсотерическую часть политеизма», проникнуть в тайны «древней мистагогии». При этом гадательными предположениями Уваров брался оспаривать свидетельства Свв. Отцов о том, что «человеческое происхождение богов было один из тайных предметов преподавания в мистериях».

В 1849 году Уваров, возведенный незадолго до этого, в 1846 году, в графское достоинство, был снят Императором Николаем I с должности министра народного просвещения. По словам барона М. А. Корфа, «министр утратил прежнее к нему доверие Государя» (Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская Старина. 1900. № 3. С. 573). Одной из главных причин отставки явились именно «упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства народного просвещения» (согласно строкам писем графа А. Ф. Орлова к М. А. Корфу и к С. С. Уварову от 27 февраля 1847 года; Там же. С. 572; см. также: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1895. Т. 9. С. 281).

Очевидно, что условия для прохождения в петербургской цензуре книги Гоголя складывались в те годы не самые благоприятные. Характерно, что подобно Никитенко эволюционировал со временем в сторону радикальной партии еще один из ближайших сотрудников Уварова, бывший помощник редактора «Журнала Министерства Народного Просвещения» А. А. Краевский, превратившийся в издателя либерально-западнических «Отечественных Записок». В. А. Жуковский 1 августа (н. ст.) 1844 года сообщал Гоголю: «Гр<афиня> Вьельгорская привезла для вас несколько книг "Христианского Чтения" и несколько № бесовского, то есть «Отечественных Записок»». 2 апреля 1848 года сам Император Николай I «на *Отечественные Записки* и *Современник,* замеченные особенно в помещении статей и выражений сомнительного духа», распорядился «обратить самое строгое внимание цензуры» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 9. С. 289). В ответ на это предупреждение А. А. Краевский опубликовал в № 7 «Отечественных Записок» статью «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», в которой вразрез с прежним направлением журнала представил, как собственные взгляды М. П. Погодина, излагавшиеся ранее в «Москвитянине» (Там же. С. 290–302). В 1849 году друг Гоголя О. М. Бодянский со своей стороны характеризовал «Отечественные Записки» и «Современник» как «самые неблагонамеренные русские журналы» (дневниковая запись от 21 декабря; *Павловский И. Ф.* Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849—1850 гг. // Русская Старина. 1888. № 11. С. 401–402).

Несомненно, насчет Никитенко заблуждались не только Уваров, Плетнев, Шевырев и др., но и сам Гоголь. Об этом, в частности, свидетельствует его письмо к Плетневу от 16 октября (н. ст.)

1846 года. Отвечая на упреки Плетнева, Гоголь писал: «Скорбно мне слышать происшедшие неустройства от медленности Никитенки. Но чем же виноват я, добрый друг мой? Я выбрал его потому, что знал его все-таки за лучшего из других, и притом, видя его имя, выставляемое у тебя на "Современнике", я думал, что ты с ним в сношеньях теснейших, чем с другими цензорами. Никитенко ленив, даже до невероятности, это я знал, но у него добрая душа, и на него особенно следует наседать лично». «На него нужно серьезно насесть, — повторял Гоголь в письме к П. А. Плетневу от 20 октября (н. ст.) 1846 года, — и на все приводимые им причины отвечать одними и теми же словами: "Послушайте, все это, что вы говорите, так и могло бы иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления расстраивает совершенно обстоятельства автора книги. Вы — человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же Церковью и нашим Правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам Государь же и Двор станет в защиту ее. Переглядите и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть в книге противуречие. Стыдно вам и колебаться этим, подписуйте твердо и теперь же листки, потому что типография ждет..."»

Вышедшую «Переписку с друзьями» Гоголь в письме к П. А. Плетневу от 11 февраля (н. ст.) 1847 года называл «обгрызенным Никитенкой оглодком». А спустя еще несколько дней, 22 февраля (н. ст.), писал А. О. Смирновой: «Все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко, с Божьею помощью, и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами матери зарезали ее любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который до того благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости. Но я этому не верю: человек этот не глуп. Тут есть что-то, покуда для меня непонятное».

Напомним, что А. В. Никитенко был цензором первого тома «Мертвых душ». 1 апреля 1842 года он писал Гоголю: «М<илостивый> Г<осударь> Николай Васильевич! вы, вероятно, уже получили рукопись вашу "Мертвые души"... Сочинение это, как вы видите, прошло цензуру благополучно; путь ее узок и тесен и потому не удивительно, что на нем осталось несколько царапин и его нежная и роскошная кожа кой-где поистерлась». Кроме этого, Никитенко цензурировал гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», опубликованную впервые в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» (СПб., 1834). В этой

повести Никитенко сделал ряд сокращений, которыми Гоголь был недоволен (автограф повести не сохранился). Тот же Никитенко был цензором «главы из романа» «Кровавый бандурист», которая 27 февраля 1834 года по его представлению была запрещена. (Когда год спустя отрывок из «Кровавого бандуриста» под названием «Пленник» был напечатан во второй части «Арабесок» (СПб., 1835; цензор В. Н. Семенов), Гоголь подарил Никитенко именно эту часть сборника с надписью: «Земляку и сослуживцу Александру Васильевичу Никитенко от искренне почитающего его Гоголя»; *Пухначев В.* Драгоценные книги // Огонек. 1952. 26 февр.) Никитенко был также цензором первого прижизненного собрания сочинений Гоголя в четырех томах (СПб., 1842) и «Рязвязки Ревизора» (от публикации последней Гоголь отказался). Незадолго до выхода в свет собрания П. А. Плетнев, 14 ноября 1842 года, писал Я. К. Гроту: «Пришел ко мне Никитенко и показал письмо из Рима от Гоголя <от 30 октября (н. ст.) 1842 года>, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его сочинения. Я краснел за унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы...» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. С. 640).

О том, насколько чувствителен оказался удар, нанесенный Гоголю и его книге цензурным произволом Никитенко, говорит и тот факт, что исключенные цензором письма были опубликованы лишь спустя несколько лет после кончины Гоголя: XXI письмо — в 1860 году в газете «Современность и Экономический Листок» (№ 1); XXVI — в 1866 году в «Русском Архиве» П. И. Бартенева; XIX, XX и XXVIII — в 1867 году в третьем томе Полного собрания сочинений Гоголя («Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора». М., 1867; подготовлено Ф. В. Чижовым). Все попытки опубликовать эти письма ранее оказывались тщетными.

Еще в 1852 году С. П. Шевырев обратился с просьбой к родным Гоголя переписать для обнародования не пропущенные цензурой статьи и отрывки «Выбранных мест из переписки с друзьями». В сентябре 1852 года сестра Гоголя Анна Васильевна отвечала Шевыреву: «Не могу исполнить желания вашего переписать непропущенные места из переписки с друзьями, потому что этой тетради не оказалось у маменьки; если у вас ее нет, то не взял ли ее Николай <Трушковский>» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 6). Спустя некоторое время А. В. Гоголь вновь извещала Шевырева: «Тетрадка Выбран<ные> места из пер<еписки> с друз<ьями> отыскалась у маменьки, и я начала переписывать цельные письма, <не>пропущенные цензурой, очень длинные, и потому не надеюсь скоро их окончить...» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 7). Однако когда 24 сентября 1854 года С. П. Шевырев предложил в согласии с волей Гоголя, высказанной незадолго до смерти, издать «Выбранные места из переписки с друзьями» в качестве пятого тома собрания сочинений (см.: Центральный исторический архив Москвы (далее — *ЦИАМ*). Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 11–13), то цензор И. И. Бессомыкин (уже в следующем, 1856 году)

не решился под свою ответственность допустить к печати «Выбранные места из переписки с друзьями» даже в подцензурной редакции 1847 года, не говоря уже о «Дополнениях к Переписке с друзьями, соч. Гоголя», составленных по автографам С. П. Шевыревым, предоставив решение этого вопроса на усмотрение высшего начальства — министра народного просвещения А. С. Норова (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 365. Л. 88 об. — 89; *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 366. Л. 48 об.).

Тогдашний помощник А. С. Норова по министерству, друг Гоголя князь П. А. Вяземский, высказывая в официальном отношении от 12 января 1856 года мнение о возможности переиздания «Выбранных мест...» в редакции 1847 года, сам предложил рассмотреть тогда же запрещенные ранее Никитенко письма: «Полагаю, что места, отмеченные московскою ценсурою в книге: Выбранные места из переписки Гоголя, могут и должны быть, без малейшего сомнения, разрешены к перепечатанию. Более того, желательно было бы представить вновь к рассмотрению и письма (19-е, 20-е и 21-е, 26–28-ое), вовсе из помянутой книги исключенные ценсурою прежних годов. Не помню в подробности содержание этих писем, но, судя по общему духу книги, духу высоконравственному и чисто религиозному и православному, нельзя не предполагать, что эти письма могут быть с пользой допущены к напечатанию» (Литературный музеум. <1922>. Кн. 1. С. 142; *РНБ.* Ф. 831. Ед. хр. 4. Л. 51 об. — 52).

30 января 1856 года И. И. Бессомыкин представил в Московский цензурный комитет донесение, где сообщал: «Рассмотрев, по поручению Комитета, рукопись: “Дополнения к переписке с друзьями”, соч. Гоголя, я встретил затруднения к одобрению этих дополнений, по изложенным, во многих местах, мыслям о современном положении дел внутри России, особливо в первом письме (глава XXVI), под заглавием “*Страхи и ужасы России*”. Места и отдельно взятые выражения, которые представляют затруднения к одобрению, отмечены карандашом на страницах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44 и 47. Так как сочинения Гоголя и прежде представляемы были от Комитета Главному управлению ценсуры, куда недавно препровождены и “Избранные места из переписки с друзьями”, соч. Гоголя, то и ныне честь имею представить при сем вышеназванную рукопись на благоусмотрение Комитета» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 369. Л. 37). 7 февраля 1856 года это представление И. И. Бессомыкина было отправлено в Петербург (см.: Литературный музеум. <1922>. Кн. 1. С. 146). А. С. Норов поручил решение вопроса князю П. А. Вяземскому. 24 февраля 1856 года П. А. Плетнев извещал Н. П. Трушковского из Петербурга: «Спешу уведомить Вас, милый мой Николай Павлович, что рукопись, заключающая в себе дополнение к переписке Н. В. Гоголя, присланная из Московского Цензурного Комитета в Главное Управление Цензуры, теперь находится у князя П. А. Вяземского. Сегодня он читал из нее со мною

несколько писем. Хоть мы и не нашли в прочитанном иного, подлежащего запрещению, все же на некоторых выражениях должны были остановиться. Князь поручил мне написать к Вам, что всего будет лучше, если бы Вы согласились приехать сюда на неделю сами. Мы трое прочитали бы вместе и по общему соглашению определили бы, как поступить в таких местах, которые явно требуют некоторого исправления» (цит. по копии В. И. Шенрока из собрания журнала «Русская Старина»: *ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 38).

Н. П. Трушковский в Петербург для рассмотрения статей Гоголя не приехал. Потому вследствие отзыва Вяземского переиздание «Выбранных мест...» в прежней редакции было разрешено (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 366. Л. 56; см. также: Литературный музеум. <1922>. Кн. 1. С. 141–145), а публикация «Дополнений...» — отклонена. 12 ноября 1856 года в Московском цензурном комитете было получено из Петербурга отношение министерской канцелярии от 3 ноября 1856 года, где сообщалось: «Канцелярия Министра Народного Просвещения, по приказанию Г. Управлявшего Министерством Народного Просвещения, Товарища Министра <князя П. А. Вяземского>, имеет честь уведомить Московский Ценсурный Комитет, на представление оного Г. Министру Народного Просвещения от 7 февраля сего года за № 51, что рукопись: *Дополнение к переписке с друзьями, соч. Гоголя*, отдана Действительному Статскому Советнику Шевыреву для исправления вместе с издателем <Н. П. Трушковским> некоторых мест в оной, по сделанным Г. Товарищем Министра замечаниям» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 373. Л. 37). 16 ноября 1856 года это отношение было заслушано на заседании Московского цензурного комитета, после чего членами комитета П. В. Зиновьевым, И. И. Бессомыкиным, В. В. Флеровым, Н. В. Фон-Крузе и Н. П. Гиляровым-Платоновым вынесено определение: «принять к сведению» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 368. Л. 26). В печати подготовленная Шевыревым рукопись так и не появилась. Вследствие негативной атмосферы, созданной вокруг гоголевского наследия «зальцбруннским» письмом Белинского, сочинения Гоголя во избежание осложнений предпочитали издавать тогда «без перемен».

* * *

В 1852 году Никитенко, узнав о смерти Гоголя, хладнокровно записал в дневнике: «Очевидно, Гоголь находился под влиянием мистического расстройства духа, внушившего ему несколько лет тому назад его “Письма”, наделавшие столько шуму» (запись от 24 февраля; *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 346).

Как известно, мнения о том, что Гоголем овладела «religiosa mania», придерживался и атеист Белинский. Неудивительно, что гоголевские статьи, посвященные собственно церковным вопросам, тоже не нашли понимания у Никитенко. Как свидетельствуют материалы цензурных дел, хранящихся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, цензор, помимо прочего,

был также противником публикации в «Выбранных местах из переписки с друзьями» двух статей Гоголя о Церкви и духовенстве — «VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «IX. О том же». Оба этих письма были адресованы Гоголем графу Александру Петровичу Толстому, постоянному собеседнику писателя по конфессиональным вопросам (впоследствии, в 1856–1862 годах, граф А. П. Толстой стал обер-прокурором Святейшего Синода).

Из-за противодействия Никитенко письма Гоголя о Церкви были отправлены в духовную цензуру, где и были запрещены. Одновременно по поводу этих писем в обществе распространялись соответствующие слухи. В. С. Аксакова 27 декабря 1846 года писала к М. Г. Карташевской из Москвы: «Об Гоголе слухи все не лучше. Говорят, что он еще хочет издать книгу об русском духовенстве, не знаю, правда ли» (*РГБ*. Ф. 3 (ГАИС III). К. 15. Ед. хр. 9–10. Л. 15).

Поступок Никитенко, по сути, спровоцировал запрещение двух этих гоголевских писем, хотя впоследствии благодаря ходатайству П. А. Плетнева и вмешательству тогдашнего обер-прокурора Синода графа Н. А. Протасова письма были разрешены с цензурными сокращениями (при этом текст указанных писем набирался в типографии уже не с гоголевских автографов, но со сделанных после цензурных изъятий копий).

На отсутствие в цензурной рукописи «Выбранных мест...», хранящейся в Российской государственной библиотеке, автографов двух статей Гоголя о Церкви и духовенстве указывал в 1939 году Г. П. Георгиевский в оставшейся неопубликованной статье «Еще автограф Гоголя». «Только из автографа Гоголя, — писал Георгиевский, — стало ясным, что со второй тетрадью и в частности со статьей о духовенстве дела осложнились настолько, что первые два листа второй тетради, писанные рукой Гоголя, были удалены из тетради и заменены двумя же листами, переписанными рукой Плетнева. Очевидно, изменения в статье были значительны и серьезны, так что листы пришлось перебелить заново» (*Георгиевский Г. П.* Еще автограф Гоголя // *РГБ*. Ф. 217. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 5). В свою очередь, комментаторы академического издания сочинений Гоголя 1937—1952 годов, упомянув об отсутствии в рукописи «Выбранных мест...» указанных автографов, о местонахождении их сообщить ничего не смогли (см.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.>, 1952. Т. 8. С. 782).

Между тем фрагмент автографа статьи «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» был опубликован еще в 1909 году А. Н. Котовичем (см.: *Котович Ал.* Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). СПб., 1909. С. 530–531). В последнее время автографы статей «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же» (в полном объеме, с привлечением отдельных черновых вариантов рукописи) напечатаны: *Виноградов И. А.* Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя // Мир библиографии. 2002. № 5. С. 20–26. Полностью, с началом статьи «О лиризме наших поэтов»,

эти автографы опубликованы: *Виноградов И. А.* Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К истории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов / Петрозаводский гос. ун-т. Материалы IV Международной конференции. Июнь 2002 г. Вып. 4. Петрозаводск, 2005. С. 219–245. Позднейшая перепечатка — без ссылки на публикации 2002 и 2005 гг. — представлена в изд.: Неопубликованные страницы «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя / Подг. текста Ю. Балакшиной, С. Шведовой; вступ. ст. Ю. Балакшиной // Вопросы литературы. 2005. Ноябрь–декабрь. С. 204–213.

Неприязненное отношение Никитенко к статьям Гоголя о Церкви и духовенстве едва не стало причиной их запрещения. Плетнев, который был противником отправления писем Гоголя в духовную цензуру, 14 сентября 1846 года писал Никитенко: «Вот вам, Александр Васильевич, и 3-ья тетрадка Гоголя. Он меня беспрестанно торопит печатанием. Пожалуйста, возвратите мне 2-ую. Вы не должны ничем стесняться. Тут для всех нас один судия — ваша совесть. Примирите дело ее приговором — и вас все мы обнимем. Кроме посылаемой будет еще тетрадки две — и конец делу. И эту не задержите» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 164).

Однако Никитенко смотрел на дело иначе. Спустя полмесяца, 2 октября 1846 года, Плетнев извещал Грота: «В понедельник <30 сентября> корректура Гоголевских “Писем”. О Русской Церкви и духовенстве письма, не пропущенные Никитенкою, я отправил к духовному цензору» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 834).

Цензором книги стал протоиерей Тимофей Ферапонтович Никольский (1788—1848), настоятель Казанского собора в Петербурге (с марта 1846 года), магистр богословия, член Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры (с 1842 года), духовный писатель. О том, чем закончилась эта история, Плетнев вкратце рассказал в письме к Шевыреву от 1 ноября 1846 года: «Печатание Писем Гоголя встречает препятствия на каждом шагу. Никитенко по месяцу держит небольшие их тетрадки, высылаемые Гоголем постепенно. В первой тетради (следует: во второй. — *И. В.*) было два письма о Церкви нашей и духовенстве. Цензор духовный на них надписал: *нельзя пропустить, ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны.* Я принужден был обратиться к Графу Протасову, который предложил Синоду решить это дело. Синод, за исключением нескольких фраз, все пропустил» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 441. Л. 20; опубл.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 164).

Следует заметить, что, по-видимому, работа любого цензора так или иначе не свободна от ошибок. Так, в 1845 году о. Тимофеем Никольским не был одобрен к печати «Месяцеслов Православно-Кафолической Восточной Церкви» протоиерея Дмитрия

Степановича Вершинского (см.: *Котович Ал.* Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). С. 410). Это главное сочинение близкого знакомого Гоголя, настоятеля русской посольской церкви в Париже о. Дмитрия Вершинского, вышло в свет лишь в 1856 году. С другой стороны, взгляды самого о. Тимофея Никольского как духовного писателя в свое время были поставлены под сомнение. Подготовленная им в 1827 году для второго издания книга «О молитве за умерших» (СПб., 1825, 1837, 1847, 1866) была запрещена как «сочинение не совсем православное». Критические замечания на книгу о. Тимофея высказал тогда преосвященный Филарет (Амфитеатров), в ту пору архиепископ Казанский (позднее митрополит Киевский и Галицкий). В числе других замечаний владыка отметил ссылки о. Тимофея на книги неправославных авторов, а именно на толкование Библии Я. Менохия (Menochius) («Мнение Менохия может быть неосновательно, а в книге, издаваемой для православных, несовместно»), а также на популярное в масонских кругах произведение немецкого мистика И. Г. Юнга-Штиллинга «Угроз Световостоков». «Какая это книга? — вопрошал владыка Филарет. — Принята ли она Православною Церковью? И даже известна ли ей?.. Св. Климента ставить наряду с Штиллингом не следует. Ничего не может быть вреднее и опаснее для чистоты православного учения веры, как таковое уродливое смешение» (цит. по: <*Горчаков М. И., иерей, Никольский П. Т.*> Александр Тимофеевич Никольский (1821—1876), приходской священник Входоиерусалимской (Знаменской) церкви в С.-Петербурге. Очерк жизни и деятельности. СПб., 1878. С. 349–350, 355).

Материалы цензурного дела позволяют более подробно проследить историю прохождения в цензуре статей Гоголя о Церкви и духовенстве.

Поскольку в разрешенных Синодом к печатанию гоголевских статьях несколько строк были исключены, то, согласно существовавшим положениям, первоначальный текст этих писем (а это оказался автограф Гоголя) был удержан при делах синодальной канцелярии. Директор канцелярии К. С. Сербинович 20 октября 1846 года извещал П. А. Плетнева: «Подлинник обоих писем оставлен в Св. Синоде при деле» (Российский государственный исторический архив (далее — *РГИА*). Ф. 797. Канцелярия Обер-Прокурора. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 12, первоначальная редакция письма; Л. 5, окончательная редакция письма).

Ныне папка с гоголевскими письмами хранится в Российском государственном историческом архиве в Петербурге (Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 7–8). Автографы статей Гоголя «VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве», «IX. О том же», а также начала статьи «X. О лиризме наших поэтов» (до слов: «верховное торжество») написаны на двух листах (или четырех страницах) голубоватой почтовой бумаги (размером 22,3×14,1) с авторской пагинацией: 21–24. Это именно те тексты, которые по решению Синода заменил

в рукописи «Выбранных мест...» П. А. Плетнев (последний отрывок — из статьи «О лиризме наших поэтов» — был переписан Плетневым по другой причине: этот текст занимает оборот листа, на лицевой стороне которого находится статья «О том же»). Листы новонайденного автографа представляют собой начало второй тетради, высланной Гоголем Плетневу в Петербург из Остенде 25 августа (н. ст.) 1846 года. Тетрадь включала в себя статьи VIII–XIV. Авторская пагинация страниц, размер и качество бумаги публикуемого автографа точно соответствуют цензурной рукописи «Выбранных мест из переписки с друзьями», хранящейся в Москве (продолжение второй тетради «Выбранных мест...» см.: *РГБ*. Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 2. С. 25; авторская пагинация). Статьи о Церкви и духовенстве датированы самим Гоголем в рукописи 1845 годом (в цензурном списке этих статей, сделанном Плетневым, а также в печатном издании «Выбранных мест...» 1847 года указанные даты отсутствуют).

В автографе статей поверх заголовков «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же» рукой А. В. Никитенко красными чернилами дважды надписано: «Нельзя без разрешения». Поперек текста (вдоль листа) на первой странице автографа рукой духовного цензора написано: «Не может быть напечатана…», а на следующей странице продолжено: «…потому что понятия о Церкви Рус<с>кой и Духовенстве конфузны. Цензор Протоиерей Тимофей Никольский. Окт<ября> $1^{го}$ 1846 года» (л. 7–7 об., или с. 21–22 авторской пагинации). На л. 8 имеется аналогичная надпись: «Не может быть напечатано. Цензор…», на обороте листа продолжено: «…протоиерей Тимофей Никольский» (л. 8–8 об. или с. 23–24).

1 октября 1846 года П. А. Плетнев, получив от протоиерея Тимофея Никольского автограф с запрещенными статьями Гоголя о Церкви и духовенстве, обратился к обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову с просьбой пересмотреть дело: «Милостивый Государь Граф Николай Александрович! В. А. Жуковский поручил мне печатание нового сочинения Гоголя, под названием: *Выбор из переписки с друзьями*. В числе писем найдены мною два (VIII и IX): *О нашей Церкви* и *духовенстве*. Я испрашивал разрешения Духовного Ценсора на позволение напечатать их; но он на то не согласился. Между тем, по моему понятию, образ суждений Гоголя таков, что надобно желать распространения подобных идей. Это обстоятельство дало мне смелость беспокоить Ваше Сиятельство покорнейшею просьбою: не удостоите ли Вы пробежать прилагаемые здесь вышеупомянутые два письма — и ежели я буду так счастлив, что мнение Ваше будет согласно с моим, то не окажете ли Вы содействия Вашего к пропуску их в печать. Во всяком случае я смею надеяться, что Ваше Сиятельство, по благосклонности Вашей, почтите меня уведомлением и обратною присылкою писем, которых начало уже набрано в Типографии» (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 1).

Письмо Плетнева было получено Протасовым 2 октября 1846 года. Ознакомившись с доставленными письмами Гоголя, Протасов спустя две недели, 16 октября, обратился от своего имени в Святейший Синод со следующим предложением (на печатном бланке):

«ВЕДОМСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИСПОВЕДАНИЯ.
КАНЦЕЛЯРИЯ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА

*Отделение 1. Стол 2. Санкт-Петербург*
*Октября 16 дня 1846. № 7758*

Святейшему Правительствующему Синоду.

Предложение.

Ректор Императорского С. Петербургского Университета Действительный Статский Советник Плетнев в письме ко мне изъясняет, что при печатании им ныне, по поручению В. А Жуковского, нового сочинения Гоголя под названием: *Выбор из переписки с друзьями*, он не получил согласия Духовного Ценсора на издание двух из числа сих писем (VIII и IX): О нашей Церкви и духовенстве, но, находя, с своей стороны, что по образу суждения Гоголя надобно желать распространения подобных идей, Г. Плетнев просит об исходатайствовании разрешения на издание сих писем, с возвращением оных. Имею честь предложить о сем Святейшему Синоду, прилагая означенные письма.

Обер-Прокурор Граф Протасов. Директор Сербинович» (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 2; копия этого предложения, на таком же печатном бланке, сохранилась в деле Канцелярии Синода: *РГИА*. Ф. 796. Оп. 127. Ед. хр. 1631. Л. 1).

В тот же день, 16 октября, состоялось слушание в Синоде предложения обер-прокурора. В протоколе заседания были отмечены те места в автографе Гоголя, которые подлежали сокращению (этому сокращению подверглась только первая из статей): «1846 года Октября 16 дня, по указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали предложение Г. Обер-Прокурора Св. Синода, о пропуске к напечатанию писем Г. Гоголя под названием: несколько слов о нашей Церкви и духовенстве. — ПРИКАЗАЛИ: Св. Синод, по рассмотрении означенных писем, определяет: поручить С. Петербургскому Комитету Д<уховной> Цензуры дать от себя разрешение на напечатание оных с нижеследующими в них изменениями, указанными в особо снятой и скрепленной в Канцелярии Св. Синода копии тех писем, именно: лист 1, строки 16, 17 и 18, и на обороте того же листа стр<ока> $1^{а}$, слова: *“запрещая споры”* — и так далее до слов *“излишне беспокоиться”* — исключить; л. 1 об., стр<оки> 2, 3, вместо *“такое дело”* поставить *“ее”* и вместо *“его”* поставить *“ее”*; л. 2, стр<ока> 5, вместо *“мертвый труп”* — поставить *“безжизненна”*; л. 2, стр<оки> 15, 16, 17, слова: *“в сравнении”* и т. д. до слов *“ваше”* исключить; и л. 2, стр<оки> 19, 20, 21, 22, 23, и на обороте того же листа строки 1, 2, 3, 4 и 5, слова: *«внутри его»* и т. д.

до слова «*ищем*» исключить. О чем и послать в Цензурный Комитет указ, с приложением помянутой копии, для надлежащего распоряжения, с тем, чтобы по скрепе в Комитете всех указанных на оной изменений, сделана была на копии разрешительная от имени Комитета надпись о печатании, а затем рукопись сия была бы выдана кому следует: уведомить же о сем Г. Плетнева — предоставить распоряжению Его Сиятельства, Г. Обер-Прокурора Св. Синода передав для сего в Канцелярию Его Сиятельства копию с сего определения.

Подлинное подписали: 18 Октября 1846 г. Антоний, митрополит Новгородский и С. Петербургский; Венедикт, Архиеп<ископ> Олонецкий; Илиодор, Архиеп<ископ> Курский, Гедеон, Архиеп<ископ> Полтавский; Обер Священник В. Кутневич; Обер Секретарь И. Бейер; Протоколист <подпись нрзб.>. Исполнено 20 Октября 1846 года» (*РГИА*. Ф. 796. Оп. 127. Ед. хр. 1631. Л. 2).

На основании решения Святейшего Синода в Санкт-Петербургский комитет духовной цензуры были отданы соответствующие распоряжения. Эти бумаги с пометой «Весьма нужное» были получены Комитетом 18 октября 1846 года (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 4, черновая редакция письма о необходимости последующего возврата в Канцелярию обер-прокурора автографов Гоголя; *РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1072. Л. 20, окончательная редакция указанного письма, на печатном бланке).

Спустя два дня туда же был отправлен специальный «Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода», где опять перечислялись те места в рукописи Гоголя, которые подлежали сокращению (*РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1072. Л. 19, 24).

По получении указа 20 октября 1846 года Комитетом духовной цензуры было вынесено определение, согласно которому дальнейшая подготовка к печати статей Гоголя была поручена тому же цензору, который тремя неделями ранее запретил статьи к публикации, — протоиерею Тимофею Никольскому: «Определено: Так как в рукописи сей уже сделаны Святейшим Синодом нужные изменения и исправления, то поручить рассматривавшему предварительно сию рукопись Члену Комитета Протоиерею Никольскому скрепить оную по листам и, дав разрешительную от имени Комитета надпись о напечатании, препроводить затем оную в Канцелярию Г. Обер-Прокурора Святейшего Синода, согласно отношению оной от 18 октября № 7838» (Там же. Л. 24 об.).

Оформление бумаг было закончено к 23 октября 1846 года. В этот день автографы Гоголя были возвращены в Канцелярию обер-прокурора Синода с сопроводительным письмом, подписанным членами Комитета духовной цензуры архимандритом Макарием (Булгаковым, 1816—1882; впоследствии митрополит Московский и Коломенский) и протоиереем Тимофеем Никольским (Там же. Л. 21, черновая редакция письма; *РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414.

Л. 6, окончательная редакция письма). Тогда же, 23 октября, разрешение Комитета духовной цензуры о напечатании статей Гоголя о Церкви и духовенстве было отправлено К. С. Сербиновичем П. А. Плетневу при сопроводительном письме: «Милостивый Государь, Петр Александрович. В дополнение к письму моему от 20 сего Октября имею честь препроводить при сем два письма Г. Гоголя о Православной Церкви и духовенстве с сделанною на оных от С. Петербургского Духовно-Цензурного Комитета разрешительною надписью о печатании» (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 9). (Ранее, в письме от 20 октября 1846 года, К. С. Сербинович по поручению графа Н. А. Протасова сообщал П. А. Плетневу о том, что «печатание представленных... двух писем Г. Гоголя разрешено (с исключением нескольких строк в первом письме)»; *РГИА*. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 12, первоначальная редакция письма; Л. 5, окончательная редакция письма.)

Таким образом, статьи Гоголя о Церкви и духовенстве Плетневу в итоге удалось отстоять. С выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями» читатель мог услышать подлинный голос Гоголя, православного мыслителя и художника, не искаженный в интерпретациях Белинского и его последователей. 27 ноября 1846 года Плетнев с воодушевлением писал Я. К. Гроту: «Начнем-ка, помолясь Богу, мы с тобой литературу новую, — живую, насущно необходимую, истинную, по образу и подобию той, что я усматриваю в письмах Гоголя... Гоголь — трепетный жилец, вопиющий не о законах изящества, а о том, что благо, душеспасительно и неизбежно, да вопиющий не оратором, а как велел Христос поучать земнородных. Да, я чувствую, что с этой книги в Европе станут вести летосчисление появления в мире русской литературы. До сих пор мы бродили около жизни, а он в нее врезался... Тут до всего доходит речь, начиная с Церкви до расходной по хозяйству книги, тут все взято не свысока, а как оно есть перед глазами» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 860). «Вчера совершено великое дело, — писал Плетнев самому Гоголю 1 января 1847 года, — книга твоих писем пущена в свет... она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет».

## 3

## «Размышления о Божественной Литургии»: творческая и цензурная история

Одной из важных проблем, связанных с изучением книги Гоголя о Божественной Литургии, является вопрос о воцерковленности писателя, об участии его в Таинствах Православной Церкви,

посещении церковных богослужений. Вопрос этот в должной мере в исследовательской литературе не освещен. Между тем в уяснении религиозности Гоголя и в изучении мотивов создания им книги о Литургии эта сторона личности писателя имеет первостепенное значение.

По свидетельству биографов Гоголя, в родной семье писателя царила атмосфера глубокого христианского благочестия. Этому много способствовали бабушка Гоголя Татьяна Семеновна и его мать Мария Ивановна. П. А. Кулиш в сентябре 1854 года писал П. А. Плетневу о матери Гоголя: «В черном платье, в белом чепце, без украшений и с живыми... чертами лица, она была похожа на игуменью монастыря» (*ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. № 56. Л. 93). Помимо хождений по монастырям и святым местам, вплоть до Киева, которые традиционно совершались в семье Гоголей, помимо непосредственного знакомства будущего писателя с аскетическими писаниями Св. Отцов (в частности, чтения им уже в 1820-х годах знаменитой «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского) примеры аскетического делания Гоголь мог видеть непосредственно среди родных и близких. На всей семье лежала печать монастырского смирения и послушания. Атмосфера веры и христианского благочестия была присуща как старшим, так и младшим ее членам. В. А. Чаговец, побывавший в преддверии пятидесятилетия со дня смерти писателя в семье Гоголей и ознакомившийся с их фамильным архивом, свидетельствовал: «Не говоря о том, что посещение церковных служб вменялось в обязанность всем, в семье Гоголя особенно любили посещать, по возможности пешком, святые места, монастыри, как, например, в Диканьке, Будищах, Лубнах и т. п. В Васильевке долгое время находился большой, обитый железом сундук с проделанным в крышке отверстием, чрез которое бабушка <Татьяна Семеновна, рожд. Лизогуб> часто опускала деньги, предназначенные на устройство храма... На столе у них постоянно лежало Евангелие, а любимым чтением матери, бабушки, а потом и Ол<ьги> Вас<ильевны> были Четьи-Минеи, в старинных кожаных переплетах» (*Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Киев, 1902 <издание вышло в 1903>. Отд. 3. С. 36–37). «Религиозность, впадающая иногда в мистицизм, — отмечал В. А. Чаговец, — есть одна из фамильных черт Гоголей и ведет свое начало из рода Лизогубов» (Там же. С. 24). О характере же постоянного влияния на Гоголя его матери можно судить, в частности, из ее письма к близкому родственнику А. А. Трощинскому от 23 ноября 1830 года: «Я вас покорнейше прошу... если вы удостоите иногда ответами Николая... продолжать строгие ваши ему поучения... а я, с своей стороны, буду продолжать ему свои морали; и тогда, с помощию Божию, можно ожидать, что он будет истинный христианин и добрый гражданин» (<*Ореус И. И.*> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. С. 676–677).

Как вспоминал позднее один из школьных приятелей Гоголя, В. И. Любич-Романович, религиозность и склонность к монашеской

жизни были заметны в Гоголе «еще с детского возраста, когда он воспитывался у себя на родном хуторе в Миргородском уезде и был окружен людьми богобоязливыми и вполне религиозными...». Впоследствии писатель «готов был заменить свою светскую жизнь монастырем» — тогда он лишь вернулся к этому «первоначальному» своему настроению. «Все это так было понятно для нас, знавших Гоголя со школьной скамейки, но непонятно для тех, кто его знает только по отзывам историков», — добавлял Любич-Романович (*Глебов С.* Воспоминания о Гоголе // Русская Старина. 1910. № 1. С. 73–74).

«Человек со временем будет тем, чем смолоду был», — замечал в конце жизни в разговоре с друзьями сам Гоголь (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 545). По словам В. А. Чаговца, «религиозно-мистическое настроение часто даже склонялось в сторону аскетизма, выражавшегося в изнурительном посте... в продолжительном стоянии на молитве...». Одна из сестер Гоголя, Ольга Васильевна, намеревавшаяся одно время с одобрения брата уйти в монастырь (<*Быкова А. В.*> *В.* Нечто о Гоголе // Новое Время. 1901. 29 сент. № 9185. С. 3; Воспоминания о Гоголе *А. В. Быковой* // Лит. Вестник. 1902. № 1. С. 133), говорила о себе, что она «часто молилась до потери сознания, до полного изнурения, и даже от продолжительного стояния на холодном полу у нее стала замечаться опухоль ног» (*Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 37). В 1895 году, вспоминая о своей жизни в Васильевке в 1840-х годах, Ольга Васильевна писала: «В то время многие ездили на богомолье; потом и я сделалась богомольная, строго наблюдала посты... постоянно в церковь ходила: ни одну обедню, вечерню и утреню не пропускала и все читала Священное Писание. Знакомые доставляли мне громадные старинные книги в кожаном переплете пол-аршина длины и два вершка толщины под названием Четьи Минеи. Бывало, читаем до дурноты, но все-таки четыре таких книги прочла. У нас в саду был гротик, и я там повесила образ и лампаду, каждый вечер ходила туда, зажигала лампадку и молилась не своим чувством, а по молитвенникам. В гротике было сыро, и я ходила туда до тех пор, пока не сделалась у меня на ноге рожа, и больше месяца пролежала с ногой. Бывало, каждое утро и вечер стояла на молитве по часу, по два» (Из семейной хроники Гоголей (Мемуары *О. В. Гоголь-Головни*). Ред. и примеч. В. А. Чаговца. Киев, 1909. С. 27–28).

Гоголь, умея быть строгим к себе, с заботой и любовью относился к окружающим и старался смягчить порой, как ему казалось, неумеренную ревность. Мать Гоголя в 1856 году вспоминала: «Лишась моего мужа <весной 1825 года>, я носила траур из самого грубого, шерстяного изделия платье, что очень огорчало моего сына: ему казалось, что оно было очень жестко и беспокоило меня, хотя я уверяла его, что совершенно не чувствовала его жесткости. Когда он приехал пред рождественскими праздниками домой из Нежина совсем неожиданный, это было рано поутру, и увидя, что в передней чистили мое одеяние, сказал подать ему ножницы, чтоб изрезать

его, прибавя, “тогда маменька наденет и будет носить покойнее платье”» (Современник. 1913. № 4. С. 248).

В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь писал: «Задолжали мы Самому Творцу в лице братий наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии». Сам Гоголь с детства был воспитан так, что, по свидетельству его дядьки Симона Стокозы, жившего при нем в Нежине, готов был даже отказаться от лакомств (до которых был «большой охотник»), чтобы помочь бедному. Как писала мать Гоголя Мария Ивановна 23 ноября 1830 года к своему родственнику А. А. Трощинскому, старик Симон «по секрету» рассказывал ей, как деньги, присылаемые ею сыну по праздникам на конфеты, юный Гоголь часто, «когда не успеет еще купить и встретится ему бедный», раздавал нищим. «...Так и старается, — сообщал наблюдательный дядька, — как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги, думая, что я не видал... Не давайте ему денег; пропадут ни за что» (<*Ореус И. И.*> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. С. 676). Об этой же черте Гоголя вспоминал и школьный товарищ Гоголя В. И. Любич-Романович: «Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки, которой ему нечего было подать в то время, когда он проходил мимо нее, и на ее слова “подайте Христа ради” ответил: “сочтите за мной...” И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, как прежде, он подал ей вдвойне, добавим при этом: “тут и долг мой”... Вообще Гоголь относился к бедности с большим вниманием и, когда встречался с нею, переживал тяжелые минуты...» (*Глебов С. И.* Гоголь в Нежинском лицее. Из воспоминаний В. И. Любича-Романовича // Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 556). О постоянном внимании Гоголя к нуждам бедных свидетельствует, в частности, и характерная заметка в его записной книжке 1842—1850 годов: «Наменять денег для бедных». Запись эта говорит отнюдь не о скупости дающего, но, напротив, о постоянном внимании к нуждающимся. Это объединяет Гоголя со многими христианскими подвижниками. Так, заблаговременно разменивая деньги для раздачи бедным, поступал, например, св. праведный Иоанн Кронштадтский.

Мать Гоголь Мария Ивановна вспоминала: «В деревне нашей не было церкви. Свекор наш хотел было купить старую и перевезти в Васильевку, но скоро после того запретили строить деревянные, и намеренье то гораздо прежде моего замужества было оставлено» (свадьба родителей Гоголя состоялась 12 ноября 1805 года) (см.: Автобиографическая записка *Марии Ивановны Гоголь*, матери Н. В. Гоголя. Сообщено И. С. Аксаковым // Русский Архив. 1902. № 4. С. 717; *Виноградов Г. С.* Даты жизни Н. В. Гоголя // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 10. С. 11; см. также: *Крутикова Н. Е.* Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 247). Во второй половине 1820-х годов в Васильевке по обету, данному матерью Гоголя, была построена каменная церковь. («Говорят, что

обет построить церковь в Васильевке был дан Марьей Ивановной перед рождением Н. В. Гоголя после двух неудачных родов»; *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 52.) Запрещение строить деревянную церковь — и разрешение на строительство вместо нее каменной церкви — Рождества Пресвятой Богородицы — было получено А. Д. Гоголем-Яновским в 1802 году — после обращения, по его просьбе, преосвященного Сильвестра (Лебединского), епископа Малороссийского и Переяславского, в Святейший Правительствующий Синод (см.: *РГИА.* Ф. 796. Оп. 83. № 30). 21 сентября 1821 года с новой просьбой о постройке в Васильевке церкви обратился к епископу Полтавскому и Переяславскому Мефодию (Пишнячевскому) отец Гоголя В. А. Гоголь-Яновский (*Жаркевич Н. М., Кирилюк З. В., Якубина Ю. В.* Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820—1828) // Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 26–27).

Вероятно, именно влияние отца, Василия Афанасьевича (литературно одаренного человека, писавшего стихи и комедии на русском и малоросском языке, задававшего и своим сыновьям темы для стихотворных импровизаций; см.: *Данилевский Г. П.* Знакомство с Гоголем // Сочинения. СПб., 1901. Т. 14. С. 121), было для Гоголя наиболее значительным. Смерть отца, последовавшая спустя четыре года после поступления Гоголя в Нежинскую гимназию, была большой для него утратой (см. письма Гоголя к матери от 23 апреля 1825 года, от 24 марта 1827-го, а также ее воспоминания: Современник. 1913. № 4. С. 248). Отец Гоголя, как и его ближайшие предки, получил духовное образование: он учился в Полтавской духовной семинарии, его отец и дед — в Киевской академии. На важное значение этого факта единодушно указывали биографы Гоголя: П. К. Щебальский, профессор протопресвитер Василий Зеньковский (в его ранней работе), В. А. Десницкий. «Из родительского дома Гоголь вынес и неприкосновенно сохранил глубокую религиозность» (*Щебальский П.* Глава из истории нашей литературы // Русский Вестник. 1885. № 2. С. 590). «В доме царила патриархальная религиозность с легким оттенком мистицизма: вся семья глубоко верила в вышнюю помощь» (*Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. 1916. № 1. С. 36). С детских лет Гоголя «окружала атмосфера полного приятия простонародного Православия, с его догматикой, моралью и обрядностью» (*Десницкий В. А.* Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. 1809—1852 // *Десницкий В. А.* На литературные темы. Л.; М., 1933. С. 179). Известно, что, когда в июне 1821 года Гоголь подвергался вступительному экзамену в Нежинской гимназии высших наук, то только по Закону Божию он оказался очень хорошо подготовленным, по другим же предметам имел слабые познания (см.: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820—1832 гг.). Киев, 1879. С.138).

О том, что отец Гоголя был хорошо знаком с церковным богослужением, косвенным образом могут свидетельствовать плоды

его литературной деятельности, в частности содержание одной из пьес Василия Афанасьевича, сочиненной им для домашнего театра Д. П. Трощинского, — «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом» (эта пьеса, опубликованная в 1862 году П. А. Кулишом во втором номере журнала «Основа», была ранее, в 1829 году, прислана Н. В. Гоголю по его просьбе матерью в Петербург). Содержание комедии перекликается с «малороссийской оперой» И. П. Котляревского «Москаль-Чаривник» (10 октября 1839 года Гоголь обещал И. И. Срезневскому «держать корректуру» второй книги «Украинского Сборника» (вышел в свет в 1841 году), где была опубликована пьеса Котляревского) (см.: Живая Старина. 1892. Вып. 1. С. 71). Обращает на себя внимание языковое отличие двух пьес, одинаково восходящих к общему западному источнику (см.: *Дашкевич Н. П.* Вопрос о литературном источнике украинской оперы И. П. Котляревского «Москаль-Чаривнык» // Киевская Старина. 1893. № 10–12. С. 451–481). Если комедия Котляревского написана языком, вполне привычным для светского сочинения, то пьеса Василия Афанасьевича изобилует церковной лексикой и с очевидностью свидетельствует о том, что богослужебную практику Православной Церкви отец Гоголя знал не понаслышке.

Несомненно, Гоголю было хорошо известно и семейное предание о том, как брак его родителей был благословлен Божией Матерью. В 1791 году, когда будущий отец писателя, Василий Афанасьевич, ездил на богомолье к одной из самых почитаемых на Руси чудотворных икон Божией Матери Ахтырской (обретена 2 июля 1739 году, в настоящее время находится в США), во сне ему явилась Царица Небесная и указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: «Вот твоя жена». Через некоторое время в грудном младенце, дочери соседей по имению Косяровских, он вдруг, застыв от изумления, узнал те самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Спустя тринадцать лет, на протяжении которых Василий Афанасьевич не переставал следить за своей суженой, видение еще раз повторилось, и он просил руки девушки. Молодые были помолвлены, через год была назначена свадьба (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя: В 2 т. СПб., 1856. Т. 1. С. 17; Из воспоминаний матери Гоголя (Письмо *М. И. Гоголь* к С. Т. Аксакову от 3 апреля 1856 года) // Современник. 1913. № 4. С. 252; Автобиографическая записка *Марии Ивановны Гоголь*, матери Н. В. Гоголя. С. 718).

Неподалеку от гоголевской Васильевки было знаменитое имение Кочубеев Диканька. Здесь находилась чудотворная икона святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, называемого Диканьским. Незадолго до рождения ребенка мать Гоголя, Мария Ивановна (у которой двое детей перед тем умерло, едва появившись на свет), дала обет перед чудотворным образом святителя Николая, если будет у нее сын, наречь его Николаем (Отрывок из записок *Елисаветы Васильевны Быковой,* родной сестры Гоголя) // Русь. 1885. № 26. С. 5) и просила местного священника молиться до тех пор,

пока его не известят о рождении дитяти и не попросят отслужить благодарственный молебен (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 6). По словам сестры писателя Ольги Васильевны (в замужестве Головни), брат ее любил вспоминать, почему его назвали Николаем (см.: *Мошин А.* Поездка в Васильевку // Вокруг света. 1903. № 34. С. 545). Летом 1845 года, в один из кризисных периодов своей жизни, Гоголь писал матери: «Прошу вас... отправить обо мне молебен не только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в церкви Святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстательстве за меня» (письмо от 28 июля н. ст.).

Семейные предания, связанные с рождением Гоголя, прямо напоминают известные свидетельства о том, что избрание многих ветхозаветных и христианских подвижников — св. пророка Иеремии, который «во чреве освящен бысть пророк» (Сир. 49, 9), св. апостола Павла, говорившего о себе, что Бог избрал его «от чрева матере» (Гал.1, 15) (книги пророка Иеремии и апостола Павла оказали значительное влияние на Гоголя), и др. — совершалось еще до появления их на свет. Свойственное Гоголю ощущение своего пророческого призвания, очевидно, во многом питалось этими семейными преданиями. По словам биографа, «история знакомства его <Гоголя> отца с матерью» стала, «без сомнения», известна юному Николаю «в числе первых узнанных им семейных преданий» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 17). «Он воспитывался на рассказе о его необыкновенном рождении... — отмечал И. С. Некрасов. — Этим надолго могла поддерживаться в нем мысль о необыкновенной его миссии» (*Некрасов И. С.* Значение Гоголя в истории русской литературы // *Некрасов И. С.* О значении Лермонтова и Гоголя в истории русской литературы. Две публичные лекции. Одесса. 1887. С. 31).

Церковный быт семьи естественно дополнялся желанием родителей дать сыну соответствующее духовное образование. По сообщению П. А. Кулиша, первоначальное воспитание будущий писатель получил дома, «от наемного семинариста» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 16; эти сведения Кулиш почерпнул из записки М. И. Гоголь о сыне от сентября — начала октября 1852 года: «...семи лет поручили его учителю-семинаристу с 6-летним братом его Иваном...»; *ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 47. Л. 1).

Посещение церковных праздничных богослужений было одним из важных обычаев, бытовавших в учебных заведениях, в которых учился Гоголь, — в Полтавском уездном училище (здесь Гоголь обучался в 1818—1819 годах) и в Нежинской гимназии высших наук, в которую Гоголь поступил в 1821 году и окончил в 1828-м. Именно к началу обучения Гоголя в гимназии религиозному воспитанию в сфере народного образования в России стало уделяться повышенное внимание. Это объяснялось особой политической

обстановкой эпохи. В 1815 году, после окончательного низложения Наполеона I, был основан религиозно-политический Священный Союз трех европейских монархов — австрийского, прусского и российского, к которому в продолжение 1815—1817 годов примкнули большинство королей и герцогов Западной Европы. В сознании Александра I основание «братского христианского Союза» было связано с мыслью о необходимости сплочения христианских сил мира перед его близкой кончиной (см.: *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. Нью-Йорк. 1951. № 27. С. 140). Одним из главных проводников идей Священного Союза в России стало особое соединенное министерство, созданное в октябре 1817 года, — Министерство духовных дел и народного просвещения. В манифесте о создании этого «сугубого» министерства объявлялось желание правительства, «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения» (Учреждение Министерства Духовных дел и Народного Просвещения. Октября 1817 // Полн. собр. законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 34. С. 814).

В деятельности нового министерства, во главе которого встал князь А. Н. Голицын, были и негативные стороны — прежде всего распространение идей так называемого «универсального христианства», размывавших границу между Православием и инославными конфессиями. Голицын как министр народного просвещения допускал печатание книг, противоречивших учению Православной Церкви. Эта внеконфессиональность «сугубого» министерства открывала широкую дорогу тем самым началам, борьбой с которыми и объяснялось его создание и которым, в частности, была обязана Нежинская гимназия во время обучения здесь Гоголя (возникновением так называемого «дела о вольнодумстве», аналогичного таким же политическим расследованиям в Казанском, Санкт-Петербургском, Харьковском и других российских университетах) (см.: Лицей князя Безбородко. СПб.: граф Г. А. Кушелев-Безбородко. 1859; *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине; Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881; Гоголевский сборник. Киев, 1902; *Савва В. И.* К истории о вольнодумстве в Гимназии высших наук кн. Безбородко. Харьков, 1908; *Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951; *Стогнут А. С., Кононенко И. К.* Новые страницы к «Делу о вольнодумстве» в Нежинской гимназии высших наук // Уч. зап. Нежинского гос. пед. ин-та им. Н. В. Гоголя. Киев, 1954. Т. 4–5; *Машинский С. И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959; *Виноградов И. А.* Религиозное образование Гоголя в Нежинской гимназии высших наук // Н. В. Гоголь и Православие. М.: Отчий дом, 2004. С. 154–306).

Не останавливаясь на негативных сторонах деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения, отметим, что в целом на христианское воспитание юношества в пору, когда во главе министерства стоял князь А. Н. Голицын (а также позднее),

стало обращаться гораздо больше внимания, чем в предшествующий период александровского царствования. Это обусловило характер образования в Нежинской гимназии высших наук, распорядок дня которой включал в себя обширную программу религиозного воспитания.

Своего устава Нежинская гимназия при открытии не получила и должна была руководствоваться, вплоть до февраля 1825 года, уставом Ришельевского лицея в Одессе (см.: <*Сперанский М. Н., Сребницкий И. А.*> Учебники Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 287). Согласно этому уставу, составленному князем А. Н. Голицыным и утвержденному 2 мая 1817 года Императором Александром I, христианское воспитание лежало в основе обучения лицеистов: «В образовании Ришельевского лицея Закон Божий и познание правил веры христианской будут главным основанием учения и воспитания. Молитвы в определенное время, чтение Священного Писания, поучения и наставления священника, который будет и законоучителем, поставляются непременным правилом во все продолжение воспитания» (Образование и Устав Ришельевского Лицея в Одессе. СПб., 1818. С. 7). С этой целью предписывалось «устроение посреди самого лицея церкви греко-российского исповедания». При храме должен был жить священник — лицейский законоучитель, «коего всегдашнее присутствие с детьми и собственный пример послужат, так сказать, живым уроком для благочестивой жизни» (законоучителя полагалось избирать из числа монашествующих или из овдовевших священников). Закону Божию воспитанники должны были обучаться ежедневно по одному часу: сначала на этих уроках давалось «краткое понятие о географическом положении Земли Обетованной», история Ветхого и Нового Завета; затем изучались «догматы и нравственные правила веры христианской» — Символ веры, Таинства, заповеди и церковные обряды. Питомцам полагалось «вытверживать ежедневно наизусть по два или по три стиха из Св. Писания». Раз в неделю священник должен был спрашивать у воспитанников выученное и давать задание на следующую неделю; кроме того, каждое утро выученный урок проверяли гимназические надзиратели (Там же. С. 22–23, 32–33, 36, 38–39). Уставом Ришельевского лицея предписывалось проведение общих молитв воспитанников со священником и наставниками в «общей зале» — утренних с 6 часов утра и вечерних с 20 часов 45 минут. Четверть часа перед вечерней молитвой священник читал книги духовного содержания. Непосредственно перед началом уроков, а также по окончании их читались «краткие молитвы, нарочно для сего сочиненные». По воскресным дням и большим праздникам перед Божественною Литургией священник произносил проповедь — «приличное тому дню поучение» (Там же. С. 33–34, 60–62).

Распорядок дня в Нежинской гимназии во многом соответствовал предписаниям Ришельевского устава. День традиционно

начинался и оканчивался общей молитвой; ежеденевно полчаса перед классными занятиями посвящалось чтению Нового Завета (см.: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 46). Согласно «Расположению учебных предметов в Гимназии высших наук князя Безбородко 1820-го года», составленному первым директором гимназии В. Г. Кукольником и действовавшему также в 1821 году, два раза в неделю по два часа отводилось на изучение Закона Божия. Помимо учебных занятий (продолжавшихся с 8 до 16 часов) каждый день с воспитанниками «в 6-м часу пополудни» проводились занятия по книге «Чтения из четырех Евангелистов и из книги Деяний Апостольских, для употребления в училищах» (СПб., 1819). По воскресеньям полагалось «чтение Священных Книг» (*Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 10; Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 322).

Кроме «Чтений из четырех Евангелистов...» в качестве учебных пособий в гимназии применялась Краткая Священная история Церкви Ветхого и Нового Завета, изданная для народных училищ Российской империи (Рассматриваема Святейшим Синодом. Тиснение 13-е. СПб., 1822). 18 ноября 1822 года департамент Министерства народного просвещения выслал по просьбе директора И. С. Орлая в Нежинскую гимназию 50 экземпляров «Священной истории», 160 экземпляров «Сокращенного катехизиса», 60 экземпляров «Пространного катехизиса», 10 экземпляров «Изъяснений Евангелия». В конце 1822 года инспектор гимназического пансиона К. А. Моисеев принял в заведование следующие пособия ученической библиотеки для пансионеров: 40 экземпляров «Священной истории» (сокращенной), 40 экземпляров «Сокращенного катехизиса», 10 экземпляров «Чтений из четырех Евангелистов...» (см.: *Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 421). Согласно расписанию занятий, составленному В. Г. Кукольником, в шестом классе предполагалось «чтение творений св. Иоанна Дамаскина и других сочинителей церковных песен», в седьмом — «чтение св. Иоанна Златоустого и Амвросия Медиоланского» (*Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко // Лицей князя Безбородко. СПб., 1859. С. 17–18). Сын бывшего директора, Н. В. Кукольник, вспоминал, что законоучитель гимназии протоиерей П. И. Волынский преподавал «сокращенный катехизис, священную историю, пространный катехизис». «Сверх того, — добавлял Кукольник, — читал с нами превосходную книжку, которой, к сожалению, теперь уже не встречаю. Это толкование Евангелий» (*Кукольник Н.* П. И. Волынский // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 246). Протоиерей А. Ф. Хойнацкий предположил, что это были толкования Евангелий святителя Иоанна Златоуста, но, вероятнее, это было неоднократно переиздававшееся «Толкование воскресных Евангелий с нравоучительными беседами» архиепископа Астраханского и Ставропольского Никифора (Феотоки) (1-е изд. М., 1804), упоминаемое

в расписании занятий, составленном В. Г. Кукольником (см.: *Хойнацкий А. Ф., <прот.>.* К истории философской науки в России в начале XIX века // Древняя и Новая Россия. 1879. № 6. С. 176; *Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 17).

Согласно «Расписанию учебных предметов для шести классов и трех отделений», составленному в 1822 году И. С. Орлаем, «за полчаса до начатия классов» в гимназии прочитывалась «одна глава из Священного Писания Нового Завета», два раза в неделю преподавался Закон Божий (Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 324). Общее «христианское говение и принятие Святых Таин Евхаристии» совершалось от самого открытия гимназии. В частности, сохранились сведения о двукратном приобщении воспитанников Св. Таин в 1821 году — 26 февраля (по древнему обычаю, в субботу первой седмицы Великого поста) и 29 августа, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи (см.: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 13, 15). 22 июня 1824 года в гимназии была освящена домовая церковь во имя священномученика Александра, иерея Сидского в Памфилии (память совершается 15 марта ст. ст.), — до этого воспитанники ходили в приходскую церковь (Там же. С. 92–93; *Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 19). 20 августа 1821 года в звании законоучителя Нежинской гимназии был утвержден настоятель нежинской Преображенской церкви протоиерей Павел Иванович Волынский. Он же стал духовником гимназии (*Кукольник Н.* П. И. Волынский. С. 246). Первыми старостами гимназического храма стали инспектор пансиона К. А. Моисеев и профессор российской словесности П. И. Никольский (*Якубина Ю. В.* Роль Нежинской гимназии высших наук в формировании религиозных взглядов Н. В. Гоголя // IV Гоголівські читання. Полтавський державний педагогічний інститут. Полтава, 1997. С. 119–120). Из пансионеров гимназии составился хор певчих, которым заведовал учитель музыки, пения и танцев Ф. Е. Севрюгин (*Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 84).

Добавим, что атмосфера церковности царила и в самом городе, где располагалась гимназия. Всего в Нежине была двадцать одна церковь и два монастыря, из которых один, Благовещенский, называемый «Назарет Пресвятыя Богородицы», был основан в 1702 году уроженцем Нежина, Местоблюстителем Патриаршего Престола преосвященным Стефаном Яворским (*Сребницкий И.* Нежин // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 23).

Сохранился протокол конференции Нежинской гимназии за март 1825 года, сообщающий о торжественном богослужении в первый храмовый праздник гимназии (см.: *Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук. С. 343–344). Такого же рода торжественные богослужения устраивались в Александровской церкви и в другие праздничные дни (см., в частности: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 26; *Науменко В.* Письма Е. П. Гребенки к родным //

Киевская Старина. 1898. № 12. С. 432). Уставом гимназии было определено торжественно отмечать день его утверждения (Устав Гимназии высших наук князя Безбородко // Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству народного просвещения. 1803—1864. СПб., 1867. Стб. 226). В конце ноября 1825 года при получении в Нежине известия о смерти Императора Александра I в домовой церкви гимназии была отслужена торжественная панихида (см.: Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 201–202). Употреблялось в Нежинской гимназии в соответствии с уставом Ришельевского лицея, и заучивание воспитанниками наизусть «по два или по три стиха из Св. Писания» (см.: *Хойнацкий А. Ф., <прот.>*. К истории философской науки в России в начале XIX века. С. 175; *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 64–65).

В апреле 1825 года гимназия получила собственный устав (утвержденный 19 февраля). В полученном уставе были замечены погрешности (см.: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 25), а в октябре 1826 года Император Николай I вместо подписания исправленного устава начертал следующую резолюцию: «Надо будет подождать, доколе не окончится пересмотр всех уставов училищ в учрежденном на то комитете» (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1878. Т. 6. Стб. 637). Так устав 19 февраля 1825 года остался без обнародования, тем не менее «из дел видно, что им руководствовались как Гимназия Князя Безбородко, так и Министерство Народного Просвещения в своих распоряжениях» (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 6. Стб. 637).

По словам Н. В. Кукольника, «существо содержания этого устава ни в чем не разнилось от заведенного уже по всем частям порядка» (*Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 20). Согласно присланному уставу, «утверждение в вере и благочестии» являлось «важнейшею и первою обязанностью в воспитании». «Вера христианская, — говорилось в уставе, — единственное основание истинного образования сердца и ума юных питомцев, должна составлять главнейший предмет и одушевлять вообще весь курс ученья по всем предметам оного... все противное тому терпимо быть не может, и директор с конференциею за то ответствуют». В распорядке дня время с 6 до 7 утра полагалось на одевание, молитву и завтрак; с 9 до 10 вечера — на вечернюю молитву и раздевание. Ставилось целью «приучить воспитанников, чтоб они ничего в течение дня не начинали и не оканчивали без приличной молитвы, как-то: при вставании с постели и пред отхождением ко сну, при начале и по окончании ученья». Чтение Священного Писания — «за полчаса до начала уроков» — поставлялось «в качестве ежедневной обязанности воспитанников во все время воспитания их в сем заведении», причем «исполнение утренних и вечерних христианских обязанностей и чтение Св. Писания» во время каникул предписывалось продолжать

«с тою же точностью, как и в учебное время». По вечерам в гимназии полагалось «назидательное чтение книг духовных». Подтверждалось в уставе гимназии и заучивание наизусть «некоторых текстов, наипаче из Нового Завета». Законоучитель гимназии, «из духовных особ», являлся духовником воспитанников пансиона, отправлял богослужение в гимназической церкви, присутствовал на утренних и вечерних молитвах, выслушивал выученные гимназистами тексты и изъяснял читаемое в Св. Писании. «Говение по долгу христианскому, исповедь и приобщение Св. Таин» надлежало «наблюдать ежегодно в определенное время». По воскресным и праздничным дням воспитанники посещали церковь «к слушанию Божественной Литургии», и «пред оною или после оной» священник читал «поучение, относящееся к читаемому Евангелию и Апостолу».

Так же, как в уставе Ришельевского лицея, обращалось внимание на значение личного примера наставников: «Самое верное средство к внушению юношеству любви ко всему истинному и доброму есть страх Божий. Добрые примеры, христианский образ жизни наставников и чтение книг назидательных ведут к благочестию надежнее всех наставлений устных... Инспектор и надзиратели должны иметь неусыпный присмотр за нравственным поведением воспитанников. Паче всего они должны служить им собственным живым примером благочестивой жизни...» (Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Стб. 211, 214, 217–218, 221).

В целом можно сказать, что образование в Нежинской гимназии во многом напоминало семинарское. Сам Гоголь в стихотворении, написанном в 1836 году совместно со школьным товарищем А. С. Данилевским, в шутку называл Нежинскую гимназию «бурсой» («Да здравствует нежинская бурса...»). Н. В. Кукольник, в свою очередь, иронически именовал гимназию «монастырем мудрости» и сообщал, что предполагает «заключиться» в него, «возложив на себя знаки монашеского смирения» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 29 июля 1825 года; *Супронюк О. К.* Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче (к изучению литературного окружения молодого Гоголя) // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1995. С. 244). Множество подробностей быта Нежинской гимназии были впоследствии использованы Гоголем при воссоздании бурсацкого быта в его «малороссийских» повестях «Тарас Бульба» и «Вий» (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. М., 2009. С. 620–621, 627–630, 632–633). Нежинский профессор Н. Я. Аристов позднее замечал: «С 1817 г. главным основанием учения и воспитания юношей <было> поставлено религиозное просвещение, система образования основалась на началах Священного Союза, из школы делали монастырь» (*Аристов Н.* Состояние образования России в царствование Александра I-го // Известия Историко-филологического ин-та кн. Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. С. 85).

Не всегда оправданный в деле духовного образования принудительный характер, который отчасти носило религиозное воспитание в Нежинской гимназии, привел к тому, что этим воспользовались для пропаганды своих взглядов некоторые «прогрессивные» — связанные друг с другом тесными масонскими узами — профессора гимназии (Н. Г. Белоусов, Ф. И. Зингер, И. Я. Ландражин, К. В. Шапалинский). Оставляло желать лучшего и тогдашнее нравственное состояние гимназии. Карточными игроками были «свободомыслящие» профессора Ф. И. Зингер и И. Я. Ландражин. В 1826 году Ландражин был дважды «замечен в драке за карточную игру» (Дела о ревизии Э. Б. Адеркасом Нежинской гимназии высших наук // *РГИА*. Ф. 733. Оп. 62. Ед. хр. 52. Л. 36). Е. И. Филипченко сообщал также Э. Б. Адеркасу, что оба этих профессора нередко «водили с собой по трактирам учеников, сколько-нибудь склонных к их образу мыслей» (*Машинский С. И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». С. 163). (Одним из требований Журнала Комитета о беспорядках в Виленском университете, разосланном в 1824 году по всем учебным округам, было, в частности, принятие мер, «чтобы студенты... в публичных домах, как-то: трактирах, билиардах и тому подобных местах, не бывали»; Записки, издаваемые от Департамента Народного Просвещения. 1825. Кн. 1. С. 25.) Осенью 1830 года по делу был вынесен приговор: «Государь Император в 26 день сего октября Высочайше повелеть соизволил: “Профессоров Гимназии высших наук князя Безбородко Шапалинского и Белоусова за вредное на юношество влияние, а Ландражина и Зингера, сверх того и за дурное поведение, отрешить от должности... тех из них, кои не русские, выслать за границу, а русских — на места их родины, отдав под присмотр полиции”» (*Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. С. 321; см. также: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С.127). Показательно при этом, что «дело о вольнодумстве» в Нежинской гимназии завершилось не только осуждением виновных преподавателей, но и выселением из Нежина нескольких публичных женщин.

Несомненно, нравы, царившие в то время в гимназии, — и свое тогдашнее отношение к ним — Гоголь непосредственно описал в первой главе второго тома «Мертвых душ», говоря о пребывании юного помещика Андрея Ивановича Тентетникова в некоем «учебном заведении»: «Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии товарищей, которые [завели на стороне любовницу, одну на восемь человек] обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, [его не увлекали также другие шалости, доходившие до кощунства и насмешек над самою религиею из-за того только, что директор требовал частого хожденья в церковь и попался плохой священник] ни кощунство их над святыней из-за того только, что попался не весьма умный поп».

Пройдя в юности школу государственно-принудительного религиозного воспитания, Гоголь впоследствии критически оценивал злоупотребление подобной практикой. Он считал, что и без

принуждения душе ребенка присуще стремление к Богу. В 1851 году, уже в то время, когда работа над книгой о Литургии была близка к завершению, в присутствии писателя было рассказано «об одной девочке, которую заставили сохранять свято воскресенье у англичан. Когда ей говорили о Боге, она отвечала: "Ах, нет! Слишком будет скучно!"» Гоголь заметил: «Странно требовать от детей больше того, чтобы они ходили в церковь», — и на вопрос светской дамы: «Не лучше ли им бегать и резвиться по воскресеньям?» — ответил, перефразируя евангельское изречение: «Когда от нас требуется, чтобы мы были, как дети, какое же мы имеем право от них требовать, чтобы они были, как мы?» (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 555).

Следует также иметь в виду, что атмосфера, созданная «прогрессивными» преподавателями вокруг остальных профессоров, не позволяла учащимся по достоинству оценить их взгляды. Один из главных обвиняемых по «делу о вольнодумстве» — профессор Н. Г. Белоусов (оказывавший значительное влияние на гимназистов, в том числе Гоголя) откровенно враждовал против законоучителя гимназии протоиерея Павла Ивановича Волынского и побуждал к тому же учеников. Согласно донесению третьего директора гимназии Д. Е. Ясновского члену Главного правления училищ Э. Б. Адеркасу от 27 апреля 1830 года, «все ученики, а еще более пансионеры знали неуважение г. Белоусова к бывшему законоучителю... в классе законоучителя производили самые дерзкие шалости, пока по жалобам законоучителя и донесениям экзекутора не были удержаны наказаниями» (*Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. С. 412).

В 1901 году В. И. Шенрок, имея в виду шуточное упоминание Гоголя в письме к школьному приятелю Г. И. Высоцкому от 17 января 1827 года из Нежина о «Батюшечке» — законоучителе гимназии протоиерее П. И. Волынском («Демиров-Мишковский, Батюшечка и Урсо кланяются по пояс»), пояснял: «Священник-законоучитель Волынский, по словам Данилевского "большой враг Гоголя", которого он часто наказывал...» (Письма *Н. В. Гоголя* / Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 56). (А. С. Данилевский умер в 1888 году, за тринадцать лет до публикации Шенроком этого свидетельства.) В связи со свидетельством Данилевского В. И. Шенрок указывал, что в «кондуитных списках» гимназии сохранилась следующая запись (от 20 декабря, год Шенроком не установлен): «Н. Яновский за то, что он занимался во время Клас<с>а Священника с игрушками, был без чаю» (*РГБ.* Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 88. Л. 4; опубл.: Письма *Н. В. Гоголя.* Т. 1. С. 56; *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 107). Между тем помета в журнале: «Вторник, 20-го Декабря», как и другие записи: «Суббота, 10 декабря», «11-е число, воскресенье», «12-го, понедельник», «Воскресение 18-го Декабря», точно указывают, что они относятся к 1825 году. Так что ошибочно связывать замечание гимназического надзирателя (Е. И. Зельднера) об «игрушках» с 1827 годом (когда Гоголю исполнилось восемнадцать лет).

Указывалось также на неудовлетворительные отметки Гоголя по Закону Божию, причем они, в свою очередь, приурочивались В. И. Шенроком к 1827 году (см.: *Шенрок В. И.* Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский // Вестник Европы. 1890. № 1. С. 83), а П. А. Кулишом — даже к 1828 году (см.: *<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 274–275). Между тем эти оценки, в свою очередь, относятся к гораздо более раннему времени — к 1822—1823 годам (см.: *Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. С. 151–152). Кстати при этом заметить, что вряд ли вообще правомерно неудовлетворительные отметки Гоголя по Закону Божию (полученные к тому же, как выясняется, в самые первые годы его пребывания в гимназии, а именно во второй год обучения) давать в качестве «доказательства» «вражды» между Гоголем и законоучителем о. Павлом. «Приводимые биографами Гоголя отметки о его лености, непослушании, дерзости, неопрятности, — писал, в частности, в 1902 году И. А. Сребницкий, — относятся еще ко времени пребывания Гоголя в низших классах гимназии, и эти проступки его, очевидно, не выходят за пределы детских провинностей, от которых не свободен кондуит любого гимназиста и до наших дней» (*Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии выших наук. С. 305–306).

Задолго до публикации Шенрока, в 1881 году, один из школьных учителей Гоголя, И. Г. Кулжинский, утверждал: «Гоголь был не только гениальный писатель, но и христианин в собственном смысле этого слова. Нет сомнений, что лучшие его религиозные воззрения и симпатии воспитывались в церкви, и в особенности в церкви того заведения, где он учился» (*Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. С. 155). Историк А. И. Маркевич в 1895 году, в свою очередь, отмечал: «Мне пришлось учиться в этой самой гимназии лет 30 после того, как оставил ее Гоголь; но так как слава его озарила и гимназию и самый г. Нежин, то они были еще полны Гоголем... Не многому мог научиться Гоголь в гимназии; единственный профессор, имевший на него сильное влияние, был богослов, что не осталось без значения в дальнейшей жизни Гоголя» (*Маркевич А. И., проф.* Николай Васильевич Гоголь // По море и по суше. 1895. № 7. С. 2). Предание о влиянии на Гоголя протоиерея Павла Ивановича Волынского, сохранившееся в Нежине, передавал также законоучитель Лицея князя Безбородко (с 1871 года) профессор протоиерей А. Ф. Хойнацкий, высоко оценивавший преподавательскую деятельность о. Павла и прямо связывавший с религиозным образованием Гоголя в Нежинской гимназии создание им книги о Литургии: «Ко времени такового преподавания Закона Божия с нравоучительным любомудрием относится обучение в гимназии высших наук князя Безбородко Н. В. Гоголя... и В. К. Каминского... И тот и другой, как известно, отличались выдающимся религиозно-мистическим направлением. Гоголь написал даже “Размышления о Божественной Литургии”, а Каминский скончался в самом Иерусалиме, куда два раза нарочно путешествовал

для поклонения Святым Местам» (*Хойнацкий А. Ф., <прот.>*. К истории философской науки в России в начале XIX века. С. 176).

Протоиерей А. Ф. Хойнацкий указывал, что преподавание в высших классах одной из дисциплин — так называемой нравственной философии, или этики, — выгодно отличало лицей от прочих учебных заведений. В основу преподавания протоиереем Павлом Волынским было положено чтение Нового Завета с объяснениями Свв. Отцов и Учителей Церкви — Василия Великого, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и др. На уроках знакомились также со статьями из «Христианского Чтения» — журнала, который впоследствии во многом определил характер образования Гоголя. Именно это направление, «господствовавшее в гимназии высших наук при преподавании нравоучительного любомудрия, на началах Св. Отцов», имело, по мнению протоиерея А. Ф. Хойнацкого, решающее влияние на «умственный склад и религиозный характер» Гоголя и В. К. Каминского (*Хойнацкий А. Ф., <прот.>*. К истории философской науки в России, в начале XIX века. С. 175–176).

Очевидно, именно в нежинский период жизни Гоголя были заложены основы для дальнейшего становления его как духовного писателя, автора «Размышлений о Божественной Литургии». В. И. Любич-Романович, рассказывая о пребывании Гоголя в Нежинской гимназии в 1822—1823 годах, вспоминал, что в церкви он «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию или литию» (Гоголь в Нежинском лицее (Из воспоминаний В. И. Любича-Романовича) // Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 554). По свидетельству Н. В. Гербеля, в числе дисциплин, преподававшихся в Нежинской гимназии, было и толкование Литургии: «...преподавались... здесь следующие предметы: пространный катехизис, священная и церковная история, толкование Литургии, толкование воскресных и праздничных Евангелий, чтение из Ветхого и Нового Завета...» (*Гербель Н.* П. Г. Редкин // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 443). Согласно расписанию занятий, составленному В. Г. Кукольником, в шестом классе гимназии полагалось изучение «обрядов Богослужений, причин, времени и цели их учреждения» (*Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 17–18). Само приобщение Св. Таин сопровождалось в гимназии наставлениями священника, служившими «к изъяснению причины установления, важности и необходимости сего священного долга для всякого человека» (Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Стб. 217–218).

Вероятно, еще со школьной скамьи Гоголю была известна многократно переиздававшаяся книга протоиерея Г. И. Мансветова «Краткое изъяснение на Литургию» («собранное из разных писателей придворным протоиереем Григорием Мансветовым»; СПб., 1822; 2-е изд. 1825; 3-е изд. 1837; 4-е изд. 1846; 9-е изд. 1894); его же «Поучение, как стоять в церкви, во время Божественной Литургии»

(в 1825 году Конференцией Нежинской гимназии в день первого храмового праздника домовой церкви 14 марта было принято решение выписать для гимназической библиотеки эту книгу; см.: *Жаркевич Н. М., Кирилюк З. В., Якубина Ю. В.* Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820—1828) // Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 78). Также могло быть известно Гоголю «Краткое толкование на Литургию. В пользу благородных воспитанниц Общества благородных девиц и Училища ордена Св. Екатерины, из разных церковных писателей извлеченное законоучителем протоиереем и кавалером Иаковом Воскресенским» (книга о. И. И. Воскресенского, протоиерея Исаакиевского собора, законоучителя Екатерининского института, издавалась с посвящением Императрице Марии Феодоровне: СПб., 1815; 2-е изд. 1820; 3-е изд. 1822). Пятое издание этой книги вышло в 1830-х — начале 1840-х годов. (Выпускница училища Св. Екатерины А. О. Смирнова, в частности, свидетельствовала, что Божественную Литургию воспитанницы института «знали наизусть»; *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 127, 335.) Неоднократно издавалось и сочинение протоиерея И. И. Воскресенского «О церкви, утварях, службах и облачениях церковных с изъяснением таинственного знаменования оных» («почерпнуто из церковных писателей протоиереем и кавалером Иаковом Воскресенским»; СПб., 1821; 2-е изд. 1825). С 1820-х годов Гоголю могло быть известно и «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию...» Ивана Дмитревского (М., 1803), неоднократно переиздававшееся. Отметим, в частности, следующее издание: <*Дмитревский И. И.*> Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию... 3-е изд. М., 1823. 276 с.; с приложением: Таинственное толкование на Литургию блаженного Симеона, митрополита Фессалоникийского. 68 с. (отдельная пагинация).

К истории создания книги о Божественной Литургии имеет отношение возникший у Гоголя, вероятно, еще в 1830-х годах замысел популярной душеполезной книги для широкого круга читателей. В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «...Я полжизни думал... о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг... устное слово пастырей Церкви полезней и важней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель». Еще в 1836 году в рецензии на книгу «Путешествие к Святым Местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры» (имеется в виду иеродиакон Иона) он писал: «Это одна из тех книг, которые больше всего и благоговейнее читаются... Прочие книги русский народ читает для <того> только, чтобы... показать себе и другим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги». Пример такого отношения к книге — служащей лишь

к праздному времяпровождению — Гоголь дал во второй главе первого тома «Мертвых душ» в образе слуги Чичикова Петрушки, имевшего «даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся... если бы ему подвернули химию, он бы и от нее не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение... Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке…» В соответствии с этой мыслью Гоголь в статье «Русской помещик» (1846) замечал о русском крестьянине: «По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых». Г. П. Данилевский, посетивший в год смерти Гоголя родные места писателя, свидетельствовал: «Не один из грамотеев по Миргородской и Решетиловской дороге показывал нам с гордостию духовно-нравственные книги, подаренные ему Гоголем, при неоднократных его поездках за границу и из-за границы» (*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки // Московские Ведомости. 1852. 14 октября № 124. С. 1277). В рецензии на книгу «Путешествие к Святым Местам…» Гоголь писал: «Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе <…> Нередко русский мещанин… сколько-нибудь ученый, бросив дела, отправлял<ся> сам в Иерусалим или Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисованы всякими красками».

Со слов С. Т. Аксакова известно, что в 1842 году Гоголь получил благословение на паломничество в Иерусалим от святителя Иннокентия (Борисова), епископа Харьковского (впоследствии архиепископа; причислен к лику местночтимых одесских святых в 1997 году; память совершается 26 мая / 8 июня н. ст.). При этом Гоголь обещал Ольге Семеновне Аксаковой написать книгу о Святой Земле: «Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: “Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну”» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 147). Статья «Жизнь», опубликованная за семь лет перед тем, в 1835 году, в «Арабесках», где Гоголь обращает взор к «каменистой земле» Иудеи, в свою очередь, как бы приоткрывает это заветное желание Гоголя — «бросив дела», отправиться в Иерусалим и написать истинно полезную для всех книгу, «которую бы жадно покупали у разносчиков». При этом замысел статьи «Жизнь», изображающей, в соответствии с пророчеством Даниила (см. Дан. 2, 31–45), падение языческих царств пред лицом грядущего Царства Спасителя, прямо перекликается с содержанием одного из богослужебных гимнов — 1-й песни воскресного канона Пресвятой Богородице 4-го гласа (в «Октоихе»): «Сотрясошася людие, смятошася языцы, царствия же державная уклонишася, Чистая, от страха Рождества Твоего: прииде бо Царь мой, и низложи мучителя, и мир от тли избави».

По свидетельству А. О. Смирновой, во время пребывания в Петербурге Гоголь «очень любил» концерты, «но только духовную музыку и ходил к певчим» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 60). «Пост в Петербурге есть праздник музыкантов... — замечал Гоголь в «Петербургских записках 1836 года» (Великим постом, который в данном случае имеет в виду Гоголь, разрешались главным образом духовные концерты). — Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганьем». Эти впечатления отразились и в статье «Скульптура, живопись и музыка», где Гоголь замечал о музыке: «Она... могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение».

Когда позднее А. О. Смирнова говорила Гоголю, что всегда плачет, когда причащается или смотрит, как причащаются другие, то он сказал ей: «Благодарите за это Бога, это слезы благодатные, это роса, освежающая уста малых наших братий» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 402).

Литургическая тема в художественных произведениях чаще всего связана с понятием долга. В конце жизни Гоголь даже задумывал написать статью «Что такое долг». Пожалуй, наиболее яркий пример наличия у Гоголя в художественном произведении литургической темы заключается в его повести-эпопее «Тарас Бульба», тесно связанной с провозглашенным в первой половине 1830-х годов С. С. Уваровым правительственным курсом на укрепление начал Православия, Самодержавия, Народности (подробнее см.: *Виноградов И. А.* Гоголь и Уваров: Православие, Самодержавие, Народность // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2001. № 1. С. 83–91; *Виноградов И. А.* Неизвестные автографы Н. В. Гоголя // Неизданный Гоголь // Подг. текста И. А. Виноградова. М., 2001. С. 3–38). Утешение от мысли об обретенном призвании, глубокая «радость спасения» (Пс. 50, 14) — «высокая радость служить Ему» (строки письма Гоголя к Н. Н. Шереметевой от 30 октября н. ст. 1845 года) — проистекают у запорожцев из принятого ими на себя подвига по исполнению заповеди Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Этим литургическим аспектом гоголевская повесть напрямую связана с книгой Гоголя о Литургии. Знаменитая сцена мученической смерти Остапа может быть соотнесена с гефсиманским молением Сына к Своему Небесному Отцу перед Его крестными страданиями (см. в наст. изд. сопроводит. ст. ко 2-му тому). Так же, как взывающий с колен Спаситель «услышан был за *Свое* благоговение» (Евр. 5, 7), и «явился... Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43), так Остап, подобно многим другим христианским мученикам и исповедникам, получает утешение в свои предсмертные минуты: «...когда подвели его к последним смертным мукам,

казалось, как будто стала подаваться ему сила... хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и выкликнул в душевной немощи: "Батько! где ты? слышишь ли ты все это?" — "Слышу!" — раздалось среди всеобщей тишины...»

После завершения работы над «Тарасом Бульбой», в 1836 году, Гоголь вплотную поставил перед собой задачу создания образа положительного героя современности. «Изобразите нам, — писал он в опубликованной посмертно статье "Петербургская сцена в 1835–36 г.", — нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых... остается непоколебим в своих положениях, без ропота на безвинное правительство, и исполнен той же русской безграничной любви к Царю своему, для которого бы он и жизнь... готов принесть, как незначащую жертву. Пусть он... не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню, вдохнутую в него еще с давних веков, еще с смиренных предков, воспитанную тысячелетием». Позднее, в книге о Литургии, Гоголь внес в эти размышления одну существенную поправку: «Поклонение отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву — единому Творцу». Однако сама идея служения Богу и Отчизне как жертвы — идея, «воспитанная тысячелетием» христианства на Руси, — определила весь духовный строй последующей гоголевской мысли, стала центральным звеном, объединяющим его раннее и позднее творчество.

Литургическая тема присутствует в «Театральном разъезде...» Гоголя (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 4. С. 545–546; *Гоголь Н. В.* Ревизор. С приложениями. М., 1995. С. 340–341). В 1842 году, заканчивая эту пьесу, Гоголь писал матери из Гаштейна: «Есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою» (письмо от 1 сентября н. ст.). Как позволяют судить строки черновика этого письма, упоминание здесь о Литургии связано именно с представлением Гоголя о всяком подвиге как «жертве» — подобной Жертве, приносимой за весь мир на Литургии. «Скажите ему, — писал Гоголь матери о страждущем харьковском чиновнике, — что как бы ни казалась ему ничтожна приносимая им доля на жертвенник правды, эта малая доля многое сделает... Тот, Кто все вытерпел из любви к человекам... Тот услышит и оценит всякую жертву...»

Несомненно, Гоголю было хорошо известно употребление слова «литургия» в значении «общественное служение или служба». Об этом значении, в частности, упоминал — со ссылкой на св. Иоанна Златоуста — И. И. Дмитревский, чьими изъяснениями на Литургию Гоголь пользовался в работе над книгой «Размышления

о Божественной Литургии»: «Св. Златоуст называет литургиею благочестивую жизнь всякого христианина» (Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. Основано на Священном Писании, Правилах Вселенских и Поместных Соборов и на писании Св. Отцев Церкви / Сост. *Иваном Дмитревским.* Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 / Репринтное воспроизведение издания 1897 г. С. 52). «Верховнейшая минута» Евхаристии, пресуществление, писал Гоголь в книге о Литургии, «есть минута и Жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу».

Г. П. Галаган, познакомившийся с Гоголем в Риме в начале января 1843 года, вспоминал: «...Гоголь показался мне уже тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю <в притвор>, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны» (*РГБ.* Ф. 74. К. 9. Ед. хр. 19. Л. ; опубл.: *Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе в Риме // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1984. Л., 1986. С. 67). О том, «в каком сильном религиозном напряжении была тогда душа Гоголя», свидетельствовал также друг и наставник Г. П. Галагана Ф. В. Чижов (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 326–331).

К 1843 году, после издания собрания художественных произведений в четырех томах и первого тома «Мертвых душ», у Гоголя созревает желание сделаться духовным писателем в собственном значении этого слова.

Прямых свидетельств о том, когда была начата и как протекала работа над книгой о Литургии, не сохранилось. Непосредственно формирование замысла книги следует предположительно отнести ко времени пребывания Гоголя в Ницце зимой 1843/44 года. Гоголь составляет тогда для своих друзей ряд «правил» духовно-нравственного содержания, читает тетрадку своих юношеских извлечений из «Лествицы», делает новые выписки из творений Свв. Отцов, из поучений современных духовных пастырей, перечитывает Библию. В Ницце Гоголь составляет и свои выписки из богослужебной Минеи. В его бумагах сохранилась целая тетрадь переписанных им собственноручно церковных песней и канонов — около ста листов. Из этой тетради следует, что Гоголь прочел Минеи за полгода (с сентября по февраль) и сделал выписки на каждый день (см. в т. 9 наст. изд.). Этому труду предшествовала просьба Гоголя в письме к С. Т. Аксакову от 13 марта (н. ст.) 1843 года прислать ему «молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные Отцами Церкви, пустынниками и мучениками».

В. А. Чаговец в 1901 году указывал: «В научно-литературном отношении немалый интерес... представляет довольно объемистая тетрадь извлечений из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви, писем некоторых духовных лиц, современников поэта и мн. др. Эта книжечка представляет точную копию, сделанную Ольгой Васильевной <младшей сестрой писателя> с такой же тетрадки, написанной рукой самого поэта, но в настоящее время куда-то исчезнувшей... Ввиду того, что некоторые места ее очень близко подходят к мыслям Гоголя в рассуждении о Божественной Литургии, научное исследование ее представляется в высшей степени любопытным. — Не считая себя компетентным в исследовании этой рукописи, чисто богословского характера, мы передали ее профессору Духовной академии В. З. Завитневичу» (*Чаговец В.* На родине Гоголя (Реликвии) // Киевская Газета. 1901. 21 окт. № 291. С. 4). По-видимому, именно об этой рукописи М. И. Гоголь-Яновская сообщала в письме к С. П. Шевыреву из Киева от 12 августа 1852 года: «Если увидитесь с Графиней Толстой и ее супругом, то, пожалуйста, извините меня пред ними, что при этом случае не пишу к ним, ожидая, покуда перепишет дочь моя Ольга тетрадку, списанную покойным моим Ангелом сыном, которые привезла племянница моя М<ария> Николаевна Синельникова, приехавшая скоро по отъезде вашем, я еще и сама не прочла ее, потому что долго ее не возвращали, а у нее написана довольно толстая книга, мне кажется, и вам бы нужно пересмотреть ее, не нужно ли чего напечатать из нее. Собираясь скоро по отъезде моих гостей выезжать сюда, не успела прочесть» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 7).

Статья В. А. Чаговца была перепечатана в 1903 году в киевском сборнике «Памяти Гоголя», однако упоминание о передаче рукописи В. З. Завитневичу в новое издание статьи не вошло (см.: *Чаговец В.* На родине Гоголя // Памяти Гоголя. Отд. 5. С. 36). В. З. Завитневич в статье «Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни», опубликованной в том же сборнике, в свою очередь, не упомянул о гоголевских выписках (отметив лишь, что в период, предшествовавший изданию «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь «с большим, чем прежде, усердием стал читать Священное Писание, Отцов и Учителей Церкви и другие подходящие сочинения...»). В начале статьи В. З. Завитневич заявлял: «В. И. Шенрок, переходя в четвертом томе своих “Материалов для биографии Гоголя” к обзору его жизни за последнее десятилетие, обращается к “специалистам богословия” с предложением высказаться по касающимся их специальности вопросам, тесно связанным с жизнию великого писателя за этот промежуток времени. Мы, однако же, думаем, что специалистам богословия тут нечего делать. Дело в том, что Гоголь, будучи великим художником, был далеко не великим мыслителем. Следя за проявлением его религиозной мысли, выносишь то убеждение, что большинство философско-богословских вопросов, так глубоко волновавших наше современное

ему передовое общество, прошло мимо его; по крайней мере, на его теоретическом развитии не видно работы серьезной философско-богословской мысли. Его религиозное мировоззрение и по характеру затрагиваемых вопросов, и по приемам решения их не выходит за пределы элементарного катехизиса» (*Завитневич В.* Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни // Памяти Гоголя. Отд. 2. С. 415, 338–339).

В 1902 году копия гоголевского сборника выписок из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви была передана В. А. Чаговцем профессору Н. И. Петрову, который и сделал первое описание сборника (см.: *Петров Н. И.* Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя (К 50-летию со дня его смерти). Читано в заседании Церковно-Исторического и Археологического Общества при Киевской духовной академии 19 февраля 1902 года // Труды Киевской духовной академии. 1902. № 6. С. 270–283). «Литургических выписок, — полагал Н. И. Петров, — в сборнике Гоголя сравнительно немного. Первое место между ними занимает выписка из сочинений Иеремии, Патриарха Константинопольского, о Литургии, где проводится та мысль, что все священнодействия Литургии означают различные акты домостроительства Божия о нашем спасении и возгревают в нас веру и любовь... Выписка из творений св. Афанасия Александрийского "о молитве святых" развивает ту мысль, что мы молимся словами готовых молитв и песнопений церковных, прибегая, чрез это самое, под кров их молитв и глаголавшего чрез них Св. Духа... Статья "О Русской Церкви" доказывает, что одно уже богослужение и частные требоисправления способны были освящать и поучать русский народ и внедрять в него благочестие, вследствие чего Русская Церковь и Русская Земля, несмотря на недостаток образования, имеют целые сонмы отечественных святых и обилие благодатных знамений... Но мысли этих отрывков весьма слабо отразились в известном литургическом сочинении Гоголя "Размышления о Божественной Литургии". Последнее написано по особым, специальным источникам ("Сочинения Н. В. Гоголя", издание 10, под редакцией Н. Тихонравова и В. Шенрока. Т. VI, 1889 г., стр. 417 и 589–594. В числе изданий не упомянуто здесь издание П. П. Демидова, князя Сан-Донато, под редакциею протоиерея А. Ф. Хойнацого. С.-Петербург, 1882 года. — Примеч. Н. Петрова. — *И. В.*), из числа коих в настоящем сборнике приводится только отрывок из творений Иеремии, Патриарха Константинопольского, о Литургии. Основная мысль этого отрывка служит руководственною мыслию и "Размышлений о Божественной Литургии" Гоголя. Из этого отрывка могли быть взяты Гоголем мысли о том, что вынос Евангелия обозначает явление Спасителя первоначально еще не всенародное, а вынос Даров — совершенное и окончательное...» (Там же. С. 276–277).

В 1911 году студент IV курса Киевской духовной академии священник Косма Петрушевский в курсовом сочинении «Выписки

Н. В. Гоголя из творений Свв. Отец и из сочинений духовных писателей как материал для определения его религиозно-нравственных воззрений» также отметил в сборнике Гоголя ряд «литургических» выписок, прежде всего отрывок «О Литургии (Иеремии, Патриарха Константинопольского)», извлеченный из статьи 1-й части «Христианского Чтения» за 1842 год — «Святейшего Иеремии, Патриарха Константинопольского Ответ лютеранам. Об употреблении Таинств». Вслед за Н. И. Петровым о. Косма Петрушевский указывал: в этой выписке «проводится та мысль, что “каждое священнодействие, совершаемое на Божественной Литургии, означает какое-нибудь дело земной жизни Спасителя; в частности, вынос Евангелия обозначает явление Спасителя первоначально еще не всенародное, а вынос Даров — совершенное и окончательное”... Повторение этих мыслей св. Иеремии Константинопольского мы находим в известном литургическом сочинении Н. В. Гоголя “Размышления о Божественной Литургии”, где мы читаем: “Священник и диакон снимают с престола Евангелие и несут его к народу... Собрание молящихся взирает на Евангелие, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди... Вынос Даров на великом входе означает явление И<исуса> Христа совершенное и окончательное» (*Петрушевский К., иерей.* Выписки Н. В. Гоголя из творений Свв. Отец и из сочинений духовных писателей как материал для определения его религиозно-нравственных воззрений // Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины (Киев). Ф. дис. 2165. Л. 242–243). Следует добавить, что заключенная в указанной выписке мысль о том, что все созерцаемое на Литургии «освящает душу», для чего «домостроительство нашего спасения» и «выражено было для нас в образах», перекликается со словами Гоголя в «Размышлениях...» о том, что Литургия «нечувствительно строит и создает человека».

«Что же касается других литургических выписок (напр<имер>, “О молитве святых” св. Афанасия Александрийского и “О Русской Церкви” Яхонтова), то, — повторял о. Косма Петрушевский слова Н. И. Петрова, — мысли этих отрывков весьма слабо отразились в сочинении Гоголя “Размышления о Божественной Литургии”» (Там же. Л. 244).

Последнее суждение нельзя признать справедливым. Именно с прочитанной Гоголем зимой 1843/44 года в журнале «Христианское Чтение» анонимной статьей «О православии Российской Церкви» (И. К. Яхонтова) (1843. Т. 3), а также со статьей А. Н. Муравьева «О Литургии» (в свою очередь напечатанной в «Христианском Чтении» без имени автора — 1841. Т. 1) связано начало работы Гоголя над новым сочинением. Более глубокое осознание Гоголем благодаря статье И. К. Яхонтова значения богослужения в просвещении русского народа, вероятно, послужило прямым толчком к созданию книги о Литургии. (Интересно отметить, что именно Иоанн Константинович Яхонтов, впоследствии протоиерей, известный

духовный писатель, член Сант-Петербургского комитета духовной цензуры, принимал участие в 1856 и 1857 годах в обсуждении книги Гоголя в цензуре; см. ниже.)

Зимой 1843/44 года Гоголь сделал из статьи И. К. Яхонтова выписку «О Русской Церкви», которая во многом проясняет замысел его книги о Литургии. В числе прочего Гоголь выписал из статьи следующие строки: «Посредством Богослужения Религия Христианская проникла в самую жизнь, в самое сердце Русского народа, и едва ли мы найдем другой пример, где Религия и Церковь так тесно были соединены с гражданскою и семейною жизнию, как у нас». Особое значение для Гоголя приобрела притча Спасителя о сеятеле, толкование которой он включил в текст своих «Размышлений...», — именно слова о «доброй почве, дающей плод — ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят»: о тех, «которые все принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе...». «Эта добрая почва — русская восприимчивая природа», — пояснял позднее Гоголь в письме к графине А. М. Виельгорской от 30 марта 1849 года.

Как показывает изучение гоголевского сборника, помимо отрывка «О Литургии (Иеремии, Патриарха Константинопольского)» и выписки из статьи И. К. Яхонтова Гоголь использовал в работе над книгой еще целый ряд выписок, внесенных им зимой 1843/44 года в сборник «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви».

Так, строки Гоголя: «Кто бы он ни был сам, — Петр или Иван, — но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно свершает Он его в лице Своих иереев...» — восходят к гоголевской выписке «О почитании священника, хотя бы и погрешающего (св. Иоанна Златоуста)» из «Ответа лютеранам» Святейшего Иеремии, Патриарха Константинопольского, «О том, что в Церкви вместе с добрыми есть и непотребные»: «Во всем действует и все делает Сам Бог, а священник совершает только видимое знамение. Так и приношение всегда одинаково, хотя бы совершил его какой-нибудь приходский священник <хотя бы Павел, хотя бы Петр>, всегда есть то же самое, которое преподал ученикам Христос и которое совершают теперь священники». Выписка сделана из 1-го тома «Христианского Чтения» за 1842 год. В угловых скобках поставлены слова, пропущенные Гоголем.

Другая фраза Гоголя: «Как по слову: *да будет свет*, свет сияет вечно; как по слову: *да произрастит земля былие травное*, произращает его вечно земля», — представляет сокращенное изложение гоголевской выписки «О Святых и Непорочных Таинствах Господних (св. Иоанна Дамаскина)» из 1-го тома «Христианского Чтения» за 1841 год: «Ежели слово Божие живо и действенно (Евр. 4, 12); ежели Господь все, что восхотел, соделал (Пс. 134, 6); ежели Он сказал: да будет свет, и происшел свет; да будет твердь, и произошла твердь (Быт. 16, 3); ежели Словом Господним небеса утвердились,

и Духом уст Его — вся сила их (Пс. 32, 6); ежели Словом Господа совершились небо и земля, воды, огонь и воздух, и вся их красота, и сие благороднейшее животное, которое есть человек; ежели Бог Слово, восхотев, соделался человеком, и из чистых и непорочных кровей Святыя Приснодевы составил Себе плоть: то не может ли Он и хлеб сделать Своим Телом, и вино с водою — Кровию? В начале Он сказал: да прорастит земля былие травное, и — земля, даже до ныне, орашаясь дождем, производит собственные произведения, будучи к тому и побуждена, и укрепляема Божиим велением. Так и здесь, Бог сказал: *сие есть Тело Мое, сие есть Кровь Моя, сие творите в Мое воспоминание;* и — по всемогущему Его велению так бывает, пока Он приидет; <ибо так сказано: *дондеже приидет*> (1 Кор. 11, 26), — бывает потому, что чрез призывание приходит на сие новое земледелие дождь, то есть осеняющая сила Святаго Духа».

Слова в «Размышлениях о Божественной Литургии»: «На престоле — не образ, не вид, но самое Тело Господне...», — также восходят к выписке Гоголя «О Святых и Непорочных Таинствах Господних (св. Иоанна Дамаскина)»: «Но хлеб и вино не есть образ Тела и Крови Христовой: да не будет; но есть самое Тело Господне обоженное, потому что Сам Господь сказал: *сие есть* не образ тела, но *Тело Мое*, и — не образ крови, но Кровь».

Содержание той же выписки «О Святых и Непорочных Таинствах Господних (св. Иоанна Дамаскина)» отзывается и в следующих словах Гоголя: «Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку»: «Употребляется хлеб и вино по следующей причине. Бог ведает немощь человеческую, как она много, что необычайно для ней, отвращается и гнушается; посему, употребив обыкновенное Свое к нам нисхождение, Он чрез обыкновенное по естеству творит то, что превыше естества. Как в крещении — поелику для людей обыкновенное дело мыться водою и мазаться елеем, то Он, соединив с елеем и водою благодать Духа, соделал сие банею возрождения: так и здесь — поелику для людей обыкновенное дело есть хлеб и пить воду и вино, то, соединив с ними Свое Божество, (Иисус Христос) сделал оные Своим Телом и Кровью, дабы чрез обыкновенное и естественное ввести нас в то, что превыше естества».

Не замеченной Н. И. Петровым и о. К. Петрушевским осталась и явная реминисценция в «Размышлениях о Божественной Литургии» выписки Гоголя «Мария как преобразовательница верховная смирения (Преосвящ<енного> Владимира <Алявдина>)»: «*Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея* (Лк. 1, 46–47). Вот песнь Марии Богу, или, лучше сказать, песнь, которую Сам Дух Святой воспел Ее устами... Не говорит Она: яко призрел Господь на Ея добродетели, на Ея чистоту, на Ея святость и на Ея смирение яко смирение и яко исполняемую Ею добродетель, ничего более, но *яко призре на смирение рабы Своея.* Бог Отец взирает на Марию... и сей взор

благоволения и любви производит в Ней существенное воплощение Слова... Смирися, смирися, о человек! И Бог, Иже высок есть и смиренныя призирает, и воззрит такожде на уничиженную душу твою с благоволением и любовью, и сей взор низведет в душу твою свет благодати и духовное воплощение, или, как говорит Апостол Павел: вообразование в нас Иисуса Христа (Гал. 4, 19)». Строки Гоголя в книге о Литургии представляют собой, по сути, пересказ этой выписки: «А высокое преимущество Ее пред всеми и почему на Нее упал выбор, объясняется Ее же словами. Когда возвещена была Ей ангелом великая весть, не знала Она, за что такая радость досталась Ей, не нашла в Себе ни одного достоинства и умела только сказать: "Величит душа Моя Господа, яко призрел на смирение рабы Своей". Сам Дух Божий славил Себя в этой песни и возвестил устами Девы высокую тайну смирения и что смиренья требует от нас Бог. Одно воззренье Того, Иже на смиренныя презираяй, одно воззренье Божие на смиренье рабы Своей произвело в Ней существенное воплощенье Слова Божия. Да внесет каждый из предстоящих смиренье в душу свою и совершится в нем также духовное воплощение Самого Христа по слову апостола: "Сам Христос вообразится в нем"». Заключенная в этих строках идея духовного воплощения является, по замечанию Л. Амберга, определяющей для гоголевских «Размышлений...» (*Amberg L.* Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogol'. Bern; Francfurt am Main; New York; Paris: Lang: Slavica Helvetica. Bd. 24. 1986. S. 221). Помимо приведенного отрывка этой идеей проникнуты еще несколько гоголевских выписок из Свв. Отцов и Учителей Церкви.

Отзывается в «Размышлениях...» Гоголя и содержание его выписки «Вера среди жизни нашей (Преосвященного Гедеона <Вишневского>, Епископа Полтавского»): "Всяк убо, иже слышит словеса Моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени: и сниде дождь, и придоша реки, и возвеяша ветри, и нападоша на храмину ту: и не падеся, основана бо бе на камени" (Мф. 7, 24). Когда Вера святая есть основание жизни, тогда у нас все истинно, все праведно, все блаженно; тогда душа наша является в прекрасных добродетелях пред Богом, пред Церковию, пред Помазанником, пред Отечеством, пред званием, пред собою...»

Статья «О Литургии» известного духовного писателя А. Н. Муравьева, прочитанная Гоголем в первом томе «Христианского Чтения» за 1841 год, была избрана им в качестве практического руководства — как образец стиля для создания духовного произведения, предназначенного широкому читателю, и как краткое пособие для последовательного изложения хода Литургии. Использование Гоголем этой статьи устанавливается также в результате текстологического анализа.

| <*Муравьев А. Н.*> О Литургии // Христианское Чтение. 1841. Ч. 1.: | *Гоголь Н. В.* Размышления о Божественной Литургии: |
|---|---|
| «...открытием Царских врат отверзаются для нас как бы врата Небесного Царствия, и в образе предносимого Евангелия исходит Сам Спаситель на дело Божественной проповеди, тесною северною дверью, как бы неузнанный еще, на средину церкви; оттоле же возвращается торжественно во святилище Царскими вратами...» (с. 98–99); | «...торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного... Собранье молящихся взирает на Евангелие... как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит Он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами»; |
| «...как бы в глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Пресвятыя Троицы...» (с. 101); | «...как бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятыя Троицы...»; |
| «...исповедует он и вездесущее Божество Погребенного... и, предвидя всю славу, какою облечется гроб сей, взывает...» (с. 111); | «...вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе... И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит...»; |
| «...к сим молитвам присоединяет прошения другие, о которых умиленно взывают верные...» (с. 112); | «...переходят в те прошенья, какие только одни верные... возносят к Господу...»; |
| «...сложивший на себе крестообразно орарь свой, как слагают ангелы свои крылья, закрывая ими свои лица пред неприступным светом Божества...» (с. 125–126); | «...опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества»; |
| «...должны они быть святы для принятия предлежащей святыни...» (с. 126); | «...нужно быть святым для принятия святыни...»; |
| «...вливает в чашу несколько теплой воды, для большего подобия теплоты Крови...» (с. 127); | «...чтобы... теплота послужила подобием теплоте Крови...»; |

| | |
|---|---|
| «Тогда отверзаются в последний раз врата царские, как бы врата небесные... ими исходит Царь славы и Господь Сил, чтобы дать Себя в снедь верным и... возвести их в дом Отца Своего... С чашею Божественных Тела и Крови... диакон... громко взывает ко всей церкви: *со страхом Божиим и верою приступите*» (с. 129–130). | «И разверзаются в последний раз царские врата, возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: *со страхом Божиим и верою приступите*, и в ее отнесении изобразуется исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего». |

Гоголь, скорее всего, знал, кто был автором статьи «О Литургии». Сам Муравьев называет себя в статье автором «писем о Богослужении», то есть книги «Письма о Богослужении Восточной Кафолической Церкви», изданной к тому времени под его именем уже трижды (третье издание — СПб., 1839 — было выслано Гоголю в числе прочих книг в Рим М. П. Погодиным в июле 1841 года; см.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 805): «Хотя в письмах о Богослужении старался я, по мере тесного их объема и моих понятий, изобразить постепенный ход Литургии; однако же истолкование сие представляется тебе неудовлетворительным, как по самой краткости, так и потому, что ты мало ознакомлен с служением архиерейским, мною описанным. Итак, покушаюсь, еще однажды, изложить перед тобою порядок и значение Божественной службы...» (<*Муравьев А. Н.*> О Литургии // Христианское Чтение. 1841. Ч. 1. С. 77). Впоследствии статья «О Литургии» вошла в качестве приложения в те же «Письма о Богослужении...» (см.: <*Муравьев А. Н.*> Письма о Богослужении Восточной Кафолической Церкви. 9-е изд. СПб., 1863. С. 327–357). (Следует также отметить, что объявление о продаже «Писем о Богослужении Восточной Церкви» Муравьева и отдельного издания его статьи «О Литургии» имеется в газете «Ведомости Санкт-Петербургской Городской Полиции» от 10 февраля 1844 года, экземпляр которой сохранился в бумагах Гоголя (*РГБ*. Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 78). Здесь же упоминаются «Краткое изъяснение на литургию» протоиерея Г. И. Мансветова (3-е изд., 1837), его же «Поучение, как стоять в церкви, во время Божественной Литургии» (СПб., 1836) и «Краткое толкование на Литургию» протоиерея И. И. Воскресенского (5 изд., 1830-х — нач. 1840-х гг.); см.: Частные объявления // Ведомости С.-П.-бургской Городской Полиции. 1844. 10 февр. № 30. С. 3.)

В этой связи необходимо коснуться вопроса об отношении Гоголя к А. Н. Муравьеву. Согласно дневниковой записи Ф. В. Чижова, Гоголь 27 декабря 1842 года говорил о произведениях Муравьева,

что «язык его вял» (Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 780). На следующий день, 28 декабря, Чижов записал в дневнике: «Заходил я к Языкову; разговорившись о Муравьеве, он говорит: “Ну что Гоголь городит, что язык Муравьева дурен, это все оттого, что он Пушкина партии, даже он почти не читал Муравьева”. Это к сведению... Читаю Муравьева. Действительно, не вяло, а натянуто, и к тому же у него нет уменья владеть языком, множество ошибок и недоглядок в языке, множество неясностей; вообще требовалось бы сильно его выправить. Ко всему этому у него нет такту...» (Там же). Позднее Ф. В. Чижов вспоминал: «Не помню, как-то мы заговорили о М<уравье>ве, написавшем “Путешествие к Святым Местам” и проч. Гоголь отзывался о нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка. С большею частию этого я внутренне соглашался, но странно резкий тон заставил меня с ним спорить. Оставшись потом наедине с Языковым, я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости М<уравье>ву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей Церкви. Языков отвечал: “М<уравье>ва терпеть не мог Пушкин. Ну а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповеднею и едва только не ненавистью”» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 326–327). В связи с этим следует заметить, что Языков в свою очередь был невысокого мнения о стиле произведений А. Н. Муравьева. Откликаясь в 1845 году на просьбу Гоголя прислать ему книгу А. С. Норова «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» (2-е изд. СПб., 1844. Ч. 1–2), Языков писал: «Путешествие А. Норова в Иерусалим я уже отдал Аксаковым, которые имеют с кем переслать его к тебе: оно мне очень понравилось: это не муравьевское! Книга дельная, ученая и необходимая всякому паломнику» (письмо от 12 июня 1845 года). Между тем уже к 1843 году Гоголь изменил свое мнение о Муравьеве. А. О. Смирнова вспоминала: «Андрей Николаевич... писал о Православной Церкви, познакомил невежественную публику с сокровищами Православия. Гоголь очень уважал его труд и говорил: “Вот человек, который исполнил долг пред Богом, Церковью и своим народом”» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 193).

Одним из главных пособий в работе над книгой служило Гоголю также уже упоминавшееся «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию...» И. И. Дмитревского с приложением «Таинственного толкования на Литургию Блаженного Симеона, Митрополита Фессалоникийского». В подстрочном примечании к «Предисловию» Гоголь ошибочно называет И. И. Дмитревского Дмитриевым и здесь же упоминает о толковании Симеона Солунского (Фессалоникийского). Помимо этого, Гоголь ссылается на сочинения святых Патриархов Константинопольских Германа и Иеремии, святителя Николая Кавасилы (митрополита Солунского), а также Старую и Новую Скрижаль.

Скрижаль — толкование Литургии и других церковных служб, составленное греческим иеромонахом Нафанаилом, переведенное на русский язык Арсением Греком и помещенное патриархом Никоном в предисловии к новоисправленному Служебнику. Новая Скрижаль — выдержавшая несколько изданий книга преосвященного Вениамина (Румовского-Краснопевкова): «Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского. В 4 частях» (М., 1803). Ср. помету в записной книжке Гоголя 1841—1846 годов: «Новая скрижаль, преосвящ<енного> Вениамина». В безымянной рецензии на седьмое издание книги преосвященного Вениамина 1848 года, опубликованной М. П. Погодиным в № 10 «Москвитянина» за 1848 год (цензурное разрешение 22 сентября) отмечено: «Автор, при составлении книги, главным образом руководствовался Гоаровым Rituale Graecorum, или, как сам он говорит, сочинениями Симеона Солунского и Германа Цареградского, из которых Гоар вычерпал все для своего обрядника или требника» (с. 90).

В записной книжке 1841—1846 годов Гоголь также отметил: «О предании Божественной Литургии, св. Прокла» (подразумевается архиепископ Константинопольский Прокл, ученик святителя Иоанна Златоуста, автор не дошедшего до нас в полном виде сочинения о древней Литургии св. апостола Иакова, брата Господня).

Мог быть известен Гоголю и цикл статей «О богослужении Православной Церкви», опубликованных в 1842—1843 годах без имени автора в киевском еженедельнике «Воскресное Чтение» (1842—1843. № 17–19, 21, 23, 25, 28, 33, 40, 45, 46, 52; цензурное разрешение последнего номера 12 февраля 1843; в № 25 помещено краткое толкование Литургии под названием «О Божественной Литургии» — с. 211–218; здесь же имеется библиографическая ссылка: «Желающие полнее изучить Литургию могут читать *Новую Скрижаль* преосв<ященного> Вениамина и *Краткое изъяснение на Литургию* протоиерея Гр<игория> Мансветова (С.П.Б. 1837, изд. 3)» — с. 212). (О знакомстве Гоголя с этим периодическим изданием см. упоминание А. О. Смирновой в письме к Гоголю от 30 января 1845 года из Калуги: «В книжной лавке Иванова... я взяла для вас “Воскресное Чтение” за весь прошлый год...»)

Работа над толкованием Литургии на первом этапе совершалась, очевидно, исключительно по книгам. Православного храма в Ницце не было. (Русская церковь во имя свт. Николая Чудотворца и святой царицы Александры была заложена здесь только в 1858 году.) 11–12 марта (н. ст.) 1844 года Гоголь писал Н. Н. Шереметевой из Ниццы, что вскоре собирается отправиться в Штутгарт «с тем, чтоб там в русской церкви нашей говеть и встретить Пасху» (датировка письма уточнена). О намерении встретить Пасху в Штутгарте Гоголь сообщал и С. П. Шевыреву в письме из Ниццы от 12 марта (н. ст.) 1844 года: «Я еду говеть и встретить Пасху

в Штутгарт. Оттуда во Франкфурт к Жуковскому...» В заключение письма к Шевыреву Гоголь, однако, получив от протоиерея Иоанна Певницкого извещение (от 6 марта н. ст.), что богослужения Страстной седмицы и празднование Пасхи будут совершаться не в Штутгарте, а в Дармштадте (см.: *РГАЛИ.* Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1326. Л. 3–4; опубл.: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 282), сделал приписку: «Церковь наша из Штутгарта переправляется в Дармштат, и поэтому я <не> еду в Штутгарт. Во всяком случае адресуй во Франкфурт на имя Жуковского». 19 марта (н. ст.) 1844 года Гоголь выехал из Ниццы в Дармштадт. По дороге, 20 марта (н. ст.), он сообщил А. О. Смирновой из Экса: «Говеть я буду в Дармштадте, а не в Стутгарте, куда переносят для великой княгини церковь на время поста». В письме из Дармштадта от 2 апреля (н. ст.) 1844 года Гоголь обратился к Н. М. Языкову с просьбой о присылке духовных книг, в том числе относящихся к богослужению: «Если в сочинения Иннокентия не включена книга его: "*Обозрение богослужебных книг Греко-Российской Церкви*", то купи также и эту книжку». 6 июля 1844 года Н. М. Языков извещал Гоголя: «Книжку "*Обозрение богослужебных книг Грекороссийской Церкви*", я насилу отыскал в Москве; вот почему и не послал ее с Мельгуновым: ты получишь ее вместе с моими стихами». В письме от 6 ноября (н. ст.) из Парижа граф А. П. Толстой спрашивал Гоголя: «О какой именно книге вы говорите, с молитвами заупокойными? Я ничего, кроме панихиды и обедни заупокойной, не знаю».

Работа над книгой о Литургии была продолжена в начале 1845 года, когда Гоголь гостил у графа А. П. Толстого в Париже. Об этом времени Гоголь спустя месяц после пребывания в Париже, 12 февраля (н. ст.) 1845 года, писал Н. М. Языкову: «Жил внутренно, как в монастыре, и в прибавку к тому, не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». 24 февраля (н. ст.) 1845 года он сообщал также А. О. Смирновой: «Я... провел эти три недели совершенным монастырем, в редкий день не бывал в нашей церкви и был сподоблен Богом и среди глупейших минут душевного состояния вкусить небесные и сладкие минуты...» После отъезда Гоголь писал о своем пребывании в Париже Н. Н. Шереметевой: «Я провел время хорошо. Был почти каждый день в нашей церкве, которая хороша и доставила мне много утешения...» (письмо от 14 марта н. ст. 1845 года). Тогда же он обращался к оставшемуся в Париже Толстому: «Не пропускайте ни одной обедни». Тот отвечал: «Говенье, между прочим, никому из нас не удается: без вашего посредства никто не умеет к священному подступиться» (письмо от 19 марта н. ст. 1844 года).

В дошедших до нас гоголевских рукописях в изложении последовательности хода Литургии имеется ряд ошибок, в свое время исправленных духовным цензором архимандритом Кириллом при первом издании книги. Наиболее существенная из этих ошибок заключается в том, что в гоголевском тексте оказался дважды

описанным момент причащения мирян, при этом второй раз не на своем месте. Эта ошибка была исправлена архимандритом Кириллом, который исключил из текста повторный фрагмент: «И разверзаются в последний раз царские врата, возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: *со страхом Божиим и верою приступите*, и в ее отнесении изобразуется исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего. Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь». Можно предположить, каким образом в гоголевском тексте появилось это описание. Приведенный отрывок во многом повторяет соответствующее место в статье А. Н. Муравьева «О Литургии» (см. выше). Думается, Гоголь, дополняя постепенно свое толкование Литургии новыми фрагментами, незаметно для себя передвинул выписку из статьи А. Н. Муравьева далее надлежащего ей места, и впоследствии, при изготовлении нового списка, она была переписана им механически. (О том, что создававшиеся в разное время фрагменты книги переписывались Гоголем с разрозненных подготовительных набросков, свидетельствует еще целый ряд менее значимых повторов в тексте гоголевского сочинения.)

Исходя из этих наблюдений можно предположить, что значительная часть сохранившихся рукописей книги относится к предшествующему периоду ее создания, ко времени пребывания Гоголя в Ницце зимой 1843/44 года. Повторы и ошибки в изложении последовательности хода Литургии должны были быть, как представляется, выправлены во время частого посещения Гоголем богослужений в Париже в начале 1845 года (Гоголь провел тогда в Париже полтора месяца — с 14 января н. ст. по 1 марта н. ст.). На этом основании шесть автографов книги о Литургии, хранящихся в *РГБ* (а это, за исключением «Вступления», практически весь дошедший до нас текст книги), следует датировать зимой 1843/44 года:

1) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 27 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. Каталог. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.) М., 1940. С. 43; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. М., 1889. Т. 4. С. 411, 606; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым и В. Шенроком. СПб., 1896. Т. 7. С. 892;

2) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 29 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 44; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4, примеч. к с. 413 на с. 606–607; С. 415–424, 593–594, 607–611; Т. 7. С. 891–892;

3) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 30 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 44; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 424–450, 594, 611–616; Т. 7. С. 892;

4) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 31 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 594–606, 450–462, 594; Т. 7. С. 892;

5) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 33 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 606; Т. 7. С. 892;

6) Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 32 — *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 463–464, 618–619; Т. 7. С. 892.

(Бумага одного из этих автографов — здесь написана Литургия оглашенных и большая часть Литургии верных: *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 30, — имеет фабричное клеймо: в середине прямоугольника под кругом слово «LONDON».)

Большая часть остальных рукописей, связанных с работой Гоголя над книгой о Литургии, появилась, вероятно, во время пребывания Гоголя в Париже в начале 1845 года. Здесь Гоголь пользовался библиотекой настоятеля русской посольской церкви протоиерея Димитрия Степановича Вершинского, о чем сообщал в письме к Н. М. Языкову от 12 февраля (н. ст.) 1845 года: «Священник наш хороший и умный человек и, благодаря ему, я не оставался без русских книг, которые были мне потребны и пришлись по состоянию души».

Протоиерей Д. С. Вершинский в ту пору работал над своим главным сочинением — «Месяцесловом Православно-Кафолической Восточной Церкви», — одним из первых научных трудов по литургике (книга была издана в Петербурге в 1856 году, но написана гораздо раньше — цензуру она проходила уже в 1845 году (см. выше), а в печатном издании под предисловием стоит дата: «Париж. 1846 г.»). (Позднее Гоголь предполагал отправиться с о. Димитрием в Иерусалим; см. письмо к нему Гоголя от 15 января (н. ст.) 1847 года.)

В Париже Гоголь принимается за изучение греческого языка, чтобы читать в подлиннике чинопоследования Литургии св. Василия Великого и Литургии св. Иоанна Златоуста. 29 марта 1845 года Н. М. Языков сообщал Гоголю из Москвы: «Здесь про тебя ходят слухи... что ты учишься по-гречески...» В этих занятиях Гоголю помогал отставной учитель-эллинист Ф. Н. Беляев, хорошо знавший греческий, латинский и церковнославянский языки. Он жил с 1841 года за границей в качестве наставника в одном из русских семейств. (Позднее Гоголь, по-видимому, встречался с ним в Москве. В его записной книжке 1846—1850 годов есть помета: «Беляев Федор Николаевич на Зубове». Беляев в ту пору занимал должность помощника библиотекаря Московского университета и жил на Зубовском бульваре в собственном доме; см.: *Земенков Б. С.*

Гоголь в Москве. М., 1954. С. 98–99.) В память совместной работы Гоголь подарил Беляеву греческий «Евхологион» (сборник молитв для церковного богослужения), изданный в Риме в 1754 году, с надписью: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и в наказание за неприятие Василия Великого, от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845» (Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 591). М. П. Погодин 19 марта 1845 года записал в дневнике: «Старик Беляев с письмом от сына. Вот славный Еллинист и может быть употреблен в Унив<ерситете>. — Гоголь учился у него в Париже по-Греч<ески>, и тот не взял с него денег» (*Погодин М. П.* Дневник. 1840—1845 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 33. Ед. хр. 1. Л. 71 об.).

В бумагах Гоголя сохранились две небольшие тетрадки, куда он внес крупным красивым почерком выписки из чина Литургии св. Иоанна Златоуста на греческом языке (2 листа; неполный текст первой великой ектении; *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 34; *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 590; Т. 7. С. 893) и на латинском языке — «Ordo sacrae ac Divinae missae patris nostri Joannis Chrysostomi» (8 листов; *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 37; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 590). Неполный текст латинского перевода проскомидии чина Литургии св. Иоанна Златоуста был списан для Гоголя неустановленным лицом (по предположению Тихонравова на основании почерка — лицом духовного звания) — «Ordo sacrae ac Divinae missae patris nostri Joannis Chrysostomi» (20 листов; *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 38; *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 590; Т. 7. С. 893).

Для выписок из чина Литургии св. Иоанна Златоуста на греческом языке была использована бумага с овальным тиснением, по окружности которого изображены корона и клеймо «В. Г. П. У. Ѳ. Сергиевской», а в овале, на выпуклых полосках — готические буквы «Е. С.», что означает: Евграф Солеников Владимирской губернии Покровского уезда фабрики Сергиевской (то есть указывается на местоположение фабрики и ее владельца — Е. Н. Соленикова, содержавшего бумажную фабрику в 1820—1860 годах в селе Сергиевском Покровского уезда Владимирской губернии; см.: *Клепиков С. А.* Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959. С. 108, 155). Такая же бумага была использована Гоголем в октябре–декабре 1841 года для изготовления цензурного списка первого тома «Мертвых душ» и списка «Тараса Бульбы» (см.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. С. 456–457). На такой же бумаге Гоголь в первой половине 1840-х гг. начал переписывать для себя (а также для А. О. Смирновой) Псалтирь — записи остановлены на 3-м, на 6-м, на 9-м и на 11-м псалмах (*РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 44). Кроме того, на бумаге с клеймом «В. Г. П. У. Ѳ. Сергиевской» написан черновик начала письма Гоголя к неустановленному лицу — предположительно 1842 года («Я не отвечал вам скоро после получения вашего

письма...»; *РНБ.* Ф. 199. Ед. хр. 4. Л. 59), и выписка «Слова Николая Алексеевича Полевого о Пушкине» из рецензии Н. А. Полевого на посмертное издание сочинений Пушкина, опубликованной в 1842 году в первом номере журнала «Русский Вестник» (*РГБ.* Ф. 3. ГАИС. III. К. 2. Ед. хр. 49а; опубл.: Неизданный Гоголь. С. 168).

Возможно, в Париже был сделан для Гоголя еще один список чина Божественной Литургии: «Божественная Литургия из Чиноположений Апостольских, переведенная и древних Святых Отцев свидетельствами утвержденная» (28 листов; список рукою неизвестного лица; *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 36; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 592; Т. 7. С. 896. № 3). Бумага имеет фабричный штемпель: в средине овала под короной слова в две строки «BATH», «FINI» (вероятно, приобретена Гоголем в Риме). Подобная бумага — с различными штемпелями «BATH» — употреблялась в 1841—1842 годах в переписке российского посольства в Риме; см.: *АВПРИ.* Ф. 190. Оп. 525. Ед. хр. 552. Л. 34д; Ед. хр. 565. Л. 244, 349, 351. На бумаге со штемпелем «BATH» написаны также авторизованная копия второй редакции «Ревизора», авторизованная копия «Отрывка из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора”...», авторизованная копия «Двух сцен, выключенных как замедлявших течение пиесы», черновой автограф «Предуведомления» к предполагавшимся изданиям «Ревизора», черновой автограф «Предуведомления для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”»; *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2003. Т. 4. С. 548, 818, 833, 840, 855.)

Покинув Париж 1 марта (н. ст.) 1845 года, Гоголь спустя четыре дня в письме к Ф. Н. Беляеву из Франкфурта от 5 марта (н. ст.) напоминал ему о том, что ждет от него список чина Литургии св. Василия Великого на латинском языке, и просил также передать просьбу о. Димитрию Вершинскому сделать для него выписку о каждении из известной тому книги (письмо к Беляеву было отправлено через графа А. П. Толстого): «Повторяю вам еще раз (чтобы вы не задавали себе двойной работы и труда), что мне Литургия Василия Великого нужна только на латинском. Если ж разберет вас до такой степени неугомонное желание написать и на греческом, то не пишите в два столбца, но постранично. Т. е. на правой стороне греческ<ий>, на левой латинск<ий>, а формат чтобы был не больше сей осьмушки, на которой пишу вам эту записку. Попросите также священника нашего... чтобы он списал для меня собственноручно стихи Филарета в ответ Пушкину и на том же самом листочке почтовой бумаги небольшую выписку из книги, которую я у него брал за день до моего отъезда и в которой собраны некоторые статьи относительно богослужения. Из этой книги я прошу у него выписать о фимиаме и кадиле. Заглавие статьи, кажется: *каждение*, а объем ее: печатная страница [пет<ита>] с хвостиком. Это весьма удобно может быть мне переслано в письме...» На подлиннике этого письма Гоголя Беляев пометил: «Получено в Париже — марта 1845 года».

Беляев собственноручно списал в тетрадку небольшого формата (14 × 10,9) четким почерком, черными и красными чернилами, греческий текст Литургии св. Василия Великого, с параллельным латинским текстом (в два столбца, слева греческий текст, справа латинский), — «ΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ» (л. 1), — украсил текст буквицей (л. 2) и заставкой (л. 2 об.) и на последнем листе (л. 40) сделал дарственную надпись славянской вязью, в четыре строки: «НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОГОЛЮ, ВЪ ЗНАКЪ ПАМЯТИ ЛЮБВИ И ПОЧТЕНЇЯ, ОТ ФЕОДОРА БЕЛЯЕВА. ПАРИЖЪ. МАРТА SI <16> ДНЯ.҂аѿмє <1845> ГОДА» (40 листов; *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 35; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 591–592). 20 марта 1845 года Беляев писал Гоголю: «Письмо ваше я имел честь получить, но уже тогда, когда *меня разобрало неугомонное желание* (а я прибавлю: и душевное удовольствие) и когда я вследствие сего написал уже большую половину Литургии Василия Великого на греческом и на латинском в два столбца. Я не стал переписывать вновь... если вам угодно, то очень легко можно вставить между страницами и славянский текст, стоит только расшить мою тетрадь и опять сшить... На греческий же я переписал (хотя вам греческий, может быть, и не нужен) как бы в возмездие за то лишение, которое, может быть, вы испытали, предоставив мне исправное римское издание. Но и в нем есть ошибочки, напр<имер> в первом слове на первой строке 82-й страницы вм<есто> μεταβαλών напечатано μεταβαλην, а может быть, найдутся и другие. Зато я в своем списке, посылаемом к вам, старался всячески избежать ошибок, сличая для сего три издания и употребляя смысл. Пунктуацию же я оставил Гоаровскую почти всю, не считая ее важным делом (а признаться, из лени). — Если я найду такую же книгу, то к вам не премину ее доставить, а до сих пор еще не нашел». (Вероятно, Беляев так и не выполнил этого обещания. Ср. помету в записной книжке Гоголя 1846—1850 годов: «В Смирне купить... книгу Евхолог<ион>...») «Священник наш... — продолжал Беляев, — списал для вас собственноручно стихи Филарета, а выписку из книги посовестился сам списать, говоря, что почерк его руки не хорош. Эти два рукописания при сем имею честь приложить. Он искал и спрашивал в двух протестантских книжных лавках и у протестантского пастора Лютерова катехизиса на французском. (Ср. заметку в записной книжке Гоголя 1845—1846 годов: «У священн<ика>: Катех<изис> Лютера». — *И. В.*) Однако ж он говорит, что не потеряет этой книги из виду и все-таки будет искать, и если найдет, то к вам доставит этот. Наш священник, Дмитрий Степанович Вержинский <следует: Вершинский>, просил меня написать к вам, что он, как постоянный житель Парижа, все может, что только может, с большим удовольствием для вас исполнить... Списанную мною Литургию Василия Великого в обертке с золотым крестом, стихи Филарета, выписку из книги о каждении и это письмо я передал графу Толстому по вашему назначению для

доставления к вам и просил его не замедлить. Затем благодарю вас тысячекратно за то, что вы меня натолкнули на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в долгий ящик» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 347–349). Переданные Беляевым графу Толстому материалы Гоголь получил, вероятно, во Франкфурте в конце марта 1845 года.

Попытка написать книгу о Божественной Литургии была, однако, в 1845 году на время оставлена. «Не готов я был тогда для таких произведений, к которым стремилась душа моя… — признавался Гоголь А. О. Смирновой в письме 2 апреля (н. ст.) 1845 года. — Нельзя изглашать святыни, не освятивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу, и не будет сильно и свято наше слово, если не освятим самые уста, произносящие слово». Тем не менее слухи о новой работе Гоголя снова дошли до Москвы. 21 октября 1845 года Н. М. Языков извещал Ф. В. Чижова: «На днях была в Москве г-жа Смирнова... приятельница Гоголя: она объявила, что он написал какое-то богословское сочинение в 2-х томах, а о “Мертвых душах” у него, дескать, и помину нет» (*Афанасьев В. В.* Жизнь Николая Языкова по документам, воспоминаниям // *Языков Н. М.* Свободомыслящая лира. М., 1988. С. 319). (О том, что Гоголь работает над книгой о Литургии, А. О. Смирновой было известно. Позднее, после смерти писателя, брат Смирновой А. О. Россет в письме к ней от 10 апреля 1852 года из Вильно замечал: «Всего более мне жаль размышлений о Литургии; должно бы было быть прекрасно; если что появится, пришли, пожалуйста»; Русский Архив. 1896. № 3. С. 377.)

В процессе работы над книгой у Гоголя вызревает желание окончательно оставить поприще светского литератора и поступить в монастырь. В связи с этим надо рассматривать сожжение им в конце июня — начале июля (н. ст.) 1845 года второго тома «Мертвых душ» и приезд Гоголя 29 июня этого года в Веймар с целью обсудить свое желание уйти в монастырь с православным священником, протоиереем Стефаном Карповичем Сабининым. Об этом рассказывает в своих «Записках» дочь о. Стефана Сабинина Марфа Степановна Сабинина: «Гоголь... приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения… Он исповедовался вечером накануне своего отъезда, и исповедь его длилась очень долго» (Записки *М. С. Сабининой* // Русский Архив. 1900. № 4. С. 534–535).

Результатом стремления употребить дарованный талант по-новому, открыто поставив его на служение Богу и спасение людям, стали «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя (эта книга обнаруживает целый ряд перекличек с гоголевским толкованием

Литургии; см.: *Виноградов И. А.* Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. М., 2000. С. 370–387). Тем не менее работа над «Размышлениями о Божественной Литургии» продолжалась и позднее.

В письме к Смирновой от 4 июня (н. ст.) 1845 года из Гомбурга Гоголь просил приобрести для него «“Изъяснен<ие> Литургии”, недавно вышедшее, священника Нортова» — книгу протоиерея Василия Ивановича Нордова «Беседы на Божественную Литургию», напечатанную в Москве, в Университетской типографии (М., 1842 — цензурное разрешение 28 октября 1841 г.; 2-е изд. М., 1844 — цензурное разрешение 3 апреля). Объявление о книге протоиерея В. И. Нордова сделал еще в 1842 году М. П. Погодин, сообщая тогда же о выходе «Мертвых душ» и новом издании «Ревизора». На обороте обложки «Москвитянина» (1842. № 7 — цензурное разрешение 10 августа) было напечатано его сообщение: «В книжной лавке, учрежденной при Конторе журнала “Москвитянин”, поступили в продажу следующие книги: Похождения Чичикова… Москва, 1842 г. <…> Ревизор… Москва, 1841 г. <…> Беседы на Божественную Литургию. Москва, 1842 г.». В этом же номере журнала была опубликована и статья С. П. Шевырева «Об отношении семейного воспитания к государственному», которой Гоголь дал в письме к Шевыреву от 2 марта (н. ст.) 1843 года высокую оценку. Возможно, однако, что извещение Погодина о книге «Беседы на Божественную Литургию» внимания Гоголя в то время не привлекло.

15 июня 1845 года Н. М. Языков писал Гоголю из Москвы: «Надежда Николаевна <Шереметева> послала тебе молитву Ефрема Сирина — книжку, сочиненную пр<еосвященным> Иннокентием. По-моему, это одно из лучших, если не самое лучшее сочинение нашего великого иерарха». Речь идет об издании: Молитва св. Ефрема Сирина. Беседы на Святую Четыредесятницу (Харьков, 1844). В гоголевской книге о Литургии встречается реминисценция из этой книги. «…Что такое наше слово? Явно отпечаток слова Творческого, — писал святитель Иннокентий. — В Боге слово, и в человеке слово. Правда, что слово в Боге не то, что наше слово; в Боге оно есть самый отпечатленный образ существа Его, Единородный Сын Божий: но и в нас слово не праздный звук, и в нас оно есть отпечаток и образ нашего духа... словом человек видимо отличен от всех тварей, его окружающих… Чего не производило слово человеческое в чистом его виде, как оно было у святых Божиих человеков? останавливало солнце, заключало и отверзало небо, воскрешало мертвых» (Молитва св. Ефрема Сирина. Беседы на Святую Четыредесятницу. Харьков, 1844. С. 71–73). Ср. у Гоголя: «Каждый из собранья, сознавая, что и в нем, как в подобьи Божьем, есть та же тройственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего... молится... чтобы Бог... избрал его Своим храмом и пребываньем…»

Работа над книгой о Литургии была, очевидно, продолжена в Риме, куда Гоголь прибыл 24 октября (н. ст.) 1845 года и прожил здесь до 5 мая (н. ст.) 1846 года.

2 января 1846 года художник А. А. Иванов в письме к брату С. А. Иванову просил его купить для Гоголя в Париже с помощью графа А. П. Толстого молитвенник на древнееврейском языке (с переводом на французский): «Купи ты, пожалуйста, эту книгу для Гоголя. Ты, кажется, знаком с его знакомым в Париже, который с тобой посылает другие для него книги: Rituel des priéres journaliéres a l'usage des Israélites. Hébreu et français, traduction de S. Anspach; 1 vol. in $8^0$, 2-me édition, 4 fr.» (*Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880. С. 206). 18 апреля (н. ст.) 1846 года, спустя месяц после приезда С. А. Иванова в Рим, Гоголь писал Толстому: «Наконец, получил от вас письмецо от 4-го апреля; за месяц перед тем получил другое с Ивановым... Жаль, что не прислали мне Теологической энциклопедии с Литургиями: здесь нельзя достать, но, впрочем, все равно, перегляжу ее у вас в Париже». (Имеется в виду труд известного французского издателя святоотеческих творений аббата Ж. П. Миня (Migne) «Encyclopédie théologique, ou série des dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse»; Париж, 1844—1855, в 50 т.) В этот же день, 18 апреля (н. ст.) 1846 года, А. С. Стурдза встретил Гоголя в Риме, «в посольской православной церкви, среди умилительных и возвышенных молитвословий великого пятка» (*Стурдза А. С.* Дань памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя // Москвитянин. 1852. № 20. Отд. 1. С. 224). Во второй половине мая (н. ст.) 1846 года Гоголь, будучи проездом в Париже, побывал у графа А. П. Толстого, проведя здесь несколько дней.

21 или 22 апреля (н. ст.) 1846 года в пасхальном поздравлении Н. Н. Шереметевой Гоголь писал по поводу кончины ее дочери А. В. Якушкиной (жены декабриста И. Д. Якушкина) (1807 — 20 февраля 1846): «Мне скорбно было услышать об утрате вашей, но скоро я утешился мыслью, что для христианина нет утраты, что в вашей душе живут вечно образы тех, к которым вы были привязаны; стало быть, их отторгнуть от вас никто не может; стало быть, вы не лишились ничего; стало быть, вы не сделали утраты. Молитвы ваши за них воссылаются по-прежнему, доходят так же к Богу, может быть, еще лучше прежнего. Стало быть, смерть не разорвала вашей связи. Итак, Христос Воскрес, а с Ним и все близкие душам нашим!» Н. Н. Шереметева, получив письмо Гоголя, 8 мая 1846 года отвечала: «Согласна с вами, мой друг, что для христианина несчастие не существует, но лишение близких нашему слабому сердцу чувствительно, и не чувствовать горя невозможно, лишь бы печаль была тихая, с безусловною покорностию к Тому, от Кого все ниспосылается и Которой знает, кому что нужно... И я не о своем горе думаю, а молю Бога всегда, да упокоит душу ея во Царствии Небесном и не оставит Своим Отеческим Покровом ея семейства... Ваша правда, что в душе живут вечно, к которым были привязаны. Любовь

и молитва нас соединяет и с отсутствующими, и с отшедшими отсюда душами...» (*РГБ.* Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 75). Вероятно, эти строки переписки Гоголя с Шереметевой и отразились в строках его толкования Литургии: «Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву... разлуки нет между живущими в Боге... и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви».

Зиму 1846/47 года (со второй половины ноября по 11 мая н. ст.) и первую половину зимы 1847/48 года (с 20 ноября н. ст. по вторую половину января) Гоголь провел в Неаполе. Здесь он познакомился с настоятелем Христорождественской церкви при русском посольстве иереем (впоследствии протоиереем) Тарасием Федоровичем Серединским, прибывшим сюда 7/19 октября 1846 года (см.: *АВПРИ.* Ф. 190. Оп. 525. Ед. хр. 706. Л. 34, 120). (Церковь при русском посольстве была освящена на вилле княгини Бутера (рожденной Шаховской), близ Палермо.) Впоследствии о. Тарасий Серединский стал известным духовным писателем, автором многочисленных трудов по богословию, посвященных изучению западных конфессий в свете православного вероучения. Гоголю мог быть известен первый труд о. Тарасия «О Богослужении Западной Церкви» (Ч. 1–3. СПб., 1849; рецензию на эту книгу см.: Критика и библиография // Москвитянин. 1850. № 6 (цензурное разрешение 14 марта). Отд. IV. С. 57–59).

В. П. Боткин в письме к П. В. Анненкову от 28 февраля 1847 года сообщал о Гоголе: «Он теперь в Неаполе; говорят, что ходит каждый день к обедне и с большим усердием молится Богу» (П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб., 1892. С. 529; *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 8. С. 580).

24 апреля 1847 года Н. Н. Шереметева писала Гоголю: «...дай Бог нам вполне познать и почувствовать, что на сем свете нет свыше блаженства, как обращаться чаще ко Господу» (*РГБ.* Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 77). Реминисценцию этих строк находим в книге Гоголя: «...Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслажденье молиться... Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится».

В конце 1840-х годов, в пору прокатившейся по Европе волны революций, были, вероятно, написаны Гоголем «Вступление» и «Заключение» к «Размышлениям...», сохранившиеся на отдельных листах (см.: *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 28; *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 43–44; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 413–414, 606–607; Т. 7. С. 892 («Вступление»); *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 32; *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. С. 45; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 463-464, 618-619. Т. 7. С. 892 («Заключение»). Своим содержанием они прямо перекликаются с созданнными тогда же гоголевскими молитвами: «Господи! спаси и помилуй бедных людей...» и «Боже, соделай безопасным путь его...» (ср. строки «Заключения»: «И если общество еще не

совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату»).

В феврале 1848 года Гоголь присутствовал на Божественной Литургии и приобщился Святых Таин у алтаря Гроба Господня.

Новый текст внесен в две небольших тетрадки другой бумаги с водяным знаком «London». Не внесены в основную рукопись и остались в черновых набросках «Предисловие» (заглавие этому отрывку дано Тихонравовым), «Вступление» и «Заключение» (см.: *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; описание рукописей см.: *Тихонравов.* Т. 4. С. 594, 606–607; Т. 7. С. 891–892).

После смерти Н. Н. Шереметевой (11 мая 1850 года) бывший декабрист И. А. Фонвизин, с которым Гоголь познакомился ранее благодаря Шереметевой, передал ему (предположительно летом 1851 года) выписку из толкования на Литургию графа М. М. Сперанского («Из Проскомидии») (см.: *РГБ.* Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 48). Однако, как показывает текстологический анализ, ни выпиской «Из Проскомидии», ни полным текстом сочинения Сперанского (списком которого должен был располагать И. А. Фонвизин) Гоголь в работе над «Размышлениями о Божественной Литургии» не воспользовался (см.: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. М., 2001. С. 229–253).

Могло быть известно также Гоголю магистерское сочинение о Литургии Г. П. Смирнова-Платонова, опубликованное в 1850 году отдельным изданием: <*Смирнов-Платонов Г. П.*> О Литургии Преждеосвященных Даров. М., 1850 (цензурное разрешение 27 июля). 126 с. Рецензия Д. И. Кастальского на это издание была напечатана в 1851 году в погодинском «Москвитянине» (<*Кастальский Д. И.*> *К—ий.* О Литургии Преждеосвященных Даров. Москва. 1850 // Москвитянин. 1851. № 8. Апр. Кн. 2. С. 520–521).

* * *

Одному из первых Гоголь прочел отрывок из своего сочинения о Литургии С. П. Шевыреву в 1851 году перед несостоявшейся поездкой на родину. Гоголь выехал из Москвы в Васильевку 22 сентября и около 27 сентября вернулся в Москву, побывав в Оптиной Пустыни. Вероятно, чтение состоялось в середине сентября. Об этом чтении Шевырев позднее, 2 апреля 1852 года, сообщал в письме к двоюродной сестре Гоголя М. Н. Синельниковой: «Из объяснения на Литургию он читал мне начало перед отъездом на родину, куда не доехал» (*Шенрок В. И.* Письмо С. П. Шевырева М. Н. Синельниковой о последних днях жизни Н. В. Гоголя // Русская Старина. 1902. № 5. С. 442–443).

В этом письме (написанном еще до вскрытия бумаг, оставшихся после смерти Гоголя) Шевырев высказал предположение, что беловой автограф книги о Литургии был сожжен писателем вместе

с другими бумагами, в том числе вторым томом «Мертвых душ». Об обстоятельствах этого сожжения, случившегося в ночь на 12 февраля 1852 года, Шевырев писал: «С понедельника на вторник ночью он <Гоголь> молился до трех часов перед иконою. К трем часам ночи разбудил мальчика своего Семена… Пришедши в кабинет, велел мальчику открыть трубу, но так осторожно, чтобы не разбудить ни одного человека. Между тем перебирал он свои бумаги: некоторые откладывал в портфель, другие обрекал на сожжение. Эти последние велел мальчику связать трубкою и положить в камин… Поутру рано узнал о происшедшем граф Толстой и пришел к нему. Он сознался ему в том, что сделал, и говорил о том с раскаянием, приписывая это дело влиянию нечистого духа. "Хитер лукавый! — говорил он, — я хотел сжечь одни только ненужные бумаги и вместо того сжег и нужные". Тут выговорил он графу, зачем он не взял у него бумаг по его просьбе. Из подробностей видно, что он сжег второй том "Мертвых Душ". Намереньем у него было раздать по главе каждому из друзей его. Кажется, сожжено также и объяснение на Литургию… О всех подробностях сожжения узнали уже после его кончины… Я полагал бы написать биографию Николая Васильевича; кроме моего желания собственного, Академия возложила на меня это поручение. Вы можете мне много содействовать к совершению этого труда…» (*Шенрок В. И.* Письмо С. П. Шевырева М. Н. Синельниковой о последних днях жизни Н. В. Гоголя. С. 442–443).

В. П. Боткин вечером 21 февраля 1852 года, в день смерти Гоголя, писал И. С. Тургеневу из Москвы: «5 часов вечера... Теперь скажу тебе весть печальную: сегодня в 8 часов утра — умер Гоголь. Странные .обстоятельства предшествовали его смерти: три недели тому (это рассказывал граф Толстой, у которого жил Гоголь) входит Толстой к Гоголю и находит его совершенно мрачным. Человек его говорил потом ему, что в эту ночь Гоголь встал в 3 часа ночи и жег бумаги. Он опять к Гоголю, — тот все молчит. Наконец стал говорить: "какую штуку сыграл нынче со мной лукавый: я знаю, что я с своими сочинениями сделал много вреда — но между моими бумагами были такие, которыми я очень дорожу и которые хотя отчасти уничтожают сделанный мною вред, и потому я решился сжечь все, кроме этих. Встал я и принялся жечь — а лукавый и подсунул прежде всего мне под руку именно эти листы"». Спустя несколько часов В. П. Боткин приписал: «10 час<ов> вечера. Я сей час с панихиды — лицо Гоголя очень мало изменилось, только черты сделались резче. Вот что я еще узнал от слуги, который ходил за ним: за 11 дней до смерти — ночью сжег он все свои бумаги, он тогда болен еще не был, по крайней мере явно не был болен; но он говорил, что чувствует, что скоро умрет... Бумаги сожжены им все; человек говорит, что была огромная кипа; это было в 2 часа; он спал от крыльца налево; но и направо 2 комнаты тоже были его. В последней был его кабинет. Он велел в ней открыть трубу, сам впихал туда бумаги и зажег их. Если что осталось, так разве 2-я часть Мертвых

Душ, и то если она, как говорят, у Шевырева. Но и это неизвестно. Шевырев болен, лежит и никого не принимает» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851—1869. М.; Л., 1930. С. 18–21).

Таким образом, согласно свидетельствам С. П. Шевырева и В. П. Боткина, рукопись книги о Литургии — сочинения, несомненно, принадлежавшего к числу тех, которыми Гоголь «очень дорожил» и которые, по его словам, «хотя отчасти уничтожали сделанный» им «вред», — была сожжена писателем по ошибке. По словам А. И. Кошелева, непосредственной причиной сожжения явился сон, который перед тем видел Гоголь. 26 февраля 1852 года Кошелев сообщал В. А. Жуковскому о последних днях жизни писателя: «С понедельника на вторник 1-й недели он видел сон; вследствие этого сна он встал в 3-м часу ночи, велел открыть трубу и сжег все свои бумаги. Так погиб во второй раз 2-й том "Мертвых Душ" и "Изъяснение Литургии", которыми восхищались все слышавшие чтение этих двух великих творений» (*Гофман М. Л.* Последние дни Гоголя (Новые материалы) // Руль. Берлин. 1925. 25 января). Причины одновременного сожжения Гоголем книги о Литургии и второго тома «Мертвых душ» остаются неразгаданными. Размышляя о мотивах сожжения второго тома, Е. С. Смирнова-Чикина замечала: «Если предположить, что Гоголь… преднамеренно сжег его, то с этим нельзя совместить сожжение "Размышлений" — сугубо религиозного произведения… Если бы Гоголь сжег только "Мертвые души", то тогда еще можно было бы признать уничтожение их преднамеренным... но ведь была сожжена и "Литургия"…» (исследовательница полагала, что это служит доказательством «случайного сожжения обоих произведений»; *Смирнова-Чикина Е. С.* Легенда о Гоголе // Октябрь. 1959. № 4. С. 188).

Вскрытие бумаг, оставшихся после Гоголя, происходило в понедельник 28 апреля 1852 года. В этот день С. П. Шевырев писал М. П. Погодину: «Граф Толстой был у меня вчера и сказал, что гражданский губернатор желает сделать вскрытие бумаг Гоголя как можно тише, а потому пригласили только меня, что и будет сделано сегодня, в понедельник. Вот почему гр<аф> Толстой не дал знать тебе» (Лит. наследство. Т. 58. С. 756; письмо Шевырева ошибочно датировано 28 августа; датировка письма уточнена: см.: *Манн Ю. В.* В поисках живой души: «Мертвые души». М., 1984. С. 352). После вскрытия бумаг С. П. Шевырев 2 мая 1852 года извещал Погодина: «Бумаги открыли. Нашлись Объяснение на Литургию и 4 главы черновых 2-го тома М<ертвых> Душ. Подробности при свидании» (*Манн Ю. В.* В поисках живой души: «Мертвые души». С. 354; *Паламарчук П. Г.* Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 486).

В первой половине мая 1852 года А. С. Хомяков писал П. М. и П. А. Бестужевым: «Забыл сказать о важной новости. В книгах Гоголя нашли завалившиеся списки пяти глав "Мертвых душ"

из второй части и толкования на Литургию. Этот подарок пришел мне в день моего рождения» (то есть 1 мая) (Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. 1. С. 83).

Весной 1852 года результаты разбора бумаг стали известны через Шевырева С. Т. Аксакову. И. С. Аксаков в начале мая сообщал родным из Москвы: «Вчера мы видели Шевырева, он сказал, что послал Вам письмо: бумаги Гоголя разобраны: найдено 5 черн<овых> глав из “М<ертвых> душ” и объяснение Литургии и вообще много таких вещей, которые еще более характеризуют этого святого человека!..» (*Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 242). В. С. Аксакова в первой половине мая (до 11-го числа) 1852 года писала М. Г. Карташевской: «На днях получил от Шевырева отесенька <С. Т. Аксаков> письмо, в котором он нам сообщает дорогие для нас вести. Они произвели разбор бумагам Гоголя и нашли между другими бумагами, свидетельствующими о его непрестанных и неутомимых трудах всякого рода, 5 черновых глав Мер<твых> Душ и истолкование Литургии, этого последнего сочинения мы не знаем» (*ИРЛИ.* Ф. 10.619. Л. 71; опубл. с ошибками: Лит. наследство. Т. 58. С. 755–756).

В «Списке бумаг, оставшихся после покойного Гоголя», составленном Шевыревым около 2 мая 1852 года, на первом месте упоминается сочинение о Литургии: «1. Объяснение на Литургию». Затем следует описание черновых тетрадей с главами второго тома «Мертвых душ» (четыре главы и «глава, не обозначенная нумером»), а также автографов «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Предуведомления» (к «Ревизору»), «Развязки Ревизора» и «Учебной книги словесности для русского юношества». К этим рукописям Шевырев сделал примечание: «Все эти сочинения могут и должны быть напечатаны». Во втором разделе списка — «Содержание прочих бумаг» — после перечисления писем, отрывков, молитв и выписок Гоголя под шестнадцатым номером значатся материалы «К объяснению Божественной Литургии. Греческий и латинский текст и Божественная Литургия из чиноположений апостольских». К этому разделу Шевырев сделал примечание: «Из всех этих бумаг могут быть извлечены многие отрывки для издания» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 180).

Граф А. П. Толстой в письме к сестре, графине С. П. Апраксиной, от 2 мая 1852 года тоже упоминает об обнаруженном среди гоголевских бумаг сочинении о Литургии: «1. Четыре главы второго тома “Мертвых душ”. 2. Объяснение Литургии, которое, насколько я знаю, он никогда никому не читал, кроме меня, и которое он предполагал издать без имени автора. — (Неполностью: есть лишь Проскомидия целиком и Литургия Верных — остальное отсутствует)» (*Паламарчук П. Г.* Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя. С. 489; см. также: Письмо Н. В. Гоголя — С. П. Апраксиной и переписка о Гоголе между А. П. Толстым и Погодиным // Записки

Отдела рукописей / Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина. М., 1938. Вып. 1. С. 35). (Возможно, рукопись Литургии оглашенных, о которой не упоминает Толстой, была обнаружена среди неразобранных бумаг Гоголя позднее.)

(Слова графа А. П. Толстого в письме к сестре о том, что Гоголь «никогда никому», кроме него, не читал сочинения о Литургии, очевидно, не точны. Как указывалось, «начало» книги Гоголь читал в сентябре 1851 года С. П. Шевыреву.)

Свидетельство графа Толстого о том, что Гоголь читал ему свое сочинение о Литургии, подтверждается записками доктора А. Т. Тарасенкова, напечатанными в конце 1856 года — более чем за полгода до первой публикации гоголевского произведения. По-видимому, со слов графа Толстого Тарасенков сообщал, что «не более как за месяц до смерти» Гоголь «отделал окончательно заветное народное сочинение — Литургию, обработываемое им в продолжение 20 лет, оставался им доволен, придумал для него маленький формат книги, хотел пустить в продажу за дешевую цену и без имени, единственно ради научения и пользы всех сословий и славы Божией» (*ГИМ.* Ф. 380. 1852 г. Ед. хр. 1. Л. 3, черновая редакция). Ср. в опубликованной редакции: «...окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20-ти лет; наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий. Это сочинение названо *Литургиею*». «Одному из моих знакомых, перечитавшему почти все духовные назидательные сочинения, — добавлял Тарасенков, очевидно, имея в виду графа Толстого, — Гоголь прочел эту “Литургию”, и, по уверению этого знакомого, никакая книга не производила на него такого впечатления. “Это сочинение Гоголя нельзя и сравнивать ни с каким другим сочинением того же рода: по силе слова оно превосходит все подобные сочинения, написанные на разных языках”, — говорил он мне». «“Литургия” и “Мертвые души”, — заключал мемуарист о последних сочинениях Гоголя, — были переписаны набело его собственною рукою, очень хорошим почерком. Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других; да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок... Второй том “Мертвых душ” был прочитан им в Москве по главам в разных домах, но число слушателей было весьма ограничено, да и те обязывались не рассказывать о содержании слышанного до поры, до времени. “Литургия” была еще меньшему числу его знакомых известна, а о других своих сочинениях он упоминал только изредка» (*Т<арасенко>в А. Т.* Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя // Отечественные Записки. 1856. № 12. С. 402–403; см. также: *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя.

С. 11–12). Ср. также в черновом автографе записок А. Т. Тарасенкова: «Уже Литургия и Мертвые души были некоторым прочитаны переписанные им самим набело...» (*ГИМ.* Ф. 380. 1852 г. Ед. хр. 1. Л. 3).

Письма графа А. П. Толстого и С. П. Шевырева свидетельствуют, что в конце жизни Гоголь не оставлял работы над книгой о Литургии.

Сразу по обнаружении графом А. П. Толстым, И. В. Капнистом и С. П. Шевыревым неопубликованных рукописей Гоголя встал вопрос об их напечатании. Поскольку тогда же возник вопрос о завершении готовившегося Гоголем незадолго до смерти собрания сочинений, то история подготовки к публикации книги о Литургии связалась — на ее начальном этапе — с подготовкой первого посмертного издания сочинений Гоголя. Именно в сочинениях сначала предполагалось напечатать гоголевское объяснение Литургии. Труд по подготовке нового издания взял на себя С. П. Шевырев, который до этого уже принимал участие в издании гоголевских сочинений.

Спустя две недели после кончины Гоголя, 9 марта 1852 года, М. П. Погодин писал М. И. Гоголь: «Касательно же сочинений вам надо послать доверенность Шевыреву, за подписью вашею и сестер, кончать издание, начатое при покойнике, вести расход и приход и отдать отчет вам. Шевырев, разумеется, будет рад оказать вам эту услугу в память о друге, тем более, что и сам покойник поручил ему это и половина уже кончена» (Материалы и исследования. Т. 1. С. 189). 24 марта 1852 года М. И. Гоголь отвечала Погодину: «...когда нужна доверенность, пусть <Шевырев> потрудится прислать, и мы подпишем; только я бы желала знать, какие сочинения печатать, прежние или новые также? Не *Мертвые* ли *Души,* 2-й том, из которых первую главу он читал нам в Кагорлыке» (*РГБ.* Ф. 231. Разд. 3. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 5–6; опубл.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 541). Через два месяца, 7 мая 1852 года, С. П. Шевырев отправил М. И. Гоголь прошение о предоставлении ему доверенности наследников на право издания сочинений Гоголя (*Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 60–61).

16 мая 1852 года С. П. Шевырев, несмотря на опасение графа А. П. Толстого, что обнаруженные после смерти Гоголя рукописи могут быть вытребованы в Петербург для особого рассмотрения, читал «Объяснение на Литургию» на вечере у попечителя Московского учебного округа, председателя Московского цензурного комитета В. И. Назимова. Это стало первым обнародованием гоголевского произведения. Биограф М. П. Погодина писал: «Из опасения, чтобы бумаги эти не были вытребованы в Петербург, граф А. П. Толстой советывал Шевыреву "ничего не печатать о том, что найдет в бумагах Гоголя". Но это нисколько не помешало Шевыреву прочесть на вечере у В. И. Назимова *Объяснение на Литургию.* Прослушав это чтение, Погодин записал в своем *Дневнике,* под

16 мая 1852 года: “Вечер у Назимова. Слушать Литургию Гоголя. Нет — слабо, хоть и есть несколько прекрасных мест. Шевырев читал вподряд все с амфазом” (цитата из дневника Погодина приводится здесь с уточнением по автографу: *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 82. — *И. В.*). Но Шевырев писал Погодину: “С мнением твоим о *Литургии* я нисколько не согласен. Такого объяснения на русском языке еще не было. Что скажет митрополит <святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский>, не знаю. Удовлетворить его, конечно, трудно. Маленькие неисправности могут быть, конечно, исправлены”» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 8–9). Слова Шевырева о «маленьких неисправностях», которые могут быть «исправлены», указывают, что текст книги Гоголя о Литургии, вероятно, читался Шевыревым на вечере у Назимова непосредственно по автографу, так как в сделанном тем же Шевыревым (очевидно, позднее) списке книги целый ряд исправлений в тексте уже присутствует.

Другое уцелевшее от сожжения сочинение Гоголя, «Авторскую исповедь», Шевырев прочел вечером 20 мая 1852 года на именинах А. С. Хомякова. Погодин, также присутствовавший на этом чтении, в свою очередь, отзывался об этом произведении Гоголя критически. В дневнике под тем же числом он записал: «Слушали Записки Гоголя. Все кажется у него недоношенным. Может быть, это сознание и замучило его. А замышлял много. Это был художник и христианин (может быть, искусственный), которых хотел примирить малороссиянин. Жаль, что язык знал нетвердо» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 82; опубл.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 9). Однако, несмотря на критические замечания (в которых можно услышать реминисценции строк гоголевской «Переписки с друзьями» о самом Погодине: «...он торопился... делиться всем с своими читателями... не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове...»), Погодин решил приобрести оставшиеся бумаги Гоголя у матери писателя Марии Ивановны Гоголь.

26 мая 1852 года М. И. Гоголь писала С. П. Шевыреву: «Недавно я получила повестку, чтобы прислать за книгами и бумагами, оставшимися от моего сына... если нельзя уже будет никому из друзей моего сына пожаловать к нам, то в таком случае пришлите с мальчиком к нам на мой счет» (Лит. наследство. Т. 58. С. 765). Из письма М. И. Гоголь к Шевыреву от 8 июня 1852 года явствует, что к тому времени она получила составленную последним опись бумаг Гоголя: «Из описи, присланной Вами, видно, что есть нам завещание моего сына» (Лит. наследство. Т. 58. С. 763). Судя по ответному письму Шевырева от 20 июня 1852 года, Мария Ивановна выслала тогда же Шевыреву коллективную доверенность наследников на право издания изданных и неизданных сочинений Гоголя (см.: *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 59–60; здесь же текст доверенности — с. 62).

В письме к К. С. Сербиновичу от 10 июня 1852 года из Москвы С. П. Шевырев впервые упоминает о книге Гоголя — и именно с тем названием, с которым она впоследствии была напечатана (в дошедших автографах сочинение Гоголя не озаглавлено, Н. С. Тихонравов ошибочно полагал, что название книге дал П. А. Кулиш; Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 594). Шевырев сообщал Сербиновичу, что весной 1852 года занимался разбором гоголевских бумаг во время университетских экзаменов: «В это самое время... свободные часы должен я был посвятить разбору бумаг, оставшихся после покойного Н. В. Гоголя. Нашлись: весьма замечательная его внутренняя автобиография, как автора; дополнение к его переписке с друзьями; размышления о Божественной Литургии, теплые, чистые, умилительные, обнаруживающие его христианский дух и его преданность Церкви и Государю; пять черновых тетрадей 2-го тома “Мертвых Душ”, забытые им, вероятно, — печальный остаток, уцелевший нечаянно от аутодафе. Все это требует разбора, редакции, переписки. Могу сделать это только я сам. — Жду свободных совершенно минут для этого дела… Мне нужен отдых… Хочется согласить отдых с делом по сердцу: навестить печальное семейство Н. В. Гоголя… Собираюсь ехать в конце июня» (Русская Старина. 1904. № 2. С. 430–431).

26 июня 1852 года Г. П. Данилевский, посетивший за пять дней перед тем, 21 июня, гоголевскую Васильевку, писал П. А. Плетневу из Киева: «В Москве я виделся с Шевыревым и сказал ему, что, проездом из Полтавы в Киев, намерен посетить “Хутор близ Диканьки”, родину Пасечника Рудого Панька. Шевырев мне объявил, что он также едет сюда для собрания на месте рождения и детства Гоголя сведений о его биографии и для окончания условий с его матерью касательно издания его полного собрания сочинений. Мы условились быть в “Яновщине” в конце июня. Он между прочим под строгим секретом сказал мне, что шкаф Гоголя опечатан и найдены след<ующие> его труды новые: объяснение на Литургию, отрывки из писем об Иерусалиме, собственная внутренняя автобиография Гоголя, 5 глав из II-го тома “Мертвых душ”, учебник русской словесности и множество отдельных, нелитературных, но чрезвычайно интересных бумаг. Эти бумаги им приводятся в порядок для представления государю…» (Письма Г. П. Данилевского П. А. Плетневу, И. С. и С. Т. Аксаковым (публикация Е. В. Свиясова) // Русская литература. 1979. № 4. С. 186).

29 июня 1852 года Г. П. Данилевский закончил работу над статьей «Хуторок близ Диканьки», в которой, имея в виду второе, посмертное издание сочинений Гоголя, писал: «Ждем с нетерпением выхода в свет этого собрания: тем более, что превосходным введением к нему может теперь служить найденная на днях в бумагах Гоголя “Биография” покойного, повесть о внутренней, душевной жизни поэта, писанная им самим» (*Данилевский Г.* Хуторок близ Диканьки // Московские Ведомости. 1852. 14 окт. № 124. С. 1280;

с датой: «29 июня»). (Три недели спустя М. П. Погодин, к которому 21 июля 1852 года заходил Данилевский, записал в дневнике: «Уж не ездил ли он за статьями Гоголев<ой> матери»; *Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр.1. Л. 84.)

В июне 1852 года Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову из Киева: «Правда ли, что найдены 4 главы "Мертвых душ" и толкование на Литургию?» (цит. по: *Самарин Ю. Ф.* Статьи. Воспоминания. Письма. 1840—1876. М., 1997. С. 185–186).

И. С. Аксаков во второй половине июня 1852 года писал к неустановленному лицу: «После распечатания бумаг Гоголя я было на другой день написал к Вам о том, что найдено, но мне отсоветовали посылать письмо, потому что тогда боялись делать это открытие гласным. Действительно, найдены самые черновые рукописи 4-х глав 2-го тома, да еще какой-то главы, никому не читанной. Шевырев их сам разбирает и переписывает, найдены еще *объяснения обедни, рукопись* — вроде его собственной биографии как писателя... завещание — матери и сестрам... последнее слово к друзьям... и лоскуток бумаги, содержащий в себе замечательные слова... "Будьте живые, а не мертвые души..." ...Объяснение обедни, завещание, слово к друзьям, этот лоскуток — кажется, найдены в портфеле; очевидно, что он <Гоголь> сохранил их с намерением, но главы из М<ертвых> душ нашлись завалившимися в шкафу за книгами. При распечатании бумаг были Капнист <И. В. Капнист>, Толстой и Шевырев; разбор взял на себя Шевырев, который исполняет это дело добросовестно... Он на днях едет в Васильевку, к матери Гоголя...» (*Манн Ю. В.* В поисках живой души: «Мертвые души». С. 354–355, 399–400).

20 июня 1852 года Шевырев в письме к М. И. Гоголь сообщал: «Доверенности всем наследникам надобно будет, конечно, написать порознь; но они должны быть все одного содержания. Об этом надеюсь поговорить с Вами при свидании. Хорошо бы было, если бы они могли быть готовы все в июле месяце, чтобы я мог привезти их от Вас с собою. Кроме доверенностей, для печатания нужно еще высшее разрешение, как я уже писал к Вам. Не прежде августа и даже сентября можно будет получить его. Все это объясню Вам подробно при свидании. На днях дворецкий графа Толстого отправляет к Вам с транспортом Харьковского комиссионерства все вещи и книги Николая Васильевича, и при них отправится Семен. Я же привезу к Вам все оставшиеся бумаги» (*Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 59–60).

Накануне отъезда в Васильевку С. П. Шевырев писал Анне Васильевне Гоголь, сестре писателя: «Когда я в первый раз читал его Размышления о Литургии, мне казалось, душа его носилась около меня, светлая, небесная, та, которая на земле много страдала, любила глубоко, хотя и не высказывала этой любви, молилась пламенно, и в пламени самой чистой молитвы покинула бренное, изнемогшее тело» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 192).

Перед отъездом, 20 июня, Шевырев сообщал Погодину: «От матери Гоголя получил еще письмо. Она зовет к себе. Это святое дело. Как его не исполнить? Да и мне надобно освежиться и укрепиться силами» (Погодин успел тогда написать Шевыреву ответное напутственное письмо из Поречья) (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 9).

Шевырев вместе со своим сыном Борисом выехал из Москвы 3 июля 1852 года и прибыл в Васильевку 10 июля 1852 года (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 20. Л. 88 об., 91 об.; опубл.: *Виноградов И. А.* Неопубликованные воспоминания о Н. В. Гоголе его матери // Acta Philologica: Филологические записки. М., 2007. Вып. 1. С. 346). 20 июля М. И. Гоголь, посылая Погодину список со второй главы второго тома «Мертвых душ» (рукописи которого были привезены Шевыревым), писала Погодину: «Не могу вам описать, как я была утешена приездом почтенного Степана Петровича, жаль только, что на такое короткое время; одну неделю прожил он у нас и нам показалось одним мгновением. Считаю себе обязанностью служить вам, за присылаемый вами мне *Москвитянин*, из второго тома *Мертвых душ*, второй главы, и тремя письмами, писанными ко мне моим бесценным сыном, снятыми со всего этого копиями для напечатания где вам угодно» (*РГБ.* Ф. 231. Разд. 3. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 11–12; опубл.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 9).

После посещения семьи Гоголя у Шевырева возникло желание побывать в Оптиной Пустыни, где неоднократно бывал Гоголь. В конце июля 1852 года, возвращаясь из Васильевки, Шевырев заезжал в обитель, где прочел ее насельникам сочинение о Литургии. В летописи скита монастыря, которую вел тогда послушник Л. А. Кавелин (впоследствии архимандрит Леонид, наместник Троице-Сергиевой лавры, известный историк и археограф), сохранилась запись об этом посещении, помеченная 28 июля 1852 года: «На ночь прибыл в обитель Ординарный профессор Московского Университета по части Русской словесности Степан Петрович *Шевырев*, проездом из Малороссии, куда ездил с тою целию, чтобы навестить родных покойного Н. В. Гоголя, утешить старушку-мать его и собрать материалы для биографии покойного, которую он имеет поручение написать от Академии наук. В бумагах Гоголя нашлось четыре черновые главы 2-й части *Мертвых душ* и *Объяснение на Божественную Литургию* — произведение, запечатленное цельностию духа и особенным лирическим взглядом на предмет, сам по себе вызывающий писателя на мысли высокие и чувства трогательные. Г. Шевырев поутру после обедни посетил скит и, обойдя его, зашел в келлии Батюшки <преподобного Макария Оптинского>, беседовал с нами (рабочими) долго и ласково, читал письма Н. В. Гоголя… читал также вышеупомянутое Объяснение на Б<ожественную> Литургию, прося у Батюшки замечаний на это посмертное произведение того, кто, проникнувшись живою верою в Искупителя, и сам смиренно искал у Старца руководства на стезях, к Нему ведущих

(имеются в виду три посещения Гоголем Оптиной Пустыни: в июне 1850 и в июне и сентябре 1851 годов. — *И. В.*), и если не успел еще принести желаемых плодов, то, по крайней мере, положил доброе начало — залог чистого произволения» (*Воропаев В. А.* С. П. Шевырев о последних днях жизни и смерти Н. В. Гоголя // Хозяева и гости усадьбы Вяземы. Материалы III Голицынских чтений 20–21 января 1996 года. Большие Вяземы, 1996. Ч. 2. С. 287–288; см. также: *Котельников В. А.* Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. М., 2002. С. 265–266). (Впоследствии в библиотеке скита Оптиной Пустыни появился экземпляр гоголевских «Размышлений...» издания П. А. Кулиша 1857 года; в настоящее время этот экземпляр хранится в Российской государственной библиотеке, шифр: И 101/431.)

29 июля 1852 года Погодин записал в дневнике: «Проведать Шевырева» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 84 об.). 2 августа 1852 года Шевырев был уже в Москве, о чем в дневнике Погодина сохранилась запись: «*Август... 2.* ...К Дав<ыдову> и Шев<ыреву>» (Там же. Л. 84 об.). 13 августа 1852 года Шевырев писал Погодину из Москвы: «Гоголя оставшиеся бумаги еще не успел переписать. По возвращении напали на меня приемные экзамены. Теперь только разобрался с бумагами и примусь» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 10; *Паламарчук П. Г.* Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя. С. 487).

18 августа 1852 года Погодин записал в дневнике: «Оскорбительное и нелепое письмо от Шев<ырева>, который сильно взволновался по поводу помещения сочинений Гоголевских» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр.1. Л. 85 об.). Спустя два дня, 20 августа 1852 года, Погодин получил через Н. П. Трушковского отправленные Марией Ивановной 20 июля 1852 года список со второй главы второго тома «Мертвых душ» и копии трех писем к ней сына. Об этом Погодин записал в дневнике: «Трушков<ский> привез вещи Гоголя от матери. Читал его письма к матери» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 85). В начале сентября 1852 года Погодин послал М. И. Гоголь тысячу рублей серебром в надежде приобрести бумаги Гоголя. Мария Ивановна была возмущена этим предложением. 16 сентября 1852 года она писала С. П. Шевыреву, что, «к удивлению» своему, получила «от Михайла Петровича» посылку «с деньгами, которые будто обратно отправлены». «Видно, — добавляла Мария Ивановна, — он не знает нас, потому что унижает до такой степени, воображая возможным купить такое сокровище, которого никто бы не продал» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 10–11). 20 сентября 1852 года в Полтавской палате гражданского суда была оформлена новая коллективная доверенность А. В., О. В. Гоголь, Е. В. Быковой и Н. П. Трушковского на право издания С. П. Шевыревым сочинений Гоголя (текст доверенности хранится:

*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 9–10). 17 декабря 1852 года Погодин вновь записал в дневнике: «О Гоголе<вских> [историч<еских>] статьях с матерью и Шев<ыревым>» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846—1852 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 88 об.).

На одном из восьми заседаний Второго отделения Академии наук, состоявшихся в ноябре 1852 года (заседания проходили 1, 6, 8, 13, 15, 22, 27 и 29-го чисел), председательствующий И. И. Давыдов сообщал: «С. П. Шевырев… уведомляет, что он занят приготовлением к изданию трех замечательнейших сочинений, оставшихся после Гоголя вчерне, а именно: его авторской Исповеди, Размышлений о Божественной Литургии и пяти глав второго и третьего <так!> томов Мертвых Душ» (Извлечение из протоколов Второго Отделения Имп. Академии наук за ноябрь 1852 года // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1853. Т. 2. Л. 1–2. Стб. 27; подписано к печати 10 января 1853 года).

О сохранившихся рукописях Гоголя сообщал также неустановленный автор письма, отправленного 6 ноября 1852 года из Москвы: «Из сочинений Гоголя уцелело: три <так!> неполные черновые главы второго тома Мертвых душ, его автобиография и объяснение Литургии» (Лит. наследство. Т. 58. С. 768).

Князь Д. А. Оболенский в 1855 году вспоминал, что великий князь Константин Николаевич, узнав о работе Шевырева над рукописями Гоголя, поручил «просить Шевырева доставить ему для прочтения посмертные сочинения Гоголя. Шевырев немедленно исполнил желание великого князя и прислал Его Высочеству оставшиеся главы и отрывки из 2-го тома “Мертвых Душ” и “Авторскую исповедь”». «Это были первые списки, которые вышли из рук Шевырева», — добавлял Оболенский (О первом издании посмертных сочинений Гоголя. Воспоминания кн. *Д. Оболенского* 1855 г. // Русская Старина. 1873. № 12. С. 951). О том, что бумаги Гоголя находятся у С. П. Шевырева, великий князь узнал от М. С. Щепкина. 20 сентября 1852 года А. В. Головин, секретарь Константина Николаевича, обратился в письме к Шевыреву с просьбой прислать великому князю бумаги Гоголя (см.: *Гриц Т. С., Клинчин А. П. и др.* М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 482). (4 сентября 1852 года Щепкин читал сочинения Гоголя у великой княгини Елены Павловны; Там же. С. 480; см. также: *<Дурылин С. Н.> Николаев С.* Из неопубликованных писем М. С. Щепкина // Советское искусство. 1938. 22 августа № 111. С. 4.) Главы второго тома «Мертвых душ» и «Авторская исповедь» были, очевидно, переписаны для великого князя не позднее первой половины октября 1852 года, так как 25 октября этого года А. О. Смирнова уже писала П. А. Плетневу: «Я вам скоро пришлю рукопись Гоголя, списанную для <великого князя> Константина Николаевича, которую мне сообщили и переписали. Его Исповедь» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 768). (19 ноября

1852 года благодарил С. П. Шевырева за присылку «Авторской исповеди» С. Т. Аксаков; см.: *РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 108. Л. 18). Вероятно, к декабрю 1852 года великий князь Константин Николаевич получил и список «Размышлений о Божественной Литургии». 28 мая 1853 года он писал графу А. Ф. Орлову: «В продолжение прошлой зимы я имел случай прочесть некоторые не напечатанные сочинения покойного Гоголя, найденные после его смерти, как-то: *Размышления о Литургии, Исповедь автора* и пр.» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 187). П. А. Плетнев в отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности Академии наук, прочитанном 29 декабря 1852 года в торжественном годичном собрании Академии, сообщал: «В истекающем 1852 году академик Шевырев... по смерти Гоголя... разбирал бумаги его, которых издание поручено ему родственниками покойного. В числе этих бумаг найдены три сочинения, весьма важные по содержанию: 1. Размышления о Божественной Литургии, 2. Авторская исповедь, 3. Пять глав второго тома “Мертвых душ”, сохранившихся случайно... В особенной статье академик Шевырев надеется вскоре дать более подробный отчет Академии о том, что осталось после Гоголя. Текст всех трех главных сочинений приготовлен уже к изданию, и наш почтенный сочлен ожидает только благоприятных обстоятельств, чтобы приступить к нему» (Отчет Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852 год / Сост. орд. акад. *П. А. Плетневым* и читан им в торжественном годичном собрании Академии 29 декабря 1852 г. // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1853. Т. 2. Л. 3–5. Стб. 51; подписано к печати 14 февраля 1853 года; см. также: Отчеты Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852—1865 годы. СПб., 1866. С. 30–31).

6 января 1853 года Шевырев извещал П. А. Плетнева: «У меня готовы рукописи Гоголя к изданию, как Вам известно из моего отчета Академии. Но я до сих пор не могу получить разрешения к изданию и не знаю, будет ли? Надежда моя — на Великого Князя Константина Николаевича, который пожелал иметь их» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 769).

В речи, произнесенной 12 января 1853 года на торжественном собрании Московского университета, «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии», С. П. Шевырев процитировал строки из «Авторской исповеди», говоря о том, что Жуковский и Гоголь, «оба разными путями, один путем очарования, другой путем анализа, пришли “к Тому, Который один есть полный ведатель души”». К этим строкам Шевырев сделал примечание: «Этот драгоценный автобиографический отрывок, уцелевший в бумагах покойного Гоголя, огласился в публике под неверным названием: *Моя исповедь.* На рукописи нет никакого заглавия, а в содержании Автор говорит: “я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства”. Вот то заглавие, которое может быть

дано этой рукописи, согласно мысли самого Автора» (О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета ординарным профессором русской словесности *С. Шевыревым.* 12-го января 1853 г. М., 1853. С. 57, 75; То же // Москвитянин. 1853. № 2. С. 135, 155).

Сделанный С. П. Шевыревым список «Размышлений...» хранится ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (*ИРЛИ.* Ф. 3. Оп. 19. № 20). Исходя из приведенных фактов его следует датировать нояброем–декабрем 1852 года. Как позволяет судить текстологической анализ, именно этот список лег в основу списка «Размышлений...», переданного Шевыревым великому князю Константину Николаевичу (список, переданный великому князю, также сохранился: см.: *ГАРФ.* Ф. 728. Коллекция документов рукописного отдела библиотеки Зимнего Дворца. Оп. 1. № 3157; кроме того, в ГИМ хранится список «Размышлений...», сделанный, по-видимому, также со списка Шевырева и принадлежавший Московской епархиальной библиотеке; Ф. 281. Оп. 2. Ед. хр. 24). Список, сделанный Шевыревым, лег также в основу всех последующих массовых изданий гоголевской книги во второй половине XIX — начале XX века (см. ниже).

И. И. Панаев в февральском номере «Современника» за 1853 год, размышляя об опубликованных в этом номере выписках из писем В. А. Жуковского к Гоголю, замечал: «Эти столь важные для истории русской литературы выписки мы заключим кстати утешительным известием, взятым нами из “Известий Императорской Академии Наук” (Л. 1 и 2, на 1853). “Г<-н> Шевырев уведомляет, что он занят приготовлением к изданию трех замечательных сочинений, оставшихся после Гоголя вчерне, а именно: *Его авторской исповеди, Размышлений о Божественной Литургии и пяти глав второго и третьего (?) томов Мертвых Душ*” (стр. 27)» (*<Панаев И. И.>* Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики. Январь 1853 // Современник. 1853. № 2. Отд. 6. С. 282; цензурное разрешение 5 февраля).

В начале марта 1853 года Погодин отправил Шевыреву записку по поводу посылки М. И. Гоголь тысячи рублей серебром с целью приобрести все бумаги Гоголя. В записке Погодин сообщал, что готов «прибавить еще что-нибудь, если стоят они дороже». К тому времени реакция Марии Ивановны на предложение Погодина Шевыреву была уже известна (см. выше письмо М. И. Гоголь к Шевыреву от 16 сентября 1852 года). Получив записку Погодина, Шевырев отвечал: «Сожалею очень о том, что ты, не сказав мне ни слова, решил сам послать тысячу руб<лей> сер<ебром> Марье Ивановне. Я никак не мог думать, что ты до того простерешь скорость свою. Марья Ивановна может весьма оскорбиться твоею внезапною присылкою и еще подумать, что я был тому виною. Твое предложение и необдуманно и неделикатно — я должен тебе сказать искренно. Если бы можно

было воротить эти деньги, всего бы лучше. Если бы деньги были им крайне нужны, они могли бы воспользоваться теми своими деньгами, которые у меня, а не пользоваться твоими. Марья Ивановна от имени дочерей своих через меня отвечала тебе самым деликатным образом <о разрешении опубликовать в «Москвитянине» кое-что из литературного наследства Гоголя>, а ты, в ответ на ее деликатность, лезешь к ней с тысячью р<ублей> сер<ебром> и хочешь, точно насильно, отнять статьи. Я вчера хотел быть у тебя к обеду, но просидел долго у Муханова; дома, получив записку твою, не мог решиться поехать к тебе, потому что был на тебя сердит. Рукописи я к тебе пришлю, если не сам привезу. Как же это ты решил, что все бумаги Гоголя, по смерти его оставшиеся, стоят только тысячу р<ублей> сер<ебром> и что ты можешь из великодушия прибавить еще что-нибудь, если стоят они дороже» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 10).

М. И. Гоголь вернула М. П. Погодину деньги при письме, в котором благодарила Погодина за участие и замечала, что «дела детей» ее уже «устроены Степаном Петровичем <Шевыревым>» (*РГБ*. Ф. 231. Разд. 3. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 13; опубл.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 10–11). В конце июля 1853 года А. В. Гоголь писала В. С. Аксаковой: «Кажется, рассердился на нас Погодин за то, что мы ему возвратили деньги, которые он нам прислал без всякого предваренья, с тем, чтоб легче ему отдать все, что осталось после брата» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. М., 1928. С. 99).

23 марта 1853 года Мария Ивановна получила анонимно, под предлогом возвращения старого долга Гоголю, еще одну сумму денег. 24 марта 1853 года А. В. Гоголь сообщала В. С. Аксаковой: «Может быть, это какой-нибудь небогатый человек… и что за идея: платить нам; если брат и давал, так ничуть не с тем, чтобы ему возвращали, притом же он и не мог так много давать; это меня очень беспокоит; или, может, кто-нибудь полагал, что мы нуждаемся, и вздумал помочь нам под этим предлогом; во всяком случае это очень неприятно» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. С. 98; Лит. наследство. Т. 58. С. 771). 12 апреля 1853 года мать Гоголя, в свою очередь, сообщала О. Сем. Аксаковой: «Анет моя <А. В. Гоголь> писала к любезнейшей дочери вашей Вере Сергеевне о удивившем нас письме от скрывающего свое имя, редкая благородная черта этой особы поразила нас, помощь его во многом успокоила нас, оставшаяс<я> часть казенных и частных процентов — уплоченны, боюсь только, если этот добродетельный человек небогат и притом семейный, чтоб он не лишил себя чего нужного, если бы я знала, куда к нему писать, то умоляла бы его не заботиться более о долге моему сыну…» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. С. 83). 15 июня 1853 года Мария Ивановна вновь писала О. Сем. Аксаковой: «…внук мой <Н. П. Трушковский> писал мне о догадке своей насчет незнакомца, приславшего нам долг свой моему Сыну, как

он писал, и я полагаю, что должна быть та особа» (Там же. С. 86). Л. Р. Ланской отметил, что «С. Н. Дурылин в “Семейной хронике Гоголя” ошибочно принял сумму, полученную М. И. Гоголь от неизвестного, за деньги, высланные Погодиным для приобретения автографов писателя» (Гоголь в неизданной переписке современников (1833—1853) / Публ. и коммент. Л. Ланского // Лит. наследство. Т. 58. С. 772). Однако, отметив ошибку, Л. Р. Ланской заключил: «Сведений о том, кто именно прислал деньги М. И. Гоголь, мы не имеем» (Там же. С. 772). Как следует из письма А. В. Гоголь к А. М. Черницкой 1890 года, деньги были присланы А. О. Смирновой. Имея в виду статью А. М. Черницкой «К биографии Гоголя. О дружбе его к А. О. Смирновой» (где, в частности, утверждалось, что «Гоголь всю жизнь находился под обаянием Смирновой»; Северный Вестник. 1890. № 1. С. 221), А. В. Гоголь писала: «Я ужасно беспокоюсь о том, что так убиты горем дочери А. О. С<мирновой>. Я сужу по себе, как это больно! Она, хотя и имела свои недостатки (да кто их не имеет), но была очень добра! Не помню, говорила ли я вам, что когда, после смерти брата, долго не разрешали печатать соч<инения> брата, мы получили от неизвестного должника брата 2000 р<ублей>. Я сей час догадалась, откуда. Она думала, что мы <1 нрзб.> нуждаться в деньгах от этого, и так деликатно это сделала!» (*РНБ*. Ф.199. Ед. хр. 21. Л. 32–33).

С. Т. Аксаков в статье «Несколько слов о биографии Гоголя», напечатанной 21 марта 1853 года в «Московских Ведомостях», писал: «Печатные известия и достоверные слухи пробежали по всей России о тех немногих нравственных сокровищах, которые остались в утешение нам после смерти Гоголя. В почтительном ожидании остаются все, жаждущие этой умственной пищи, известной еще немногим... Ожидание всех обращено на его семейство или на тех, кому поручены литературные дела покойного» (*А<ксако>в С.* Несколько слов о биографии Гоголя // Московские Ведомости. 1853. 21 марта. № 35. С. 360).

Публикация последней статьи стала причиной размолвки С. П. Шевырева и С. Т. Аксакова. На следующий день после публикации, 22 марта 1853 года, Аксаков писал Погодину: «На всякий случай прошу вас принять участие в нижеследующем: Я написал статейку: *“Несколько слов о биографии Гоголя”*. Я не смел надеяться, чтоб Назимов пропустил ее, потому что все считают его самого причиною остановки нового издания Гоголя; но, напротив, Назимов поступил прекрасно и всю статью напечатали. Вообразите себе, что Степан Петрович, для которого статья моя, как голос публики, могла служить точкою опоры для настоятельных требований скорейшего разрешения, до того рассердился, что не только бранит и жалуется на меня всем нашим общим приятелям, но ездил жаловаться на меня официально Назимову и просить, чтоб мне не дозволяли печатать в *Московских Ведомостях* о Гоголе, прибавляя к тому, что моя статья раздражает публику и что все обвинения падают на

него и пр. и пр. Все это до такой степени нелепо, так по-ребячьи, что не заслуживает досады и я остаюсь совершенно спокоен. Но я боюсь одного, чтоб он не вздумал отвечать мне печатно и не рассердил бы меня. Мало того, что потешит недоброжелателей Гоголя, — это может повредить делу. Если вы имеете влияние, то уймите Шевырева; я писал письмо самое короткое к нему и считаю мой поступок христианским подвигом… Не говорите Шевыреву, что я писал к вам» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 11).

Вскоре (после 27 марта 1853 года) Погодин получил от Шевырева разъяснение. «В статье Аксакова, — писал Шевырев, — напечатано: *Ожидание всех обращено на семейство Гоголя и на тех, кому поручены литературные дела*, следовательно, на меня. Я воспользовался этим случаем, чтобы напомнить В. И. Назимову об издании сочинений Гоголя и сказал: "если цензура позволяет сказать, что ожидание все устремлено только на семейство Гоголя да на меня, то, стало быть, она признает всякие препятствия, ей известные, по которым остановлено издание, уже несуществующими, если только не хочет свалить на меня одного вину ожидания. Я готов давно уже, как известно вашему превосходительству, сделайте милость только пропустите". И вследствие разговора, с разрешения Владимира Ивановича <Назимова>, подал <27 марта 1853 года> о том просьбу в цензурный комитет, но едва ли что выйдет полезное. Касательно тона статьи я выразил сожаление, что в ней есть выходки раздражения и что это может только повредить самому делу… Некоторым близким знакомым, особенно Кошелеву и Хомякову, я говорил, что Аксаков, слагая вину ожидания на одного меня, тем убаюкивает цензуру и стоит за нее перед публикою. Цензуре приятно напечатать то, что может служить к ее оправданию… Что касается до меня, мне, конечно, тяжело. Никто не скажет о том, что́ уже мною сделано по смерти Гоголя. Все свободное время я отдавал на приготовление текста Мертвых Душ, Размышлений о Божественной Литургии и Авторской исповеди. В отчете академическом это напечатано. Аксаков о том не скажет. *Московские Ведомости*, разумеется, рады будут скрыть это. Спасибо *Современнику*: враги открывают, но, разумеется, не все. В отчете сказано, что текст всех трех главных сочинений уже приготовлен к изданию; *Современник* же говорит, что я только еще занимаюсь его приготовлением».

(Шевыреву, очевидно, осталась неизвестной предшествующая публикация извлечений из протоколов Второго отделения Императорской Академии наук за ноябрь 1852 года, которая только и могла быть известна И. И. Панаеву ко времени написания его заметки; см. выше.)

«Всему Петербургу и всей Москве уже известно, — продолжал Шевырев в письме к Погодину, — что рукописи уже пошли по рукам из кабинета великого князя Константина Николаевича. Никто мне не помогал и до сих пор не поможет в этом деле, а только каждый действует в утешение своего самолюбия» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 12. С. 11–13).

Прошение об издании сочинений Гоголя, которое С. П. Шевырев подал в Цензурный комитет «с разрешения» В. И. Назимова и о котором полагал, что из этого предприятия «едва ли что выйдет полезное», получило ход. 27 марта 1853 года на заседании Московского цензурного комитета было рассмотрено «прошение Профессора Шевырева от 27 марта, о дозволении ему продолжать печатание Сочинений Н. В. Гоголя, на что он представляет доверяющее письмо наследников покойного Н. В. Гоголя». По этому прошению было принято следующее решение: «Поручить Цензору Ржевскому вновь рассмотреть Сочинения Гоголя и по рассмотрении донести Комитету с своим заключением» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 56. 107 л. Л. 30 об. — 31). Согласно «Книге для записывания рукописей, представленных на рассмотрение...» Московского цензурного комитета за 1853 год, 27 марта 1853 года Шевырев представил в Комитет и рукопись «Авторской исповеди» Гоголя (на 100 страницах), рассмотрение которой было поручено цензору И. М. Снегиреву (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 29 об. — 30). В журнале заседаний Московского цензурного комитета сообщается, что 27 марта 1853 года Шевырев помимо прошения об «окончании печатания и издании в свет начатых печатанием четырех томов» сочинений Гоголя представил в комитет «копию с найденной в бумагах покойного» рукописи «Авторской исповеди» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 328. Л. 34–34 об.). (Очевидно, что Шевырев уже тогда не предполагал подавать рукопись «Размышлений о Божественной Литургии» в обычную цензуру. Сочинения такого рода рассматривались в Московском или Петербургском комитетах для цензуры духовных книг.)

Спустя две недели, 10 апреля 1853 года, на заседании Цензурного комитета было заслушано донесение цензора Д. С. Ржевского, который отмечал, что «он в направлении всех сочинений, заключающихся в сем издании, хотя и не находит с своей стороны ничего предосудительного, но считает, однако, долгом представить на обсуждение Комитета следующие соображения... Сочинения Гоголя, заключающиеся в сих 4-х томах, пользуются... большою известностию, особенно комедии его, которые постоянно разыгрываются на всех наших театрах, как Императорских, так и частных. Несмотря на то, мнения касательно нравственного впечатления, или влияния некоторых из его комедий и повестей весьма различны. Так, например: в известной его комедии “Ревизор” многие видят осмеяние не личных пороков недобросовестных исполнителей законов, а всех в массе взятых провинциальных должностных лиц и утверждают, что комедия эта не в состоянии исправить чиновников, а, напротив, может поселить недоверие и неуважение к законным властям. В повести “Шинель” видят также осмеяние обращения Начальников с подчиненными, намек будто бы на совершенную бесполезность бедному человеку искать законным образом удовлетворения самых справедливых требований своих и пр. Не разделяя нисколько мнений этих, он, Г. Ржевский, считает, однако, долгом покорнейше

просить Комитет разрешить, в какой степени заслуживают они внимания» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 328. Л. 45 об. — 47). На основании этого заключения Цензурным комитетом было решено «представить Г. Товарищу Министра Просвещения <А. С. Норову> на разрешение, в какой мере заслуживают внимания известные укоризны, которыми хотят порицатели Гоголя затмить славу этого вполне благонамеренного и высоконравственного писателя...» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 328. Л. 4; см. также: *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 34 об. — 35).

Сохранилась копия письма В. И. Назимова А. С. Норову от мая 1853 года, сделанная цензором М. Н. Похвисневым (письмо Назимова, по-видимому, осталось неотправленным; на месте числа в рукописи оставлен пробел). Назимов писал: «Вчерашнего числа я имел честь войти вашему превосходительству с официальным представлением, о разрешении нового издания сочинений Н. Гоголя, в 4-х частях, напечатанных в 1842 году в С.-Петербурге и ныне вновь одобряемых к печати Московскою ценсурою. Независимо от сего представления, позвольте мне в настоящем письме, обратить просвещенное внимание вашего превосходительства на этот, по моему мнению, немаловажный предмет... Сочинения этого писателя, несмотря на комический характер, в них преобладающий, проникнуты самым нравственным направлением и исполнены чистой любви ко всему отечественному, ко всем коренным основам нашей жизни... Но дабы новое издание могло иметь полный успех и не потерять цены в глазах читателей — необходимо дозволить отпечатать сочинения Гоголя без перемен и исключений» (*Похвиснев М. Н.* Владимир Иванович Назимов. С. 482–483).

Можно предположить, что С. П. Шевырев, узнав о содержании отзыва цензора Д. С. Ржевского, предложил тогда же матери Гоголя прибегнуть к помощи Императора. В первой половине мая 1853 года М. И. Гоголь обратилась к Николаю I с просьбой о разрешении издания сочинений ее сына вместе с неизданными произведениями. Письмо к Государю было предварительно составлено и отправлено Марии Ивановне для подписи С. П. Шевыревым: «По смерти сына моего в бумагах его найдены неизданные сочинения, из которых особенно замечательны: *Авторская исповедь*,. *Размышления о Божественной Литургии* и пять глав второго тома *Мертвых душ*. По мнению, не моему, которое могло бы быть пристрастно, но людей, заслуживающих доверия, в этих сочинениях обнаружены такие нравственные истины, которые бросают новый свет на все прежние сочинения моего сына и выставляют образ его мыслей, подвергавшийся разным толкованиям, в настоящем виде. Издание их вместе с прежними трудами сына моего, как уверяют меня, могло бы принести некоторую пользу Русской Словесности в отношении к нравственному направлению ее произведений» (цит. по варианту, написанному рукою С. П. Шевырева: *РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 65. Л. 1 об.; опубл. с неточностями: *Линниченко И. А.* Новые

материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 184). 18 мая 1853 года М. И. Гоголь писала О. Сем. Аксаковой: «Не знаю, скоро ли дойдет письмо мое к Государю, когда он за границей, и будет ли он так ко мне милостив, что уважит мою просьбу о позволении печатать труды моего Ангела» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. С. 85).

22 мая 1853 года Шевырев сопроводил обращение М. И. Гоголь своим письмом на имя графа А. Ф. Орлова: «В бумагах Гоголя, разобранных мною, отыскалось несколько ненапечатанных сочинений, из которых три главные: *Авторская исповедь, Размышления о Божественной Литургии* и пять глав второго тома *Мертвых Душ.* В этих сочинениях выражены многие высокие нравственные истины: издание их вместе с прежними трудами покойного могло бы принести пользу, особенно молодому поколению писателей, и содействовать нравственному направлению русской словесности» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 189).

28 мая 1853 года великий князь Константин Николаевич отправил просьбу М. И. Гоголь графу А. Ф. Орлову для представления Императору. Письмо С. П. Шевырева оказалось при этом невостребованным, так как великий князь написал собственное сопроводительное послание к графу Орлову. «В продолжение прошлой зимы, — писал великий князь, — Я имел случай прочесть некоторые ненапечатанные сочинения покойного Гоголя, найденные после его смерти, как-то: Размышления о Литургии, исповедь Автора и пр. — Сочинения эти отличаются прекрасным религиозным направлением, и в них выражается теплая любовь Автора к России и преданность к Престолу. Ныне мать его доставила Мне просьбу на Высочайшее Имя о разрешении напечатать новое издание всех прежних сочинений его с присовокуплением найденных после него рукописей. Признавая подобное издание весьма полезным и имея в виду, что сочинения Гоголя, не всегда правильно понимаемые, возбуждали разные споры в литературе и что посему едва ли удобно передавать оные на рассмотрение обыкновенной цензуры и что на издание некоторых из них состоялись и в прежнее время особые Высочайшие повеления, Я решаюсь препроводить помянутую просьбу к Вашему Сиятельству и ходатайствовать повергнуть оную воззрению Государя Императора на случай, не соизволит ли Его Императорское Величество поручить Статс-Секретарю Барону Корфу пересмотреть все сочинения Гоголя для разрешения напечатать оные. Я уверен, что Барон Модест Андреевич с удовольствием и вполне отчетливо исполнит подобное поручение. Сочинений Гоголя уже почти нет в продаже, и потому новое издание весьма бы желательно, тем более, что оно послужило бы средством к содержанию семейства его, находящегося в крайней бедности» (письмо из Стрельны от 28 мая 1853 года; *РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 67. Л. 1–2; опубл.: *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 187).

2 июня 1853 года последовало решение Государя о рассмотрении сочинений Гоголя в «обыкновенной цензуре». В этот день граф

А. Ф. Орлов сообщал великому князю Константину Николаевичу: «Представив на Высочайшее воззрение... препровожденную ко мне... просьбу матери покойного Гоголя о разрешении нового издания всех прежних его сочинений, со включением тех, которые найдены были в рукописях по его смерти, — я всеподданнейше испрашивал соизволения Его Императорского Величества рассмотреть все сии сочинения в Комитете, Высочайше учрежденном под председательством Статс-Секретаря Барона Корфа; но Государь Император, признавая, что рассмотрение оных в означенном Комитете было бы отступлением от общего порядка, и полагая, что сочинения эти, на основании установленных правил, должны быть рассмотрены в обыкновенной цензуре, не изволил изъявить Высочайшего согласия на изъясненное мое представление» (*РНБ*. Ф. 850. Ед. хр. 66. Л. 1; бумага подписана также Г. Л. Дубельтом). Граф Орлов тогда же «предписал» частным образом не задерживать дела в Москве, но «скорее переслать все» в Петербургский цензурный комитет, где обещал от своего имени и от имени Дубельта вести личное наблюдение за ходом рассмотрения гоголевских сочинений (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 187–189). 2 июня 1853 года М. С. Щепкин в письме к жене Е. Д. Щепкиной из Петербурга сообщал: «Вчера возвратился в 4-м часу... Вечер был превосходный, чтение удачно, великий князь до чрезвычайности мил и любезен. Дело об покойнике Гоголе по милости его высочества закипело» (Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 212). Спустя несколько дней он сообщал также сыну Н. М. Щепкину: «В прошлый понедельник <1 июня 1853 года> у Софьи Петровны Апраксиной я читал для великого князя Константина Николаевича из “Мертвых душ” и старых и новых... Рассказал “Полюби нас черненьких, а беленькими нас всякий полюбит” — ему сказали, что это мой рассказ» (Там же. Т. 1. С. 214). (В августе 1853 года М. С. Щепкин привез также сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ» в Лондон А. И. Герцену.)

Обращение Московского цензурного комитета к товарищу министра народного просвещения А. С. Норову о разрешении издания сочинений Гоголя последовало лишь в декабре 1853 года. 28 ноября 1853 года В. И. Назимов лично отправился с сочинениями Гоголя из Москвы в Петербург (см.: *ЦИАМ*. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 327. Л. 76 об.). В Петербурге он передал их А. С. Норову вместе с представлением, датированным 5 декабря 1853 года (в «Реэстре Исходящих бумаг Московского Ценсурного Комитета за 1853-й год» этот документ вписан в конце журнала, после 31 декабря, так что, очевидно, это представление было оформлено здесь задним числом, по возвращении В. И. Назимова из Петербурга в конце декабря 1853 года; см.: *ЦИАМ*. Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 122–124). В письме к министру В. И. Назимов писал, что С. П. Шевырев по имеющейся у него доверенности от родственников Гоголя обратился в Цензурный комитет с просьбой о разрешении ему переиздания Сочинений

Гоголя в четырех томах 1842 года с дополнением «Авторской исповеди» и пяти глав второго тома «Мертвых душ» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 122–122 об.; см. также: Литературный музеум. <1922>. Кн. 1. С. 83). «Размышления о Божественной Литургии» при этом упомянуты не были. К тому времени, в период со второй половины июня по ноябрь 1853 года, рукопись «Размышлений о Божественной Литургии» была отделена от прочих сочинений Гоголя и как книга, подлежащая рассмотрению духовной цензуры, была передана святителю Филарету (Дроздову), митрополиту Московскому и Коломенскому.

Хотя в официальном представлении В. И. Назимова А. С. Норову книга о Литургии не упоминались, тем не менее П. А. Плетнев 29 декабря 1853 года в отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности Академии наук сообщал: «Академик С. П. Шевырев приготовил к изданию и представил на просмотр цензурного комитета три еще не бывших в печати сочинения покойного Н. В. Гоголя: 1) Размышления о Божественной Литургии, 2) Авторская исповедь, и 3) Пять глав второго тома “Мертвых душ”» (Отчет за 1853 год, составленный ординарн. академиком *П. А. Плетневым.* Читан им в торжественном собрании Академии 29 декабря 1853 года // Отчеты Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852—1865 годы. СПб., 1866. С. 82). Возможно, рукопись «Размышлений о Божественной Литургии» В. И. Назимов все-таки привозил с собой в Петербург, ознакомив с нею А. С. Норова (и, вероятно, П. А. Плетнева) частным образом.

29 декабря 1853 года на заседании Московского цензурного комитета было заслушано «предложение Г. Товарища Министра Народного Просвещения <А. С. Норова> от 22 декаб<ря>, за № 2536, по делу о цензурном рассмотрении сочинений умершего писателя Н. В. Гоголя, как изданных, так и найденных после его смерти в рукописях» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 106 об. — 107 об.). Поскольку А. С. Норов указывал, что в представлении В. И. Назимова от 5 декабря 1853 года отсутствуют «подробное донесение цензора и заключение Цензурного Комитета, как о содержании и общем направлении рассматриваемых сочинений, так и о каждом из мест, представляющихся сомнительными», то решено было «печатные 4-е части передать Ценсору Ржевскому для вторичного просмотра, а рукописи Ценсору Похвисневу» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 338. Л. 46). Дело о разрешении сочинений Гоголя опять возвратилось в Москву.

В феврале 1854 года о гоголевских «Размышлениях о Литургии» упомянул в московском сборнике «Раут» Н. В. Сушков: «У Шевырева я видел кипу разных писем Гоголя. Говорят, остались в рукописи размышления о Литургии и что-то *о внутренней* жизни поэта — психологический очерк творчества, авторская исповедь, или ***повесть моего авторства,*** как придумал название этой рукописи Шевырев в примечаниях к своей речи “о значении Жуковского в Русской

жизни и поэзии"» (Обоз к потомству с книгами и рукописями. Из записок Н. В. Сушкова // Раут: Исторический и литературный сборник: Изд. Н. В. Сушкова. М., 1854. Кн. 3 (цензурное разрешение 10 февраля). С. 397).

21 февраля 1854 года Шевырев сообщал М. И. Гоголь из Москвы: «Не писал я к вам и по той еще причине, что до сих пор не могу вам сказать ничего утешительного касательно издания сочинений вашего сына. Попечитель возил их в Петербург и привез оттуда решение пересмотреть их снова в Московском, а потом в Петербургском комитете, где находятся сильные люди, противящиеся изданию. *Размышления о Литургии* до сих пор находятся у митрополита, который обещался пропустить их и сам хочет исправить. Но до сей минуты длится и конца ему я еще не предвижу» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 189).

После назначения А. С. Норова в апреле 1854 года на должность министра народного просвещения последний обратился к матери Гоголя с просьбой предоставить ему портрет писателя работы Ф. А. фон Моллера для снятия копии. С. П. Шевырев в связи с этим писал Марии Ивановне: «Хотя многие попытки наши об исходатайствовании позволения напечатать сочинения покойного Н<иколая> В<асильевича> кончались неудачами, но, мне кажется, здесь представляется удобный <случай> возобновить прерванное дело. А потому я желал бы, чтобы вы не отказали просьбе министра и с тем вместе в ответном письме возобновили просьбу. Если он хочет портретом Н<иколая> В<асильевича> украсить библиотеку своего министерства, то, конечно, употребит и власть свою, чтобы возвратить сочинения покойного публике и семейству. На всякий случай прилагаю вам черновой образчик письма; но, может быть, материнское ваше сердце внушит вам письмо сильнее и красноречивее» (*Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 192).

Спустя несколько месяцев, 24 сентября 1854 года, С. П. Шевырев еще раз обратился в Московский цензурный комитет с прошением о завершении дела по рассмотрению сочинений Гоголя в четырех томах. При этом Шевырев предложил дополнить собрание сочинений новым, пятым томом, который составили бы «Выбранные места из переписки с друзьями» (заседание комитета по этому вопросу состоялось 30 сентября; *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 74 об.; Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 11–13).

Осенью 1854 года права по изданию сочинений Гоголя были переданы Марией Ивановной ее внуку Н. П. Трушковскому. 14 октября 1854 года она писала С. П. Шевыреву из Васильевки: «Милостивый Государь Степан Петрович. Зная беспрерывные ваши занятия, еще и не относящиеся к вашему семейству, возлагаемые на вас; в том числе и мы обременяли вас своими делами, и вы много о них трудились, за что навсегда останусь вам благодарна: и так как моему внуку кончилось совершеннолетие, то прошу вас передать

ему все бумаги и письма моего сына, ко мне и меньшой его сестре им писанные, для издания, когда Бог ему поможет в том, а вас сколько-нибудь облегчить в трудах ваших» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 27). 12 декабря 1854 года М. И. Гоголь сообщала О. Сем. Аксаковой: «Я просила С. П. Шевырева передать ему <Трушковскому> все для печатания...» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. С. 88).

Донесения цензоров Д. С. Ржевского и И. И. Похвиснева, которым было поручено рассмотрение сочинений Гоголя, были заслушаны на заседании Московского цензурного комитета 26 ноября 1854 года (см.: *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 96 об.; *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 351. Л. 11–15 об.). Спустя еще два с половиной месяца, 18 февраля 1855 года, скончался Император Николай I. Разрешение на издание сочинений было дано новым Императором, Александром II, 15 мая 1855 года (см.: Литературный музеум. <1922>. Кн. 1. С. 83). Спустя десять дней, 25 мая 1855 года, это разрешение было получено в Москве (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 365. Л. 46 об.); оно было заслушано на заседании Цензурного комитета 27 мая (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 357. Л. 60–61). Еще через три дня, 30 мая 1855 года, Шевырев обратился в Московский цензурный комитет с просьбой о разрешении первого тома «Мертвых душ» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 365. Л. 48 об. — 50; обращение заслушано на заседании Комитета 5 июня 1855 года; *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 357. Л. 79–79 об.; разрешение на печатание, от 16 июля 1855 года, получено из Петербурга 25 июля: *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 358. Л. 27–27 об.). Второе, посмертное, собрание сочинений Гоголя — в шести томах, под редакцией Н. П. Трушковского (цензурное разрешение 5-го тома 10 февраля 1856; 6-го — 16 февраля; заметка «От издателя» в 5-м томе датирована 30 апреля) вышло без «Размышлений о Божественной Литургии».

Кроме собрания сочинений Н. П. Трушковский издал отдельной книгой «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти: Мертвые души, том второй (пять глав), и Авторская исповедь» (цензурное разрешение 26 июля 1855; цензурное разрешение 2-го изд., «с издания 1855 г. без перемен», 13 января 1856). Это издание Н. П. Трушковский, как и вышедшее ранее собрание, сопроводил примечанием «От издателя». В этой заметке была упомянута и книга о Литургии (под новым названием): «Приносим здесь, от лица всей семьи покойного Гоголя, искреннюю благодарность С. П. Шевыреву, который принял на себя большой труд разобрать все оставшиеся бумаги после смерти Николая Васильевича, переписать своей рукой, и своими советами много способствовал настоящему изданию... Кроме отрывков из Мертвых Душ в бумагах Гоголя найдены еще: "Рассуждения о Божественной Литургии" и "Авторская исповедь". Последняя не имела названия, но сам Автор несколько раз говорит в ней, что это *чистосердечная моя повесть, повесть моего Авторства,* то С. П. Ш<евырев> и решился ее назвать Авторскою исповедью. Она помещена здесь» (Соч. *Н. В. Гоголя,* найденные после его

смерти. М., 1855. С. VIII, X–XI; 2-е изд. М., 1856. С. VIII, XI). Книга о Литургии в это издание также не вошла.

Весной 1855 года копию «Размышлений о Божественной Литургии» сделал для себя, со списка С. П. Шевырева, П. А. Кулиш. В то время он был в Москве и встречался с Н. П. Трушковским (см. его письмо к родным из Москвы от 15 марта 1855 года, в котором Кулиш, помимо прочего, сообщал, что «решился остаться в Москве на неделю для выписок», необходимых ему для биографии Гоголя; *Пантелеймон Куліш.* Листи до М. Д. Білозерского. Львів; Нью-Йорк, 1997. С. 201–203). 24 марта 1855 года, описывая неизвестному адресату впечатления от посещения могилы Гоголя, Кулиш добавлял: «Теперь я переписываю его “Объяснение Литургии”...» (*ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 96 об. – 97). Спустя год, 27 марта 1856 года, П. А. Кулиш писал Н. Д. Белозерскому из Петербурга: «О Литургии Гоголя распоряжение учинено, и Вы будете иметь список. Переслать же для переписания невозможно. О пропусках я отложил попечение» (Пантелеймон Куліш. Листи до М. Д. Білозерского. С. 145; ср. также: *Шенрок В.* П. А. Кулиш. (Биографический очерк) // Киевская Старина. 1901. № 6. С. 360). 20 апреля 1856 года Кулиш вновь сообщал Н. Д. Белозерскому из Петербурга: «Полученная Вами копия “Литургии” списана для Вас, так как другого способа доставить ее Вам не было, а Вы требовали непременно. Издержки мне еще неизвестны. Если пришлете ее в Москву, то я сличу с подлинником, а Трушковскому некогда. Сообщать кому бы то ни было для снятия копии нельзя, до получения на то позволения от Трушковского. Подлинник хранится у него без заглавия. Список — с копии, сделанной рукою Шевырева» (Пантелеймон Куліш. Листи до М. Д. Білозерского. С. 150).

Чем завершилось рассмотрение «Размышлений о Божественной Литургии» святителем Филаретом, неизвестно. После выхода в свет шести томов собрания и двух изданий «Сочинений Н. В. Гоголя, найденных после его смерти» Н. П. Трушковский 31 мая 1856 года отправил из Москвы в Петербургский комитет духовной цензуры прошение о рассмотрении оставшейся неизданной книги вместе с рукописью: «Имею честь представить в комитет Духовной цензуры, при С.-Петербургской Духовной Академии, на рассмотрение, рукопись под заглавием: “Размышления о Божественной Литургии”, соч. Н. В. Гоголя. Прошу покорнейше рассмотреть означенное сочинение и по одобрении возвратить его мне обратно в Москву на имя господина профессора Императорского Московского университета статского советника Осипа Максимовича Бодянского. Кандидат С. Петербургского университета Николай Трушковский» (*РГИА.* Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1282. Л. 24).

В июне или в июле 1856 года рукопись поступила на рассмотрение цензора архимандрита Кирилла (род. в 1822 году; в сан архимандрита возведен 24 сентября 1851 года; *РГИА.* Ф. 802. Оп. 5. Ед. хр. 14010). 7 августа 1856 года в собрании членов Санкт-

Петербургского комитета духовной цензуры была выслушана его «записка о том, что в рассмотренной им рукописи: “Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя”, при множестве прекрасных мыслей, встречается немало объяснений обрядов Богослужения произвольных и даже неправильных, есть даже выражения, противные учению Православной Церкви; посему рукопись не может быть одобрена к печатанию в настоящем виде» (*РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1282. Л. 24–24 об.). Протокол собрания подписали: архимандрит Иоанн, архимандрит Кирилл, протоиерей Михаил Богословский, профессор Санкт-Петербургской духовной академии В. Н. Карпов, секретарь Коваленский.

9 августа к делу была приложена записка архимандрита Кирилла, текст которой лишь незначительно отличается от внесенного в протокол — разнятся лишь начальная и заключительная фразы: «В размышлениях о Литургии, Гоголя, при множестве прекрасных мыслей… Посему размышления эти не могут быть одобрены в настоящем их виде. Цен<зор> А<рхимандрит> Кирилл» (*РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1282. Л. 26).

Согласно «Ведомости о сочинениях, рассмотренных С. Петербургским Комитетом Духовной Цензуры в течение 1856-го года», решение о запрещении рукописи было вынесено Комитетом 10 августа. В ведомости рукопись числится под номером 170. В графе «Время поступления» означено: «Август» (помета, очевидно, не соответствует действительному времени поступления рукописи в цензуру). В разделе «Заглавие сочинения. От кого представлена и в какую долю листа» написано: «Рукопись: “Размышления о Литургии — Гоголя”. Представлены из С. Петербургского Цензурного Комитета. В 1/2 д<олю> л<иста>». В графе «Число страниц» проставлено: «123». В графе «Имя цензора рассматриваемого сочинения» — «Архимандрит Кирилл». В разделе «Время одобрения или неодобрения к печатанию с кратким указанием» указано: «10 августа не одобрена к печатанию, так как встречаются объяснения произвольные и даже неправильные и есть выражения, противные учению Православной Церкви» (*РГИА*. Ф. 802. Оп. 7. Ед. хр. 20110. Л. 19 об. — 20). Ведомость подписали члены Комитета: архимандрит Иоанн, архимандрит Кирилл, протоиерей Иоанн Яхонтов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии В. Н. Карпов, секретарь Иван Вознесенский (Там же. Л. 38 об.). (Об использовании Гоголем статьи И. К. Яхонтова «О православии Российской Церкви» в работе над книгой см. выше.)

Список, проходивший цензуру в августе 1856 года (в котором, согласно цензурной ведомости, было 123 страницы), по-видимому, не сохранился. (Возможно, однако, этим списком является копия «Размышлений…», сохранившаяся среди бумаг О. М. Бодянского; см.: Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Національна Академія наук України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ, 1999. С. 72.) Упомянутый выше

список С. П. Шевырева состоит из 130 пронумерованных страниц, в нем 68 листов. Другой список, переданный Шевыревым великому князю Константину Николаевичу, представляет собой тетрадь из 93 листов, in folio. Написан этот список тремя почерками: начало и конец тетради (листы 2–14, 87–93) — образцовым каллиграфическим; листы 15–29 заполнялись самим Шевыревым, листы 30–52 — почерком неизвестного лица. Кроме того, титульный лист этого списка — с написанным на нем большими печатными буквами названием книги — «Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя», прямо указывает на то, что этот список был изготовлен как подарочный (а не предназначенный для представления в цензуру), — название украшено здесь узорами и заставкой: изображением потира и сходящего в него Святаго Духа, окруженных сиянием (*ГАРФ*. Ф. 728. Оп. 1. № 3157. Л. 1).

Очевидно, отправленная Н. П. Трушковским в цензуру рукопись также представляла собой копию со списка, сделанного Шевыревым. Возможно, эта копия была сделана О. М. Бодянским, на имя которого должен был прийти отзыв духовной цензуры и которому Трушковский предполагал сначала поручить новое, третье издание сочинений Гоголя (впоследствии это издание было поручено П. А. Кулишу) (см.: *Шенрок В. И.* П. А. Кулиш. С. 122, 128–129). Таким образом, для предполагаемого издания Трушковский (или Бодянский) воспользовался текстом «Размышлений...», подготовленным Шевыревым, — так же, как это сделал позднее П. А. Кулиш (см. ниже).

13 августа официальное извещение о запрещении книги вместе с рукописью было отправлено в Москву на имя О. М. Бодянского. В бумагах В. И. Шенрока, опубликовавшего этот документ, сохранилась копия извещения. Оно начиналось с печатного заголовка: «Ведомство Православного исповедания. Духовно-учебное управление при Святейшем Синоде. С.-Петербургский духовно-учебный округ. С-Петербургская духовная академия. Комитет для цензуры духовных книг. Санктпетербург. 13 августа 1856 г. № 277». Далее сообщалось: «Его высокородию господину профессору Императорского Московского университета статскому советнику Осипу Максимовичу Бодянскому. С. Петербургский Комитет для цензуры духовных книг, рассматривавший рукопись: “Размышления о Божественной Литургии”, соч. Н. В. Гоголя, нашел, что в размышлениях о Литургии Гоголя, при множестве прекрасных мыслей, встречается немало объяснений обрядов Богослужения произвольных и даже неправильных; есть даже выражения, противные учению Православной Церкви. Посему размышления эти не могут быть одобрены в настоящем их виде. Об этом Канцелярия Комитета имеет честь уведомить Ваше высокородие — с возвращением самой рукописи. Секретарь Иван Вознесенский» (*РГАЛИ*. Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 23–23 об.; опубл.: *Шенрок В. И.* К биографии Н. В. Гоголя. I. О недозволении печатать «Размышления о Божественной Литургии»

Н. В. Гоголя // Русская Старина. 1902. № 9. С. 651; копия извещения сохранилась также среди бумаг О. М. Бодянского; см.: Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Національна Академія наук України. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ, 1999. С. 81).

Спустя полгода, 9 февраля 1857 года, сопроводительную записку к «Ведомости о сочинениях, рассмотренных С. Петербургским Комитетом Духовной Цензуры в течение 1856-го года» (с упоминанием о запрещении гоголевской книги) подписал, в представлении Святейшему Синоду, назначенный незадолго перед тем на должность обер-прокурора Синода граф А. П. Толстой (*РГИА*. Ф. 802. Оп. 7. Ед. хр. 20110. Л. 80–80 об.) (назначение графа Толстого произошло 20 сентября 1856 года, то есть уже после запрещения книги; см.: ***Филиппов Т.*** Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом // Гражданин. Газета-журнал политический и литературный. 1874. 29 января № 4. С. 109).

С вступлением графа А. П. Толстого в должность обер-прокурора Святейшего Синода с прошением к нему о разрешении «Размышлений о Божественной Литургии» обратился П. А. Кулиш, ставший к тому времени первым (вместо Шевырева) биографом Гоголя (выпустившим «Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем», а также дополненное издание этой биографии — двухтомные «Записки о жизни Н. В. Гоголя»), а кроме того, подготовивший к публикации третье издание гоголевских сочинений в шести томах (вышло в свет в 1857 году; цензурное разрешение 2–6-го томов 28 марта 1857; 1-го тома — 3 мая; цензор Н. П. Гиляров-Платонов). (С графом А. П. Толстым Кулиш познакомился осенью 1855 года. 30 ноября этого года он писал Н. Д. Белозерскому из Киева: «Здесь граф А. П. Толстой, у которого умер Гоголь. Я с ним познакомился и очень сошелся, сколько это мне нужно для сведений о Гоголе. Он уезжает, но обещал писать ко мне на все мои вопросы. Очень симпатичный, очень искренний человек»; Пантелеймон Куліш. Листи до М. Д. Білозерського. С. 134.)

Представленная П. А. Кулишом в конце 1856 — начале 1857 года в духовную цензуру рукопись «Размышлений о Божественной Литургии» (хранится: *ИРЛИ*. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 2) является точной копией со списка, подготовленного ранее С. П. Шевыревым. Несомненно, Кулиш воспользовался списком Шевырева, предоставленным ему Трушковским. Разрешения же Шевырева на публикацию подготовленного им текста «Размышлений...» Кулиш (крайне резко отзывавшийся о Шевыреве), скорее всего, не получал. Еще в 1853 году, 28 мая, Кулиш, в частности, писал Н. Д. Белозерскому из Москвы: «Достал я исповедь Гоголя (весьма любопытную вещь), но не везу с собой, а перепишут и вышлют Вам скоро. Дать не решаются по множеству любопытных, переписывающих ее здесь, назло Шевыреву, этой собаке на сене, которая никому не дала бы списать, если бы от нее зависело» (***Пантелеймон Куліш.*** Листи

до М. Д. Білозерского. С. 103). Самому Шевыреву Кулиш 13 июня 1857 года писал: «Видя из бумаг Гоголя, как много времени посвятили Вы приведению их в тот вид, в каком они перешли в мои руки, я вполне ценю Ваш подвиг дружбы к поэту, для которого Вы и после смерти остались тем, чем были при жизни» (*Балакшина Ю. В.* С. П. Шевырев, Аксаковы и история распространения «Авторской исповеди» в списках // Н. В. Гоголь и его литературное окружение: Восьмые Гоголевские чтения: Сб. докл. Междунар. конференции. М., 2009. С. 94).

Вероятно, вмешательство графа Толстого во многом решило судьбу книги. Характерно, что граф, познакомившийся с этим произведением в чтении самого Гоголя (помощь в работе над книгой он оказывал писателю еще в середине 1840-х годов; см. выше), уже в 1852 году не сомневался в том, что обнаруженные после смерти писателя бумаги (среди них сочинение о Литургии) могут быть напечатаны. Толстой писал сестре, графине С. П. Апраксиной, что «предстоит лишь получить разрешение напечатать все, что было вновь найдено, когда оно будет приведено в порядок, — если только цензура не будет возражать на это, чему я не верю... Юношество сможет увидеть, что было серьезного и христианского в том Гоголе, которого оно знало только как сатирика и фрондера» (*Паламарчук П. Г.* Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя. С. 489; см. также: Письмо Н. В. Гоголя — С. П. Апраксиной и переписка о Гоголе между А. П. Толстым и Погодиным. С. 35).

Об участии А. П. Толстого при прохождении «Размышлений...» в цензуре П. А. Кулиш 19 января 1857 года извещал С. Т. Аксакова: «Граф А. П. Толстой обнадеживает меня, что *Размышления о Литургии* будут пропущены» (*РГАЛИ.* Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 71). 5 февраля 1857 года Кулиш сообщал: «Объяснение Литургии, по милости графа Толстого, будет скоро пропущено» (*РГАЛИ.* Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 73). К тому времени Кулиш, очевидно, должен был отказаться от мысли включить «Размышления...» в состав издававшихся им в то же время «Сочинений и писем» Гоголя, печатавшихся в двух типографиях (т. 2–6 — в типографии Имп. Академии наук; т. 1 — в типографии А. Якобсона). 4 марта 1857 года он писал С. Т. Аксакову из Петербурга: «В заглавии сочинений Гоголя нет слова: *Полный.* Они будут называться: *Сочинения и Письма Гоголя.* Можно даже сказать в предисловии, что полного собрания сочинений и писем Гоголя издать еще невозможно, что и будет правда, ибо *Размышления о Литургии* не скоро еще пройдут через Синод...» (*Гудзій М.* Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових // Радянське літературознавство. 1957. Ч. 19. С. 88–89).

Несмотря на участие графа А. П. Толстого, прохождение книги в цензуре действительно заняло продолжительное время. Цензором гоголевского сочинения вновь был назначен архимандрит Кирилл — вероятно, потому, что с этим произведением он уже был знаком. Спустя более четырех месяцев со времени передачи

Кулишом рукописи графу А. П. Толстому, 15 мая 1857 года, в собрании членов Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры была прочитана записка архимандрита Кирилла «о том, что рассмотренная им рукопись: "Размышления о Божественной Литургии" — Гоголя, не представляет ничего противного духовной цензуре и может быть одобрена к печатанию». Вследствие представления архимандрита Кирилла собранием Комитета было вынесено решение: «Дозволить напечатать». Протокол собрания был подписан членами Комитета: архимандритом Кириллом, протоиереем Иоанном Яхонтовым, профессором В. Н. Карповым и секретарем И. А. Чистовичем (*РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1282. Л. 34).

В «Ведомости о сочинениях, рассмотренных С. Петербургским Комитетом Духовной Цензуры в течение 1857-го года» рукопись значится под номером 155. В графе «Время поступления» поставлено: «Май» (помета, вероятно, не соответствует действительному времени поступления рукописи в цензуру; в противном случае следует предположить, что до этого времени рукопись находилась не в цензуре, а у самого графа Толстого). В третьей графе ведомости «Заглавие сочинения и от кого представлено» написано: «Рукопись: "Размышления о Литургии Гоголя". Представлена к цензору». В разделе «Время одобрения или неодобрения» — «15 мая одобрен<а> к печати». В графе «Имя цензора, рассматривавшего сочинение» указано: «Архимандрит Кирилл» (*РГИА*. Ф. 802. Оп. 7. Ед. хр. 21395. Л. 59). Ведомость подписали члены Комитета: архимандрит Нектарий, протоиерей Иоанн Яхонтов, священник Константин Добронравин, профессор Санкт-Петербургской духовной академии В. Н. Карпов, секретарь И. А. Чистович (Там же. Л. 77 об.). Позднее, 22 февраля 1858 года, сопроводительную записку к ведомости (при представлении ее Святейшему Синоду) подписал граф А. П. Толстой (*РГИА*. Ф. 802. Оп. 7. Ед. хр. 2195. Л. 99).

Однако рукопись, переданная П. А. Кулишом в цензуру и одобренная Цензурным комитетом, была подвергнута многочисленным исправлениям. Скорее всего, эти исправления были внесены в текст цензором архимандритом Кириллом, отрицательно отозвавшимся о гоголевском сочинении в первом представлении книги в цензуру. Тем самым к исправлениям Шевырева в тексте «Размышлений...» прибавилась новая правка духовного цензора.

8 июня 1857 года Кулиш писал жене: «Моя типография уже набирает "Бориса Годунова" <произведение самого Кулиша>, а граф Толстой обещал через неделю возвратить мне Литургию, и это будет первая книга, которая выйдет в моей типографии» (*Гудзій М.* Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових. С. 115; см. также: *Шенрок В.* П. А. Кулиш. С. 141; Киевская Старина, 1901. № 6. С. 376). 16 июня Кулиш уже сообщал жене: «Божественная Литургия с сегодняшнего утра набирается в моей типографии» (*Петров В.* Пантелимон Куліш у п'ятдесяті роки. Життя, ідеологія. Творчість. Київ, 1929. Т. 1. С. 338; см. также: *Гудзій М.* Невидані листи П. О. Куліша

до Аксакових. С. 115). 18 июня 1857 года П. А. Кулиш извещал О. М. Бодянского: «Литургия Гоголя пропущена; оце вже друковатыму» (*Титов А.* Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому // Киевская Старина. 1898. № 2. С. 310). 22 июня 1857 года Кулиш писал С. Т. Аксакову: «Я скоро пришлю Вам образцовый экземпляр *Литургии* Гоголя или моей *Повести о Борисе Годунове и Дим<итрии> Самозв<анце>*. Обе печатаются в одно время» (*Гудзій М.* Невидані листи П. О. Куліша до Аксакових. С. 93). Рукопись «Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце, написал для детей старшего возраста П. Кулиш» была представлена в Московский цензурный комитет 19 октября 1856 года (см.: *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 368. Л. 16). 17 ноября 1856 года повесть была выдана Кулишу с одобрением к печати цензора Н. П. Гилярова-Платонова (Там же. Л. 29 об.). 25 июня 1857 года Кулиш снова писал Бодянскому: «Лытургию Гоголя печатаю вже в себе...» (Киевская Старина. 1898. № 2. С. 311).

В июле 1857 года книга вышла в свет: «Размышления о Божественной Литургии, Н. В. Гоголя. Издал П. А. Кулиш. Санктпетербург, 1857. <132 с.>. От С. Петербургского Комитета Духовной Цензуры печатать позволяется. Мая 15 дня, 1857 года. Цензор *Архимандрит Кирилл.* В типографии П. А. Кулиша в Николаевской улице, в д<оме> г-жи Яценковой».

Извещение о выходе книги появилось в начале августа 1857 года в «Библиотеке для Чтения»: «Вышла из печати книга, под заглавием *Размышления о Божественной Литургии*, соч. Н. В. Гоголя, изд. П. А. Кулиша. Цена 1 р. 25 к., с пересылкою 1 р. 50 к. Книга эта продается в пользу бедных, в исполнение намерения покойного автора. Таким образом, в настоящее время напечатано, кажется, все, что написал Гоголь» (Литературная летопись // Библиотека для Чтения. 1857. Т. 144. Отд. 6. Августа С. 30; цензурное разрешение 31 июля).

Следует отметить одно противоречие, связанное с изданием книги. С одной стороны, Тарасенков в своих воспоминаниях говорил по поводу гоголевского толкования Литургии о желании писателя «сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене» (см. выше). С другой стороны, Кулиш выпустил дорогое издание, мотивируя это исполнением желания покойного автора помочь бедным. (Сделал это Кулиш уже после публикации воспоминаний Тарасенкова, которые должны были быть ему известны: они были напечатаны в № 12 «Отечественных Записок» за 1856 год, — в предшествующем № 11 была завершена публикация «Записок о жизни Н. В. Гоголя» самого Кулиша. Позднее Кулиш ссылался на статью Тарасенкова в биографическом очерке о Гоголе, подготовленном им для книги «Лицей князя Безбородко»; см.: *Кулиш П.* Н. В. Гоголь // Лицей князя Безбородко. СПб.: граф Г. А. Кушелев-Безбородко, 1859. Отд. 2. С. 61–62.) Возможно, игнорируя волю Гоголя (в том виде, как она изложена в воспоминаниях Тарасенкова), Кулиш исходил из слов А. П. Елагиной, с которой встречался ранее, осенью 1852 года. Об этом в дневнике О. М. Бодянского сохранилась

запись: «*Ноября 6 <1852>*. В бытность у А. П. Елагиной слышал я вместе с К<улишом>, что Гоголь просил ее и еще кого-то принять на себя труд — те деньги, которые выручат за последнее издание его сочинений, раздать бедным» (Выдержки из дневника О. М. Бодянского // Сб. Об-ва любителей Российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 118; см. также: *Кочубинский А. А.* О. М. Бодянский в его дневнике // Исторический Вестник. 1887. № 12. С. 516–517).

19 февраля 1858 года М. И. Гоголь писала управляющему типографией П. А. Кулиша Д. С. Каменецкому: «Из денег за Литургию вам остается только выслать сто рублей, а остальные полторы тысячи оставить в билете для других распоряжений детей моих» (Письма Марии Ивановны Гоголь к П. А. Кулишу и Д. С. Каменецкому // Киевская Старина. 1897. № 12. Отд. 2. С. 67).

2 декабря 1858 года П. А. Кулиш в письме к графу А. П. Толстому обратился к нему с просьбой о новом, повторном издании «Размышлений...» «Продажа экземпляров *Литургии* Гоголя, — писал Кулиш, — давно уже прекратилась. Это значит, что в высшем или богатейшем классе людей, для которых предназначалось мною первое издание, книжка эта нашла мало покупщиков; для людей же небогатых назначенная мною с умыслом (в пользу бедных) высокая цена оказалась недоступною. Поэтому я решился уменьшить цену до 30 к<опеек> за экземпляр, под видом *второго издания*, для которого надобно перепечатать только заглавные листки да обертку. Кроме того, я присовокупил от себя несколько строк предисловия, чтобы заохотить каждого, кто возьмет в руки книжку, купить ее. Цензуре делать здесь нечего, но она может отложить подпись на неделю, на две, на месяц и на два, ради показания своей важности, а время, самое удобное для сбыта книг, уйдет между тем, и алчущие духовной пищи лишатся возможности насытиться, может быть именно тогда, когда они наиболее к тому расположены. Поэтому покорнейше прошу Ваше сиятельство отправить прилагаемую книжку к цензору от себя, с наказом подписать, *ничтоже сумняся*, чем увеличите количество делаемых Вами добрых дел» (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 28. Отд. 1. Стол 2. Ед. хр. 175. Л. 1–1 об.).

Просьба Кулиша была исполнена. 5 декабря 1858 года цензор архимандрит Феодор представил в Комитет духовной цензуры следующую записку: «Честь имею донести Комитету, что рассмотренная мною книжка: “Размышления о Божественной Литургии, Н. В. Гоголя”, предназначенная ко второму изданию, по правилам духовной цензуры может быть одобрена к напечатанию. Архимандрит Феодор» (*РГИА*. Ф. 807. Оп. 2. Ед. хр. 1282. Л. 27). 7 декабря граф А. П. Толстой отправил книгу Кулишу с сопроводительным письмом: «Доставленный Вами при письме от 2 сего декабря экземпляр размышлений о Божественной Литургии покойного Н. В. Гоголя, по одобрении книги сей духовною цензурою к напечатанию вторым изданием, имею честь при сем к Вам, милостивый государь, препроводить» (*РГИА*. Ф. 797. Оп. 28. Отд. 1. Стол 2. Ед. хр. 175. Л. 2).

В начале 1859 года второе издание книги вышло из печати: «Размышления о Божественной Литургии, Н. В. Гоголя. Издание второе, без перемен, П. А. Кулиша. Санктпетербург, 1859. <132 с.>. — От С. Петербургского Комитета Духовной Цензуры печатать позволяется. Декабря 5-го дня 1858 года. Цензор *Архимандрит Феодор.* В типографии П. А. Кулиша на углу Вознесенского и Екатерингофского проспектов, в доме Лея. — Ц. 30 к., с перес. 50 к.» На страницах V–VI книги было помещено предисловие «От издателя»: «Наследники покойного автора этой книги, находя, что высокая цена первого ее издания была причиною медленной распродажи напечатанных экземпляров, и желая доставить небогатым людям возможность приобретать столь назидательное сочинение, рассудили за благо значительно уменьшить цену экземпляров настоящего *второго издания* "Размышлений о Божественной Литургии", которое, относительно внешнего достоинства, во всем соответствует первому. О внутреннем достоинстве этого сочинения, написанного от полноты веровавшей души, распространяться было бы излишне. Каждый, кто предстоит совершению Божественной Литургии, должен содержать в уме предложенные здесь истолкования сего священнодействия, дабы ни одно слово и движение совершателей оного не осталось для него без истинного своего значения; ибо глубоко обдуман Отцами Церкви весь чин православного Богослужения нашего, и кто взирает на его очами верующего разума, тот находит в нем неиссякаемый источник возвышенных чувств и помыслов».

За исключением этого предисловия, а также «заглавных листков» и «обертки», набор второго издания полностью совпадает с первым.

Спустя более года, 28 апреля 1860 года, П. А. Кулиш писал из Полтавы Д. С. Каменецкому: «Я… теперь еду с Трушковским к матери Гоголя. У Чижака (один из комиссионеров Кулиша. — *И. В.*) Литургии я видел экз<емпляров> 50 в старой обертке. Нового он не получал. С первою почтою вышлите непременно» (*<Лазаревский А. М.> А. Л.* Письма П. А. Кулиша. (1855—1897). Киев, 1899. С. 63–64).

Еще через полтора года, 18 октября 1861 года, Кулиш писал М. И. Гоголь из Петербурга: «Часть денег *за Литургию* выслана Вам; об остальных экземплярах я уведомлял, что они решительно не идут. Кто этому не верит, тот пусть получит их от меня натурою. Я сейчас выслал бы Вам точный счет о Литургии; но, к сожалению, Каменецкий мой не возвратился еще из отпуска домой, а я без него как без рук по счетоводству… Лишь только Каменецкий воротится, тотчас он составит весь счет, когда и по скольку высылалось Вам за Литургию; и сколько лежит непроданных экземпляров. Б<азуно>в сделал одну из тех уверток, которые свойственны всем книгопродавцам без исключения» (Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 65).

Спустя еще год и три месяца, 17 января 1863 года, Кулиш сообщал М. И. Гоголь из Борзны: «Об остающихся непроданными

экземплярах *Литургии* напишу в Петербург, чтобы выслали их по назначению г-на Головни» (Там же. Отд. 3. С. 67).

Высокая цена книги при первом издании «Размышлений...», а также какая-то «увертка» (спекуляция) с экземплярами книги книгопродавца Ф. В. Базунова явились, очевидно, хотя и важными, но не единственными причинами долгой распродажи гоголевской книги. Одной из причин стала развернутая либеральной прессой, после известного письма В. Г. Белинского к Гоголю 1847 года, борьба против «позднего», «реакционного» и даже якобы «сошедшего с ума» Гоголя за Гоголя «раннего», «обличителя самодержавия и реакции». В. И. Быкову, мужу сестры Гоголя Елисаветы Васильевны, Кулиш в те же годы писал: «Счет о Литургии вышлю вслед за сим. Вы можете справиться у киевских книгопродавцев, много ли они продали этой книжки. Она шла очень туго, и перепечатка обертки под видом второго, дешевого издания не подвинула распродажи нимало. Следовательно, тут не цена причиною, а предубеждения, посеянные журналами против религиозности автора» (Там же. Отд. 3. С. 69).

В 1889 году текст «Размышлений о Божественной Литургии» был вновь подготовлен по рукописям Н. С. Тихонравовым. Текст книги с разночтениями и вариантами был помещен в четвертом томе десятого издания «Сочинений» Гоголя (М., 1889). «Размышления...» были сопровождены особым цензурным разрешением, подписанным известным духовным писателем протоиереем Г. М. Дьяченко: «От Московского Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. Москва, 9-го Февраля 1889 г. Цензор Священник *Григорий Дьяченко*» (Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. С. 410). Это цензурное разрешение воспроизводилось позднее во всех последующих изданиях сочинений Гоголя, подготовленных Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком.

Текст «Размышлений о Божественной Литургии» (в редакции Шевырева — архимандрита Кирилла; издание Кулиша) неоднократно печатался в Синодальной типографии в Петербурге (3-е изд. — 1893; 4-е изд. — 1894; 5-е изд. — 1911), перепечатывался также Санкт-Петербургским обществом грамотности (отд. изд. — СПб., 1902), воспроизводился в журнале «Странник» (1902. № 4–5). В 1909 году вышло третье издание гоголевской книги московского книгоиздателя А. С. Панафидина (Илл. Гоголевская б-ка. № 23. М.); в 1910 году — четвертое издание Афонского Русского Пантелеимонова монастыря (М.; с предисловием *С. П.*).

Одно из последних дореволюционных изданий «Размышлений...» появилось в «Сочинениях Н. В. Гоголя», вышедших в 1915 году под редакцией В. В. Каллаша (издание Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона). Книга была помещена в восьмом томе собрания, озаглавленном «Мистико-моралистические сочинения» (в этом томе были помещены «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», статьи: «О Современнике», «Искусство есть примирение с жизнью», первоначальная редакция «Правила жития

в мире» (под условным названием <О любви к Богу и самовоспитании>) и духовное завещание Гоголя).

Один из либеральных критиков той поры, В. Е. Якушкин (внук декабриста И. Д. Якушкина), писал: «Общим недостатком изданий 1902 г. была погоня за полнотой, перепечатка в них сочинений Гоголя, утративших общее значение, общий интерес. Издания Гоголя должны были, конечно, опираться на издание, исполненное Н. С. Тихонравовым, использовать обширный и ценный материал, им данный. Но они должны были сосредоточиться на тексте общеинтересном: на повестях, на комедиях Гоголя, на "Мертвых душах", оставив в покое "Выбранные места из переписки с друзьями", рассуждения о Божественной Литургии, учебники, статьи по истории и искусству... Представляются курьезными статьи, старающиеся защитить всего Гоголя, его "Переписку с друзьями" и пр.» (*Якушкин В.* Гоголь и Кольцов // Русские Ведомости. 1910. 1 янв. № 1. С. 13–14; см. также: *Якушкин В.* Новые издания сочинений Гоголя // Русские Ведомости. 1909. 26 апреля № 95. С. 3).

В период со второй половины 1910-х годов по 1990 год текст «Размышлений о Божественной Литургии» в России не переиздавался. В основу первого советского издания сочинений Гоголя, вышедшего в 1919 году, было положено семнадцатое однотомное издание Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. В «Предисловии к 17-му изданию» В. И. Шенрок писал: «Настоящее издание сочинений Гоголя имеет в виду удовлетворить главным образом требованиям общедоступности. Оно ставит себе целью дать *все* произведения великого писателя, за исключением тех, которые имеют значение только для ученых специалистов» (Соч. *Н. В. Гоголя.* 17-е изд. / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. СПб., 1901. С. 8). Это предисловие было без изменений воспроизведено в советском переиздании (см.: Соч. *Н. В. Гоголя* / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Лит.-изд. отдел Народного Комиссариата по просвещению. Пг., 1919. С. 8). При этом издатели сделали даже примечание, что текст собрания воспроизводится «по старым матрицам» (Там же. С. 2). Однако вопреки этому примечанию (и тем самым вопреки «Предисловию...» Шенрока) собрание было существенно сокращено. Из него были изъяты «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», статьи Гоголя «О Современнике», «Искусство есть примирение с жизнью», письмо Гоголя к А. О. Россету от 15 апреля (н. ст.) 1847 года, «Размышления о Божественной Литургии», а также «Примечания редактора» ко всем этим текстам (стб. 1369–1656). Поскольку никаких комментариев при этом издателями сделано не было, то все эти тексты попали, таким образом, в соответствии с содержанием предисловия В. И. Шенрока, в раздел произведений, имеющих «значение только для ученых специалистов». Примечание Шенрока (не относившееся к изъятым произведениям) и его научный авторитет стали ширмой для идеологических спекуляций вокруг наследия Гоголя.

Не были включены «Размышления о Божественной Литургии» и в неоднократно переиздававшееся в послереволюционные годы «Собрание сочинений» Гоголя в трех томах, подготовленное К. Халабаевым и Б. Эйхенбаумом (*Гоголь Н. В.* Соч. / Вступ. ст. Л. Войтоловского. М.; Л.: Государственное изд-во. 1927. Т. 1–3).

Во вступительной заметке «От редакции», помещенной в 1940 году в первом томе академического «Полного собрания сочинений» Гоголя (издание подготовлено Пушкинским Домом), был напечатан план распределения гоголевских произведений по томам издания. Согласно этому проекту, «Размышления о Божественной Литургии» предполагалось поместить в девятом томе собрания среди «записных книг и черновых заметок Гоголя, не связанных непосредственно ни с художественными, ни с критико-публицистическими его текстами», а также среди «мелких произведений юношеского периода»: «IX. Стихотворения. Классные сочинения. Альбомные записи. Исторические наброски. Материалы записных книг. «Литургия». Черновые заметки» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 1. С. 18–19). Однако «Размышления...» в итоге так и не были помещены в собрание. В девятом томе (вышедшем в 1952 году) в объяснение этого изъятия было сделано примечание, что в издание не включено, наряду с отдельными выписками Гоголя, его собранием русских и украинских песен, текстами, связанными с занятиями языками, «небольшое число текстов узко бытового и моралистического характера (“Размышления о Божественной Литургии” и др.), опубликованных в прежних изданиях, но не представляющих литературного интереса...» (Т. 9. С. 611–612). Не упоминалось сочинение Гоголя и во всех советских литературных словарях и энциклопедиях.

В то же время продолжалось издание «Размышлений...» в Русском зарубежье. Книга была дважды издана Свято-Троицким монастырем, в г. Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США, 1-е изд. — 1942; 2-е изд. — 1965. В сокращении «Размышления...» были напечатаны издательством «Жизнь с Богом» (Брюссель, 1963). По свидетельству игумена Германа (Подмошенского), гоголевское толкование на Литургию является за рубежом «основным текстом для изучения и подготовки к принятию Православия, благодаря чему сотни и тысячи американцев и европейских богоискателей пришли и приходят к спасению» (Н. В. Гоголь. К 150-летию со дня смерти писателя-праведника // Русский Паломник. Платина, 2003. № 27. С. 20).

Книга была переведена на несколько языков: японский (1895), сербский (1909), немецкий (1911, 1914, 1938, 1954), английский (1913 — для Ассоциации Англиканских и Православных Церквей Англии; 1952 — два издания, пер. Л. Алексеева; 1957, 1960), французский (1934, 1952), итальянский (1934), чешский (1936), голландский (см.: *Морщинер М. С., Пожарский Н. И.* Библиография пер. на иностранные языки произведений Н. В. Гоголя. М., 1953. С. 40–42; *Frantz P.* Gogol: a bibliography. Ann Arbor, Michigan, 1989. P. 39;

*Степанов В. Г.* Издания произведений Гоголя в Англии в XX веке. Дис. канд. филол. наук. М., 1992. С. 44–45).

В 1990 году, после долгого перерыва, в России вышло сразу одиннадцать изданий «Размышлений о Божественной Литургии» общим тиражом около миллиона экземпляров. Книга была издана Псковским отделением Всероссийского фонда культуры (в кн.: *Гоголь Н. В.* Авторская исповедь. <Б. м.>, 1990), издательствами «Книга» (отд. изд.; М., 1990), «Советская Россия» (в кн.: *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1990), «Современник» (М., 1990; репр. изд. 1894 года), «Художественная литература» (М., 1990), издательством Оптиной Пустыни (1990), журналами «Север» (1990. № 1), «Храм» (1990. № 1), «Музыкальная жизнь» (1990. № 21–24; с издания Афонского Пантелеимоновского монастыря 1910 года; публ. Г. Осипова), «Наше наследие» (1990. № 5), «Наука и религия» (1990. № 10). Некоторые из этих изданий оказались неудовлетворительны с точки зрения комментариев и по отношению к самому тексту книги (см.: *Воропаев В.* Об Иоанне Златоусте — древнерусском святом, или Как нам издавать Гоголя // Лит. газета. 1991. № 20. 22 мая. С. 10).

В 1992 году «Размышления о Божественной Литургии» были еще раз изданы издательством «Русская книга» (бывш. «Советская Россия») (в изд.: *Гоголь Н. В.* Духовная проза. М., 1992. См. также: *Гоголь Н. В.* Духовная проза. М.: Отчий дом, 2001). Отдельные издания книги вышли в Бресте (в 1994 году); Алматы (в 1997 году — по изд.: СПб., 1910 — издание книгопродавца Тузова с 3-го изд. Синодальн. типогр. СПб., 1893; с илл. акад. Ф. Г. Солнцева). На основе гоголевских «Размышлений...» были подготовлены «Пояснения Божественной Литургии», составленные П. Н. Будзиловичем (Ишим, 1993; издание Русской Православной Зарубежной Церкви). В 1994 году текст книги (с приложением фрагмента первоначальной редакции) был включен в собрание сочинений Гоголя (*Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 327–382; переизд.: *Гоголь Н. В.* Нужно любить Россию. О вере и Государстве Российском. СПб., 2007. Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; *Гоголь Н. В.* Духовная проза. М., 2007). Два отдельных издания книги вышли к 2000-летию Рождества Христова: в Киеве / (Благословение митрополита Киевского и всей Украины Владимира; предисл. прот. А. Затовского; послеслов. М. Муравицкой; с приложением отдельных статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» Київ: Свято-Макаріїивська церква, 1999) и в Москве (М.: Паломник, 2000 / Благословение архиеп. Тернопольского и Кременецкого Сергия; ред. текста и примеч. иерея Н. Булгакова). В 2006 году два издания «Размышления о Божественной Литургии» вышли в петербургском издательстве «Русская симфония»: первое — с 4-го синодального изд. 1894 года, с послесловием В. А. Воропаева; второе — с 10-го изд. «Сочинений» Гоголя 1889 г. / Предисл. В. А. Воропаева; примеч. Н. С. Тихонравова и В. О. Корховой, ст. В. П. Науменко.

*И. А. Виноградов*

## Том VI

Настоящий том включает в себя «Выбранные места из переписки с друзьями», ранние литературно-критические и публицистические статьи, которыми он намеревался дополнить книгу при переиздании, автобиографическую прозу («Авторская исповедь»), а также религиозно-нравственные сочинения писателя последнего периода его жизни.

Тексты, за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подготовка текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М., 1994. Отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова обозначены угловыми скобками; слова, зачеркнутые в рукописи автором, — квадратными. В комментариях использованы мемуарные свидетельства современников Гоголя, переписка, записные книжки писателя, черновые редакции, архивные материалы. Для настоящего издания подготовлен специальный комментарий к «Размышлениям о Божественной Литургии», учитывающий практику современного богослужения.

### Выбранные места из переписки с друзьями

Впервые напечатано: Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. Санктпетербург. В Типографии Департамента Внешней Торговли, 1847. 288 с. — Печатать позволяется с тем, чтобы представлено было в Ценсурный Комитет узаконенное число экземпляров. С. Петербург, Августа 18-го дня, 1846. Ценсор А. Никитенко.

В первом издании книги цензурой были исключены следующие письма: *XIX. Нужно любить Россию; XX. Нужно проездиться по России; XXI. Что такое губернаторша; XXVI. Страхи и ужасы России. XXVIII. Занимающему важное место.* В конце жизни, задумав новое «Собрание сочинений», Гоголь предполагал включить эти и другие письма в пятый том, дополнив их статьями из «Арабесок» (1835). Впервые полный текст «Выбранных мест из переписки с друзьями» издан Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

О замысле книги Гоголь впервые сообщает в письме к А. О. Смирновой из Франкфурта от 2 апреля (н. ст.) 1845 г.: «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» Год спустя, в письме к Н. М. Языкову от 21 апреля (н. ст.) 1846 г., он снова говорит о своем замысле: «Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах... Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе».

В это время Гоголь уже работает над книгой, что видно из письма к тому же Языкову от 5 мая (н. ст.) 1846 г.: «Я не оставляю намерения издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход».

Расположение писем имеет продуманную композицию, воплощая в себе отчетливую христианскую идею и следуя схеме Великого поста. В «Предисловии» автор объявляет о своем намерении отправиться Великим постом во Святую Землю и испрашивает у всех прощения, подобно тому как в преддверии поста, в Прощеное воскресенье, все христиане просят прощения друг у друга. Открывается книга «Завещанием», чтобы напомнить каждому о важнейшей христианской добродетели — памяти смертной. Центральное место занимает семнадцатая глава, которая называется «Просвещение». «Просветить, — пишет Гоголь, — не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь». Без духовного просвещения, по Гоголю, не может быть никакого света: «Свет Христов освещает всех!»

Венцом книги является «Светлое Воскресенье», напоминающее каждому о вечной жизни. Таким образом, в «Выбранных местах...» читатель проходит путь христианской души во время Великого поста (традиционно отождествляемого со странствием) — от смерти к Воскресению, чрез скорби (глава «Страхи и ужасы России») — к радости (подробнее см.: *Томачинский В. В.* Путеводитель к Светлому Воскресению. Н. В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями» // Н. В. Гоголь и Православие. М.: К единству! / 2004).

В записной книжке Гоголя 1841—1846 гг. сохранился первоначальный план книги, в которой, как он надеялся, ему удастся разрешить свою важнейшую писательскую задачу:

«Предисловие.
Завещание.
Обязанности женщины.
О болезни.
О лиризме.
О науке.
О том, что <такое> слово.
О чтениях.
О помощи бедным.
О духовенстве.
В чем же наконец <существо русской поэзии>.
О театре.
Что может сделать <...>
Что такое губернаторша.
О предметах лирических.
Советы.
Карамзин».

Несколько статей этого перечня («О лиризме», «О науке», «О том, что такое слово», «В чем же, наконец, существо русской поэзии», «О предметах лирических») связаны с незавершенным замыслом Гоголя «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845).

Наиболее напряженное время работы над книгой — лето и осень 1846 года (почти половина писем датирована этим годом). Гоголь переделывает письма (возможно, часть из них он сохранил в черновиках, другие были возвращены ему корреспондентами) и пишет новые главы. Одни представляют собой статьи, другие — послания, адресованные конкретным и неким обобщенным лицам. Среди немногих, посвященных в замысел, был В. А. Жуковский, которому Гоголь читал две последние главы.

Книга была написана быстро — как бы на одном дыхании. «Вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда» (из письма к П. А. Плетневу от 20 октября (н. ст.) 1846 г.). Здесь же Гоголь объясняет происхождение той легкости, с которой он на этот раз работал: «...я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды...»

Посылая 30 июля (н. ст.) 1846 г. П. А. Плетневу в Петербург первую тетрадь рукописи, Гоголь требует: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги под названием: "Выбранные места из переписки с друзьями". Она нужна, слишком нужна всем — вот что покаместь могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга...» Гоголь настолько уверен в успехе, что советует Плетневу запасать бумагу для второго издания, которое, по его убеждению, последует незамедлительно: «...книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга».

Узнав о возникших цензурных затруднениях, Гоголь просит А. О. Смирнову, которая жила тогда в Калуге, съездить в Петербург и предпринять необходимые шаги для устранения препятствий, а Плетневу предлагает в случае осложнения с цензором представить книгу Государю на прочтение в корректурных листах: «Дело мое — правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена».

Первый и весьма ощутимый удар нанесла книге цензура: пять писем-статей были исключены вовсе, в других сделаны купюры и исправлены отдельные места. Встревоженный и огорченный Гоголь жалуется графине А. М. Виельгорской: «В этой книге все было мною рассчитано и письма размещены в строгой последовательности, чтобы дать возможность читателю быть постепенно введену в то, что теперь для него дико и непонятно. Связь разорвана. Книга вышла какой-то оглодыш» (из письма от 6 февраля (н. ст.) 1847 г.) (о цензурной истории «Выбранных мест из переписки с друзьями» см. в сопроводит. статье к наст. тому).

Гоголь решает представить непропущенные главы Государю и просит П. А. Плетнева устроить это через А. О. Смирнову и графа М. Ю. Виельгорского; составлено было даже письмо к царю, но Плетнев отговорил его от этого шага. Гоголь надеялся выпустить книгу вторым изданием, в полном виде, однако этим надеждам сбыться было не суждено.

Новая книга Гоголя вызвала небывалый общественный резонанс. В русской литературе трудно найти другое произведение, о котором было бы высказано столько резких суждений, пристрастных оценок и полемических заявлений, как о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Уже февральский номер петербургского журнала «Финский Вестник» сообщал читателям: «Ни одна книга в последнее время не возбуждала такого шумного движения в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным и разнообразным толкам...» (Финский Вестник. 1847. № 2. С. 33). По свидетельству С. П. Шевырева, в течение двух месяцев по выходе книги «она составляла любимый, живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы, разумеется, в тех кругах, куда проникают мысль и литература, где бы не толковали об ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки» (Москвитянин. 1847. № 1. С. 4).

В спорах быстро выявилась преобладающая тенденция — неприятие книги. Ее решительно осудили А. И. Герцен, В. Г. Белинский и другие люди западнического направления (Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, В. П. Боткин, П. В. Анненков). В славянофильских кругах книга Гоголя была принята по-разному. Так, А. С. Хомяков защищал ее, а семья Аксаковых разделилась во мнениях. Сергей Тимофеевич, глава этой семьи, выговаривал Гоголю: «Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить Небу и человечеству, оскорбляете и Бога и человека». Впоследствии, уже после смерти Гоголя, С. Т. Аксаков раскаялся в своих резких высказываниях. Его сын Константин усмотрел в книге некую ложь: «Ложь не в смысле *обмана* и не в смысле *ошибки* — нет, а в смысле *неискренности* прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою...» Иван Аксаков, напротив, считал, что «Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-христианина...» (*Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844—1849. М., 1988. С. 342).

Авторитетнейший из мыслящих москвичей П. Я. Чаадаев, как всегда, имел своеобразное мнение. «При некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, —писал он князю П. А. Вяземскому, — в книге его (Гоголя. — *И. В., В. В.*) находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся» (*Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. Изд. 2-е, доп. М., 1989. С. 314).

Ф. В. Чижов в письме от 4 марта (н. ст.) 1847 г. сообщал Гоголю впечатления Г. П. Галагана о толках по поводу «Выбранных мест...»:

«Галаган пишет следующее, — что я считаю недурным передать вам: “Гоголь произвел здесь необыкновенное движение. Везде говорят о нем. Вся читающая публика за него; все же литераторы против него до ожесточения и говорят, что он доказал этими сочинениями необузданное самолюбие и гордость, и в этом они видят влияние католицизма”. Самарин писал только одно, что получил вашу книгу, что благодарит вас, хоть говорит: “сильно хотелось бы поспорить”».

На книгу Гоголя откликнулись почти все журналы и газеты. В мартовских номерах «Московского Городского Листка» была напечатана статья Аполлона Григорьева «Гоголь и его последняя книга» — первая по времени попытка истолкования «Выбранных мест...». Разбирая «странную», по его слову, книгу Гоголя, критик утверждал, что она есть болезненный момент в духовном развитии автора, но самую болезненность считал характерной для эпохи и величайшей заслугой Гоголя находил мысль о необходимости для всякой личности «собрания себя всего в самого себя» (цит по: Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 115, 118).

Одним из первых Аполлон Григорьев выступил против деления Гоголя на раннего и позднего, гениального художника и слабого мыслителя, пытаясь показать новую книгу писателя как закономерный результат всего его предшествующего развития. Гоголь, однако, не нашел в этом выступлении ничего полезного. «Статья Григорьева довольно молодая, — писал он С. П. Шевыреву из Марселя 25 мая (н. ст.) 1847 г., — говорит больше в пользу критика, чем моей книги».

В конце апреля 1847 г. в «Санкт-Петербургских Ведомостях» появилась большая статья князя П. А. Вяземского «Языков — Гоголь», посвященная двум событиям в литературном мире — смерти поэта Н. М. Языкова и выходу «Выбранных мест из переписки с друзьями». «Как ни оценивай этой книги, — писал Вяземский, — с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое» (*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 173).

В статье содержалось немало резких высказываний о В. Г. Белинском (хотя имя его и не называлось), что не понравилось Гоголю. Благодаря князя за статью, он выразил неудовольствие резкостью его суждений о «нападателях» на книгу. «Ожидаю от вас статьи, — писал Гоголь, — в которой бы и я, и книга оставались в стороне, а выступил бы на сцену предмет» (т. е. содержание книги).

Подробному и язвительному разбору подверг «Выбранные места...» литератор Н. Ф. Павлов в «Московских Ведомостях» за март — апрель 1847 г. Примерно тогда же появились статьи Л. В. Бранта, барона Е. Ф. Розена, Ф. В. Булгарина, О. И. Сенковского и др. Это все была мелочная, придирчивая критика. Независимо от того, хвалили они Гоголя или ругали, их писания носили поверхностный характер.

Одним из первых на книгу отозвался В. Г. Белинский. В февральском номере «Современника» (вышел 7 февраля) появилась его рецензия, которая заканчивалась словами: «Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 238–239). Эта рецензия подверглась сокращению как со стороны редакции журнала, так и со стороны цензуры. В том же феврале 1847 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» (Там же. Т. 9. С. 623). Этим чувствам критик вполне предался в своем известном письме к Гоголю из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847 г. Он считал, что Гоголь изменил своему дарованию и убеждениям. Бросил ему обвинения в лицемерии и даже корысти, утверждая, что «гимны властям предержащим хорошо устраивают набожного автора» и что книга написана с целью попасть в наставники к сыну Наследника престола; в языке книги он видел падение таланта и недвусмысленно намекал на умопомрачение Гоголя.

Среди немногих безоговорочно принявших книгу был П. А. Плетнев. 1 января 1847 г. он писал Гоголю: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными… она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы». 22 января 1847 г. он сообщал Я. К. Гроту: «Императрица присылала ко мне просить еще двух экземпляров Гоголя. Я принужден был купить их в книжной лавке» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 3. С. 10).

Книга Гоголя действительно оказала положительное воздействие на небольшой круг людей. Среди них были И. С. Аксаков, известная детская писательница А. О. Ишимова, супруги Глинки — оба литераторы, Н. В. Неводчиков (впоследствии архиепископ Кишиневский Неофит). Оптинский иеромонах Климент (Зедергольм), сын лютеранского пастора, рассказывал еще до своего пострижения Льву Кавелину, тогда послушнику в скиту Оптиной Пустыни, а впоследствии архимандриту, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, что «Выбранные места...» стали началом его обращения к Православию (см.: *РГБ.* Ф. 214 (Летопись скита Оптиной Пустыни). № 361. Л. 129 об.).

Духовенство отнеслось к книге сдержанно — оно традиционно не вмешивалось в дела светской литературы. С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану в январе 1847 г. передал мнение святителя Филарета, митрополита Московского, который сказал, что «хотя Гоголь во многом заблуждается, но надобно радоваться его христианскому направлению» (*Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 168). Святитель Иннокентий (Борисов), которому Гоголь послал книгу, свое отношение к ней высказал

в письме к М. П. Погодину: «...скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет». Гоголь отвечал владыке Иннокентию (в июле 1847 г.), что не хотел «парадировать набожностию», т. е. выставлять ее напоказ: «Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследованьи души человека, но вышло все это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга».

Другой владыка, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский Ириней (Нестерович), в письме к князю П. А. Вяземскому от 13 сентября 1847 г. отозвался о сочинении Гоголя в целом неблагоприятно, но добавил, что всю книгу окупает глава «О лиризме наших поэтов»: «Это статья классическая» (*РГАЛИ.* Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1968. Л. 4). Преосвященный Ириней был не одинок в неприятии «светского богословия». По всей вероятности, отрицательное мнение о «Выбранных местах...» имел ржевский протоиерей Матфей Константиновский, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа А. П. Толстого. Отзыв его не сохранился, но мы можем судить о нем по ответу Гоголя, который писал ему 9 мая (н. ст.) 1847 г. из Неаполя: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу».

По-видимому, о. Матфей упрекал Гоголя в непрошеном учительстве, а также в увлечении светскими темами (в частности, он нападал на статью «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» как уводящую общество от Церкви). Гоголь пытался защищаться тем, что «закон Христов можно внести с собой повсюду... Его можно исполнять также и в званьи писателя» (из письма от 24 сентября (н. ст.) 1847 г.). И далее, в этом же письме, знаменательная фраза: «Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас...»

На «Выбранные места...» откликнулся и святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, а впоследствии епископ Кавказский и Черноморский, один из авторитетнейших духовных писателей XIX века. Он отозвался о книге Гоголя критически: «...она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного... Книга Гоголя не может быть принята

целиком и за чистые глаголы истины. Тут смешано. Желательно, чтоб этот человек, в котором видно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ» (цит. по авторизованному списку, опубликованному в кн.: Неизданный Гоголь. С. 420). В заключение святитель советовал своим друзьям читать Свв. Отцов, «стяжавших очищение и просвещение, как и Апостолы, и потом написавших свои книги, из коих светит чистая истина и кои читателям сообщают вдохновение Святаго Духа».

Отзыв святителя Игнатия Гоголю был известен. По выходе книги П. А. Плетнев отправил два экземпляра друзьям Гоголя Балабиным. М. П. Балабина, бывшая ученица Гоголя (которой он давал уроки в бытность свою в Петербурге), один из них передала для прочтения архимандриту Игнатию, и тот возвратил книгу со своим отзывом. Поблагодарив Плетнева за присланный отзыв, Гоголь в письме из Неаполя от 9 мая (н. ст.) 1847 г. признал справедливость упреков, но утверждал, что для произнесения полного суда над книгой «нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома...».

Следует иметь в виду, что, говоря о «страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах», Гоголь подразумевал людей неверующих, тех, кто не ходит в церковь, которым он, собственно, и адресовал свою книгу. В тот же день, что и Плетневу, Гоголь писал о. Матфею Константиновскому: «Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Наиболее благоприятный отзыв о «Переписке с друзьями» из духовных лиц принадлежал архимандриту Феодору (Бухареву). Он вылился в целую книгу, увидевшую свет через тринадцать лет. после своего создания. О. Феодор, отмечая тесную связь «Выбранных мест из переписки с друзьями» с замыслом «Мертвых душ», писал, обращаясь к Гоголю: «Вашу переписку вы пели, в то же время своею душою неотступно пребывая в вашем мире "мертвых душ", лелея их в лоне своей художественно-творческой любви. Иные письма ваши как будто и писаны были к кому-нибудь из ваших героев, напр<имер>, у вас есть письмо, которое будто бы писано было Маниловой, только не успевшей еще измельчать, в первые дни ее замужества, в некоторых местах почти прямо указывается на ту или другую сторону (только взятую не в своей односторонности) вашего Собакевича или губернаторской дочери институтки... Вы жаждете

светлого Воскресения ваших мертвых душ, рыдаете об их мертвости, но надеетесь, ждете этого светлого для них и для вас праздника, и заранее уже празднуете с ними вожделенный светлый день...» (<*Феодор (Бухарев), архим.*>. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1861. С. 141).

Надо заметить, что все отзывы духовных лиц носили частный характер — они были переданы в письмах (за исключением книги архимандрита Феодора, вышедшей уже после смерти Гоголя). Напротив, шквал светской критики, обрушившийся на «Выбранные места...» с журнальных страниц, создал в обществе по преимуществу неблагоприятное мнение о книге. В ней видели отказ Гоголя от художественного творчества и самонадеянные попытки проповедничества. Распространилось даже убеждение, что Гоголь помешался, и оно держалось до последних дней жизни писателя. И. С. Тургенев, посетивший вместе с М. С. Щепкиным Гоголя в октябре 1851 г., вспоминал, что они «ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого мнения» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 532).

Гоголя огорчала не столько журнальная критика, сколько нападки друзей. «Душа моя изныла, — писал он С. Т. Аксакову 10 июля (н. ст.) 1847 г., — как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным... Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями!»

Гоголь стремился выработать в себе христианское чувство смирения. В этом свете следует понимать и его признание в письме к С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) того же 1847 г.: «Да, книга моя нанесла мне пораженье, но на это была воля Божия... Без этого поражения я бы не очнулся и не увидел бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же, как и в вашем, есть своя справедливая сторона».

Это свое понимание христианского смирения, почерпнутое из писаний Свв. Отцов, Гоголь сжато изложил в «Правиле жития в мире»: «От споров, как от огня, следует остерегаться, как бы ни сильно нам противуречили, какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раздражаться, ни доказывать напротив; но лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить все сказанное и обсудить хладнокровно... Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет». В том же письме к С. Т. Аксакову, где Гоголь говорит о своем поражении, он высказывает убеждение, что никто не смог дать верного заключения о книге, и прибавляет: «Осудить меня за нее справедливо может один Тот, Кто ведает помышления и мысли наши в их полноте».

В результате всех критических выступлений создалось в целом крайне неблагоприятное к «Выбранным местам...» общественное мнение. Гоголь вынужден был отказаться от второго издания

книги. Отдельные главы ее он намеревался включить в пятый том задуманного им в конце жизни нового собрания сочинений; сюда же должны были войти и статьи из «Арабесок». Однако это не означало отказа от книги в ее настоящем виде. Г. П. Данилевский, посетивший вместе с О. М. Бодянским Гоголя осенью 1851 г., вспоминает, что на вопрос о «Переписке» Гоголь ответил: «Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 439).

**Предисловие**

После смерти Гоголя С. Т. Аксаков писал: «Я обращаюсь к статьям Гоголя, получившим теперь настоящий смысл, к его *предисловию* и *замечанию* <имеется в виду статья «Завещание»>, напечатанным в книге: “Выбранные места из переписки с друзьями”. Если б Гоголь был жив, я никогда бы не стал перечитывать этой книги, в свое время не один раз прочитанной мною; но теперь следовало это сделать, и я прочел ее вновь. Поразили меня эти две статьи. Больно и тяжело вспомнить неумеренность порицаний, возбужденных ими во мне и других. Вся беда заключалась в том, что они рано были напечатаны. Вероятно, такое же действие произведут теперь обе статьи и на других людей, которые так же, как и я, были недовольны этою книгой и особенно печатным завещанием живого человека. Смерть все изменила, все поправила, всему указала настоящее значение» (*С. А<ксаков>*. Письмо к друзьям Гоголя // Московские Ведомости. 1852. 13 марта. № 32. С. 328).

к стр. 7 *Я был тяжело болен...* — Весной–летом 1845 г.

*...приготовляясь к отдаленному путешествию...* — Подразумевается паломничество в Иерусалим, которое Гоголь совершил в начале 1848 г.

*...в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем...* — Гоголь опасался умереть от морской болезни, которой всегда страдал. В письме из Неаполя от 7 декабря (н. ст.) 1847 г. он признавался М. П. Погодину: «...замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно». Оттуда же Гоголь писал и Н. Н. Шереметевой: «Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды, а я бываю сильно болен морскою болезнью даже и во время малейшего колебанья». Прибыв на Мальту, он сообщал графу А. П. Толстому 22 января (н. ст.) 1848 г.: «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость...»; и на следующий день графине А. М. Виельгорской: «Если бы еще такого адского состоянья были одни сутки, меня бы не было на свете».

**I. Завещание**

По предположению Н. С. Тихонравова, поддержанному современными исследователями, написано в начале июля 1845 г. Публикация «Завещания» вызвала многочисленные нарекания в адрес Гоголя даже со стороны безусловных поклонников книги. 7 февраля 1847 г. графиня А. М. Виельгорская писала ему из Петербурга: «...вообще все хвалят ваши письма, но не одобряют "Предисловия" и особенно духовного завещания, видя в нем, как они говорят, "уничижение паче гордости". Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может понравиться публике и что она не может понять его». Князь П. А. Вяземский, разбирая «Выбранные места...», указывал: «Иному в этой книге, как, например, *завещанию,* не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом» (*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. С. 179).

Исследователи отмечали литературный характер «Завещания». При переиздании книги Гоголь намеревался заменить его письмом к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. под названием «Искусство есть примирение с жизнью».

В письме к матери от 25 января (н. ст.) 1847 г. Гоголь так объяснял ей и сестрам причины, побудившие его опубликовать свое завещание: «Завещание мое, сделанное во время болезни, мне нужно было напечатать по многим причинам в моей книге. Сверх того, что это было необходимо в объясненье самого появленья такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из живущих... Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит... По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на будущее время».

*...не ставить надо мною никакого памятника... Кому же из близких... я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник... в самом себе...* Ср. в «Похвальном слове св. Иоанна Златоуста св. Евстафию, архиепископу Антиохийскому», напечатанном в т. 1 «Христианского Чтения» за 1842 г. (из этого тома Гоголь сделал несколько выписок, в том числе и из самого «слова»): «Памятниками для святых служат не места погребения их, не гробницы, не столпы... но святые деяния, ревность по вере и чистая пред Богом совесть. Подлинно, блистательнее всякого столпа сей храм, воздвигнутый в честь мученика... каждый из вас... есть гроб его одушевленный, к стр. 10

духовный гроб. Ибо, если раскрыть совесть каждого из нас... то окажется, что в душах ваших пребывает сей святый». В 1894 г. биограф М. П. Погодина историк Н. П. Барсуков писал: «Мы же со своей стороны заметим, что напрасно Н. Ф. Павлов и другие критики напали на второй пункт напечанного *Завещания* Гоголя, который гласит: “завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном”. Но почти одновременно с выходом в свет книги Гоголя, в Воронеже, при цельбоносном гробе святителя Митрофана, в Бозе почил святый старец, архиепископ Воронежский и Задонский Антоний. Недавно в *Церковных Ведомостях* было напечатано его Духовное завещание, в котором выражается то же желание, которое выразил и Гоголь в своем *Духовном завещании:* “Погребсти грешное тело мое не в самой церкви, где погребаемы были предместники мои, где тело мое лежать недостойно, а вне церкви, при самом входе в оную... и притом в самом простом гробе безо всяких украшений, отнюдь не делая на сем месте никакого памятника, да вси приходящии попирают меня ногами, яко прах, от праха взятый и в прах обращенный” (Церковные Ведомости. 1893. № 28, стр. 1021). Если же углубимся в древность, то найдем там *Духовное завещание* митрополита Киевского Константина († 1159), о котором *Степенная Книга* сохранила следующее сведение: “Константин же митрополит, бояся Мстислава Изяславича, бежа в Чернигов, в то же время тогда и в болезнь впаде. Уведав же иже к Богу свое отшествие, и тогда написав *грамоту,* и запечатав, призвав же к себе Черниговского епископа Антония, и дав ему грамоту, заклиная его именем Божиим, яко да по преставлении его все тако неизменно сотворить, яко же *в грамоте* той писано есть. Егда же преставися Митрополит, и тогда взем Епископ *грамоту* ону, и иде ко Святославу Олговичу. Отрешиша же печать и прочтоша, и обетоша в ней заповедание страшно, написано сице: Молю ти ся, о Епископе! яко егда по умертвии моем не погребите телеси моего грешного в землю; несть бо достойно: но повергше его на землю, и поцепивше ужем за нозе, и извлекше вне из града, поверзите его на оном мсте, нарек, яко да пси снедять его” (Книга Степенная. М., 1775. I, стр. 309–310)» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Т. 8. С. 575–576, 629).

к стр. 11 *...завещаю... мое сочинение, под названием «Прощальная повесть».* — Судьба этого произведения неизвестна. См.: *Барабаш Ю.* Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). М., 1993; *Михед П.* О загадке «Прощальной повести» Н. В. Гоголя // Вопросы лит. М., 1999. Вып. 2; *Манн Ю. В.* О тайне «Прощальной повести» Гоголя // Вестник истории, литературы и искусства. М., 2005. Т. 1.

к стр. 12 *...подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою...* — Ср. в письме Гоголя к протоиерею Матфею Константиновскому от конца апреля 1850 г.: «Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии,

живущей в мире, играющей жизнию, как игрушкой, что жизнь — не игрушка».

*...что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни.* — Ср. в Послании св. апостола Павла к Евреям: «...где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя... оно не имеет силы, когда завещатель жив» (гл. 9, ст. 16–17).

*VI.* — Этот пункт завещания не был включен Гоголем в книгу. к стр. 13
14 ноября (н. ст.) 1846 г. он писал матери из Рима: «Посылаю вам выпущенный в печати отрывок из завещания, относящийся собственно к вам и к сестрам. Хотя, благодаря неизреченную милость Божию, я еще раз спасен, и живу, и вижу свет Божий, но вы все-таки прочитайте это завещание и постарайтесь исполнить (как вы, так и сестры) хотя часть моей воли при жизни моей».

Полный текст VI пункта Завещания гласит: «Завещаю доходы от изданий сочинений моих, какие ни выйдут по смерти моей, в собственность моей матери и сестрам моим на условии делиться с бедными пополам. Как бы ни нуждались они сами, но да помнят вечно, что есть на свете такие, которые нуждаются еще более их. Из бедных же должны они помогать только таким, которые возымеют желание искренне переменить жизнь и сделаться лучшими, для чего им следует подробно входить в обстоятельства и положение каждого бедняка и помогать не прежде, как совершенно его узнавши; деньги эти приобретены не без труда, а потому и не должны быть брошены на воздух. Все же мое недвижимое имущество, какое я имел, отдано мною уже давно моей матери. Если же акт, утверждавший сию дачу и сделанный назад тому пятнадцать лет, не покажется довольно утвердительным, то я подтверждаю это вновь здесь, дабы никто не дерзнул у ней оспаривать ее право. Прошу как мать, так и сестер моих, перечесть сызнова после моей смерти все мои письма к ним, писанные в последние три года, особенно не исключая тех, которые, по-видимому, относятся к одному хозяйству: многое поймется по смерти моей лучше. По кончине моей никто из них уже не имеет права принадлежать себе, но всем тоскующим, страждущим и претерпевающим какое-нибудь жизненное горе. Чтобы дом и деревня их походили скорей на гостиницу и странноприимный дом, чем на обиталище помещика; чтобы всякий, кто ни приезжал, был ими принят как родной и сердцу близкий человек, чтоб радушно и родственно расспросили они его обо всех обстоятельствах его жизни, дабы узнать, не понадобится ли в чем ему помочь или же, по крайней мере, дабы уметь ободрить и освежить его, чтобы никто из их деревни не уезжал сколько-нибудь не утешенным. Если же путник простого звания привыкнул к нищенской жизни и ему неловко почем-либо поместиться в помещичьем доме, то чтобы он отведен был к зажиточному и лучшему крестьянину на деревне, который был бы притом жизни примерной и умел бы помогать собрату умным советом, чтобы и он расспросил своего гостя так же радушно обо

всех его обстоятельствах, ободрил, освежил и снабдил разумным напутствием, донося потом обо всем владельцам, дабы и они могли, с своей стороны, прибавить к тому свой совет или вспомоществование, как и что найдут приличным, чтобы таким образом никто из их деревни не уезжал и не уходил сколько-нибудь не утешенным».

В письме к матери от 14 ноября (н. ст.) 1846 г. Гоголь добавлял: «Сестрам моим советую особенно прочитать покрепче приложенный при этом листок из завещания. И присоединяю им, сверх того, еще несколько слов, которые прошу их так свято исполнить, как бы последнюю волю уже умершего брата:

“Чтобы с этих пор увеличили они ко всем ласковость и приветливость, гораздо в большей степени, чем прежде. У Лизы было что-то похожее на кокетничество, когда ей случалось говорить с молодыми мужчинами или просто быть при них. Чтобы это было выброшено из головы. Чтобы на всех молодых людей глядели они так, как сестра глядит на брата; чтобы были с ними искренни, простодушны, говорливы и говорили так просто, как бы со мною, как бы век были знакомы со всеми ими. Чтобы на всякого пожилого и старого человека глядели бы, как на родного и как на весьма любимого дядю, если не как на отца; чтобы прислуживали ему и показывали такое внимание и так упреждали бы малейшее желан<ие> его, чтобы ему показалось действительно, как бы перед ним его племянницы или внуки. Словом, чтобы повсюду вокруг распространялась даже молва о радушном угощении всякого гостя хозяйками деревни Васильевки и чтобы все знали, что есть действительно такое место, где всякий гость есть брат и наиближайший сердцу человек, несмотря на то, какого бы он состояния и звания ни был”».

***...без моей воли и позволения опубликован мой портрет.*** — В № 11 журнала «Москвитянин» за 1843 г. М. П. Погодиным была помещена литография П. Зенькова с портрета Гоголя работы А. А. Иванова (1841). Другая литография с портрета Гоголя работы К. П. Мазера (1840) напечатана в альманахе «Молодик» (Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. Вып. 4. СПб., 1844). По этому поводу Гоголь писал Н. М. Языкову из Франкфурта 26 октября (н. ст.) 1844 г.: «...скажу тебе откровенно, что большего оскорбления мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим». Н. Г. Машковцев высказал предположение, что публикация в «Москвитянине» портрета Гоголя, где он был выставлен на всеобщее обозрение, по его собственным словам, «забулдыгой» — «неряхой, в халате, с длинными, взъерошенными волосами и усами» (из письма к С. П. Шевыреву от 14 декабря (н. ст.) 1844 г.), противоречила замыслу Гоголя явиться впервые перед русской публикой в ином облике, а именно в образе одного из персонажей картины

А. Иванова «Явление Мессии» — кающегося грешника, так называемого «ближайшего к Христу» (см.: *Машковцев Н. Г.* История портрета Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. Л., 1936).

*Художник этот уже несколько лет трудится в Риме...* — Имеется в виду русский гравер Федор Иванович Иордан (1800—1883), который с 1834 по 1850 г. работал в Риме над гравюрой по картине Рафаэля «Преображение». О его встречах с Гоголем, А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. В. Чижовым, Н. М. Языковым см.: Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана. М., 1918. Выполняя завещание Гоголя, Иордан гравировал его портрет (работы Ф. А. Моллера) для изданных П. А. Кулишом «Сочинений и писем Н. Гоголя» (СПб., 1857. Т. 1).

*...вместо портрета... эстамп «Преображенья Господня»...* — к стр. 14
Объясняя в письме к С. П. Шевыреву от 14 декабря (н. ст.) 1844 г. причины своего недовольства публикацией портрета М. П. Погодиным, Гоголь пишет, что «у многих» из молодежи «бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже. Достоинств самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всегда будут подражать мне в пустых и глупых вещах». «...Вместо того, — продолжает Гоголь, — чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир, и перед Которым побледнеют сами собою даже лучшие из нас...» «Еще лучше, — размышляет далее Гоголь, уже непосредственно подходя к мысли о *преображении,* — если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей...» Примечательно также признание Гоголя в письме к Н. П. Демидову начала 1839 г.: «...я убегал старательно встречи с вами. Мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне ваше доброе мнение. Мы обыкновенно воображаем видеть писателя чем-то более... чем он есть, и увидевши пошлую, даже слишком обыкновенную его фигуру, мы никак не можем соединить с ней то лицо, которое нам представлялось в мыслях. Вот почему мне не хотелось, чтобы вы меня когда-либо увидали, хотя очень хотел вас увидеть».

## II. Женщина в свете

Адресат письма неизвестен. Некоторые современники Гоголя, например С. Т. Аксаков, считали, что оно адресовано Аполлинарии Михайловне Веневитиновой (рожд. Виельгорская; 1818—1884). Н. С. Тихонравов полагал, что письмо обращено к Софье Михайловне Соллогуб (рожд. Виельгорская; 1820—1878); последнее представляется более вероятным.

Князь П. А. Вяземский отмечал, что в этом письме много «глубокого верования в назначение женщины в обществе. Нужно иметь большую независимость во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы облечь женщину в подобные краски...» (*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. С. 182). Архимандрит Феодор (Бухарев) заметил по поводу настоящей главы: «Понятна сама по себе верность и той глубокой в своих основаниях мысли Гоголя, что особенно христиански настроенная женщина может и должна служить к незаметному смягчению и освещению жесткости духовной в обществе» (<*Феодор (Бухарев), архим.*>. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 259).

к стр. 14 *...большая часть... несправедливостей... чиновников... произошла от расточительности их жен...* — Ср. в Толковании блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Первое послание св. апостола Павла к Коринфянам (гл. 7, ст. 32–33): «...угодить жене и особенно такой, которая любит украшения и требует золота... это и располагает жалких мужей к несправедливости и душевредным распоряжениям вещами». Это Толкование было прочитано Гоголем в т. 2 «Христианского Чтения» за 1843 г.).

**III. Значение болезней**

Письмо адресовано графу Александру Петровичу Толстому (1801—1873). Гоголь относил его к категории людей, «которые способны сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины видит вещь» (из письма к Н. М. Языкову от 12 ноября (н. ст.) 1844 г.). О нем см.: *Воропаев В. А.* Один из немногих избранных (К 200-летию со дня рождения графа Толстого) // Историческая газета. М., 2001. Март. № 3. Апрель. № 4; *Он же.* Толстой Александр Петрович // Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. М.: православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2003.

В данном письме Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для его духовного возрождения. Эту идею он намеревался воплотить во втором томе «Мертвых душ».

к стр. 18 *...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух.* — Реминисценция слов Спасителя, переданных св. апостолом и евангелистом Матфеем: «...дух бодр, плоть же немощна» (гл. 26, ст. 41).

к стр. 19 *...труд мой, на котором основана вся моя значительность...* — «Мертвые души».

*...и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников...* — Подразумевается притча Спасителя о талантах (Мф. 25, 14–30).

**IV. О том, что такое слово**

Адресат письма неизвестен. Настоящая глава перекликается с выдержкой из толкования св. Иоанна Златоуста на 140-й псалом, содержащейся в гоголевском сборнике выписок из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви, составленном зимой 1843/44 г. Она названа Гоголем «О слове»:

«Язык есть такой член, которым мы беседуем с Богом, чрез который возносим Ему хвалу. Такое блюдение имел Иов, посему и не произнес ни одного непристойного слова, напротив, большею частию молчал; когда же надлежало ему говорить с женою, то произнес слова, исполненные любомудрия. Ибо должно говорить тогда только, когда разговор полезнее молчания. Потому и Христос сказал: "всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово" <Мф. 12, 36>.

К статье имеет также отношение выписка Гоголя из «Св. Иоанна Златоустого Беседы о том, какое попечение должен иметь каждый Христианин о своем ближнем, впадшем в грех», следующая за выпиской «О слове»:

«И ты, когда увидишь, что кто-либо нуждается в душевном или телесном врачевании, не говори сам себе: почему такой-то и такой-то не излечил его? но сам избавь больного от недуга и не требуй от всех отчета в их небрежении о нем. Ведь если ты заметишь, что лежит золотая монета, то не говоришь, зачем такой-то и такой-то не подняли ее, но спешишь схватить ее прежде всех. Так рассуждай и о падших братиях и заботливость о них считай за находку сокровища. Ибо если ты прольешь на него, как масло, слово учения, если обвяжешь его кротостию, если уврачуешь терпением, то он обогатит тебя более, нежели какое-либо сокровище. "Аще изведеши честное от недостойнаго, яко уста Моя будеши..." говорит Господь (Иер. 15, 19)».

«*Приятель наш П.....н*» — Михаил Петрович Погодин (1800—1875), известный историк, писатель и журналист, который своим бестактным поведением по отношению к Гоголю не однажды доставлял ему огорчения (см., например, коммент. к с. 13). Характерна дарственная надпись Гоголя на экземпляре «Выбранных мест...»: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого». Этот автограф Погодин вклеил в свой дневник за 1847 г. (ныне хранится в Российской государственной библиотеке). В первом издании книги несколько резких строк о Погодине были исключены цензурой. Многие друзья Гоголя, в том числе С. Т. Аксаков и С. П. Шевырев, были возмущены выпадами Гоголя. Шевырев отказался заниматься вторым изданием «Выбранных мест...», требуя

исключения из них всего, что компрометирует Погодина. В ответ на это Гоголь решил поместить в новом издании книги статью под названием «О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина». Замысел этот остался неосуществленным. 1 апреля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал Н. Н. Шереметевой, что своей книгой он не желал «нанести поражение» Погодину, но имел «намерение более объяснить неприкосновенность прав собственности писателя». См. также коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов.*

к стр. 19 *За слова меня пусть гложет...* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Храповицкому» (1797).

к стр. 21 *...в великом человеке все достойно любопытства...* — Вероятно, Гоголь оспаривает здесь суждение А. С. Пушкина из статьи «Вольтер» (Современник. 1836. Кн. 3): «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов».

*Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек...* — Анахронизм, допущенный Гоголем в этих словах, отмечен Н. С. Тихонравовым: в 1814 г. (за тридцать лет до написания настоящей статьи) М. П. Погодин был еще учеником гимназии (Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. М., 1889. С. 483).

к стр. 22 *Слово гнило да не исходит из уст ваших...* — Послание св. апостола Павла к Ефесянам (гл. 4, ст. 29).

*«Наложи дверь и замки на уста твои...»* — Гоголь цитирует Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова (гл. 28, ст. 28–29): «Сребро твое и злато твое свяжи, и словесем твоим сотвори вес и меру, и устам твоим сотвори дверь и завору». «Завора, слав<янское>, засов» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Каким переводом пользовался Гоголь — неизвестно. Возможно, что это его собственный перевод.

## V. Чтения русских поэтов перед публикою

Адресат письма неизвестен. В 1843 г., во время Великого поста, в Москве по инициативе М. С. Щепкина были устроены публичные чтения произведений русских писателей. Помимо Щепкина участие в них принимали П. М. Садовский, П. С. Мочалов и другие актеры. Читались главным образом сочинения Гоголя: «Старосветские помещики», отрывок из «Тараса Бульбы», «Тяжба», «Утро делового человека», отрывок из «Мертвых душ» («Повесть о капитане Копейкине»), «Театральный разъезд после представления новой комедии». См. об этом: *Ригельман Н. А.* Вечера для чтения // Москвитянин. 1843. № 5.

## VI. О помощи бедным

Письмо адресовано Александре Осиповне Смирновой (рожд. Россет; 1810—1882), фрейлине Императрицы Александры Феодоровны. Ее воспоминания о Гоголе см.: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. Об их взаимоотношениях см.: *Колосова Н. Н.* Россети черноокая. М., 2003 (глава «Друг… ближайший моему сердцу». Н. В. Гоголь и А. О. Смирнова).

В статье нашла отражение переписка Гоголя со Смирновой в 1844 г., в частности письма Смирновой от 18 и 30 декабря 1844 г. (Русская Старина. 1888. № 10) и письмо Гоголя от 28 декабря. См. также письмо Смирновой к Гоголю от 1 марта 1845 г. (Северный Вестник. 1893. № 1).

*...кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре...* — *Рубини* Джованни Батиста (1794 или 1795—1854) — итальянский певец (тенор), выступавший с концертами в России в 1843—1845 и в 1847 гг. О его гастролях в Москве С. П. Шевырев писал в «Москвитянине» (1843. № 4. Московская летопись): «Рубини за три концерта повез из Москвы 70 000 р<ублей> ассигнациями. В последнем собрано им было 10 000 р<ублей>, по причине ограниченности мест театра, который был, однако, полон». Известный меломан граф Мих. Ю. Виельгорский сообщал также 18 мая 1844 г. В. А. Жуковскому: «Наша столица очарована совершенно пением Рубини... Сам Государь завлечен и паки музыку начинает любить. Надеемся к зиме иметь оперу италианскую, но первоклассную» (Русский Архив. 1902. Кн. 2. С. 448). к стр. 25

## VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским

Письмо адресовано Николаю Михайловичу Языкову (1803—1846). Гоголь познакомился с ним в июне 1839 г. за границей. В дальнейшем их связывали тесные дружеские отношения. Через Языкова и его братьев Гоголь получал из России книги, в том числе духовного содержания. Посылая П. А. Плетневу настоящую статью, Гоголь писал ему 4 июля (н. ст.) 1846 г.: «Покаместь тебе маленькая просьба... Жуковскому нужно, чтобы публика была несколько приготовлена к принятию "Одиссеи". В прошлом году я писал к Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время "Одиссея" и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посылаю его для напечатания вначале в твоем журнале, а потом во всех тех журналах, которые больше расходятся в публике, в виде статьи, заимствованной из "Современника"...»

Статья была опубликована в «Современнике» (1846. № 7) и, при посредстве Н. М. Языкова, в «Московских Ведомостях» (1846. 25 июля. № 89), а также в «Москвитянине»: Об Одиссее, переводимой Жуковским (Из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову) // Москвитянин. 1846. № 7 (цензурное разрешение 20 августа).

<Пагинация 2>. С. 19–27, с подписью: «Франкфурт на Майне. 7-го Июля 1846 г.»

Гоголь был первым, кому Жуковский читал в 1844 — первой половине 1845 г. во Франкфурте свой перевод «Одиссеи» Гомера. 15 февраля н. ст. 1850 г. Жуковский писал П. А. Плетневу из Баден-Бадена: «Вы называете мой перевод второй части Одиссеи подвигом исполинским — это особенно в том отношении правда, что моя работа была постоянная и без всякого внешнего подкрепления; первые 12 песней переведены во Франкфурте; там жил в моем доме Гоголь, я читал ему мой перевод, он читал его мне и судил о нем как поэт… Ничего этого я не имел, переводя вторую часть Одиссеи в Бадене…» (*Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 631).

«Одиссея» была издана В. А. Жуковским в 1849 г.

к стр. 27 *…слово живо…* — Выражение взято из Нового Завета (см. Деян. 7, 38).

к стр. 28 *«Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение…* — В связи с этим суждением архимандрит Феодор (Бухарев) писал, обращаясь к Гоголю: «Вы сказали глубокую истину, — такую, которую за пятнадцать веков изрек великий Отец Церкви, величайший мыслитель и поэт св. Григорий Богослов. Он сказал об Одиссее, что она вся похвала добродетели» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 52). Вероятно, имеются в виду слова св. Василия Великого из его беседы «К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями»: «...Слышал я у одного искусно изучившего мысли стихотворца, что... все стихотворение Омирово есть похвала добродетели и все у Омира... ведет к сей цели...» (Творения Святых Отцов. Т. 8; Творения Святого Василия Великого. М., 1846. С. 350).

к стр. 29 *…в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд…* — Имеются в виду персонажи греческой мифологии. *Посейдон* — один из главных олимпийских богов, повелитель морей; сын титана Кроноса (Крона) и Реи, брат Зевса и Аида. *Кронионы* — дети Кроноса, объявившие войну титанам и победившие их. *Гефест* — бог огня, покровитель кузнечного ремесла; сын Зевса и Геры. *Гелиос* (Гелий) — бог Солнца. *Киприда* (Афродита) — богиня любви и красоты; у Гомера она появляется из воздушной морской пены близ острова Кипр (отсюда имя — «кипророжденная»).

*...во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к... сердцу, не подозревая... что... творил... внутреннюю молитву Богу...* — В одной из выписок раздела *<50>. Изречения из Св. Иоанна Златоуста* сборника «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви» Гоголь следующим образом пересказывал слова святителя об апостоле Павле: «Павел, уставши от гонений, помолился Богу о прекращении их, не получил просимое, и гонения не прекращались; вопросил душу свою и услышал в ней голос Господа...» В источнике выписки слов «вопросил душу

свою и услышал в ней голос Господа» нет (см. коммент. к выписке в т. 9 наст. изд.).

*...немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер — миф...* — Имеются в виду ученые, принадлежавшие к школе Ф. А. Вольфа и К. Лахманна. О современных Гоголю теориях по «гомеровскому вопросу» см.: *Лосев А. Ф.* Гомер. М., 1960. к стр. 31

*...с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате...* — Гоголь воспользовался выражением В. А. Жуковского из письма к нему от 31 марта (н. ст.) 1846 г., где тот, имея в виду крыловский перевод начала первой песни «Одиссеи» (присланный Гоголем), говорит: «Наш дедушка Крылов не подмел горницы: убрал ее прекрасно, да на полу валяются бумажки». к стр. 32

*...за пировою критерой...* — *Критера* (кратер) — у древних греков большой сосуд для смешивания жидкостей, преимущественно вина с водой. к стр. 33

*...отрытой из земли Помпее.* — *Помпеи* — город в Южной Италии у подножия вулкана Везувий. Представление об античном городе Помпеи, засыпанном при извержении вулкана в 79 г., навеяно Гоголю картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи», которой он посвятил статью, напечатанную в «Арабесках» (1835).

### VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве

Адресовано графу А. П. Толстому. Публикация этого и следующего письма («*О том же*») встретила препятствие в духовной цензуре. «Нельзя пропустить, — сделал заключение цензор, — ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны» (из письма П. А. Плетнева к С. П. Шевыреву от 1 ноября 1846 г. См.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 164). Синод разрешил публикацию писем (с сокращениями) только после обращения П. А. Плетнева к обер-прокурору Синода графу Н. А. Протасову. В настоящее время автографы статей Гоголя хранятся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. См.: *Виноградов И. А.* Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К истории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 4. Петрозаводск, 2005. В рукописи оба письма датированы Гоголем 1845 г. В печатном издании книги эти даты отсутствуют (подробнее см. в сопроводит. статье к наст. тому). Текст печатается по автографу.

Гоголь сознавал огромное нравственное и культурное значение духовенства. Он был знаком со многими церковными иерархами и русскими священниками за границей, среди которых было немало широко образованных людей. Что касается сельского духовенства, то Гоголь, видя его не всегда высокий культурный уровень, тем не менее настойчиво стремился внушить прихожанам уважение

к любому пастырю. В этом он следовал заветам святоотеческой литературы. В сборнике выписок Гоголя из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви содержится выписка из св. Иоанна Златоуста — «О почитании священника, хотя бы и погрешающего»: «Кто чтит священника, тот будет чтить и Бога. Но кто научился презирать священника, тот скоро дойдет до того, что будет хулить и Самого Бога».

В 1847 г. К. Н. Бестужев-Рюмин (известный впоследствии историк; 1829—1897) писал в рецензии на «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Статьи о Церкви и духовенстве показывают в авторе истинного сына Церкви. Взгляд его на изолированное положение нашего духовенства в обществе, на величавое спокойствие нашей Церкви, на что так нападает Запад, полон глубины. И если мы захотим попристальнее всмотреться в предмет спора, мы должны будем согласиться с выводами автора и убедиться в той великой будущности, которую принесет миру Православная Церковь, так долго готовившаяся к св<ятому> делу уединением и удалением в самое себя» (<*Бестужев-Рюмин К. Н.*> *К. Б. Р.* Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя. С. П. Б. 1847 // Нижегородские Губернские Ведомости / Ред. П. Мельников. 1847. 17 мая. № 31. Часть неоф. С. 424).

«Славянофильская» составляющая писем Гоголя о Церкви и духовенстве позволяет увидеть их в широком общественно-политическом контексте. В показаниях одного из петрашевцев, Ф. Г. Толя, 15 июля 1849 г., читаем: «О поэте... Мицкевиче слышал я (кажется, от Ястржембского), что, читая в Париже славянские наречия <имеются в виду лекции А. Мицкевича в Коллеж де Франс о славянских наречиях>, он высказал между прочим мысль, что второе пришествие Иисуса Христа должно совершиться в славянском мире как наследовавшем наименее против остальной Европы элементов от древности, которой живым отрицанием был Спаситель. Почти ту же мысль высказал и Шевырев в своих “Чтениях об истории древней русской словесности” в примечании к одному из первых чтений, где он говорит, что славяне должны совокупить в себе все разнородные элементы европейской жизни и закончить дело Европы; дух “Маяка” также намекал на подобные надежды; в таком же духе писал и Погодин и Савельев» (Дело петрашевцев / Отв. ред. В. А. Десницкий. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 2. С. 192).

Петрашевцы относились к друзьям Гоголя — Шевыреву и Погодину (и к славянофильству в целом) — крайне негативно. Пользуясь сведениями из вторых рук, они, естественно, не могли увидеть разницу между Мицкевичем и московскими «славянофилами», которая заключалась в прямо противоположной оценке наполеоновских кампаний и фигуры Наполеона в целом. Ф. В. Чижов, например, 29 июня 1844 г. писал Н. М. Языкову о Мицкевиче из Парижа: «Это славянин душою и телом, но все-таки славянин западный... Когда я приехал, лекции его уже кончались, я присутствовал

только на одной последней, где он и показался чрезвычайно странным и которую он кончил раздачею Наполеона в апотеозе... Это не слово славянина, это влияние западной крови...» (*Розанов И. Н.* Н. М. Языков и Ф. В. Чижов. Переписка 1843—1845 гг. // Лит. наследство. Т. 19–21. М., 1935. С. 124).

Упомянутое петрашевцем Ф. Г. Толем место из первой лекции С. П. Шевырева в его «Истории русской словесности, преимущественно древней» (раздел «Надежда и мысль России») выглядит следующим образом: «Мы не были призваны к участию в отдельных развитиях стихий человеческих: не выпадет ли нам на жребий трудная задача — как совместить их все и разрешить загадку о человеке полном и цельном... Россия не собирается ли с внутренними духовными силами, чтобы наконец вымолвить и свое слово в общем деле человеческого образования?» (История русской словесности, преимущественно древней. XXXIII публичные лекции *Степана Шевырева*, О<рдинарного> Профессора Московского Университета. М., 1846 (цензурное разрешение 19 марта). Т. I. Ч. 1. С. 17). В разделе «Связь нашего народного с Христианским» Шевырев также указывал: «Наше Русское народное тем отличается от других, что оно с самого начала бытия своего окрестилось, облеклось во Христа... В Христианстве начало любви всемирной, и тот народ только может явиться со временем сосудом всеобщего примирения, кто возрастит в себе до конца семя Христово» (Там же. С. 12). (По словам А. С. Хомякова в письме к Ю. Ф. Самарину от 6 апреля 1846 г., святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, благословил С. П. Шевырева за «Историю русской словесности...» образом; см.: *Аксаков И. С.* Письма А. С. Хомякова к Ю. Ф. Самарину // Русский Архив. 1879. № 11. С. 324. Гоголь также высоко отзывался об этой книге и рекомендовал ее для чтения своим сестрам.)

Представление о том, что «второе пришествие Иисуса Христа должно совершиться в славянском мире», а именно в России, разделял еще один из друзей Гоголя — художник А. А. Иванов. В своих «Мыслях, приходящих при чтении Библии» (1846—1847) он записал: «Мессия, которого ждут жиды, и Второе Пришествие, которому верят символически христиане, есть Русский Царь, Царь последнего народа». Это представление нашло прямое воплощение в двух картинах Иванова — в пейзаже «Аппиева дорога при закате солнца» (1845) и в его главном труде — картине «Явление Мессии» (1832—1857).

Мысль, подразумевавшуюся Ивановым в его мессианском «пророчестве» (в такой форме, конечно, не выдерживающем критики с богословской точки зрения), и более точно, и более трезво выразил в те же годы Гоголь в статье «О лиризме наших поэтов»: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь».

Неопубликованное письмо А. А. Иванова к его отцу А. И. Иванову от 20 декабря (н. ст.) 1845 г. позволяет вполне определенно

установить, каким образом художник воплотил эту мысль в пейзаже «Аппиева дорога при закате солнца». На картине изображены остатки знаменитой древней римской дороги, проведенной для военных целей при цензоре Аппии Клавдии в 312 г. до Р. Х. 26 сентября 1845 г. Иванов, рассказывая Ф. В. Чижову о работе над картиной, писал: «Ездил с Солнцевым отыскивать прекрасные места; сильно поражен был видом Рима на девятой версте... и занялся сам этим видом, вместе с ним... Вот его описание: древняя дорога Аппия, имеющая по обеим сторонам развалины гробов римских вельмож; на втором плане — акведук, половина дороги от Альбано... за ним — древний Рим в развалинах, потом самый Рим, и в средине — купол Петра царствующий над всеми развалинами, потом — витербские горы за 60 миль, и все это при закате солнца!» «Пожалуй, — добавлял Иванов, — могут толковать, что торжествующий Петр, или католицизм, над древним миром находится при своем закате». А. О. Смирнова, общавшаяся в Риме с Гоголем и Ивановым, почти повторяла мысль художника, когда передавала свои впечатления от «вечного города»: «Слава языческого мира там погребена так великолепно; на великолепных развалинах воздвигся другой Рим, христианский, который сперва облекся в смирение в лице мучеников или молчаливых отшельников в катакомбах, но впоследствии веков, зараженный тою же гордынею своих предков, начал погребаться с древним Римом. Развалина материальная и развалина духовная — вот что был он в 40-х годах...» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 31)

Полтора месяца спустя, 4/16 декабря 1845 г., студию Иванова посетил Император Николай Павлович. Кроме «Явления Мессии», Иванов показал Государю и свою новую картину «Аппиева дорога». Опасаясь, что от волнения будет не в состоянии говорить с царем, Иванов приготовил при этом к обеим представленным работам записку с объяснениями их замыслов. В записке, развивая высказанное ранее в письме к Чижову предположение («...могут толковать, что торжествующий Петр, или католицизм, над древним миром находится при своем закате»), Иванов уже прямо утверждает, что в Аппиевой дороге ему видится торжество христианского Рима над древним языческим миром и — в дополнение к тому — последующее избавление человечества православной Россией, прообразуемой в картине горами Севера. В письме к отцу Иванов сообщал об этом замысле: «Я показал Государю вид Рима с древней дороги Аппия, прочитав следующее: “Над пустыней и остатками великолепных гробниц вельмож римских, что древне украшали Via Appia, торжествует христианский Рим, Св. Петр со всеми другими церквами; все это великолепие находится при закате солнца, а зритель видит на горизонте горы Севера, где решится наконец судьба человечества”» (*РГБ.* Ф. 332. К. 2. Ед. хр. 3. Л. 1448). В «Мыслях, приходящих при чтении Библии», как бы «развивая» этот сюжет и приоткрывая замысел главного труда — «Явления Мессии», Иванов писал: «Наконец,

человек, испытав и проверив все, уверился в Истине Православия и ждет от последнего народа на поприщах просвещения результата для своего второго благоденствия на земле». В соответствии с этими строками Креститель Александра Иванова — указывающий на грядущего вдали Спасителя, несомненно, «знает» о том, что Мессия и Второе Пришествие есть «Русский Царь, Царь последнего народа». Подтверждение этой мысли содержат в себе знаменательные слова Иванова в «Мыслях, приходящих при чтении Библии», представляющие прямой «парафраз» призыва Иоанна Крестителя к покаянию: «Падем ниц пред Россией. — Соотечественники, трудитесь во Славу Божию. — Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное» (см.: *Виноградов И. А.* Явление картины — Гоголь и Александр Иванов // Наше наследие. 2000. № 54. С. 110–125; *Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. С. 5–24).

*Напрасно смущаетесь вы нападеньями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе.* — В 1847 г. иерей Тарасий Федорович Серединский (1822—1897) (впоследствии протоиерей), комментируя эти строки, писал: «Это совершенно справедливо потому, что нет еще ни одного сочинения в Европе о Православной Церкви, в котором не было бы насчет ее весьма значительных промахов. Не очень давно M<onsieur> Theiner издал в свет огромную книжку о Русской Церкви, основываясь в своих исследованиях, как сам он говорил в своем предисловии, на официальных документах и стараясь всеми силами говорить о нашей Церкви сущую правду. И однако ж, что он говорит об ней? такую дичь, что уши вянут. Иные даже боятся и имени своего выставить на своем сочинении, и весьма справедливо поступают. Ибо, наполнивши целую книжку грубыми ошибками относительно исследуемого предмета, кто отважится выставить на ней свое имя? Напротив, кто ближе знаком с нашею Церковию, как наприм<ер>, Baader, тот не может не говорить в ее пользу. Следовательно, опровергать иностранные мнения о Русской Церкви, значит сражаться с тенями. Кто же решится на это? Православная Церковь в этом отношении подражает своей Главе Иисусу Христу, Который на все несправедливые обвинения Своих врагов пред Пилатом и особенно пред Иродом отвечал молчанием. Но это молчание красноречивее бесконечного многословия защищающего Его невинность, потому что за нее ручалась праведная Его жизнь. Так точно должны поступать и мы. Подлинно для нас возможна одна только пропаганда — жизнь наша (стр. 60), как прекрасно заметил автор. Это надобно твердо держать в памяти особенно тем, которые путешествуют за границею» (цит. по: *Серединский Т., прот.* Мысли при чтении сочинения «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя // Неизданный Гоголь. С. 422–423; впервые опубликовано (с пропусками): *П. Б. <Бартенев П. И.>* Письма к Н. В. Гоголю. По поводу его «Переписки с друзьями» // Русский Архив. 1907. № 10. С. 288–292). к стр. 34

Автор этих замечаний, о. Тарасий Серединский, настоятель церкви Рождества Христова при русской миссии в Неаполе, духовный писатель и богослов. Интерес Гоголя, работавшего с 1843 г. над книгой о Божественной Литургии, должен был вызвать первый труд о. Тарасия «О Богослужении Западной Церкви» (Ч. 1–3. СПб., 1849).

Упоминаемый о. Тарасием Серединским Theiner — немецкий католический священник Августин Тейнер (1804—1874). В 1841 г. в Аугсбурге вышла его книга «Новейшее состояние католической Церкви обоих обрядов в Польше и России от Екатерины II до наших дней». О. Т. Ф. Серединский подразумевает, очевидно, французский перевод этой книги, изданный в 1843 г. в Париже с предисловием графа Ш. Ф. Монталамбера. В этом же году в Лугано был издан итальянский перевод книги. 23 марта 1839 г. в Риме А. Тейнера навестили М. П. Погодин и С. П. Шевырев (в то время в Риме жил и Гоголь). Погодин записал об этой встрече в своем дневнике: «Разговор тотчас начался об исторических отношениях Церкви Греческой и Римской, в коем приняло участие и четвертое лицо, встреченное нами в комнате. Эти господа начали напевать свои песни: Русская Церковь, говорили они, гораздо ближе к Римской, чем самая Греческая... Эге, братцы, подумал я, уж не хотите ли вы обращать нас!.. Тайнер пишет сочинение о распространении Христианской Веры на Севере, с приложением многих документов» (<*Погодин М. П.*> Месяц в Риме // Москвитянин. 1842. № 2. С. 406–407; Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник *М. Погодина.* М., 1844. Ч. 2. С. 74–75). 10 сентября (н. ст.) 1844 г. А. И. Тургенев писал князю П. А. Вяземскому: «В Германии Тейнер, монах ора́тории <духовной конгрегации>, издавший года за три сильную критику и клевету на наше церковное правительство, недавно издал другую книгу с переводом рапортов графа Протасова Государю, с злобными, а иногда и с дельными примечаниями. Я писал о сей книге к Сербиновичу... Знает ли он о сей новой книге? Не худо бы ответить» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 294).

С симпатией отзывается о. Тарасий Серединский в своем письме о немецком философе и теософе Франце Ксаверии Баадере (Baader, 1765—1841). С Баадером был близко знаком С. П. Шевырев. М. П. Погодин, будучи в Мюнхене, 12 августа 1839 г. записал в своем дневнике: «Некогда познакомиться с Бадером, которому давал мне письмо князь Александр Николаевич Голицын. Передал его Шевыреву» (Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник *М. Погодина.* М., 1844. Ч. 4. С. 96). Шевырев познакомился с Баадером в ноябре 1839 г. 24–25 ноября (н. ст.) он писал Погодину из Мюнхена: «Отвечаю о *Баадере.* — Я потому не уведомил тебя о нем прежде, что только теперь с ним познакомился... Он сам хочет писать к князю Голицыну, но просил меня предварительно передать ему почтение его через тебя и рассказать ему о его теперешнем житье-бытье... Его беседа очень занимательна — и я благодарен

тебе за знакомство, которое, может быть, опишу я в статье: Беседы с Баадером... Он намерен посвятить свое сочинение против Папизма кн<язю> Алекс<андру> Ник<олаевичу> Голицину. От России ждет он освобождения от Римской Диктатуры» (*РГБ*. Ф. 231. Разд. 2. К. 36. Ед. хр. 28. Л. 17 об.). В письме из Берлина от 24 февраля (н. ст.) 1840 г. Шевырев добавлял: «С Баадером продолжал беседы. Об нем напишу большую статью... Он собирается издать книгу в защиту нашей Церкви против нападающих» (*РГБ*. Ф. 231. Разд. 2. К. 36. Ед. хр. 28. Л. 21). О продолжавшихся тогда почти три месяца беседах Шевырева с Баадером — «всего более сочувствующим Восточной Церкви» — см.: *Шевырев С.* Христианская философия. Беседы Баадера // Москвитянин. 1841. № 6 (цензурное разрешение 31 мая). С. 378–437.

В качестве апологетических трудов в защиту Русской Православной Церкви Гоголю, помимо работ о. Тарасия Серединского, должны были быть также известны труды настоятеля русской посольской церкви в Париже протоиерея Дмитрия Степановича Вершинского, заканчивавшего к тому времени работу над «Месяцесловом Православно-Кафолической Восточной Церкви» (СПб., 1856; под предисловием стоит дата: «Париж. 1846 г.») (с о. Дмитрием Вершинским Гоголь, по-видимому, познакомился еще во второй половине 1830-х гг., а близко сошелся в 1845-м).

Вероятно также знакомство Гоголя с сочинениями настоятеля русской православной домовой церкви Святой Марии Магдалины в Веймаре протоиерея Стефана Карповича Сабинина (1789—1863). С о. Стефаном Гоголь советовался в конце июня — начале июля 1845 г. о своем намерении поступить в монастырь (см.: *Воропаев В. А.* Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. М.: Паломник, 2008). М. П. Погодин, посетивший 21 сентября (н. ст.) 1842 г. протоиерея Стефана Сабинина в Веймаре, записал в своем дневнике: «Прекрасное утро провел в семействе нашего Священника, протоиерея Сабинина, которого доселе знал только по письмам. Многие у нас упрекают духовенство в пошлом образе жизни, [грубых] [пошлых] странных привычках, неочищенном вкусе, умственной бездейственности. Пожалуйте в дом отца Сабинина. Вот как застал я все семейство. Жена с старшею дочерью писала картину масляными красками, которая с честию могла бы занять место в академическом классе, другая твердила урок на фортепиано, какую-то сонату Моцарта, сыновья сидели за латинскими авторами, а отец читал католический журнал. Столько образованности, любознательности, вкуса нашел я во всем семействе, сколько, разумеется, мудрено у какого-нибудь русского Князя или Графа, где воспитание возложено на немецкого гувернера, французскую мамзель и английскую няньку, и дети живут от родителей через два этажа и пятнадцать комнат и видятся в урочные часы. Следовательно, причина вышеупомянутых недостатков нашего духовенства заключается вне, а не внутри, в бедности, а не в закоснелости. Будут средства,

и образ мыслей, действий, жизни изменятся, что касается до этих отношений... Мы... проговорили весь остаток дня... в разговорах об ученых Копенгагена, где г. Сабинин прожил лет десять, а потом об отношениях Русской Церкви к католичеству, об оскорблениях, коими она беспрестанно в последнее время подвергалась. Да, настает для всех время взять меч духовный в свою защиту, настает время явить себя. Таких благоприятных обстоятельств, как ныне, еще не было для нее: протестантизм переживает себя, и часть его, спасшаяся от Штраусовского кораблекрушения, готова броситься к ней в объятия; часть католичества, недовольная Папою, также; другая часть привлечется отрешением Гельдебрандова постановления о безбрачии Священников. Англиканская церковь сама по себе усердно желает общения» (*Погодин М. П.* Путешествие за границу. 1842 // *РГБ*. Ф. 231. Разд. I. К. 41. Ед. хр. 5 а–б. Л. 23–24; опубл. частично: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 7. С. 31–32).

Кроме того, Гоголю могли быть известны труды настоятеля православной русской церкви Святителя Николая Чудотворца в Риме (с 1836 г.) иеромонаха (с 1844 г. архимандрита) Герасима (см.: *Талалай М.* Православная русская церковь Святителя Николая Чудотворца в Риме. Рим, 1994. С. 4). С о. Герасимом Гоголь познакомился, по-видимому, еще во время первого пребывания в Риме весной 1837 г. Спустя год, 3 апреля (н. ст.) 1838 г., П. Семененко писал Б. Яньскому из Рима: «Будут у нас несколько церковнославянских книг, понадобившихся для истории, от священника посольства. Гоголь возьмет их для себя...» (*Лугаковский В.* Гоголь в польской литературе // Лит. Вестник. 1902. 1902. № 1. С. 25–26). К архимандриту Герасиму обращался позднее за духовным советом друг Гоголя художник А. А. Иванов. Ф. В. Чижов 6–12 октября 1845 г. писал Иванову: «Вышло превосходное сочинение одного какого-то архиерея об иконописании <книга преосвященного Анатолия (Мартыновского) «О иконописании». М., 1845>. Оно написано с большим умом, с любовью и знанием дела... Между прочим замечательно то, что автор советует обращаться к людям духовного звания; я тотчас и вспомнил ваше обращение к отцу Герасиму» (цит. по: *Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 363–364). Среди бумаг, оставшихся после кончины архимандрита Герасима в Риме 22 августа 1849 г., сохранился его обширный неозаглавленный труд, посвященный истории Православной Церкви, а именно «отношению Римских Епископов к Церкви Вселенской» — от I века до Флорентийской унии 1439 года; здесь же — перевод этого труда на французский язык и краткое извлечение из этого сочинения, составленное архимандритом Герасимом по поводу послания папы Римского Пия IX от ноября 1847 г. с предложением унии. Это извлечение было отправлено архимандритом Герасимом 4 мая 1848 г. русскому посланнику в Риме А. П. Бутеневу «во ограждение от человеческого властолюбия Церкви Христовой, невредимо сохраняющейся доныне на Востоке» (см.: *АВПРИ*. Ф. 190.

Оп. 525. Ед. хр. 568. Л. 85–816). Упомянутое послание папы Пия IX вызвало ответное Окружное послание восточных Патриархов, напечатанное на греческом языке в Турции в мае 1848 г. (русский перевод в изд.: Христианское Чтение. 1849. Т. 2; отд. изд. — СПб., 1850). (См. также: *Стурдза А.* Новейшие церковные события в Константинополе // Москвитянин. 1849. Ч. I. (№ 1–4). Отд. V. С. 79–83 (с подписью: «Одесса. Ноября 15-го дня. 1848»); *Стурдза А.* Духовная жизнь и духовная словесность на Востоке (Современные очерки) // Москвитянин. 1850. № 4 (цензурное разрешение 14 февраля). Отд. I. С. 267–280; с подписью: «Одесса. 8-го декабря 1849».)

Вероятно, работы этих и других духовных пастырей имеет в виду Гоголь, когда замечает далее в статье, что «духовенство наше не бездействует» и что «в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей». Гоголю, в частности, могла быть известна и рецензия М. П. Погодина на вводный том «Истории Русской Церкви» архимандрита Макария (Булгакова) (впоследствии митрополита Московского и Коломенского) — «История Христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в Историю Русской Церкви» (СПб., 1846), — опубликованная в 1846 г. в мартовском номере погодинского «Москвитянина». В этой рецензии Погодин перечислил наиболее важные современные отечественные труды по истории Русской Церкви: «Архимандрит Макарий, инспектор Петербургской Академии, известный своею прекрасною историей Киевской Академии, приобретает себе вдруг знаменитость последним сочинением. Это сочинение ученое, европейское, и служит блистательным новым доказательством нашей зрелости. Мы смело можем представить его европейскому конгрессу… Знакомство близкое со всеми источниками, внимательность к прежним исследованиям, осторожность в заключениях, полнота, соразмерность, ясный ум, прекрасный язык, — вот достоинства книги. Мы сказали, что она служит блистательным доказательством нашей зрелости; подтвердим это положение тем, что мы имеем уже пять-шесть знатоков по этой части, которые в состоянии разобрать и оценить ее по достоинству, которые занимаются одним предметом с автором. Да, Церковная наша история, бывшая доселе в небрежении, как я замечал несколько раз еще в “Московском Вестнике” 1825-х годов, получила вдруг многих делателей, и каких? Преосвященный *Филарет* Рижский написал, мы слышали, Историю Русской Церкви, которую мы ждем с нетерпением. Превосходное рассуждение его о Максиме Греке известно читателям “Москвитянина”. *А. В. Горский*, профессор Моск<овской> Академии, другой знаменитый ученый, представил уже много статей, сюда относящихся, — напр<имер>, в “Москвитянине”: о Кирилле и Мефодии, при “Творениях Свв. Отцев”: об Иларионе и Петре Митрополите, о школах. *Г<-н> Надеждин* давно занимается Историею расколов. (Жаль, что Г<-н> Руднев оставил, кажется, свои занятия.) Высокопреосвященный *Иннокентий*

Харьковский трудится над Историей догматов, и кажется — иерархии <т. е. иерархии>. Мы слышали, что приготовлено сочинение о Стоглаве» (*Погодин М.* Русская библиография за февраль месяц // Москвитянин. 1846. № 3 (цензурное разрешение 19 марта). С. 256–257).

к стр. 36 *«Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»* — Рассказывая в письме к графу А. П. Толстому от 10 июля 1850 г. о своем посещении Оптиной Пустыни, Гоголь заметил о ее иноках: «Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все».

## IX. О том же

Письмо адресовано графу А. П. Толстому. Историю публикации письма см. в сопроводит. статье к наст. тому. Текст печатается по автографу.

к стр. 37 *Рококó* (*фр.* rococo <rac(aille) — раковина>; *ит.* (bar)occo — барокко) — стиль в архитектуре и декоративном искусстве, сложившийся в XVIII в. во Франции и характеризующийся изысканной сложностью форм и причудливыми орнаментами. Общую характеристику этого стиля см. в статье Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (1834).

## X. О лиризме наших поэтов

Обращено к Василию Андреевичу Жуковскому (1783—1852). Это второй вариант письма, что явствует из начальных строк статьи (первый был написан в 1845 г.). Посылая П. А. Плетневу 16 октября (н. ст.) 1846 г. заключительную тетрадь «Выбранных мест...», Гоголь писал, имея в виду настоящую главу: «Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире. Это не будет понято и примется в другом смысле. К тому же сказано несколько нелепо, о нем после когда-нибудь можно составить умную статью. Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана, и на место ее вставить то, что написано на последней странице тетради». Плетнев выполнил просьбу Гоголя. Первоначальный вариант см. в коммент. к с. 45–46.

Цитаты в настоящей статье не всегда точны, так как приводятся Гоголем большей частью по памяти. Начальные строки письма (до слов: «верховное торжество») печатаются по автографу, сохранившемуся в цензурном деле (см. об этом в сопроводит. статье к наст. тому).

Некоторые современники усмотрели в статье искательство перед царем. В записной книжке Гоголя 1845—1846 гг. содержится набросок, помогающий уяснить его представление о назначении монарха: «Соединяя в лице <своем> званье верховного хранителя

и блюстителя Церкви, из которой исходит свет просвещения и которая неумолкаемо молится о свете просвещения, Государь у нас <1 нрзб.> стремится к свету. И если только он вполне христианин, если первый выполнит долг свой в том духе, какой повелевает ему Церковь, и как строгий христиан<ин> будет взыскательнее всех к самому себе, ничего не может произвести он худого, ибо Сам Дух Божий двинет его повеленья<ми>». Архимандрит Феодор (Бухарев) связывал с содержанием настоящей статьи идею воскрешения «мертвых душ», изображенных Гоголем в его поэме, при участии монарха (<*Феодор (Бухарев), архим.*>. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 136–138).

*...Плетневу в «Современник»...* — *Плетнев* Петр Александрович (1791—1865), поэт, критик, издатель «Современника» (1838—1846). к стр. 38

*...мои сказанья о русских поэтах...* — Речь идет, по-видимому, о первоначальной редакции статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность».

*...то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть... верховное торжество духовной трезвости.* — Здесь, как и в главе *XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность,* слышны отзвуки древнего учения исихастов («безмолвников»), известного также под именем «трезвения» или «умного делания». Оно восходит к истокам монашества, ко временам Свв. Отцов Антония Великого, Макария Великого, Иоанна Лествичника и др. В позднейшие века учителями «умного делания» были преподобный Григорий Синаит (ок. 1268—1310 или 1346), Солунский архиепископ св. Григорий Палама (1296—1359) и другие подвижники Восточной Церкви, а затем преподобные Нил Сорский (ок. 1433—1508) и Паисий Величковский (1722—1794). Эта традиция получила развитие у старцев Оптиной Пустыни. Подробнее см.: *Концевич И. М.* Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1994.

*...к пастырю Церкви...* — Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830). История его создания такова. В 1828 г. Пушкин написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...». Святитель Филарет, митрополит Московский, ответил Пушкину стихотворным посланием «Не напрасно, не случайно...», которое распространялось в списках. Впервые опубликовано С. А. Бурачком в его статье «Видение в царстве духов» без указания на авторство святителя Филарета (Маяк. 1840. Ч. 10): к стр. 39

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Господа дана!
Не без *цели* Его тайной
На тоску осуждена!
Сам я своенравной властью

Зло из бездн земных воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забытый мною!
Просияй средь смутных дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум!

Пушкин ответил на это стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...» (напечатано в «Литературной Газете» 25 февраля 1830 г.).

В марте 1845 г. Гоголь, живший тогда во Франкфурте, обращается к своему парижскому знакомому Ф. Н. Беляеву с просьбой, чтобы о. Димитрий Вершинский, настоятель русской посольской церкви в Париже, списал для него «стихи Филарета в ответ Пушкину». Беляев через графа А. П. Толстого переслал стихотворение Гоголю.

*...этот таинственный побег из города...* — Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Странник» (1835; впервые опубликовано в т. 9 посмертного Собрания сочинений Пушкина в 1841 г. под заглавием «Отрывок»). Сохранилось свидетельство П. И. Бартенева, касающееся этого стихотворения: «Припомним также загадочное стихотворение “Отрывок”, которое Гоголь в статье о лиризме наших поэтов назвал таинственным побегом из города. По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила...» (цит. по: *Зайцев А. Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 78). Это сообщение подтверждается записью в дневнике Е. А. Хитрово, передавшей слова Гоголя о Пушкине: «Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться» (Гоголь в Одессе. 1850—1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 554).

*Елисей* — ветхозаветный пророк.

к стр. 40 *...как наступил было на нее Баторий...* — *Баторий* Стефан (1533—1586) —польский король, в 1581—1582 гг. осаждал Псков, «навел ужас и нашему Грозному» (отрывок «Происшествия на Севере», лекции Гоголя 1832—1833 гг. в Патриотическом институте).

*...Повелительный Стефан...* — Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).

*Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию.* — Подразумевается, вероятно, отзыв Жуковского о стихотворениях славянофила И. С. Аксакова «Среди удобных и ленивых...» и «Ночь» (1845). 18 февраля 1846 г. Н. М. Языков писал Гоголю: «И. Аксаков всю зиму был болен: получил ли ты его стихи от Жуковского?» Гоголь 21 апреля (н. ст.) отвечал:

«От Жуковского я получил извещение, что он, точно, получил стихи Аксакова Ивана, но удержал их у себя, считая лучше вручить их мне лично, по приезде моем к нему. Он находит в них много мистического и укоряет молодых наших поэтов в желании блеснуть оригинальностью. Последнего мнения я не разделяю, хотя и не читаю стихов. Это направление невольное и не есть желание блеснуть. Теперешнего молодого человека мечет невольно, потому что есть внутри у него сила, требующая дела, алчущая действовать и только не знаю<щая>, где, каким образом, на каком месте». «В теперешнее время, — продолжал Гоголь, — не так-то легко попасть человеку на свое место, то есть на место, именно ему принадлежащее; долго ему придется кружить, прежде чем на него попасть. Попробуй, однако ж, дать прочесть Аксакову Ивану мои письма, писанн<ые> к тебе о предметах, предстоящих у нас лирическому поэту, по поводу стихотв<орения> "Землетрясен<ие>". Они все-таки хоть сколько-нибудь наводят на действительность».

*И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг...* — См. в Третьей книге Царств (гл. 22, ст. 6). Возможно также, что Гоголь подразумевает слова св. пророка Амоса: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. Лев начал рыкать, — кто не содрогнется? Господь Бог сказал, — кто не будет пророчествовать?» (гл. 3, ст. 7–8).

*Что пел я россов ту царицу...* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан» (1794). Включено Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина» (см.: Неизданный Гоголь). к стр. 42

*Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет...* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества» (1812). Окончание «Гимна...» включено Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина» (см.: Неизданный Гоголь).

*«Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех...»* — Здесь и далее Гоголь, по-видимому, передает слова А. С. Пушкина, сказанные в личной беседе. Приводимое высказывание Пушкина о Соединенных Штатах находит подтверждение в мемуарах В. И. Анненковой, видевшей поэта в январе 1837 г. у Великой княгини Елены Павловны: «Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: "Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом"» (цит. по: *Андроников И.* Лермонтов: Исследования и находки. М., 1964. С. 175).

*Тулумбас* — старинный ударный музыкальный инструмент вроде литавр. к стр. 43

Отрывок *Это внутреннее существо... личность Императора Николая* — в первом издании был исключен цензурой. (Впервые опубликован П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» за 1866 г.)

К словам «уподобить его» была сделана сноска: «В стихотворении, начинающемся:

С Гомером долго ты беседовал один,
*Тебя мы долго ожидали* — и проч».

*...об оде Императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***».* — Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «К Н***» (1834), опубликованное в т. 9 посмертного «Собрания сочинений» поэта (1841). Современники считали адресатом стихотворения Н. И. Гнедича. Так, В. Г. Белинский в пятой статье пушкинского цикла упоминает его под заглавием «К Гнедичу» (Отечественные Записки. 1844. № 2). С. П. Шевырев писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому “ты проклял нас”?» Шевырев цитирует стихи Пушкина по первой публикации. Между тем в автографе стихотворения указанная строка читается: «Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...» В ответ Гоголь 27 апреля (н. ст.) 1847 г. посылает Шевыреву исключенный цензурой отрывок статьи и в приписке сообщает: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это “Отечественные Записки”». В свою очередь П. А. Плетнев 24 марта 1847 г. писал С. П. Шевыреву: «То, что вы считаете за послание Пушкина к Гнедичу (как и я иногда думал), писано к Государю. Раз, во время балу в Аничковом дворце, он долго не выходил, остановившись над Илиадой, которая попалась ему на глаза и которую он стал тут читать. При вступлении его заметили на его лице выражение серьезное. Это видел и Пушкин, который, возвратясь домой, и написал: “С Гомером долго ты беседовал один” и проч. Прочтите до конца: вам теперь будет понятно каждое слово. А прежде, когда я вместо Государя воображал Гнедича, не мог растолковать себе, к чему говорится тут о пляске и проч. Этот рассказ в Гоголевой книге Никитенко вычеркнул» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 181–182).

Люди с чуткой поэтической душой не испытывали сомнений относительно адресата пушкинского послания. Афанасий Фет писал поэту Константину Романову (К. Р.) в декабре 1887 года: «В глубине души я вынужден признать, что, невзирая на верноподданнические убеждения, я не был бы так предан памяти Императора Николая, если бы не знал его глубокого сочувствия всем свободным искусствам вообще, сочувствия, так ярко выставленного Пушкиным стихом: “С Гомером долго ты беседовал один”» (*К. Р.* Избранная переписка. СПб., 1999. С. 261). Черновые строки стихотворения (неизвестные Гоголю) также указывают на Государя Николая Павловича: «Могучий властелин / С Гомером долго ты беседовал один».

В советском литературоведении, однако, утвердилось мнение, что данное стихотворение обращено к Н. И. Гнедичу как переводчику «Илиады» (историю вопроса см.: *Мейлах Б. С.* «С Гомером долго ты беседовал один...» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974). Тем не менее многие вопросы остаются без ответов. Если Пушкин имел в виду Гнедича, то почему Жуковский не назвал адресата? Кто надписал «К Н***» в беловой рукописи и кто скрыт под этим названием? Откуда Белинский мог знать то, чего не знали Плетнев и Жуковский? Зачем Гоголь распространял слух, что стихотворение адресовано Гнедичу? Создается впечатление, что Гоголь знал нечто такое, чего не знали друзья Пушкина. Подробнее см.: *Воропаев В. А.* Значение великих истин. Пушкин и Гоголь о вере и Государстве Российском // А. С. Пушкин и Православие / Сб. статей о творчестве А. С. Пушкина. М., 2007.

*Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты...* — При первой публикации стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (в т. 9 посмертного «Собрания сочинений» поэта) в нем были сделаны (очевидно, В. А. Жуковским) исправления, в частности выражения «Александрийского столпа» на «Наполеонова столпа». к стр. 45

*Поэты наши прозревали... слово царь.* — В первоначальной редакции вместо этих слов было: «Полномощная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества. Чем более всякое звание и должность станут входить в свои законные пределы и отношения между собою всех станут определяться точней, тем более окажется потребность верховодящей силы, которая, собравши в себе всю силу отдельных единиц, показала бы в себе доблести высшие, приближающие человека прямо к Богу, — те верховные собирательные качества и свойства, которых не могут иметь отдельные единицы. Полюбить весь миллион как одного человека трудней, чем полюбить немногих из этого миллиона; восскорбеть болезнями всех людей в такой силе, как болезнью наиближайшего друга, и мыслить о спасеньи всех до единого, как бы о спасеньи своей собственной семьи, может вполне только тот, которому это постановлено в непременный закон и который слышит, что за неисполненье его он подвергнется такому же страшному ответу пред Богом, как и всякая отдельная единица за неисполненье своего долга на своем отдельном поприще. Не будь этой верховодящей силы, обнищает дух человечества. Полномощная власть государя потому теперь оспоривается в Европе, что ни государям, ни подданным не объяснилось ее полное значение. Власть Государя явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле. При всем желаньи блага он спутается в своих действиях, особливо при нынешнем порядке вещей в Европе; но, как только почувствует он, что должен показать в себе людям образ Бога, все станет ему ясно и его отношенья к подданным вдруг объяснятся. В образцы себе он уже к стр. 45–46

не изберет ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиков и ни одного из тех государей, которым придает мир названье Великого и которым определено было, вследствие обстоятельства и времени, сверх должности государя сыграть роль полководца, преобразователя, нововводителя, словом, показать с блеском одну какую-нибудь в себе сторону, вводящую в такие заблуждения подражателей и так соблазняющую многих государей. Но возьмет в образец своих действий действия Самого Бога, которые так слышны в истории всего человечества и которые еще видней в истории того народа, который отделил Бог затем именно, чтобы царствовать в нем Самому и показать царям, как царствовать. И как Он небесно царствовал! Как умел возлюбить Свой народ пуще всех других народов! С какой любовью Отца учил его и с каким долготерпеньем небесным ждал исправленья его! Как неохотно подымал карающий бич Свой! Как даже и тогда, когда вопли нечестия и грехов достигали самих небес, не спешил наказаньем, но умел сказать: «Дай сойду Сам на землю и рассмотрю, точно ли так велика неправда!» <Быт. 18, 20–21>. И Кто же это говорит? Всезнающий и Всепровидящий, напоминающий об осмотрительности земным царям! Как и самые казни насылал Он не затем, чтобы уничтожить человекка, которого не трудно уничтожить, но затем, чтобы спасти его, потому что трудно спасти человека, чтобы средством потрясающим разбудить его бесчувственную природу и, показавши ему весь ужас того, к чему он в неведеньи стремится, напомнить, что есть еще время спастись ему! Как, зная неподкупность ничем не одолимой правды Своей, употреблял Он все для того, чтобы не подпал под нее бессильный и немощный человек: засылал от Себя пророков, которые, исполнившись любви к своим братьям и нашедши язык им доступный, образумили бы их; и наконец, видя, что все уже тщетно, и ничто не в силах образумить их, и нет средств укрыть людей от Его неотразимой правды, Сам решится Самого Себя принести в жертву за всех, чтобы ценой такой жертвы победить и самую правду Свою, показав людям, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть, и сама по себе есть уже верховнейшее правосудие небесное! Все сказал Бог, как нужно действовать в отношении к людям тому, кто захочет показать им Его образ в себе. А чтобы показать в то же время царю, как он должен действовать относительно Его Самого, Творца всех видимых и невидимых, Он оставил им образцы в помазанных Им же царях Давиде и Соломоне, которые пребывали всем существом своим в Боге, как бы в собственном дому своем, и которые в царской власти своей показали мудрое соприкосновение двух властей — и духовной и светской, в таком виде, что не только одна из них не мешает другой, но еще взаимно одна другую утверждает и возвышает. Так в Книге Божьей содержится полное и совершенное определенье монарха, этого отделенного от нас существа, которому достался такой трудный жребий на земле: исполнив прежде все, что должен исполнить всякой человек, уподобясь Христу в малейших

действиях своей частной жизни, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верховных действиях, относительно всех людей. В этой Книге полное определение монарха, а не где-либо в ином месте. Оно еще не приходило в ум европейским правоведцам, но у нас его уже слышали поэты, оттого и звуки их становились библейскими».

*...дабы один был в силах произвесть этот знаменитый переворот всего в государстве...* — Подразумевается Петр I. к стр. 46

*Ни один царский дом не начинался... как начался дом Романовых.* — Первый русский царь из династии Романовых, Михаил Феодорович (1596—1645), сын Ф. Н. Романова (позднее патриарха Филарета), двоюродный племянник царя Феодора Иоанновича, был избран всенародно на Земском соборе 21 февраля 1613 г. В числе других претендентов на престол были упоминаемые далее Гоголем князь Димитрий Михайлович Пожарский (1578—1642) и князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой (умер в 1625 г.). к стр. 47

*Последний и низший подданный в государстве...* — Здесь говорится об Иване Сусанине, крестьянине из костромского села Молвитино, который зимой 1613 г. спас царя тем, что завел отряд поляков в непроходимые места.

*...родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле...* — Подразумевается Иоанн Грозный.

*Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к Государю...* — По-видимому, Гоголь имеет в виду прежде всего письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину (отцу поэта) от 15 февраля 1837 г., где говорится о последних днях жизни Пушкина и, в частности, приводятся его предсмертные слова о Государе: «Скажи, что мне жаль умереть; был бы весь его» (*Жуковский В. А.* Сочинения в стихах и прозе. 10-е изд. СПб., 1901. С. 907). к стр. 48

*...тайны двух его лучших сочинений...* — Гоголь, вероятно, имеет в виду стихотворения А. С. Пушкина «К Н***» («С Гомером долго ты беседовал один...») и «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). О первом из них см. коммент. к с. 43. История создания второго такова. После опубликования в 1826 г. «Стансов» («В надежде славы и добра...»), обращенных к Императору Николаю I, Пушкина обвинили в заискивании перед царем. С. П. Шевырев, вспоминая о пребывании поэта в Москве в 1826—1827 гг., писал: «Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал, лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед Государем» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1985. С. 50). В ответ на подобные обвинения Пушкин написал «Друзьям» (1828) и представил стихотворение царю как своему цензору. Тот остался доволен им, но не разрешил печатать. Впервые оно было опубликовано в т. 7 «Сочинений» Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (1857).

*Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу...* — *Мицкевич* Адам (1798—1855) — польский поэт. В 1840— к стр. 49

1844 гг. занимал кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс и прочел здесь четыре курса лекций о русской культуре, в которых с большим уважением отзывался о русских писателях. Среди откликов на эти лекции было стихотворение Ф. И. Тютчева. «От русского, по прочтению отрывков из лекций г-на Мицкевича» (см. об этом: Лит. наследство. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988. С. 173–175). Гоголь встречался с Мицкевичем неоднократно, в том числе летом 1843 г. в Карлсруэ. В 1844 г., после прочтения первых двух курсов парижских лекций Мицкевича, А. И. Герцен записал в своем дневнике: «Мицкевич — славянофил, вроде Хомякова и C[nie] <компания>, со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль...» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 333). Действительно, несмотря на убеждение Мицкевича в необходимости объединения славянства, существовала принципиальная разница между польскими и русскими «славянофилами» (и, в частности, Гоголем), тесно связанная с основным, вероисповедным отличием. Она, в частности, заключалась в прямо противоположной оценке наполеоновских кампаний и фигуры Наполеона в целом.

*И долго буду тем народу я любезен...* — Гоголь цитирует стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» по первой публикации. См. коммент. к с. 45.

к стр. 50 *Небесами Клянусь: кто жизнию своей...* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830; впервые опубликовано М. П. Погодиным в 1831 г. без имени автора; впоследствии перепечатано в № 5 «Современника» (1837) с сопроводительным письмом Погодина: «Посылаю вам стихотворение Пушкина “Герой”. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему. Пушкин прислал мне оное во время холеры в 1830 году из Нижегородской своей деревни... Я напечатал стихи тогда в “Телескопе”... Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного: *утешься!* — 29 сентября 1830 года, — есть день прибытия Государя Императора в Москву во время холеры»). Об этом стихотворении см.: <*Моров В. Г.*> *Н. Н.* «Апокалиптическая песнь» Пушкина. Опыт истолкования стихотворения «Герой». М., 1993.

*Вспомни стихотворенье «Пир на Неве»...* — Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Пир Петра Первого» (1835). Приводимая далее Гоголем цитата из этого стихотворения неточна.

к стр. 51 *Там... радуются обращению грешника... более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога.* — Вспоминаются притчи Спасителя о потерянной овце, потерянной драхме и блудном сыне, переданные св. апостолом и евангелистом Лукой: «...так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии <...> Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся <...>

…станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (гл. 15, ст. 7, 10, 23–24).

**XI. Споры**

Адресат письма не установлен.

**XII. Христианин идет вперед**

Письмо адресовано, по всей видимости, Степану Петровичу Шевыреву (1806—1864), поэту, критику, историку литературы, одному из ближайших друзей Гоголя. Ф. В. Чижов в т. 3 «Полного собрания сочинений» Н. В. Гоголя (М., 1867) утверждает, что под обозначением «Щ.....ву» следует понимать «Шевыреву». 2 марта (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал Шевыреву по поводу его статьи «Об отношении семейного воспитания к государственному»: «Ты... и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много, много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выйдет продолжение “Мертвых душ”, тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись…»

Содержание настоящей статьи Гоголя во многих положениях перекликается с педагогической концепцией Александра Петровича — наставника Тентетникова из первой главы второго тома «Мертвых душ» (с той лишь существенной оговоркой, что при всем достоинстве взглядов наставника ему, в соответствии с гоголевским замыслом, недостает главного — просвещенности «светом Христовым»).

*Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок.* — *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ; умер в состоянии старческого слабоумия. к стр. 54

*...если только возмнит... что ученье его кончено... останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.* — Упоенный роскошью и негой царь Соломон в старости был совращен своими иноплеменничьими женами к поклонению идолам. См. Третью книгу Царств (гл. 10–11). Принеся покаяние, он написал: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы...» (Еккл. 4, 13). к стр. 55

**XIII. Карамзин**

Письмо обращено к Н. М. Языкову. В основе его лежит письмо Гоголя от 5 мая (н. ст.) 1846 г. Единственное существенное дополнение к нему — слова о талантах (см. коммент. к с. 56). В бумагах Гоголя сохранилось множество выписок из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

*...похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным...* — «Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года,

в собрании симбирского дворянства, академиком М. Погодиным» (М., 1845 (цензурное разрешение 22 декабря); То же // Москвитянин. 1846. № 1 (цензурное разрешение 30 января). С. 1–66). В 1833 г. Гоголь принял участие в сборе пожертвований на сооружение памятника Н. М. Карамзину, установленного в Симбирске. Гоголь, А. С. Пушкин и П. А. Плетнев пожертвовали по 25 рублей (см.: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 347).

к стр. 56 *...ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять.* См. Евангелие от Матфея (гл. 25, ст. 14–30).

*...что в России нельзя сказать полной правды...* — Это место статьи вызвало возражение С. П. Шевырева, который писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина, которого "Записка о Древней Руси" до сих пор не напечатана...» Следует, однако, иметь в виду, что сочинение «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзин для печати не предназначал.

**XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности**

Адресовано графу А. П. Толстому.

Древняя христианская Церковь в лице Свв. Отцов и Соборов никогда не признавала благотворного нравственного влияния сценических представлений на общество и всегда считала этот вид искусства развлечением предосудительным и недостойным христианина. Отцы и Учителя Церкви, каковы Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, обличали христиан, которые посещали зрелища, и угрожали им отлучением от Церкви. В XIX в. Православная Церковь относилась к театру не так строго в отношении мирян, но безусловно воспрещала посещение его лицам духовного звания. Не скрывали своего несочувствия к театру такие авторитетные иерархи Русской Православной Церкви, как святитель Филарет, митрополит Московский, и святитель Феофан, Затворник Вышенский, а позднее — св. праведный Иоанн Кронштадтский.

Гоголь на собственном опыте убедился в ничтожно малом нравственном воздействии сценического искусства на общество. 3 декабря (н. ст.) 1842 г. он писал М. С. Щепкину из Рима: «Я не могу и не буду писать ничего для театра». «Я даже думаю, что публичные чтенья со временем заместят у нас спектакли», — замечал он позднее в письме *V. Чтения русских поэтов перед публикою.*

Настоящая статья вызвала возражение ржевского протоиерея Матфея Константиновского, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа А. П. Толстого. «Статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра... — отвечал Гоголь о. Матфею

9 мая (н. ст.) 1847 г. — Нельзя отнять совершенно от общества увеселений… но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения идти к Богу». И далее Гоголь так объяснял причины появления данной главы: «Письмо о театре я писал, имея в виду публику, пристрастившуюся к балетам и операм, пожирающим ныне страшные суммы денег, и в то же самое время имел в виду издателя журнала “Маяк”, С. А. Бурачка, который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный и верующий человек, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что те не брали в предмет христианских сюжетов». Гоголь говорит здесь о статьях С. А. Бурачка, упрекавшего А. С. Пушкина в безверии и безнравственности и утверждавшего, в частности, в статье «Видение в царстве духов»: «Переберите все восемь томов его (Пушкина. — *И. В.*, *В. В.*) сочинений: (кроме слабых общих мест, и то очень, очень редко) нет ни одной высокой мысли, о Боге, о вере, о Иисусе Христе Господе Искупителе нашем, о Православной Руси, о героях, прославивших русское имя» (Маяк. 1840. Ч. 10. С. 61).

*Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст.* — к стр. 57
Гоголь имеет в виду обличения театральных зрелищ св. Иоанном Златоустом, архиепископом Константинопольским (ок. 350—407), в его «Толкованиях на Святого Матфея Евангелиста». См., например, следующее характерное место: «В самом деле, скажи мне, отчего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? Отчего оскверняются брачные ложа? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают жен своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто ниспровергает все и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр... Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи» (Беседа XXXVII). В письме к Н. М. Языкову от 2 апреля (н. ст.) 1844 г. из Дармштадта Гоголь просит прислать ему «беседы Златоуста», т. е. «Иоанна Златоустого Беседы на Евангелиста Матфея» (М., 1839. Ч. 1–3).

В записной книжке Гоголя 1842—1850 гг. есть запись «О театре»: «Искусство упало. Высокие доблести, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянен<ию>, которой авто<р> старается из всех <сил> дать право гражд<анства>, составляют содержание нынешних пиэс». Еще раньше, в статье «Петербургские записки 1836 года», Гоголь писал о современном ему театре: «Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок…»

*...Димитрий Ростовский... слагал у нас пьесы для представления в лицах.* — Свт. *Димитрий Ростовский* (в мире Даниил Саввич Туптало; 1651—1709) — выдающийся агиограф и проповедник, писал также стихи и пьесы. (Память его совершается 21 сентября ст. ст.) Будучи митрополитом Ростовским и Ярославским, создал в Ростове школьный театр, на сцене которого ставились пьесы духовного содержания, написанные главным образом им самим («Успенская драма», 1680-е гг., «Рождественская драма», 1702 г., и др.). По оценке современного богослова, протоиерея Георгия Флоровского, школьные драмы св. Димитрия (уже ростовского периода) носят «западнический характер» (*Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Вильнюс. 1991. С. 54).

к стр. 58 *Реньяр* Жан Франсуа (1655—1709) — французский драматург.

*...тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне.* — Подразумеваются французские философы-материалисты XVIII в.

к стр. 58–59 *...незримые ступени к христианству...* — Эти слова в целом характеризуют понимание Гоголем роли искусства в жизни человека.

к стр. 59 *Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли!* — *Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — комический актер, реформатор сцены; один из друзей Гоголя. В московском Малом театре исполнял роли городничего (в «Ревизоре»), Кочкарева и Подколесина (в «Женитьбе»), Утешительного (в «Игроках»). Был инициатором публичных чтений сочинений Гоголя (см. коммент. к главе *V. Чтения русских поэтов перед публикою*). Под «первым комическим актером» в статье подразумевается Щепкин. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — ведущий актер-трагик Александринского театра в Петербурге.

к стр. 60 *...драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера.* — Этой мысли соответствует подготовительная заметка в записной книжке Гоголя 1845—1846 гг.: «Пятьдесят раз должно ездить на одну и ту же пиэсу. Музыку, чем слышишь более, тем глубже входишь в нее. Картина, чем более в нее вглядываеш<ься>, тем хочется более глядеть, и с этим никто не спорит, хотя редко понимает. А слово, высшее всего, считается ничтожным».

к стр. 64 *...самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону...* — Возможно, Гоголь узнал об этих предписаниях из опубликованной в т. 3 «Современника» (1836) статьи А. С. Пушкина «Мнение М. А. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», где, в частности, говорилось: «Вопреки мнению г. Лобанова цензура не должна *проникать все ухищрения пишущих.* “Ценсура долженствует обращать особенное

внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора *и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону" (Устав о ценсуре, § 6)».* Имеется в виду цензурный устав 1828 г.

*...уголовном преступлении, каково есть непризнанье Бога в том виде, в каком повелел признавать Его Сам Божий Сын... дело это страшное.* — Парафраз слов св. апостола Павла в Послании к Евреям: «*Если* отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия *наказывается* смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия... Страшно впасть в руки Бога живаго!» (гл. 10, ст. 28–31). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов сделал помету: «Если отвергавший Закон Моисея умирал, колми паче Закон Христа»; «Страшно впасть в руки Бога Живаго» (см. т. 9 наст. изд.). В архиве Московского цензурного комитета сохранилось дело, относящееся к 1824—1828 гг., «О противных общим законам еврейских книгах» (в том числе о составленной на основе Талмуда книге «Шилхонурых», или «Шилхан Арух»), которым надлежало руководствоваться «в потребных случаях» (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 1. Д. 275. 25 л.). к стр. 65

*...его величественные стихи пастырю Церкви...* — Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830). См. коммент. к с. 39.

*...выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства!* — Известно, что Гоголь высоко ценил ум А. С. Пушкина. По свидетельству Е. А. Хитрово, он говорил: «Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 554). к стр. 66

## XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время

В основу статьи положены письма к Н. М. Языкову от 2 и 26 декабря (н. ст.) 1844 г. В ответном письме к Гоголю от 17 января 1845 г. Языков замечал: «Твои два письма, писанные тобою, как ты сам говоришь, под влиянием моего стихотворения "Землетрясенье", доставили мне много удовольствия, услаждения и пользы. Жаль, что их нельзя напечатать: я бы сделал это непременно, не спросившись тебя и взяв ответственность на свою совесть...»

*Твое стихотворенье «Землетрясенье» меня восхитило.* — Стихотворение Н. М. Языкова было опубликовано в «Москвитянине» (1844. № 10). Вошло в сборник «HS <56> стихотворений Н. М. Языкова», вышедший в том же году и посланный Языковым Гоголю за границу с князем П. А. Вяземским. Собственноручный список стихотворения Гоголь приложил к письму графине Л. К. Виельгорской и ее дочери Анне Михайловне от 24 декабря 1844 г. к стр. 67

из Франкфурта (см.: Неизданный Гоголь). В тот же день он писал А. О. Смирновой: «Вы пропустили и не прочитали одной прекрасной вещи, именно стихотворения Языкова: Землетрясенье. Прочтите его зато несколько раз. Оно так возвышенно, просто и прекрасно и так кстати в нынешнее время, что его многим нужно читать, особенно тем, которые рождены ободрять других, стало быть и вам». По свидетельству Л. И. Арнольди, в 1849 г. Гоголь называл «Землетрясение» Языкова «лучшим русским стихотворением» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 477).

к стр. 68 *...начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара...* — Имеется в виду эпизод из библейской Книги пророка Даниила (гл. 5, ст. 5).

*На днях попалась мне книга «Царские выходы».* — Речь идет об изданной П. М. Строевым книге «Выходы Государей Царей и Великих Князей, Михаила Феодоровича, Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича, всея Русии Самодержцев (С 1632 по 1682 год)» (М., 1844). Из письма Гоголя к Н. М. Языкову от 2 декабря (н. ст.) 1844 г. следует, что он познакомился с книгой по заметке о ней в «Отечественных Записках» (1844. № 5), где были помещены выдержки из нее. Позднее в свою записную книжку Гоголь занес выписки непосредственно из самой книги. Одной из этих выписок он и воспользовался при написании статьи.

к стр. 69 *...что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома...* — Единственное упоминание Гоголя, касающееся содержания третьего тома «Мертвых душ».

## XVI. Советы

Адресат письма, вероятно, С. П. Шевырев. См. коммент. к главе *XII. Христианин идет вперед.* В записной книжке Гоголя 1841—1846 гг. содержится отрывок, представляющий собой, по-видимому, набросок к данной статье: «Всегда почти выходит, что тот совет и упрек, которы<й> сделаем другим, как раз придется к тебе само<му>. Так что это вдвойне проясняет <?>. С тех пор я положил себе в урок никому не давать совета без того, чтобы искрен<не не> обратить самому себе, никому не делать упрека без того, чтобы внутренне не обратить его самому себе. Поверь, что советы и тебе нужны, и делай так же, <упрекни> в том себя, в чем упрекнул друго<го>. И если это кажется неправд<ой>, то не потому, чтоб это было неправд<ой>, но потому, что плохо видим себя. Я сделал это себе правило<м>, советую и тебе то же. Не думай, что ты бессилен и не мож<ешь> учиться, но учи, учась, действуй обоюдо<остро>».

В статье нашло также отражение содержание выписки Гоголя из Кормчей книги — *IV. Вступление. Из послания Св. Василия Великого к Амфилохию*: «Я становлюсь сведущее и рассудительнее самого себя, из самого вопроса научаяся многому, чего прежде не знал. Забота об ответе делается для меня учителем».

*Уча других, также учишься.* — Возможно, отклик на опубликованное в т. 3 «Современника» (1836) «Письмо к издателю» А. С. Пушкина, где подверглась критике статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», помещенная в первой книжке журнала. Свое «Письмо...» Пушкин начинает цитатой из Георгия Конисского: «...учители добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим». Эта мысль восходит к словам св. апостола Павла из Послания к Римлянам: «...как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» (гл. 2, ст. 21). к стр. 70

### XVII. Просвещение

Адресовано В. А. Жуковскому. К содержанию статьи непосредственное отношение имеет выписка Гоголя из «Журнала Министерства Народного Просвещения» <Изложение 5–12 Слов книги святителя Иннокентия (Борисова) «О грехе и его последствиях: Беседы на Святую Четыредесятницу». Харьков, 1844> (см. в т. 9 наст. изд.).

*Веруй, и да не смущается твое сердце!* — Парафраз слов Спасителя, переданных св. апостолом и евангелистом Иоанном Богословом: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1). В октябре 1846 г. В. А. Жуковский подарил Гоголю записную книжку, на обороте переплета которой написал: «До свиданья. Франкфурт на Майне, 8/20 октября. Да не смущается сердце ваше. Иоанн XIV». Те же слова Спасителя были вылиты на надгробной плите дорогого Жуковскому с давних лет человека, племянницы поэта М. А. Мойер (рожд. Протасовой, 1793—1823). Картину с видом могилы М. А. Мойер Жуковский возил с собой. В своих «Рассуждениях и размышлениях» (1846—1847) он писал: «*Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйт*е. В этом слове все возможные утешения, данные наперед человеку на все беды житейские. Сперва веруй, потом уже сердце твое будет тихо и мирно само собою. Из сердечных смущений истекает вера, из веры истекает мир» (*Жуковский В. А.* Сочинения в стихах и прозе. С. 934). к стр. 72

*В Москву ты приедешь, как в родную свою семью.* — В. А. Жуковский собирался вернуться в Россию и поселиться в Москве, где жили почти все его родные и друзья.

*...труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом.* — В середине 1840-х гг. В. А. Жуковский задумал написать книгу для духовного руководства молодых людей, по жанру и по тематике напоминающую «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголю, по-видимому, были известны наброски, созданные в 1844—1847 гг. и опубликованные позднее (в 1857 г.) под названием «Рассуждения и размышления». В книгу должны были войти и письма к Гоголю. В 1850 г.

рукопись была приготовлена к печати, но не пропущена духовной цензурой. В последний год жизни Жуковский поручил П. А. Плетневу раздать рукописи ненапечатанных статей друзьям, в том числе князю П. А. Вяземскому и А. О. Смирновой. Новое (подготовленное по автографам) издание набросков Жуковского см.: *Жуковский В. А.* Мысли и замечания // Наше наследие. М., 1995. № 33.

к стр. 73 *...одной — подобно скромной Марии... другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе...* — Вспоминается евангельское повествование о посещении Спасителем дома Марфы и Марии (Лк. 10, 38–42). Сравнение Западной Церкви с Марфой и Восточной — с Марией Гоголь заимствовал из статьи Иоанна Яхонтова «О православии Российской Церкви»: «Тонко, благородно и остроумно сравнивает Стефан Яворский жалобы двух Церквей друг на друга с жалобами Марфы на Марию. Как нельзя сказать, которая из сих жен оставила другую: Марфа ли Марию, или обратно: “тако и между сими двемя сестрами взаимное есть оставление. Восточная оставила Западную в союзе соединения; Западная же оставила Восточную в растлении, в поврежденности и новости Символа” (см. ответ его Сорбоннской Академии в 3-й части особо собранных его сочинений. М., 1805)» (Христианское Чтение. 1843. Т. 3. С. 58). (Проект Сорбонны о соединении Церквей был привезен в Россию Петром I в 1718 г.)

Позднее, в августе 1847 г., Гоголь в письме к графу А. П. Толстому (постоянному своему собеседнику по вопросам инославных исповеданий) высоко отозвался о трактате А. С. Хомякова «Церковь одна» (конец 1844 — начало 1845 г.): «Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы». Этот трактат Гоголь переписал для себя в отдельную тетрадь и считал, что он получит отклик во многих странах (подробнее см.: *Воропаев В.* «Катехизис необыкновенно замечательный» // Москва. 2002. № 2). Не прошел Гоголь и мимо известного письма П. Я. Чаадаева к французскому публицисту графу Адольфу де Сиркуру по проблеме Россия и Запад. «Наша... Церковь по существу — Церковь аскетическая, — писал Чаадаев своему парижскому корреспонденту 15 января 1845 г., — как ваша по существу — социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете» (цит. по: *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. С. 296). Гоголь, по всей вероятности, познакомился с этим письмом зимой 1845 г. в Париже. Проживавший здесь А. И. Тургенев записал в своем дневнике 26 февраля 1845 г.: «У меня были Гоголь, гр. Толстой и Циркур» (*Гиллельсон М.* Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева. С. 142).

к стр. 74 *Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас.* — Перебирая далее переводы возможных соответствий слову «просвещение» в других языках, Гоголь не находит в них оттенка, который отражал бы воздействие и на нравственную природу человека. Поэтому А. Григорьев, обративший внимание в статье «Гоголь и его последняя книга» на значение этого гоголевского слова, конечно,

ошибался, когда полагал, что немецкое Aufklärung значит «решительно то же самое». Впрочем, утверждая это, он замечал тут же, что ему «непонятно в высшей степени... что Гоголь называет просвещением» (цит. по: Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. С. 124). Друг Гоголя М. А. Максимович отмечал: «Но *истинное просвещение* состоит не в одном обогащении и развитии ума познаниями — это только *ученость*; оно требует еще религиозно-нравственного образования сердца и воли» (*Максимович М.* О Русском Просвещении. Речь, говоренная в собрании Московского Университета, 1832 Января 12 // Телескоп. 1832. № 2. С. 182). Позднее, в 1863 г., Ю. Ф. Самарин писал: «Давно и искренно желали вы выразуметь, что именно подразумевается под словом *цивилизация*, так недавно вошедшим у нас в моду... и почти совершенно вытеснившим из употребления слово *просвещение*... Если мы отбросили одно слово, притом слово коренное русское и, по замечанию Гоголя, не переводимое ни на какой европейский язык... то надобно предполагать, что это произошло недаром... Не оттого ли... понадобилось нам слово *цивилизация*, что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову *просвещение* и что нам становилось как будто совестно употреблять его по мере того, как самое понятие мельчало, грубело и пошлело?» (*Самарин Ю. Ф.* По поводу мнения «Русского Вестника» о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к цивилизации // *Самарин Ю. Ф.* Избр. произведения. М., 1996. С. 542, 546). Гоголь употребляет слово «просвещение» в его литургическом значении.

*Недаром архиерей, в торжественном служении своем...* — *Архиерей* (*греч.* — первосвященник) — общее название высших церковных иерархов (епископов, архиепископов, митрополитов). к стр. 75

*...произнося: «Свет Христов освещает всех!»* — Точнее: «Свет Христов просвещает всех!» — возглас священника на Литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой Великим постом по средам и пятницам. При этом возгласе полагается повергаться ниц.

## XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

Адресаты писем неизвестны. Содержание первого письма развито Гоголем в предисловии «К читателю от сочинителя» второго издания «Мертвых душ» (1846).

*В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте...* — *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, прозаик, критик, издатель газеты «Северная Пчела». *Сенковский* Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним Барон Брамбеус; 1800—1858) — журналист, критик, прозаик, редактор и издатель журнала «Библиотека для Чтения», профессор Петербургского университета. *Полевой* Николай Алексеевич

(1796—1846) — прозаик, журналист, историк. Упреки Гоголю в плохом знании русского языка были общим местом современной ему критики. Так, Ф. В. Булгарин писал о «Мертвых душах», что «ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...» (Северная Пчела. 1842. № 119), а Н. А. Полевой утверждал, что язык Гоголя «можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики...» (Русский Вестник. 1842. № 5–6. С. 41). В. Г. Белинский соглашался, что язык Гоголя «точно неправилен, нередко грешит против грамматики», но в то же время отмечал, что «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка — есть слог».

к стр. 76 *...исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов...* — С. Т. Аксаков, передавая в письме к Гоголю от 3–5 июля 1842 г. разные толки и замечания о «Мертвых душах», в частности, писал: «Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу».

к стр. 81 *...уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека...* — В. Г. Белинский оспорил пушкинское определение «дара» Гоголя. Особенность таланта Гоголя, утверждал критик, «состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни... Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 313). Суть дела, однако, заключается в том, что «пошлость» у Гоголя — это свидетельство духовного убожества, которое можно найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, так как они мертвы духовно. В понимании «мертвой» души как духовно умершей название гоголевской поэмы безусловно восходит к новозаветной традиции и святоотеческой литературе. Гоголевский замысел созвучен христианскому нравственному закону, сформулированному св. апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (гл. 15, ст. 22).

к стр. 84 *...подвигнет моих читателей указать все промахи...* — Вышедшее в конце 1846 г. второе издание «Мертвых душ» Гоголь сопроводил предисловием «К читателю от сочинителя», где просил присылать ему замечания на книгу.

к стр. 85 *...я не люблю моих мерзостей... и изгоню их, и мне в этом поможет Бог.* — Эти слова Гоголя связаны, вероятно, с евангельским повествованием об изгнании Спасителем легиона бесов из одержимого в стране Гадаринской (см. Мк. 5, 12–13). 18 декабря

(н. ст.) 1847 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву: «Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя».

*...сожжен второй том «Мертвых душ»...* — Н. С. Тихонравов приурочивает сожжение второго тома к началу июля 1845 г. Основанием для такой датировки служат слова самого Гоголя: «Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее». Однако Гоголь, по всей видимости, уничтожил не законченную рукопись, а первоначальный вариант. Е. А. Хитрово в своем дневнике передает разговор одной дамы с Гоголем (в январе 1851 г.), спросившей его, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ». На что тот ответил: «Я думаю — через год». «Так они не сожжены?» — «Ведь это только начало было...» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 551). к стр. 86

*«Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол.* — Слова св. апостола Павла из Первого Послания к Коринфянам (гл. 15, ст. 36).

## XIX. Нужно любить Россию

Адресовано графу А. П. Толстому. Данное письмо, как и следующее, XX, было запрещено цензурой. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. *Н. В. Гоголя.* Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867. 22 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Вся цензурная проделка для меня покаместь темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор (А. В. Никитенко. — *И. В.*, *В. В.*) был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги» (подробнее см. в сопроводит. статье к наст. тому).

*...как полюбить Того, Которого никто не видал?.. в любви к братьям получаем любовь к Богу.* — Реминисценция слов св. апостола Иоанна Богослова в Первом Соборном послании: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (гл. 4, ст. 20). Доктор А. Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, вспоминает в своих записках: «Однажды зашел у нас разговор о любви к Богу. Я припомнил ему слова из Нового Завета: “не любяй брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может любити...” и пожелал узнать от него: не думает ли он, что любовь к Богу можно выражать только любовью к человечеству? Он отвечал, что любовь к Богу к стр. 88

есть еще высшее развитие любви христианской, прекрасно объясненное у писателей Церкви» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. 2-е изд., доп. М., 1902. С. 13).

к стр. 89 *...не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете...* — Граф А. П. Толстой был тверским губернатором (1834—1837), а потом одесским генерал-губернатором (1837—1842). *Капитан-исправник* — начальник уездной полиции, избиравшийся из дворян.

## XX. Нужно проездиться по России

Письмо адресовано тому же лицу. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. *Н. В. Гоголя.* Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

к стр. 90 *Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч...* — Монахи Свято-Троицкой Сергиевой лавры Родион *Ослябя* (в мире Роман, умер после 1398 г.) и Александр *Пересвет* по благословению преподобного Сергия Радонежского (ок. 1321—1391) приняли участие в Куликовской битве 1380 г. Пересвет погиб в поединке с татарским богатырем Темир-мурзой (Челибеем).

*Бывши губернатором в двух... губерниях...* — См. коммент. к предыдущему письму.

к стр. 93 *Спаситель... прямо называет миротворцев сынами Божьими.* — «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). В сборнике выписок Гоголя из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви есть посвященный этой заповеди Спасителя отрывок под заглавием: «О Божестве миротворцев (св. Григория Нисского)». Слова Гоголя о том, что Спаситель оценил подвиг миротворцев «едва ли не выше всех других», прямо соотносятся с первыми строками этого отрывка: «Если зреть Бога есть высочайшее благо, то быть сыном Божиим, конечно, есть такое счастье, которое выше всякого счастия».

*Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье земли нашей...* — *Третейский суд* — суд, избираемый по взаимному соглашению спорящими сторонами. Известен на Руси с XIV в.

к стр. 94 *...живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников...* — Ср. в записной книжке Гоголя 1845—1846 гг.: «Не эгоист в душе, но эгоист жизнь<ю>, ведущий роскошную жизнь потому только, что не для кого оставлять состояния: детей всего только один».

*...взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье...* — Мысль о том, как «косвенно» грешит человек, беря такую взятку, встречается в записной книжке Гоголя 1841—1844 гг. Здесь, в частности со слов графа А. П. Толстого,

он записал о деятельности винного откупщика в губернии, взятки которого для чиновников давно превратились в «нестыдный» обычай: «Сила откупщика так велика, что его нельзя ограничить, потому что он лопнет, если скрутить его, и потому все, даже честные, берут от него взятки. Откупщик всем дает; все с ним в дружбе и все им довольны». В результате такой «дружбы» «казенная палата... ему мирволит во всем <«мирволить — потворствовать»; записная книжка Гоголя 1841—1845 гг.>: дозволяет открывать кабаки не в законных местах и не в законные часы: во время обедни, в праздники и до обедни, продолжая ярмарочные дни; дозволяя разводить водой вино, дозволяет употреблять возбуждающ<ее>... не закрывает вечером поздно и проч.» (из записной книжки 1841—1844 гг.).

*...чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу... — Гамбс* Эрнст (1805—1849) — владелец модного мебельного магазина в Петербурге. Он упомянут во втором томе «Мертвых душ» в рассуждении Гоголя о разорительности роскоши: «Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется... тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса...» к стр. 96

### XXI. Что такое губернаторша

Адресовано А. О. Смирновой (см. о ней коммент. к письму *VI. О помощи бедным*), муж которой, Н. М. Смирнов, в 1845—1851 гг. был калужским губернатором. В основе статьи лежит письмо Гоголя к Смирновой от 6 июня (н. ст.) 1846 г. Глава была запрещена цензурой. Впервые опубликована в газете «Современность и Экономический листок» (1860. № 1), перепечатана под названием «Письмо Н. В. Гоголя» в журнале «Домашняя Беседа» (1866. Вып. 6).

*Предшественница ваша Ж***...* — Подразумевается Елизавета Николаевна Жуковская (1803—1856), жена калужского губернатора Н. В. Жуковского, сведения о которой Гоголь почерпнул из письма к нему А. О. Смирновой от 14 января 1846 г. к стр. 97

*...княгиня ...О***...* — Имеется в виду княгиня Аграфена Юрьевна Оболенская (рожд. Нелединская-Мелецкая; 1789—1828), жена князя А. П. Оболенского, бывшего в 1825—1831 гг. калужским губернатором. Сведения об А. Ю. Оболенской Гоголь также берет из указанного письма к нему Смирновой от 14 января 1846 г.

*Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь.* — 16 декабря 1845 г. А. О. Смирнова писала Гоголю из Калуги: «В этом месяце узнала я более о России и человечестве вообще, чем во все мое пребывание во дворце». к стр. 99

*Ваш поступок... с уездным судьей М*** уезда...* — Имеется в виду мещовский уездный судья Клементьев, о котором А. О. Смирнова рассказала в письме к Гоголю от 21 февраля 1846 г. Позднее, 18 января 1851 г., она писала Гоголю: «У нас были в Калуге выборы, к стр. 102

я увиделась с мещовским судьей Клементьевым; он всему уезду показался так горек, что его чуть не забаллотировали, однако он удержался на своем месте. Он любит свою должность, ею дорожит и говорит, что без нее не может жить... Что будет далее с ним, не знаю; но он, конечно, очень замечателен».

*...point d'honneur...* (*фр.*) — Вопрос чести.

к стр. 103 *Но не бросайте никакого человека... иногда с горя, с отчаяния... впадает он еще в бо́льшие преступления.* — Совет Гоголя восходит к словам св. апостола Павла во Втором послании к Коринфянам: «...вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью» (гл. 2, ст. 7).

к стр. 104 *...беседовать об этом почаще с архиереем...* — Имеется в виду преосвященный Николай (Соколов), в 1834—1851 гг. епископ Калужский. О нем А. О. Смирнова писала Гоголю 14 января 1846 г.

к стр. 105 *...другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться...* — *Полицмейстер* (полицеймейстер) — начальник полиции губернского города.

к стр. 108 *«Грустно и даже горестно видеть вблизи...»* — Гоголь приводит строки из письма к нему А. О. Смирновой от 14 мая 1846 г.

## XXII. Русской помещик

Адресат письма не установлен.

к стр. 110 *...потому что нет власти, которая бы не была от Бога.* — Имеются в виду слова св. апостола Павла из Послания к Римлянам: «...ибо нет власти не от Бога...» (гл. 13, ст. 1).

*...Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб...* — Речь идет о выражении из Библии: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» (Быт. 13, 19). В сохранившихся главах второго тома помещик Костанжогло так обосновывает «законность» хлебопашества: «Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами».

к стр. 111 *Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится».* — Имеются в виду следующие слова из Евангелия: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33; см. также: Лк. 12, 31). В первом издании вместо «всем» стоит «вам» (поправка П. А. Плетнева). Е. А. Хитрово рассказывает в своем дневнике, как Гоголь в январе 1851 г. в Одессе читал у Репниных проповедь святителя Филарета, митрополита Московского, на стих: «Ищите же прежде Царствия Божия...» При этом Гоголь говорил: «Когда внутренно устроен человек, то у него все ладится. А внутренно чтоб устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 551).

*...там мужики лопатами гребут серебро.* — Этот фольклорный образ (ср. эпизод святочного гадания в пушкинском «Евгении

Онегине»: «И вынулось колечко ей Под песенку старинных дней: *Там мужички-то все богаты, Гребут лопатой серебро...»*) использован Гоголем во втором томе «Мертвых душ» при описании деревни Костанжогло: «Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой».

*...полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов...* — к стр. 112
*Мариенбад* — европейский город-курорт с минеральными водами (ныне город Марианске-Лазне в Чехии). Гоголь лечился в Мариенбаде в июле — августе 1839 г.

*Разбогатеешь ты, как Крез...* — *Крез* (Крёз, 595—546 до к стр. 115
Р. Х.) — последний царь Лидии. Богатство его вошло в поговорку.

## XXIII. Исторический живописец Иванов

Письмо адресовано графу Матвею Юрьевичу Виельгорскому (1794—1866), известному виолончелисту и музыкальному деятелю, который в то время был вице-председателем Общества поощрения художников и имел влияние — в смысле помощи артистам и художникам — на герцога Максимилиана Лейхтенбергского, занимавшего пост президента Академии художеств. Гоголь был знаком как с герцогом, так и с его супругой — великой княгиней Марией Николаевной, известной меценаткой. В конце июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь сообщал графу М. Ю. Виельгорскому: «Я к вам написал письмо об Иванове, но, рассудивши, как трудно толковать о деле малопонятном, и зная то, что у нас по тех пор никакие хлопоты не возымеют надлежащего действия, пока общий крик и общий голос не станут за то<го> человека, о котором хлопочут, я рассудил мое письмо напечатать просто в книге, которую вы теперь держите в руках. Потом я услышал, что Иванову вышло некоторое вспоможение. Нет нужды. Все-таки сделайте к тому прибавление, а напечатанное письмо предложите на прочет как моей прекрасной благодетельнице Марии Николаевне, так и герцогу Лейхтенбергскому. Все-таки недурно, если по поводу этого дела узнают, что бывают такие положения людей, на которые следует иногда обращать внимание, хотя они сами и не издают во всеуслышанье воплей и криков».

Александр Андреевич Иванов (1806—1858) входил в круг ближайших друзей Гоголя; с 1831 г. он жил в Италии, работая над картиной «Явление Мессии». Гоголь принимал непосредственное участие в разработке замысла и композиции картины, которая осталась незаконченной. В 1858 г. она была выставлена в Петербурге под названием «Явление Христа народу». Н. Г. Машковцев полагал, что это название подсказано гоголевской статьей (*Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955. С. 90). К «Выбранным местам из переписки с друзьями» Иванов в целом отнесся одобрительно, но был недоволен тем, что Гоголь сделал его «известным», вывел «на трескучую мостовую» (заметка 1849 г. в записной тетради А. А. Иванова).

О картине Иванова немало писали и до Гоголя (с содержанием и композицией «Явления Мессии» заочно знакомили русскую публику, начиная с 1835 г., А. В. Тимофеев, С. П. Шевырев, Н. И. Греч, М. П. Погодин, Ф. В. Чижов, Н. В. Кукольник и др.). Однако наибольшую известность картина Иванова — и сам художник — получили именно благодаря гоголевской книге. «По статье Гоголя, — писал, в частности, об Иванове в 1853 г. корреспондент «Московских Ведомостей», — это имя... обошло Россию». К концу 1850-х гг. в критике утвердилось даже мнение, будто о «Явлении Мессии» «русская публика узнала в первый раз из известного письма Гоголя» — что «первым заговорил» о ней Гоголь.

Спустя несколько месяцев после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» основные положения статьи Гоголя «Исторический живописец Иванов» были изложены в биографической статье об Иванове неизвестного автора в пятом томе «Справочного энциклопедического словаря», изданного в Петербурге в 1847 г. (цензурное разрешение 19 мая).

Созданный в статье Гоголя образ «идеального» художника долгое время воспринимался читателями как соответствующий действительному облику Иванова. Однако, как свидетельствуют факты, это «соответствие» оказывается не вполне верным. Важным подспорьем к изучению статьи Гоголя «Исторический живописец Иванов» может служить хранящееся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве неопубликованное письмо одного из гоголевских современников, посвященное исключительно этой статье (Ф. 457. Ед. хр. 31). Автор письма, фамилия которого известна лишь из подписи — Молотков, сообщает о себе, что в продолжение трех лет (с конца 1844 по 1847 г.) он был лично знаком с проживавшим в Риме Александром Ивановым. Молотков адресовал письмо своему приятелю Николле Синчеро с пожеланием опубликовать его послание «в наиболее читаемой газете». Главное содержание письма Молоткова — резкая критика в адрес Гоголя, который, по мнению автора, исказил в своей статье подлинный облик создателя «Явления Мессии». Молотков как очевидец, на основании личных впечатлений от встреч с Ивановым, буквально по пунктам отмечает несоответствие его личности тому образу «исторического живописца», какой выступает под именем Иванова в книге Гоголя.

Во-первых, Молотков вопреки заявлениям Гоголя (и в соответствии с действительными фактами) отмечает, что пребывание Иванова в Италии никогда не было лишено участия и материальной поддержки. Во-вторых, Молотков иначе, чем Гоголь, объясняет медленность работы Иванова над «Явлением Мессии»: «Самая картина, делаемая им уже несколько лет, сколько можно заметить, ему приглядеалась и прискучила, чрез то и энергия к труду, естественно, ослабла...» Но важнее всего то, что Молотков подвергает сомнению созданный Гоголем в его статье образ Иванова как самоотверженного

подвижника и аскета. Слова Гоголя о том, что Иванов «ведет жизнь истинно монашескую», вызывают прямое возражение Молоткова: «Любопытно было бы знать, к какому ордену монахов причисляет автор выбранных мест исторического живописца, и как последний, *корпя день и ночь над своей работою* <цитируется выражение Гоголя>, встречается довольно часто гуляющим, охотно принимает участие в загородных поездках с проживающими в Риме русскими путешественниками...»

У нас нет оснований не доверять свидетельствам Молоткова — прежде всего потому, что сам Иванов, прочитав статью о нем Гоголя, высказал на нее, по сути, те же возражения, которые встречаются в письме Молоткова. Прочитав высланную ему статью, Иванов отвечал Гоголю: «Одно мне позвольте возразить против следующих слов вашей статьи: "*Иванов ведет жизнь истинно монашескую*". И очень бы не отказался иметь женой монахиню — женщину, занятую преследованием собственных своих пороков!» В то время Иванов был увлечен планами женитьбы на графине Марии Владимировне Апраксиной (вышедшей вскоре замуж за князя Мещерского). Позднее Иванов в разговорах с окружающими неоднократно упоминал о том, что статья Гоголя его тяготит.

Гоголю суждено было сыграть в судьбе Александра Иванова исключительную роль. Многочисленные письма Гоголя к Иванову свидетельствуют о постоянной духовной и моральной поддержке его со стороны писателя. Публикация в 1847 г. статьи «Исторический живописец Иванов» была задумана Гоголем как одно из действенных средств такого морального воздействия. Своей статьей Гоголь ставил Иванова в глазах русского общества на такую высоту, на какой сам художник в то время еще не стоял. На указанную Гоголем высоту Иванов, по «замыслу»» писателя, только еще должен был взойти по мере духовного совершенствования. Как показало время, этот «замысел» Гоголя не вполне оправдался.

Надо сказать, что Иванов был не единственным, чей облик в «Выбранных местах из переписки с друзьями» оказался вследствие особого воспитательного замысла Гоголя не в полной мере соответствующим действительности. Наиболее заметно это по характеристике, которую дал Гоголь в «Переписке с друзьями» одному из своих близких друзей и единомышленников, известному историку, писателю и журналисту М. П. Погодину. Если Иванова Гоголь поставил в книге весьма высоко, то Погодину, напротив, дал чрезвычайно заниженную и даже несправедливую оценку (см. статью Гоголя *IV. О том, что такое слово*). Если Иванов указывал, что написанное о нем Гоголем «неверно», то Погодин, со своей стороны, отзывом Гоголя «огорчился до слез, до глубины сердца» (согласно дневниковой записи Погодина). Дело объясняется тем, что обе гоголевские оценки — и Иванова, и Погодина — были одинаково обусловлены дидактическим характером книги. Обоих своих друзей Гоголь попросту воспитывал: одного порицанием, другого похвалой. Ибо

ни Погодин, ни Иванов в действительности не были такими, какими они явились в книге Гоголя. Ни критикуемый в книге Погодин не был столь плох, как его представил Гоголь, ни превозносимый Иванов не был тем идеальным аскетом-подвижником, каким он изображен в статье «Исторический живописец Иванов». Отзывы на книгу Гоголя Иванова и Погодина объединяет то, что это, по сути, одинаковая негативная реакция воспитуемых на воспитательные средства, употребленные Гоголем, — средства «кнута и пряника». Можно даже с уверенностью предположить, почему Гоголь употребил то или другое «лекарство». Погодин, как известно, был человеком достаточно волевым и крепким — и для исправления его недостатков Гоголь избрал порицание; Иванов был человеком мятущимся, постоянно тревожащимся — и Гоголь употребил исключительно одобрение и похвалу.

Воздействие «воспитательных средств» Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» — и похвал, и порицаний — испытал на себе еще один из его друзей — князь П. А. Вяземский. Характеристика Вяземского также оказалась в книге не вполне соответствующей реальному облику «прототипа», и целью этого «несоответствия» вновь явилось стремление Гоголя повлиять на своего адресата: одобрив способности князя, побудить его приняться за «большое и полное» сочинение: написать историю царствования Екатерины II. Много лет спустя Вяземский, процитировав отзыв о себе Гоголя в «Переписке с друзьями», восклицал: «Уф! Задыхаюсь и изнемогаю... от похвал, которые нагромоздил на меня Гоголь... Если сбавить и наполовину все то, что им сказано, то и тогда еще будет с меня избыточно довольно... Но... после больших похвал <Гоголь> не скупится и на укоризны. Между прочим говорит он: “отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского”. С этим приговором я совершенно согласен, но с оговоркою. Полно, болезнь ли это? — разве недостаток» (*Вяземский П. А., кн.* Автобиографическое введение // Старина и Новизна. М., 1916. Кн. 20. С. 227–228).

Наблюдение об особом дидактическом характере «Выбранных мест из переписки с друзьями» важно не только в отношении к последней книге Гоголя и ее адресатам. Очевидно, что не только гоголевские друзья — Иванов, Погодин, князь Вяземский, — но и все светское общество было для писателя таким же «воспитуемым» объектом, как и «персонажи» «Переписки». В отношении к читателям эта книга — своеобразная творческая реализация замысла «Мертвых душ» в действительной жизни. Не случайно, потерпев неудачу с «Выбранными местами...», — сказав, что не его дело «поучать проповедью», — Гоголь возвращается к работе над поэмой. При этом весьма показательно, что первый том «Мертвых душ» сыграл в русской истории почти такую же роль, какую, к примеру, в судьбе Погодина отзыв о нем Гоголя в «Переписке с друзьями». По словам биографа Погодина Н. П. Барсукова,

«письма́ *О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина* Гоголь не написал <как и продолжения «Мертвых душ»>, а *жесткие слова* <написанные Гоголем в адрес друга> остались навсегда и послужили орудием для врагов Погодина» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 8. С. 550). Особым дидактическим замыслом — порой не всегда приводившим к желаемым результатам — и объясняется постоянное стремление Гоголя к диалогу с читателем, отразившееся как в «Выбранных местах из переписки с друзьями», так и в истории создания «Мертвых душ».

*...она больше картин Брюллова и Бруни...* — Имеются в виду к стр. 117 «Последний день Помпеи» (1827—1833) Карла Павловича *Брюллова* (Брюлло, 1799—1852) и «Медный змий» (1827—1841) Федора Антоновича *Бруни* (1799—1875). В. С. Аксакова 11 ноября 1841 г. писала М. Г. Карташевской по поводу картины «Медный змий»: «Жаль, что ты не видала картины Бруни. Я спрашивала об ней Гоголя. Он говорит, что в картинах Бруни виден талант более зрелый, нежели в картинах Брюллова, но что у этого последнего более гения; что картина эта, впрочем, прекрасна и что каждая группа отдельно может служить для изучения...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 608).

*Из евангельских мест взято... доселе еще не бранное никем из художников...* — В начале 1833 г. А. А. Иванов писал о замысле своей картины в Общество поощрения художников: «Предмет сей никем еще не делан, следовательно, будет интересен уже и по новизне своей» (*Боткин М. П.* А. А. Иванов. С. 30).

*«Се Агнец, взъемляй грехи мира!»* — «...Вот Агнец Божий, Который берет на *Себя* грех мира» (Ин. 1, 29). к стр. 118

...*«От Назарета пророк не приходит».* — Контаминация слов апостола Нафанаила (перед его призванием): «*от Назарета* может ли что добро́ быти» (Ин. 1, 46); и фарисеев: «*пророк* от Галилеи *не приходит*» (Ин. 7, 52).

*Иванов повсюду ездил... изучать... еврейские лица...* — «...В пятницу вечером и в субботу утром, — писал, в частности, Иванов сестре из Рима в сентябре 1836 г., — меня можно видеть в Гетто» (Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. С. 302; датировка письма уточнена). Об этом римском «гетто» упоминает и Гоголь в повести «Рим»: «...точильщик... Джякомо заложил в Гету жидам все свое платье» и «мастер Петручьо тоже заложил свое платье в Гету жидам...» Примечателен в этом смысле отзыв о картине Иванова (выставленной в 1858 г. в Петербурге) поэта Ф. И. Тютчева: «Это не апостолы и верующие, а просто семейство Ротшильдов!» (Воспоминания *В. В. Стасова* (1879) // *Боткин М. П.* А. А. Иванов. С. 419). По словам А. А. Иванова, сказанным в 1858 г. Н. Н. Распоповой, «из всех лиц на его картине только *три созданы* им: Спасителя, Предтечи и Иоанна Богослова... все остальные писаны с натуры, все портреты; только голова апостола <Андрея>, которого молодой Иоанн увлекает за собою навстречу Христу, писана с одного

старинного медальона, хранящегося в Ватиканском музее» (*Р<аспопо>ва Н.* Письмо к русским друзьям за границей // Лучи. 1859. № 9. С. 150). Эту натуралистичность, и даже «портретность» «Явления Мессии» — в ущерб иконографической традиции отмечали помимо Тютчева многие современники Иванова: Ф. В. Чижов (в 1846 г.), В. В. Стасов (в 1873 г.), немецкие художники в Риме. «...Иванов на несколько дней открыл свою картину... — писал в январе 1858 г. из Рима В. П. Боткин брату Д. П. Боткину. — Здесь она возбудила большие толки — и большая часть сильно критикует ее. Немцы-рафаэлисты осуждают ее за натурализм и именно за крайне жидовские физиономии лиц» (Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930. С. 101–102).

к стр. 121 *Спасен я был Государем.* — Речь идет о помощи, оказанной Гоголю Государем Николаем Павловичем в 1837 г. Подробнее см. об этом: *Виноградов И.* «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Н. В. Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. М., 1998. № 7.

*...многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах...* — Подразумевается прежде всего М. П. Погодин, требовавший от Гоголя статей в «Москвитянин».

## XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Адресат письма неизвестен. В первом издании часть заглавия — «при нынешнем порядке вещей в России» — была вычеркнута цензором. Содержание настоящей главы прямо перекликается с письмами Гоголя к А. О. Смирновой и графине С. М. Соллогуб от 24 сентября (н. ст.) 1844 г. В гоголевской записной книжке 1846—1850 гг. есть набросок <О браке>, представляющий собой начальный этап переработки данного письма. По-видимому, он должен был в дальнейшем вылиться в статью «Женщина в семье», означенную в «Оглавлении <V тома собрания сочинений>» Гоголя (см.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 485–486).

Архимандрит Феодор (Бухарев) связывал содержание писем *XXI. Что такое губернаторша* и *XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России* с образом Маниловой в первом томе «Мертвых душ», говоря о способности этой героини «окрепнуть в духе самой и мужа укрепить», и вместе с ним увидеть «сторону во всяком предмете, достойную дельного сочувствия, и все городское общество подвигнуть к лучшему» (<*Феодор (Бухарев), архим.*> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 135).

к стр. 125 *«Молись и к берегу гребись», — говорит пословица.* — Ср. в «Пословицах русского народа» В. И. Даля: «Богу молись, а к берегу гребись!»

*...приход и расход чтобы был в ваших руках...* — Ср. соответствующие советы Гоголя в письме к матери от 10 июля 1834 г. Архимандрит Феодор (Бухарев), обращаясь к Гоголю, писал: «Вы знаете, что женская натура скорее мужской может быть подвигнута — почувствовать все прекрасное величие своих обязанностей... И если в самом деле в душу этой избранницы падет луч небесный, если она для выполнения требований Того, Кто создал человека, сумеет великодушно простить не злонамеренного, но и не совсем дальновидного человека, который публично сравнил бы ее с какой-нибудь "коробочкою" (в ваших Мертвых Душах) (В современных журналах были эти насмешки. — Примеч. архимандрита Феодора. — *И. В., В. В.*), и не возмутится бесстыдством зубоскала, который хотел бы осмеять ее пред всеми прозванием "женщины о семи кучках", не помышляя того, что он не над человеком ругается, — словом, если она твердо и не колеблясь ничем, пойдет по своему прекрасному, однажды избранному, пути: то будет она точно самой деятельной помощницей мужу на всяком поприще...» (<*Феодор (Бухарев), архим.*> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 41).

*...comme il faut...* (*фр.*) — Комильфо́ — букв.: как надо, как следует; прилично, в соответствии с правилами светского приличия. Сестра Гоголя, Ольга Васильевна, вспоминала о своем пребывании в апреле 1840 г. в Москве вместе с матерью, сестрами и братом: «Я не помню, как-то раз выезжали с театра, верно, не хватало фаэтонов — только один был; как он <Гоголь> с матерью сел, а нас порастыкал знакомым. Мне пришлось ехать в карете с двумя дамами. Они вдвоем разговаривали. О чем — только прослышала, "и тот ком иль фо". Вероятно, в то время было в моде употреблять то слово — ком иль фо» (Из семейной хроники Гоголей (Мемуары *О. В. Гоголь-Головни*). С. 15–16). к стр. 127

*...мадам Сихлер.* — Имеются в виду сестры Сихлер, или Циклер (Sichler), портнихи, владелицы модных магазинов в Петербурге и Москве. В первой редакции повести «Портрет» (1835) Гоголь, имея в виду этих законодательниц петербургской моды, упоминал, в частности, о нетерпеливом желании молоденькой дочери светской дамы встретиться с приятельницей, чтобы рассказать ей, «какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б.». Имя Сихлер (Циклер) часто встречается в письмах и бумагах А. С. Пушкина. 8 декабря 1831 г. он писал жене из Москвы: «Москва полна еще пребыванием Двора... и еще не отдохнула от балов. Цыхлер сделала в один месяц 80 тысяч чистого барыша». У Сихлер постоянно заказывала свои наряды сама Н. Н. Пушкина. «Воображаю первое число, — писал ей поэт 2 сентября 1833 г. — Тебя теребят за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь, Mde Sichler etc., у тебя не хватает денег...» Вплоть до самой смерти Пушкина долги Сихлер неизменно обновлялись.

*Распределите ваше время... Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность... Чтобы... через то встретились бы весело перед обедом...* — Совет Гоголя восходит к стр. 127–128

к словам св. апостола Павла в Первом послании к Коринфянам о временном воздержании супругов: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе...» (гл. 7, ст. 5).

к стр. 128 *...помните, что жена должна быть помощницей мужа.* — Подразумевается библейское изречение: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18).

*...один мой приятель... которого... знает вся Россия...* — Имеется в виду В. А. Жуковский, который в заметке «Что есть свобода» (1846) высказывает сходную мысль: «Что есть свобода? Способность произносить слово "нет" мысленно или вслух» (*Жуковский В. А.* Сочинения в стихах и прозе. С. 936). 24 октября (н. ст.) 1846 г. Гоголь писал М. С. Щепкину: «...для русского человека нет невозможного дела... нет даже на языке его и слова *нет*, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: *нет*».

*Стало так теперь все чудно́, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.* — Гоголь напоминает здесь апостольскую заповедь: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви...» (Еф. 5, 22–23). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов отметил: «таинство брака».

### XXV. Сельский суд и расправа

Адресат письма не установлен.

к стр. 129 *...зачем не простил своему брату, как повелел Христос...* — Ср.: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21–22); «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 12–13). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов написал: «Как облечься в Нового человека».

*...зачем он обидел Самого Христа в своем брате...* — Подразумеваются слова Спасителя: «...истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 45).

*...что не примирились сами собой и пришли на суд...* — Ср.: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Мф. 5, 25); «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?»

(1 Кор. 6, 7). Сформулированная здесь христианская мысль определяет главную идею «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). Мысль эта подчеркнута Гоголем тем, что герои продолжают враждовать и в самой церкви. (Последняя сцена повести происходит в храме во время праздничной службы.) Причем из жалобы Ивана Ивановича на своего соседа известно, что это церковь Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, устранивших распрю о них среди православных христиан в Константинополе в XI в.

## XXVI. Страхи и ужасы России

Обращено к графине Луизе Карловне Виельгорской (рожд. герцогиня Бирон; 1791—1853), жене графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Письмо было запрещено цензурой. Впервые напечатано П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» (1866).

*...sauve qui peut...* (*фр.*) — Спасайся кто может. к стр. 131

*Вспомните Египетские тьмы, которые с такой силой передал* к стр. 132
*царь Соломон...* — Имеется в виду Книга Премудрости Соломона (гл. 17). В 1846 г. В. А. Жуковский сделал стихотворный перевод этой главы, назвав его «Египетская тьма». В других выражениях Гоголь ближе к славянской Библии.

*...растрепанный, неопрятный гнев... малодушная способность падать на всяком шагу в уныние...* — См. коммент. к трактату «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии».

*...начиная с ваших дочерей...* — У М. Ю. и Л. К. Виельгорских к стр. 133
было три дочери: Аполлинария Михайловна (в замужестве Веневитинова; 1818—1884), Софья Михайловна (в замужестве графиня Соллогуб; 1820—1878) и Анна Михайловна (в замужестве княгиня Шаховская; 1822—1861).

## XXVII. Близорукому приятелю

Адресат письма не установлен.

*...молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги,* к стр. 134
*а когда упадет на железо, кует его.* — Парафраз стихов из «Полтавы» А. С. Пушкина (1828): «Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат».

*О настоящем велит нам заботиться Бог.* — Ср.: «Итак не к стр. 135
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний *сам* будет заботиться о своем: довольно для *каждого* дня своей заботы» (Мф. 6, 34).

*О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!* — Происхождение этой фразы связано с содержанием новеллы П. Мериме «Души в чистилище», к русскому переводу которой Гоголь написал в начале 1840-х гг. специальную заметку.

### XXVIII. Занимающему важное место

Адресовано графу А. П. Толстому. Письмо было запрещено цензурой. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. *Н. В. Гоголя.* Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

Отдельные места этой главы имеют текстуальные совпадения с гоголевской записью «Дела, предстоящие губернатору», сделанной со слов графа А. П. Толстого (записная книжка 1841—1844 гг.). В черновом письме к нему, служащем, по всей видимости, наброском данной статьи, Гоголь писал: «Я вас очень благодарю, что вы объяснили должность генерал-губернатора; я только с ваших слов узнал, в чем она истинно может быть важна и нужна в России. Прежде мне казалось, что и без нее организм управления губернии совершенно полон» (Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 7. С. 451). Отдельные мысли статьи перекликаются с суждениями генерал-губернатора в одной из сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ». В образе этого генерал-губернатора многие угадывали графа А. П. Толстого.

к стр. 136 *...или по-прежнему занять место генерал-губернатора...* — См. коммент. к с. 89. *Генерал-губернатор* — начальник одной или нескольких губерний, обладавший высшей военно-административной властью. В записной книжке 1841—1844 гг. в наброске «Дела, предстоящие губернатору» Гоголь отметил: «Генерал-губернатор может много иметь влияния нравственного как лицо совершенно первенствую<щее> и стоящее выше личностей...»

*...для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — все легко.* — Ср.: «...ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 30).

*...расспросите и циციановцев, и ермоловцев...* — Имеются в виду офицеры, воевавшие на Кавказе под командой генералов князя Павла Дмитриевича *Цицианова* (1754—1806) и Алексея Петровича *Ермолова* (1777—1861).

к стр. 139 *Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги...* — Е. А. Хитрово 22 января 1851 г. записала разговор с Гоголем: «Говорили об открытиях. Он бранил лампы. Я сказала: “А сколько нововведений на моей памяти! шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип”. Гоголь: “И на что все это надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!”» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 549).

к стр. 140 *«О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится».* — См. коммент. к с. 111.

к стр. 141 *...городничие всех городов... земские заседатели...* — *Городничий* — начальник уездного города. *Заседатель* — здесь: выборный представитель от дворян, член земского (уездного) суда.

*Губернское правление* — высшее административное учреждение в губернии, возглавлялось вице-губернатором.

*Присутственное место* (присутствие) — казенное учреждение.

*Гражданская палата* — высшее в губернии судебное учреждение. к стр. 142

*Губернский предводитель* — глава губернского дворянства, избиравшийся на три года.

*...упомяну только о Совестном суде, подобного которому не знаю в других государствах. — Совестный суд* — вид губернского суда в России, рассматривавший гражданские и некоторые уголовные (малолетних, невменяемых) дела, в которых судья судил не только по закону, но и по совести. Существовал с 1775 по 1862 г. В записной книжке Гоголя 1841—1844 гг. отмечено: «Совестный судья по выборам не зависит от губернатора; благодетельнейшее установление. Судить все дела, где должны быть смягчены законы, по совести (христианской): малолетних, умалишенных. Суд его окончателен, поэтому стараются охотно препроводить дела в Сов<естный суд>. Жалованья ему нет, канцелярия содержится от дворян, так, как и сиротское отде<ление>, находящееся под председательством предводителя». к стр. 143

*...в государствах колониальных...* — Подразумеваются Соединенные Штаты Америки, образовавшиеся в 1776 г. из английских колоний. Ср. характеристику Америки в статье Гоголя «О преподавании всеобщей истории» (1835). к стр. 144

*...не имеющего национальной целизны и духа народного...* — «Целизна, челизна — непаханое место» (записная книжка Гоголя 1841—1845 гг.); «нравственная целость и непорочность» (Толковый словарь В. И. Даля).

*...несколько сорванцов могли возмутить целое государство.* — Речь идет о декабристах. к стр. 146

*Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях.* — Эту мысль Гоголь развивает в статье «О сословиях в государстве», оставшейся незавершенной (1840-е гг.). к стр. 147

*...до такой наглости еще не возносили рог свой...* — Реминисценция 74-го псалма св. пророка Давида: «Рех беззаконнующым, не беззаконнуйте: и согрешающым, не возносите ро́га, не воздвизайте на высоту ро́га вашего...» (ст. 5–6). к стр. 148

*Смотрите на то — любите ли вы других, а не на то — любят ли вас другие.* — Ср. в гоголевской выписке «О любви» из писем затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия (Машурина): «Не ищу, любите ли вы меня, — но смотрю себя: люблю ли я вас?» к стр. 153

## XXIX. Чей удел на земле выше

Адресат не установлен. Письмо ощутимо проникнуто духом 83-го псалма св. пророка Давида. В Российской государственной библиотеке в Москве и в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге сохранились выписки Гоголя из

Псалтири (на славянском, греческом и латинском языках). Ответ на вопрос «Чей удел на земле выше» содержится в письме Гоголя к Н. М. Языкову от 10 февраля 1842 г.: «...Нет выше удела на свете, как звание монаха».

*...тот, которому вверен был один талант...* — Подразумевается притча Спасителя о талантах (Мф. 25, 14–30).

*...«В дому Отца Моего обители многи суть»...* — Евангелие от Иоанна (гл. 14, ст. 2).

### XXX. Напутствие

Адресат письма неизвестен. Содержание статьи перекликается с письмом Гоголя к матери от 1 сентября (н. ст.) 1842 г., где он просил оказать от его имени моральную поддержку встреченному ею в Харькове чиновнику, отличавшемуся «благородством и честной бедностью среди богатеющих неправдой», но бывшему при этом близким к отчаянию.

к стр. 155 *На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем там.* — Ср. в «Правиле жития в мире»: «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу будем на том свете».

### XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность

Настоящая статья подводила итог раздумьям Гоголя о судьбах отечественной литературы. О замысле ее Гоголь упоминает в письме к Н. М. Языкову от 28 мая (н. ст.) 1843 г., где сообщает о своем намерении поговорить о нем как о поэте «публично» и «сказать кое-что вообще о русских писателях». Одна из редакций статьи была написана, по-видимому, в 1845 г. и уничтожена после критики В. А. Жуковского (см. об этом в начале письма *X. О лиризме наших поэтов*). Отправляя П. А. Плетневу 16 октября (н. ст.) 1846 г. заключительную тетрадь рукописи «Выбранных мест...», Гоголь писал: «Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал и наконец теперь написал, потому именно, что она необходима моей книге, в объясненье элементов русского человека. Без этого она бы никогда не написалась: так мне трудно писать что-нибудь о литературе».

Можно с уверенностью сказать, что названные в настоящей статье источники самобытности русской поэзии, из которых должны черпать вдохновение русские поэты, — народные песни, пословицы и слово церковных пастырей — имеют первостепенное значение для самого Гоголя. «Существо» и «особенность» русской поэзии явлены в его творчестве в полной мере. В этом случае Гоголь, как и в других отношениях, занимал последовательную «антизападническую», «славянофильскую» позицию, так как западники того

времени, по словам историка Н. П. Барсукова, «с неистовою ненавистью относились… ко всему, что носило печать русского направления и “русской народности”. Для примера Т. И. Филиппов приводит следующее: Валентин Федорович Корш, еще будучи студентом, ожидал однажды перед большою аудиторией прихода С. М. Соловьева, читавшего тогда древний перепод русской истории. “Чорт знает, что такое! — громогласно рассуждал Корш в ожидании. — Куда это мы идем? Слушать древнюю русскую историю! Как будто у русского народа существует какая-либо древняя, допетровская история…” Не иначе мыслили и все вообще западники; не иначе витийствовал Белинский с трибуны *Отечественных Записок*. К песням и преданиям русского народа западники относились также отрицательно. Если под влиянием Запада и признавалось уже некоторыми научное значение народных преданий и песен, то в художественном отношении они представлялись, тем не менее, образованному большинству едва ли заслуживающими уважения» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 58–59). В. Г. Белинский, к примеру, в рецензии на украинский сборник «Ластовка» (1841), а также в одной из четырех статей о народной поэзии (3-я статья; Отечественные Записки. 1841. Т. 19. № 11) прямо отрицал вопреки утверждениям самого Гоголя значение украинской народной поэзии для создания литературных произведений и потому ставил гоголевского «Тараса Бульбу» в исключительную зависимость от своеобразия украинской истории как таковой, а также от развития на русской почве западноевропейских начал (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 330).

*Струи его пробиваются в наших песнях... в пословицах наших... в самом слове церковных пастырей...* — В определении трех начал русской поэзии Гоголь, по всей видимости, следует Н. М. Карамзину, который в заключение четвертой главы пятого тома «Истории государства Российского», посвященной описанию «состояния России от нашествия татар до Иоанна III», в качестве главных источников русской образованности того времени называет последовательно «церковные и душеспасительные книги» (включая сюда летописи, исторические произведения и «слова»), а также «народные пословицы» и «народные песни русские».

*…стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину…* — См. коммент. к с. 38. к стр. 156

*…восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду.* — Имеется в виду «Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (опубл. 1751). Включена Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина» (см.: Неизданный Гоголь). к стр. 157

*Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму...* — Подразумевается система силлабо-тонического стихосложения,

изложенная М. В. Ломоносовым в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739).

к стр. 158 *Божественный пророк Давид...* — Из оды М. В. Ломоносова «Ея Императорскому Величеству... Императрице Елисавете Петровне... на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны... декабря 18 дня 1757 года». Отрывки включены Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина» (см.: Неизданный Гоголь). У Ломоносова: «Божественный певец Давид».

*Исайя* — библейский пророк Исаия.

*...одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня.* — Подразумевается поэт и переводчик *Петров* Василий Петрович (1736—1799).

к стр. 159 *...весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья...* — Гоголь утверждает это со слов самого М. В. Ломоносова: «Стихотворство — моя утеха, физика — мои упражнения» (Российская грамматика. Наставление шестое. Глава 1. § 472).

*...останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете...* — Гоголь имеет в виду, в частности, предания калмыков. В своем конспекте книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834), в разделе «Религия и духовная образованность и словесность» калмыков, он записал: «Первые люди... жили по 80 т<ысяч> лет... Калмык... иногда дня по три сряду слушает предания о подвигах сказочных героев, которых очень любит... Герои бывают ростом в несколько верст...» В статье «О движении народов в конце V века» (1835) Гоголь объясняет возникновение этих преданий тем, что «жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке».

к стр. 160 *Встает в упор ее волнам...* — Из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797). Включена Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина».

к стр. 161 *И смерть, как гостью, ожидает...* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Аристиппова баня» (1811). Отрывки включены Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина».

к стр. 162 *Дмитриев показал много таланта...* — *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт, переписывался с Гоголем.

*От одного только Капниста...* — *Капнист* Василий Васильевич (1758—1823) — поэт и драматург. Капнисты — близкие знакомые семьи Гоголя.

*...какая-то особенная антологическая прелесть...* — *Антологиями* назывались в начале XIX в. переводные сборники произведений античных авторов, состоящие из коротких стихотворений чувственного характера, а также оригинальные произведения в том же духе.

*«Деревенский домик в Обуховке».* — Имеется в виду элегия В. В. Капниста «Обуховка» (1818). *Обуховка* — родовое имение поэта в Полтавской губернии.

*...стали предметом немецких поэтов.* — В первоначальной редакции после этих слов следовало: «Случилось это в то самое время, когда с другой стороны строгие и чинные немецкие философы начали утверждать, что человечество достигнуло полной зрелости и началось наконец царство разума. Дело, впрочем, естественное, видя, что мудрость стала подноситься чересчур уже в черством виде, все, которые поживей, стали как школьники вырываться из класса с тем, чтобы поиграть и позаняться тем, что поближе к молодым побужденьям. У немцев молодые побужденья были и встарь ко всему неясному и безотчетному. Немцы ухватились за это и теперь». к стр. 163

*...в герое его баллады Вадиме...* — *Вадим* — действующее лицо одноименной баллады В. А. Жуковского, входящей вместе с балладой «Громобой» в поэму «Двенадцать спящих дев» (1810—1817).

*...другое из Уланда...* — *Уланд* Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт и драматург. В. А. Жуковский перевел целый ряд его стихотворений и баллад.

*Под надзирание ты предан...* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Победителю» (1785). Отрывок из него включен Гоголем в рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина» (см.: Неизданный Гоголь). к стр. 164

*«Отчет о солнце».* — Подразумевается стихотворение В. А. Жуковского «Летний вечер» (1818). к стр. 165

*«Отчет о луне».* — Имеются в виду послания В. А. Жуковского «Государыне Императрице Марии Федоровне. Первый отчет о луне, в июне 1819 года» и «Подробный отчет о луне, представленный Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске».

*Его «Славянка» с видами Павловска...* — Речь идет об элегии В. А. Жуковского «Славянка» (1815). *Славянка* — река в Павловске, близ Петербурга, где находилась летняя резиденция царя.

*«Ундина»* — Имеется в виду «Ундина, старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ф. Ламотт Фуке, на русском в стихах В. Жуковским» (СПб., 1837).

*...передаче совершеннейшего поэтического произведения...* — Подразумевается перевод «Одиссеи», над которым работал в это время В. А. Жуковский. См. статью «Об Одиссее, переводимой Жуковским».

*...Батюшков... слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье».* — *Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт. Гоголь ошибочно приписывает ему слова из послания А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818): «Блажен, кто знает сладострастье Высоких мыслей и стихов!» к стр. 166

*Далекий, вожделенный брег!..* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829). к стр. 167

*...до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака...* — Имеются в виду следующие строки из «Евгения

Онегина»: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака» («Отрывки из путешествия Онегина»).

*...всё, что ни есть во внутреннем человеке...* — *Внутренний человек* — одно из любимых выражений Гоголя, восходящее к словам св. апостола Павла из Второго послания к Коринфянам: «...но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (гл. 4, ст. 16). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов написал: «Наш внешний человек тлеет, но внутренний обновляется» (*Виноградов И. А., Воропаев В. А.* Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания. С. 244). В уцелевших главах второго тома «Мертвых душ» Тентетников лишился своего замечательного наставника, когда еще «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек...»

*...ничтожной приметы, его смутившей...* — Имеется в виду, вероятно, стихотворение А. С. Пушкина «Приметы» (1829).

к стр. 168 *...на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика...* — Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Эхо» (1831): «...Тебе ж нет отзыва... Таков / И ты, поэт!»

к стр. 169 *...наукообразным стремленьем своим...* — Слово *наукообразный* употреблено здесь в старом значении. Ср. в воспоминаниях доктора А. Т. Тарасенкова о Гоголе: «Не помню, почему-то я употребил в рассказе слово *научный*; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: “Научный, научный, а мы все говорили *наукообразный*: это неловко, то гораздо лучше”» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 10).

*Не для житейского волненья...* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

*Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам...* — Образ из библейской Книги Песни песней Соломона: «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни...» (гл. 4, ст. 2).

к стр. 170 *Герой испанский Дон-Жуан... дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине...* — Подразумевается «Каменный гость» А. С. Пушкина (1830).

*Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта...* — Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825). По свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь «объявил однажды, что известная пушкинская “Сцена из Фауста” выше всего “Фауста” Гете вместе взятого» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 279). Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель.

*...терцины Данта внушили ему мысль...* — Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830). *Данте* Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт.

к стр. 171 *...в первых повестях его...* — Подразумеваются «Повести Белкина» (1831).

*«Рукопись села Горохина».* — Имеется в виду «История села Горюхина» (1830), которая в первой публикации (Современник. 1837. Т. 7) из-за неправильного прочтения рукописи имела название «Летопись села Горохина».

*«Царский арап»* — «Арап Петра Великого» (1827).

*...набросок большого романа — «Дубровский».* — Имеется в виду незаконченный роман А. С. Пушкина, опубликованный посмертно (1841). Рукопись не имеет названия, оно дано издателями при первой публикации.

*...стихотворенье, в котором... изображен побег из города... и часть его собственного душевного состояния.* — Стихотворение А. С. Пушкина «Странник». См. коммент. к с. 39.

*Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831) — поэт, издатель альманаха «Северные Цветы» (1825—1830) и «Литературной Газеты» (1830). к стр. 172

*Козлов* Иван Иванович (1779—840) — поэт. Его творчеству Гоголь посвятил статью «О поэзии Козлова» (1831—1833; опубликована посмертно).

*Баратынский* (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

*Стоит назвать обоих Туманских...* — Имеются в виду поэты Василий Иванович *Туманский* (1800—1860) и его двоюродный брат Федор Антонович *Туманский* (1801—1853), автор популярного стихотворения «Птичка» («Вчера я растворил темницу...», 1827).

*Крылов* Александр Абрамович (1798 (по др., менее вероятным сведениям — 1793) — 1829) — поэт.

*...прелагатель псалмов Ф. Глинка...* — *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, автор «Опытов священной поэзии» (1826) и «Духовных стихотворений» (1839). По свидетельству правнучки В. В. Капниста графини И. П. Капнист, Гоголь «часто острил насчет литераторов и поэтов своей эпохи» и однажды сказал «поэту Глинке, вдохновлявшемуся библейскими сюжетами: “Перелагать псалмы в стихи, это то же, что варить яица”. “Как так?” спрашивает Глинка в недоумении. “А так, — переваришь яица, — станут крутые, есть можно; недоваришь, — будут всмятку, опять вкусно. Так точно и псалмы, как их ни перекладывать, всегда выйдет хорошо”» (*Капнист И. П., гр.* Воспоминания о графе П. И. Капнисте // *Капнист П. И.* Соч. Т. 1. М., 1901. С. LIII). к стр. 172–173

*...партизан-поэт Давыдов...* — *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт и военный писатель. к стр. 173

*...Веневитинов, так рано от нас похищенный...* — *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт и философ.

*Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, публицист, богослов.

*Покровы прочь! Перед челом...* — Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826). к стр. 174

*...игра в свайку...* — *Свайка* — старинная русская народная игра; участники ее броском втыкают большой толстый гвоздь (свайку) в лежащее на земле кольцо.

*Тяжкий гвоздь стойком и плотно...* — Из стихотворения Н. М. Языкова «К А. Н. Вульфу» (1828).

*...появились его стихи отдельной книгой...* — Имеется в виду сборник «Стихотворения Н. Языкова» (1833).

*...стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале.* — Подразумевается послание «Д. В. Давыдову», впервые опубликованное в «Московском Наблюдателе» (1835. Кн. 2).

*...сам о себе сказал в послании к Овидию...* — «К Овидию» (1821).

*Чу! труба продребезжала!..* — Из упомянутого выше послания Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову».

*...точно разымчивый хмель...* — *Разымчивый* — возбуждающий, забористый.

*На благородное служенье...* — Вероятно, Гоголь по памяти цитирует стихотворение Н. М. Языкова «Дерпт» (1825). У Языкова: «И благородное стремленье / На поле славы и наук».

к стр. 175 *В них раздались скучанья среди немецких городов...* — Н. М. Языков с 1838 по 1843 г. лечился за границей, преимущественно в Германии и Австрии.

к стр. 176 *Когда тебе на подвиг все готово...* — Из стихотворения Н. М. Языкова «Поэту» (1831).

к стр. 177 *...князь Вяземский...* — Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик, близкий знакомый А. С. Пушкина и Гоголя.

*...пестрый фараон всего вместе.* — Реминисценция из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «А перед ним воображенье Свой пестрый мечет фараон» (гл. 8, строфа 37). *Фараон* — азартная карточная игра.

*В его книге «Биография Фонвизина»...* — Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского. СПб., 1848. Отрывки из этой книги печатались в газетах, журналах и альманахах. Как явствует из письма Гоголя к князю П. А. Вяземскому от июля — сентября 1842 г., «почти половину всего сочинения» Гоголь прочел тогда в рукописи, присланной автором Н. М. Языкову. Переработанный текст этого письма лег в основу следующей далее характеристики книги князя Вяземского и пожелания, чтобы тот посвятил себя изображению века Екатерины. Примечательно, что с этим же пожеланием Гоголь обратился к нему и позднее, в письме от 1 января 1852 г.

к стр. 178 *Душа прямится, крепнет воля...* — Из стихотворения Н. М. Языкова «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву» (1826).

*Этот поэт — Крылов.* — *Крылов* Иван Андреевич (1769—1844) — баснописец. В записной книжке Гоголя 1845—1846 гг. есть подготовительная запись: «О Крылове. Вот чистые, без всякой примеси русские понятия, золотые зерна ума. Ум безог<оворочный>».

*...тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум.* — В толковании поговорки Гоголь следует И. М. Снегиреву, известному фольклористу и этнографу, который усматривал в ней выражение свойственного русскому народу склада ума: «Что Русский и после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же пословица: *Русский задним умом крепок*» (*Снегирев И.* Русские в своих пословицах: Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. М., 1832. Кн. 2. С. 27). Ср.: «Так в собственно Русских пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения... Коренную их основу составляет многовековой, наследственный опыт, этот *задний ум*, которым *крепок Русский...*» (*Снегирев И.* Русские народные пословицы и притчи. М., 1848. С. XV).

*...как стоглазый Аргус...* — *Аргус* — в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством (сотней) глаз; неусыпный страж. Согласно мифу убит Гермесом, после чего Гера перенесла его глаза на оперение павлина. к стр. 179

*Измайлов* Александр Ефимович (1779—1831) — поэт и прозаик, издатель журнала «Благонамеренный».

*«Это осел Крылова!»* — Речь идет о басне «Осел» (1830).

*...знаменитый спор пушек с парусами...* — Имеется в виду басня «Пушки и паруса» (1827). к стр. 180

*...некоторые из них... замешались в безрассудное дело...* — Подразумеваются участники декабристского движения.

*«Две бритвы»* — Басня И. А. Крылова «Бритвы» (1828).

*«Хор певчих»* — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Музыканты» (1808). В «Мертвых душах» Гоголь воспользовался пословицей, которой заканчивается басня. Учитель Чичикова не любил Крылова за то, что тот сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей».

*...в басне «Стоячий пруд»...* — Басня И. А. Крылова называется «Пруд и река» (1814). Содержание ее отзывается в строках 6-й, «плюшкинской», главы «Мертвых душ»: «Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!» к стр. 181

*...в басне «Сочинитель и разбойник»...* — Мораль этой басни слышится в словах Гоголя из его «Завещания»: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

*Властитель хочет ли народы удержать?..* — Гоголь ошибочно приписывает И. А. Крылову аполог И. И. Дмитриева «Узда и конь» (1826), цитируя его по памяти. У Дмитриева: «Властитель! хочешь ли спокойно обладать?»

*Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый...* — Из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1811). В 1884 г. обнаружен

рукописный журнал учеников Нежинской гимназии высших наук «Метеор литературы» («Часть I. 1826, январь. № 1»), писанный предположительно рукою Гоголя, с эпиграфом из первых восьми стихов этой басни Крылова. См.: *Пономарев С.* Нежинский журнал Н. В. Гоголя // Киевская Старина. 1884. № 5.

к стр. 182 *...у князя Долгорукого...* — Имеется в виду поэт и драматург Иван Михайлович *Долгорукий* (1764—1823).

*...князь Кантемир находил пищу для сатиры...* — *Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт и дипломат, автор девяти сатир («На хулящих учение», «На зависть и гордость дворян злонравных...» и др.), имевших широкое хождение в списках (опубл. 1762).

к стр. 183 *...пародии князя Горчакова...* — Подразумеваются сатирические произведения поэта и драматурга Дмитрия Петровича *Горчакова* (1758—1824), снискавшего репутацию «русского Ювенала».

*...сатиру на литераторов Воейкова — «Дом сумасшедших»...* — Это сатирическое произведение поэта и критика Александра Федоровича *Воейкова* (1778 или 1779—1838) было запрещено цензурой (опубл. 1857) и распространялось в списках. 19 февраля 1832 г. Гоголь присутствовал на обеде, данном петербургским литераторам А. Ф. Смирдиным по случаю переезда его книжного магазина. Здесь А. Ф. Воейков читал отрывки из «Дома сумасшедших», посвященные Н. И. Гречу, Ф. В. Булгарину и Н. А. Полевому (см.: *Дельвиг А. И., барон.* Мои воспоминания. М., 1912. Т. 1. С. 105–106).

*...талантливые пародии Михайла Дмитриева...* — Речь идет о поэте, критике и мемуаристе Михаиле Александровиче *Дмитриеве* (1796—1866), знакомом Гоголя.

к стр. 185 *...comme il faut...* — См. коммент. к с. 127.

к стр. 187 *...Аристофан... дерзнул осмеять Сократа.* — Имеется в виду комедия *Аристофана* (ок. 445 — ок. 385 до Р. Х.) «Облака» (423). *Сократ* (ок. 470—399 до Р. Х.) — греческий философ.

к стр. 188 *...поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться.* — Парафраз слов М. Ю. Лермонтова: «Но я, расставшись с прочими мечтами, / И от него отделался — стихами» («Сказка для детей», опубл. 1842).

к стр. 192 *...один из них, издавший свои записки...* — Имеется в виду французский путешественник и литератор маркиз Астольф де Кюстин (1790—1857), чья книга «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.») вышла в Париже в 1843 г., выдержала несколько переизданий и была переведена на ряд европейских языков. В России книга была запрещена. Первый полный перевод ее на русский язык см.: *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. / Пер. с фр.: под ред. В. Мильчиной. М., 1996.

к стр. 193 *...и вся Россия — один человек.* — Ср. в Книге Судей израилевых: «И вышли *все* сыны Израилевы, и собралось *все* общество, как один человек...» (гл. 20, ст. 1).

к стр. 194 *Поэзия наша... добывала какой-то всемирный язык... чтобы приготовить всех к служенью более значительному.* — В ноябре

1842 г. Гоголь писал К. С. Аксакову, побуждая его приняться за изучение русского языка: «Пред вами громада — русский язык! Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его, в которых, как в великолепном созданьи мира, отразился Предвечный Отец и на котором должна загреметь вселенная хвалой Ему».

*Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм... который исходит от наших церковных песней и канонов...* — Тайна этого лиризма была открыта Гоголю. В его бумагах сохранилась целая тетрадь переписанных им собственноручно зимой 1843/44 г. из служебных Миней церковных песней и канонов — около ста листов. к стр. 195

## XXXII. Светлое Воскресенье

Глава написана специально для книги.

*...как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего.* — Вспоминается притча Спасителя о богаче и нищем Лазаре, переданная св. апостолом и евангелистом Лукой: «Человек же некий бе богат, и облачашеся в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Нищ же бе некто, именем Лазарь, иже лежаще пред враты его гноен» (гл. 16, ст. 19–20). к стр. 200

*...как всепогубляющая саранча...* — Ср.: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы» (Откр. 9, 3). к стр. 201

*Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне?* — В повести Гоголя «Рим» (1842) эта мысль была выражена следующим образом: «...показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство». Основанием для соотнесения художника с «Божиим помазанником» явилось у Гоголя представление об идеальном облике и высшем назначении монарха — о его, подобном искусству художника, призвании быть вдохновляющим людей «образом Того на земле, Который Сам есть любовь». Изъятие же из среды «удерживающего», т. е. охранительных начал, знаменует наступление конца света (см. 2 Фес. 2, 7). В этом и заключается подразумеваемый ответ на вопрос: «Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне». к стр. 201–202

*...уже готова сброситься с Небес нам лестница...* — Образ лестницы, соединяющей землю с небом, — один из любимейших у Гоголя. Он восходит к Библии, а именно к 28-й главе Книги Бытия (ст. 10–17), где описывается видение патриарха Иакова: «И сон виде: и се, лествица утверждена на земли, еяже глава к стр. 202

досязаша до небесе, и ангели Божии восхождаху и низхождаху по ней». Этот фрагмент входит в паримии (избранные места из Священного Писания), читаемые в Церкви на Богородичные праздники, и встречается во многих акафистах — Пресвятой Богородице: «Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо»; святителю Николаю, небесному покровителю Гоголя: «Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси...» Примеры такого словоупотребления мы находим и в выписках Гоголя из церковных песней и канонов служебных Миней. В православной святоотеческой литературе «лествица» — важнейший образ духовного возрастания. Известно, что одной из любимых книг Гоголя была «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской обители. Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал из нее подробные выписки. Дошедший до нас автограф Гоголя, хранящийся ныне в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) и датируемый приблизительно 1843 г., включает в себя выписки из «Лествицы» в том переводе, который был издан в Москве в 1785 г. с названием «Лествица, возводящая на небо». Цитаты и реминисценции из нее встречаются в письмах Гоголя первой половины 1840-х гг. Доктор А. Т. Тарасенков вспоминал, что незадолго до своей кончины Гоголь указал ему «на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 13). По словам того же Тарасенкова, сочинение преподобного Иоанна Синайского нравилось Гоголю «своими строгими правилами», и он «старался достигать высших ступеней, в нем описанных» (Там же. С. 31).

* * *

**О «Современнике»**

Статья была послана 4 декабря (н. ст.) 1846 г. бессменному редактору «Современника» с 1838 г. П. А. Плетневу вместе с письмом к нему, в котором Гоголь сообщал: «Посылаю тебе при сем прилагаемую статью, которую ты прочти внимательно и дай на нее чистосердечный и немедленный ответ...» Статья при жизни Гоголя оставалась ненапечатанной. Впервые, с сокращениями, ее опубликовал П. А. Кулиш в кн.: Соч. и письма *Н. В. Гоголя.* СПб., 1857. Т. 6. Полностью статья напечатана Н. С. Тихонравовым в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. М., 1889. Т. 4.

С самого начала своей литературной карьеры Гоголь начинает печататься в изданиях пушкинского круга. В 1831 г. он публикуется в альманахе «Северные Цветы», в «Литературной Газете»; другу Пушкина Плетневу посвящает свою статью «Борис Годунов. Поэма Пушкина». В 1833 г. Гоголь принимает участие в нереализованных замыслах альманахов «Шехерезада», «Тройчатка» и «Двойчатка» (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 545; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.:

В 16 т. Т. 15. С. 84; *Пономарев С.* Из писем к М. А. Максимовичу // Киевская Старина. 1883. № 4. С. 846). В конце 1834 — начале 1835 г. имя Гоголя появляется в списке лиц, желающих участвовать в издании журнала «Северный Зритель» (см.: *Могилянский А. П.* А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных «Отечественных записок» // Известия АН СССР. Серия истории и философии. М., 1949. Т. 4. № 3. С. 210, 212; *Заборова Р. Б.* Рукописи Н. В. Гоголя. Описание (Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Труды Отдела рукописей). Л., 1952. С. 21). В 1835 г. Гоголь передает свою повесть «Коляска» для задуманного Пушкиным альманаха «Орион». Таким образом, участию Гоголя в 1836—1842 гг. в основанном поэтом журнале «Современник» предшествовало его активное сотрудничество с литераторами и издателями, так или иначе связанными с Пушкиным.

Главным вкладом Гоголя в первый номер пушкинского «Современника» стали, как известно, статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и повесть «Коляска». О повести Пушкин еще в 1835 г. писал Плетневу: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его “Коляску”, в ней альманах далеко может уехать...» (письмо от первой половины октября 1835 г.). Иначе отнесся Пушкин к статье «О движении журнальной литературы…», хотя во многом сам способствовал ее появлению. Замысел статьи стал вызревать у Гоголя с начала 1834 г., когда вышел в свет первый номер журнала «Библиотека для Чтения», издававшегося А. Ф. Смирдиным под редакцией О. И. Сенковского и Н. И. Греча и положившего начало «торговому направлению» в русской журналистике. «Они... сделались писателями уже в наше время... когда литература стала приносить значительный доход», — замечал Гоголь в черновой редакции статьи. В конце февраля 1835 г. в девятом томе «Библиотеки для Чтения» была опубликована отрицательная рецензия О. И. Сенковского на сборник Гоголя «Арабески». Непосредственное отношение к статье Гоголя имеет также запись в дневнике Пушкина от 7 апреля 1834 г.: «Гоголь по моему совету начал историю русской критики». Результатом этого неосуществленного замысла и явилась опубликованная в 1836 г. статья.

Статья задумывалась Гоголем как программная для журнала, написанная от редакции. Однако в качестве редакционной она, как оказалось, не вполне устраивала Пушкина. В третьем томе «Современника» поэт поместил написанное им «Письмо к издателю» (якобы присланное из Твери неким А. Б.), где подверг критике «обвинения» Гоголя «касательно г. Сенковского», сопроводив это «Письмо...» примечанием от своего имени, что статья «О движении журнальной литературы…» «не есть и не могла быть программою “Современника”». По свидетельству М. П. Погодина, сообщенному в 1853 г. Н. С. Тихонравову, Пушкин говорил Погодину «о невозможности напечатать некоторые, очень игривые, выражения в статье “о журнальной литературе”» (*Тихонравов Н. С.*

Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 5. С. 651).

В одной из редакционных заметок к третьему тому Пушкин также писал: «Издатель “Современника” не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова: *литературный журнал* — уже заключают в себе достаточное объяснение… “Современник”, по духу своей критики, по многим именам сотрудников… будет продолжением “Литературной Газеты”».

Сотрудничество Гоголя в первом номере пушкинского «Современника» не ограничилось статьей «О движении журнальной литературы...» и повестью «Коляска». Вместе с ними были опубликованы драматический отрывок «Утро делового человека» и несколько рецензий на новые книги. В особом примечании Гоголь обещал также читателям отрецензировать еще несколько книг из опубликованного в журнале перечня. По поводу этого примечания Пушкин в третьем томе «Современника» в свою очередь замечал, что не намерен выполнять этого обещания, так как «многие» из отмеченных книг «не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел». Об одной из написанных Гоголем для первого тома «Современника» рецензий — на книгу М. П. Погодина «Исторические афоризмы» (М., 1836) — Пушкин писал самому Погодину: «Журнал мой вышел без меня, и вероятно Вы его уж получили. Статья о Ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня — если Вы ею недовольны» (письмо от 14 апреля 1836 г.). В тот же день Пушкин извещал Н. М. Языкова: «Вы получите мой Современник; желаю, чтоб он заслужил Ваше одобрение. Из статей критических моя одна: о Кониском». Очевидно, Пушкин не желал, чтобы гоголевские критические выступления связывались с его именем.

Исследователи как-то пытались ответить на вопрос, почему статья Гоголя и его рецензии на книги вызвали нарекания у Пушкина. Например, Б. В. Томашевский полагал, что Пушкин «считал свой журнал недостаточно окрепшим, чтобы вести полемику» (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. С. 768). Однако более вероятно, что одна из главных причин сдержанного отношения поэта к выступлениям Гоголя кроется в тех непростых взаимоотношениях, которые сложились к тому времени между Пушкиным и министром народного просвещения С. С. Уваровым, провозгласившим в первой половине 1830-х гг. в своей деятельности следование началам Православия, Самодержавия, Народности. Проводимый Уваровым по инициативе Императора Николая I правительственный курс оказался глубоко созвучен современникам. Органичным такой курс явился и для Гоголя и его друзей, чем объясняется их прямое сближение и сотрудничество с Уваровым (*Виноградов И. А.* Гоголь и Уваров. Неизвестная страница биографии писателя // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия.

Первые Гоголевские чтения. М., 2002. С. 189–202). Однако Пушкин, который, судя по всему, и познакомил ранее Гоголя с Уваровым и ходатайствовал за него перед министром, в 1835 г., вследствие возникших цензурных осложнений, вступил с Уваровым в резкий конфликт.

Само выступление Гоголя против «Библиотеки для Чтения», редактируемой О. И. Сенковским и Н. И. Гречем, было вполне в духе Уварова. Дело в том, что «неприятели» Гоголя (и Пушкина) были не в меньшей степени противниками и Уварова. 8 августа 1835 г. А. В. Никитенко записал в дневнике следующие слова Уварова: «Я знаю, что хотят наши либералы, наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и проч. ...Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно» (*Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 174). Однако вследствие разгоревшегося конфликта между Уваровым и Пушкиным последний, очевидно, не желал (подобно Гоголю) поддерживать министра в борьбе с либеральной партией.

Таким образом, хотя статья Гоголя своим возникновением была во многом обязана Пушкину, однако вышла скорее «уваровской», чем «пушкинской». Кстати сказать, многозначительным было и поднесение Гоголем через Уварова Императору в марте 1835 г. — в самый разгар конфликта Пушкина с министром — только что вышедшего сборника «Миргород» (см.: Неизданный Гоголь. С. 426–428). С другой стороны, в то же самое время Гоголь в одной из статей «Арабесок» — «Несколько слов о Пушкине» — выступает на защиту поэта от обвинений в «вольнодумстве», подчеркивая, в соответствии с провозглашенным Уваровым курсом, *народность* поэзии Пушкина.

К 1836 г. Пушкин отчасти переменил свое отношение к Уварову и готов был признать неправоту своих резких выпадов против министра — об этом свидетельствует целый ряд писем Пушкина 1836 г.: к князю Н. Г. Репнину от 11 февраля, к А. Жобару от 24 марта, к князю Н. Б. Голицыну от 10 ноября, к Н. М. Коншину от 21–22 декабря. Тем не менее за границу Гоголь, как известно, уехал, даже не простившись с поэтом. Можно полагать, что относительное равновесие в оценках Гоголем и Пушкиным личности Уварова к 1836 г. было все-таки нарушено. Но первый шаг к размолвке, по-видимому, сделан был не Гоголем. В письме к Жуковскому из Гамбурга от 28 июня (н. ст.) 1836 г. Гоголь замечал: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем, он в этом виноват» (здесь же Гоголь обещал приготовить для пушкинского «Современника» «кое-что... из немецкой жизни» — «будет смешно»; этот замысел осталася не воплощенным). Идейная размолвка пришлась как раз ко времени отъезда Гоголя за границу (6 июня 1836 г.), так что упомянутые многочисленные возражения на гоголевскую статью «О движении журнальной литературы...» (изложенные в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как

иностранной, так и отечественной», в «Письме к издателю» и в двух редакционных примечаниях) Пушкин напечатал уже после отъезда Гоголя из Петербурга: третий том «Современника» вышел в свет в октябре 1836 г. В качестве некоей компенсации Пушкин поместил в третьем томе журнала повесть «Нос» с редакционным примечанием, но при этом так и не опубликовал две готовившиеся Гоголем для «Современника» в 1836 г. статьи: во-первых, статью «Петербург и Москва (Из записок Дорожного)», которая была закончена в конце февраля — начале марта 1836 г. и 10 марта того же года разрешена для печатания в первом номере пушкинского «Современника» (см. коммент. к статье «Петербургские записки 1836 года» в т. 7 наст. изд.); во-вторых, написанную Гоголем для журнала в конце апреля 1836 г. статью «Петербургская сцена в 1835—36 г.», которую, как позволяют судить воспоминания П. В. Анненкова, Пушкин также читал (см.: *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 332; и коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С 608–609). Как и в случае с возражениями на статью Гоголя «О движении журнальной литературы...», связано это было, вероятно, с тем, что Пушкин хотел видеть свой журнал исключительно «литературным» — «продолжением "Литературной Газеты"», — тогда как, к примеру, во второй статье Гоголя — «Петербургская сцена в 1835—36 г.», которая посвящена проблеме *народности* в театре, содержатся строки, прямо перекликающиеся с провозглашенными Уваровым принципами народного образования. «Изобразите нам, — писал здесь Гоголь, — нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых... остается непоколебим в своих положениях, без ропота на безвинное правительство, и исполнен той же русской безграничной любви к Царю своему, для которого бы он и жизнь... готов принесть, как незначащую жертву. Пусть он... не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню, вдохнутую в него еще с давних веков, еще с смиренных предков, воспитанную тысячелетием».

Без сомнения, у Гоголя были свои представления о направлении журнала. По его позднейшему свидетельству в статье «О Современнике» (1846), он предполагал принять в журнале самое деятельное участие — возможно, едва ли не большее, чем сам Пушкин. По словам Гоголя, когда Пушкин, едва получив разрешение на издание, «уже хотел было отказаться», он «умолил его», обещав «быть верным сотрудником». По воспоминаниям графа В. А. Соллогуба, «Пушкин не был рожден журналистом. Журнал его, "Современник", шел плохо» (Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба. (Читано в публичном заседании Общества Любителей Российской Словесности при Императорском Московском университете 28 марта 1865 г.) // Русский Архив. 1865. № 5–6. Стб. 755–756.)

О том, какое значение придавал Гоголь в 1830-х гг. своим выступлениям в качестве журналиста, позволяет, в частности, судить само заглавие статьи «О движении журнальной литературы в 1834

и 1835 году». Оно прямо напоминает название написанной ранее статьи-лекции Гоголя «О движении народов в конце V века». Сходство заглавий служит ключом к постижению соответствий более глубоких. Связаны они с представлением Гоголя о журнальной литературе (и журналисте) как новом «вожде» общества и нации в целом. 9 мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал Плетневу: «Говорит журналист, но ведь за журналистом стоит две тысячи людей, его читателей, которые слушают его ушами и смотрят на вещи его глазами». «Она ворочает вкусами целых толп...» — замечал он о журнальной литературе в черновой редакции статьи. Понятно, что в этом смысле «Движение журнальной литературы...» почти тождественно «Движению народов...». Не случайно журнальные баталии описываются Гоголем в терминах военных кампаний: «Литературный корпус ограничился только слабою перестрелкою небольших, самовольно поднявшихся эскадронов...»; «...никогда, может быть, не было легче делать нападение... неприятель решительно действовал без всякого плана, врассыпную, наездами и набегами...»; «Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника...» С азиатским «набегом» и сравнивается появление в свет «Библиотеки для Чтения»: «Что ж делать? Это набег. Это явление, часто происходящее в природе... Всегда история извиняла счастливых завоевателей...» 20 февраля 1835 г. Гоголь, побуждая М. П. Погодина к более деятельному участию в издании «Московского Наблюдателя», писал: «Признаюсь, я вовсе не верю существованию вашего журнала более одного года. Я сомневаюсь, бывало ли когда-нибудь в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 есть событие вовсе не национальное и что Москва невинна в нем». Продолжает свою мысль Гоголь в письме к другому пайщику «Московского Наблюдателя», С. П. Шевыреву: «Москве предстоит старая ее обязанность спасти нас от нашествия иноплеменных языков» (письмо от 10 марта 1835 г.).

Позднее, наблюдая все большее распространение «торгового направления» в русской литературе, Гоголь писал князю В. Ф. Одоевскому: «Доселе все жила надежда, что снидет Иисус гневный и неумолимый и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи, да свободнее возлетит святая молитва» (письмо от 15 марта (н. ст.) 1838 г.). Взгляд Гоголя на значение журнальной литературы, однако, меняется. 20 сентября (н. ст.) 1843 г. он утешает С. П. Шевырева: «В душевном твоем состоянии... слышна... грусть человека, взглянувшего на современное положение журнальной литературы. На это я тебе скажу вот что: это чувство неприятно, и мне оно вполне знакомо. Но является оно тогда, когда приглядываешься более чем следует к этому кругу. Это зло представляется тогда огромным и как будто обнимающим всю область литературы... Вблизи, когда побудешь с ними, мало ли чего не вообразится? покажется даже, что это влияние страшно для будущего, для юности, для воспитания (именно об этом писал Гоголь в 1836 г.

в черновой редакции статьи, посвященной журнальной литературе. — *И. В., В. В.*); а как взглянешь с места повыше — увидишь, что все это на минуту, все под влиянием моды... сегодня гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь *исты*... Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины, если они увлекутся общим движеньем, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся... Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары». «...Стремиться быть выше журнальной верхушки своего века, — повторял он в письме к П. В. Анненкову 20 сентября (н. ст.) 1847 г., — есть непременный долг всякого умного человека, если только он одарен какими-нибудь действующими способностями».

Тем не менее мысль о журнале как настоящем «вожде» нации долгое время не оставляла Гоголя. Сотрудничество в 1836—1837 гг. в «Современнике» писатель решил продолжить еще в начале 1840-х. В 1842 г. он намеревался поместить в журнале статью «около семи печатных листов», по словам его письма к Плетневу от 6 февраля. Спустя месяц, 17 марта, он писал Плетневу: «Я силился написать для "Современника" статью во многих отношениях современную, мучил себя, терзал всякий день и не мог ничего написать, кроме трех беспутных страниц, которые тот же час истребил. Но как бы то ни было, вы не скажете, что я не сдержал своего слова. Посылаю вам повесть мою: "Портрет" (речь идет о второй редакции повести. — *И. В., В. В.*)... Вы, может быть, даже увидите, что она более, чем какая другая, соответствует скромному и чистому направленью вашего журнала. Да, ваш журнал не должен заниматься тем, чем занимается торопящийся современный свет. Его цель другая. Это благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина».

В «Портрете» Гоголь продолжил борьбу с европейским «торговым направлением» в литературе и искусстве. В повести содержится, в частности, прямая реминисценция со строками статьи «О движении журнальной литературы…». Как в статье, так и в повести Гоголь полемизирует со своим другом критиком С. П. Шевыревым о том, на какую опасность «торгового направления» прежде всего следует обращать внимание. По мнению Гоголя, Шевырев «обратил внимание не на главный предмет… Он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара… Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою». Изображая в «Портрете» постепенное ниспадение к доходному ремеслу художника Чарткова, Гоголь также подчеркивает большую важность указать на развращающее влияние в обществе низкопробных произведений корыстолюбивых художников-«ремесленников», чем просто на низменные мотивы их деятельности, которые беззастенчиво провозглашала — как бы возражая Шевыреву — петербургская «ходячая газета»: «Виват, Андрей Петрович… Прославляйте себя и нас… Всеобщее

стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

Позднее в седьмом номере «Современника» за 1846 г. была опубликована статья Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским», напечатанная затем в «Выбранных местах из переписки с друзьями». По словам Гоголя в статье «О лиризме наших поэтов», в 1845 г. он собирался также послать Плетневу в «Современник» свои «сказания о русских поэтах», ставшие впоследствии одной из заключительных глав «Переписки с друзьями».

Таким образом, не случайно, выслав 16 октября (н. ст.) 1846 г. Плетневу пятую, окончательную, тетрадь «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь вновь возвратился к мысли о «Современнике», неопределенная программа которого его давно не удовлетворяла. 28 декабря (н. ст.) 1844 г. он, например, писал А. О. Смирновой о Плетневе, повторяя выражения письма 1842 г.: «Ему вообразилось, что он, по смерти Пушкина, должен защищать его могилу изданьем "Современника", к которому сам Пушкин и при жизни своей не питал большой привязанности... Журнал определенной цели не имел никакой даже и при нем, а теперь и подавно». (А. О. Смирнова в свою очередь полагала, что в «Современнике» была тогда «страшная пустота»: «Иногда явятся, бывало, стихи Лермонтова, и печатался "Портрет" Гоголя»; *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 229.)

Однако предназначенная в качестве «программы или вступления» для обновленного «Современника» статья Гоголя запоздала, ибо уже в октябре 1846 г. Плетнев, не в силах более содержать журнал, был вынужден передать право на его издание А. В. Никитенко (который стал новым редактором), а также Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву (последние были заявлены в программе журнала как издатели, — в списке сотрудников первым был назван В. Г. Белинский). Это событие стало полной неожиданностью для Гоголя и его друзей (подробнее см. в сопроводит. статье к наст. тому). Так, вместо обновленного, в согласии со взглядами Гоголя, «Современника» в одном из первых номеров журнала, вышедшем в 1847 г. под новой редакцией, явилась неприязненная статья Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.

Оценка Гоголем «Современника», попавшего в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, дошла до нас в дневниковой записи Е. А. Хитрово от 30 ноября 1850 г.: «О "Современнике": "При Плетневе он был тоньше". На вопрос княгини <Е. П. Репниной>, лучше ли теперь "Современник"? Г<оголь>: "Хорошо этими книгами запасаться вместо оружия. Убить можно!" Княгиня: "Кого, скуку?" На это эха не было, а молчание» (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 545). Позднее, в 1851 г., Гоголь, по воспоминаниям Г. П. Данилевского, говорил о прежнем редакторе «Современника»: «Слушайте Плетнева... Нынешние не ценят его и не любят... а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 446).

В статье «О “Современнике” Гоголь продолжает размышления о судьбах отечественной литературы, высказанные в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». В целом Гоголь дает здесь невысокую оценку современной литературе. Произведения большинства авторов рассматриваются лишь как подготовительные материалы (исповедального и бытового характера) к позднейшему ее расцвету, когда наконец явится в ней «великий, владеющий чародейством вымысла» поэт.

Оценкам творчества писателей, произведениями которых, как полагал Гоголь, «может украситься» прозаическая часть обновленного «Современника», предшествует ряд отзывов о них в гоголевских письмах. Наибольшие надежды Гоголь возлагал на В. А. Соллогуба. 3 января (н. ст.) 1846 г. он писал ему: «Я прочел ваш “Тарантас” еще с большим удовольствием в печати, чем прежде в рукописи. У вас все зреет вместе: и ум, и слог, и наблюдательность, и мысли. Вам нужно только не останавливаться и писать». О другой повести В. А. Соллогуба Гоголь отозвался в письме к А. М. Виельгорской от 14 мая (н. ст.) 1846 г.: «“Воспитанница” весьма замечательна. Соллогуб идет вперед».

Особый интерес представляет письмо Гоголя к Н. М. Языкову от 24 июня (н. ст.) 1846 г., где помимо оценки повести В. А. Соллогуба появляются характеристики романов П. А. Кулиша и повестей В. И. Даля, что позволяет рассматривать это письмо как своеобразный набросок статьи «О “Современнике”». «Наше поле литературное, — пишет здесь Гоголь, — слава Богу, не бедно и мне кажется вообще утешительным. Много очень замечательного. Я прочел “Тарантас” Соллогуба, который гораздо лучше его самого. Произведение очень удачное, таланта, ума и остроты много. Оно ровно, выдержанно и даже в своем роде полно. Язык правилен, и слог очень хорош. Но еще больше меня остановили произведения Кулиша. Судя по отрывкам из двух романов, которые я прочел, в нем все признаки таланта большой руки, я бы очень хотел иметь сведения о нем самом, об авторе, тем более что о нем почти не говорят. Если Бог сохранит его, то ему предстоит важное место в нашей литературе. Повести Даля, особенно те, где купеческий, крестьянский и всякий хозяйственный домашний быт внутри нашего государства, по-моему, очень значительны, и мне кажется, что своей внутренней значительностью и полезностью они пополняют или выкупают отсутствие творчества в авторе».

Дальнейшая гоголевская характеристика в статье повестей неназванных «молодых писателей», показавших «особенное стремленье к наблюденью жизни действительной», но которым необходимо еще, по словам Гоголя, продолжить формирование прежде «человека, чем писателя» («христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт»), перекликается опять-таки с содержанием уже упомянутого его письма к А. М. Виельгорской от 14 мая (н. ст.) 1846 г., где есть еще и отзыв о «Бедных людях»

Ф. М. Достоевского: «В писателе все соединено с совершенствованием его таланта и обратно... “Бедные люди” я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя... В авторе “Бедных людей” виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато». (Ср. письмо П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому от 5 февраля 1846 г.: «Верно вам пришлет Соллогуб Петербургский Сборник. Там есть Достоевского роман: Бедные люди. От него наши Некрасовцы (печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова) без ума, и говорят, что теперь смерть и Гоголю и всем. Но я пока не думаю этого» (*Плетнев П. А.* Соч. и переписка. Т. 3. С. 569). А. О. Смирнова также вспоминала: «В 48-м году печатался роман Достоевского “Макар Девушкин” <«Бедные люди» впервые были напечатаны в «Петербургском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (1846); отд. изд. — 1847>, который огорчил покойника <Гоголя>. “А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство безотрадной грусти”» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 69).

Следует также отметить, что в статье «О “Современнике” появляются уже у Гоголя те исповедальные мотивы («...в... ранних помышлениях моих... никогда не представлялось мне поприще писателя»), которые были развернуты им впоследствии в «Авторской исповеди» и в письме-статье «Искусство есть примирение с жизнью».

к стр. 205

*Не певцу «Миниха»...* — В элегии «Миних» П. А. Плетнев воспел жизнь опального вельможи в пелымской ссылке: «И жизнь великого одною ли войной / Признательным потомкам драгоценна?» (Сын Отечества. 1821. № 26. С. 272–276; Труды Высочайше утвержденного Вольного общества российской словесности. 1821. Ч. 14. С. 53–57).

*Он хотел сделать четвертное обозренье вроде английских...* — 31 декабря 1835 г. А. С. Пушкин, ходатайствуя о разрешении на издание «Современника», писал А. Х. Бенкендорфу: «Я желал бы в следующем 1836 году издать четыре тома статей чисто литературных... наподобие английских трехмесячных Rewiews» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 10. С. 247).

к стр. 206

*Это энциклопедическое образование публики... уже не так теперь потребно... Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным...*— Еще в 1834 г. Гоголь писал: «Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном какомнибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки» («Об архитектуре нынешнего времени»).

к стр. 207 *...«Северные Цветы» барона Дельвига...* — См. коммент. к с. 172.

*...к 1 октября...* — к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

*Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — прозаик.

к стр. 208 *...который скрыл свое имя под выдуманным: козак Луганский.* — Псевдоним Владимира Ивановича Даля (1801—1872), писателя и лексикографа.

*...Н. Павлов... первыми тремя повестями... получил... право на почетное место... и... не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих)... модных нувеллистов...* — Шесть повестей Николая Филипповича *Павлова* (1803—1864) составили два сборника: «Три повести» (М., 1835; сюда вошли: «Именины», «Аукцион», «Ятаган») и «Новые повести» (СПб., 1839; «Маскарад», «Демон», «Миллион»). По воспоминаниям С. Т. Аксакова, сразу по выходе второго сборника осенью 1839 г. Гоголь защищал Н. Ф. Павлова от нападок (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. С. 109–111).

к стр. 209 *Кулиш* Пантелеймон Александрович (1819—1897) — прозаик, историк, писал на русском и украинском языках; биограф Гоголя.

*Корнилович* Александр Осипович (1795—1833) — писатель, историк, декабрист.

*Роман... его...* — роман П. А. Кулиша «Михайло Чарнышенхо, или Малороссия восемьдесят лет назад» (Киев. Ч. 1–3. 1843); отрывки из него были опубликованы в «Москвитянине» (1843. № 9). Отрывки из другого романа П. А. Кулиша, «Черная рада», печатались в «Современнике» (1845. № 3–4; 1846. № 1–3). См. коммент. к статье.

*Мне сказывали, что... несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни действительной.* — 21 апреля н. ст. 1846 г. Гоголь писал Н. М. Языкову: «Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей... В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно. Поэтому для меня имеют много цены даже и те повествователи, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного».

*...писателе, выступившем на литературное поприще драмою «Смерть Ляпунова».* — Имеется в виду Степан Александрович Гедеонов (1818—1878), сын директора Императорских театров А. М. Гедеонова, унаследовавший впоследствии эту должность. В конце 1845 г. драма С. А. Гедеонова была поставлена на Александринском театре; в 1846 г. вышло ее отдельное издание. Осенью 1848 г. Гоголь навестил С. А. Гедеонова в Петербурге.

*...чтобы ты отыскал Прокоповича...* — Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857), один из ближайших друзей Гоголя со школьной скамьи. Обидевшись, по-видимому, на упреки Гоголя в нерасторопности в издании и распространении собрания его

сочинений, Н. Я. Прокопович с осени 1843 г. прекратил с ним переписку и откликнулся лишь весной 1847-го. С давних пор Гоголь прямо и исподволь стремился приобщить Н. Я. Прокоповича (посвятившего себя педагогической деятельности) к литературному творчеству, в чем полагал настоящее его призвание. Стремясь «дать ход» способностям своего друга, он, в частности, писал ему 25 января (н. ст.) 1837 г.: «Желаю одного: чтобы ты наконец принялся за дело. Тебе нужно испытать горькое и приятное нашего ремесла... пиши повести, все, что угодно, но только пиши непременно... У тебя есть язык, но еще не разболтался. Год или два употреби непременно, чтобы расписаться, и тогда... нечего говорить, ты и сам узнаешь и постигнешь тогда свое назначение и решишь, за что и как нужно взяться». Об этом же (повторяя отчасти содержание статьи «О “Современнике”») Гоголь напоминает и в письме к Н. Я. Прокоповичу от 20 июня 1847 г.

*...по тем стихотворным сказкам и повестям, которые... помещены... в «Современнике».* — Имеются в виду сказки В. А. Жуковского, опубликованные в «Современнике»: «Сказка об Иване-царевиче и сером волке» (1845. Т. 39), «Выбор Креста. Из Шамиссо» (1846. Т. 41), «Тюльпанное дерево» (1846. Т. 46), «Кот в сапогах» (1846. Т. 44). к стр. 212

*Еще... здравствуют... Языков...* — Н. М. Языков умер 26 декабря (7 января н. ст.) 1846 г., спустя месяц после отправления Гоголем настоящей статьи. «Я лишился наилучшего моего друга, — писал Гоголь матери 25 января (н. ст.) 1847 г., — с которым я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к которому я питал истинно родственную любовь, потому что питать истинно родственную любовь я могу только к тем, которые понимают мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни своей».

**<Авторская исповедь>**

Впервые напечатано в кн.: Сочинения *Н. В. Гоголя*, найденные после его смерти. М., 1855. Название дано С. П. Шевыревым. Написано летом 1847 г. В данном произведении Гоголь намеревался дать ответ на критику «Выбранных мест из переписки с друзьями». Этот своеобразный автокомментарий он собирался выпустить в свет небольшой брошюрой одновременно с новым изданием книги в полном и исправленном виде. С. Т. Аксаков, прочитавший «Авторскую исповедь» по писарской копии, писал С. П. Шевыреву 19 ноября 1852 г.: «Она непосредственно относится ко мне. По крайней мере я нашел в ней полный ответ на каждое слово моих укорительных писем» (*Аксаков С. Т.* Сочинения. Т. 3. М., 1895. С. 434). Гоголь, конечно, имел в виду не только С. Т. Аксакова, но и других своих оппонентов, например В. Г. Белинского.

*...великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.* — Гоголь обращается к словам св. апостола к стр. 216

Павла из Послания к Римлянам (гл. 3, ст. 4). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов сделал помету: «Человек Ложь, Бог истинен». Апостол Павел, в свою очередь, имеет цитирует слова Псалмопевца и пророка Давида: “Аз рех во изступлении моем: всяк человек ложь”» (см. Пс. 115, 2).

*...сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет...* — Подразумеваются «Мертвые души».

к стр. 217 *...непомещение многих... статей...* — Речь идет о цензурных изъятиях.

к стр. 218 *...на суд пред Того, пред Которым ни один человек не бывает прав.* — Реминисценция 142-го псалма св. пророка Давида: «Господи... не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый» (ст. 1–2).

*...по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики...* — Подразумевается в первую очередь В. Г. Белинский. 20 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал о нем Н. Я. Прокоповичу: «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним».

к стр. 219 *...провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно.* — Имеется в виду отзыв Н. Ф. Павлова, сопроводившего свое первое «письмо» к Гоголю по поводу «Выбранных мест...» следующим эпиграфом: «Эта книга содержит в себе много истинного и много нового; но, к сожалению, истинное в ней не ново, а новое не истинно. Лихтенберг» (пер. с нем.) (*Павлов Н. Ф.* Сочинения. М., 1985. С. 254). 25 мая 1847 г. в письме к С. П. Шевыреву Гоголь отмечал, что Павлов в своей статье «сознается сам невинно, что эта книга (в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) сбила, однако же, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) *нормального.* Хорошо же было это нормальное положение!»

к стр. 226 *Анахорет* (*греч.*) — отшельник.

к стр. 227 *«Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный».* — См. Евангелие от Матфея (гл. 5, ст. 48).

к стр. 228 *Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою.* — Ср. в письме Гоголя к С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 г.: «Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных...»

к стр. 229 *Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям...* — Речь идет о предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» (1846), в котором Гоголь обратился к читателям всех сословий с просьбой присылать ему замечания на книгу. См. также коммент. к «Четырем письмам к разным лицам по поводу “Мертвых душ”».

к стр. 231 *...в журналах мне отвечали насмешками...* — В. Г. Белинский в рецензии на второе издание «Мертвых душ» иронизировал по поводу

гоголевского предисловия: «Итак, мы не можем теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою “Мертвых душ” на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 512).

*Под небом Африки моей...* — Из главы первой «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. к стр. 232

*...я сел уже на корабль...* — Имеется в виду первое путешествие Гоголя за границу, которое он совершил в конце июля 1829 г., тотчас после неудачи с поэмой «Ганц Кюхельгартен».

*Три дни только я пробыл в чужих краях...* — На самом деле Гоголь провел за границей около двух месяцев и вернулся в Петербург 22 сентября 1829 г. к стр. 233

*...некоторые огорченья и... потребность большего уединенья... заставили меня оставить Россию.* — Второй раз Гоголь уехал за границу в начале июня 1836 г., после постановки на сцене и появления в печати «Ревизора». Вскоре после премьеры он замечал в «Театральном разъезде после представления новой комедии»: «Я удалюсь: пустыня мне нужна...» «И нынешнее мое удаление из отечества, — писал Гоголь В. А. Жуковскому 28 июня (н. ст.) 1836 г., — оно послано свыше, тем же великим Провидением, ниспославшим все на воспитание мое».

*Два раза я возвращался потом в Россию...* — В сентябре 1839 г. и октябре 1841 г.

*...как я уничтожал «Мертвые души»...* — Речь идет о первом сожжении второго тома. к стр. 236

*Известная французская писательница...* — Подразумевается Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804—1876). По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь не любил писательницы.«У этой женщины нет искры правды, даже нет чутья истины, — говорил он. — Она может только нравиться французам» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 69). к стр. 239

*...который дал себе названье Луганского козака...* — См. коммент. к с. 208. к стр. 240

*...я об этом сказал в печатной книге.* — В предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями». к стр. 245

*...помня слова: просящему дай.* — Из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42).

**Искусство есть примирение с жизнью**

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1888. № 11.

Статья представляет собой письмо к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. из Неаполя. В приписке к нему Гоголь замечал: «Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании “Переписки” поставить впереди книги на место «Завещания», имеющего выброситься,

а заглавье дать ему: “*Искусство есть примирение с жизнью*”». Жуковский ответил Гоголю большим письмом, которое было опубликовано в «Москвитянине» (1848. № 4) под заглавием «О поэте и современном его значении» (в собраниях сочинений В. А. Жуковского печатается под названием «Слова поэта — дела поэта»).

По содержанию «Искусство есть примирение с жизнью» являет собой сокращенный вариант «Авторской исповеди». В конце жизни Гоголь намеревался поместить письмо в пятом томе готовившегося им собрания сочинений среди статей из «Выбранных мест...» и «Арабесок» (см. в наст. изд. «Оглавление <V тома собрания сочинений>»).

к стр. 250 *Шепелевский дворец* — одно из дворцовых зданий в Петербурге, где жил В. А. Жуковский.

*...значенье и цель искусства... оно должно быть свято...* — Ср. характерные строки Гоголя в письме к князю В. Ф. Одоевскому из Рима от 15 марта (н. ст.) 1838 г.: «...мое сердце все еще болит доныне, когда занесется сюда газетный листок, и напрасно силюсь отыскать в нем знакомое душе имя... все рынок, да рынок, презренный холод торговли да ничтожества! Доселе все жила надежда, что снидет Иисус, гневный и неумолимый, и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи, да свободнее возлетит святая молитва. Теперь...» (фраза не закончена).

*Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения.* — В сборнике выписок Гоголя из Свв. Отцов и Учителей Церкви проблеме свободы воли прямо посвящены два отрывка: «Благодеяния Божии (Филарета, митрополита Московского)» и «О свободном произволении (св. Иеремии, Патриарха Константинопольского)».

к стр. 253 *...говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью»... не подымается в сердце... негодованья противу брата...* — Содержание этого отрывка восходит к «Театральному разъезду...» (1842), где Гоголь писал, в частности, о значении «чистого смеха», что он призван укрощать мятежные движения скорбящей души, порывы человека к самоубийству или гневу против ближнего, являя тем самым одну из сторон того очистительного и утешительного воздействия искусства на человека, когда «вдруг» брызнут «свежительные слезы из его очей» и выходит он «примиренный с жизнью». См. также коммент. к статье *XXX. Напутствие* «Выбранных мест из переписки с друзьями». Мыслью о недопустимости самоубийственной ненависти проникнуты и обращенные к революционерам слова Гоголя из чернового наброска неотправленного письма к В. Г. Белинскому 1847 г.: «Что спьяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть?» (записная книжка 1846—1850 гг.). Можно предположить, что само название настоящей статьи — «Искусство есть примирение с жизнью» — связано с теми произведениями критика, которые тот написал в так называемый

«примирительный» период своей деятельности. Так, в своем неотправленном письме к Белинскому Гоголь замечал: «Позвольте мне напомнить прежние ваши работы и сочинения... Литератор... должен служить искусству, которое вносит в души... высшее примиренье, а не вражду...»

*Рейтерны* — семья художника Евграфа (Гергардта) Романовича *Рейтерна* (1794—1865), тестя В. А. Жуковского. к стр. 254

**<Письмо по поводу «Мертвых душ»>**

Впервые напечатано в кн.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 9. Б. м., 1952.

Наброски представляют собой, возможно, первоначальный вариант нового, дополнительного письма к «Четырем письмам к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», опубликованным в «Выбранных местах из переписки с друзьями». См. коммент. к с. 260. Датируются второй половиной октября 1848 г. Два места из отрывков Гоголь повторил в письме к графине А. М. Виельгорской от 29 октября 1848 г. из Москвы, говоря о втором томе «Мертвых душ»: «Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: “Он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство”. Хотелось бы также заговорить о том, о чем еще со дня младенчества любила задумываться моя душа, о чем неясные звуки и намеки были уже рассеяны в самых первоначальных моих сочиненьях. Их не всякий заметил...»

*Прими совет мой, приятель истории. Тебе будут предстоять на всяком шагу новые открытия.* — 1 января 1852 г. Гоголь писал князю П. А. Вяземскому: «Один только и есть язык, на котором можно говорить теперь писателю с читателем, — это история, не рассуждающая, но выставляющая как в зеркале все события, заключающие оправдания Божия». Оправдание (*церк.-слав.*) — повеление, заповедь, закон. к стр. 257

**<Заметка о «значении прирожденных страстей» на полях заключительной главы первого тома «Мертвых душ». М., 1842>**

Впервые напечатано: *Матвеев П.* Гоголь в Оптиной Пустыни // Русская Старина. 1903. № 2. С. 303. Текст печатается по первой публикации.

Написано Гоголем 1850–1851 гг., после ознакомления в Оптиной Пустыни с рукописной книгой св. Исаака Сирина, на полях заключительной главы первого тома «Мертвых душ»: «Но есть страсти, которых избранье не от человека» (см. коммент. к этим строкам в т. 5 наст. изд.). Запись сделана Гоголем собственноручно карандашом на экземпляре «Мертвых душ» (первого издания), принадлежавшем графу А. П. Толстому.

П. А. Матвеев писал: «Вопрос “об *оздоровлении народных корней*”, как принято теперь выражаться, много занимал Гоголя в последние годы его жизни. “Горе писателям, которые станут своими легкомысленными писаниями извращать и развращать душу народа — лучше бы им с мельничным жерновом на шее броситься в воду”, — говорил он. В Оптиной Пустыни Гоголь прилежно читал книгу Исаака Сирина — не знаю, в рукописи или в печатном издании — и она произвела на него большое впечатление. Я видел у о<тца> Климента <Зедергольма> первый том “Мертвых душ” (I-го издания). Экземпляр этот принадлежал гр<афу> Толстому — с заметками Гоголя карандашом, на полях XI-й главы. Заметки эти любопытны, и я приведу их здесь. В XI-й главе I-й части, посвященной характеристике Чичикова, Гоголь, говоря о *прирожденных человеку страстях,* придавал им высокое значение. В сделанной Гоголем карандашом на полях заметке было написано: «Это я писал в “*прелести*”...» (далее по тексту заметки).

к стр. 258 *...глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных.* — Это выражение св. апостола Павла (Еф. 4, 29.) Ср. в статье Гоголя «О том, что такое слово»: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово...»

**<Предисловие к V тому Собрания сочинений>**

Впервые напечатано Н. П. Трушковским в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* Т. 1. СПб., 1855.

Настоящее предисловие, как и помещаемое ниже «Оглавление <V тома собрания сочинений>», связано с неосуществившимся намерением Гоголя прибавить в 1851—1852 гг. к переиздававшимся тогда четырем томам собрания его сочинений 1842 г. два новых тома — пятый, куда он предполагал включить некоторые статьи из «Выбранных мест из переписки с друзьями» и «Арабесок» (написав также несколько новых), и шестой — «Юношеские опыты» — для «всех прочих» произведений. Г. П. Данилевский, посетивший вместе с О. М. Бодянским Гоголя осенью 1851 г., вспоминал, что Гоголь сказал им тогда, что он «затеял новое, полное издание своих сочинений». «Скоро ли оно выйдет?» — «В трех типографиях начал печатать, — ответил Гоголь, — будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части “Мертвых душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием “Юношеские опыты”. Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из “Арабесок” и прочее». — «А “Переписка”?» — спросил Бодянский. — «Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти». «Слово “смерть” Гоголь произнес совершенно

спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 439).

Несмотря на ряд неточностей (включение обеих частей «Мертвых душ» в четырехтомник, печатавшийся на самом деле в прежнем составе; обратная, сравнительно с текстом гоголевского предисловия к V тому, последовательность томов «Переписки» и «Юношеских опытов»), воспоминания Г. П. Данилевского ценны тем, что подтверждают намерение Гоголя издать «Выбранные места из переписки с друзьями» в обновленном виде, в составе нового собрания сочинений вместе с томом «Юношеских опытов». И. С. Аксаков 4 января 1852 г. сообщал И. С. Тургеневу: «Гоголь постоянно и много работает и печатает второе издание своих сочинений с прибавкою 5-го, *нового* тома» (*Майков Л.* Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. М., 1894. С. 15).

Статьи из «Арабесок» (1835) Гоголь предполагал включить в пятый том, стремясь, вероятно, с одной стороны, подчеркнуть преемственность и единство своего творческого пути, с другой — желая представить во всей полноте свои «теоретические понятия» о литературе, искусстве и о том, «что должно двигать литературу нашу». Одним из мотивов было, видимо, и желание опровергнуть несправедливое суждение В. Г. Белинского о его ранних статьях.

В то же время следует заметить, что предисловие и оглавление V тома еще раз свидетельствуют об отказе Гоголя от сборника «Арабески» как единого целого. Состав «Арабесок» был нарушен Гоголем еще в 1842 г., когда он извлек оттуда повести «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет», поместив их в третьем томе своих «Сочинений» (последнюю повесть в переделанном виде). На этот раз Гоголь избирает из состава «Арабесок» ряд «ученых статей». В настоящем издании эти статьи помещаются вслед за «Оглавлением». Прочие статьи и художественные произведения «Арабесок» включены в том «Юношеских опытов».

Осуществить издание дополнительных томов Гоголю не довелось; он успел просмотреть лишь часть корректуры четырех томов прежнего состава.

**Оглавление <V тома собрания сочинений>**

Впервые напечатано В. И. Шенроком в кн.: Письма *Н. В. Гоголя.* Т. 3. СПб., <1901>. «Оглавление» представляет собой проект пятого, дополнительного тома к собранию сочинений Гоголя, изданных в 1842 г. Н. Я. Прокоповичем и готовившихся к переизданию в 1851—1852 гг. См. коммент. к <Предисловию к V тому собрания сочинений>.

Согласно оглавлению, этот том должны были составить несколько статей из «Выбранных мест из переписки с друзьями»; пять статей из «Арабесок» («Жизнь», «Мысли о географии»,

«О преподавании всеобщей истории», «Скульптура, живопись и музыка», «Брюллов»); статья «Искусство есть примирение с жизнью» и несколько не дошедших до нас (и, вероятно, так и не написанных) новых статей: «География России», «Древняя Россия», «Что такое долг», «Женщина в семье».

Из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» в пятый том не вошли статьи, запрещенные цензурой, а также «Предисловие», «Завещание» и несколько писем, незначительных по объему (исключение в этом отношении составляет статья «Русской помещик» — одна из крупных; впрочем, более чем на треть сокращенная цензурой).

Композиция пятого тома хорошо просматривается. Вначале следуют статьи по истории и географии (№ 1–4); затем — статьи, посвященные проблемам литературы и искусства (№ 5–13); далее помещены три статьи о Церкви (№ 14–16); и завершает список ряд статей по вопросам духовного возрождения России (названия этих статей написаны на следующей странице автографа без указания порядковых номеров; из них статья «Предметы для лирического поэта» первоначально предполагалась в числе статей по литературе и искусству).

к стр. 260 *География России.* — О замысле этой статьи (или даже книги) Гоголь сообщал в неотправленном официальном письме к графу Л. А. Перовскому (или князю П. А. Ширинскому-Шихматову, или графу А. Ф. Орлову) от июля 1850 г.: «Если бы доставлена была мне возможность в продолжении трех лет сделать три летние поездки во внутренность России... я бы мог окончить тогда ту необходимую и нужную у нас книгу, мысль о которой меня занимает с давних времен и за которую... многие отцы семейств скажут мне спасибо. [Всем нам уже известно, сколько бедствий и беспорядков в Русской земле произошло от собственного нашего неведения земли своей...] Нам нужно живое, а не мертвое изображенье России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев, но когда все его способности свежее; чем когда-либо потом, а воображенье чутко и удерживает навеки все, что ни поражает его. Такую книгу (мне всегда казалось) мог составить только такой писатель, который умеет... всякую *местность* со всеми ее красками поставлять так ярко и выставить так живо, чтобы она навсегда осталась в глазах, который, наконец, имел бы способность сосредоточивать сочиненье в одно слитное целое так, чтобы вся земля от края до края со всей особенностью своих местностей, свойствами кряжей и грунтов врезалась бы как живая в память даже несовершеннолетнего отрока и было бы ему очевидно даже во младенчестве, какому углу России что именно свойственно и прилично, и не пришло бы ему потом в голову, придя в зрелый

возраст, заводить несвойственные ей фабрики и мануфактуры, доверяя иностранным промышленникам, заботящимся о временной собственной выгоде».

*О театре.* — В записной книжке Гоголя 1842—1850 гг. сохранилась заметка «О театре», написанная, вероятно, в 1850 г. и представляющая собой, по-видимому, набросок задуманной им для V тома переделки статьи XIV «Выбранных мест из переписки с друзьями» — *О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности* (см. коммент. к с. 57).

*Брюллов* — статья «Последний день Помпеи (О картине Брюллова)». См. коммент. к статье.

*[Четыре] Письма по поводу «Мертвых душ».* — Поскольку в названии статьи зачеркнуто слово «четыре», можно предположить, что к «Четырем письмам к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» (опубликованным в «Выбранных местах из переписки с друзьями») Гоголь намеревался прибавить еще одно. См. в наст. изд. вероятный набросок этого замысла: <Письмо по поводу «Мертвых душ»>.

*Древняя Россия.* — Возможно, замысел этой статьи связан с письмом Гоголя к графине А. М. Виельгорской от 30 марта 1849 г., где он развивает высказанную им ранее в статье «Светлое Воскресенье» мысль, что «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа...» Речь в письме идет о «Домострое» — памятнике русской письменности XVI в., изданном в 1849 г. Познакомившись с этим изданием в переплете «Временника Московского общества истории и древностей российских», Гоголь писал графине А. М. Виельгорской: «Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово Евангельское... Слышна возможность основанья гражданского на чистейших законах христианских. В последнее время стали отыскиваться беспрестанно из пыли и хлама старины документы и рукописи вроде Сильвестрова “Домостроя”, где, как по развалинам Помпеи древний мир, обнаруживается с подробнейшей подробностью вся древняя жизнь России. Является уже не политическое устройство России, но частный семейный быт и в нем жизнь, освещенная тем светом, которым она должна освещаться». «Словом, — продолжает Гоголь свои размышления о «Домострое», — видим соединенье Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии, то есть заботиться только о самом немногом из хозяйства земного, чтобы чрез это прийти в возможность вместе с Марией заниматься хозяйством небесным».

Следует заметить, что взгляд Гоголя на «древнюю Россию» далек от ее идеализации. Чтобы разобраться в своеобразии гоголевской оценки «Домостроя», необходимо увидеть ее во всей совокупности размышлений писателя. В таком освещении об определенной

трезвости гоголевского взгляда говорит, в частности, уже та фраза письма, которая появляется при первом упоминании о «Домострое» — о том, что «древняя жизнь России» обнаруживается в нем как древний мир *«по развалинам Помпеи»*. В «Тарасе Бульбе», например, с теми, «которые жили у подошвы Везувия», сравнивал Гоголь участь «корыстолюбивых торгашей» на Сече (и это не единственный пример такого употребления Гоголем образа Помпеи). Другое гоголевское сравнение «Домостроя» в этом письме — с хозяйственной Марфой (см. коммент. к с. 73) — также свидетельствует о сдержанности его оценки. Ибо то же сравнение применил он, например, ранее в статье «Просвещение» к Западной Церкви (не в похвалу ей).

В итоге обнаруживается скрытый подтекст письма. Он связан со стремлением Гоголя отмежеваться в своей любви к России от «квасных патриотов», после безрассудных похвал которых, «впрочем довольно чистосердечных», как писал он в статье «О лиризме наших поэтов», «только плюнешь на Россию». Похвала самого Гоголя «Домострою» оказывается, таким образом, связана у него с подспудной критикой его как явления не вполне русского и не строго православного. Кстати сказать, И. С. Аксаков в письме к отцу от 15 января 1850 г. — после встречи в Москве с Гоголем — прямо приравнивал «Домострой» к явлениям «немецкого духа» (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 2. С. 268, 270, 296–297). Примерно так же в 1852 г. характеризовал «общежительную» часть «Домостроя» А. С. Хомяков, высоко оценивший, однако, его «просветительное начало» и вытекающие отсюда добродетели «личные» (Полн. собр. соч. *А. С. Хомякова*. М., 1861. Т. 1. С. 243–244). Приведем и оценку современного богослова. Протоиерей Георгий Флоровский утверждает, что в начинаниях Сильвестра «ясно чувствуется влияние Запада (именно немецкое влияние)» (*Флоровский Г.* Пути русского богословия. С. 24).

В таком случае почему же Гоголь, сознавая предложенный в «Домострое» для назидания образ жизни не вполне отвечающим высшим требованиям, тем не менее восхищается этой книгой в своем письме? Понять логику гоголевской мысли помогает обращение к его статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Здесь также появляется образ «отрытой из земли Помпеи» — теперь уже по отношению к поэме Гомера. Появляется же он как раз тогда, когда Гоголь заговаривает об изображении Гомером повседневного быта древнего человека (основное, что отметил позднее Гоголь в «Домострое»). Размышляя, однако, далее о гомеровской поэме, Гоголь противопоставляет этот «древний быт» — с его «величавою патриархальностию», «простой несложностью общественных пружин» — «подозрительному» совершенству «новейшей гражданственности» и никчемности «огромных средств и орудий» современности. Этой логике и следует Гоголь в оценке «Домостроя». С одной стороны, он сознает его несовершенный, приземленный характер — с образом жизни, почти достойным быть стертым с лица земли,

подобно полуязыческой Помпее или гомеровской древности (в 1834 г. он писал о картине Брюллова «Последний день Помпеи»: «...нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша»); но с другой, Гоголь все-таки признает превосходство «Домостроя» (и «Одиссеи») над куда более развращенной и падшей цивилизацией западноевропейской, а потому утверждает его в качестве прообраза новой, грядущей цивилизации, которая станет для человечества ступенью исхода к культуре более высокой и — к миру лучшему. (Земледельческий, издревле оседлый, патриархальный быт славянских племен — в противовес бродяжьей жизни будущих носителей европейской цивилизации «народов-пришельцев» — неоднократно подчеркивал Гоголь в своих заметках 1830-х гг. по русской истории. Возможно, ими он тоже намеревался воспользоваться при написании статьи «Древняя Россия».)

До нас дошли сделанные Гоголем выписки из «Домостроя». Анализ этих выписок показывает, что «Домостроем» Гоголь воспользовался при создании образов Костанжогло и его жены во втором томе «Мертвых душ» — со всеми их положительными и отрицательными чертами.

*Что такое долг.* — См. коммент. к наброску <Что такое долг>.

*Женщина в семье.* — В записной книжке Гоголя 1846—1850 гг. сохранился набросок <О браке>, представляющий собой начальный этап переработки письма «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». Вероятно, он и должен был в дальнейшем вылиться в статью «Женщина в семье». Здесь Гоголь повторяет высказанные им прежде положения о том, что жена должна служить мужу «возбуждающею, стремящею силою, небесным звонком, зовущим его ежеминутно к делу», взять на себя все «заботы домоводства и мелочей жизни», быть «помощницей» мужа. Повторяются советы о предварительном распределении времени в семье и о том, чтобы приступить к исполнению положенного с первого же дня. Слова о том, что «жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель», приобретают несколько иной вид: «Кто повелевает... Но все утверждено еще прежде: оба они невольники установленного ими закона». Новыми являются и строки о браке как «Божьей пустыни, монастыре», «строгом монастыре» и упоминание об апостольском уподоблении «союза супругов союзу Христа с Церковью».

Поскольку и в «Домострое» Гоголь видит прежде всего изображение «частного семейного быта» (см. коммент. к статье «Древняя Россия»), то нетрудно заметить, что гоголевское отношение к браку аналогично его оценке «Домостроя». «Союз освещается Христом, — читаем в наброске <О браке>. — Стало быть, свыше всех целей есть идти к Тому, Кто освятил этот союз... в основании христианского союза должно лежать спасенье души».

**Жизнь**

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Статья открывала вторую часть сборника. Написана в августе — октябре 1834 г. Дату, выставленную под статьей при помещении в «Арабески» — 1831, следует, вероятно, рассматривать как время возникновения ее первоначального замысла. Связана с целым рядом исторических набросков Гоголя 1830-х гг.: «Введение в древнюю историю», «Плодотворная почва трех частей света...», «Финикияне», «Александр <Македонский>» и др.

Примечательно, что Оптинский старец Варсонофий истоки религиозности последних лет жизни Гоголя усматривал в его раннем творчестве. «В душе Гоголя, — говорил он, — насколько мы можем судить по сохранившимся его письмам, а еще больше по сохранившимся рассказам об его устных беседах, всегда жила неудовлетворенность жизнью, хотелось ему лучшей жизни, а найти ее он не мог. "Бедному сыну пустыни снился сон..." — Так начинается одна из статей Гоголя («Жизнь». — И. В., В. В.)... и сам он, и все человечество представлялось ему в образе этого бедного сына пустыни. Это состояние человечества изображено и в Псалтири, там народ Божий, алча и жаждая, блуждал в пустыне, ища Града обительного, и не находил. Так и все мы алчем и жаждем этого Града обительного, и ищем его, и блуждаем в пустыне» (Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. СПб. 1991. С. 50).

[Непосредственное отношение к статье имеет набросок «Плодотворная почва трех частей света...», где Гоголь дает общую характеристику Древнего мира от его зарождения до того состояния, когда, согласно строкам «Размышлений о Божественной Литургии» (в свою очередь перекликающимся с содержанием «Жизни»), человечество, «скорбя от нестроений своих... отвсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему... И самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками». «Плодотворная почва трех частей света, — говорится в наброске, — омываемая Средиземным морем, благорастворенный климат и сильная деятельность природы двинули чрезвычайно быстро развитие древнего человечества и наконец [подавили его необыкновенным обилием и роскошью]. ...Климат и природа пересилили древнего человека и вдвинули в него чувственность... Во всех древних обществах заметны были... усилия, предпринимаемые в упор ее... заводили целые общества на одной строгой, грубой умеренности, возрождались секты явно с этой целью, и все это тонуло в массе]».

Широта замысла, отраженная в заглавии статьи, говорит о том, что представленные в «Жизни» Египет, Греция и Рим не столько являют собой образы древних исторических цивилизаций, сколько мыслятся Гоголем как обобщение дохристианских типов культуры — «...как будто бы царства предстали все на Страшный

суд перед кончиною мира». Начало этого Суда Гоголь, опираясь на слова Спасителя («Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет...»; Ин. 3, 19), относит к самому Его Рождеству: «...высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом».

Обращение к еще одному гоголевскому наброску 1830-х гг. по древней истории делает более явственной связь настоящей статьи с современностью. Это набросок «Финикияне». Финикийская культура — культура народа, превратившегося «совершенно массой всей своей нации в купцов», лишь косвенно (и однозначно отрицательно) определяется в статье: «Далее корысть и жадность от вольной и гордой души!» (И в черновике: «Беден народ и государство, сохнущее за расчетом торговли...») Именно финикийцы, согласно наброску Гоголя, стали в Средиземноморье проводниками роскоши и подавившего древний мир чувственного изобилия. Эти размышления Гоголь относит и к современности. О новейшей развращающей душу роскоши (и способствующей тому торговле) он пишет в статье «Скульптура, живопись и музыка» — еще одном произведении из «Арабесок», которое в конце жизни предназначал к помещению в пятом томе собрания своих сочинений. Очевидно, что торговый дух финикийцев, сладострастие греков, тщеславие римлян и безверие Египта — все эти черты составляют для Гоголя совокупный лик современности как нового язычества перед грядущей его кончиной.

Позднее, в «Авторской исповеди», как бы поясняя замысел своей ранней статьи, Гоголь писал: «Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в Нем Его Божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь».

Очевидно, что и стремление Гоголя в Иерусалим, согласно этому автокомментарию, восходит к его юношеским годам: «Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желанье искреннее помолиться и испросить благословений... на вступленье в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его...»

Особый ритмический строй «Жизни» позволяет отнести ее к жанру стихотворения в прозе. См.: *Орлов А. С.* «Призраки» Тургенева (Одоевский — Гоголь — Тургенев) // Родной язык в школе. М., 1927. Кн. 1; *Плетнев Р.* «Жизнь» — стихотворение в прозе (К стопятидесятилетию со дня рождения Н. В. Гоголя) // Грани. Париж, 1959. № 42. 20 марта 1909 г. М. Н. Ермолова читала статью «Жизнь» на литературно-музыкальном вечере в Малом театре в память

столетия со дня рождения Н. В. Гоголя. Сохранились два варианта переписанного для М. Н. Ермоловой текста статьи: полный и сокращенный для исполнения (*ГЦТМ.* Ф. 98. Ед. хр. 555. Л. 1–4; Ф. 98. Ед. хр. 523. Л. 1–7).

к стр. 261 *Кинамон* (*греч.*) — корица (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

*Тирс* (*греч.*) — жезл.

*Цевница* (*др.-рус.*) — струна, лира, свирель.

*Тимпаны* (*др.-рус.* тумпан) — бубны, литавры.

*...мусикийские орудия...* — Т. е. музыкальные (от *др.-рус.* мусикия — музыка), относящиеся к музам.

*...близ Родоса и Корциры...* — *Родос* — греческий остров в Эгейском море и портовый город; *Корцира* (Керкира, Корфу) — греческий остров в Ионическом море и портовый город.

к стр. 263 *...Арарат, древний прапращур земли...* — *Арарат* — две самые высокие горы Армянского нагорья в Турции: Большой Арарат (высота 5165 м) и Малый Арарат (высота 3925 м). Согласно Книге Бытия, «на горах Араратских» остановился по миновании Всемирного потопа ковчег праведного Ноя, потомками которого является все современное человечество.

### Мысли о географии

Впервые с названием «Несколько мыслей о преподавании детям географии» и подписью «Г. Янов» (то есть Гоголь-Яновский) напечатано: Литературная Газета. 1831. 1 янв. № 1. Статья была снабжена редакционным примечанием. В конце ее после пометы «Продолжение обещано» следовало: «Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, который совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей. В последующих за сим мыслях читатели встретят, может быть, более нового, более относящегося к облегчению науки и приведению оной в ясность и понятность для детей». Тогда же Гоголь приступил к написанию детской книги по географии, фрагмент которой сохранился в его бумагах: «Что это за зима! Как уже она нам надоела, эта зима! Все снег да снег; куды как весело, не выходи из дому, не закутавшись наперед в шубу» и т. д.

Перед помещением в «Арабесках» статья была переработана. Появился ряд новых мест, изменилась композиция. Здесь же Гоголь указал и на время написания статьи — 1829.

Отмечено, что в статье Гоголь точно охарактеризовал состояние школьной географии в России в 1820-х гг. (см.: *Киселев С. Н.* Статья Н. В. Гоголя «Мысли о географии» (история создания и источники) // Вопросы русской лит.: Межвузовский науч. сб. Симферополь, 1996. Вып. 2). В это время наибольшее распространение в гимназиях

получили учебники Е. Ф. Зябловского и К. И. Арсеньева — последователей школы камеральной статистики, делавшей основной упор на изучении государства («дают им... грызть политическое тело»). Учебники отличались чрезмерной перегруженностью сведениями номенклатурного характера, краткостью или полным отсутствием физико-географических описаний. Уроки в школах стали в это время трудными и скучными; внимание учеников сосредоточивалось на бессистемном вызубривании географических названий из этих «магазинов для справок».

Интерес к географии самого Гоголя — это прежде всего его восхищение делом рук Творца. «...Не больно ли, — как бы объясняет он во вступлении замысел статьи, — если показывают... вместо... этого какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: “Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его Зодчим!”»

Главный пафос, одушевлявший Гоголя при написании «Мыслей о географии», заключается именно в том, чтобы преподаватель за частностями не утратил этого основополагающего взгляда на мир, но стремился вместе с учениками постичь «дивные иероглифы, коими покрыт» он. Воспитанник, по словам Гоголя, «должен узнать... великий очерк всего мира... чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму [в которой выразилась идея Великого Творца]...» Поскольку пути Промысла отражаются равно и в истории, и в географии, преподавание их должно быть, по Гоголю, тесно связано друг с другом: «...в порядке частей света я бы советовал лучше следовать за постепенным развитием человека...»; «Весьма полезны для детей карты, изображающие расселение просвещения по земному шару»; «...если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей».

После написания статьи для детей и попытки создания детской книги по географии Гоголь задумывает такую же книгу для взрослых. «...Что не интересно в географии? Она такое глубокое море... что даже для взрослого представляет философически-увлекательный предмет», — замечал Гоголь в статье. Об этой книге он пишет 1 февраля 1833 г. М. П. Погодину: «...обождите несколько времени: я вам пришлю, или привезу чисто свое, которое подготовляю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух томах, под названием *Земля и Люди*». (Основу книги должны были составить лекции по истории, читанные Гоголем в Патриотическом институте благородных девиц в течение предшествующих двух лет.)

Не случайно, что своими планами Гоголь делится с М. П. Погодиным. Последнего так же, как и Гоголя, занимали мысли о преподавании детям истории и географии. Возможно, Гоголю был известен перевод Погодина статьи И. Г. Гердера «О приятности, пользе и необходимости географии»: «География, представленная

в сем разнообразии своем, богатстве, приведенная в умозрение, нераздельна с естественною и народною историею и служит для обеих самым прочным основанием... Я смею сказать, что история без географии, как и без летосчисления, сделалась бы, по большей части, настоящим воздушным замком: какая польза юноше, если он знает, что случилось, не зная, где ето случилось?.. Словом, география есть основание истории, а история есть не что иное, как приведенная в движение география всех времен и народов. — Кто занимается одною без другой, тот ни одной не понимает... география и история... суть феатр <театр> и книга домостроительства Божия: история — книга; география — феатр» (*<Гердер И. Г.> <Погодин М. П. (перевод)> М. П — н.* О приятности, пользе и необходимости географии // Вестник Европы. 1825. № 9. С. 30–31, 32, 33–34). Перевод Погодин сопроводил примечанием: «К Редактору статья сия доставлена при следующей записке: “Во 2 № В<естника> Е<вропы> была помещена статья незабвенного нашего Черевина *о преподавании детям истории*; недавно в С<ыне> О<течества> также были напечатаны прекрасные мысли г-на Корниловича о преподавании детям Географии: это самое побудило меня отыскать в бумагах своих старой перевод одной *Гердеровой* речи, которую Автор произнес в школе, перед экзаменом. Речь эта написана наскоро, быть может накануне учебного акта; но в ней заключаются указания на те стороны Географии, о которых у нас вовсе не думают. Вскоре доставлю вам отрывок из прекрасной Шлецеровой *Истории для детей,* которую надеюсь вполне издать для нашей публики”» (Там же. С. 23).

Весьма примечательны появляющиеся в статье в 1835 г. размышления Гоголя о «подземной географии»: «Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. Тут... душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор». О сохранившемся у Гоголя в последние годы жизни интересе к «подземной географии» — и именно в связи с залежами полезных ископаемых — свидетельствует его одесский знакомый, литератор Н. Д. Мизко. Он вспоминал о встрече с Гоголем 9 января 1851 г.: «Меня... как уроженца и жителя Екатеринославской губернии Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах, в котором я был...» (*<Кулиш П. А.>* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. Т. 2. СПб., 1856. С. 245). Ср. в гоголевской рецензии 1836 г. на книгу М. А. Байкова «Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832-м и 1833-м годах» (СПб., 1836): «Близость Урала и разрушающаяся горная порода дают новые силы растительности. Большое количество мергелю представляет средство для удобрения. Почва при небольших трудах может превзойти ожидания». (Мергель — осадочная известковая горная порода.)

«Рухляк, мергель» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). И в заметке «Хлебопашество» 1849 г.: «Можно бы удобрять пашню опадающим и согревающим *листом дерев.* Но это не в обычае. Так же, как и удобренье *мергелем,* поправляющим песчаные земли, или извести...» Ср. также в отрывке 1849—1851 гг. «О черноземе»: «...глина под ним лежащая... является чем глубже, тем известковатее — до того, что в некоторых местах наконец превращается в совершенный мергель...» Вероятно, одной из самых ранних заметок Гоголя об извести как полезном удобрении является его выписка «Распространение диких дерев и кустов в Европе» из книги упоминаемого в статье К. Риттера «Карты, представляющие: I. Главные хребты гор в Европе...» (см. коммент. к с. 267): «На граните прозябение трудно, как и на горах альпийских; скорее распространяется оно на гнейсе, еще скорее на сланце, а особливо на извести».

Наряду с этим слова о превращении лежащей «в глубоком уединении» раковины «в мрамор» связаны с поэтической натурфилософией Гоголя. Ср. строки в статье «Жизнь» о «веселой Греции»: «...колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом...» Или в повести «Рим», о красоте Аннунциаты: «Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы».

С «подземной географией» связан и один из образов «Кровавого бандуриста»: «Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои когтистые члены под всеми цветущими городами...» Ср. также интерес к «подземной географии» у героев «Вия», любопытствующих, в числе прочего, о том, «что находится внутри земли». Отсюда намечается переход и к «подземной архитектуре» катакомб «индийских и египетских», долженствующих напоминать человеку о грядущей смерти и воскресении. Об этом Гоголь пишет в еще одной статье «Арабесок» — «Об архитектуре нынешнего времени» (1834): «Эта подземная архитектура имеет что-то также величавое, хотя внушает совершенно другие мысли... как будто бы мрак очутился вдруг среди яркого света... как египетская урна или мертвая голова среди пиршеств».

В конце жизни, занимаясь продолжением своего главного труда — поэмы «Мертвые души», Гоголь одновременно задумывает книгу по географии России для юношества (см. коммент. к с. 260): «Книга эта, — пишет он, — составляла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова». Объединяющий оба эти произведения пафос — размышления о будущем России. В июне 1851 г. Гоголь получил благословение на написание книги по русской географии у Оптинского старца Макария (см. об этом во вступ. статье к наст. изд.). Сохранились некоторые подготовительные материалы к книге, в частности сделанный Гоголем обширный конспект

книги академика П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1768—1773 гг.».

В 1909 г. А. И. Попов замечал: «Посмотрите действующие ныне учебные планы и программы наших гимназий, т. е. большинства учебных заведений, действующие только с 1890 г. В них установлен порядок преподавания географии почти тот самый, который советовался Гоголем. Ничего лучшего, ничего более полного не придумано. Напротив, многое, на что указывал Гоголь, как на необходимое, еще и доселе мало применяется. Нет, напр<имер>, в этих планах таких настойчивых указаний на наглядность преподавания, которая теперь более и более завоевывает себе первенствующее положение. А Гоголь на ней настаивал 80 лет назад» (Вклад Н. В. Гоголя в географическую науку. Речь, читанная 20 марта 1909 г. на торжественном акте чествования городом Читой столетия дня рождения Н. В. Гоголя, Членом Совета Читинского Отделения Приамурского Отдела Императорского Русского Географического Общества инженером *А. И. Поповым.* Одесса, 1909. С. 11). В 1938 г. В. П. Семенов-Тян-Шанский, как бы выполняя завет Гоголя, написал книгу для чтения по общегеографическим вопросам под названием «Географические арабески» (осталась в рукописи).

к стр. 264 *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий географ, путешественник, естествоиспытатель. По предположению С. Н. Киселева, одним из поводов к написанию статьи послужило Гоголю прибытие немецкого ученого в апреле 1829 г. в Петербург, где ему был устроен пышный прием. По приглашению русского правительства А. Гумбольдт совершил тогда путешествие на Урал, Алтай, в юго-западную часть Сибири, посетил побережье Каспийского моря. Путешествие широко освещалось периодической печатью; интерес к визиту европейской знаменитости не утихал и после отъезда Гумбольдта из России в декабре 1829 г.

к стр. 265 *...начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседут с дикарями.* — Такое изучение географии предлагалось практически во всех тогдашних учебных пособиях: Так, в учебнике Е. Ф. Зябловского «Всеобщая География» (СПб., 1831. Ч. 1–2), первая часть — «Первая главная часть света: Европа» — описывает «физическое» и «политическое» состояние Западной и Восточной Европы (исключая Россию, которой посвящен отдельный учебник), а вторая описывает Азию, Африку, Америку и Австралию. В такой же последовательности расположен был материал в учебниках Т. А. Каменецкого «Краткое всеобщее землеописание по новому разделению, изданное по руководству г-на Статского Советника и Кавалера И. А. Гейма, в пользу детей, начинающих учиться географии» (4-е изд. М., 1822); К. И. Арсеньева «Краткая Всеобщая География» (СПб., 1818; 20-е изд. СПб., 1849) и др.

*...Риттерево барельефное изображение Европы...* — Как установил С. Н. Киселев, речь идет о карте рельефа Европы из книги К. Риттера «Карты, представляющие: I. Главные хребты гор в Европе, их связь и мысы; II. Высоту гор в Европе...», переведенной и изданной в 1828 г. в Москве М. П. Погодиным. В гоголевской «Книге всякой всячины...» есть также выписка «Распространение диких деревьев и кустов в Европе (Из Риттера)», представляющая собой конспект третьего раздела книги (с. 25–29). Неудобство помянутой карты Риттера обусловлено тем, что при изображении рельефа горы, освещенные сверху, оставлены белыми, так же как и моря, поэтому наиболее ярко бросаются в глаза высшие и низшие точки поверхности и не создается эффекта выпуклости рельефа. *Риттер* Карл (1779—1859) — немецкий географ, основоположник общего землеведения; проводил мысль о зависимости истории человечества от природных условий. В «Мыслях о географии» имеются переклички с книгой К. Риттера. к стр.267

*...горы сообщили форму всей земле...* — Ср. в книге К. Риттера «Карты, представляющие: I. Главные хребты гор в Европе...»: «Главные горы со своими отраслями и ветвями во время переворотов древнего мира противостояли напору моря и сообщили странам их форму» (с. 1).

*Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли.* — Ср. у А. Л. Шлецера: «О внутренности земли мы почти ничего не знаем. <...> Впрочем мы знаем, что в этой внутренности, — неизвестно как глубоко, — горят великие *огни.* Они свирепствуют *или* только под землею, и причиняют тогда, от времени до времени и в разных странах, ужасные *землетрясения.* Тогда поднимаются большие полосы земли, упадают строения... *Или* делают они отверстия чрез поверхность нашей земли... и выбрасывают огромные массы расплавленных минералов...» (Введение во Всеобщую Историю для детей. Соч. *А. Л. Шлецера,* бывшего Профессора Истории в Геттингенском Университете. Перевод с нем. М.: В Университетской Типографии, 1830. Ч. 2 (цензурное разрешение 19 февраля; предисловие М. П. Погодина «От Переводчика» от 11 мая). С. 17–18). к стр. 268

*...должно показать на карте лестницею градусов...* — В объяснениях карт диких и культурных растений Риттер описывает пределы их распространения и возделывания, указывая северную границу в градусах широты.

*...чтобы он сам собою мог вывесть, какие мануфактуры должны быть в таком-то государстве...* — Об этом же писал Гоголь в 1850 г., объясняя замысел своей книги о русской географии для юношества (см. коммент. к с. 260).

*Приуготовивши себя мануфактурностью, он может уже переходить к торговле...* — Скрытая полемика со взглядами немецкого историка А. Герена (1760—1842). 2 ноября 1834 г. Гоголь писал М. П. Погодину, подготавливавшему к печати книгу «Лекции к стр. 268–269

профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» (вышла в 1835 г.): «Охота тебе заниматься и возиться около Герена, который далее своего немецкого носа и своей торговли ничего не видит. Чудной человек: он воображает себе, что политика какой-то осязательный предмет, господин во фраке и башмаках, и притом совершенно абсолютное существо, являющееся мимо художеств, мимо наук, мимо людей, мимо жизни, мимо нравов, мимо отличий веков, не стареющее, не молодеющее, ни умное, ни глупое...» На «односторонность» Герена указывает также Гоголь в статье «Шлецер, Миллер и Гердер», написанной специально для «Арабесок». Текст *Произведения искусств... незанимательна и непонятна* (заключающий в себе комментируемые строки) также появляется у Гоголя впервые только в «Арабесках». При публикации статьи в «Литературной Газете» в 1831 г. он отсутствовал.

к стр. 269 *Не мешало бы вырезать каждое государство особенно...* — По наблюдению С. Н. Киселева, в 1798 г. неким «И. Н.» был издан «Способ научиться самим собою географии». Он состоял из книжки и колоды из 37 карт. В книжке разъяснялся способ, «как располагать географические карты порядочно и сходственно естественному государств местоположению». Подобный «Легчайший для детей способ к познанию землеописания любезного нашего отечества, пространнейшей в свете империи» с колодой из 60 карт был выпущен в 1823 г. маркшейдером Богословским в Казани. Карты представляли только текст с описаниями различных местностей России. По краям карт указывались соседние губернии и области. При раскладывании колоды ученик должен был расположить карты в соответствии с географическим положением губерний и областей России.

к стр. 270 *Пале-Рояль* (*фр.* — королевский дворец) — дворец в Париже.

*Фальконетов Петр* — памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник») работы французского скульптора Этьенна Мориса *Фальконе* (1716—1791).

*При мысли о Риме... неразлучна... мысль о зданиях-исполинах...* — Ср. в гоголевской «Книге всякой всячины» две выписки под заглавием «Hauteur de quelques monumens remarquables» (Высота некоторых замечательных памятников): «La coupole de Saint Pierre de Rome (au dessus de la place) — 406 pieds ou 132 métres. Le sommet du Panteon, au dessus du pavé 250–279» (Купол Св. Петра в Риме (с площади) — 406 футов, или 132 метра. Верхушка Пантеона — над уровнем улицы — 250–279 фут.) (цит. по: *Дурылин С. Н.* Путешествие Александры Осиповны // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 27).

**О преподавании всеобщей истории**

Впервые напечатано под названием «План преподавания всеобщей истории» и с подписью «Н. Гоголь»: Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. Ч. 1. № 2. С измененным названием

и небольшой стилистической правкой статья вошла в первую часть сборника «Арабески» (СПб., 1835). Дата, выставленная здесь Гоголем, — 1832 — указывает, вероятно, на время, к которому очерк всемирной истории (которую он с начала 1831 г. преподавал в Патриотическом институте) в главных чертах для него уже сложился. Беловой автограф статьи из записной книги Гоголя 1835 г. с лекциями и статьями по истории и географии опубликован в книге: Неизданный Гоголь. М., 2001. Текст печатается по этому изданию.

Непосредственно статья создавалась в декабре 1833 г., когда у Гоголя возникло желание занять место профессора всеобщей истории в Киевском университете Св. Владимира. Сюда звал его с собой М. А. Максимович. «Я восхищаюсь заранее, — писал Гоголь А. С. Пушкину 23 декабря 1833 г., — когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет». Воодушевление Гоголя было таково, что он даже составил молитвенное обращение к грядущему, 1834 г., где восклицал: «Я совершу... Я совершу!.. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!»

«Я решился, однако ж, — сообщал Гоголь Пушкину, — не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу... Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты». Явившийся «План...» был представлен через посредство В. А. Жуковского министру просвещения С. С. Уварову и после небольшой правки одобрен к печати (см. коммент. к с. 276).

Следует отметить, что на всем протяжении 1833 г., предшествовавшего написанию статьи, Гоголь переживал значительную ломку своего миросозерцания. 20 февраля этого года он писал М. П. Погодину: «Едва начинаю, и что-нибудь совершу из Истории, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую»; ему же, 28 сентября: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций! — Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил!»; М. А. Максимовичу, 9 ноября: «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!»

В «Оглавлении» V тома подготавливаемого Гоголем в конце жизни Собрания сочинений название статьи «О преподавании всеобщей истории» сопровождено пометой: «переделанное». Возможно, что предполагаемая переделка была связана именно с идейными колебаниями писателя 1830-х гг.

С другой стороны, Гоголь несомненно учитывал и непосредственного «адресата» статьи — управляющего Министерством народного просвещения Уварова, в 1834 г. назначенного министром.

Как показывает анализ, создавая статью, Гоголь имел в виду две «программные» работы Уварова, посвященные преподаванию мировой истории, которые были написаны еще во время пребывания будущего министра на посту попечителя Петербургского учебного округа. Определенные черты двойственности в позиции и взглядах Уварова не могли пройти мимо внимания Гоголя. Бывший масон, один из директоров внеконфессионального, а в некоторых своих действиях прямо противоцерковного Библейского общества Уваров, провозгласивший в 1832—1833 гг. основой своей деятельности следование началам Православия, Самодержавия и Народности, во многом оставался человеком прежней, «александровской» эпохи. Именно в предшествующую эпоху и сложился двойственный характер воззрений Уварова на мировую историю, отразившийся в его статьях.

Первая статья, «О преподавании истории относительно к народному воспитанию», появившаяся сразу после окончания Отечественной войны 1812 г., была написана в более религиозном и отечественном духе. «Новое образование системы Европейских Государств, — писал Уваров, — дало новый вид всем сношениям народов. Сии сношения стали многочисленнее и труднее. Быстрый ход наук и художеств, сильное распространение роскоши и общежития, направление к торговле сблизили между собою все Государства Европы. Сей порядок вещей, искоренив мало-помалу почти в каждом Государстве народный дух, готовил медленную пагубу всей Европе». Соответственно этому делался вывод: «Распространяя между согражданами луч наук и просвещения, должно возбуждать и сохранять, сколько можно, народный дух и тот изящный характер, на который нынче Европа смотрит, как изнеможенный старец на бодрость и силу цветущего юноши. Сие правило должно особенно быть чтимо преподающим Историю. Он в сем отношении делается прямо орудием Правительства и исполнителем его высоких намерений» (*<Уваров С. С.> Попечитель Санктпетербургского Учебного Округа.* О преподавании Истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813. С. 22–23, 24).

Вторая статья Уварова, посвященная преподаванию мировой истории, — «Речь президента Имп. Академии наук, попечителя Санктпетербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института», была выдержана уже в более космополитическом и светском духе — в духе получивших к тому времени, по воле Императора Александра I, повсеместное распространение в России идей внеконфессионального «универсального христианства» (на практике означавших чаще всего расширение влияния протестантизма в ущерб православному вероучению). Написана новая статья была в 1818 г., после основания монархами трех разных вероисповеданий знаменитого Священного Союза.

(Священный Союз европейских государств был основан в 1815 г. австрийским Императором — католиком, прусским королем — протестантом и русским православным монархом; в продолжение 1815—1817 гг. к этому Союзу примкнуло большинство королей и герцогов Западной Европы.) Теперь на первое место Уваровым выдвигается универсализм, и сказанное ранее о пагубности утраты западноевропейцами народного духа в новую статью (во многом повторяющую первую) уже не попадает. «Отныне, — пишет Уваров в соответствии с веяниями «универсального христианства», — система Европейских государств... течет беспрепятственно на высшую степень образованности... Исчезла их неприязненная противоположность; ныне каждый должен хранить святой пламень любви к человечеству, чтоб сделаться достойным гражданином. Сии две обязанности соединяются в одну. Евангелие, залог свободы и просвещения, примирило в образе Христианина человека с гражданином... Теперь мне остается только изъявить сердечное желание, чтоб каждый из тех, которые... будут образоваться великими примерами истории, нашел в них новые побуждения более любить свое отечество, свою веру, своего Государя... чтоб каждый... имел всегда в виду, что и он звено неизмеримой цепи, объемлющей в своем составе все народы, все племена, все человечество» (<*Уваров С. С.*> Речь президента Имп. Академии наук, попечителя Санктпетербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института, 22 марта, 1818 года. СПб., 1818. С. 49–50, 53–54).

Очевидно, эта двойственность взглядов Уварова на цели и задачи преподавания всеобщей истории и сказалась в содержании гоголевской статьи. В то же время необходимо подчеркнуть, что, написав статью более в универсальном, чем в национальном духе, Гоголь сохранил, однако, в подтексте более свойственный ему глубокий патриотический и религиозный дух.

Учитывая стремление Гоголя к более откровенному выражению своих взглядов в позднем периоде творчества, можно предположить, что именно в расстановке акцентов и в преодолении объективистского духа статьи и должна была заключаться ее позднейшая переделка. Примечательно, например, что в шестой главе статьи (третий и четвертый абзацы) Гоголь несколько раз подходит к вопросу о пагубных последствиях утраты народами Древнего мира национальных особенностей (вопрос, поставленный Уваровым в его первой статье), однако не дает здесь принципиальной оценки этих явлений, хотя эта оценка явно присутствует в предшествующих в черновых набросках Гоголя по древней истории (см. коммент. к с. 279, 281). Глубоко знаменательно и то, что венцом истории, согласно строкам той же главы (абзац пятый), является для Гоголя конец света, — однако открывается эта мысль тоже лишь при внимательном чтении статьи (см. коммент. к с. 281).

Изучение сквозных тем творчества Гоголя — проблем, занимавших его на протяжении всей жизни, — позволяет достаточно

четко обозначить главные направления предполагаемой переделки. Это прежде всего уяснение истоков западной цивилизации и ее роли в мировой истории. Анализ показывает, что и самые идейные колебания Гоголя 1830-х гг. были связаны именно с попыткой связать эту цивилизацию с теми «путями Промысла» в мире, «которые так непостижимо на нем означались».

О возможности направить новейшую цивилизацию на служение добру Гоголь писал, например, в одной из статей «Арабесок», которые впоследствии были отнесены им к юношеским опытам и не включены в состав V тома собрания сочинений, — «Об архитектуре нынешнего времени». Говоря здесь о том, какую «страшную изобретательность» показал современный человек «на мелких изделиях утонченной роскоши», Гоголь замечал: «Разве мы не можем эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое?.. (речь шла о создании «величественного, колоссального» храма с использованием новейших «чугунных украшений». — *И. В., В. В.*) гибнет вкус человека в ничтожном и временном, тогда как он был бы заметен в неподвижном и вечном».

В то же время в основу своих размышлений о европейской цивилизации Гоголь положил почерпнутое им из немецкой философии представление о «необходимом зле» в истории, осужденное им позднее, в 1850 г. (см. об этом коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 554). Своеобразие гоголевской позиции заключалось в том, что это представление стало для него актуальным вследствие его тревоги о судьбах патриархальной крестьянской России перед лицом надвигающейся на нее материалистической культуры Запада — мысль, красной нитью проходящая сквозь все гоголевское творчество. Если в конце жизни эта тревога о будущем России привела Гоголя к вере во всеобъемлющую и всеразрешающую силу молитвы, то в 1830-х гг. она же породила у него мысль о возможности прибегнуть к тем средствам защиты, какими пользуется в своем наступлении враждебная культура — так, как это случилось в Средние века в Западной Европе перед лицом мусульманского нашествия. На представлении о том, что европейское «просвещение», не будучи просвещением христианским, может тем не менее сопровождать это истинное просвещение и даже «помогать» ему, и строилась концепция статьи «О преподавании всеобщей истории». Это-то и придавало ей видимое беспристрастие, что, впрочем, не вполне отражало взгляды самого автора.

П. И. Пейкер 7 ноября 1841 г. писал С. Т. Аксакову о статье Гоголя: «...его метода преподавания всеобщей истории восхищает меня; мне кажется, что гениальность этого замечательного человека является здесь не в меньшем блеске, как в юмористических сочинениях...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 608).

к стр. 272 *Всеобщая история... не есть собрание частных историй...* — Ср. во «Введении» во «Всеобщую древнюю историю» (в записной

книге Гоголя 1835 г.): «Частная история не то, что истории самые частные вместе взятые, — также и сумма всех частных историй не составляет истории всеобщей».

*...составить одну величественную полную поэму.* — Ср. в гоголевском «Введении» во «Всеобщую Древнюю Историю»: «Из самого изложения... отдельно связующихся частей Истории... и всего целого... должна рождаться полная картина для мысленного воззрения».

*Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда.* — Ср. во «Введении» во «Всеобщую древнюю историю» Гоголя: «Всеобщая история следит главный ход жизни человечества и излагает только те частные происшествия, которые имели влияние на целое».

*...если слог профессора вял... ложные мысли... выраженные блестящим языком — увлекут их... преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю превращаются для них в мнения ничтожные.* — К этим размышлениям Гоголя, касающимся, согласно заключительным строкам статьи, самой цели преподавания истории (см. коммент. к с. 284), восходит позднейшее гоголевское противопоставление власти монархов и художников — «Божиих помазанников» — власти «всякого рода ремесленников» в повести «Рим» и в статье «Светлое Воскресенье» (см. коммент. к с. 201–202 и 279). к стр. 274

*...кроме религии евреев, между коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного Бога.* — Это замечание о Ветхозаветной Церкви принадлежит, по-видимому, редактору «Журнала Министерства Народного Просвещения» К. С. Сербиновичу. В начале 1834 г. Гоголь писал ему: «Все ваши и Сергея Семеновича (Уварова. — *И. В.*, *В. В.)* замечания я нахожу очень справедливыми и, как видите, воспользовался ими... Я очень вам благодарен за ваше присовокупление о истинной религии. Оно очень хорошо, и я бы не выдумал так». к стр. 276

*...народ финикийский...* — Отношение Гоголя к этому народу см. в его заметке 1830-х гг. «Финикияне»: «...несмотря на все неудобства сухопутной торговли, проникают всюду, как жиды в новые времена, даже входят в неприступный Египет, и уже в древности в Мемфисе находился целый квартал, заселенный финикиянами. Пользуясь беспечностью азиатских народов и неподвижностью их, захватывают совершенно монополию всей торговли и превращаются совершенно массой всей своей нации в купцов... Они первые зародили движение и вовлекли в сообщение Восток. Общее примечание: действовали отдельными бандами и потому не имеют истории». См. также коммент. к статье «Жизнь» и к с. 279.

*...одну верховную власть царя царей, персидского повелителя...* — В отдельной заметке 1830-х гг. Гоголь следующим образом пересказывал историю создания Персидской монархии: «Кир. Завоевания быстрые, ненасытные... Ничего определенного не

мог положить, ни государства ни соединил, без толку нахватал и <1 нрзб.>... Дарий Истапс. Завоеванные земли принимают форму одного государства. Вопрос: нужно удержать эти народы. Вера, правления остаются неприкосновенными, потому что народы очень вооружаются... Роскошь сатрапов. Сатрапы бунтуют, следствие неестественные [города] соединения государств».

*...народы теряли свою особенность и національность и... поверглись в азіатскую роскошь.* — Ср. в заметках Гоголя 1830-х гг. по древней истории: «Недолго, весьма недолго сохраняли общества свой национальный, своеобразный вид... Уже под владычеством персов государственный состав разнородных дотоле обществ носил один и тот же отпечаток. Лишенные постоянного стремления, возбуждаемого преградами, они должны были быть бессильны против чувственности, вдыхаемой роскошным климатом» («Плодотворная почва трех частей света...»).

*...великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнесть везде греческое просвещение... національность опять исчезает, народы опять смешиваются!* — Подразумевается Александр Македонский (356—323 до Р. Х.), один из величайших полководцев древности. Ср. в заметке Гоголя 1830-х гг. «Александр <Македонский>»: «Великое намерение соединить теснее мир и разнесть везде греческое просвещение, завязать сильнее торговлю и устремить со всех сторон в одно место народы (для этого — Александрия), если не изгладить, то уменьшить разность в правах между персами и греками, мирить европеизм с востоком. Отсюда утрата национальности. Пламенная религиозность исчезла. Вместо ее одни суеверия, шаткая философия, начало схолацизма». Пример такой схоластической, «шаткой философии» и суеверий Гоголь отразил в заметке 1830-х гг. «Новоплатонические Александрийцы»: «Ammonius — Saccas. Поколику христианство имеет сходство с Платоном <и> Аристот<елем>, <оно> истина, прочее прибавлено учениками. Верил во множество духов невидимых, видимых только душою. 240 <г.>. Мешконосец, продавал хлеб. Плотин был покровительст<вуем> император<ом> Галлианом, хотевш<им> для него возобновить кампанийск<ий> город с <при>городами и дерев<нями>, заселить философа<ми> для осуществ<ления> Платоновой республики. Сочинения составляют 54 трактата, разделенные на шесть энеад. Его странности. Говорил, что все божественное души его хочет соединить<ся> с божествен<ною> душ<ою>. Трактат его о том, что душ не две, но одна, [что] мысленные предметы не вне разума». Сходный тип схоластического философа, задумавшего (именно под влиянием «последователей новоплатонизма») создать из своего государства некую идеальную страну «теоретических философов и поэтов» (не отвечающую национальному характеру народа), Гоголь изобразил также в арабском калифе Ал-Мамуне, «исторической характеристике» которого посвятил отдельную статью в «Арабесках».

*...железная сила римлян.* — Характеристику римлян см. в наброске Гоголя 1830-х гг. «Народ, которого вся жизнь состояла из войны...» к стр. 277

*Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение.* — Ср. в одной из университетских лекций Гоголя 1834 г. «Взгляд на состояние Римской империи в последнее время ее существования и на причины, произведшие разрушение ее»: «Нацию преобладающую составляли римляне, народ... еще... не достигший развития жизни гражданственной. Все, что заимствовал он у побежденных народов, было блестящее и наружное — роскошь, без утонченного образа мыслей, понятий и жизни этих народов. Он сократил свой собственный переход и, не испытав мужества, прямо из юношеского состояния перешел к старости».

*...развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром...* — Ср. в той же лекции: «Слабость, недостаток душевной твердости последующих кесарей, оглушенных приливом роскоши и страшного изобилия империи, их серальная жизнь была причиною, что образ правления Августа обратился в деспотизм. Начальники преторианского войска увидели наконец, что имеют власть низводить и свергать императоров. Императоры для утверждения своего стали употреблять два опасные средства, льстить войску и усыплять чернь зрелищами и раздачею денег. Отсюда ввелась в Рим ужасная праздность, искоренившая все правила в народе, жажда к наслаждениям настоящим, начиная от двора до низших сословий».

*А в Азии между тем новый толчок...* — Эпохе Великого переселения народов Гоголь посвятил отдельную статью, опубликованную в «Арабесках», — «О движении народов в конце V века».

*...вся Европа... валится в Азию... это великое событие порождает рыцарство...* — О роли арабо-мусульманского Востока в «просвещении» средневековой Европы и, в частности, в возникновении ее рыцарских орденов Гоголь пишет также в своей программе лекций по истории Средних веков (1834): «Острова христианские и невозможность удержаться среди магометанских соседей... Следствия крестовых походов... Перенесение восточных нравов, обычаев, аравийского просвещения... и оттого происхождение рыцарства...» На арабские истоки европейской цивилизации в целом указывает он и в статье «О Средних веках» (1834): «Вся масса... извергается в другую часть света, где потухающее аравийское просвещение силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжирует по Азии... народы сами... приходят за образованием...» В статье «Ал-Мамун» (1834), посвященной характеристике арабского мира накануне крестовых походов, Гоголь сообщает и о самом характере и содержании восточного «образования». Аравийская культура, по Гоголю, — это прежде всего культура вооруженной силы и роскоши: «Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами...» к стр. 278

В результате совершенного христианской Европой похода на Восток «христиане <становятся> сильнее» (синхронистическая таблица Гоголя 1830-х гг. по истории стран Европы и Востока в X—XII вв.; см. т. 8 наст. изд.). Именно с Востока и берет свое начало европейская «цивилизованная» роскошь. Конспектируя в 1833–1834 гг. книгу английского историка Г. Галлама «Европа в Средние века», Гоголь отметил следующее исходное состояние Европы в V–XI вв.: «Бедность Европы. Не в состоянии была ничего купить у роскошного Востока». Это же состояние Европы Гоголь отмечал и в древности: «...позади Финикии находилась Азия, плодоносная, уже роскошная и изобретательная, впереди Европа, еще грубая, с произведениями нетронутыми» (заметка «Финикияне»). Ср. также замечание Н. М. Карамзина о «просвещении» средневековой Европы в «Истории государства Российского»: «Крестовые походы сообщили ей сведения и художества Востока; оживили, распространили ее торговлю» (т. 5, гл. 4).

*...энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею Божественного Спасителя...* — О нарушении европейским рыцарством границ «энтузиазма» Гоголь писал также в статье «О Средних веках»: «...возникают уже страшные тайные суды... являющиеся уже не совестью перед ветреным миром, но страшным изображением смерти и казни... неумолимый кинжал... крадется мимо пышной толпы и разит... из-за плеча друга».

к стр. 279 *...страшная торговлею Венеция... царица морей... чудная республика, с... замысловатым и необыкновенно устроенным правлением.* — Ср. характеристику Венеции в повести «Рим» (1842): «...целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа...» Соответствующие строки можно найти и в заметке «Финикияне»: «Они не составляют государства, но множество независимых городов, связанных конфедеративно... Цари только верховные начальники республики; первые между аристократиями сильных фамилий, как во всех купеческих государствах». Ср. в Апокалипсисе: «...купцы твои были вельможи земли...» (гл. 18, ст. 23).

к стр. 279–280 *...тем сильнее против него работали типографские станки... [ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба.]* — Ср. в статье «О Средних веках»: «...в руках европейцев вместо бессильного оружия — огонь; печатные листы разлетаются по всем концам мира...» Сходная оценка «печатных листов» встречается и в статье Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», где «типографские станки» упоминаются в ряду «чугунных дорог» (см. коммент. к с. 139), «ярмарок» и пр. Позднее в статье «Светлое Воскресенье» Гоголь писал: «...когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой... на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду... Люди темные, никому не известные,

не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека».

*...блестящий век, произведенный этим Государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями...* — Ср. в заметке Гоголя начала 1830-х гг. «Век Людовика XIV»: «...Людовик [не знал] меры своей щедрости и обратил ее после в безумную расточительность... Франция его расточительностью доведена была до жалкого состояния. Долги ее были огромны, народ в бедности и разврате». По воспоминаниям одной из учениц Гоголя в Патриотическом институте, «однажды, пробегая общим взором историю Франции, Гоголь схватил мел и, продолжая рассказывать, в то же время чертил на черной доске какие-то фигуры вроде гор, площадок и обрывов; на каждом подъеме или спуске писал имя Государя, возвысившего или уронившего Францию; нас особенно удивила высокая скала, на подъеме, на верхушке и на подошве которой стояло одно и то же имя: Людовика XIV-го» (Записки институтки // Семейные Вечера. Отдел для юношества или семейного чтения. 1873. № 5. С. 163–164). к стр. 280

*...островитяне британские... очутились... обладателями торговли всего мира... Наполеон... уже действует другим орудием...* — Размышления об Англии и о Наполеоне I как о двух взаимодополняющих «орудиях» — военном и экономическом, — одинаково направленных против России, встречаются у Гоголя в 10-й главе «Мертвых душ», когда взбудораженные слухами чиновники выдвигают «остроумные» догадки об истинном лице новейшего предпринимателя Чичикова: «Из числа многих... предположений было наконец одно... что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, а под собакой разумеется Наполеон: “Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!”...» Ср. соответствующие догадки одного из героев «Старосветских помещиков» о тайном соглашении «француза... с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта». Ср. также реплику Костанжогло во втором томе поэмы о «просвещенном» помещике Кошкареве (для которого «пример — Англия и сам даже Наполеон»): «Вот каковы эти умники! Было поправились после француза двенадцатого года, так вот теперь всё давай расстраивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили...»

*...гремит... в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы.* — *Питт* Уильям Младший (1759—1806), премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг.; возвысил морские силы Англии, защитник роялизма, боровшийся

против французской революции; один из организаторов коалиций европейских государств против наполеоновской Франции.

к стр. 281 *Освобожденные государства... утверждают снова союз и неприкосновенность владений.* — Имеется в виду образование Священного Союза, заключенного европейскими монархами в 1815 г. после окончательного низложения Наполеона I. Ср. строки о Втором Пришествии в Первом послании св. апостола Павла к Солунянам: «Егда бо рекут: мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них всегубительство...» (гл. 5, ст. 3). В свою очередь, и в сознании Александра I, испытавшего влияние немецкого мистика И. Г. Юнга-Штиллинга, идея Священного Союза была связана именно с мыслью о необходимости сплочения христианских сил мира перед его близкой кончиной (Юнг-Штиллинг предсказывал конец света в 1837 г.; *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. № 27. С. 140). Чуть ниже (уже в следующем предложении) Гоголь указывает на еще одну примету приближения конца света — проповедание Евангелия всему миру (см. коммент. к с. 281 — *...Слово из Назарета...*). Апокалиптическими настроениями проникнуты у Гоголя и другие произведения «Арабесок» — «Портрет» (первая редакция), «Жизнь», «Последний день Помпеи» (см. коммент.).

Думается, что и о Наполеоне Гоголь пишет как об одном из явившихся перед концом света предтеч антихриста. Упоминание о Наполеоне как о самом антихристе есть у Гоголя в «Мертвых душах» — опять-таки среди «сметливых» догадок чиновников об истинном лице Чичикова. «Перед войною 1807 года, — вспоминал Ф. Н. Глинка, — при вызове народного ополчения (милиции) издан был краткий манифест, из которого явно выглядывал "Наполеон-антихрист" (*Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990. С. 448). (Об этой «милиции» Гоголь дважды упоминает в повестях «Миргорода».) Позднее святитель Игнатий, епископ Кавказский, осмысляя явление наполеоновского «гения» на фоне европейской истории, писал: «Рационализм с своими постановлениями не может остановиться в движении своем, как имеющий основанием непрестанно изменяющийся разум человеческий. Надо ожидать большего и большего развития болезни. Она начала потрясать спокойствие народов с конца прошлого столетия; чем далее, тем действие ее обширнее, разрушительнее. Из окончательного, всемирного действия этой болезни должен возникнуть "беззаконник", гений из гениев, как из французской революции родился его предызображение — колоссальный гений, Наполеон» (Соч. епископа *Игнатия Брянчанинова.* СПб., 1905. Т. 4. С. 485). Эти же апокалиптические ноты, вызванные тревогой Гоголя о воцарении в обществе культа ума в ущерб «нравственным силам», слышны и в заключительной главе «Выбранных мест из переписки с друзьями». Здесь они появляются словно в качестве продолжения его размышлений о Наполеоне как антихристе: «Есть другой вид гордости, еще сильнейший... — гордость ума... Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных

образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде».

*Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа...* — О негативной стороне этого процесса, связанной с качеством исповедуемого «просвещения», Гоголь пишет в статье «Русской помещик»: «Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть... вздор». Сходные размышления встречаются и в одном из ранних произведений Гоголя — в «Вечере накануне Ивана Купала». Ср. также в неотправленном письме Гоголя к В. Г. Белинскому лета 1847 г.: «Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население»; «Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных...» (см. также коммент. к с. 279–280: *...тем сильнее против него работали типографские станки...*). И в «Авторской исповеди»: «...земледелец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя». О бесполезности самой по себе (без нравственного образования) грамотности, ведущей лишь к пустому времяпровождению, размышлял Гоголь и создавая образ лакея Петрушки в «Мертвых душах», имевшего «благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся... если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение... Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке...» Ср. также монолог дворецкого об «образованных» слугах в «Лакейской», изображению праздного быта которых главным образом и посвящен этот гоголевский отрывок.

*...паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства...* — Об отношении Гоголя к доведенной до «изумительного совершенства» мануфактурности см. в статье «Скульптура, живопись и музыка»: «Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства» (см. коммент. к с. 288). Очевидно, что обольстительная власть ремесленной роскоши осмысляется Гоголем как еще одна из примет приближающегося конца света (ср. Откр., гл. 18). Ср. также сходные размышления о применении паровой силы в «Майской ночи» (1829): «Ну, сват, вспомнил время! — прервал винокур. — Тогда от Кременчука до самых Ромен не было ни одной Винницы. А теперь... Слышал ли ты, что проклятые немцы повыдумывали? Говорят, станут курить не так, как все христиане добрые, а как-то паром». Хотя «критика» здесь винокуром «прогрессивного» немецкого винокурения конечно же лукава (сам он, например, говорит о пьянице Каленике: «Это полезный человек; побольше такого народу — и Винница наша славно бы пошла...»), однако в ней отношение самого Гоголя к использованию

одного из изобретений цивилизации — «курению паром» — проглядывает достаточно очевидно.

*...будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее...* — О том, какие «духи» здесь имеются в виду, можно судить из статьи «О Средних веках» (в ней Гоголь, в частности, замечал, что «самые знания, совершившие такой быстрый прогрессивный ход, — все это... образовалось в темные, закрытые для нас Средние века»). Говоря о средневековой вере в «духов» и выдвигавшихся против тогдашних ученых обвинений в общении с этими духами, Гоголь пишет, что на деле «вместо духов» в жилище алхимика обитало «неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же...» Причем любопытство это Гоголь называл тут же «первоначальной стихией всего европейского духа» (в черновой редакции статьи он определял его даже как проявление «беспредельной человеческой алчности знать все» — «и как неудержима эта алчность», — замечал Гоголь). Таким образом, не христианское просвещение, а самовозгорающееся человеческое любопытство, названное в Первом Соборном послании св. апостола Иоанна похотью ума, или «гордостью житейской» (гл. 2, ст. 16), явилось, по Гоголю, главным источником европейской образованности. Очевидно, что просвещение «паровых машин», как и вообще значение «физической железной силы» в истории, Гоголь отнюдь не идеализирует, но рассматривает как «необходимое зло», сопутствующее истинному просвещению («Слову из Назарета»). Без этого, равно как и без папской власти, считал Гоголь в 1830-х гг., «магометанская луна», может быть, «горделиво вознеслась» над Европой «вместо креста» («О Средних веках»). См. также коммент. к наст. статье.

*...Слово из Назарета обтекло наконец весь мир.* — *Назарет* — город в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Иисуса Христа. Проповедание Евангелия всему миру является одной из примет приближения конца света: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24, 14); «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк. 13, 10).

к стр. 282–283 *... об Африке... где природа всегда деспотически властвовала над человеком...* — Ср. размышление М. П. Погодина в статье «О всеобщей истории»: «Африка в течение веков не может выступить на поприще истории и остается собственностию географии...» (*Погодин М. П.* О всеобщей истории // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. 39). Сходное выражение Гоголь употребил в статье «Взгляд на составление Малороссии», говоря о состоянии России в XIII в. во время княжеских междоусобиц: «Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию...»

к стр. 283 *Шлецер* Август Людвиг (1735—1809) — немецкий ученый-просветитель, историк, ученик Вольтера. Характеристике его взглядов, в числе других, была посвящена в «Арабесках» статья «Шлецер,

Миллер и Гердер» (1834), где Гоголь противопоставил «оппозиционный», «всесокрушающий» гений Шлецера «тихому, размышляющему» «философу-законодателю» швейцарскому историку И. Мюллеру, который, по его словам, «охотнее занимается временами первобытными [европейских народов] и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен [цивилизации] образованности и порокам...» Это, однако, не помешало Гоголю взять на вооружение некоторые идеи Шлецера, в частности его «идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы».

*...знаете ее и вдоль и поперег...* — Ср. в «Представлении Всеобщей Истории» А. Л. Шлецера, перевод которой был издан в Петербурге в 1809 г. «с дозволения Святейшего Синода»: «...Каждый род происшествий должно читать двояким образом: однажды *вдоль*, вперед и назад, а потом *поперег*, в сторону, или синхронистическим (единовременным) образом» (Представление Всеобщей Истории, сочиненное Августом Лудвигом Шлецером, профессором в Геттинге / Пер. с нем. СПб.: При Святейшем Правительствующем Синоде, 1809. С. 44) (источник указан в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1978. Т. 6. С. 496).

*...постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории...* — к стр. 284
Ср. в статье «О Средних веках»: «...везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утоком» («Заток, уток, поперечное тканье» — гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

*...цель моя — образовать сердца юных слушателей... чтобы... не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю.* — Эти строки Гоголь зачитывал 20 октября 1851 г. И. С. Тургеневу в доказательство неизменности своих взглядов, вопреки обвинениям А. И. Герцена в «отступничестве». «Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п., — вспоминал И. С. Тургенев, неприязненно относившийся как к ранним статьям Гоголя в «Арабесках», так и к «Переписке с друзьями». «Вот видите... я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 534).

**Скульптура, живопись и музыка**

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Написано в период с июля по август—сентябрь 1834 г. Дата, выставленная под статьей, — 1831 — призвана, очевидно, указать на время, с которого идеи, изложенные в ней, стали занимать Гоголя. Название повторяет заголовок работы Д. В. Веневитинова, опубликованной впервые в альманахе «Северная Лира на 1827 год».

к стр. 285 *...тритоны несутся...* — *Тритон* — в греческой мифологии морское божество. Изображался в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног.

к стр. 287 *...сводами катедраля...* — *Катедраль* — кафедральный собор.

к стр. 288 *...дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век... вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши... порывается заглушить... наши чувства.* — Ту же мысль Гоголь высказывает в повести «Рим» и повторяет в статье «Светлое Воскресенье».

*Мы жаждем спасти нашу бедную душу... и — бросились в музыку.* — Позднее Гоголь заметит, что и музыка, в частности выступления «заезжих певцов», может выступать в ряду пустой и разорительной роскоши. См. его статьи «О помощи бедным» и «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности».

*Спекулятор* — торговец.

*Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений.* — Е. А. Матисен вспоминал, что из числа лекций по древней истории, читанных Гоголем в начале 1835 г. в Петербургском университете, «те, которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние» (*<Матисен Е. А.> М—н.* Воспоминания из дальних лет // Русская Старина. 1881. № 5. С. 157). П. В. Анненков, проживавший с Гоголем в Риме в 1841 г., также вспоминал, что на Гоголя производили сильное впечатление «скульптурные произведения древних» и что он говорил про них: «То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 74). «Посмотри на роскошных персов, — восклицает гоголевский Платон в статье «Женщина» (1831), — они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений».

## Последний день Помпеи

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2. Статья написана под непосредственным впечатлением от картины К. П. Брюллова, которая была привезена в Петербург в конце июля 1834 г. и выставлена для обозрения в Эрмитаже между 12 и 17 августа.

Карл Павлович Брюллов — воспитанник Петербургской академии художеств, после окончания которой в 1822 г. Обществом поощрения художников был отправлен для продолжения обучения в Италию. «Гибель Помпеи», законченная в 1833 г. (с 1827 г. художник стал собирать подготовительные материалы к картине), открыла новую эпоху в развитии исторической живописи. За ней появились

«Медный змий» Ф. А. Бруни и «Явление Мессии» А. А. Иванова (см. коммент. к с. 117). В Италии картина была объявлена «первой картиною золотого века»; более сдержанно была оценена в Париже (см.: *Савинов А. Н.* Карл Павлович Брюллов. М., 1966). Гоголь познакомился с К. П. Брюлловым в 1836 г. по возвращении художника из Италии; сохранился карандашный портрет Гоголя, сделанный тогда Брюлловым. Помимо исторической К. П. Брюллов занимался портретной и религиозной живописью. Современный исследователь оценивает опыты К. П. Брюллова в иконописи как произведения художника-«римокатолика» (см.: *Успенский Л. А.* Богословие иконы Православной Церкви. Париж, 1989).

Гоголь прямо противопоставляет картину К. П. Брюллова религиозной живописи и соотносит ее с языческой скульптурой: «Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура — та скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними... перешла наконец в живопись...» Соответственно характеристике скульптуры в статье «Скульптура, живопись и музыка» дается и оценка живописи Брюллова. О скульптуре: «Напрасно хотели изобразить ею высокие являния христианства... возвышенные стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности». О Брюллове: «У него нет... того высокого преобладания небесно-непостижимых... чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры... при всем ужасе своего положения... заглушают его своею красотою...»

И тем не менее Гоголь извлекает из картины важный урок. Весьма примечательна его характеристика центрального образа «Последнего дня Помпеи» — прекрасной мертвой женщины на переднем плане, — к которому Гоголь возвращается в статье неоднократно: «...его женщина блещет, но она не женщина Рафаэля, с... ангельскими чертами, — она женщина страстная...» Образом этой женщины — «кинувшей свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку» — навеяно, вероятно, Гоголю и описание «страшной, сверкающей красоты» панночки-ведьмы в «Вие». (Еще более образ мертвой женщины с ребенком, «вонзившим в зрителя взор свой», с картины Брюллова угадывается у Гоголя в погибшей в стенах осажденного Дубно женщины с младенцем в «Тарасе Бульбе»). Перекликается со строками «Вия» и усматриваемая Гоголем главная идея картины: «нам жалка наша милая чувственность». Ср. в повести слова о гибнущей красавице: «Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки... Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость... овладели им... как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню похоронную».

Мысль о тленности земной красоты и прозреваемый в этом «страшном явлении» грядущий «конец мира» в целом и определили оценку Гоголем картины К. П. Брюллова. Ср. с восприятием творчества художника святителем Игнатием (в ту пору архимандритом,

настоятелем Троице-Сергиевой пустыни, впоследствии епископом Кавказским). «Давно видел я, — писал он К. П. Брюллову 27 апреля 1847 г., — что душа ваша в земном хаосе искала красоты, которая бы ее удовлетворила. Ваши картины — это выражения сильно жаждущей души. Картина, которая бы решительно удовлетворила нас, должна бы быть картиною из вечности. Таково требование истинного вдохновения. Всякая красота, и видимая и невидимая, должна быть помазана Духом, без этого помазания на ней печать тления; она (красота) помогает удовлетворить человека, водимого истинным вдохновением. Ему надо, чтобы красота отзывалась жизнию, вечною жизнию. Когда ж из красоты дышит смерть, он отвращает от такой красоты свои взоры» (Архив Брюлловых // Русская Старина. 1900. № 9. С. 162–163).

к стр. 290 *...эффекты... в руках поддельного таланта... отвратительны...* — В черновой редакции было: «...тень представляют светом и свет — тенью... Эти эффекты отвратительнее всего в литературе, когда они сделаются целью бесстыдных торгашей, а не людей, дышащих искусством. Следствия их вредны, потому что простодушная толпа принимает блестящую ложь». Ср. в Книге пророка Исаии: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою...» (гл. 5, ст. 20). Этим же размышлениям посвящены у Гоголя строки «Развязки Ревизора»: «...то дурно, когда делают привлекательным для зрителя злое... то дурно, что доброе показывают нам таким образом, что в добре не видишь добра».

к стр. 291 *«Видение Валтазара»* (точнее — «Пир Валтасара», 1821), *«Разрушение Ниневии»* (1829) — картины библейского содержания английского художника Дж. Мартина (1789—1854).

к стр. 294 *...семейство Витгенштейна.* — Групповой портрет работы К. П. Брюллова «Дети графа Л. П. Витгенштейна у ручья с нянькою, скидывающею с ноги чулок» (1831, местонахождение неизвестно) Гоголь видел на выставке Петербургской академии художеств в 1833 г. Обольстительный образ красавицы, надевающей (или скидывающей) чулок или башмак, повторяется у Гоголя в «Записках сумасшедшего», в «Носе», в черновой редакции «Тараса Бульбы». Главенствующим на групповом портрете Брюллова является не изображение детей, но — как это отразилось в самом названии — «образ няни-итальянки, кокетливо наклонившейся, чтобы снять с ноги ажурный чулок»: «Своей экзотической яркостью и манящим лукавством она затмила безликие образы детей. Красный фон лифа итальянки, взятый в предельной светосиле, сделал ее фигуру центральным пятном цветовой композиции» (*Ацаркина Э.* К. П. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963. С. 97). На это же указывали современники: «Няня начинает еще раздеваться, и только успела скинуть с одной ноги чулок и скидает с другой... Конечно, эта картина не везде равно выдержана... няня, сидящая на втором плане картины, более

выходит вперед, нежели дети, что на первом плане» (*Лобанов М.* Выставка Академии Художеств 1833 года // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1833. № 12. <Отд. 2>. С. 34–35; см. также: Отчет моих чувствований и ощущений после нескольких посещений Выставки Академии Художеств (Посв<ящается> Ф. И. Глинке) // Северная Пчела. 1833. 30 нояб. № 273. С. 1092; 1 дек. № 274. С. 1096).

**<Что такое долг>**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Набросок на отдельном листе. Вероятно, связан с замыслом ненаписанной статьи «Что такое долг», упоминаемой в «Оглавлении» V тома собрания сочинений, подготавливаемого Гоголем в конце жизни.

В статье *XXVIII. Занимающему важное место* «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь замечал: «О долге человека можно так разговориться, что... покажется, как бы... беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога».

Возможно, замысел статьи возник под впечатлением от известного зальцбруннского письма В. Г. Белинского 1847 г. Отвечая критику, Гоголь замечал: «[Народ лучше исполняет долг, чем мы]. Но издать книги для этих господ, которые бы открыли им тайну, как быть с народом и подчиненными...»

В дневнике Е. А. Хитрово, одесской знакомой Гоголя, сохранилась запись его разговора с княгиней Е. П. Репниной 1 февраля 1851 г. о долге: «На вопрос княгини, что делать, чтобы согласовать жизнь с долгом? Что сделать, чтоб помешать коснуться душе мыслей со стороны? *Г<оголь>* сказал: "Я это вам дам все письменно". Ясно было, что княгиня подумала, что ей особенно будет ответ; но вышло, что он о сочинении своем говорил. — *Княгиня:* "Отчего же не теперь?" — *Гог<оль>:* "Как я могу теперь сказать? Я не проповедник! Не мое дело судить. Я мнение свое могу сказать, но полное, обдуманное, только письменно. Оттого и писатель бывает, что не умеет хорошо на словах высказать свою мысль. Если бы я умел хорошо высказать свою мысль, кто бы велел мне писать"» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 553).

**<О гневе и безгневии>**

Впервые напечатано: *Гофман М. Л.* Последние дни Гоголя (Новые материалы) // Руль. Берлин. 1925. 25 января. См. также: *Воропаев В., Виноградов И.* Лествица, возводящая на небо. Неизвестный автограф Н. В. Гоголя // Лит. учеба. 1992. № 1–3.

Автограф названия не имеет. Копия списка этого сочинения Гоголя, хранящаяся в Российском государственном архиве литературы и искусства в фонде известного литературоведа и писателя Сергея Николаевича Дурылина (1877—1954) (*РГАЛИ.* Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1210. 5 л.), озаглавлена: «[А. О. С<мирновой>]

Къ А. О. См<ирно>вой» (Л. 1; написано по правилам старой орфографии). Эта помета впервые публикуется в наст. изд., по указанной копии, в качестве подзаголовка названия.

На обороте последнего листа автографа имеется также помета, возможно, указывающая, где после смерти Гоголя были найдены заметки: «Оказались в Книге творений Святых Отцов» (по-видимому, имеются в виду переводы Московской духовной академии, выходившие с 1843 г.). По свидетельству М. С. Щепкина, посетившего Гоголя незадолго до его кончины, на столе у него — «кругом» — были «разложены книги, все религиозного содержания» (*Буслаев Ф.* К воспоминаниям о Михаиле Семеновиче Щепкине // Современная Летопись. Воскресные прибавления к «Московским Ведомостям». 1863. Декабрь. № 42. С. 6–7).

В начале XX в. рукопись сочинения Гоголя <О гневе и безгневии> хранилась в парижском музее известного коллекционера, историка литературы, владельца собрания пушкинских автографов Александра Федоровича Онегина (наст. фам. — Отто; 1844—1925). Позднее автограф был передан, вместе с большей частью собрания А. Ф. Онегина-Отто, в Пушкинский Дом (см.: *Городецкий Б. П.* Описание автографов Н. В. Гоголя в собрании Института Литературы Академии Наук СССР // Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 1938. Т. 1. С. 438). Заметки были впервые напечатаны, до передачи собрания, Модестом Людвиговичем Гофманом (1887—1959), известным пушкинистом, автором библиографического описания «Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже» (Париж, 1926), публикатором ряда материалов из обширного «онегинского» собрания автографов русских писателей (командированный в 1922 г. из советской России во Францию М. Л. Гофман с 1926 г. стал «невозвращенцем»).

Тематически сочинение <О гневе и безгневии> связано с трактатом «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии», первая глава которого носит название «О гневе» (см. ниже). Два начальных фрагмента и заключительный (помеченные звездочками) представляют собой выписки из «Лествицы» св. Иоанна Си́найского, христианского подвижника VI в., в том переводе, в каком мы находим ее в московском издании 1785 г., с названием — «Лествица, возводящая на небо» (возможно, что Гоголь пользовался и другим изданием этого же перевода: *Иоанна Лествичника*, Лествица, возводящая на небо. СПб., 1812). Для фрагментов, составляющих средину текста, то есть для тех отрывков, которые не являются выписками из «Лествицы», в принципе также не исключена возможность наличия какого-то первоисточника. Однако думается, что если это и не авторские заметки, то рука Гоголя в них чувствуется в несравненно большей степени. Многочисленные текстуальные совпадения заметок с гоголевскими письмами тоже говорят в пользу авторства Гоголя. На основании этих совпадений можно

датировать настоящее «правило» приблизительно 1843 г. Помета в копии: «Къ А. О. См<ирно>вой», — указывает, что «правило» составлялось Гоголем для друзей, в первую очередь для А. О. Смирновой, с которой Гоголь часто общался в Риме с конца января по май 1843 г.

Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал подробные выписки из нее. В 1926 г. харьковский исследователь И. Ф. Ерофеев сообщил: «Среди новых рукописей, что хранятся в Музее Слободской Украины, привлекает к себе внимание неизвестная до сей поры рукопись Гоголя. Заглавие ее: "Из книги: Лествица, возводящая на небо"...» (*Ерофіїв Ив.* Новий рукопис Гоголя. (З рукописного відділу Музею Слобідскої України) // Червоний шлях. 1926. № 2. С. 175).

Этот автограф, довольно значительного объема (на 92 страницах, в восьмую долю листа) и написанный каллиграфическим почерком, был приобретен И. Ф. Ерофеевым для музея в 1925 г. у А. И. Леонтьева, бывшего близким к владыке Михаилу (Грибановскому). Владыка Михаил, епископ Таврический, умерший в 1898 г. в Симферополе, был викарным епископом в Полтаве и коротко знал семью О. В. Головни и Быковых — родных сестер Гоголя, от которых в июле 1895 г. и получил в подарок ряд гоголевских реликвий (*Зуммер Вс.* М. Рисунки Н. В. Гоголя в Музеї Слобідскої Україні. Харьків, 1928. С. 8). (О существовании выписок Гоголя из «Лествицы» И. Ф. Ерофееву было известно, возможно, еще до революции, так как он занимался творчеством Гоголя уже в те годы, и именно в Симферополе; см.: *Ерофеев И. Ф.* Исторические труды Н. В. Гоголя и его заметка о Таврии // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1911. № 45. С. 74–89.)

До 1938 г. автограф Гоголя оставался в Харьковском историческом музее (бывшем Музее Слободской Украины имени Г. С. Сковороды). Об этом свидетельствует представленная к публикации в очередном из сборников «Звенья» статья того же И. Ф. Ерофеева, копия которой хранится ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства (*Ерофеев И. Ф.* Рукописи Н. В. Гоголя в Харьковском Историческом музее (бывш. Сковороды) // *РГАЛИ.* Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 63). Как явствует из сопроводительной записки (от 15 мая 1938 г.), статья была возвращена автору по его просьбе. В настоящее время Исторический музей Харькова, материалы которого, связанные с именем Гоголя, насчитывали до 13 единиц хранения, этими рукописями не располагает.

В сообщении 1926 г. о гоголевских выписках «Из книги: Лествица, возводящая на небо» И. Ф. Ерофеев привел несколько названий разделов этого сборника: «О подвизании, об уклонении от мира, о послушании, о покаянии, о гневе, о безгневии, о кротости; о плаче; гордость, тщеславие». С разделами «о гневе, о безгневии, о кротости» связаны первые два фрагмента настоящего «правила». Что же касается заключительной выписки, то, будучи взята из слова

«о послушании», она подверглась некоторой гоголевской переработке. А именно, выражение «в послушании» было заменено на «в сем состоянии». Выводя таким образом наставление за пределы собственно монашеского употребления, Гоголь, очевидно, намеревался адресовать составляемое им «правило» широкому читателю.

Автограф, описанный И. Ф. Ерофеевым, позволяет судить, что Гоголь прочел «Лествицу» довольно рано. Сам Ерофеев относил гоголевские выписки к середине 1840-х гг.; но при этом замечал, что в них есть «и реминисценция образа аскета из первой редакции повести “Портрет”» (закончена в 1834-м). Следовательно, возможно приурочение выписок к более раннему периоду — до 1835 г., т. е. до времени создания «Ревизора» и «Мертвых душ». Это, кажется, не исключал и Ерофеев, когда вслед за В. З. Завитневичем (*Завитневич В.* Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни // Памяти Гоголя. Киев, 1902. С. 357–358) писал, что если «лишить художественные образы “Мертвых душ”, “Ревизора” очаровательных черт быта, какие им придал Гоголь, то мы сразу видим те самые “гадости” и “мерзости душевные”, о которых Гоголь любил говорить уже в период своего мистического настроения, говорить уже абстрактно... В глубине настроение было то же всегда — порыв к лучшей жизни...» (*РГАЛИ*. Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 6). (Заметим, что образ лестницы встречается в самых ранних гоголевских повестях: «Майской ночи», «Сорочинской ярмарке», «Страшной мести», в «Главе из исторического романа». О предстоящей борьбе со «страстями» и восхождении «по скользким ступеням» лестницы Гоголь упоминает в письме к матери от 24 июля 1829 г.)

Можно предположить, что именно к своим ранним выпискам «Из книги: Лествица, возводящая на небо» обращался Гоголь при составлении настоящего «правила». 2 января (н. ст.) 1844 г. он, в частности, писал Н. М. Языкову: «Где-то [в книге одного святого] я начитал, что советы всегда нужно давать и никак не следует останавливаться тем, что сам не готов. Потому что, давая советы другим, сделается стыдно самому, когда увидишь, что все это следует прежде обратить к себе, и кончится тем, что наконец придет в ум исправиться самому советщику». Об этом же читаем на 26-й ступени «Лествицы»: «Если же которые от прежних своих ко греху привычек обеспокоены бывают, а однако других хотя словами учити могут, пускай учат. Ибо может статься, собственных своих слов устыдившись, за самое дело когда-нибудь примутся» (Лествица, возводящая на небо. М., 1785. Л. 122 об.).

Вероятность использования Гоголем своего раннего рукописного сборника при создании адресованного А. О. Смирновой «правила» <О гневе и безгневии> подтверждается и содержанием его письма к ней же, Смирновой, от 24 декабря (н. ст.) 1844 г., где встречается неточная цитата из «Лествицы»: «...не просите... у Бога небесных наслаждений духа, но просите только сил быть достойным

их... недаром Давид восклицал не один раз: Боже, ослаби ми волны Твоея благодати!» Ср. в «Лествице», на 29-й ступени: «Кто прежде будущего оного для праведных лучезарного света удостоился иметь такое бесстрастие, каковое имел Ефрем Сирин; преславный во пророцех Давид глаголет к Богу: Ослаби ми, да почию (Пс. 38, 14); а сей подвижник Божий вопиет: ослаби ми волны Твоея благодати» (Лествица, возводящая на небо. М., 1785. Л. 169).

*...они и на то гневались, что изнемогали от гнева.* — Ср. в письме Гоголя к М. П. Погодину от 2 ноября (н. ст.) 1843 г.: «Я сердился на себя и за то, что не в силах был перенести этого хладнокровно». к стр. 297

*...видит все в большем виде.* — Ср. в письме Гоголя к матери от 10 августа (н. ст.) 1846 г.: «Вы все вещи принимаете в большем виде, чем они есть... Молитесь Богу в такую минуту... После молитвы... распаленное состояние проходит, и всякая вещь является в своем надлежащем виде».

*...раздраженная нерва тронута...* — Ср. в письме Гоголя к С. Т. Аксакову от 18 августа (н. ст.) 1843 г.: «У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого...»; и в письме к Н. М. Языкову от 4 ноября (н. ст.) того же года: «...пусть это произошло именно оттого, что одна нерва толкнула другую...» (других случаев употребления слова «нерва» (ж. р.) в гоголевских письмах не встречается).

*...я не ошибаюсь.* — Ср. в письме Гоголя к А. С. Данилевскому от 20 июня (н. ст.) 1843 г.: «Я бы прежде всего дал себе запрос: не ошибаюсь ли я»; к М. П. Погодину около 2 ноября (н. ст.) того же года: «Можно иногда и то себе сказать: точно ли я увидел так, как следует, вещь?»; П. В. Анненкову от 10 мая (н. ст.) 1844 г.: «Это еще Бог весть, кто ошибается».

*...у него не достает такого-то чутья...* — Ср. в письме Гоголя к Н. М. Языкову от 26 октября (н. ст.) 1844 г. о М. П. Погодине: «Такой степени отсутствия чутья... я думаю, не было еще ни в одном человеке...» к стр. 298

*...пробуждается в нас желание непреодолимое оправдаться...* — Ср. в письме Гоголя к А. О. Смирновой от 24 октября (н. ст.) 1844 г.: «Мне казалось, что гнев мой совершенно исчез, но потом, однако же, я чувствовал пробужденье его в желании нестерпимом оправдаться».

*...нужно припомнить все до последнего его недостатки, и держать их неотлучно в голове во все время разговора с ним.* — Ср. в трактате Гоголя «О тех душевных расположениях и недостатках наших...»: «Прежде всего следует представить себе живо характер и качества того лица, с которым говоришь...» Ср. также в выписке из сочинения Марка Аврелия «К самому себе», посланной Гоголем 14 февраля (н. ст.) 1844 г. М. П. Погодину: «...когда придется тебе жаловаться на человека неблагодарного и вероломного, обратись

прежде к самому себе, ты, верно, был сам виноват... потому, что заключил, будто вероломный может быть верным...»

к стр. 299 *...обратившись к написанному, он приходил... в ужас...* — Ср. в письме Гоголя к А. О. Смирновой от 24 декабря (н. ст.) 1844 г.: «Во все минуты вашего уныния и глупых состояний духа вы записывайте такое состоянье. Пусть, как в зеркале, останется там все малодушие и все ваше ничтожество, так, чтобы потом, когда вы почувствуете, что слишком заноситесь минутами благоволения Божия... могли бы себе же показать это зеркало и увидеть в себе всю свою презренность и подивиться в то же время всей неизмеримости и бесконечности Божией любви».

*...тако и пребывающие в сем состоянии имеют крепкие и непоколебимые в себе души.* — Ср. в письме Гоголя к матери второй половины марта — апреля 1843 г.: «Счастье наше от нас самих, от исполнения наших обязанностей и от уменья возлюбить Бога больше всякой светской дряни... Сим одним только приводится душа наша в непоколебимое ничем стояние...»

**Правило жития в мире**

Впервые напечатано Гейром Хетсо: Scando Slavica. Т. 34. Copenhagen, 1988. Первоначальная редакция трактата опубликована Г. П. Георгиевским под названием «О любви к Богу и самовоспитании» в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909.

Написано в Ницце, где Гоголь провел зиму 1843/44 г. В это время он жил у Виельгорских на правах члена семьи, почти ежедневно встречался с А. О. Смирновой. Тогда же Гоголь составил сборник выписок из творений Свв. Отцов и Учителей Церкви. «После обеда, — вспоминала А. О. Смирнова, — Николай Васильевич вытаскивал тетрадку и читал отрывки из Отцов Церкви» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 56). Покидая Ниццу в марте 1844 г., Гоголь оставил Виельгорским два своих духовно-назидательных сочинения — «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». О них он упоминает в письме к А. О. Смирновой от 20 марта (н. ст.) 1844 г.: «Накануне мы читали то, что угодно было Богу внушить мне прочесть, оно, как мне показалось, на них подействовало. По крайней мере и графиня, и обе дочери дали слово быть веселы и тверды и перечитывать почаще то, что я им оставил». 12 апреля (н. ст.) Гоголь напоминает графине Л. К. Виельгорской: «Я вам оставил после себя гораздо лучшее средство для успокоения, чем мог бы доставить я сам. Я вам оставил то правило, которое сделало меня гораздо лучше, чем я был прежде. И теперь прошу вас, как может только любящий брат просить брата: не пренебрегайте им и перечитывайте со вниманием во всякую неспокойную и грустную минуту».

В 1965 г. беловые рукописи указанных сочинений Гоголя были обнаружены Б. Л. Бессоновым среди бумаг Виельгорских в архиве Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ныне Архив Санкт-Петербургского филиала Института Российской истории РАН).

*Любить Бога значит любить Его в несколько раз более...* — к стр. 300 Подразумеваются слова Спасителя: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Мф. 10, 37).

*...любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвердыми.* — Пример такой любви можно видеть в гоголевском Тарасе Бульбе, решившем во что бы то ни стало спасти своего сына Остапа: «Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен, он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе...»

*...оказывать не одну только вещественную помощь...* — *Вещественную* — материальную. «Вещественник, материалист...» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

*«Претерпевый до конца спасется», — сказал Спаситель...* — к стр. 303 (см. Мф. 10, 22; 24, 13; Мк. 13, 13).

*И земной любви он поклонится не так... нашими бренными* к стр. 304 *глазами.* — В первоначальной редакции вместо этих слов было: «...и земной любви поклонится он не так, как поклонится образу невежественный человек, считая его за Самого Бога. Но как поклонится лучше просвещенный верою, видящий в нем простое дерево и краски [послужившие для напоминания о Боге], бессильные [к которым прибегнул человек по бессилию своему], и возносящие не к образу, но <к> Самому Богу». Из этих слов ясно, что речь у Гоголя идет об иконе.

**О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии**

Впервые напечатано Б. Бессоновым: Русская литература. 1965. № 3.

Написано в Ницце зимой 1843/44 г., когда Гоголь жил у Виельгорских (см. коммент. к «Правилу жития в мире»). Определенным напоминанием им об этом сочинении стали строки адресованного графине Л. К. Виельгорской письма *XXVI. Страхи и ужасы России* в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «...недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу... может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев... может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние...» («О гневе» и «Об унынии» — названия разделов настоящего

трактата.) Ср. также в письме Гоголя к А. О. Смирновой от 24 октября (н. ст.) 1844 г.: «Не мешает... вам сказать насчет уныния, что у Софьи Михайловны (Соллогуб, дочери Л. К. Виельгорской. — *И. В., В. В.*) есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть, вы отыщете в них что-нибудь и для себя, если будете в нем обретаться».

Замысел трактата во многом поясняют строки, посвященные объяснению молитвы Господней в «Размышлениях о Божественной Литургии»: «Словом: *не введи нас во искушение* мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: *но избави нас от лукаваго* мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу...»

Теме преодоления гнева посвящен также относящийся к 1843 г. гоголевский автограф, представляющий собой выписки из «Лествицы» св. Иоанна Синайского и заметки самого Гоголя (см. в т. 9 наст. изд.).

к стр. 308 *...припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя...* — Сохранилась заметка Гоголя на отдельном листе, близкая по содержанию к комментируемому месту: «Припомнить все случаи, которые производили самые сильные смущения и душевные страдания. Какие именно из этих душевных страданий были сильнее других и невыносимей. Почему они невыносимы и почему нельзя преодолеть их. Собрать и изложить это непреодолимое и доказать, что точно никакими силами нельзя преодолеть его. В заключенье рассмотреть в самом себе, какие нервы в нас чувствительнее и раздражительнее всех прочих». (Заметка хранится в Архиве Санкт-Петербургского филиала Института Российской истории РАН; подклеена к письму Гоголя от 26 июля (н. ст.) 1847 г., адресованному графине С. М. Соллогуб, однако листы бумаги автографов отличаются (бумага письма более тонкая). С содержанием письма заметка также не связана.)

*...Хорошо бы даже вести журнал...* — Подобный совет Гоголь давал и сестрам. См., например, его письмо к А. В. и Е. В. Гоголь (октябрь 1843 — май 1844 г.). Судя по всему, Гоголь и сам вел «журнал». Е. А. Хитрово передает в своем дневнике разговор с Гоголем в марте 1851 г.: «Я как-то осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. *Гоголь*: “Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег”» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 557).

к стр. 311 *«Сила моя в немощи совершается», — сказал Бог устами апостола Павла.* — Второе послание к Коринфянам (гл. 12, ст. 9).

**<О благодарности>**

Впервые напечатано И. А. Виноградовым: Литературная учеба. 2001. Кн. 3. Хранится в Российской государственной библиотеке. В рукописи произведение не озаглавлено. Текст печатается по изд.: Неизданный Гоголь. М., 2001.

По-видимому, о набросках данного сочинения упоминал П. А. Кулиш в 1856 г.: «...на одной из рукописей Гоголя, найденных в чемодане за границею, написано его рукою в разных местах: "Благорасположение. Благодарность всем и всему за все. Благодарность всем и всему за все". Рукопись относится еще ко времени петербургской его жизни. В первой книге черновых сочинений также написано, на листе, предшествующем повести "Ночь перед Рождеством": "благорасполож<ение>"» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 253).

Трактат <О благодарности> написан, очевидно, в середине 1840-х гг. В это время Гоголь работает над книгой о Божественной Литургии, и, по всей вероятности, именно размышления о евхаристическом, или благодарственном, каноне — средоточии литургического богослужения (когда, по словам Гоголя, «вся церковь... соединяется в одно торжественно-благодарное пение»), отразились в данном произведении.

Реминисценции этого сочинения с письмами Гоголя столь многочисленны, что из эпистолярного материала можно составить произведение сходного содержания с почти тождественными выражениями и оборотами речи. Содержание первого абзаца, где речь идет о том, что жизнь получившего «много способностей и сил» человека «должна превратиться в один благодарный Гимн, а чувства изливаться одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения», можно пересказать строками писем Гоголя к Н. Н. Шереметевой, графу А. П. Толстому, протоиерею Матфею Константиновскому и др. Так, 18 февраля (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал Н. Н. Шереметевой: «Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосланные мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня, и недостает у меня ни слов, ни слез, ни молитв для излияния душевных моих благодарений. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя!»; 10 июля 1850 г. графу А. П. Толстому: «И право, мне кажется, человеку не о чем помышлять, как только о том, чтобы превратиться в благодарственный гимн и неумолкаемую песнь Ему»; 30 декабря 1850 г. протоиерею М. А. Константиновскому: «Молюсь, чтобы Бог превратил меня всего в один *благодарный гимн* Ему, которым бы должно быть всякое творенье, а тем более *словесное*, чтобы, очистивши меня от всех моих скверн, не помянувши всего недостоинства моего, сподобил бы Он меня, недостойного и грешного, превратиться в одну благодарную песнь Ему»; 22 декабря 1851 г. сестре Ольге Васильевне: «...нам следует ежеминутно благодарить Бога, благодарить

Его радостно, весело... вся наша жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью благодаренья Богу. О, если бы сделать так, чтобы и никогда и времени недоставало для всяких других речей, кроме ликующих речей вечной признательности Богу!»

Содержание второго абзаца — о необходимости приведения «способностей и сил» одаренного человека «в стройность» и «согласие между собою» — также представляет одну из характерных тем гоголевских писем 1840-х гг.: «О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве! Именье дано в управленье большое, а управитель еще слишком плох и слишком не научен, как привести именье в стройность» (В. А. Жуковскому 4 марта (н. ст.) 1847 г.); «Бог дал большое именье мне со всеми угодьями и удобствами, а сам управитель далеко еще не умен так, чтобы уметь управлять им» (протоиерею М. А. Константиновскому около 9 мая (н. ст.) 1847 г.).

Необходимость приведения души обладающего многими способностями и силами человека в «стройность» Гоголь в письме к П. В. Нащокину от 20 июля (н. ст.) 1842 г. объяснял так: «Вспомните, что тому, кого вы образуете, предстоит поприще большое... Уже одни богатства дадут ему всегда возможность иметь сильное влияние в России... Может быть, счастье многих будет зависеть от вас». Еще ранее, в октябре 1841 г., Гоголь писал В. А. Жуковскому: «...помочь таланту значит помочь не одному ближнему, а двадцати ближним вокруг». Вероятно, в качестве некоего подкрепления своим мыслям Гоголь включил зимой 1843/44 г. в сборник «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви» выписку из творений св. Иоанна Златоуста следующего содержания: «К праведникам везде Господь строг; является к грешникам — благ и скор к помилованию их и грешника падшего восставляет... Что в мире сем богатый человек — то и праведник у Бога, и что в мире сем нищий, то у Бога грешник. Посему грешников как убогих, от праведников же яко от богатых взыскивает, к нищим убожества ради снисходит, а от сих по богатству и<х> благочестия с великою потребностью отчет требует» («Разные изречения из Иоанна Златоуста»). Эту мысль Гоголь прямо повторяет в письме к А. О. Смирновой от 24 декабря (н. ст.) 1844 г.: «Тот, кто в глазах людей много сделал, может быть, еще не сделал и десятой доли того, что назначено Богом ему сделать, и он может подвергнуться строжайшему суду, чем тот, кто сделал меньше его, получив меньше и способностей»; и в письме к ней же от 22 февраля (н. ст.) 1847 г.: «Способность созданья есть способность великая, если только она оживотворена благословеньем высшим Бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее, как следует, в дело».

Мысль о том, что «лучше... не показывать своих преимуществ, до тех пор, пока все не приидет... в полное согласие между собою» — и что «иначе» человек «обнаружит только неровность своего характера» (второй абзац сочинения), повторяется у Гоголя в «Предисловии» к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «...я избегал

встреч и знакомств... будучи... убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей». Ранее, между 1 и 14 декабря (н. ст.) 1844 г., он писал П. А. Плетневу: «Я не в силах еще быть другом, даже если бы и захотел. Чтобы быть кому-либо другом, нужно прежде сделаться достойным дружбы. А до того времени едва ли не лучше бы отталкивать от себя, чем привлекать к себе. Смотри, как верно сказано в “Imitation de Jesus Christ”: ...“Мы ищем иногда угодить другим, знакомясь с ними; а напротив, тогда-то и начинаем мы им быть противными по мере, как они видят беспорядок наших нравов”» (пер. с фр. приводится по изд.: *Фома Кемпийский.* О подражании Христу. 4-е изд. СПб., 1844. С. 21. — *Ред.*).

В том же году, 13 апреля (н. ст.), Гоголь писал А. С. Данилевскому: «...с недавнего времени узнал я одну большую истину... что знакомства и сближенья наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитанье...» Об этом же говорится в выписке «О любви к ближнему (Преосвященного Михаила <(Десницкого), митрополита Санкт-Петербургского>)» сборника Гоголя «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви»: «Любить ближнего не то значит, чтобы в гости его позвать... и... с ним повеселиться... любить... его есть то, чтобы ходить к нему в гости, но зачем? Затем, чтобы, ежели он лучше тебя, попользоваться от него, ежели хуже, попользовать его, прося помощи у Христа». Позднее, в письме к Н. М. Языкову от 5 октября (н. ст.) 1846 г., Гоголь замечал: «У нас воображают, что все дело зависит от соединения сил и от какой-то складчины. Сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без того принесешь сор в общую кучу».

Размышление о том, что «движенья» еще не организованных «великих сил» человека могут быть названы «капризами, делом самонадеянной самоуверенности», и сам он может прослыть «дерзким выскочкой» (второй абзац), опять-таки отзываются в строках письма Гоголя к П. А. Плетневу первой половины декабря (н. ст.) 1844 г.: «...характер твой получил уже давно оконченную форму и остался навсегда тем же... Но как судить о скрытном человеке... которого характер еще не образовался... и которого всякое движение производит только одно недоразумение? Как заключить о таком человеке, основывая<сь> по каким-нибудь ненароком из него высунувшимся свойствам? Не будет ли это значить то же самое, что заключить о книге по нескольким выдернутым из нее фразам... Упреки твои в славолюбии могут быть справедливы, но не думаю, чтоб оно было в такой степени...»

Многочисленны и размышления Гоголя в письмах к друзьям о «врожденной прекрасной ясности души, врожденном младенческом незлобии» и «врожденном миловидном обращеньи со всеми, которое так близко влечет к себе сердца всех, что каждому кажется,

как бы он всем им родной брат» (третий абзац). 12 апреля (н. ст.) 1844 г. он писал графине С. М. Соллогуб: «Душевная ясность и светлость слишком вам к лицу. Она... дана вам... для того, чтоб ею оказывали помощь и другому. Знайте же, что уже двум человекам вы оказали помощь великую, в печальные их минуты, одной только светлостью лица вашего. Минуты так были печальны, что трудно было приискать слов для утешения; но вы влетели в комнату с душевной ясностью лица, и печаль ушла. Вот как важна светлость и ясность наша для наших близких и братьев. И потому входите в какой бы ни было круг, хотя из двух человек, ясно и весело, как дитя; мы все должны быть дети и стараться хоть насильно быть безмятежны, как дети». 24 сентября (н. ст.) того же 1844 г. Гоголь писал А. О. Смирновой о графине С. М. Соллогуб: «...скоро после моего письма предстанет к вам наша любезная Софья Миха<й>ловна. Душа ее кажется как будто еще небеснее прежнего и ангельства в ней еще больше. Употребите все старание, чтобы свет и общество сколько-нибудь узнали, какой прекрасный цветок поселился среди них». Размышления эти и стали основополагающими для статьи «Женщина в свете» «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «...вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете... Но вы имеете... высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа... Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы... когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека».

В то же время размышления эти были тесно связаны и с творческими планами Гоголя. 20 марта (н. ст.) 1847 г. он писал князю В. В. Львову о продолжении своей поэмы и причинах издания «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Если Бог даст сил, то "Мертвые души" выйдут так же просты, понятны и всем доступны, как нынешняя моя книга загадочна и непонятна. Что ж делать, если мне суждено сделать большой крюк для того, чтобы достигнуть той простоты, которою Бог наделяет иных людей уже при самом рожденьи их. Итак, вот вам покуда посильное изъяснение того, зачем вышла моя книга». Эту же мысль Гоголь повторил в письме к А. О. Россету от 15 апреля (н. ст.) 1847 г.: «Поверьте, что без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях "Мертвых душ", дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой. Вы не знаете того, какой большой крюк нужно сделать для того, чтобы достигнуть этой простоты».

В «Авторской исповеди» Гоголь замечал: «...Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин,

прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть».

Взгляд на соотношение «заслуг» и сферы влияния двух типов людей — человека, получившего дар «младенческой простоты» изначально, и человека, заслужившего этот дар вследствие неустанной борьбы с своими страстями (четвертый абзац сочинения), — одна из важнейших для Гоголя проблем, затрагиваемых им в письмах 1840-х гг.: П. И. Раевской: «Вы родились на свет уже почти с готовою душою… Стало быть, вам не нужен никакой голос ободрения и тем более от человека, которому много предстоит еще душевной борьбы и суровых испытаний в жизни, чтоб вкусить то, что, может быть, вы давно уже вкушаете» (1842–1843); С. П. Шевыреву: «Обдуманные письма должен я писать к вам, потому что еще строюсь и создаюсь в характере, а вы уже создались» (12 марта [н. ст.] 1844 г.); В. А. Жуковскому: «Как мне трудно достигнуть той простоты, которая уже при самом рожденье влагается другому в душу и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!» (4 марта [н. ст.] 1847 г.).

В соответствии с выводом трактата «О благодарности», что «неисчислимо более может… принести добра и счастья в мире» тот, кто достиг «простоты» «трудными путями всякого рода поражений», чем тот, «кто получил все это от рожденья», Гоголь 12 апреля (н. ст.) 1844 г. писал графине А. М. Виельгорской: «Я видел вашу приятельницу и вручил ей письмо… это ясная светлая душа, которая вышла как-то готовою на свет. Она светла, ровна в словах и в обращениях со всеми и потому необходимо должна быть всеми любима. Она поставлена для того, чтобы говорить: будьте безмятежны, как безмятежна я. Но в глазах моих *вы* больше имеете значения, не загордитесь: *вы* ничуть не лучшее ее, но вы будете лучше. Вы будете в силах заглядывать в самую душу человека и оказывать там помощь. Ваше поприще будет даже гораздо более, чем всех ваших сестриц».

Как бы подводя итог своим размышлениям, Гоголь 15 августа (н. ст.) 1844 г. писал школьному приятелю А. С. Данилевскому: «…ты чувствуешь почти юношескую живость при одной мысли ехать на каникулы домой… и боишься, чтобы не остаться всю жизнь дитятей. Но это и есть самое лучшее состояние души, какого только можно желать! Из-за этого мы все бьемся! Но только не все равно достигаем: одному дается оно как знак небесной милости и, по-видимому, без больших с его стороны исканий; другому дается только за тяжкие и долгие труды и беспрерывные боренья с препятствиями. То и другое премудро, и не нам решить, кто имеет более права на достижение такого состояния. Дело в том, что за такое состояние должно благодарить человеку, как за лучшее, что есть в жизни».

**О сословиях в государстве**

Впервые напечатано В. И. Шенроком в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896. Статья осталась незавершенной; написана в середине 1840-х гг. По содержанию тесно связана с «Выбранными местами из переписки с друзьями».

11 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь, обращаясь к князю П. А. Вяземскому с просьбой написать статью о «тех истинах, о которых могут сказать только люди государственные», замечал: «Если о них не раздадутся теперь здравые определения, годные укрепить хотя некоторых или дать им знать, по крайней мере приблизительно, чего держаться, то их пойдут скоро коверкать вовсе негосударственные люди и могут сбить всех с толку. Вы видите, что некоторое поползновение к тому уже обнаруживается. Даже и я, человек вовсе негосударственный, заговорил о том». Хотя Гоголь имел здесь в виду прежде всего свои «Выбранные места из переписки с друзьями», в еще большей мере это относится к настоящей статье. Возможно, потому она и осталась незавершенной. Не случайно в отрывке «Рассмотрение хода просвещения России...» (записная книжка 1846—1850 гг.) Гоголь выступил против того, что «науки» стали «совершенно принадлежать частному человеку». 2 августа (н. ст.) 1847 г. он писал графу А. П. Толстому (бывшему тогда в отставке): «Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться... а о России Бог позаботится и без нас». В письме «О лиризме наших поэтов» Гоголь, как бы отказываясь от замысла статьи, замечает: «Из нас, людей частных, возыметь... любовь по всей силе никто не возможет... только... Государь приобретет тот всемогущий голос любви... который один может только внести примиренье во все сословия...»

Тем не менее размышления о судьбах России занимают значительное место в гоголевском наследии. Отметим особенность данной статьи. Возможно, именно ее незавершенностью объясняется то, что духовенство в ней только упоминается, причем его миротворческая деятельность ставится в один ряд с примиряющей ролью князей и Государя. Вместе с тем примечательно, что черты, которые придает Гоголь Государю и дворянству, могут быть истолкованы именно как приметы духовного сословия. Так, монарх, по Гоголю, «должен отречься от себя и от своей собственности, как монах»; а дворянство — «должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации».

Заметим также, что, говоря о дворянах, что «они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив» и что они должны приказать ему «выйти» из их круга, Гоголь определенно обращается при этом к своей выписке из Кормчей книги (см. коммент. к «Совету сестрам»), адресованной именно духовенству: «Повелеваем Епископа, или Пресвитера, или Диакона, биющего верных согрешающих или неверных обидевших

и чрез сие устрашати хотящего, извергати из священного чина. Ибо Господь нас отнюдь сему не учил: напротив того, Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал». Ср. в статье «Русской помещик»: «Мужика не бей».

Таким образом, в своем незавершенном трактате Гоголь не столько изображает реальную картину русского общества, но преследует цель более назидательную — поставление законных властей России на должную им нравственную высоту.

*«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет...»* — Слова «Повести временных лет», созданной в начале XII в. преподобным Нестором-летописцем и дошедшей до нас в составе ряда летописных сводов — Лаврентиевском (1377 г.), Ипатиевском (начало XV в.) и др. Гоголь передает по памяти переложение слов летописи Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского». к стр. 316

*...слова эти были произнесены людьми вольных городов.* — Ср. в заметке Гоголя 1830-х гг. «Начало княжеств»: «Норманы грабили чужие земли... собирали поборы с жителей и угнетали их (см. Архан<гельский> список). Это побудило славян, мерь, чудь и кривичей выгнать их. Они боялись возвращения их, соединились для защиты и начали делать укрепления. Но между этими четырь<мя> нациями восстало несогласие, необходимое следствие федеративной системы, и 4 народа признаются...» (не закончено).

*...point d'honneur...* — См. коммент. к с. 102. к стр. 320

**<Заметка о Мериме>**

Впервые напечатано В. И. Шенроком в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896. Заметка написана в первой половине 1840-х гг. и, согласно ее содержанию, должна была представить русскому читателю перевод новеллы П. Мериме «Души в чистилище» (1834). Этот перевод до нас не дошел.

Возникновение заметки отчасти проясняется содержанием самой новеллы. Она повествует о судьбе «героя испанского Дон-Жуана, этого неистощимого предмета бесчисленного множества драматических поэм» (по словам Гоголя в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...»). П. Мериме, в отличие от своих предшественников, использовавших эту легенду, — Тирсо де Молины, Мольера, К. Гольдони и Л. да Понте (автора сценария оперы Моцарта), а также Байрона, Мюссе и Жорж Санд, — отдал предпочтение подлинной истории перед литературной традицией; его повествование ближе к гораздо менее известной истории реального лица, послужившего прообразом Дон-Жуана. Действительный конец его был иной: гранд-соблазнитель покаялся и ушел в монастырь, прослыв после смерти «своего рода святым». Мериме видел в Севилье место, где покоятся останки этого раскаявшегося грешника (см.: *Фрестье Ж.* Проспер Мериме. М., 1987. С. 65–66). Напомним, как

важен был мотив покаяния для Гоголя на протяжении всего его творчества — начиная от «Ганца Кюхельгартена» и «Страшной мести» и кончая замыслом обратить на путь истинный главного героя «Мертвых душ». Вероятно, желание познакомить русскую публику с менее известным ей «настоящим» Дон-Жуаном и привлекло Гоголя к работе над переводом.

Гоголь не просто написал к переводу вступительную заметку. Известно, что, когда он в конце 1839 г. взялся исправить перевод комедии Мольера «Сганарель», сделанный друзьями М. С. Щепкина Т. Н. Грановским и Н. Х. Кетчером, то переделал в нем «почти каждую фразу» (*Афанасьев А. Н.* М. С. Щепкин и его записки // Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 318). 10 августа (н. ст.) 1840 г., высылая М. С. Щепкину еще одну обещанную к его бенефису комедию — «Дядька в затруднительном положении» итальянского драматурга Джиованни Жиро, — Гоголь писал: «...комедия готова. В несколько дней наши художники перевели. И — как я поступил добросовестно! всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою». В этом же письме Гоголь сообщает и о намерении «поправить» какую-то «Шекспирову пьесу» («Ее переводили мои сестры и кое-какие студенты»).

Следы работы Гоголя над переводом новеллы П. Мериме встречаются в самом автографе настоящей заметки. Неожиданно ее перебивают строки: «Милостивый государь! Милостивый государь такой-то, сякой-то и прочее и прочее, за что вы должны всякий раз дать ему оплеуху по щеке» (далее снова следует текст: «Мериме обладает кроме того той способностью...»). Согласно указанию А. А. Елистратовой (в ее кн.: Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972. С. 89–90), этот набросок связан с содержанием самой новеллы, когда ушедшему в монастырь Дон-Жуану за преступление, совершенное им уже в монашестве, аббат приказал с целью умерщвления остатков гордыни являться каждое утро к монастырскому повару для получения пощечины. (За словами «такой-то, сякой-то и прочее и прочее» следует, вероятно, подразумевать перечисление всех титулов бывшего гранда.) В записной книжке Гоголя 1841—1846 гг. есть также соответствующая запись: «Благодарность за оплеуху: — Давно бы, батюшка, так. Благодарю вас». См. также коммент. к с. 135.

к стр. 321 *...смотри Сочинения Пушкина, т. IV, в Предисловии к «Песням западных славян».* Имеются в виду строки: «Мериме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» (Соч. *Александра Пушкина.* Т. 4. СПб., 1838. С. 139–140).

**Учебная книга словесности для русского юношества**

Впервые напечатано в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Опубликовать «Учебную книгу словесности» предполагал еще Н. П. Трушковский в шестом томе «Сочинений Гоголя» 1856 г. Однако этому намерению не суждено было осуществиться. Сомнение цензора Московского цензурного комитета И. И. Бессомыкина вызвали как «неблагоприятные для наших ученых» и потому не подлежащие напечатанию следующие строки статьи «О науке»: «В трудах наших ученых также раздаются не переварившиеся европейские мнения, и такими же торчат яркими заплатами их собственные мысли, всего нанесено и все не переварилось». Другим местом, отмеченным цензором, было название думы К. Ф. Рылеева «Острогожск» в списке «примеров» «Учебной книги...» (см.: «Дело о напечатании "Учебной книги словесности" Гоголя» // Литературный музеум. Пг., 1922. Т. I. С. 147–152). По докладу И. И. Бессомыкина от 20 февраля 1856 г. (рассмотренному на заседании комитета 2 марта) рукопись Гоголя была отправлена министру народного просвещения А. С. Норову. В ответном предложении от 5 апреля 1856 г. Норов сообщал, что Петербургский цензурный комитет из двух отмеченных мест дозволяет к напечатанию лишь строки статьи «О науке». 14 мая 1856 г. рукопись на этих условиях была подписана к печати И. И. Бессомыкиным (*ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 366. Л. 56, 60 об.; *ЦИАМ.* Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 367. Л. 13–13 об.).

Замысел книги восходит, вероятно, к 1830-м гг., когда Гоголь, согласно дневниковой записи А. С. Пушкина от 7 апреля 1834 г., по его совету «начал Историю русской критики». Примечательно, что в черновике написанной в 1836 г. и опубликованной в пушкинском «Современнике» статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» встречается характеристика одной из самых популярных в ту пору книг по поэтике — «Учебной книги русской словесности, или Избранных мест из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории русской литературы, изданных Николаем Гречем» (2-е изд., испр. СПб., 1830; 1-е изд. 1822). «Изданная им Литература, — пишет Гоголь об «Учебной книге...» Н. И. Греча, — очень важная и нужная книга в том отношении, что она обстоятельный указатель изданных у нас сочинений, точный формулярный список авторов, требовавший... больших трудов и усилий, но она никого не определяет, никакой степени эстетического достоинства писателей». (По учебной книге Греча Гоголь-гимназист изучал русскую словесность еще в Нежине.) Критически отзывался Гоголь о теоретических воззрениях В. Т. Плаксина, автора двухтомного «Учебного курса словесности» с примерами (1-е изд. 1832; переизд. 1843—1844); см. письмо Гоголя к А. С. Данилевскому от 13 мая (н. ст.) 1838 г. В 1836 г. Гоголь намеревался поместить в «Современнике»

«обстоятельный разбор» «Истории поэзии» С. П. Шевырева (М., 1835). «...Шевырев первый, которого имя останется в летописях нашей литературы», — замечал он в рецензии на этот курс, написанной для пушкинского журнала.

Среди книг, отправленных Гоголю из Москвы в Рим в июле 1841 г., есть также «Чтения о словесности» Ивана Давыдова, «Умозрительные и опытные основания русской словесности» А. Глаголева (СПб., 1834), «Очерки русской литературы» Николая Полевого (СПб., 1839), «Теория поэзии» (М., 1836) и «Общее обозрение развития русской словесности» (М., 1837) С. П. Шевырева и др. (см.: *Воропаев В.* Книги для Гоголя // Прометей. Т. 13. М., 1983). С гимназических лет Гоголю было известно двенадцатитомное «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе», составленное А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским и А. Ф. Воейковым (1-е изд. — СПб., 1815—1817; 2-е изд. — 1821—1824); «Основание российской словесности» А. С. Никольского (4-е изд. — СПб., 1822); «Опыт о русском стихосложении» А. Х. Востокова (СПб., 1812). (Об этих книгах Гоголь упоминает в своих юношеских письмах 1824—1825 гг.) К ним следует прибавить употреблявшиеся в Нежинской гимназии «Правила словесности» Я. В. Толмачева (1814—1822). Некоторые переклички обнаруживает «Учебная книга словесности» со статьей В. Г. Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» (1841).

К учебной книге Гоголя имеет также отношение составленный им рукописный сборник «Сочинения Ломоносова и Державина», датируемый временем пребывания Гоголя в России с октября 1841 по июнь 1842 г. (см. т. 17 наст. изд.).

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся переписанные рукой Гоголя стихотворения: «К современному поколению» («Дума» М. Ю. Лермонтова), «Молитва», «Ангел», «Завещанье» (последние три с пометой: «К отделу песней»), «Спор» М. Ю. Лермонтова; «Векума» М. Н. Лихонина; «Недуг» С. П. Шевырева; «К ненашим» Н. М. Языкова, упоминаемые в «Учебной книге словесности» (см. там же). Последнее стихотворение, высланное Гоголю Н. М. Языковым в начале января 1845 г. и полученное им в Париже, являет крайнюю дату к определению времени создания книги. Вероятно, в этом году она и была написана.

к стр. 323 *...дабы не слишком велика была квадра...* — *Квадра* — здесь: пространство листа, заполненное текстом.

к стр. 325 *...действовать в живых примерах...* — Далее в рукописи следовала зачеркнутая Гоголем фраза: «Отсюда и два рода поэзии — или лирическая, или драматическая и описательная».

*...антологическом стихотворении...* — См. коммент. к с. 162. Ср. также характеристику «александрийского века» в статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834): «...век наслаждений и эгоизма, век утонченного раздробления жизни, век антологии, легкой,

душистой, дышащей сладострастием, ленью и роскошью, когда каждый принадлежал себе, жил для себя, а не для общества...»

*Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1828) — поэт. Последние два года прожил в Калуге у дочери, А. Ю. Оболенской, муж которой был калужским губернатором (см. о ней в коммент. к с. 97). 16 декабря 1845 г. А. О. Смирнова писала Гоголю из Калуги: «Между духовными лицами я отыскала одного старого священника, который обратил Юрия Александровича Нелединского к Богу и был его другом». к стр. 327

*Туманский* — см. коммент. к с. 172.

*Дума есть род стихотворений, не заимствованный ниоткуда, но образовавшийся у славян... Ее предмет — происшествие истинно историческое, действительно бывшее...* — Характеристика Гоголем жанра думы помогает понять своеобразие его историзма в знаменитой эпопее «Тарас Бульба». Согласно строкам самой повести, Гоголь изобразил в ней то время, «о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся больше на Украине бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обступившего народа», — время, «когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию». Слова эти появляются во второй редакции повести в 1842 г., но об этом же писал Гоголь и в 1834-м, в письме к И. И. Срезневскому от 6 марта: «Вы... сделали мне важную услугу изданием “Запорожской Старины”... Все думы, и особенно повести бандуристов, ослепительно хороши... Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел было отыскать... Если бы наш край не имел такого богатства песен — я бы никогда не писал Истории его...» На выход «Запорожской Старины» Гоголь откликнулся статьей «О малороссийских песнях», опубликованной в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1834. Ч. 2. № 4) и вошедшей в «Арабески» (1835). к стр. 329

На протяжении всей жизни Гоголь неустанно собирал народные песни и думы. В его тетрадях находится более пятисот записанных им малороссийских и русских песен (см. т. 17 наст. изд.).

*Песни северных конунгов имеют с ней некоторое сходство.* — Имеются в виду скандинавские саги. По их поводу Гоголь полемизировал в 1836 г. с О. И. Сенковским в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»: «Как ученый, г. Сенковский поместил довольно большую статью о сагах — статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, — ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории... эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критикою: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль».

*...в памяти всего человечества.* — Далее в рукописи следовала фраза, зачеркнутая Гоголем: «Этой всемирности нет ни в одной из новейших эпопей, исключая может быть только одного Данта...» к стр. 331

к стр. 332 *...к созданиям поэтическим.* — Далее в рукописи следовала фраза, зачеркнутая Гоголем: «Как например Сервантесов Дон Кишот, отчасти романы Фильдинга и наконец множество других».

*...Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному...* — Имеется в виду поэма итальянского поэта Лудовико *Ариосто* (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1516—1532). Во времена Гоголя существовало два ее перевода, выполненные П. Молчановым (1791—1793) и С. Е. Раичем (1832—1833).

*...Сервантес посмеялся над охотой к приключениям...* — Имеется в виду роман испанского писателя Сааведра Мигеля де *Сервантеса* (1547—1616) «Дон-Кихот» (1605–1615).

*...оставшимся, после рококо...* — В данном случае подразумевается стиль барокко, распространившийся в ряде европейских стран середины XVI—XVII вв., прежде всего Испании, Италии и Германии, от которого ведет свое происхождение французское рококо XVIII в. Оба явления Гоголь обозначает одним термином (см. коммент. к с. 37).

к стр. 333 *«Бахчисарайский фонтан»* — поэма А. С. Пушкина (1821—1823).

*...Жуковского «Маттео Фальконе»...* — Перевод стихотворного переложения одноименной повести П. Мериме, сделанного немецким поэтом А. Шамиссо. Перевод В. А. Жуковского «Маттео Фальконе», опубликованный в 1843 г. в «Современнике» (т. 32), Гоголь, по его словам в письме к П. А. Плетневу от 6 октября (н. ст.) 1843 г., «воспринимал от купели и торопил к появлению в свет». Перед отправкой П. А. Плетневу он даже переписал его своею рукою.

*...Языкова «Сурмин»...* — «Сержант Сурмин (Быль)» (1839; опубл. 1845).

к стр. 333–334 *...две повести Жуковского о жизни человеческой.* — «Две повести. Подарок на новый год издателю “Москвитянина”» (1844; опубл. 1845). Представляют собой перевод повестей Ф. Рюккерта об Александре Великом и А. Шамиссо о мудреце Кериме. По словам Гоголя в письме к С. П. Шевыреву от 14 декабря (н. ст.) 1844 г., он был «побудителем и подстрекателем» В. А. Жуковского к этому переводу.

к стр. 334 *...Пушкина о царе Султане...* — «Сказка о царе Салтане; о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (окончена 29 августа 1831 г.).

*...Жуковского... о царе Берендее...* — «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче, о хитростях Кощея бессмертного и о премудрости Марьи Царевны, Кощеевой дочери» (написана между 2 августа и 1 сентября 1831 г.).

*...о Спящей царевне и семи братьях.* — Под гоголевским названием угадываются сразу два произведения: «Сказка о спящей царевне» В. А. Жуковского (написана между 26 августа и 12 сентября 1831 г.) и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина (1833). 10 сентября 1831 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому:

«Сказка ваша уже окончена и начата другая, которой одно прелестное начало чуть не свело меня с ума (имеются в виду «Сказка о царе Берендее» и «Сказка о спящей царевне». — *И. В., В. В.*). И Пушкин окончил свою сказку! («Сказку о царе Салтане». — *И. В., В. В.*)... Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои». Высокую оценку сказок Пушкина и Жуковского Гоголь повторяет в письме к А. С. Данилевскому от 2 ноября того же года: «У Пушкина... сказки русские народные — не то что "Руслан и Людмила", но совершенно русские... У Жуковского тоже русские народные сказки... и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется появился новый обширный поэт и уже чисто русской. Ничего германского и прежнего».

*...которым издавна... дано имя эклог и идиллий и которые вообще называются пастушескими.* — Создатель жанра идиллий греческий поэт Феокрит (конец IV в. — первой половины III в. до Р. Х.) изображал в них главным образом сценки из пастушеской жизни. По форме и содержанию к ним близки десять стихотворений, или «эклог» (*греч.* — избранные), сборника римского поэта Вергилия (70—19 до Р. Х.) «Буколики» («Пастушеские песни», 42—38 до Р. Х.). На этом основании идиллии и эклоги относятся обычно к единому жанру буколической поэзии.

*...одам Горация... — Гораций* (65—8 до Р. Х.) — римский поэт. Ода (*греч.* — песня) как литературный жанр появляется впервые у Горация.

*...состязание Гомера с Гезиодом, прекрасно переделанное из* к стр. 335
*Мильвуа Батюшковым.* — Имеется в виду вольный перевод элегии французского поэта Ш.-Ю. *Мильвуа* (1782—1816), сделанный К. Н. Батюшковым, — «Гезиод и Омир — соперники» (1816—1817).

*...разговор двух шаманов о завоеваниях Ермака...* — Имеется в виду одическое стихотворение И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).

*...стихотворение Катенина, где поэт грек и поэт славянин состязаются...* — «Старая быль» (1828) Петра Александровича *Катенина* (1792—1853), поэта и критика.

*...Спор у Лермонтова Машук с Шат-горою...* — «Спор» (1841). Ср. также стихотворение Л. А. Якубовича «Урал и Кавказ», опубликованное в 4 т. пушкинского «Современника» (1836).

*...Гнедича «Рыбаки»...* — Отрывок из идиллии Н. И. Гнедича к стр. 336
«Рыбаки», печатавшейся в 1822 г. в «Сыне Отечества»; содержится в юношеском письме Гоголя к А. С. Данилевскому 1822—1823 гг.: «Чем далее, тем лучше — писал бы еще, но, право, не могу...» — заканчивает Гоголь свою выписку.

*Ее можно назвать в истинном смысле картиною...* — Идиллия (*греч.* — картинка). «Идиллией в картинах» названа Гоголем его первая поэма — «Ганц Кюхельгартен» (1827—1829).

*<Гимн Богу> Капниста* — «Возношение души к Богу. Псалом XLI» (начало 1800-х гг.).

*«Пастырь», Пушкина* — «В часы забав иль праздной скуки...» (1830) — см. коммент. к с. 39.

*«Подражание Иову», Ломоносова.* — «Ода, выбранная из Иова, глава 38, 39, 40 и 41» (1751). В гоголевских выписках «Сочинения Ломоносова и Державина» названа «Ода из Иова» (см.: Неизданный Гоголь. С. 189).

*Ода Ломоносова: «На восстановление дома Романовых в лице родившегося Императора Павла I».* — «Ода на рождение его Императорского Высочества Государя Великого Князя Павла Петровича сентября 20 дня, 1754 года». В «Сочинениях Ломоносова и Державина» названа «На рождение Павла I».

к стр. 337 *«Осень во время осады Очакова»* — стихотворение Г. Р. Державина (1788).

*«Императору Николаю», Пушкина* — см. коммент. к с. 43.

*«России», Хомякова* — «России» («Гордись, — тебе льстецы сказали...»). Это и другие упоминаемые в примерах стихотворения А. С. Хомякова вошли в сборник «КД <24> стихотворения А. С. Хомякова» (М., 1844), посланный Гоголю Н. М. Языковым из Москвы 14 декабря 1844 г.

*«На смерть Орлова», Державина* — «На кончину графа Орлова» (1796).

*«К нерусским», Языкова* — «К ненашим» (1844). В начале февраля (н. ст.) 1845 г. Гоголь писал Н. М. Языкову: «Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи “К не нашим”. Душа твоя была орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого «Землетрясенья» и сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси — Бог да хранит тебя для разума и для вразумления многих из нас».

*«Зубову», Державина* — «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797).

*«К XIX веку», Лермонтова* — «Дума» (1838).

*«К <XIX> веку», М. Лихонина* — «Век ума» (1843) Михаила Николаевича *Лихонина* (1802–1864), поэта и переводчика, сотрудника «Москвитянина». В 1851—1852 гг. М. Н. Лихонин принимал участие в чтении корректур собрания сочинений Гоголя.

*«Елисавете», Ломоносова.* — Отрывок под таким заглавием из оды Ломоносова «Ея Императорскому Величеству... Императрице Елисавете Петровне... декабря 18 дня 1757 года» (см. коммент. к с. 157) есть в гоголевском рукописном сборнике «Сочинения Ломоносова и Державина». Он начинается словами: «Великий Боже, Вседержитель...»

*«Уже со тьмою нощи», Капниста* — «На смерть Юлии» («На смерть дочери», 1792).

*«Кудри, кудри шелковые», Дельвига* — «Песня» («Наяву и в сладком сне...», 1824).

*«По дороге зимней, скучной», Пушкина* — «Зимняя дорога» (1826).

*Жуковского, «Отымет наши радости»* — «Песня» («Отымает наши радости...», 1820).

*«В местах, где Рона протекает», Батюшкова* — «Пленный» (1814).

*«Где твоя родина, певец молодой?», Языкова* — «Моя родина» (1822). к стр. 338

*«Море блеска, гул, удары...», Языкова* — «Водопад» (1830).

*«Ночь. Померкла неба синева», Языкова* — «Ночь» (1827).

*«Я взлелеян югом, югом», В. Туманского* — «Мысль о юге» (1830).

*«Я ехал к вам: живые сны...», Пушкина* — «Приметы» (1829). См. также коммент. к с. 167.

*«Песнь Гаральда», Батюшкова* — «Песнь Гаральда Смелого» (1816). Этой «Песнью...» Гоголь вдохновлялся, в частности, при создании одной из сцен своей незавершенной драмы «Альфред» (1835) (см.: *Алексеев М. П.* Драма Гоголя из англосаксонской истории // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. С. 273–276).

*«Две вечерние думы», Хомякова* — «Nachtstück» (1841).

*Лермонтова, «Молитва», «Одну молитву чудную»* — «Молитва» («В минуту жизни трудную...» (1839).

*«Два рыцаря перед девой», испанский романс Пушкина* — «Пред испанкой благородной...» (1830).

*«Песнь пажа», Пушкина* — «Паж, или Пятнадцатый год» (1830).

*«Карикатура. Сними с себя завесу, седая старина», Дмитриева* — «Карикатура. Сними с себя завесу, седая старина» (1792) И. И. Дмитриева.

*«Что мне делать в тяжкой участи моей?» Мерзлякова («Тоска сельской девушки»)* — «Сельская элегия» (1805) Алексея Федоровича Мерзлякова (1778—1830), поэта и критика.

*«Многи лета, многи лета» (народная песня), Жуковского* — «Многолетие» (1834).

*«Чувство в разлуке» («Что не девица в тереме своем»), Мерзлякова* — «Чувства в разлуке» (1805). к стр. 339

*«К востоку, всё к востоку», Жуковского* — «Песня» (1815).

*«Донскому воинству», Шатрова («Грянул внезапно гром над Москвою»)* — «Песнь Донскому воинству в 1814 году» Николая Михайловича *Шатрова* (1767—1841), поэта, лишенного зрения.

*«С Миленой позднею порою», Капниста* — «Вздох» (1798—1799).

*«Роняет лес багряный свой убор», Пушкина* — «19 октября» (1825).

*«На смерть королевы Виртембергской», Жуковского* — «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819).

*«На воспоминанье кн. Одоевского», Лермонтова* — «Памяти А. И. Одоевского» (1839).

*Пушкина, «Ненастный день потух. Туманной ночи мгла»* — «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» (1824).

*Второй перевод Греевой <элегии>, Жуковского* — «Сельское кладбище» (1839).

*«Я берег покидал туманный Альбиона», Батюшкова* — «Тень друга» (1814).

*«Лицейская годовщина», Пушкина* — «Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину...» (1831).

*«Миних», Плетнева* — см. коммент. к с. 205.

*«Тоска в немецком городке». Элегия, Языкова.* — Вероятно, «Элегия» («Толпа ли девочек крикливая, живая...», 1839, Ганау), список которой хранился в бумагах Гоголя. (Ср. здесь.: «Берусь ли за перо — всегда со мной тоска: Пора же мне домой... Россия далека!»). См. также коммент. к с. 175.

*«О, сжальтесь надо мною, о, дайте волю мне», Хомякова* — «Просьба» (1828 или 1831).

*«Когда для смертного умолкнет шумный день», Пушкина* — «Воспоминание» (1828).

к стр. 340 *«К статуе Петра Великого», Ломоносова* — Подразумевается «Надпись 5...» к статуе Петра Великого (1751).

*«Пир Потемкина, данный Екатерине», Державина.* — Отрывок под таким названием из стихотворения Г. Р. Державина «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила» (1797) есть в гоголевском рукописном сборнике «Сочинения Ломоносова и Державина».

*«Домик поэта в Обуховке», Капниста* — см. коммент. к с. 162.

*«Красавице перед зеркалом», Пушкина* — «Красавица перед зеркалом» (1821).

*«Птичке», Ф. Туманского* — см. коммент. к с. 172.

*«Красавице», Пушкина* — «Красавице, которая нюхала табак» (1814).

*«На спуск корабля Златоуста», Ломоносова* — «Надпись на спуск корабля, именуемого Иоанна Златоустого...» (1751).

*«К статуе играющего в бабки», Пушкина* — «На статую играющего в бабки» (1836).

*«О милых призраках», Жуковского* — «Воспоминание» («О милых спутниках, которые наш свет…», 1821).

*«Нимфа», Баратынского* — «Наяда» (1826).

*Последние стихи, Веневитинова* — «Поэт и друг» (1827).

*Последние стихи, Державина* — «Река времен в своем стремленьи...» (1816).

*«Рифма», Пушкина* — «Рифма, звучная подруга...» (1828).

к стр. 341 *«Гомер и Гезиод», Батюшкова* — см. коммент. к с. 335.

*<«Ермак»> Катенина.* — Вероятно, «Старая быль» (1828). См. коммент. к с. 335.

*«Спор <Казбека> с Шат-горою», Лермонтова* — см. коммент. к с. 335.

*«Каприз», Пушкина* — «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» (1830).

*Сцены из «Цыган», Пушкина.* — Возможно, имеются в виду отрывки из поэмы, печатавшиеся в «Полярной Звезде» на 1825 г., «Московском Телеграфе», 1825, № XXI и «Северных Цветах на 1826 год».

*«Солдат», Дельвига* — «Отставной солдат (русская идиллия)» (1829).

*«Сторож ночной», Жуковского* — «Деревенский сторож в полночь» (1816).

*«Олег», Пушкина* — «Песнь о вещем Олеге» (1822) или «Олегов щит» (1829).

*«Эвпатий», Языкова* — «Евпатий» (1824).

*«Острогожск», Рылеева* — «Петр Великий в Острогожске» (1823) Кондратия Федоровича *Рылеева* (1795—1826).

*«Пир на Неве», Пушкина* — «Пир Петра Первого» (1835). См. также коммент. к с. 50.

*...когда уже совокупилась в тебе самом наука в одно крепкое ядро... тогда можешь проповедовать ее...* — Образец научного слога Гоголь видел в лекциях С. П. Шевырева. Прочитав в 1845 г. опубликованный в «Москвитянине» «Отрывок из вступительной лекции профессора Шевырева в истории русской словесности, преимущественно древней», Гоголь писал Н. М. Языкову 1 мая (н. ст.): «Отрывок из вступительной лекции Шевырева мне понравился очень. Шевырев вызрел и установился в надлежащие границы. Все теперь как следует, не растянуто и не кратко, в строгом логическом ходе и порядке, и с тем вместе в живом, не похожем вовсе на мертвечину сухопарой логики немецкой. Словом, в первый раз преподается наука в том виде, в каком ей следует преподаваться в России и русским». к стр. 344

**Оглавление <к сборнику стихотворений>**

Впервые напечатано: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М., 1994. Написано в конце 1840-х — возможно, в начале 1850-х гг. Согласно заглавию, представляет собой «Оглавление» к сборнику избранных стихотворений русской и западноевропейской поэзии (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гюго, Ламартин и др.). Стихотворения, включенные в список, являют собой как бы наглядную иллюстрацию положения Гоголя об искусстве как «незримых ступенях к христианству» (см. коммент. к с. 58–59).

*«Молитва» Пушкина.* — Вероятно, стихотворное переложение А. С. Пушкиным великопостной молитвы св. Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836). В изложении, близком к пушкинскому, Гоголь цитирует одну из строк этой молитвы в письме к сестрам от июля 1851 г.: «Дух же терпения, смирения, к стр. 345

любве даруй мне!» Ср. у Пушкина: «И дух смирения, терпения, любви...»; и в самой молитве: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми...»

*Отрывок из «Иоанн Антон Лейзевиц» Кукольника* — Отрывок из драматической фантазии «Иоанн Антон Лейзевиц» (1837) *Кукольника* Нестора Васильевича (1809—1868), поэта, драматурга, беллетриста, соученика Гоголя по Нежинской гимназии.

*«Беседа души с гением» гр. Е. Растопчиной* — стихотворение графини Евдокии Петровны *Ростопчиной* (1811—1858) «Туда, где жизнь. Вечерняя беседа души с Ангелом-Хранителем» (1840).

*«Scene des Burgraves» V. Hugo* — баллада *В. Гюго* (1802—1885) *«Охота Бургграфа»*.

*«Мне грустно» Лермонтова* — стихотворение М. Ю. *Лермонтова* «Отчего» («Мне грустно, потому что я тебя люблю...», 1840).

*«Одиночество» Д. Ленского* — *Ленский* (наст. фамилия Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805—1860), водевилист, поэт, переводчик, артист Малого театра (играл Хлестакова на первых представлениях «Ревизора»).

*«Вопрос» Юрия Волкова* — *Волков Юрий* (Георгий) Александрович (1826—1862), критик, очеркист, поэт. Упомянутые Гоголем стихотворения «Вопрос» и «Утешение» опубликованы в «Библиотеке для Чтения» (1847. Т. 84).

*«Пигмалион» Иеронима Южного* — *Иероним Южный* — псевдоним поэта Михаила Марковича Меркли (1817—1846).

*«Puisqu'un Dieu saigne au Calvaire» V. Hugo* — имеется в виду стихотворение *В. Гюго* «A cette terre, ou l'on ploie...» (1838) из сборника «Les Rayons et les Ombres» («Лучи и тени», 1840). Гоголь приводит начало 13-й строфы: «И раз Господь проливает кровь на Голгофе...» (следующая строка: «То нам о себе, поверь, жалеть не стоит»*)*.

*«Жизнь» Филарета* — см. коммент. к с. 39.

*«Жене» Козлова* — стихотворение И. И. *Козлова* «Прекрасный друг минувших светлых дней...» (1824), предваряющее его поэму «Чернец».

*Письмо из романа «Два призрака» Фан Дима* — *Фан Дим* (Ван Дим) Федор — псевдоним беллетристки и переводчицы Елизаветы Васильевны Кологривовой (рожд. Попова, 1809—1884). Роман «Два призрака» был напечатан в 1842 г. в Петербурге (Ч. 1–4).

*«Jocelyn» Lamartine* — поэма А. *Ламартина* (1790—1869) «Жоселен» (1836).

*«Воспоминание» Пушкина* — «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...», 1828). См. коммент. к с. 339.

*«L'ur cette page blanche»* — «Стихотворение в альбом» А. Ламартина («На этой чистой странице...»).

*«Притворной нежности не требуй от меня» Баратынского* — стихотворение Е. А. *Баратынского* «Признание» (1823).

*«Когда б он знал»* — стихотворение графини Е. П. Растопчиной «Когда б он знал!» (1830).

*«Лебедь» Жуковского* — Вероятно, «Умирающий лебедь» (1827). Возможно, однако, имеется в виду «Царскосельский лебедь» (1851) В. А. *Жуковского.* Список последнего стихотворения сохранился в бумагах Гоголя (см.: Неизданный Гоголь. С. 382–384). к стр. 346

*«Parle moi!» Lamartine* — «Скажи мне!» А. *Ламартина.*

*«Сердце» Губера — Губер* Эдуард Иванович (1814—1847), поэт, переводчик, критик. Осудил книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (Санкт-Петербургские Ведомости. 1847. 14 февраля).

*«Pauvre femme!» V. Hugo* — «Нищенка» *В. Гюго.*

*«Amant <?> le froid de la mort» Lord Byron* — букв. с *фр.*: «Любя <?> холодное дыханье смерти» *лорда Байрона* (1788—1824).

*«Mon âme est triste» Lord Byron* — стихотворение Дж. *Байрона* «Моя душа темна» из цикла «Еврейские мелодии» (1815). Ср. вольный перевод М. Ю. Лермонтова «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 1836; опубл. 1839).

## Размышления о Божественной Литургии

Впервые напечатано: Размышления о Божественной Литургии. Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша. СПб., 1857.

Творческую и цензурную историю «Размышлений о Божественной Литургии» см. в сопроводит. статье к наст. тому. См. также: *Воропаев В. А.* «Размышления о Божественной Литургии» Николая Гоголя: из истории создания и публикации // Вестник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. М., 2003. № 1.

Следует иметь в виду, что сочинение Гоголя не преследовало научных задач и в этом отношении уступает многим исследованиям и даже пособиям по курсу богослужения или литургики. «Размышления о Божественной Литургии» — это продукт не столько ума, сколько сердечной веры. Напомним, что по свидетельству современников, Гоголь намеревался издать свое сочинение без имени автора, сделать его понятным для народа. «Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, — писал он в “Предисловии”, — выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою... Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значенье ее раскрываться будет само собою».

О том, что Гоголь успешно справился с задачей ознакомления молодых людей со смыслом православного богослужения и очередностью его действий, говорит тот факт, что Императрица мученица Александра Феодоровна в целях объяснения цесаревичу Алексию обедни читала вместе с ним «Размышления о Божественной Литургии» Гоголя. См.: «Дневник Государыни Императрицы Александры Феодоровны» за декабрь 1917 и январь — март 1918 года (*ГАРФ.* Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 333 и 326).

Комментарий к тексту «Размышлений...» написан при участии диакона Иоанна Нефедова.

### Вступление

к стр. 349 *...в сочинениях патриарха Германа, Иеремии, Николая Кавасилы, Симеона Солунского, в Старой и Новой Скрижали, в объяснениях Дмитриева...* — Об этих сочинениях см. в сопроводит. статье к наст. тому. См. также: Николая Кавасилы, архиепископа Фессалоникийского, Изъяснение Божественной Литургии // Писания Святых Отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. 3. СПб., 1857; Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского // Там же. Т. 2, Т. 3.

к стр. 350 *...Им же мир бысть...* — «Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1, 3).

### Проскомидия

*...вместе с диаконом поклоняются...* — Творят три поясных поклона.

*...оба пред Царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь...* — Гоголь имеет в виду так называемые «входные» молитвы, только порядок совершения этих молитв излагается им не совсем точно. После троекратного поклонения перед Царскими вратами диакон произносит «Благослови, владыко», и священник начинает: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Диакон произносит: «Аминь» и читает обычное начало и положенные молитвословия. На соответствующих молитвах (тропарях) священник и диакон целуют по очереди образы Спасителя и Богородицы, расположенные в иконостасе. «Ликам святых всех» они не поклоняются, но диакон сразу произносит: «Господу помолимся», и священник, преклонив голову, читает перед Царскими вратами молитву «Господи, низпосли руку Твою от святаго жилища Твоего...». Только после этого священник и диакон «поклоняются всем предстоящим». Затем кланяются друг другу и с чтением положенного фрагмента 5-го псалма заходят в алтарь.

*Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе Твоем.* — Фрагмент 5-го псалма, а именно со второй трети 8-го стиха до конечного 13 стиха включительно. Читается диаконом вслух.

*...три наземных поклона...* — Служебник предписывает совершить перед престолом три поклона, не сообщая, какие должны быть поклоны: земные или поясные. В настоящее время это зависит от традиции служения конкретного священника, а также от предписаний устава (в определенные дни и периоды не полагается земных поклонов).

*...и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и самую трапезу...* — По устойчивой традиции поклонение перед престолом совершается в следующем порядке: два поклона, целование Евангелия и престола, третий поклон.

*...ежедневными житейскими делами.* — Далее в рукописи зачеркнута целая страница: «...и чтобы напомнить с тем вместе о всей великости предстоящего служения. Посему и самое облачение исполнено смысла, соединяя в себе ту ветхозаветную одежду, которую устами пророка Моисея Сам Ветхий деньми установил церкви, повелевши Аарону представать великолепно перед страшный престол Его: «да не умрет!» От времен апостольских уже надевал<ась> эта отличная от других одежд одежда... в которой все обращено в напоминанье, чтобы душа облекалась в высшие доблести, которых символом является всякая одежда. Хотя и не могла гонимая Церковь придать ей всего нынешнего великолепия, но строго предписывалось уже издавна, чтобы пресвитер не являлся на служенье в своей повседневной одежде, и чтобы никто из клира не посмел выно<сить> на улицу той одежды, которую имел на себе во время служения. Облекая себя в сии сияющие облачения, которые облекают его тело, служитель церкви вместе должен облекаться в высшие сияющие доблести душевные, которыми должен облечься дух его. Почему всякое воздевание сопровождает он словами, выбранными из псалмов, в которых раскрывается глубокое значение воздеваний, дабы не отлучилась его мысль куда-нибудь в сторону, занятая таким обыкновенным делом, каково одеяние, но настроялась бы и самим сим одеванием к высокому служению, и предстал бы он, подобно Аарону, одетый великолепно и телом, и духом перед страшный престол Всевышняго, «да не умрет». И священник, и диакон, принимая в руки одежды свои, творят каждый по три поклона к востоку, произнося в себе...»

*Боже! очисти меня грешного и помилуй меня!* — Гоголь использует русский вариант молитвы. В богослужении используется церковнославянский текст: «Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя».

*...священник и диакон берут в руки одежды.* — По служебнику, священник и диакон сначала берут в руки не все «одежды», а только стихари, и уже со стихарями в руках трижды поклоняются на восток, произнося: «Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя». В современной практике диакон сразу берет стихарь, орарь и поручи. Священник не берет в руки стихаря (подризника), совершая поклонение перед облачением.

*Сначала одевается диакон...* — Священник и диакон начинают облачаться одновременно. После троекратного совместного поклонения на восток диакон подходит к священнику со словами: «Благослови, владыко, стихарь со орарем». Получив благословение, диакон начинает облачаться. В этот же момент начинает облачаться и священник.

*...подризник блистающего цвета...* — Подризником называется стихарь у священника, поскольку надевается «под ризу» или «ризы». Подризник традиционно изготавливается из тонкой легкой материи и изначально рассчитан на то, что большая часть его покроется другими деталями облачения, из под которых он будет виден лишь отчасти. Диакон же надевает собственно стихарь, который является его «главной ризой» и поэтому чаще всего изготавливается из материи «блистающего цвета».

*...почему и произносит при воздевании его...* — Здесь и далее Гоголь, желая, видимо, придать возвышенный характер описанию процесса облачения, использует слово «воздевать» в не характерном для него значении «одевать». Традиционное значение глагола «воздевать» — поднимать вверх, возносить (см.: Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847. Т. 1. С. 147). При одевании деталей облачения ни одна из них специально не поднимается вверх.

**к стр. 350–351** *Возрадуется душа моя о Господе... и, яко невесту, украси мя красотою.* — Книга пророка Исаии (гл. 61, ст. 10–11).

**к стр. 351** *Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов.* — Гоголь приводит молитву в русском переводе. На церковнославянском языке она звучит следующим образом: «Десница Твоя, Господи, прослався в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги и множеством славы Твоея стерл еси супостаты» (Ср.: Исх. 15, 6–7). В богослужении все молитвословия произносятся по-церковнославянски.

*Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям.* — Церковнославянский текст: «Руце Твои сотвористе мя и создасте мя. Вразуми мя, и научуся заповедем Твоим» (Пс. 118, 73).

*Священник... надевает стихарь...* — В священническом облачении стихарь называется подризником.

*...не простой одноплечный орарь, но двухплечный...* — Наименования «одноплечный» и «двухплечный» принадлежат Гоголю. Имеется в виду историческое происхождение епитрахили. По сути это тот же самый орарь, второй конец которого через шею свешивается на грудь. Блаженный Симеон Солунский так пишет об епитрахили: «Потом переносит <архиерей при рукоположении диакона во священника> орарь с левого плеча <рукополагаемого> на правое, заднюю часть передвигая наперед и таким образом поставляя рукополагаемого как бы под ярмо» (Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского // Писания Святых Отцов и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1856. Т. 2. С. 234).

*...покрыв оба плеча и обняв шею...* — *Орарь* — узкое длинное лентие. Перекинутый через шею, он не может *покрывать* плечи.

*...знаменуя сим соединение в его должности двух должностей — иерейской и диаконской.* — Ср.: «...из этого символа он

<священник> должен разуметь, какую получил благодать, т. е. что прежде на нем лежала обязанность совершать одно только дело — служения при Таинствах, теперь же он призывается к совершению Таинств и ко священству во всей полноте его; таким образом возлагается на него большее иго, и он обязывается служить и пещись о всем деле священства. Потому он вторично опоясуется, как призванный к высшему делу» (Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. С. 236).

*И называется он уже не орарем, но епитрахилью...* — *Епи-трахиль* (от *греч.* ἐρι — на, τράχηλος — шея; букв.: нашейник (см.: *Вениамин, архиеп.* Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1999. С. 87).

*Благословен Бог, изливающий благодать... одежды его.* — Псалом 132, 2.

*...надевает поручи на обе руки свои... и препоясует себя поясом...* — Сначала священник препоясует себя поясом, а потом надевает поручи.

*Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь* к стр. 352 *мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких...* — Гоголь приводит молитву в русском переводе. Священник произносит ее по-церковнославянски: «Благословен Бог, препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя» (Пс. 17, 33–34).

*...привешивает к бедру своему четыреугольный набедренник...* — Следует различать в русской практике набедренник (прямоугольный плат) и палицу (ромбовидный плат). Гоголь, не различая эти два понятия и основываясь на сообщении блаженного Симеона Солунского, имеет в виду *епигонатий* (набедренник, или наколенник) архиерейский, который в русском облачении называется *палицей.* Право ношения палицы для священника действительно связано с возведением в высшее звание. Архиепископ Вениамин в «Новой Скрижали» цитирует блаженного Симеона: «Некоторые из первых пресвитеров, т. е. имеющие кресты, и некоторые из архимандритов имеют набедренник. Набедренник, как и крест, жалует архиерей. Известно, что без воли архиерейской никто не может носить набедренника, и на фелони и главе креста. Архимандритам же, так как они получают посвящение высшее, набедренник позволяется носить в священнодействии. Ибо некоторые из них в хиротонии вместе со священством получают право суда и исполнение какой-нибудь значительной церковной должности. Так они делаются настоятелями и икономами. Поэтому-то они и носят некоторый знак первого пастыря, которому должны подражать» (*Вениамин, архиеп.* Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. С. 88). По ныне действующему Положению о наградах Русской Православной Церкви награждение палицей «производится Указом Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси не ранее чем через пять лет после возведения в сан протоиерея (для монашествующих — игумена)» (Положение. II, 3). Набедренник, который имеет в виду Гоголь, является чисто русским явлением и не зависит от высоты должности. Напротив, он есть первая священническая награда (награждение производится указом епархиального архиерея не ранее, чем через три года после хиротонии награждаемого), и именно его надевает иерей после поручей (так, чтобы плат набедренника располагался на правой стороне). Палица же одевается протоиереем или игуменом (а также архимандритом) после набедренника. В этом случае набедренник располагается на левой стороне, а палица — на правой (подробнее о набедреннике и палице см.: Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 2001. С. 141–142).

*Препояши меч Твой по бедре Твоей... и наставит тя дивно десница Твоя.* — Псалом 44, ст. 4–5. Здесь и в следующей молитве после псаломских слов прибавляется: «всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

*...надевает иерей фелонь...* — Фелонь (греч. φελόνιον, риза) — верхнее богослужебное облачение без рукавов православного священника. Первоначально фелонь представляла собой просторную одежду из мягкой материи, имеющую вырез только для головы и полностью покрывающую тело с плеч до ног. В определенные моменты богослужения передний край фелони поднимался с помощью шнурка. С некоторого времени фелонь в Русской Православной Церкви имеет дополнительный вырез спереди (так, что переднее полотно фелони заканчивается примерно на уровне пояса) и уже не является буквально «всепокрывающей» одеждой. При этом символика фелони сохраняется (подробнее о фелони см.: Настольная книга священнослужителя. Т. 4. 135–139; *Вениамин, архиеп.* Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. С. 88–89. Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. С. 235–237).

*Священники Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются.* — Пс. 131, 9.

*...как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святый...* — *Наляцати* — напрягать, натягивать. Например: «Яко се, грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле» (Пс. 10, 2). Или: «Наляцая налячеши лук твой на скиптры» (Авв. 3, 9). У Гоголя не совсем правильное падежное управление: следовало бы сказать не «орудие Божие, которым наляцает», а «орудие Божие, которое наляцает Дух Святый», т. е. священник здесь уподобляется упругой тетиве духовного лука, которую «натягивает» Дух Святый.

*Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой.* — Фрагмент 25-го псалма (ст. 6–12).

*Боже! очисти мя грешного и помилуй...* — В словах не хватает заключительного местоимения. Молитва звучит так: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя».

*Диакон напоминает о начале священнодействия...* — Слово *напоминает* в данном случае не совсем точно, т. к. предполагает, что священник может забыть о начале священнодействия, а диакон ему напоминает. На самом деле такие предваряющие реплики диакона суть проявление его помогающего служения и часть церковной богослужебной традиции. Никакого воздействующего на священника влияния они оказывать не должны. Так, при служении без диакона священник вполне обходится без подобных «напоминаний», предваряющих его слова и действия. Настоящее примечание справедливо для всех последующих случаев употребления в тексте указанного слова в соответствующем контексте.

*...приступает к боковому жертвеннику.* — В церковном речевом обиходе не встречается такого названия для жертвенника. Жертвенник располагается слева от престола. Престол находится в центре алтаря. Возможно, Гоголь, желая отличить жертвенник от престола, который также иногда называют жертвенником (на нем приносится Бескровная Жертва), называет его *боковым*. В церковнославянском тексте служебника, следуя греческому, престол называется «трапезой», а жертвенник — «предложением». к стр. 353

*Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений, или хлебов-просфор...* — *Просфора* (греч. προσφορά) — приношение.

*...того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.* — Это не единственное назначение проскомидии. Приготовляется всё необходимое для Таинства: хлеб (Агнец) и святое соединение (вино с водой). Затем поминается вся Церковь: Небесная (Пресвятая Богородица, св. Иоанн Предтеча, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, чудотворцы-бессребреники, святые праведные Иоаким и Анна, святой дня, все святые, святитель, Литургия которого служится) и земная (Святейший Патриарх и «всякое епископство православных», правящий архиерей, «честное пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический чин», живые и мертвые). Гоголь далее описывает последование проскомидии.

*...воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире.* — На проскомидии воспоминание Рождества Иисуса Христа соединено с воспоминанием Его страданий и смерти (см. подробнее: *Вениамин, архиеп.* Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. С. 96–97).

*...при задернутом занавесе...* — В русском церковном лексиконе употребляется слово «завеса».

*...час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой.* — Первый час соответствует нашему шестому часу утра, третий — девятому, шестой — двенадцатому часу дня, девятый — третьему.

*Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.* — Непосредственно перед Литургией читаются только третий и шестой часы. Первый час читается перед ними и вместе с ними только в случае совершения утрени с утра (как и полагается по уставу). Девятый час читается обычно перед вечерней. Все часы вместе читаются в период Великого поста и во время так называемых Царских часов три раза в год.

*Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма...* — Имеется в виду боковое помещение храма, отдельное от алтаря. В этом помещении в древности располагалось предложение (жертвенник). Углубление стены, в котором располагается предложение, Гоголь считает символом древней практики. Однако в русских храмах далеко не всегда жертвенник располагается в углублении стены.

*...иерей берет... одну из просфор...* — В современной русской практике проскомидия совершается на пяти просфорах.

к стр. 354 *Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии...* — Священник, произнося слова пророка Исаии, водружает копие в правую сторону печати и *режет* (не до конца). Таким же образом он режет и с других сторон печати.

*как овечка ведется на заколение... и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его...* — Церковнославянский текст: «Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен: тако не отверзает уст Своих» (Ис. 53, 7).

*Род же Его кто исповесть?.. яко вземлется от земли живот Его...* — Книга пророка Исаии (гл. 53, ст. 8).

*...начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его...* — Не просто *начертывает*, но, обратив его печатью вниз, крестовидно надрезает его, немного не доходя до печати. По этим надрезам священник разломит Святой Агнец после возгласа «Святая святым» со словами: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и не разделяемый, всегда ядомый (вкушаемый) и никогдаже иждиваемый (рус.: никогда не оскудевающий, не умаляющийся), но причащающияся освящаяй (рус.: но причащающихся освящающий)».

*Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение.* — Церковнославянский текст: «Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирский живот и спасение».

*...обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву...* — Священник обращает хлеб печатью вниз, «в подобье агнца, приносимого в жертву», во время крестовидного надрезывания. После этого он переворачивает хлеб и ставит его на дискос печатью вверх и уже в таком его положении «прободает» копием с правой стороны.

*...един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его.* — Евангелие от Иоанна (гл. 19, ст. 34–35).

*...произнося внутри самого себя: Господу помолимся!* — Эти слова произносятся диаконом вслух негромко.

*Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.* — Преложатся в истинные Тело и Кровь Христовы.

к стр. 355
*Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащены одеяна, преукрашенна.* — Церковнославянский текст: «Предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена» (Пс. 44, 10).

*...и святого, его же день...* — А также равноапостольных и всех святых.

*...изъемлет... частицы во имя Императора, во имя Синода...* — После падения монархии в России и восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви Император и Синод не поминаются на проскомидии. Сейчас поминовение имеет следующий вид: «Помяни, Владыко Человеколюбче, Святейшия Православныя Патриархи и Великаго господина и отца нашего Святейшаго Патриарха (имя), господина высокопреосвященнейшаго (или: преосвященнейшаго) (имя) (*поминается правящий архиерей. — Диак. И. Н.*), и всякое епископство православных, честное пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический чин (аще во обители: архимандрита или игумена (имя)), братию и сослужебники наша, священники, диаконы, и всю братию нашу, яже призвал еси во Твое общение Твоим благоутробием, Всеблагий Владыко».

*...изъемлет частицу за себя самого...* — Со словами: «Помяни, Господи, и мое недостоинство, и прости ми всякое согрешение, вольное же и невольное».

к стр. 356
*Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос...* — *Губка* — натуральная морская губка, выдержанная под прессом для приобретения плоского вида.

*...дабы ничто не пропало из Святого Хлеба, и все бы пошло в утверждение.* — Эти слова исключены цензурой. Ко всему отрывку о проскомидии цензор архимандрит Кирилл сделал следующее подстрочное примечание: «Частицы, изъятые из просфор с воспоминанием имени того, кто принес и за кого принес их, к концу Литургии, по причащении, погружаются в Чашу, с молением: «*Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих*»». См. коммент. к с. 391–392.

*И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей...* — Служебник не предписывает совершать поклонение в этом месте проскомидии.

*...приветствует Его каждением фимиама...* — Далее было: «...обрядом, восходящим к глубокой древности, когда возносил<ось> Богу благоухание, как лучшее, что ни находил<и> на земле. Но не одно благоухание вещественное возносит иерей, — возносит он с ним

соединенное благоухание духовное, без которого ничтожно было бы каждение. Почему диакон, еще прежде самого каждения, напоминает ему, дабы благословил и самое кадило, и благословляет иерей, читая в то же время молитву кадила, а молитва в таких словах». Ср. просьбу Гоголя в письме к Ф. Н. Беляеву от 5 марта (н. ст.) 1845 г. из Франкфурта: «Попросите... священника нашего (протоиерея Димитрия Вершинского. — *И. В., В. В.*)... чтобы он списал для меня... небольшую выписку из книги, которую я у него брал за день до моего отъезда и в которой собраны некоторые статьи относительно богослужения. Из этой книги я прошу у него выписать о фимиаме и кадиле».

*...Небо стало вертепом...* — Ср.: «Таинство странное вижу и преславное: Небо — вертеп, Престол херувимский — Деву, ясли — вместилище, в нихже возлеже Невместимый Христос Бог...» (ирмос 9-й песни канона Рождества Христова). Или: «Едем Вифлеем отверзе, приидите видим, пищу в тайне обретохом: приидите, приимем сущая райская внутрь вертепа...» (Икос Рождества Христова). *Вертеп* — пещера.

*Обкадив звездицу...* — Диакон держит в правой руке кадильную чашку. Священник, взяв звездицу, держит некоторое время над кадильницей и затем ставит на дискос, произнося положенные слова. Так же священник поступает с двумя покровцами на дискос и Чашу: произнося положенные слова, он некоторое время держит каждый покровец над кадильницей, и затем полагает: первый — на дискос, второй — на Чашу.

*...две золотые дуги...* — Традиционно богослужебные сосуды изготовляются из металла и золотятся. Но довольно распространены также евхаристические сосуды из серебра.

*И, пришедши, звезда стала вверху, иде же бе Отроча...* — Евангелие от Матфея (гл. 2, ст. 9).

*Господь воцарися, в лепоту облечеся... — псалом, в котором воспевается дивная высота Господня.* — Псалом 92.

*Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля.* — Церковнославянский текст: «Покры Небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь земля». Ср.: «Покры Небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля» (Авв. 3, 3).

*И взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе...* — Перед покрытием диакон выпускает из правой руки кадильную чашку и держит кадильницу за кольца навесу. Священник, взяв общий покров (возду́х), обхватывает им кадильницу и некоторое время держит, затем покрывает дискос и Чашу вместе, произнося слова: «Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата: умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко Благ и Человеколюбец».

*...да покроет нас кровом крыла Своего...* — Гоголем неправильно понята церковнославянская форма двойственного числа:

«крилу Твоею». Ее следует переводить множественным числом, а не единственным: «да покроет нас кровом крыльев Своих».

*...как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу... изобразуя в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами.* — См.: Евангелие от Матфея (гл. 2, ст. 10–11).

*О предложенных Честных Дарах Господу помолимся!* — Церковнославянский текст: «О предложенных Честных Дарех Господу помолимся». к стр. 357

*...читает священник для себя одного молитву...* — Из содержания «Молитвы предложения» не явствует, что это молитва священника для «себя одного».

*Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас, Сам благослови предложение сие и прими во свышенебесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Таин Твоих.* — Церковнославянский текст молитвы: «Боже, Боже наш, Небесный Хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, пославый Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословяща и освящающа нас, Сам благоволи предложение сие и приими е в Пренебесный Твой жертвенник. Помяни, яко Благ и Человеколюбец, принесших, и ихже ради принесоша: и нас неосуждены сохрани во священнодействии Божественных Твоих Таин. Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

*...диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу.* — Согласно служебнику, диакон кадит Святое Предложение, а затем трапезу. На практике, чаще всего, происходит иначе: сотворив отпуст проскомидии, священник кадит трижды Предложение, затем — диакона и отдает ему кадило. Диакон трижды кадит священника, и затем они вместе покланяются Богу и кланяются друг другу. После чего диакон отходит к Царским вратам, отдергивает завесу и начинает каждение, которое имеет следующий порядок: святую трапезу (престол) «кругом крестовидно», Святое Предложение, алтарь (святилище), духовенство по чину, иконостас, клиросы, народ, весь храм по кругу. Затем диакон возвращается к Царским вратам, кадит их и иконы Спасителя и Божией Матери в иконостасе, заходит в алтарь, еще раз кадит святую трапезу, предстоятеля и «отлагает кадильницу» (отдает пономарю).

*...во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный.* — Тропарь из Часов Святой Пасхи. После прочтения тропаря диакон, совершая каждение дальше, читает про себя псалом 50-й: «Помилуй мя, Боже...»

*...Тайную вечерю, носящую имя Литургии...* — *Литургия* (*греч.* λειτουργία) — «служение», «общее дело».

*...пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги.* — См.: Ин. 13, 3–15. Лк. 22, 25–27.

*...во Христе все живы и неразлучны.* — «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мф. 22, 32). «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).

*...возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону...* — Диакон не кадит еще раз алтарь. По входе в него он кадит только Святую Трапезу (престол) с передней стороны и предстоятеля, после чего отдает кадило пономарю.

к стр. 358 *...священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго...* — Священник читает молитву «Царю Небесный...», диакон стоит справа, подняв орарь тремя перстами правой руки.

*...о чесом бо помолимся, не вемы, говорит апостол Павел: но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьи неизглаголанными.* — Ср.: «Сице же и Дух способствует нам в немощех наших: о чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголаными» (Рим. 8, 26).

*...священник, и диакон дважды произносят песнь, которою приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа...* — Священник произносит песнь, диакон же внимает ей, произнося ее в себе. Песнь эта произносится после призывания Святого Духа.

*...Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.* — Евангелие от Луки (гл. 2, ст. 14).

*И вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь...* — Завеса уже отдернута диаконом перед началом каждения после Проскомидии.

*Господи! отверзи уста моя — и уста моя возвестят хвалу Твою.* — См. псалом 50, 17.

*Время сотворить Господу: благослови, владыко!* — Церковнославянский текст: «Время сотворити Господеви, владыко, благослови». Ср.: «Время сотворити Господеви: разориша закон Твой» (Пс. 118, 126). Примечательно, что в этих словах речь идет не о том, что наступило время священнику и диакону послужить Богу, а о том, что наступило «время действовать Господу».

*Помолись обо мне, владыко!* — Церковнославянский текст: «Помолися о мне, владыко святый».

*И, взошед на амвон, находящийся противу Царских врат...* — Имеется в виду исторический амвон (*греч.* ἄμβων), специальное «возвышение», с которого читалось Священное Писание, возглашались и пелись некоторые богослужебные тексты, произносились

проповеди. В настоящее время в русских храмах возвышенного амвона нет. Амвоном называется полукруглый выступ в центральной части солеи напротив Царских врат. Поэтому диакон, выйдя из алтаря для произнесения ектении, просто встает по центру на полукруглом выступе солеи.

*...повторяет еще раз в самом себе...* — Поклоняясь с благоговением трижды.

**Литургия оглашенных**

*...называется Литургией оглашенных.* — *Оглашенный* (*греч.* κατηχούμενος) — человек, желающий принять Крещение и изучающий основы веры. Институт оглашенных возник в древней Церкви в связи с тем, что перед принятием крещения люди проходили обязательную катехизацию. В настоящее время института оглашенных в общецерковном масштабе не существует, хотя некоторые священники пытаются возрождать практику длительного оглашения перед крещением. к стр. 359

*...благосостоянии Святых Божиих Церквей...* — Диакон призывает молиться не о благосостоянии, а о благостоянии (εὐσταθείας) святых Божиих Церквей (τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν), т. е. о том, чтобы Церкви (собрания, общества) Божии жили в мире, спокойствии и благополучии, и, что самое главное, твердо стояли в исповедании Христовой Истины (εὐστάθιος — «твердый, стойкий, неизменный»). Ср.: «темже убо, братия, стойте и держите предания, имже научистеся, или словом, или посланием нашим» (2 Сол. 2, 15).

*...и соединении всех...* — Верующие молятся в этом прошении о соединении всех по примеру Спасителя, который в Своей первосвященнической молитве обращался к Отцу Небесному: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17, 20–23).

*...о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом...* — Не просто страхом, но страхом Божиим.

*...о Государе, Синоде...* — В настоящее время 5-е прошение мирной ектении звучит так: «О великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о господине (нашем) высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе) (имя) (поминается правящий архиерей), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся». Государь не поминается; Синод также не поминается, т. к. восстановлено патриаршество.

*...о... палатах...* — То есть о придворных и гражданских чинах. к стр. 360
По объяснению И. И. Дмитревского, палатными (от лат. palatium —

дворец) назывались в Римской империи придворные и гражданские службы, в отличие от военной. «Ибо древние императоры Греческой и Римской Империи все службы государственные разделяли на три рода: на друженосную, т. е. военную, придворную и гражданскую. Придворная и гражданская означаемы иногда были одним названием Палатных» (*Дмитревский И.* Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. Репринтное издание. М., 1993. С. 190).

*...об обители, в которой служится Литургия...* — Или просто *о храме*, если Литургия служится не в обители.

*...об обилии плодов земных...* — Не просто об *обилии*, но об *изобилии*.

*Цепь молений завершает диакон троичным славословием...* — Не диакон, а священник завершает ектению троичным славословием, которое носит литургическое название «возглас». Каждый возглас священника есть завершение молитвы, читаемой им тайно в алтаре.

*Антифоны — противугласники, песни, выбранные из псалмов...* — Антифон (*греч.* ἀντίφωνος — звучащий попеременно), псалом с припевом или только псалом, исполняемый попеременно двумя хорами.

*...поются попеременно обоими ликами...* — *Лик* — хор.

*на обоих крылосах...* — *Крылос* — народное название клироса, места поющих в Церкви или даже самого собрания поющих. *Клирос, клир* (от *греч.* κλῆρος — жребий, надел). Так называлось духовенство, прежде избиравшееся по жребию. В древности (и в настоящее время в некоторых поместных Церквях) человек, поющий в Церкви, должен был пройти хиротесию в певца и таким образом становился частью клира, причта церковного.

*...заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные...* — По-видимому, Гоголь имеет в виду антифоны вседневные, которые, по сравнению с антифонами изобразительными, представляют собой выбранные из псалмов стихи с припевами «Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас» (для 1-го антифона), «Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас» (для 2-го), «Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый, поющия Ти: аллилуиа» (для 3-го). Возможно, Гоголь разумеет здесь практику пения всего нескольких стихов из псалмов изобразительных или же ветхозаветное антифонное пение псалмов при богослужении в иерусалимском храме.

*Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой...* — Молитву первого антифона священник читает во время великой ектении: «Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непостижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно: Сам, Владыко, по благоутробию Твоему, призри на ны и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами богатыя милости Твоя и щедроты Твоя». Возглас от этой молитвы («Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков») священник произносит в конце великой ектении.

*...диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, подняв орарь тремя перстами...* — Во время пения антифонов диакон не поднимает ораря, как он это делал во время ектении, но просто держит его тремя перстами правой руки на уровне груди или живота.

*Вновь и вновь Господу помолимся!* — По-церковнославянски: «Паки и паки...».

*...предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу.* — Гоголь не упоминает прошения: «Заступи, спаси помилуй...», которое предшествует «преданию себя» Христу Богу.

*Троичным славословием заключает он.* — То есть священник.

*В продолженье второго антифона священник в олтаре молится внутреннею молитвою.* — Молитва второго антифона: «Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому Твоего: Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою и не стави нас, уповающих на Тя». к стр. 361

*Диакон становится опять в молитвенном положении...* — Не существует специального молитвенного положения диакона: он просто «стоит пред иконою Христовою, держа и орарь треми персты десныя руки» (Служебник).

*...по окончаньи же пенья...* — После второго антифона следует пение тропаря Господу Иисусу Христу: «Единородный Сыне...», объяснение которого Гоголь не приводит.

*...призывая, как прежде, словами: В мире Господу помолимся!* — Здесь следует снова малая ектения, начинающаяся словами: «Паки и паки миром Господу помолимся».

*Диакон взывает: Заступи, помилуй, спаси...* — Нарушен порядок слов. Должно быть: «Заступи, спаси, помилуй».

*Славную Владычицу нашу Богородицу...* — Здесь не хватает слов «и Приснодеву Марию».

*А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой...* — Молитва третьего антифона.

*Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошенья! исполни же теперь к полезному прошенья рабов Твоих: подай в настоящем веке познанье Твоей истины, а в будущем даруй вечную жизнь!* — Церковнославянский текст: «Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, Иже и двема или трем, согласующимся о имени Твоем, прошения подати обещавый: Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоея истины и в будущем живот вечный даруя».

*...громко возглашаются во всеуслышанье блаженства...* — Заповеди блаженств из Нагорной проповеди Спасителя (Мф. 5, 24).

*...взывая воззваньем благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте...* — См. Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 42.

*...повторяет вослед за чтецом...* — Блаженны, составляющие третий антифон, также поются хором. Возможно, Гоголь основывался на сообщении святителя Германа Константинопольского, который говорит: «В антифонах сначала поются псалмы древнего завета, а потом песни новой благодати, что и бывает в антифонах, поемых на Литургии; но как к изобразительным никаких особенных новозаветных песней не прилагается, то и положено вместо этих песней *читать* (выделено мной. — *Диак. И. Н.*) блаженны...» (Цит. по: *Вениамин, архиеп.* Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. С. 105).

к стр. 362 *Здесь торжественно открываются Царские врата...* — Царские врата открываются сразу после возгласа малой ектении. Блаженны поются при открытых Царских вратах.

*Приступив к престолу...* — Приступив к престолу, священник и диакон «творят поклоны три».

*...священник и диакон снимают... Евангелие...* — Снимает Евангелие с престола священник, диакон же принимает Евангелие, целуя его и руку священника.

*...позади олтаря боковой дверью...* — Имеется в виду северная боковая дверь, располагающаяся в иконостасе.

*...напоминающею дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.* — Возможно, имеется в виду скевофилакий (сосудохранительница).

к стр. 363 *...исходит Он тесной... дверью...* — По сравнению с Царскими вратами.

*Служители Божьи посреди храма останавливаются...* — Подразумевается традиция совершения входа через середину храма. В настоящее время входное моление совершается на середине только при архиерейском служении. При служении иерейском вход с Евангелием совершается через солею.

*...совершить вместе с ними вшествие во святилище.* — Молитва входа: «Владыко Господи Боже наш, уставивый на Небесех чины и воинства ангел и архангел в служение Твоея славы: сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

*Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков! — возглашает на это иерей.* — Иерей произносит эти слова вслух, но не возглашая их.

*Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле.* — Полагается на престоле по центру, прямо на антиминсе.

*...проводя орарем, подает знак певцам.* — Так называемое «наведение орарем» не является каким-то специальным знаком хору к началу пения.

к стр. 363–364 *Торжественно-громогласно оглашает всю церковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: Святый Боже,*

*Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!* — Далее Гоголь предлагает свою аналогию для понимания Святой Троицы, тогда как вернее было бы пользоваться святоотеческими аналогиями. См., например: «Ум наш — образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) — образ Сына; дух — образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо, как в Троице Три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо. Ум наш родил, не престает рождать мысль; мысль, родившись, не престает рождаться и, вместе с тем, пребывает рожденной, сокровенной в уме... Точно так же дух (совокупность сердечных чувств) содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой дух, всякая книга имеет свой собственный дух... Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных» (*Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты. Сочинения. Изд. 2-е. СПб., 1886. Т. 2. С. 130–131). Но нужно понимать, что все аналогии, направленные на приближение учения о Святой Троице к восприятию человека, весьма несовершенны. Вообще святоотеческому богословию свойственно весьма настороженное отношение к аналогиям. Например, святитель Григорий Богослов пишет: «Чего я не рассматривал сам с собой в любоведущем уме своем, чем не обогащал разума, где не искал подобия для этого, но не нашел, к чему бы дольнему можно было применить Божие естество. Если и отыскивается малое некое сходство, то гораздо большее ускользает, оставляя меня долу вместе с тем, что избрано для сравнения. По примеру других, представлял я себе родник, ключ и поток и рассуждал: не имеют ли сходства с одним Отец, с другим Сын, с третьим Дух Святой? Ибо родник, ключ и поток не раздельны временем, и сопребываемость их непрерывна, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтоб не допустить в Божестве какого-то течения, никогда не останавливающегося; во-вторых, чтоб таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно, различны же только в образе представления. Брал опять в рассмотрение солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве не представить какой-либо сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца; во-вторых, чтоб, приписав сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочие лица и не сделать их силами Божиими, которые в Отце существуют, но не самостоятельны. Потому что и луч и свет суть не солнце, а некоторые солнечные излияния и существенные качества солнца. В-третьих, чтоб не приписать Богу вместе и бытия и небытия (к какому заключению может привести этот пример), а это еще нелепее сказанного прежде. Слышал я также, что некто находил искомое подобие в солнечном отблеске, который является на столе и сотрясается от движения

вод, когда луч, собранный воздушной средой и потом рассеянный отражающей поверхностью, приходит в странное колебание, ибо от многочисленных и частых движений перебегает он с места на место, составляя не столько одно, сколько многое, и не столько многое — сколько одно; потому что по быстроте сближений и расхождений ускользает прежде, нежели уловит его взор. Но, по моему мнению, нельзя принять и этого. Во-первых, потому, что здесь слишком видно приводящее в движение: но первоначальнее Бога нет ничего, что приводило бы Его в движение, потому что Сам Он причина всего, а не имеет причины, которая была бы и Его первоначальнее. Во-вторых, потому, что и этим подобием наводится прежняя мысль о движении, о сложности, об естестве непостоянном и зыблющемся, тогда как ничего подобного не должно представлять о Божестве. И вообще ничего не нахожу, что при рассмотрении представляемого остановило бы мысль на избираемых подобиях, разве кто с должным благоразумием возьмет из образа что-нибудь одно и отбросит все прочее. Наконец заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих изречениях, иметь руководителем Духа, и какое озарение получено от Него, то сохраняя до конца, с ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтоб поклонялись Отцу, и Сыну, и Святому Духу — единому Божеству и единой Силе» (Слово 31. О богословии пятое, о Святом Духе). Или в этом же слове он пишет: «Объясни ты мне нерожденность Отца, тогда и я отважусь естествословить о рождении Сына и об исхождении Духа, тогда, проникнув в тайны Божии, оба мы придем в изумление, — мы, которые не могут видеть у себя под ногами и *исчислить песок морей и капли дождя и дни вечности* (Сир. 1, 2), не только что вдаваться в глубины Божии и судить о естестве столь невысказанном и неизъяснимом». Духовно безопаснее знать свои ограниченные возможности и не пытаться проникнуть в тайну Святой Троицы с помощью каких-либо земных категорий: «Ты спрашиваешь, — говорит святитель Григорий Богослов, — что такое исхождение Духа Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца; тогда в свою очередь я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождаемость Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии» (Слово 31. О богословии пятое, о Святом Духе // PG. Т. 36. Col. 141 B). Изъяснение Трисвятой песни см. также: Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского // Писания Святых Отцов и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. 3. С. 423–424.

*Словом Божьим небеса создашася, и духом уст Его вся сила их, говорит пророк Давид.* — Ср.: «Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6).

*Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения...* — Молитва Трисвятого пения: «Боже Святый, Иже во святых почиваяй, Иже трисвятым гласом от серафимов воспеваемый, и от херувимов славословимый, и от всякия Небесныя Силы покланяемый: Иже от небытия во еже быти приведый всяческая, создавый человека по образу Твоему и по подобию, и всяким Твоим дарованием украсивый: даяй просящему премудрость и разум, и не презираяй согрешающаго, но полагаяй на спасение покаяние: сподобивый нас, смиренных и недостойных раб Твоих, и в час сей стати пред славою святаго Твоего жертвенника и должное Тебе поклонение и славословие приносити. Сам, Владыко, приими и от уст нас, грешных, трисвятую песнь и посети ны благостию Твоею: прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, освяти наша души и телеса, и даждь нам в преподобии служити Тебе вся дни живота нашего, молитвами Святыя Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших».

*...три раза повергается перед престолом...* — Гоголь часто использует слово *повергается.* Однако Служебник не предписывает никакого «повержения» перед престолом; он сдержан в своих указаниях: когда поется Трисвятое, «глаголют и сами, иерей же и диакон, Трисвятое, творяще вкупе и поклоны три пред святою Трапезою».

*И сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место...* — К горнему месту, но не на него. На горнее место имеет право всходить только епископ.

*Иерей идет нетрепетной стопой...* — Не совсем ясно, почему священник, смиренно помолившись об очищении грехов и возможности «в преподобии служити» Богу, трижды «повергнувши» себя перед Престолом, «восходя как бы в глубину Боговедения», идет при этом «нетрепетной стопой». Наоборот, он должен ступать «трепетной» стопой, «восходя к Ветхому деньми». к стр. 365

*...произнося: Благословен грядый во имя Господне...* — Эти слова предваряются репликой диакона: «Повели, владыко».

*Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех...* — Ср.: «Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, Препетый и Превозносимый во веки» (Дан. 3, 55). И: «Благословен еси, Видяй бездны, Седяй на херувимех, Препетый и Превозносимый во веки» (Дан. 3, 54).

*И садится на горнем месте...* — Священник с диаконом, придя к горнему месту, поклоняются иконе на нем и друг другу и встают лицом к народу. Садится священник сбоку, не восходя на горнее место, и только после диаконского возгласа «Вонмем», который непосредственно предваряет апостольское чтение.

*...изобразуя самим сиденьем своим свое равенство апостолам.* — Ср.: «Возседши на сопрестолии, в подражание Христу, и имея при себе сидящих вместе соепископов и священников, *по подобию апостолов* (выделено мной. — *Диак. И. Н.*), (архиерей)

говорит: Мир всем», а также: «Во время чтения их (апостольских писаний. — *Диак. И. Н.*) сидят архиереи и священники, но без диаконов: так как и *они (иереи) имеют благодать апостольскую* (выделено мной. — *Диак. И. Н.*)» (См.: Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. С. 30).

*Чтец, с Апостолом в руке, выходит на середину храма.* — Чтец с Апостолом встает перед амвоном, а не на середине храма.

*Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира…* — Возгласом «Мир всем».

*…не говорят: мир тебе, но: духови твоему.* — Слово *духови* в этом месте пишется по-церковнославянски без титла, что указывает на дух человека, а не на Духа Святого. Так что объяснение Гоголем слов *И духови твоему* является неточным. Ответ никогда не бывает тождествен благопожеланию. Если в ответ желается то же самое, то отвечающий всегда меняет порядок слов и состав высказывания. Итак, священник желает «Мир всем», народ отвечает не: «мир ти», что было бы неуклюже, а: «и духу твоему (мир)» (или «душе твоей»).

*Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец…* — Чтению Апостола предшествует возглашение чтецом прокимна — стиха, выбранного из Псалтири.

*Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: мир тебе.* — По-церковнославянски: «Мир ти». Священник произносит эти слова громко, чтобы слышал диакон, но не как возглашение.

*Лик ответствует: и духови твоему.* — Слова «Мир ти» адресованы чтецу, соответственно, чтец на них и отвечает.

*С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм…* — Каждение совершается диаконом во время чтения Апостола: сначала кадится престол и алтарь, иконостас, затем: священник и стоящие в алтаре, чтец, лики (хоры), народ. Завершается каждение в алтаре к моменту окончания чтения Апостола. Во время пения аллилуиария диакону дается от священника Евангелие и он выходит с ним на амвон.

*Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий.* — Молитва «прежде Евангелия»: «Воссияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение: вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе, и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

*Испросив благословенья от иерея...* — «Благослови, владыко, благовестителя святаго славнаго апостола и евангелиста (его имя)».

*Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго...* — Неточность в начале молитвы. Должно быть так: «Бог, молитвами святаго славнаго, всехвального...»

*...диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов.* — В современной церковной практике часто бывает так, что диакон сначала выходит на амвон, а затем возглашает слова: «Благослови, владыко, благовестителя...», и священник так же возгласно благословляет его, говоря: «Бог, молитвами...» к стр. 366

*Диакон начинает чтение.* — Перед тем как начать чтение, диакон возглашает: «От (имя евангелиста) Святаго Евангелия чтение», и хор поет: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». После этого священник произносит: «Вонмем», и только после этого начинается чтение.

*...все стараются принять сердцами семя Святого слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, — не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути...* — Здесь Гоголь пересказывает и прилагает к жизни притчу о сеятеле: Мф. 13, 3–8, 19–23; Мк. 4, 3–8, 14–20; Лк. 8, 5–8, 11–15.

*...всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени...* — Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 24–27).

*...священник в олтаре возвещает диакону: Мир тебе, благовествующему.* — По-церковнославянски: «Мир ти, благовествующему».

...все предстоящие... восклицают вместе с ликом: *Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!* — Хор поет: «Слава Тебе, *Господи*, слава Тебе».

*...священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол...* — Священник ставит Евангелие с правой стороны от Дарохранительницы, т. к. далее будет развернут антиминс и начнется Литургия верных. к стр. 367

*...горняя дверь задергивается...* — *Горняя дверь* — Завеса.

*Аз есмь дверь* — Евангелие от Иоанна (гл. 10, ст. 9).

*Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частию на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.* — Проповедь не всеми говорится на темы, отличные от Евангельских. Было и есть немало священников, которые сохраняют древнее строение Литургии и проповедуют сразу после Евангелия, изъясняя и применяя к современной жизни услышанное слово Божие.

*...священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его*

*называется молитвой прилежного моленья.* — «Господи Боже наш, прилежное сие моление приими от Твоих раб и помилуй нас по множеству милости Твоея, и щедроты Твоя низпосли на ны и на вся люди Твоя, чающия от Тебе богатыя милости».

к стр. 368 *...где праведные успокояются.* — Правильно: *упокояются.*

*Милости Божией, — восклицает диакон: Небесного Царствия...* — «Милости Божия, Царства Небеснаго...»

*...священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений...* — «Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упраздниվый и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, покой души усопших раб Твоих (называет имена) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание: всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко Благий и Человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит: Ты бо Един кроме (без) греха, правда Твоя правда во веки и слово Твое истина».

*...по слову Самого Спасителя: кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное...* — Слова Спасителя из беседы с Никодимом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3, 3).

«Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удостоивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь... сокрушенно поставляет себя в число оглашенных...» — пишет епископ Висарион (Нечаев) и объясняет необходимость сохранения ектении и молитвы об оглашенных: 1) долгом любви к трудящимся на миссионерской просветительской ниве, 2) проявлением любви к новорожденным, но еще не принявшим крещения, 3) проявлением заботы о тех крещенных людях, которые не знают православной веры, 4) напоминанием и нам самим о необходимости иметь смиренное сознание своей греховности и недостоинства, необходимости иметь сердечное сокрушение о своих грехах. 5) Если кто-то впал в тяжкие грехи, то должен сознавать, что его место не в храме, а в притворе храма (*Виссарион (Нечаев), епископ.* Толкование на Божественную Литургию по чину св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого. СПб., 1895. С. 172–174; о знакомстве епископа Костромского и Галичского Виссариона (в бытность его студентом Московской Духовной академии) с Гоголем см.: *Воропаев В. А.* «Мы все работаем у одного Хозяина» (Н. В. Гоголь в Троице-Сергиевой Лавре) // Православный паломник. М., 2008. № 1). См. также у И. Дмитревского: «Если не бывает оглашенных и под епитимиею находящихся в одном храме или в одном месте, то,

может быть, они есть в других храмах и местах; а потому долг христианской любви обязывает нас молиться об них и вообще делать все, что предоставила святая древность» (*Дмитревский И.* Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. С. 243-244).

*Помолитеся, оглашенные, Господу!* — По-церковнославянски: «Помолитеся, оглашеннии, Господеви».

*Верные — взывает диакон: помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!* — Церковнославянский текст: «Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их Словом истины, открыет им Евангелие Правды, соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию».

*Диакон взывает: Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!* — По-церковнославянски: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните». к стр. 369

*Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасенье человеческому роду — Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! воззри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Приобщи их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* — Церковнославянский текст: «Господи Боже наш, Иже на высоких живый и на смиренныя призираяй, Иже спасение роду человеческому низпославый Единороднаго Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа...»

*И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: Оглашенные, изыдите!* — Во второй раз диакон возглашает: «Елицы оглашеннии, изыдите».

*Оглашенные, изыдите! да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!* — «Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся».

*Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню...* — Имеется в виду изгнание Спасителем торговцев из Иерусалимского храма: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21, 12–13). Об этом повествуют также евангелисты Марк и Лука: Мк. 11, 15–19; Лк. 19, 43–46. Это произошло незадолго перед крестными страданиями Спасителя. Господь также изгнал торгующих из храма в начале Своего служения: Ин. 2, 13–17.

*...сказал апостол: Язык свят, люди обновления, камение, зиждущееся в храм духовен...* — Фраза построена Гоголем из фрагментов двух стихов Первого соборного послания апостола Петра: «Вы же род избранный, царское священие, *язык свят, людие обновления*, яко да добродетели возвестите из тьмы вас Призвавшего в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). «И сами, яко *камение* живо, *зиждитеся в храм духовен*, святительство свято, возносити жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом» (1 Пет. 2, 5).

**Литургия верных**

к стр. 370 *...иерей распростирает на святом престоле антиминс...* — *Антиминс* (*греч.* ἀντιμίνσιον — букв. «вместопрестолие»), прямоугольный плат с особыми изображениями, освященный и подписанный епископом, на котором совершается Божественная Литургия. Обычно антиминс имеет небольшой зашитый карман, куда вложены частицы святых мощей мучеников. Патриарх Феодор IV Вальсамон († около 1196) пишет: «Для того, вероятно, придуманы антиминсы... дабы они вполне заменяли принадлежности святого жертвенника и дски [слав. слово, рус.: доски] святой трапезы... и вместе дабы свидетельствовали, что с епископского дозволения в молитвенном доме совершается священнодействие» (Толкование на 31-е прав. Трулльского собора // Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. Репринт: М., 2000. С. 378–380).

*...плат с изображеньем Тела Спасителя...* — На антиминсе чаще всего изображается снятие со креста и положение во гроб Тела Спасителя.

*...в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстояньи святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести.* — Молитва верных первая: «Благодарим Тя, Господи Боже Сил, сподобившего нас предстати и ныне святому Твоему жертвеннику и припасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о людских неведениих: приими, Боже, моление наше, сотвори ны достойны быти, еже приносити Тебе моления и мольбы и жертвы безкровныя о всех людех Твоих; и удовли нас, ихже положил еси в службу Твою сию, силою Духа Твоего Святаго, неосужденно и непреткновенно, в чистем свидетельстве совести нашея, призывати Тя на всякое время и место, да послушая нас, милостив нам будеши во множестве Твоея благости». Молитва верных вторая: «Паки и многажды Тебе припадаем и Тебе молимся, Благий и Человеколюбче, яко да призрев на моление наше, очистиши наша души и телеса от всякия скверны плоти и духа, и даси нам неповинное и неосужденное предстояние Святаго Твоего жертвенника. Даруй же, Боже, и молящимся с нами преспеяние жития и веры и разума духовнаго. Даждь им, всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосужденно

причаститися Святых Твоих Таин и Небеснаго Твоего Царствия сподобитися».

*...о мире всего мира, благосостояньи Божьих Церквей...* — См. коммент. к с. 359.

*Иерей из глубины олтаря возглашает: Премудрость!* — *Премудрость* возглашается дважды: первый раз после ектении, начинающейся со слов «Оглашеннии изыдите... Да никто от оглашенных, елицы вернии...», второй раз — после ектении, описываемой автором. Возглашает *Премудрость* диакон.

*Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу...* — Молясь «втайне», иерей спокойно стоит перед престолом. к стр. 371

*...Никто из связавшихся чувственными пожеланьями...* — Вольное переложение молитвы священника перед переносом Святых Даров.

*Царские врата разверзаются на средине молитвы...* — Открытие Царских врат происходит после возгласа «Яко да под державою Твоею всегда хранимии...» и не зависит от места в молитве, читаемой священником.

*Диакон с кадильницею в руке исходит уготовить путь Царю всех и, обильно распространяемым куреньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами...* — Книга пророка Иезекииля (гл. 10, ст. 18–21).

*...напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом...* — «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя» (Пс. 140, 2).

*...будучи благоуханьем Христовым, по слову апостола...* — «Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих» (2 Кор. 2, 14–15).

*...лики на обоих клиросах подъемлют от лица всей церкви сию Херувимскую песнь...* — Начиная с Херувимской песни оба лика (хора) сходят с клиросов и составляют один хор, который поет далее службу до причастного стиха включительно. Перед причастием народа хоры расходятся каждый на свой клирос.

*...да Царя всех подымем...* — По поводу слова *подымем* профессор Н. Д. Успенский пишет: «Как дониконовский текст, так и современный мало чем отличаются от греческого, и ни один из них не раскрывает смысла Херувимского гимна вследствие неправильного перевода глагола ὑποδέχομαι. Глагол имеет много значений, в том числе и «медленно поднимаю», но во всех словарях в первую очередь соответствует русскому «принимаю», «угощаю», «прошу на обед». Такое значение глагола содержится в раннем византийском литургическом комментарии (1055–1063): «Поемый Херувимский гимн побуждает всех с этого времени и до конца священнодействия иметь ум сосредоточенный, могущий изгнать всякую

житейскую заботу, чтобы через причащение принять Великого Царя». В греческом тексте, которым пользовался наш переводчик, эта досадная ошибка уже была. Существует она там и «доныне». Как видно из «Протеории» (византийского литургического комментария XI в. — *Диак. И. Н.*), пение Херувимского гимна богословски рассматривалось как приготовление участников Евхаристии к главнейшему моменту совершаемого богослужения — принятию Святых Таин. Если «Херувимская песнь побуждает сосредоточивать мысль, могущую изгнать всякую житейскую заботу, чтобы через причащение принять Великого Царя», то сам момент принятия Тела и Крови Христовых — это вершина подвига молитвенной сосредоточенности, когда Великий Царь вселяется в храмину души причастника, чтобы свечерять с ним» (*Успенский Н. Д.* Византийская литургия: историко-литургическое исследование. Анафора: опыт историко-литургического анализа. М., 2006. С. 179).

*...копьеносимаго...* — это полный русский перевод двухкоренного «грекорусского» слова «дориносима» (от *греч.* δόρυ — копье, φορέω — ношу): первая часть (δόρυ, копье) почему-то осталась без перевода, вторая была переведена. Подробнее об этом слове и о том, как оно появилось в Херувимской песне, см.: *Успенский Н. Д.* Византийская Литургия: историко-литургическое исследование. С. 181–182).

к стр. 372 *Песню эту сложил сам император...* — Подразумевается византийский император Иустин II (Младший), царствовавший с 565 по 578 г. Своим декретом он лишь предписал петь Херувимскую песнь за богослужением, о чем свидетельствует византийский хронист Георгий Кедрин. Сама же Херувимская песнь сложена не императором. Декрет был принят при Патриархе Константинопольском Иоанне Схоластике, отсюда возникло мнение, что Патриарх Иоанн и есть автор этой песни. Например, протоиерей Григорий Дьяченко пишет, что «собственно Херувимская песнь» — это «аллилуіа (Апок. 4, 7–8); все же прочие слова так называемой Херувимской песни суть приступ, или приготовление верных к пению настоящей Херувимской песни. Херувимская песнь в таком виде, как она поется теперь в Церкви, составлена в VI веке Константинопольским Патриархом Иоанном Схоластиком» (*Дьяченко Г., прот.* Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 784). Есть также мнение, что Херувимская песнь уже существовала и использовалась в службе до декрета императора: «Император Юстин II только декретировал то, что могло уже быть принятым в богослужение, и не только в Константинопольском патриархате, но и широко за пределами его» (*Успенский Н. Д.* Византийская Литургия: историко-литургическое исследование. С. 183).

*Иерей и диакон, повторяя внутренно в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику...* — Священник и диакон сначала находятся перед престолом. Священник, воздев руки, произносит вслух первую часть Херувимской песни, а диакон,

подняв орарь, заканчивает: «Яко да Царя всех подымем...» Так происходит трижды, после чего священник и диакон переходят к жертвеннику.

*...берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона...* — «Имеет же вкупе диакон и кадильницу на единем от перстов десныя руки» (Служебник).

*Если же служенье совершается собором... то один несет дискос...* — Старший диакон.

*...другой — Чашу...* — Старший священник.

*...третий — святую ложку, которою приобщаются, четвертый — копье, прободшее Св. Тело.* — *Третий* и *четвертый* — священники. *Святая ложка* — Правильно: лжица, специальная ложка с длинной ручкой для причащения мирян.

*...называемый великим выходом.* — Правильнее: великим входом. В древности Предложение находилось в отдельном от алтаря помещении, и великий вход был первым входом священнослужителей с Дарами в святилище.

*Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан.* — В условиях выхода из алтаря священник совершает поминовение, стоя на солее лицом к народу, а не на середине храма. В современной практике поминовение священника предваряется диаконским поминовением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. к стр. 372–373

*Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пеньем: Аллилуия...* — Поминовение совершается после слов «Всякое ныне житейское отложим попечение». Таким образом, после поминовения хор заканчивает Херувимскую песнь: «Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуия, аллилуия, аллилуия». к стр. 373

*...вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.* — В современной практике диакон входит в алтарь сразу после своего поминовения и встает у правого переднего угла престола на одно колено лицом к Царским вратам, ожидая входа священника. Когда священник входит в алтарь, диакон обращается к нему: «Да помянет Господь Бог...»

*И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол...* — Сначала священник поставляет на престол Святую Чашу, с которой он вошел в алтарь, а затем берет у диакона дискос с Хлебом. Гоголь через несколько строк пишет об этом.

*Врата Царские затворяются, как бы двери Гроба Господня; занавесь над ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже.* — Ср.: «Рече же им (архиереям и фарисеям. — *Диак. И. Н.*) Пилат: имате кустодию: идите, утвердите, якоже весте. Они же шедше утвердиша гроб, знаменавше камень с кустодиею» (Мф. 27, 65–66). *Кустодия* (*лат.* custodia) — стража, караул.

*Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи.* — Тропарь на утрени Великой Субботы.

*Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собой исполняяй, неописанный!* — Частичное переложение на русский язык тропаря из Часов Святой Пасхи.

*Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякаго царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякаго воскресенья.* — Тропарь из Часов Святой Пасхи: «Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения».

*И снявши покров от дискоса и от Чаши и воздух с плеча диакона... обкадив их фимиамом, покрывает он ими снова дискос и Чашу...* — Покровцы с Чаши и дискоса снимаются и кладутся на передние углы престола. Затем священник берет воздух и «обхватывает» им на короткое время кадило, которое держит диакон, после чего покрывает им Чашу и дискос.

к стр. 373–374 *Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимская: тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемыя, тогда возложат на олтарь Твоей тельцы...* — Пс. 50, 20–21.

к стр. 374 *...опустив фелонь и преклонив главу...* — Имеется в виду фелонь первоначального исторического покроя, которая имела вырез только для головы и закрывала все тело священника не только сзади, как сейчас, но и спереди. В разные моменты богослужения предписывается или поднимать фелонь, или опускать ее. Для русского покроя фелони подобное указание не актуально, т. к. наша фелонь для удобства имеет вырез спереди.

*...отдавая кадильницу диакону... и преклонив главу, говорит он ему: Помяни меня, брат и сослужитель! — Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем*! — ответствует диакон... — Гоголь приводит диалог священника и диакона по старому Служебнику, в котором роли диалога распределены неправильно. В 2002 г., по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, диалог в Служебнике был исправлен. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2004 г. одобрил сделанные изменения. Таким образом, правильный диалог имеет следующий вид: «И отдав кадильницу, приклонив главу, глаголет (священник. — *Диак. И. Н.*) диакону: «Помолися о мне, брате и сослужителю». И диакон к нему: «Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя». И священник: «Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего». Таже и диакон, поклонив и сам главу, держа вкупе и орарь треми персты десницы, глаголет ко священнику: «Помяни и мя, владыко святый». И священник: «Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Диакон же, рек: «Аминь»,

и целовав десницу священника, исходит...» (Подробные сведения об ошибке, которая вкралась в Служебник, см.: *Деснов Н., протоиерей.* Недоуменный вопрос из чина Литургии святого Иоанна Златоуста // Богословские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 181–189; *Taft.* Great Entrance. P. 279–310; *Желтов М. С., Никитин С. И.* Accessus ad altare // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 428–430; *Слуцкий А.С.* Диалог священнослужителей после великого входа в славянских служебниках XIII—XIV веков // Христианский Восток. СПб., М., 2001. Т. 2 (VIII). С. 242–254.

*Диакон... исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол Святых Дарах.* — «О предложенных Честных Дарех Господу помолимся» (Служебник).

*Ектения завершается возглашеньем: Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.* — Во время ектении священник читает «Молитву приношения, по поставлении Божественных Даров на Святей Трапезе»: «Господи Боже Вседержителю, Едине Святе, приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, приими и нас грешных моление, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и людских неведениих: и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быти Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитися Духу благодати Твоея Благому в нас, и на предлежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих» (Служебник). к стр. 375

*Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: Мир всем!* — «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам!» (Ин. 20, 19–21). «Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам!» (Лк. 24, 36).

*...не полюбивши друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь — одна любовь, полная, совершенная...* — «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4, 19–21).

*...содержащая в Своей Троице и любящего, и любимого, и самое действие любви, которою любящий любит любимого: любящий — Бог Отец, любимый — Бог Сын и сама любовь, Их связующая, — Бог Дух Святый.* — В издании 1857 г. эти слова были исключены цензором архимандритом Кириллом. В них нашло отражение католическое представление о Святом Духе (Filioque), когда Бог Дух Святой мыслится как отношение между Отцом и Сыном:

«В формуле исхождения Святого Духа от Отца и Сына греки увидели тенденцию подчеркнуть единство природы в ущерб реальному различению Лиц: соотношения по происхождению, не приводящие Сына и Духа непосредственно к Единому Источнику — Отцу, Одного — как Рожденного, Другого — как Исходящего, — становятся некоей "системой соотношений" в единой сущности, чем-то логически сущности последствующим. Действительно, в умозрении Западной Церкви Отец и Сын изводят Дух Святой, поскольку Они представляют единую природу; в свою очередь Святой Дух, Который *для западных богословов является «связью между Отцом и Сыном»* (выделено мной. — *Диак. И. Н.*), означает природное единство двух первых Лиц. Ипостасные свойства (отцовство, рождение, исхождение) оказываются более или менее растворенными в природе или сущности, которая как начало единства Святой Троицы становится дифференцированным соотношением: соотносясь к Сыну — как Отец, к Святому Духу — как Отец и Сын. Отношения, вместо того, чтобы отличать Ипостаси, с Ними отождествляются» (*Лосский В.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Киев, 2004. С. 77–78). См. также: *Воропаев В. А.* «Размышления о Божественной Литургии» Николая Гоголя: из истории создания и публикации. С. 23.

*Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь утвержденье мое и прибежище мое…* — Псалом 17, 2–3.

к стр. 376 *Ему ответствуют: И есть, и будет.* — Ему ответствует подходящий к нему.

*…по слову Самого Христа: Остави дар свой и шед прежде примирись с своим братом и тогда принеси жертву Богу…* — Слова из Нагорной проповеди: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23–24).

*…Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит…* — Слова из Первого послания апостола Иоанна Богослова (гл. 4, ст. 20). См. также коммент. к с. 88.

*Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим…* — Согласно Служебнику, диакон не обращается «лицом ко всем предстоящим» при произнесении возгласа «Двери, двери...»

*Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: Верую во Единого Бога Отца…* — Во времена Гоголя и вплоть до революции в России Символ веры пел хор. В современной практике Символ веры поется на простой напев всем народом, стоящим в храме, под руководством диакона.

к стр. 377 *И твердой стопой исходит диакон и возглашает: Станем добре…* — Поскольку Символ веры пелся хором, диакон имел возможность уходить в алтарь. В настоящее время диакон не уходит

в алтарь, а руководит пением народа с амвона. Затем обращается к алтарю и возглашает: «Станем добре...»

*В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей...* — В древности в обычае было приносить елей к Литургии вообще, а не специально во время возглашения диакона. Ср.: «В Литургии Иакова, брата Божия, вместо «милость», стоит слово: елей, ἔλαιον. Из сего следует заключить, что восклицание: елей мира, жертва хваления, означает древнее обыкновение христиан, которые, собираясь к Литургии, приносили с собою елей для светильников и хлебы для приношения в жертву. Когда диакон возглашал, чтобы святое возношение в *мире приносили,* то они, показывая свою к этому готовность, восклицали: *елей мира!* Ибо *елей* есть знамение *мира* и *согласия* (Псал. 132, ст. 2); *хлебы*, приносимые в предложение, назывались *жертвою,* и приношения они представляли в свидетельство своего усердия и благоговения» (*Дмитревский И.* Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. С. 276).

*...диакон... взявши в руки веяло, или рипиду...* — *Рипида* (*греч.* ῥιπίδιον) — опахало, веер. В древности изготавливалась из перьев, в настоящее время имеет вид металлического круга или звезды на длинной рукояти с изображением херувима.

*...веет ею благоговейно над Дарами.* — Так предписывает Служебник и так было в древности. Диакон веял рипидой над Святыми Дарами, чтобы никакое насекомое и никакой сор не попал на дискос и в Чашу. Позже веянию рипидой над Дарами придавалось символическое значение присутствия Ангельских Сил при Евхаристии. В настоящее время диакон не веет рипидой над Святыми Дарами (хотя в Русской Церкви архиерей продолжает вручать рипиду рукополагаемому во диакона в знак описанной диаконской обязанности), рипиды используются только при архиерейском служении.

*Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога* к стр. 378 *и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами!* — *Любы* — Любовь. Пожелание благодати, мира, любви является характерным христианским благословением и пожеланием. Часто предваряет апостольские послания. Например: «Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1, 2). «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Еф. 1, 2). «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви» (1 Ин. 1, 3).

*Горе имеим сердца!* — На высоту (вверх, ввысь) будем иметь (направим, обратим) сердца.

*...в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться...* — Ср.: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих *приходит заклатися* и датися в снедь верным» (Херувимская песнь в Великую Субботу).

*Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все Небесныя Силы, соединяясь с иереем, о нем молятся...* — Гоголь использует содержание Херувимского гимна, поемого на Литургии Преждеосвященных Даров: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь Славы...»

*...Имамы ко Господу.* — Имеем (обратили) к Господу.

*Напоминая о Спасителе благодарившем...* — «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим» (Ин. 6, 11). «И, взяв чашу и благодарив, подал им...» (Мф. 26, 27).

*...возведеньи очей горе...* — Ср.: «Он взял пять хлебов и две рыбы, *воззрев на небо* (выделено мной. — Диак. *И. Н.*), благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им» (Мк. 6, 41).

*...победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея!* — Эти слова возглашаются священником во всеуслышание. Во фрагменте первоначальной редакции Гоголь выделяет эти слова и говорит об их смысле и образах.

к стр. 378–379 *Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их вместе с серафимами повторять: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы.* — Ср.: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6, 1–3). «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4, 8).

*Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних.* — Евангелие от Марка (гл. 11, ст. 9–10).

*Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.* — Евангелие от Матфея (гл. 26, ст. 26).

*Потир* — «Чаша для Св. Причастия» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

к стр. 380 *...требовалась не самая жертва, но дух сокрушен, с которым она приносилась.* — Ср.: «Аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 18–19).

*...подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа и заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного.* — Бытие (гл. 22, ст. 1–14).

*...яко порт нечист вся дела ваша.* — Слова молитвы пророка Исаии: «Сего ради заблудихом и быхом яко нечисти вси мы, яко порт нечистыя вся правда наша...» (русский перевод: «Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда...») (Ис. 64, 6).

*Упав ниц перед св. престолом...* — Священник и диакон «не падают ниц перед престолом» во время чтения тропаря 3-го часа, но стоят прямо, совершая после каждого призывания поясной поклон.

*Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихтися...* — Тропарь 3-го часа. Его произносит трижды вслух священник, воздевая руки.

*И каждый вослед за сим призваньем произносит в себе стих: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.* — Псалом 50, ст. 12. Стихи эти произносит диакон также вслух.

*Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.* — Псалом 50, ст. 13. к стр. 380–381

*...диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: Благослови, владыко, Святый Хлеб...* — Диакон произносит эти слова вслух. к стр. 381

*...и знаменует его трижды иерей...* — Святой Хлеб священник знаменует единожды, также и Чашу.

*Благословив, произносит священник: Преложив Духом Твоим Святым...* — Обычно священник благословляет во время произнесения слов «Преложив Духом Твоим Святым».

*...троекратно произносит диакон: аминь...* — И священник с диаконом поклоняются при этом до земли.

*...да будет свет...* — Бытие (гл. 1, ст. 3).

*...да произрастит земля былие травное...* — Бытие (гл. 1, ст. 11).

*...Сам Господь сказал: Аз есмь хлеб.* — Евангелие от Иоанна (гл. 6, ст. 35).

*...диакон произносит: Помяни мя, святый владыко!* — Диакон говорит: «Помяни мя, святый владыко, грешнаго».

*Ему ответствует священник: Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* — Священник отвечает: «Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков».

*И приступает священник к поминанью всех пред лицем Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как вспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа...* — Священник произносит возглас: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». к стр. 382

*И обо всех до последнего христианина в это время молится смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился — в пути*

*ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточеньи, в рудах и пропастях земли.* — Гоголь переходит здесь к соответствующему месту Литургии святителя Василия Великого: «Помяни, Господи, предстоящия люди, и ради благословных вин оставльшихся... сокровища их исполни всякаго блага, супружества их в мире и единомыслии соблюди... На судищи, в рудах, и в заточениих, и в горьких работах... помяни, Боже». *В рудах* — «в рудокопаниях, каменоломнях заключенные...» (объяснение И. И. Дмитревского).

*И возглашает громко священник из олтаря: И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* — Перед этим возгласом находится еще возглас о Святейшем Патриархе и правящем архиерее: «В первых помяни, Господи...»

к стр. 383 *Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осужденье обратятся.* — Об этом молится священник: «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюбче, и просим и молим и мили ся деем: сподоби нас причаститися Небесных Твоих и страшных Таин, сея священныя и духовныя Трапезы, с чистою совестию, во оставление грехов, в прощение согрешений, в общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небеснаго, в дерзновение, еже к Тебе, *не в суд или во осуждение*».

к стр. 384 *Аз есмь хлеб, и ядый Меня не умрет.* — «Аз есмь Хлеб животный, Иже сшедый с Небесе: аще кто снесть от Хлеба сего, жив будет во веки» (Ин. 6, 51).

*...просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братий наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою...* — «Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: *так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне* (выделено мной. — *Диак. И. Н.*)» (Мф. 25, 44–45).

*...молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия...* — *Премудрость* — Одно из имен второй ипостаси Святой Троицы — Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа.

к стр. 385 *Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: Мир всем!* — Возгласу «Мир всем» предшествует возглас «Яко Твое есть Царство Отца и Сына и Святаго Духа...», являющийся неотъемлемым окончанием молитвы Господней «Отче наш».

к стр. 386 *...раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый...* — Никогда не истощаемый, не истрачиваемый, не убывающий. Сразу после слов «Раздробляется и разделяется...» диакон произносит:

«Исполни, владыко, святый потир». И священник, взяв часть Агнца с буквами «IИС» (Иисус), лежащую вверху дискоса, погружает ее в потир со словами: «Исполнение Духа Святаго». После этого диакон, испросив благословения у священника, вливает в потир теплоту (горячую воду).

*...но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась...* — «Да сбудется Писание: кость не сокрушится от Него» (Ин. 19, 36). Имеется в виду заповедь Божия Моисею о вкушении перед исходом из Египта пасхального агнца, который прообразовал собой Иисуса Христа: «Овча совершено, мужеск пол, непорочно... и кости не сокрушите от него» (Исх. 12, 5, 10).

*...и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос...* — И. Дмитревский приводит слова св. Патриарха Германа Константинопольского: «После возвышения немедленно творит раздробление Божественаго Тела. Но хотя оно раздробляется, однако *нераздельно и непресеченно* пребывает. В каждой единственной частице из отделенных всецелый познавается и обретается» (*Дмитревский И.* Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. С. 335).

*...как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске.* — Это сравнение принадлежит архиепископу Газскому Самону, который в «Разговоре с Ахметом срацином» пишет: «Мы примерами чувственными и вещественными изъясняем предметы невещественные и вышеестественные. Пусть всякий выслушает следующий пример и поймет сокрытую в нем силу слова. Положим, что кто-нибудь, имея зеркало, уронил его на землю и разбил на многие обломки; несмотря на это всякий в каждом обломке может видеть себя во всей целости. Таким же образом должно разсуждать и о Теле Христа: Он пребывает цело и нерушимо в каждой частице хлеба, в какое бы время, сколько бы и где бы ни преломлялся он» (Разговор блаженнаго Самона, архиепископа Газскаго, с Ахметом срацином о Таинстве Евхаристии // Журнал «Православный собеседник», издаваемый при Казанской духовной академии. Казань, 1866. Ч. II. С. 323–333). Гоголь пользовался, по-видимому, книгой Дмитревского, который приводит этот фрагмент «Разговора», правда на славянском языке (см.: *Дмитревский И.* Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. С. 335). к стр. 386–387

*Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали.* — Также сравнение архиепископа Самона: «Возьми и другой пример. Всякое слово, произносимое человеком громко, понимает и слышит и сам говорящий, и предстоящие; хотя слушающих и много, однако слово для всех остается нераздельно и всецело. То же самое должно полагать и о Теле Христовом: в нем пребывает всесвятое Тело Христово, седящее одесную Отца. к стр. 387

Хлеб священнодействуемый, прелагаясь в истинное Тело Христово силою божественною, чрез наитие всесвятаго Духа, хотя и разделяется, однако в каждой частице остается целым и нерушимым, так же как и слово говорящаго ко всем слушающим от всех слышится целым и нераздельным» (Там же. С. 333). Ср. со словами святителя Димитрия Ростовского: «И еще: если удивляешься, как один целый Христос во многих частях равно верным дается, не меньше в одной <части> и не больше в другой, удивляйся же и тому, как один голос мой, и у меня в устах и в ваших ушах вместе, — один голос. И если удивляешься, как Тело не ломается (разламывается) в раздроблении Таин, когда Агнец раздробляем, или как во всякой части совершенный и целый есть Христос, удивляйся же и сему: когда зеркало раздробится на малые части, образ человеческий в нем не раздробляется, но во всякой части видится целым, как и в полном (целом) зеркале» (Сочинения св. Димитрия, митрополита Ростовского. Т. 5. М., 1840. С. 133).

*...тот горящий угль, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновеньем его к устам пророка отъять от него все грехи его.* — Ср.: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6, 6–7).

*...влитие теплой воды в сосуд...* — Не просто в сосуд, а именно в потир.

к стр. 388 *Врата Царские разверзаются, <возвещая... совоспевает ему вся церковь.>* — В угловых скобках поставлены слова Гоголя, перенесенные сюда цензором архимандритом Кириллом из повторного, расположенного ниже, описания этого же момента Литургии, которое по недосмотру автора осталось незачеркнутым в основном тексте рукописи. См. коммент. к с. 373.

*...сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого: Верую, Господи, и исповедую...* — После возгласа «Со страхом Божиим...» и пения хора священник громко вслух читает молитву «Верую, Господи, и исповедую...», что, конечно же, не исключает возможности, подходя к Чаше, повторять про себя эту молитву.

к стр. 389 *И когда, подъяв святую ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...* — Здесь Гоголем допущена неточность: приводятся слова священника при причащении диакона Святой Крови Христовой из Чаши; миряне же, как выше разъяснял Гоголь, причащаются Тела и Крови в соединении, и поэтому слова звучат несколько иначе: «Причащается раб(а) Божий(я) (имя) Честнаго и Святаго *Тела* и *Крови* Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...»

*...святым воздухом осушаются уста...* — Уста отираются не воздýхом, а специально предназначенным для этого платом из красной материи.

*...и воспевают певцы сии ликующие песни: Воскресение Христово видевше...* — Эти воскресные песнопения певцы не воспевают: их читает диакон у престола после причащения. Цензором архимандритом Кириллом данное место было исправлено: «...Церковь устами своих священнослужителей повторяет сии ликующие песни...»

к стр. 390

*...священник... поставив Святую Чашу на святую трапезу... произносит благодарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств...* — Эта молитва читается священником и диаконом сразу после их причащения в алтаре, а не после причащения мирян.

*...и соделает твердыми стопы наши.* — Далее в рукописи следует текст, относящийся к уже описанному причащению мирян. Этот момент Литургии оказался, таким образом, описанным Гоголем дважды и второй раз не на своем месте, а потому весь следующий фрагмент был исключен цензором: «И разверзаются в последний раз Царские врата, возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: *со страхом Божиим и верою приступите*, и в ее отнесении изобразуется исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего. Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь» (о том, как в гоголевской рукописи появилось это описание, см. в сопроводит. статье к наст. тому).

*...Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя...* — Псалом 56, ст. 12.

*Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собранье и уходом знаменует удаленье от нас и вознесенье Господне.* — В современной церковной практике диакон в святых дверях кадит народ и уходит к жертвеннику.

к стр. 390–391

*...иерей...возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: Всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* — Перед этим священник произносит тайно: «Благословен Бог наш», так что возглас является логическим завершением этих слов.

к стр. 391

*А священник, складывая в это время антиминс и, с Евангелием в руках, ознаменовав <крест>, возглашает Троичное славословие...* — Фраза была исправлена цензором архимандритом Кириллом следующим образом: «А священник, сложивши в это время

антиминс и ознаменовав его крестообразно Евангелием, возглашает Троичное славословие...»

к стр. 391–392 Отрывок *Затем священник приступает к боковому жертвеннику... очищение вселенныя* исключен цензором, так как погружение в потир частиц, вынутых из просфор на проскомидии, совершается еще на престоле, а не на боковом жертвеннике. См. коммент. к с. 356 и 389. Объяснение следующей далее заамвонной молитвы Гоголь опускает. После возгласа «Яко Ты еси освящение...» священник, возгласив «С миром изыдем», выходит из Царских врат под амвон и читает заамвонную молитву: «Благословляяй благословящия Тя, Господи...» После заамвонной молитвы хор трижды поет «Буди имя Господне благословенно отныне и до века» и псалом 33-й.

*Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу...* — Погружение частиц с дискоса в потир происходит сразу после причащения мирян со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

к стр. 393 Слова *Испив из Чаши приобщение всех с Богом* исключены цензором.

Отрывок *Хотя и не накрывается теперь... совершает ту же Святую Трапезу Любви* исключен цензором.

*...раздаче Святого Хлеба...* — Антидора.

*Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии...* — Согласно Служебнику, священник раздает антидор после заамвонной молитвы во время пения хором 33 псалма. Когда антидор роздан, священник произносит возглас: «Благословение Господне на Вас Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Далее следует возглас: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе», и после пения хора «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...» священник творит отпуст.

*Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится...* — Народ в конце службы подходит к кресту, который преподает им священнк с амвона. В это время обычно читаются благодарственные молитвы по Святом Причащении.

*... при громком пении лика, многолетствующего Императора.* — Сейчас в многолетии перечисляются: Святейший Патриарх, правящий архиерей, богохранимая страна, братия и прихожане святого храма и все православные христиане.

*Священник в олтаре совлекается от одеяний своих...* — Только после того, как священник преподаст всем крест, он уходит в алтарь, затворяет Царские врата, прикладывается к престолу и разоблачается.

*...Ныне отпущаеши раба Твоего...* — Молитва праведного Симеона Богоприимца (Лк. 2, 29).

к стр. 394 *Диакон... потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испи-*

*вает...* — Так предписывает Служебник. В современной практике после потребления Святых Таин диакон омывает чашу только горячей водой.

*...осушив тщательно губкой...* — Или специальным платом, для этого предназначенным.

**Приложение к «Размышлениям о Божественной Литургии»**

*Фрагмент первоначальной редакции*

**Литургия верных**

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 4. М., 1889. Отрывок начинается с изъяснения заключительных строк первой тайной молитвы Евхаристического канона «Достойно и праведно...», последующего ей возглашения «Победную песнь поюще...» и самой победной Серафимской песни «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...», которым в окончательной редакции посвящено лишь несколько строк.

*В одном из них признал пророк образ, напомнивший ему образ льва...* — Описывается видение св. пророка Иезекииля (Иез., гл. 1). Четырех таинственных существ — орла, тельца, льва и человека, славословящих Бога, — созерцали также в видениях св. пророк Исаия (Ис. 6, 1–3) и св. апостол Иоанн Богослов (Откр. 4, 6–8). к стр. 396

*...начиная от Исаии, слышавшего ее в притворе храма.* — У Гоголя в автографе описка: «...начиная от Илии...» к стр. 397

*...по слову Писания: «тьма была вверху бездны и Дух Божий ношашеся над водами»...* — «В начале сотвори Бог небо и землю. Земля же бе невидима и неустроена, и тьма верху бездны, и Дух Божий ношашеся верху воды» (Быт. 1, 1–2). к стр. 400

*Величание Пресвятыя Девы всем хором вошло уже в последующее время...* — «Песнь «Достойно есть» составлена еще Отцами III Вселенского Собора в Ефесе (431 г.), потом повторена в одном из догматиков преп. Иоанном Дамаскиным (VIII в.), а в состав Литургии вошла уже в X в., в царствование Василия Порфирородного; тогда же она распространилась и по всем молитвенным келлиям Афона, вследствие... чудесного видения одному из святогорцев» (Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы. М., 1904. С. 369). к стр. 402

*...когда исповедатели ересей дерзнули отнимать от Нея даже имя Богородицы, не размыслив, что отъятием сего имени отнимают Божество Самого Христа, бывшее с Ним при самом Его Рождении.* — Имеется в виду ересь Нестория (V в.), который утверждал, что Пресвятую Деву Марию нельзя называть Богородицей, а нужно именовать Христородицей, т. к. Она родила не Бога, а человека. Ересь была осуждена на Третьем Вселенском Соборе в 431 г.

*А высокое преимущество Ее пред всеми... «Сам Христос вообразится в нем».* — В написании этого отрывка Гоголь воспользовался

своей выпиской «Мария как преобразовательница верховная смирения (Преосвящ<енного> Владимира <Алявдина>)», содержание которой связано с идеей духовного воплощения. Эта идея, как отмечают зарубежные исследователи, является определяющей для гоголевских «Размышлений...» (см.: *Amberg L.* Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogol'. Bern; Francfurt am Main; New York; Paris; Lang: Slavica Helvetica. Bd. 24, 1986. S. 221). Помимо приведенного отрывка, ею проникнуты еще несколько гоголевских выписок из Святых Отцов и Учителей Церкви.

*...и умела только сказать:* «Величит душа моя Господа, яко призрел на смирение рабы Своей» — «И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей» (Лк. 1, 46–48).

*...по слову апостола: «Сам Христос вообразится в нем».* — «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4, 19).

к стр. 404 *...и всех и вся* — В древности эти слова заключали гласное чтение диптихов (поименных поминовений) живых и мертвых. Греч. καὶ πάντων καὶ πασῶν букв. означает: «и всех *мужчин* и всех *женщин* (имеются в виду все люди мужского и женского пола).

к стр. 405 *Как во едину веру и в един Дух крестились все, так и единой пищей должны питаться все — тем же и сим единственным Духом...*– Строки восходят к отрывку, написанному Гоголем на отдельном полулисте почтовой бумаги и представляющему, по предположению Н. С. Тихонравова, выписку из какого-то объяснения чина Литургии: «*И даждь нам едиными устами* и проч. Ибо каким образом есть едина Церковь на небеси и на земли, едина вера и едино Крещение, тако долженствуем все мы, единым совокуплышеся любви союзом, согласны быти, яко братия во Христе, яко едино тело и един дух. И каким образом во едином Дусе и во едино тело мы крестимся, тако и единым Духом нам напитатися достоит».

*Священник из олтаря посылает всем благодатное желание...* — Следует возглашение: «И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!» Следующее далее в основном тексте объяснение Литургии также взято из первоначальной редакции. Позднейший автограф этой части «Размышлений...» до нас не дошел. В. И. Шенрок в описании беловой рукописи замечает, что продолжение ее «затеряно».

* * *

**Заметки, наброски на отдельных листах**

Помимо включенных в настоящий раздел набросков сохранился еще целый ряд заметок Гоголя духовно-нравственного содержания в его записных книжках. Это заметки «Богатые, прежде всего помните...»; «Всегда почти выходит, что тот совет и упрек...» (записная книжка 1841—1846 гг.); «Искусство упало» (записная книжка

1842—1850 гг.); «Характер»; «Не эгоист в душе...»; «...а на деле выходит так» (записная книжка 1845—1846 гг.); «Зачем я оказался учителем?»; «Из настольной книги»; «А вы думаете, легко воров выгнать?»; «Запасаться нужно в хорошее время...»; «А чем же, скажи, хороша религия?»; <О браке> («Прежде всего обязанности мужа и жены вообще»); «Рассмотрение хода просвещения России» (записная книжка 1846—1850 гг.).

**«У исповеди собрать все сословия...»**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Набросок сделан на лоскутке писчей бумаги.

**«Нет, власть, действуй прямо»**

Впервые напечатано в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя* / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Т. 6. М.; СПб., 1896. По времени создания набросок, вероятно, предваряет речь генерал-губернатора в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», которая написана прямо в соответствии с положениями, в нем высказанными.

**«Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии»**

Набросок впервые напечатан Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909.

*...как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже и глубже свои корни.* — Настоящий образ заимствован Гоголем у св. Иоанна Синайского. Процитируем гоголевскую выписку из «Лествицы» (см. коммент. к трактату «О тех душевных расположениях...»): «Текущий к бесстрастию и Богу всякий тот день почитает для себя потерянным, в который никто его не злословит. Как колеблемые от вихря древеса глубоко свои корни в землю пущают, тако и пребывающие в сем состоянии («в послушании» — согласно источнику. — *И. В., В. В.*) имеют крепкие и непоколебимые в себе души» (Лествица, возводящая на небо. М., 1785. Л. 39 об.). к стр. 406

20 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Во мне тоже было несколько смущался и колебался дух, затем, чтобы стать покрепче: недаром говорят, что деревья, шатаемые ветром, пускают глубже в землю корни. Зато теперь яснее передо мною путь мой, и никогда еще не хотелось мне так в Иерусалим, как теперь».

**«Один только исход общества из нынешнего положения — Евангелие»**

Впервые опубликовано: *Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. Каталог. М., 1940. С. 119. Написано на чистой половине листа письма Н. Н. Шереметевой к Гоголю от 11 февраля 1850 г. С текстом письма запись не связана. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. М., 2001.

**«Одно только здесь ясно…»**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909.

25 июля (н. ст.) 1845 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Друг мой, укрепимся духом! Примем всё, что ни посылается нам Богом, и возлюбим всё посылаемое, и, как бы ни показалось оно горько, примем за самый сладкий дар от руки Его. Злое не посылается Богом, но попускается Им для того только, чтобы мы в это время сильней обратились к Нему, прижались бы ближе к Нему, как дитя к матери при виде испугавшего его предмета, испросив у Него сил противу зла. Итак, возрадуемся приходу зла, как возможности приблизиться ближе к Богу. Крестом сложивши руки и подняв глаза к Нему, будем ежеминутно говорить: "Да будет воля Твоя", и всё примем, благословляя и самую тоску, и скуку, и тяжкую болезнь».

**«Когда бы нас кто-нибудь назвал лицемером...»**

Впервые напечатано в кн.: Новые пропилеи. Т. 1. М.; Пг., 1923. Отрывок на отдельном листе.

**«Хуже всего то, что будешь судить самого себя...»**

Этот и следующий отрывок («Почему ж никто не является подвижником правды…») впервые напечатаны в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 7. СПб., 1896. Тексты печатаются по автографам.

**«Почему нужно хозяйство?»**

Этот и следующий отрывок («Отчего дурно хозяйство?») впервые напечатаны в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Тексты печатаются по автографам.

к стр. 407 *…назначенье, данное от Бога, в поте лица снискивать хлеб* — См. коммент. к статье «Русской помещик» (к с. 110).

к стр. 408 *Отдали земли в руки управ<ителей> и наемников...* — Далее было: «...которые плохие блюстители земли. Пристрастились к занятиям не свойственным, к роскоши и прихотям, и сделали то, что́ вся жизнь стала городской». Одной из главных причин разорения земли Гоголь называл «абсентеизм» помещиков, т. е. постоянное отсутствие владельцев в своих имениях. «...Русские не должны быть абсентистами, — замечал он в 1838 г. А. О. Смирновой. — В этом отношении англичане подают хороший пример — абсентеизм помещиков погубил Ирландию» (*Смирнова А. О.* Записки. СПб., 1895. Т. 1. С. 45).

*…вырубили множество лесов.* — В заметке «Рассмотрение хода просвещения России», посвященной периоду, последовавшему за преобразованиями Петра I, Гоголь писал: «Никогда в России не было вырублено столько леса, как в это время ломок, перестроек, вечных

переправок и переделок. Оттого засухи стали сильнее. Высохнувшие реки перестали разливаться и меньше орошать поля». А. О. Смирнова вспоминала: «Гоголь вздыхал и говорил: «Леса рубят без толку, реки мелеют, а климат все суровее» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 122–123).

Ср. юношеское письмо Гоголя к матери из Нежина 15 декабря 1827 г.: «Разве я не имею твердого неколебимого намерения к достижению цели, с которым можно будет все побеждать, и эти деньги, которые вы мне будете теперь посылать, не значит ли это отдача в рост, с тем, чтоб после получить утроенный капитал с великими процентами. Продайте тот лес большой, который мне назначен». В конце жизни Гоголь заботился о насаждении новых дерев в родовом имении. См., в частности, составленную им заметку «Распределение садовых работ на осень 1848 года и весну 1849».

*Что нужно делать весной?* — В своих заметках о крестьянском быте Гоголь собрал целый ряд практических рекомендаций для успешного землепользования, основанных на многовековом народном опыте, — приметах, поверьях и обычаях различных областей России. См. его заметки «Егорий весенний», «Никола весенний», «Календарь крестьян Симбирской губернии», «Народные замечания по явлениям природы в той же губернии», «Цветочный барометр», «Хлебопашество», «Садоводство», «О климатических влияниях», «О почве» и др.

### <Труд>

Впервые напечатано в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896. В настоящем наброске Гоголь излагает христианский взгляд на труд, который сам по себе не составляет цели и назначения человека, но является установлением Божественным.

*«В поте лица снеси хлеб свой», — сказал Бог по изгнаньи человека за непослушанье из рая...* — См. коммент. к с. 110.

*...кто уклоняется от труда, тот грешит пред Богом.* — Ср. в письме Гоголя к сестрам от 3 апреля 1849 г.: «Прошу вам почаще выезжать смотреть самим и на посев и все полевые работы... Если не любите хозяйничать, по крайней мере взгляните. Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас. А мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их. Это безбожно. Оттого и наказывает нас Бог, насылая на нас голод, невзгоды и всякие болезни, лишая нас даже и скудных доходов. Жестоко наказываются целые поколения, когда, позабыв о том, что они в мире затем, чтобы трудами снискивать хлеб и в поте лица возделывать землю, приведут себя в состояние белоручек. Все тогда, весь мир идет навыворот — и начинаются казни, хлещет бич гнева Небесного».

*Всякую работу делай так, как бы ее заказал тебе Бог, а не человек. Если б и не наградил тебя человек здесь — не ропщи; зато*

*больше наградит тебя Бог.* — Ср. в Послании св. апостола Павла к Колоссянам: «И всяко, еже аще что творите, от души делайте, якоже Господу, а не человеком, ведяще, яко от Господа приимете воздаяние достояния: Господу бо Христу работаете. А обидяй восприимет, еже обиде...» (гл. 3, ст. 23–25).

*Важнее всех работ — работа земледельца. Кто обрабатывает землю, тот больше других угоден Богу.* — Возможно, в этом утверждении Гоголь исходил из строк 7-й главы Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, в которых сказано, что земледелие «учреждено от Вышнего» (ст. 15). С этим связано представление Гоголя о меньшей угодности Богу другого труда — ремесленного, являющегося, согласно его взглядам, прямым источником развращающей мир цивилизации. Ср. в статье «Светлое Воскресенье»: «Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода...» А. О. Смирнова вспоминала, что Гоголь «терпеть не мог фабричных служащих в фуражках и дамы нарумяненной» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 41). Не следует, однако, понимать эту гоголевскую неприязнь однозначно. Вернее говорить о «гневе» Гоголя «не против самих людей», но «против врага людей» (согласно подчеркнутым строкам гоголевского письма к Н. М. Языкову от 5 апреля (н. ст.) 1845 г.). Можно было бы упомянуть также о прямом гоголевском сострадании к тому «тягостному выраженью в лицах» рабочих, которое заметил он в промышленном Париже (отрывок «Рим»). Поэтому и по вопросу крепостного права Гоголь, размышляя о судьбах русского крестьянства, отвечал В. Г. Белинскому, что «...следует каждому из нас подумать заблаговременно... чтобы... освобожденье не было хуже рабства».

к стр. 408–409 *...не смотри ни на какие неудачи, хоть бы все то, что ты наработал, и пропало, и не уродилось...* — В этих словах отзывается опыт работы самого Гоголя над вторым томом «Мертвых душ».

к стр. 409 *Богу не нужно, чтобы ты выработал много денег на этом свете...* — Ср. в письме Гоголя к родным от 3 апреля 1849 г.: «Довольство во всем нам вредит. Мы сейчас станем думать о всяких удовольствиях и веселостях, задремлем, забудем, что есть на земле страданья, несчастья. Заплывет телом душа — и Бог будет позабыт. Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему быть в безнуждии и довольствии. Лучше желать ему спасти свою душу. Это всего главней».

*Ему нужно, чтобы <ты> не был в праздности и работал.* — С этим местом перекликается заметка Гоголя «Праздники» в его записной книжке 1841—1844 гг.: «Большой самый праздник — Светлое Воскресенье, не работают целую неделю. Троицын день и Семик не работают 3 дни. Заплетают венки, поют песни; хороводный праздник оканчивается бросаньем венков в реку. Хороводы начинаются в начале весны и всякое воскресение продолжаются; оканчиваются Петровым днем. С этих пор время называется деловою порою или страдою, от слова страдать от труда».

* * *

**Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи**

В настоящий раздел включены молитвы, написанные Гоголем во второй половине 1840-х гг. Они свидетельствуют о глубокой воцерковленности его сознания и богатом молитвенном опыте. В записной книжке Гоголя 1846—1850 гг. содержатся еще две молитвы:

«Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне, грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду, да удалюсь от мира в святой угол уединения».

---

«Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем».

**На 1846 <год>**

Впервые напечатано В. И. Шенроком (по копии Н. П. Трушковского) в кн.: Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

**«Влеки меня к себе, Боже мой...»**

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Современнике» (1858. № 11). Другие редакции этой молитвы (связанной с созданием «Мертвых душ») см. в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Молитва была послана Гоголем А. А. Иванову в канун «Нового Русского года», 12 января (н. ст.) 1847 г. «Посылаю вам молитву, — писал Гоголь, — молитву, которою ныне молюсь я всякий день. Она придется и к вашему положению, и если вы с верою и от всех чувств будете произносить ее, она вам поможет. Читайте ее поутру всякий день. А если заметите за собой, что находитесь в тревожном и особенно неспокойном состоянии духа, тогда читайте ее всякий час и никак не позабывайте это делать».

**«Боже, благослови!..»**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Данное молитвенное воззвание по случаю наступления Нового года написано Гоголем на обрывке писчей бумаги и связано с созданием поэмы «Мертвые души».

**«Господи, дай мне помнить вечно... мое неведение...»**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Написано на обрывке писчей бумаги.

**«Боже, соделай безопасным путь его...»**

Впервые напечатано П. А. Кулишом в кн.: Соч. и письма *Н. В. Гоголя.* Т. 6. СПб., 1857. Написано по случаю предстоящего паломничества в Иерусалим. Молитва послана Гоголем в письме к матери из Неаполя от 15 января (н. ст.) 1848 г., в котором, в частности, говорится: «Прошу вас отправить молебен и, если можно, даже не один (во всех местах, где умеют лучше молиться), о благополучном моем путешествии. Чувствую, что нет сил помолиться самому: силы мои как бы ослабели, сердце черство, малодушна душа. Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моленья и помогите воскрылиться к Богу моей молитве... Прилагаю здесь, на всякий случай, на особенной бумажке содержание того, о чем бы я хотел, чтобы священник, сверх содержимого в обыкновенных молебнах, молился».

**«Господи! спаси и помилуй бедных людей...»**

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Молитва составлена Гоголем в конце 1840-х гг., во время прокатившейся по Европе волны революций.

**«Молюсь о друзьях моих...»**

Впервые напечатано в кн.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1892 г. СПб., 1895. На автографе помета: «Писал Гоголь перед смертью в 1852 году».

**Духовное завещание**

Впервые напечатано И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. № 5). Написано, по-видимому, в последние дни жизни Гоголя.

к стр. 413 *...помнить изреченье Спасителя: «Паси овцы Моя!»* — См. Евангелие от Иоанна (гл. 21, ст. 16–17). Смысл этих слов Гоголь разъясняет в письме к сестре Ольге Васильевне из Неаполя от 20 января (н. ст.) 1847 г.: «Апостол Петр уверял Господа чаще всех других учеников, что он любит Его. Божественный Учитель на это молчал и потом, когда Петр уже совсем убедил себя, что он любит Господа, сделал в свою очередь такой запрос: “Симоне Ионин, любишь ли Мене?” — “Люблю, Господи”, — отвечал на это Петр. “Паси овцы Моя!” — сказал Спаситель. Петр ничего не сказал на это, потому что не мог тогда еще даже изъяснить себе, что значит: “Паси овцы Моя”. А Спаситель вновь тот же вопрос: “Симоне Ионин, любишь ли Мене?” И когда тот клятвенно сказал, что любит, вновь присовокупил: “Паси овцы Моя!” Петр опять замолчал, не зная, как понять эти слова. Спаситель тогда в третий раз повторил тот же вопрос и, когда Петр даже оскорбился, опять присовокупил те же слова: “Паси овцы Моя!” После уже, по смерти Господней и по воскресении Его,

объяснилось всем ученикам полное значение слов Его; после уже почувствовали все ученики, что угодить Господу можно только заботясь об овцах Его и о спасении душ их. Все они разошлись тогда во все стороны, всюду разносили по примеру Самого Господа братски утешительное слово, везде отыскивали людей и везде помогали спасаться им. И по примеру их всех новообращенный христианин спешил поделиться всем, что ни получил от учителей, его просветивших, с бедными, в греховной тьме еще находившимися людями братьями, и помогал им спасаться, и все учили друг друга, как идти по пути, оставленному Самим Христом, и путь этот был путь любви. Все люди стали одна семья, и загорелась небесная любовь на земле. Так должны и мы поступать, как поступали они: полюбя людей *любовью во Христе*, помогать им повсюду».

Ср. в выписке Гоголя «Разные изречения из Иоанна Златоуста»: «Ты Христианин для того, чтобы подражать Христу и повиноваться Его законам. Что Он сделал? Не сзывал к себе, сидя в Иерусалиме, больных, но обходил города и села, исцеляя душевные и телесные болезни. Он мог, конечно, и сидя на одном месте всех привлечь к Себе, однако ж не сделал этого, подавая нам пример, как надобно ходить всюду и искать погибающих» (см. т. 9 наст. изд.).

*Якима отпустить на волю.* — *Яким* Нимченко (ок. 1803—1885) — крепостной человек Гоголя, бывший при нем камердинером и поваром в Петербурге в 1829—1836 гг. Согласно завещанию Гоголя получил вольную.

*Семена также...* — *Семен* Григорьев — крепостной мальчик Гоголя, бывший его слугою в 1848—1852 гг., когда Гоголь жил в Москве в доме графа А. П. Толстого на Никитском бульваре. Гоголь, по словам его матери, говорил, что даст за мальчика ответ перед Богом, и старался воспитать его, беседуя с ним и давая читать полезные книги (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 744). После смерти Гоголя Семен был отправлен в Васильевку и отдан в услужение Н. П. Трушковскому, племяннику Гоголя.

*...прослужит лет десять графу.* — А. П. Толстому.

*...упражненье в труде на воздухе около сада или огорода.* — Архимандрит Феодор (Бухарев) в одном из примечаний к своей книге вспоминал, как Гоголь рассказывал ему о своих садовых и огородных занятиях в школе, благодетельных для его духовного развития. «Всему этому, — говорил Гоголь, — много обязан я тем, что еще свежего сохранилось в душе моей» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 61).

**Совет сестрам**

Впервые напечатано (с пропуском, по копии С. П. Шевырева) И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. № 5). Написано, вероятно, как и духовное завещание, незадолго до смерти. Печатается с уточнением по копии Шевырева.

*...дом свой да превратят в обитель...* — В этом пожелании Гоголь, очевидно, руководствовался правилом Константинопольского Поместного Собора 861 г. о создании монастырей из частных имений и о поставлении в них игуменов. Это правило содержится в Кормчей книге, с новым синодальным изданием которой Гоголь познакомился еще в год его выхода — в 1839-м. Сохранилась тетрадь выписок Гоголя из этого издания, которые он сделал зимой 1843/44 г. в Ницце.

*Одна из них может быть игуменья.* — По свидетельству биографов Гоголя, в семье писателя царила атмосфера христианского благочестия (см.: *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Науч.-лит. сб. Киев, 1902. Отд. 3. С. 36–37; *Глебов С.* Воспоминания о Гоголе // Русская Старина. 1910. № 1. С. 73–74). Этому много способствовали бабушка Гоголя Татьяна Семеновна и его мать Мария Ивановна.

**Друзьям моим**

Впервые напечатано П. А. Кулишом в кн.: Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. По содержанию данный отрывок примыкает к духовному завещанию и написан, по-видимому, в одно время с ним.

**«Будьте не мертвые, а живые души...»**

Впервые напечатано И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. № 5). Написано на отдельном листе, вероятно, в последние дни жизни Гоголя.

к стр. 414 *...всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник.* — «Аминь, аминь, глаголю вам: не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник...» (Ин. 10, 1).

**Строки, написанные за несколько дней до кончины**

Первая запись — «Аще не будете малы, яко дети...» — впервые напечатана П. А. Кулишом в кн.: Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. Остальные записи впервые опубликованы А. Т. Тарасенковым: <*Тарасенков А. Т.*> *А. Т—в.* Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя // Отечественные Записки. 1856. № 12.

*Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.* — См. Евангелие от Матфея (гл. 18, ст. 3): «Аще не обратитесь и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное...»

**Молитва, приписываемая Гоголю**

Впервые напечатано в 1894 г. (без имени Гоголя) в типографии Киево-Печерской лавры на отдельном листе большого формата (510 × 380; цензурное разрешение 8 октября 1894 г.) под названием

«Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице» (обнаружено в следственном деле священномученика протоиерея Михаила Павловича Дьякова, настоятеля Казанской кладбищенской церкви г. Щигры; хранится ныне в Центральной городской библиотеке — мемориальном центре «Дом Гоголя» в Москве). Без имени Гоголя эта молитва печаталась также в «Собрании листков для душеполезного чтения» (Благословение Свято-Афонского Ильинского скита. Одесса, 1896. № 66). В 1897 г. историк А. А. Третьяков напечатал ее в журнале «Русский Архив» (№ 8) с примечанием, что молитва была сообщена ему иеромонахом Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры Исидором (Грузинским-Козиным), который знал ее от своего брата, камердинера в доме графа А. П. Толстого, где жил последние годы и скончался Гоголь. Эту молитву о. Исидор очень любил и усиленно распространял, даже посылал ее Государю Александру III, Гладстону и Бисмарку. Возможно, от него она попала и на Афон, где он одно время подвизался. Более подробные сведения об о. Исидоре см. в кн.: Соль земли, то есть Сказание о жизни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским (книга вышла в начале XX в. и переиздана репринтно в 1984 г. иждивением монастыря Св. Германа Аляскинского (Платина, Калифорния); см. также *Флоренский П. А., свящ.* Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1994. В юбилейном 1909 г. молитва Гоголя была перепечатана (с некоторыми исправлениями) в газетах «Московские Ведомости» (20 марта) и «Русское Знамя» (30 апреля); затем она была помещена в качестве приложения в кн.: *Гоголь Н. В.* Размышления о Божественной Литургии. С 17-ю рисунками академика Ф. Г. Солнцева, наглядно изображающими всю Божественную Литургию. СПб., 1910. Перепечатку молитвы см. также: Россия перед Вторым Пришествием: Материалы к очерку русской эсхатологии / Сост. С. Фомин. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Посад, 1993. Известна фольклорная запись молитвы, сделанная в дер. Жильчиха Ветлужского р-на Нижегородской обл. от уроженки этой местности М. Д. Голубевой, 1911 г. рожд.:

Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас.
Лицо слезами омываю,
Услышь меня в мой скорбный час.
И Ты, Отец чадолюбивый,
Мне руку помощи простри,
Проси венец мне у Владыки
И запись дел плохих сотри.

(История Ветлужского края: Историко-краеведческое издание. Урень, 1999. С. 179.)

В 1917—1918 гг. молитва Гоголя была переписана страстотерпицей Императрицей Александрой Феодоровной в ее записную тетрадь во время заточения царской семьи. Впервые эта тетрадь была

опубликована в 1928 г. в эмиграции генерал-майором А. В. Сыробоярским в книге «Скорбная Памятка», которая была издана «В память святого труда Царственных Сестер Милосердия в дни Великой Войны» (Исповедь души Ея Величества перед Богом // Письма Святых Царственных Мучеников из заточения. 3-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1998 (1-е изд. — Джорданвилль, Свято-Троицкий монастырь, 1974; под ред. Е. Е. Алферьева). С. 398–399). Не так давно эта тетрадь Александры Феодоровны была дважды переиздана Российским отделением Валаамского православного общества Америки (Стихотворения, вместе с изречениями святых и цитатами, записанные Государыней Императрицей в заточении в небольшую книжечку // *Нектария (Мак Лиз), мон.* Государыня Императрица Александра Феодоровна Романова. Дивный свет. Дневниковые записи, переписка, жизнеописание. М.: Российское отделение Валаамского общества Америки, 1999. С. 658–659; 2-е изд. — М., 2003. С. 645–646). Хорошо известна гоголевская стихотворная молитва среди православных верующих Польши. См., в частности, сборник молитв под названием «Богогласник», вышедший в 2001 г. 6-м изданием в Белостоке. Молитва помещена здесь без указания авторства Гоголя на русском языке и в польской транслитерации (Bohohłasnik / Wydawca Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Wydanie VI. Białystok, 2001. С. 60–62).

В 1999 г. один из послушников монастыря Св. Германа Аляскинского Ричард (в крещении Фома) Бэттс перевел молитву на английский язык (Salt of the Earth, or A Narrative on the Life of the Elder of Gethsemane Skete, Hieromonk Abba Isidore. Compiled and arranged by his unworthy spiritual son, Paul Florensky. Platina, California: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1999. P. 143–144).

Возможно, именно эту молитву имел в виду Гоголь под названием «Моя Молитва» в «Оглавлении <к сборнику стихотворений>», написанном в конце 1840-х или в начале 1850-х гг. (см. наст. изд.). Сходные стихотворные молитвы Гоголь мог многократно слышать в Риме, где их традиционно распевали в преддверии Рождества Христова пастухи-волынщики, так называемые «пифферари» (pifferari): «Расхаживая попарно или группами по улицам Рима, они останавливаются перед каждым образом Мадонны… и… вообразите, что три или четыре недели сряду, по нескольку раз в день, вы обязаны выслушать один и тот же мотив…» (*Бибиков М.* Выдержки из записной книжки туриста по Италии // Москвитянин. 1853. № 7. Отд. VIII. С. 115–116). «Вот песня пиффераров, переданная подстрочно: Ave Maria! Мы многогрешные, С горьким раскаяньем, С теплой молитвою, С плачем, рыданием, К чистым стопам Твоим В прах повергаемся, Молим прощения, Во грехах каемся. Ave Maria! Дева небесная, Мать Искупителя, Будь Ты, — чистейшая, Будь нам заступницей У трона светлого Сына родимого, Судьи бесстрастного И справедливого» (Там же. С. 116–117).

# Содержание

## Выбранные места из переписки с друзьями

## Размышления о Божественной Литургии

## Комментарии

УДК 820 (73)
ББК 76.006.5
Г58

Координатор проекта
*Иеромонах Симеон (Томачинский)*

Издательство Московской Патриархии
выражает благодарность за содействие
в издании Полного собрания сочинений
и писем Н. В. Гоголя

*Раздорожному Валерию Викторовичу*
*Чип Олегу Александровичу*
*Биденко Николаю Андреевичу*
*Шевченко Тарасу Вячеславовичу*
*Швецу Николаю Николаевичу*

**Гоголь Н. В.**

Г58 Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 6: Выбранные места из переписки с друзьями / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. — 744 с.

Шестой том настоящего собрания открывает главное произведение Гоголя 1840-х гг. — «Выбранные места из переписки с друзьями». Согласно воле автора, здесь же помещены ранние статьи, которыми он намеревался дополнить книгу при переиздании. В том вошли духовно-нравственные произведения писателя последнего периода его жизни, включая ставшие итоговыми «Размышления о Божественной Литургии», а также молитвы, духовное завещание, предсмертные записи и др. Для настоящего издания подготовлен специальный комментарий к «Размышлениям о Божественной Литургии», учитывающий практику современного богослужения.



ISBN 978-5-88017-087-6
ISBN 978-5-88017-097-5

Составление, подготовка текстов и комментарии:

И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы РАН

В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета
«История мировой культуры» РАН

Художественное оформление:
В. А. Белан, А. В. Белан

На фронтисписе портрет Н. В. Гоголя
работы А. А. Иванова. Рисунок. (1847)

Дар «Полтавского землячества»